

Геннадий БАШКУЕВ



*Повести разных лет*



2019

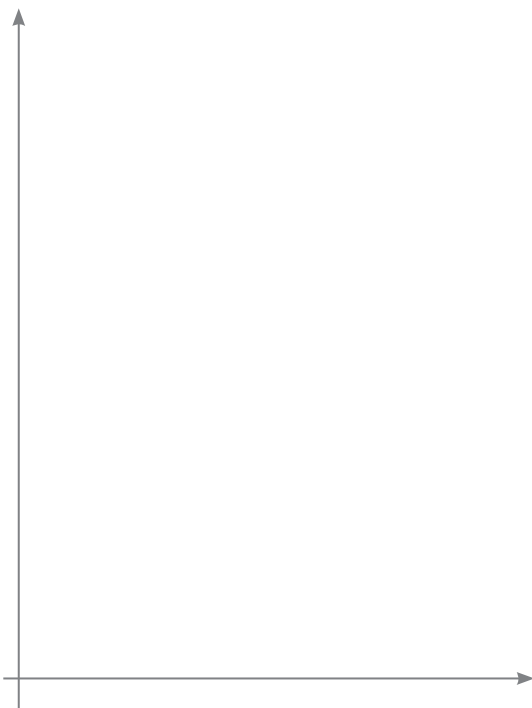
«Маленьким,  
как только стемнеет, я  
любил заглядывать в чужие  
окна, для чего у меня имелся  
бинокль           четырехкратного  
увеличения - предмет зависти  
всего двора, и наблюдать суету  
немых картин, простых житейских  
радостей. Я старался угадать слова  
и желания движущихся фигурок  
за стеклом и мечтал о взрослой  
жизни. И вот она пришла и  
прошла, взрослая жизнь... Кто  
ж знал, что надо смотреть  
в бинокль с обратной  
стороны...» —▶

В издание вошли повести Геннадия Башкуева, созданные им в разные периоды жизни. Стиль автора: значимость каждого слова, необычная форма, увлекательный сюжет.

Повести представлены в обратном хронологическом порядке.

# ЧЕМОДАН ИЗ ХАЙЛАРА

*Роман с одушевленными предметами*





*Памяти дяди Мантыка, мальчиком  
умершего от побоев в провинции  
Хэйлунцзян*

### **Вступление**

**О**ни прорвали папиросную бумагу тумана, выпав из него с легким хлопком, — зыбкие и безликие, как и положено привидениям. Но не сразу — проявились по частям. По частям тела. Поэтому я не очень испугался. Успел привыкнуть к страху. Сначала плечо с погончиком, потом козырек кепи, красные петлицы, ботинки и обмотки с налипшей бурой глиной. Постепенно из бесцветного полотна соткались сизые ободки сабельных ножен, витая рукоять, ременная пряжка, штык-нож, пуговицы, кожаный подсумок. Обмотки и низ подвернутой шинели мокры и покрыты инеем. Части тела возникали и исчезали — непонятно, принадлежали они одному человеку или разным людям.

В городе еще не разожгли печи, однако пришельцы чего-то побаивались. Они вели себя словно собаки, забежавшие на чужую дальнюю улицу и долго нюхающие воздух, прежде чем броситься в драку.

Запахи у реки ранним утром тусклы. Их теснил свежий аромат коровьего навоза. Лоскуты тумана, потревоженные гулом с другого берега, колыхались сизым бельем на вешалах. Земля под ногами мелко дрожала. Мне представилось, что из страшной сказки вразвалку выполз дракон, которым пугал дядя Хамну, и на мощных коротких лапах двинулся в город, поочередно пригибая три головы к скользкой траве; дым из ноздрей мешался с туманом и пылью. Или это я дрожал от холода и страха?

Прежде был слабый плеск и скрип песка, я поначалу принял их за незримое брожение стада за простыней речного тумана. Но потом послышался топот, покашливание, короткие команды. Шелест и скрип усилились. Сомнений быть не могло: лодку-плоскодонку вытаскивали на берег.

Туман проткнуло дуло винтовки. Из белесого омота выплыли лица. Заросшие подбородки, усы, капюшоны. Штык-ножи болтались на поясных ремнях.

Кто-то вывалился передо мной во весь рост. Он озибался и пригибался, тяжелая шинель тянула к земле. Стало смешно: взрослые дяди, с ног до головы обвешанные оружием, боятся коров и пастушка!

При виде меня солдат дернулся, рука его сжала ножны. Смех застрял у меня в горле вместе с непрожеванным куском конины. Мгновение мы пялились друг на друга. Козырек мятого кепи надвинут на глаза, лицо нечистое, в прыщах, из-под тонких усов валил пар. Где-то шумно дышала корова. Солдат приложил палец ко рту; черный ноготь торчал из указательного пальца, палец — из обрезанной шерстяной перчатки. Он поманил меня пальцем с черным ногтем и ловко, как кошка, вырвал кусок мяса — мой завтрак.

Пока солдат чавкал, — кадык ходил вверх-вниз, — я стоял смирно. Рыгнув, он окунул кепи в туман и тихо свистнул. Проявился маленький, немногим выше меня, кривоногий японец, перемазанный с ног до каски — видать, падал не раз. Каска обтянута сеткой. Полы шинели отвернуты. Обмотки вообще превратились в желтые сапоги.

В этом изгибе реки Хайлар\* имелся выход глины; русский купец даже наладил обжиг кирпича, но потом бежал в Америку, и заводик весну и лето стоял без хозяина, не чадил. Местный люд разломал заводской заборчик на берегу и безбоязненно брал сырец для печей и хозяйских нужд. Глиной дядя Хамну и другие пожилые хайларцы мазали больные колени, а женщины — руки, ноющие от стирки в холодной воде. Глины хватало на всех.

Неудачное место для переправы выбрали эти вояки. Про японцев в городе говорили давно — я сразу сообразил, что за гости такие тут. Мелькнуло: надо бы предупредить господина У, владельца лавки.

У перемазанного японца не было винтовки, зато в руке он еле

---

\*Хайлар — так в Китае называется река Аргунь в своем верхнем течении; на реке стоит одноименный город.

удерживал большую катушку черного провода с палец толщиной. Провод уходил к реке. Расстелив на скользкой траве кусок брезента, пришельцы нырнули в туман и приволокли чемодан. Он был деревянный, лакированный, в стальных заклепках, видно, тяжеленный, будто набитый кирпичами из хайларской глины. Внутри оказался громоздкий телефон с ручкой, как у швейной машинки «зингер». Чемодан был не чета нашенскому.

История с чемоданом, украденным тревожной осенью 1935-го на маньчжурской станции Хайлар, вернее, подмененным на такой же, из слоеной фанеры, только с парой кирпичей внутри, стала родовой травмой семьи.

Пропажа ценного чемодана была проклятием, но и обернулась силой, что не давала опустить руки. Ни перед плоским штыком, ни перед сытой, жующей серу продавщицей гастронома. Эта сила заставляла вставать затемно и с утра пораньше воевать с призраком голода; благодаря ей удалось дожить до амнистии, пережить трехпроцентные займы и очередное повышение цен, новые лики вождей на деньгах и разводы облигаций, переварить продуктовые карточки и водочные талоны, новую милицейскую форму и реформу, выдохнуть вонь примусов и нерафинированного масла в бараке, вытерпеть тесноту хрущевки и давку в трамвае. Эта потеря заставляла кипятить белье в чанах и биться в очередях за порезанным на куски счастьем: «Две штуки в одни руки, вон за той гражданкой в шляпке не занимать!»

Очередь осуждающе разворачивается: ну и шляпка! с розочками!..

В шляпке моя мама. Мужество высшего рода — каждого дня. Мама прошла, прожила японскую резню, ссылку, войну и похоронку, барачный быт, чьи свинцовые мерзости сродни рифам стиральной доски, — но продолжала делать маникюр, мазать кремом руки, чудовищно искривленные бесконечным мытьем и стиркой, из-за чанов с кипящим бельем бдительно следить за модой и ценами.

Она всю жизнь помнила о чемодане.

Каждый новый член семьи — новорожденный, невестка, родители невестки и иже с ними — в обязательном порядке выслушивал историю, трагедию и оду в одном фанерном футляре. Драматическую хронику утраты главной начинки чемодана — человеческого достоинства и обретения оного, что подразумевалось многозначительным поднятием бровей, подрисованных угольным карандашом

ВТО. Назло безымянному вору — пусть подавится ремнем от чемодана, что старикашка бараньим жиром!

Полвека спустя после японского вторжения баба Валя — так моя мама позиционировала себя после прибавлений в семействе — пыталась рассказать о пропаже чемодана грузчикам, ошибочно принятым за новых родственников со стороны моей жены. Грузчики слушать не стали, зато таксист, помогавший вносить вещи в квартиру, резюмировал:

— Суки! Ворье! Кирпичами расплющить! Шоб мокрое место!

В этом месте возникла моя жена — прямиком из роддома, семьящая в обнимку со свертком, перемотанным красной лентой. Мама переключилась на нового родственника, в коем ошибиться невозможно.

Когда я с детской ванночкой на спине и ворохом тряпья под мышкой поднялся на пятый этаж, баба Валя держала сверток и второпях досказывала свежее испеченному внуку (его биологическая мать слышала эпос ранее) окончание хайларской трагедии, пока невестка распаковывала набухшую грудь. Рев младенца свидетельствовал о стихийном возмущении коварными замыслами похитителей чемоданов в частности и японской военщины в целом, а пинки изнутри роддомовского свертка однозначно требовали физической расправы над врагами народа в духе тех лет — без суда и следствия. Баба Валя с первого крика полюбила внука.

Я всегда поражался наглости и искусности маньчжурских воров. Поражаюсь по сию пору, философично покуривая на унитазах в третьем тысячелетии.

В новый дом и в новую жизнь я взял фибровый чемодан моего детства. В нем предметы перемешались и образовали пазл семейного и личного бытия последнего столетия. Смех, грех и страдания скрепила глина из Поднебесной. В известном смысле это тот же чемодан из Хайлара. Фибровый чемодан — правопреемник чемодана работы мастера Бельковича 1935 года. Законный наследник де-юре, исходя из де-факто.

Вместо шариков нафталина в чемодане со стуком перекатывались нефритовые близнецы — вдвое меньше пинг-понговых, но вдвое больше яичек стерилизованного кота Кеши, — отражаясь от фибровых стенок, как от бортов детского бильярда размером с разворот газеты «Правда Бурятии».



Предварительная опись выполнена в порядке извлечения из чемодана. С виду сущие безделушки, укрытые тонкой ваткой памяти. Такой медицинской ватой прежде перекладывали стеклянные елочные игрушки.

Сбоку на посылке я нарисовал зонтик. И написал: «ППХ». Нет, не походно-полевой хер, как грузчик, ухватив чемодан, расшифровал пометку мелом сообразно личному кругозору. Чемодан грузчику я не доверил. Понес, кренясь, сам. Память, как хлеб, сама себя несет.

ППХ — «подлежит постоянному хранению», это из лексикона музейщиков. Отдаю отчет, что данные экспонаты до н. э., как и сам чемодан, выбросят внуки. И будут по-своему правы. Тем паче нижеуказанные экземпляры следует скорее описать. Описание лучше нафталина: никакая моль не страшна. Внуки прочтут — глядишь, не выбросят.

Порядковые номера я ставить не стал. Мало ли что, вдруг история вмешается и перемешает кости? Когда-то в прошлом веке, в эпоху фанерных посылок, сколачиваемых на почте сапожными гвоздиками, от клиента требовали составить опись вложений и оценить их. Иначе не принимали. Подразумевалось, что вложения могут по пути следования немного эдак ужаться...

Отчего введения имеют свойство растягиваться наподобие хэйлунцзянской лапши? Оттого ли, что человек боится наступления холодного серого утра, завтрашнего дня? Тянет время. Верит сиюминутным ощущениям. Лапшу и удовольствие можно растянуть, а будет ли завтра маковая росинка иль рисинка во рту — иероглиф.

Надо бежать без оглядки, а он губы раскатал. Хайларца с соседней улицы предупредили, вспоминала мама. Хозяин задал корма коню, ну и сам решил заправиться перед дальней дорогой. Так, с лапшой во рту, его и обезглавили офицерской саблей с длинной рукоятью. Кровь залила обеденный стол томатным соусом, а лапшу в кастрюле, отгоняя мух, доели солдаты. Сразу после ухода карателей мой дед Иста ходил успокоить вдову и позже рассказал жене, бабушке Елене, что голова с длинной лапшой на губах и с выпученными глазами лежала на столе. Ну а на чем ей было держаться?

Начало описи вложений положила Валентина Истаевна Мانتосова в 1979 году, когда она без сожаления рассталась со вторым чемоданом работы Бельковича (первый, подмененный, был еще цел), одряхлевшим до Альцгеймера. Кругом одни евреи, выразил-

ся нетрезвый кочегар нашего двора дядя Володя, отправляя в топку останки рундука из Хайлара.

После акта кремации мама решительно щелкнула замками фибрового чемодана. Он был упруг, мускулист, приятной шоколадной масти, будто загорел на пляжах всесоюзных здравниц Крыма. Словно славно отдохнул вместе со мной в пионерском лагере «Орленок». Он задорно щелкал замками, вздымая скобку в пионерском салюте: «Всегда готов!» Готов сохранить семейные реликвии в кофре памяти.

Позднее вложения в посылку делал я. Толчком послужило новоселье. Я убоился, что в залежах барахла и грохоте ремонта канет в мусоропроводе этот «компромат», по словам жены. Так в фибровый чемодан попала, на сторонний взгляд, чепуха. Ворам тут поживиться нечем. А с другого боку — дорогие вещи. Короче, ППХ.

Предлагаемое повествование, выходит, пояснительная записка к посылке. Опись вложений чемодана из Хайлара и его самого, пересылаемая в другое измерение. Опись прегрешений и суетливых телодвижений.

Ценность посылки из-за разности валют и времен не указана.

*ОПИСЬ ВЛОЖЕНИЙ:*

*чемодан фанерный работы Бельковича,  
нефритовые шарики,  
шапочка от куклы-нингё,  
полкопейки СССР 1925 г.,  
змеевик медный,  
карандаш ВТО (огрызок),  
номер газеты «Заря коммунизма»,  
ракушка, варежки и монокуляр 8-кратного увеличения.*

Р.С. В опись вложений не влез кирпич из Хайлара. Японский городской, не описывать же кирпич?!

## Чемодан фанерный работы Бельковича

– Тебе было страшно? Ты плакал? (...)

– Нет. Я сидел на чемодане.

С. Довлатов «Чемодан»

Фанерный чемодан, габаритами с больничную тумбочку, был для прочности обит железными уголками. В отличие от современных чемоданов, он был квадратного сечения. Уголки царапали пол. Чемодан опоясывали кожаные ремни, перетекавшие в кожаную же ручку. Возле ручки имелась дужка для замка. Вместо замка дед Иста, или Иван, как звали его русские товарищи по хайларскому участку КВЖД, приспособил скобу, которую стащил из тамошних мастерских.

Дед вообще тащил домой все, что плохо лежало, а в сумерках перекрашивал краденых лошадей. Сам Иста ничего не крал, у него духу не хватило бы. Это делали темные личности, хунхузы. По ночам они под уздцы приводили коней со стороны огорода.

Дело поставили на поток. Пришлым лошадиным навозом бабушка Елена удобряла огород, лук да картошку, иначе они бы на жесткой хайларской почве не выдюжили.

Виной сомнительному промыслу были не дурные наклонности, а банальная нужда. Как ни бился глава семейства, как ни пластались по хозяйству его жена Елена и дочь Валя, моя мама, — бедность перела из всех щелей. Все богатство семьи могло уместиться в фанерном чемодане.

Начать с того, что в Хайларе у них не было своего дома. Семья ютилась в избе, принадлежавшей богатому соплеменнику Шантыну. Посреди единственной комнаты возвышалась большая печь. Когда-то ее сложили русские люди, бежавшие от ужасов Гражданской войны. В Хайларе вообще было много русских. Избу отдали за долги Шантыну. И побежали дальше, кажется, в Австралию. Комнату перегораживали занавески: у Вали было две сестры и младший брат Мантык.

Вся семья была в услужении у Шантына — от мытья полов и стирки до огорода и пастьбы, потому что денег как таковых наши сроду не видели и отдать хозяину не могли. Иногда медными цинами или ланами серебра с дедом расплачивались на заднем дворе за перекраску лошадей. В изменчивой атмосфере кануна гоминьдана дед Иста предпочитал ланы серебра. Бабушка Елена умоляла его бросить опас-

ное занятие — докажи потом, что не крал, а лишь красил. Воровство в Китае самый страшный грех. Ты мог убить — и тебя могли оправдать, но за кражу — ни в жизнь! И жизнь, бывало, отнимали. Когда в Хайларе уже появился паровоз, притащивший из Чанчуня приметы цивилизации в виде телефона, фонарей и гулящих женщин, вора́м в Маньчжурии, случалось, прилюдно отрубали правую руку. Могу успокоить: чаще всего до подобных средневековых ужасов дело не доходило — воришек просто забивали на месте преступления.

Так вот о чемодане. И о ворах. Мало того, что они не побоялись украсть средь бела дня на переполненном перроне — так обтяпали дельце изошренно. Пропажа была обнаружена лишь по прибытии в Верхнеудинск, незадолго до того переименованный в Улан-Удэ. Чужой чемодан был похож на родимый, как две слезы. Вплоть до железных уголков, кожаных ремней, ручки и характерных разводов на фанере.

Чемоданы делали у еврея Бельковича, в единственной мастерской Хайлара. Уродливые, но прочные чемоданы в эпоху великого Бега, охватившего Евразию, приносили неплохой гешефт. В принципе, подменить один экземпляр подобным было несложно. Однако дьявол — в деталях. Даже скобка вместо замка была схожей, не говоря о веревке из конского волоса, которой бабушка Елена для верности обмотала более ценный чемодан. Чемодан № 1.

В этом чемодане заключалось богатство семьи, скопленное отчаянным, судорожным трудом. Сухой остаток многолетнего пота, пролитого на северном околоте континентального Китая. А именно: рулон зеленого шелка на полтора платья, четыре серебряные ложки, мешочек с кораллами Южно-Китайского моря, нитка неровного жемчуга, набор иголок к машинке «зингер», смазанные тарбаганьим жиром яловые сапоги, слесарные инструменты немецкой работы, с которыми дед Иста хотел начать новую жизнь в СССР, нефритовая статуэтка дракона...

— Валокордину-у-у!

Все детство мне слышалось:

— Валя! Картину!

Мама никогда до конца не завершала озвучку краденного: ей становилось дурно. Для меня так и остался тайной полный перечень похищенного движимого имущества, движимого через память, время и границы. Лишь дело доходило до нефритовой статуэтки дракона,

случалось землетрясение, переполох, топот ног, шум воды на кухне, мама кулем валилась в кровать, кот Кеша орал благим матом и делал хвост трубой — в доме резко пахло валерьянкой и валокордином.

А теперь и спросить некого, что такого ценного было в чемоданной начинке далее пункта о нефритовом драконе. А может, там покоилась свернутая в трубку картина работы неизвестного художника эпохи династии Тан, коей вообще нет цены?

Теперь я сам пью валокордин.

Уцелели кое-какие документы: их везли во втором чемодане.

19 ноября 1935 г. С.С.С.Р.

Консульство г. Маньчжурия

#### СПРАВКА

Справка настоящая дана гр. Мантосову Ивану Игнатьевичу и его жене гр. Мантосовой Елене Мантыковне в том, что 3/VII с. г. от них получены ходатайства о принятии их в гражданство Союза ССР.

(Печать, подпись.)

Они делали ноги, говорил еврей Радевич про своих должников.

Из бумажки с обтрепанными краями, насквозь прожженной лиловой печатью и чернильной подписью, видно, что мои старики, которых я никогда не видел, Елена и Иста, загодя готовились запрыгнуть если не в первый, то и не в последний вагон поезда, что тащился по Китайско-Восточной железной дороге на спасительный север мимо залитых кровью провинций. При этом дед Иста после вхождения японцев в Хайлар благоразумно стал Иваном официально. Пятнадцатилетней дочери Валентине прибавили один год с целью получения советского паспорта. Но паспорт с серпом и молотом на обложке просто так не давался: серп резал руки, а молот плющил пальцы.

За коня выручили рулон шелка. Другую лошадь отдали старшему брату Исты — деду Хамну. Он сказал, что слишком стар, чтобы ехать за тыщу верст и получать от большевиков пулю в затылок. Корову и двух баранов забили. Мясо продали за бесценок на гоминьдановские юани. Кое-что, например конскую упряжь, пришлось подарить соседям. На гоминьдановские юани можно было купить разного добра, но только в Хайларе: в других местах они цены не имели. И набить тем же шелком третий чемодан.

По нормам ОВИРа, как и в случае с отъезжающим гр. Довлатовым С. Д., выдворяемому разрешалось три чемодана. У деда Исты и бабушки Елены накануне бегства в СССР было снаряжено два чемодана работы Бельковича плюс швейная машинка «зингер» в деревянном корпусе, весом и ценностью не уступавшая обоим чемоданам. Получалось три грузо-места — но уже для водворяемого в СССР. Так и объявили ходатаям в консульстве г. Маньчжурии. Советское учреждение задыхалось от наплыва желающих стать гражданами Союза ССР.

В голодной маньчжурской степи мирно уживались русские, китайцы, бурят-монголы, корейцы, евреи, татары, узбеки, казахи — в постоянных думах о том, что семьи будут кушать завтра. Паспортом сыт не будешь. Только японские штыки, пощекотав филейные места, подтолкнули их задуматься о гражданстве.

Стать гражданином СССР решился даже сосед Амгалан Хазагаев. Он был необычно высок для бурята, впрочем, утверждая, что не бурят вовсе, а казак. Хазагаев служил сперва у атамана Семенова, потом у барона Унгерна. Семеновцы, казаки и унгерновцы берегли форму и сапоги, надевали по воскресеньям. И тогда над низкими крышами Хайлара нестройно неслась казацкая песня:

*За рекой Ляохэ загорались огни,  
Грозно пушки в ночи грохотали.  
Сотни храбрых орлов из казачьих полков  
На Инкоу в набег поскакали!*

С приходом японцев песни смолкли. Казацкую форму сложили на самый низ сундуков, и сами казаки легли на дно.

Хазагаев пришел к Исте сразу после возвращения моего деда из консульства. Принес настоящую водку, запечатанную сургучом. Валя слышала их разговор на кухне. Говорили о трех чемоданах. Оно верно, рассуждал Хазагаев, если каждый потащит с собой в Союз корову на веревке, то паровоз забуксует на подъеме к Большому Хингану. Гость с лошадиным лицом заржал, обнажив желтые прокуренные зубы. Оборвав смех, попросил никому не говорить, что он казак, и, если понадобится, подтвердить, что он работал на КВЖД в советских мастерских, хотя не пробыл там и недели, будучи уволенным за пьянство.

Припылил ростовщик Юрий Радевич. Без бутылки, но с другим подарком — прощением процентов с последнего долга. Уводя взгляд,

он выпрашивал, какие бумаги надо заполнять для ходатайства. И есть ли там графы о национальности и происхождении.

— Какие графы? — переспросил дед Иста. — Которые бароны? Как Унгерн?

— Тсс! — зашипел Радевич. — Считаю, что я к тебе не приходил, понял? Так и быть, списываю с тебя долг!

Хозяин чуть не прослезился и заставил подслушивавшую дочь Валю целовать руку ростовщику. Радевич вырвал руку и ринулся к двери.

Чемоданы в магазине Бельковича разобрали в два дня.

Выходит, истоки нашей истории — в верхнем течении Аргуня, где на заре китайско-восточного форпоста советской бюрократии уже визировались три треклятых грузо-места. Только дорогие (сердцу) вещи. Только три грузо-места. Точка. Отдел виз и регистраций стоял на своем. ОВИР был всегда. ОВИР будет всегда. Пропускной пункт. Если не на этот, то на тот свет.

#### СПРАВКА

*Дана настоящая гр-ке СССР тов. Мантосовой Елене Мантыковне, рожд. в г. Иркутске в 1885 г., по профессии домохозяйка, прибывшая по советскому заграничному паспорту за № 060510 от 16 авг. 1935 г. и визе СССР г. Маньчжурия, которые сданы в Отдел виз и регистраций иностранцев УРКМ\* Кр. 14 I 36.*

*Дана для предъявления в паспортный отдел РК милиции на предмет получения советского паспорта для проживания в СССР.*

*Отдел виз и регистраций иностранцев УРКМ Кр. — Колесников.*

*Упр. милиции УНКВД по Крыму — Булгаков.*

Справка датирована 1937 годом. Что характерно.

Большинство работников КВЖД, официально прибывших в СССР, стали его узниками. Бабушку Елену вместе с Валентиной, как ЧСИР, членов семьи изменника Родины, в столыпинском вагоне увезли в Крым, место ссылки. В Феодосии Валя работала на табачной фабрике. Эта знаменитая табачная фабрика, основанная аж в 1861 году, кажется, работает в Феодосии до сих пор. Мальчишки от самых ворот фабрики шли за ней и дразнили: «Китай! Китай!» Тогда полуостров

---

\*УРКМ — Управление рабоче-крестьянской милиции.

был с солнечного боку здравницей, а с другого, заслоненный санаторным фасадом с белыми колоннами, — темной стороной Луны.

Смена имени на самое русское деду Исте не помогла — в недрах гигантского совдеповского канцелярата, на длинном этапе от Хайлара до Крыма, где-то близ Казлага, Ивана Игнатьевича прихлопнули тяжелым пресс-папье, что надоедливую муху. И размазали печать энкавэдэшной тройки.

Мама не рассказывала о судьбе своего отца по его прибытии в СССР. Уходила от расспросов. Рассказывать, собственно, было нечего. Пропал без справок. На запросы в бурятское отделение НКВД следовали ответы: такой-то по делам не проходил. Лишь много лет спустя земляк с одной улицы Хайлара сообщил, что видел Исту Мантосова на этапе, на пересылке в Казахстане.

Напрасно в конце ноября 1935-го родственница ждала хайларских беженцев на вокзале Верхнеудинска — новое название Улан-Удэ было не в ходу. Напрасно в поезде бабушка Елена, приближаясь к столице БМАССР\*, раскрыла чемодан, чтобы сразу же на перроне навесить двоюродной сестре серебряные сережки с кораллами (первое время они намеревались пожить у родственницы). Когда дед Иста заставил дочь встать с самого ценного, с рулоном шелка, чемодана № 1, в дороге она на нем спала, и сорвал скобу возле ручки, то гортанным ревом перекрыл гудок паровоза. На дне чемодана покоились два кирпича. На кирпиче из китайской глины четко красовалось: «Хайларъ».

Кирпичом по башке.

При этом кирпичи были равномерно распределены по внутренности чемодана работы Бельковича, жестко закреплены деревянными распорками, чтобы своим перекатыванием не вызвать преждевременных подозрений. Ибо кара за воровство и в период Маньчжоу-Го была суровой и скорой (см. выше). Короче, работа мастерская. Я про воров — не про чемодан.

Как знать, если б на перроне рядом с растеряхой Валей была старшая сестра Маня, Маруся — именно так, на бурятский лад артикулировалось посконно русское имя — как и планировалось за пару месяцев до бегства, то чемодан был бы цел. Однако накануне отъезда Маня поругалась с мужем, который не хотел ехать в СССР. И отстегал жену волосяной веревкой.

---

\*БМАССР — Бурят-Монгольская АССР, существовала с 1923 по 1958 г.



Однако же и оставаться было опасно: японцы ходили по домам. Муж Мани решил бежать верхом на коне в Монголию. Но чемодан на коне что седло на корове. Тем более чемодан работы Бельковича. Он погрузил на заводную лошадь\* пару мешков и по утреннему холодку тронулся на запад. Один, без жены. Изредка он поддегивал уздцы правой рукой, направляя иноходца чуток севернее течения Керулена. Отстеганная Маня спустя пару дней бежала вслед за мужем. Может, это и есть любовь?

Лошаденка под Маней была худая, ее без труда поймали монгольские пограничники. Монгольские цырики не были злыми.

— Эх ты, Маруу-уся!..

Потомки Чингисхана смеялись до слез, вспоминала Маня, глядя на издохшую лошаденку, но все равно бросили нарушительницу в кутузку. А там уже томился муж. Кутузка представляла из себя яму. Яма мигом их примирила.

Монголы надавали супругам тумачков, вернули мужнину лошадь и отобрали заводную (мешки не тронули), выгнали из кутузки.

— Урагшаа, Маруу-ся! — дав прощальный поджопник мужу Мани, пограничники сказали, чтобы парочка двигалась на север — в СССР. На рассвете они пошли по степи, ведя под уздцы лошадь, одну на двоих, озаренные, крепко держась за руки...

У мамы была еще сестра Дарья. О ней мама рассказывать не любила — младшие сестры ревновали друг дружку к обожаемой Мане.

Была еще сестра с ручейковым именем Апруэл. Родилась бы в СССР весной — обозвали Даздрапермой. Апруэл вышла замуж за монгола, косящего под китайца, или за китайца, косящего под корейца, и после японского вторжения спешно откочевала вместе с мужем вглубь материкового Китая. Далее ее следы теряются. Или я теряю нити моей родни с материнской стороны, угодившей в крутой замес теста, раскатанного стальной скалкой госпожи Клио. Ее кулинарное умение — смешивать в одном сосуде высокое и низкое, трагедию и фарс во времена, когда жизнь человеческая не стояла и чашки риса, — мы еще увидим далее. А пока я хочу скорее проскочить полустанок КВЖД, чтобы детально рассмотреть содержимое чемодана из Хайлара.

Понятно, далеко не все хайларцы устремились в СССР. С участниками и попутчиками белого движения, колчаковцами, семеновца-

---

\*Заводная лошадь — лошадь, которую ведут «в заводу», с собой, как выючную или запасную.

ми, унгерновцами дело обстояло предельно ясно. Ловить им в стране победившего пролетариата было нечего: их самих переловили бы за первым углом, что тарбаганов на шкурки, и поставили перед фактом. В смысле — перед стенкой. Но и людей невнятного политического колера, серо-буро-желтых в красную крапинку, как моя бабушка Елена и ее муж Иста, неразборчиво мазали в свинцовый цвет. В казенный цвет учреждений тех лет, замков, запоров, стен и застенков.

Дальше всех убежал — и от японцев, и от большевиков — дед Хамну. Оставшись в Хайларе единственным из нашего рода, он продал дареного коня и позвал на прощальную пирушку половину улицы. Другая половина бежала. Стол ломился от яств, мяса и кишок забитого барана. Соседи, как полагается, на все лады хвалили хозяина. Впалые щеки деда Хамну лоснились от кровяной колбасы, потрохов, молочной водки, жира и не менее жирных славословий. По его лицу блуждала заговорщицкая улыбка.

Виновник торжества встал, промочил водкой глотку для смазки. Пукнул. Под восторженные крики проглотил длинную полоску жира.

Засим захрипел и упал под стол.

Хитромудрый дед Хамну! И в тюрьму не сел, и мясо с водкой съел. По древнему обычаю. Таким пиром в старину провожали стариков, ставших обузой по достижении возраста шести рабджунов. Сочетали приятное с полезным. Рекомендую, ежели жизнь припрет к стенке.

Участники застолья подняли теплый труп, отряхнули, усадили в деревянное кресло. Тело примотали к спинке кресла сыромятной бечевой. Веселье и тосты продолжились. Гости обращались к хозяину как к живому.

Голова деда Хамну упала на грудь. Но все равно был виден белый хвостик жира, торчавший изо рта.

Несколько холодных вагонов из Маньчжурии, набитых семьями специалистов и рабочих КВЖД, отогнали за Улан-Удэ на станцию Дивизионную. На насыпи торчали солдаты с собаками. Девочку Валю поразили длинные языки собак — длиннее, чем у безродных хайларских псин. Это были овчарки. Вояки и собаки были толстыми, говорила мама. Солдат к своим пятнадцати годам Валентина навидалась. Разных — японских, гоминьдановских, казаков, хунхузов, да и красноармейцы встречались в Хайларе. Все они были тощими. На

Дивизионной их встретили солдаты частей НКВД — сытые, высокие, перепоясанные ремнями, в яловых сапогах.

Несколько дней переселенцев продержали в подвалах Красных казарм, приспособленных под камеры; там вперемежку томились люди обоих полов, даже дети. К концу второго дня женщины, не стесняясь, справляли нужду в углу. Вонь стояла ужасающая. Спасало, что зарешеченные окошки не были застеклены. Дети кашляли. Потом бабушку Елену и Валю выпустили, а деда Исту перевели в другую камеру, где были одни мужики. При этом, как ни странно, вернули чемодан № 2 с менее ценными вещами. Чемодан № 1 (подмененный) остался в Красных казармах. Командир и солдаты долго смеялись, увидев внутри кирпичи. Те были столь же красны, что кирпичные стены казармы. После тюрьмы, как метко сказано, человеку нравится все. Хозяева с легким сердцем отмахнулись от чемодана. Начальник сказал, что будет держать в нем особо важные дела.

С «зингером» тоже вышло особо важное дело. По тем временам стоимость швейной машинки приравнивалась к трем лошадям-четырехлеткам. Радевич давал пять. В Красных казармах освобожденным узникам — моей маме и маме моей мамы — драгоценную швейную машинку поначалу не вернули. Ее с трудом забрала родственница, у которой был любовник завхоз-энкавэдэшник.

Пока бабушка Елена с дочкой Валентиной были в крымской ссылке, «зингер» находился у родственницы. По просьбе любовника она пошла на машинке из рваной верблюжьей шали (порвали при аресте) наколенники, исподнее и интимное белье, типа гульфика, чтобы милый не отморозил свое движимое достоинство на дежурствах в сырых подвалах. Это так тронуло завхоза, что он приволок к ней и чемодан, убедив следователя, что хранить дела в сундуке неудобно. Далее двоюродная сестра бабушки передала машинку и чемодан Мане, подоспевшей с мужем в Верхнеудинск кружной дорогой через Монголию. К шапочному разбору. Это их и спасло.

Перед войной ссыльным разрешили вернуться в Улан-Удэ, но некоторые буряты, говорила мама, остались в Крыму.

Уже в конце бурного века я смотрел телепередачу «Пока все дома» с актером Владимиром Корневым, легендарным героем кинохита шестидесятых «Человек-амфибия». Интервьюер спросил о месте рождения киноактера. Корнев упомянул Крым, и в свою очередь задал вопрос ведущему: не замечает ли тот в его лице восточные чер-

ты? Ведущий высказал предположение о кавказской крови. Коренев поморщился, резко перебил собеседника и торжественно объявил, что его бабушка была буряткой.

«Буряты? Це ж монголы... Они-то в Крыму откуда?» — изумился ведущий.

«Да их ссылали в Крым! Их у нас много было, по детству помню», — засмеялся киноартист.

После выхода фильма «Человек-амфибия» на Коренева обрушилась сумасшедшая слава. Мальчишками мы подражали «человеку-амфибии», купаясь в районе Туапсе. Мама хотела, чтоб я увидел Черное море, в которое она влюбилась, будучи в ссылке в Феодосии. И я его увидел, побывав в пионерском лагере «Орленок».

Молодой артист Коренев от сумасшедшей славы не съехал с катушек. Хотя поклонницы слали письма мешками, ночевали в подъезде. Отец Борис Леонидович Коренев, контр-адмирал Черноморского флота, послал в Москву приглядывать за сыном, студентом ВГИКа, свою мать. Владимир Борисович в разных интервью вспоминал бабушку, скуластую, «с пергаментной кожей». Если «человек-амфибия», хватая жабрами воздух, приползал в московскую квартиру ночью, бабушка ждала его, курила трубку, варила чай с молоком. Бурятский чай не дал спиться.

Жаль, что я не пил чай с молоком из рук бабушки, жаль... За обеденным столом застал лишь второго дедушку по отцовской линии, игрока в карты. Пока все были дома.

Первый дед Иста вытянул не ту карты. Точная его судьба неизвестна для самого НКВД. Думаю, он выпал из бешеного коловращения внутренних дел, с миллионными оборотами судеб, его слабый крик потонул в скрежете канцелярского конвейера. Делопроизводители, не снимая окровавленных нарукавников, не успели даже толком зарегистрировать Исту Мантосова, и он сгинул в лагере под безымянным номером. Без чемодана.

В лагерях первым делом люди лишались чемодана: его потрошила как вохра, так и воры, блатные. Чемодан был знаком благополучия, осколком прежней гражданской жизни, вызовом системе — и представлял угрозу. Острую, что заточка. Могли по инерции выпотрошить и владельца чемодана. Уже на пересылках по совету бывалых зэков и по собственному наитию шедшие по этапу стремились от ноши избавиться вместе с содержимым — по дешевке, за теплую

вещицу, за пайку. Но формально чемоданы не воровали, их начинку досматривали, выменивали.

Посему дерзость хайларских воришек неопишима. В Китае ворам прилюдно отрубали правую руку. Еще одна душевная ампутация нашей семьи тому пример.

«Отхончик» — так буряты любовно называют самого младшего в семье. Отхончик Мантык украл на хайларском базаре морковку. Бабушка Елена держала небольшой огород — сплошь картошка и лук; морковка считалась баловством. Десятилетний Мантык в тот несчастный день был свободен от пастьбы коров, но и в школу не пошел — бесплатные завтраки давали лишь успевающим ученикам. Пойманный с пучком морковки, Мантык был нещадно избит торговцем, да так, что из уха пошла кровь. Никто из взрослых не подумал вмешаться. Домой его привез русский извозчик. Всю ночь мальчик кричал, а под утро затих...

Иногда мама, уже выйдя на пенсию, просыпалась среди ночи и плакала, вспоминая младшего братишку. Слезы копились в морщинках и изливались мне за ворот, холодя шею, когда я обнимал маму. Поводя плечами, я думал: дать бы по ушам торговцу морковкой и заодно вору, подменившему чемодан! Можно кирпичом. Рука бы не дрогнула. Рыночные торгаши и воры суть одно и то же. Две стороны одного кирпича.

Несомненно, пособниками воров стали паника и давка на перроне Хайлара. Здешний вокзал хоть и каменный, но одноэтажный, с окнами, заложёнными деревянными щитами. Стыдливые кирпичные буквы «Хайларъ» на торце (строили русские каменщики), зато на фасаде имя города китайскими иероглифами. Из-за наплыва отъезжающих вокзал закрыли. Билеты не продавались, кассу заколотили доской. Места в вагонах негласно предлагалось брать штурмом.

Так и случилось. Едва на мосту появился паровоз из Цицикара, пылящий и дымящий сизым дымком, что старый курильщик — видать, топили второсортным углем, — люди обратились в стадо овец. В толпе случилось движение. Возгласы на русском, китайском, монгольском языках и плач детей метался по маленькой площади. Раздался гудок, завизжали тормозные колодки, в воздухе наперегонки со снежинками полетели черные мухи сажи. Толпа с пожитками рванулась навстречу паровозу, потом с протяжным вздохом сдала назад к вагонам, давя стариков и детей. Пространство перрона прорезали визг и стоны.

Быть бы трагедии, кабы не вмешались казаки во главе с Хазагаевым. Скинув изношенную военную форму и оружие, одетые как монгольские араты, они тем не менее с прежней сноровкой начали хлестать обезумевшую толпу нагайками, крича по-русски:

— Осади! Зашибу! Взад, кому сказано! Бар-раны!

Одному настырному рассекли лицо, и он с воем отпал от поручней вагона.

Посадка пошла ходко.

Морозный ветерок кусал уши, воняло креозотом, но этого никто не замечал. Ворам было жарко. Они мышковали в толпе с чемоданами работы Бельковича, набитыми кирпичами, заранее просчитав вокзальную панику, страх и неразбериху.

Пятнадцатилетняя дуреха Валя, как ей и наказали родители, с самого появления на станции безотлучно сидела на чемодане № 1 и вертела головой, замотанной в платок. Она никогда не видела столько народу сразу. Да и где видеть? Школа для детей советских специалистов, куда она начала ходить после гимназии (построенной еще при царе) и японской пятилетки, состояла из одного выпускного класса (детей с началом японского вторжения начали вывозить в СССР); домашней работы куча: выделка шкур, дойка, огород, мытье полов и чистка котлов в доме Шантына... Сидеть на чемодане девической попкой было неудобно: скобка резала ляжку. К тому же хотелось пи-пи. Дома она напилась зеленого чаю с молоком без лепешек, их берегли в дорогу.

Нравы были простые, мужчины справляли нужду не отходя от перрона, для приличия отвернувшись. Помучившись, Валя накрылась одеялом и сходила по-малому, обрызгав угол чемодана. Но она могла поклясться, что с чемодана не слезала. Или слезла на минуту оправить юбку.

И этой минуты хватило ворам.

С подножки вагона их заметил сосед Хазагаев, взмахнул плетью, как бы прокладывая дорожку к вагону. Народ завистливо расступился. Дед Иста, бабушка Елена и их дочь заняли в вагоне лучшие места: одно спальное, одно сидячее и одно в проходе на чемодане, при том что спальных мест в общем вагоне не было задумано изначально. Валя с перепачканным паровозной сажей личиком была счастлива. Они едут в СССР! Эти четыре округлые буквы были куда заманчивей колючего иероглифа КВЖД.

Девочка Валя не обратила внимания, что угол чемодана не обрызган...

Мастерская Бельковича. г. Хайларь.  
Доставка извозчиком безъ оплаты.

На память о бурной жизни моих родных в Маньчжурии остался чемодан № 2 с шелковой биркой изнутри. Буквы стерлись, но прочитать можно.

Один кирпич из чемодана выбросили, один прибрала родственница и несколько зим использовала его как гнет в бочке для квашеной капусты. Этот гнет, уже порядком изъеденный по краям, валялся у меня на даче, им подпирали калитку. Пока не был ошибочно при кладке печи уложен в основание трубы: печник был с похмелья. Труба — кирпичу! Пускай теперь пособник воров отбывает пожизненное заточение — эта мысль греет не хуже печи.

Чемодан № 2 побывал в крымской ссылке вместе с бабушкой Еленой и Валею и, амнистированный, вернулся домой. Правда, было неясно, по какую сторону советско-китайской границы находится дом.

Будучи репрессированным, чемодан работы Бельковича со временем саморазрушился, несмотря на то, что трехслойная фанера проклеена спермой монгольских лошадок, а может, лошадей Пржевальского. Об этом хвастался Белькович в подпитии, когда разорился и коммерческий секрет утерял всякую силу.

Работа еврейского мастера мало походила на чемодан в современном понимании. Изделие напоминало то ли персидский сундук, то ли пиратский рундук, то ли бурят-монгольский шэрээ\*. Зато чемодан был емкий. Он торчал на моем балконе, я сидел на нем и душевно покуривал, потом пылился на антресолях, потом в темнущке. Чемодан по жизни сильно пинали. От рундука осталось днище и стенка. Вымер как динозавр — остался скелет.

Однако выбрасывать хайларскую тару было не с руки — мама не одобрила бы, дед Иста припечатал бы гулаговским ругательством с того света, — и я решил вопрос памяти, думается, изящно: шелковую бирку мастерской Бельковича переклеил на фибровый чемодан. Туда же сосланы уцелевшие вещицы хайларского периода.

Скелет рундука Бельковича некоторое время еще собирал пыль под кроватью, пока его не выбросили грузчики, посчитав обломки забытой опалубкой от ремонта.

\*Шэрээ — деревянный престол, на котором раскладывается жертвенное подношение.



Чемодан моих стариков — деда и бабушки — сыграл в ящик. Но приказал долго жить!

## Нефритовые шарики

### 1.

Вообще-то шариков было три. Один укатился Колобком из сказки. Хотя нефритовый шарик был несъедобным, но в голодную пору мог быть ошибочно принят за кнедлики. Кнедлики или клецки вошли в меню станционных буфетов Транссиба и КВЖД после рейда Чехословацкого корпуса в Гражданскую. Второй шарик брошен в смутное время. Не оставлен, а именно брошен как метательное средство в нетрезвых типов, пытавшихся отобрать у меня ваучер. Шарик был подобран на поле брани. Чудом уцелел третий. Да и то его чуть не сожрали.

Соответственно, нефритовый дракон был трехголовым — как в другой сказке. Нефритовый сейсмограф в древней Поднебесной что дракону седло. Иных забот не было, что ли? Порох, петарды, компас и прочее, что изобрели за Китайской стеной, — с ними все ясно. Пугать врагов и друзей, коих часто путали без компаса, и ходить по нужде в тумане. А нефритовый дракон-предсказатель? Обитателям хижин и юрт тряска степи — по барабану. Скорее он нужен богачам, чтоб во время толчка не поперхнуться уткой по-пекински, вовремя слинять с Китайской стены иль сигануть с пагоды. После землетрясения, продолжала сказочное повествование моя мама, пагода была похожа на Пизанскую башню. Ну, не знаю... Хотя маме виднее: она родилась в Китае.

Дракон размером с настольную лампу — это вам не безделушка. Он родом из восемнадцатого века, внушала баба Валя внуку, и предсказывал землетрясения. Дракон предупреждал богатых китайских мандаринов и упреждал судьбу бедных долек мандаринов.

Стоило деду Исте топнуть в доме даже не сапогами, а войлочными гутулами, как из бирюзовых пастей со стуком падали нефритовые шарики во врезанные чашки, в зависимости от силы удара или при-топа — один, два или три. Три шарика, в испуге выплюнутые драконом, означали по шкале китайского Рихтера полный атас, туши свет, сливай воду, седлай коня, делай ноги.

Войдя в Хайлар в начале 1930-х, японцы принялись искать коммунистов. Но поселок советских специалистов обходили стороной:



СССР — это вам не икебана с цветочками! Дед Иста устроился разнорабочим на железную дорогу. То была удача после нескольких лет безработицы, когда с железной дороги пачками увольняли из-за вооруженных стычек на КВЖД. В Хайларе одно лето квартировала кавалерийская часть РККА — Красной армии. Моя мама пошла в советскую школу.

Иста старался. К 15-летию Октябрьской революции Ивана Мантосова наградили грамотой, вручили отрез материи бостон. Такой черный-черный и тяжелый, в нем начальников в гроб кладут. На грамоте была эмблема загадочной РСФСР. А где СССР, удивлялся в семейном кругу дед Иста. Но так как на документе пропечатали красное знамя, то награжденный в бригаде помалкивал. И прятал грамоту в укромном месте: уже тогда, лишь началась заварушка у Тяньцзиня, глава семейства подумывал о бегстве на север. Грамота должна была сыграть роль пропуска в новую жизнь.

Отрез бостона навевал траурные мысли. Бабушка Елена плохо спала по ночам.

Была весна. За рекой алый, что сарана, диск подолгу висел над сопками. Низко летали птицы. Пахло навозом и горелой сухой травой. В степи из нор повылазили тарбаганы.

Дед Иста на заднем дворе перекрашивал гнедую стреноженную кобылу в невнятную охристую масть. Вдруг в доме страшно закричала жена: из пастей дракона упали все три нефритовых шарика.

К тому времени патрули японской жандармерии — в каждом два солдата с примкнутыми штыками и унтер-офицер — устали убивать.

Багровое светило над дальней сопкой больше напоминало флаг. Словно на простыне расплылось пятно крови... Размокшие улицы Хайлара, и без того разбитые копытами и колесами, с приходом заморской дивизии стали «худыми», по выражению русских хайларцев. Грязь из-за суглинка была жирной. У рядовых императорской армии ботинки промокали до обмоток. Японцы утомились шагать и убивать по весенней грязи. Устанешь убивать, коли приказано не стрелять, а резать — беречь патроны. Ну, и обувку берегли.

И патрули повадились ездить по домам на извозчиках, реже на китайских повозках. Никаких рикш и прочей экзотики. Это на мощеных мостовых Харбина и Шанхая можно бегать на своих двоих, что лошадь, в мыле, а на хайларских улицах мигом свернешь ло-

дыжки. Японцы начали реквизировать для карательных акций экипажи русских извозчиков, запряженные парой или тройкой, смотря по достатку. Вместо чаевых, которые прежде щедро раздавали в подпитии белые офицеры, японские вояки отпускали тумачи и удары прикладами. Экипажи были удобны. Не всех подозрительных убивали на месте — штыком или саблей, на худой конец пулей; иных везли в штаб, зажав с двух сторон солдатскими плечами.

К дому «красного Исты» патруль подкатил в полном составе. Сзади сидели японцы, рядом с извозчиком примостился лазутчик, полукровка Тозе. То ли сартул, то ли татарин? Из-за горбатого носа Тозе обзывали Хозе. Он служил в ресторане, как именовали питейное заведение белые офицеры. Они и придумали — Хозе. Хозе-Тозе стоял «на дверях» — на высоком крыльце под вывеской «Ресторанъ». Принимал одежду, подносил, подметал, чистил обувь, выдавал калоши, вызывал извозчиков, а то и веселых женщин.

Кроме ресторана, белогвардейцы открыли в Хайларе синематограф и ломбард. Все три заведения, как три чемодана, говорили о самодостаточности и приличиях. Хайлар пыжился выглядеть городом — хотя бы на вывеске. Беглецы из России изо всех сил старались сохранить ушедший быт и приметы старой жизни. Пол-Хайлара говорило по-русски. Имелся даже дом терпимости с красным фонарем, но в официальную опись разрешенных мест не входил. Проходил как ручная кладь. Маленькой девочкой Валя бегала к красному фонарю, где на заднем крыльце дома с завешанными окнами курили полные, непохожие на местных, женщины, накинув на голые плечи одеяла. Полные и добрые. Они угощали девочку «конфектами» и сахаром.

Японцы ресторан закрыли и разместили там свой штаб. Тозе-Хозе оказался без работы и чаевых. Когда новые хозяева стали искать красных, Хозе вызвался их показать. Странно, что белые офицеры, у которых было куда больше счетов, отнюдь не ресторанных, к большевикам, делать это категорически отказались. А Хозе знал в Хайларе многих. Знал и про грамоту деда Исты.

Учуяв тяжелый топот копыт, трехголовый нефритовый дракон сыграл полный атас. Когда крикнула бабушка Елена, дед понял: непрошенные гости. Тарбаганом нырнул в нору дома, рванул половицу, схватил грамоту и выскочил наружу, на ходу кроша документ и краюху хлеба. Это крошево он поднес к пасти недокрашенной кобылы, наполовину гнедой, наполовину рыжей, цвета дерьма. Одно-

временно хозяйка успела набросить на швейную машинку грязный половик из конского волоса: на «зингер» давно зарился Тозе, даже приходил с заказом — якобы пошить ему шапку. А сам косил, что лошадь, кровавым глазом полукровки на сияющие крутые бока немецкой машинки.

Во двор не спеша ввалился патруль. Спешил лишь полукровка Хозе. Ноздри его хрящеватого носа раздувались. Солдаты скинули с плеч винтовки и расселись на чурках. Один стал поправлять обмотки.

Появился коротышка офицер: сабля волочилась по земле, он был в сапогах с отстегнутыми шпорами и курил тоненькую сигарету, не снимая перчаток. Начальник патруля с ходу наорал на солдат. Те нехотя встали.

Кубарем выкатилась прикормленная собачонка по кличке Нохой и принялась отрабатывать хлеб — истошно лаять на гостей, норовя цапнуть за обмотки. Крайний солдат ткнул в нее штыком, но промахнулся. Нохой молча исчез.

Выше офицера на голову, Хозе пригнулся, чтобы сравняться в росте. Мизинцем с длинным желтым ногтем указал на Исту:

— Господа, вот он и есть коммунист, пжалте!

Офицер, топорща усики, недоуменно воззрился на хозяина. Заляпанный краской Иста больше походил на китайского кули, чем на коммуниста-заговорщика. Стоптанные, дырявые в головках, обрезанные в лодыжках сапоги, рваные штаны в бурых пятнах и засаленная безрукавка с вылезшей ватой. К тому же на время дворовых работ дед Иста имел привычку надевать платок жены. Для удобства. Темное лицо с седоватой бородкой выглядывало из платка звериной мордашкой. Вдобавок от хозяина несло дерьмом, и явно не конским. Лишь члены семьи знали, что ее глава для придания нужного колера добавляет в краску какашки собственных детей.

— Да он красный, клянусь, ваш бродь! У него ихний документ имеется! — брызгал слюной Хозе, забыв, что перед ним не белогвардейский, а японский офицер. Овернулся к хозяину, крикнул на халхасском диалекте: — А ну, показывай советскую пайзу по-хорошему!

Под «пайзой», охранной бумагой времен Чингисхана, Хозе, не найдя нужного слова, подразумевал грамоту ударника социалистического труда. К тому времени недокрашенная лошадка, пованивая,

благополучно сожрала пайзу-грамоту вместе с красным знаменем и загадочным «РСФСР».

Иста изобразил удивление. От возмущения наводчик содрал с него женский платок и втоптал в грязь. Замахнулся кулаком, но ударить не решился. Битье — привилегия японцев.

В доме устроили обыск. Нанесли грязи. Солдаты, подозревая, что золота и серебра тут не видать, вяло тыкали штыками в тряпье, гремели глиняной посудой, для вида поддели пару половиц, в том числе ту, отодранную Истой. Им было лень.

Дело было после обеда. Вояки перед набегом плотно закусили, чем японский бог послал. Солдаты — мясом сваренного в котле ягненка, отобранного утром на окраине Старого города, офицер в штабной палатке — консервами из посылки с острова Кюсю да еще выпил дрянной чанчуньской водки, которой угостил лейтенант Инуи. Вот скупердяй: приехал из отпуска, а угощает местной водкой!

Во время обыска офицер, развалившись в деревянном кресле, задумчиво гладил рукоять сабли, клонил голову набок, отчего его круглое лицо с коротким носом за счет набрякших щечек приняло форму японской сливы. Видно, его посещала одна и та же мысль: а не махнуть ли саблями на всю эту карательную акцию, отрубить чего-нибудь и пойти спать в палатку?

Удерживала слабая надежда, что в этом доме, как посулил проводник из местных, зреет большевистский заговор против экспедиционного корпуса его императорского величества. В штабе требовали не тупо резать острыми саблями. Резать баранов и дурак сможет. А за найденного шпиона полковник обещал отпуск на родину.

От харбинской водки и грохота посуды у офицера разболелась голова. В доме воняло чем-то кислым. Так всегда пахнет в местных жилищах. Запах бедности.

Он махнул перчаткой и коротко сказал. Грохот прекратился. Солдаты под вой бабушки Елены выволокли главу семьи из дома и, поднимая пыль, пинками загнали его в огород. Выставили штыки. Офицер поправил кепи и наполовину обнажил саблю.

Бабушка Елена упала на землю. Недавно она потеряла младшего сына Мантыка, теперь пришел черед самого старшего в семье.

Заржала лошадь. Ее вел под уздцы Хозе, победно крича. В руке он зажимал клочок бумаги — обрывок недожеванной грамоты с уголком алого знамени.

— Вот она, красная зараза! А я что, ваш бродь, говорил? — орал Хозе.

Нос его в предчувствии поживы увеличился до размера клюва. По распоряжению штаба наводчику полагались остатки разграбленного дома.

Хозе подвел кобылу. От животного несло дерьмом.

Нет, эти китайцы — для офицера все местные были китайцами — не люди. Обрывок бумаги был в навозе. Офицеру стало дурно. Надо выпить еще.

В этот момент Нохой через дыру в чихлом заборе пролез в огород со стороны улицы и, обнюхав драные полусапожки хозяина, зарычал на чужаков. И тут-то солдат проткнул вредную псину штыком. Раздался истошный визг и — хохот.

Плоский штык с обеих сторон обтерли о безрукавку хозяина. Офицер выругался, отбросил сигарету, сплюнул и с тонким скрипом, похожим на птичий свист, потянул рукоять сабли.

Приговоренный к обезглавливанию поглядел в небо с редкими клочковатыми облачками. Там кружил в поисках добычи сапсан. Непокрытую макушку напекло. Хотелось пить. Дед Иста утерся платком. Хотел попросить жену, чтобы потом... перед погребением она пришила ему голову обратно, причем теми же крепкими нитками, что шила малахаи. Мелькнула дурацкая мысль: только не на «зингере»!

Дед Иста вздрогнул. Офицер с пристуком вбросил саблю в ножны. В прошлый раз, когда на спор срубил голову, то алым фонтанчиком испачкал китель. Прачка еле отстирала, остался бледный след. Спорили с командиром третьего взвода на точность: при мастерском ударе обезглавленное тело не падает вслед за головой, а какое-то время стоит недвижно, да и крови мало. Сейчас же он пьян, сонлив, надо еще успеть отпрыгнуть после взмаха... А в кители ехать в отпуск. И непочатый кувшинчик sake ждет в палатке.

Базарным лаем — так кричат хэйлунцзянские торговки — офицер набрехал на провожатого и, чертя саблей кривую линию по земле, повалил со двора. Солдаты с облегчением забросили винтовки за узкие погончики, и, весело переговариваясь, пошли следом за командиром, предвкушая короткий сон после наряда.

Их прислужник с досады ткнул кулаком недокрашенную лошадь в бок, она лягнула воздух, зато Хозе лягнул бабушку Елену, лежащую на земле. Пообещав прийти позже, поспешил за солдатами.

Нохой валялся с вываленным языком, в стекленеющем зрачке отразилась фигурка бабушки Елены. Кровь уже впиталась в землю и потеряла цвет. А рядом пробивалась щепотка новой, ослепительно зеленой травы.

Собаку похоронили вечером того же дня с почестями. Ведь Нохой принял на себя весь удар карательной акции. Исполнил свой долг — защитил дом.

Пригласили шамана Ордо, родом из приангарских бурят. Из за-начки под половицей дед Иста достал бутылку русской водки — подарок советского инженера с КВЖД, которому он выправил в ма-стерских велосипедную раму.

Шаман пришел уже навеселе: после обеда отводил черную силу на дальней улице Старого города, объяснил он. У него было рыжее пятно на щеке и шее. Он утверждал, что это родовая отметина Вечного Си-него Неба, хотя соседи болтали, что пятно появилось после того, как Ордо по пьяни упал в ритуальный костер.

Брызгая водкой и не забывая ее прихлебывать, шаман воздел на голову корону с рогами. Потом заявил, что брызгать надо молоком, а водку влить в него без остатка, как в священный сосуд. Видать, коро-на с рогами была тяжелой, если время от времени Ордо вело из сто-роны в сторону. Хозяева вежливо придерживали служителя черной веры за локотки.

Собака успела очоленеть. Хвост торчал палкой. Нохой опустили веки, уложили головой на запад, где японским флагом пламенел за-кат; шаман шепнул в недвижимое ухо благопожелание. Почудилось, Нохой дрогнул кончиком уха, услышав слова человека. Дабы избег-нуть в следующей жизни перерождения животным, пояснил Ордо. В собачью пасть вложили горку топленого масла.

После обряда, уже за столом, Иста робко заметил: не грех ли, что собаку похоронили будто человека? Шаман, косясь на початую бу-тылку водки, вместо ответа рассказал легенду. Собака долго искала себе друга. Встречала на своем пути волка, тигра, медведя. Но они запрещали ей лаять, боясь, что их услышат враги. И только человек разрешил собаке предупреждать об опасности.

Бубна у шамана не было в помине. Наверное, тоже боялся, что его услышат враги.

Дочь Валя беспрерывно плакала. Приблудный беспородный пес стал для нее другом. Провожал до самой школы, облаивал мальчи-

шек из белогвардейской гимназии. Те хотели наказать ее за предательство — переход в советскую семилетку. Из-за Нохоя гимназистам приходилось довольствоваться бесполезной стрельбой из рогаток с дальнего расстояния и криками «Красная жопа!» с наглядной демонстрацией оной части тела. Однажды самый рослый и наглый подбежал близко, спустил брюки, ослепив белоснежной задницей. Нохой молча бросился на обидчика. Озорник от испуга запутался в штанах, уронил ремень и фуражку с кокардой, пес нагнал беглеца и — белая жопа вмиг стала красной. Гимназисты от Вали отстали.

— Не плачь, девочка, — молвил шаман Ордо, выпил водки, крякнул и ткнулся носом в девчачью макушку — то ли понюхал по обычаю, то ли занюхал выпитое. — Нохой за его славные дела наравне с человеком попадет в страну Диваажан.

— На диван? — перестала плакать Валя.

Кожаный диван стоял в приемной директора семилетки, на нем сидели важные дяди и тети, но никогда — ученики и собаки. Если Нохой попадет в другой жизни на диван, то это совсем неплохо. Он будет важным человеком. Человеком, а не животным.

— Да, дива-ан, да... Диваажан... — рассеянно кивнул шаман.

Кажется, он не знал, что такое диван. В любом случае, вытерла слезы Валя, в стране Диваажан наверняка много диванов.

Водка кончилась. Дед Иста с поклоном подал стаканчик самогонки. Хозяин гнал ее по рецепту советских товарищей из мастерских КВЖД. Принес оттуда медный змеевик.

— Ам-та-тэ! — крякнул, опрокинув стаканчик, Ордо. Рыжее пятно на щеке потемнело. — Умеют же русские делать водку!

Когда-то Ордо был ламой в Чойрском дацане, но, по словам Сэ-сэн-ламы, его выгнали оттуда за пьянство и болтовню. Лишили священного сана. Он не растерялся, перебрался в Маньчжурию и заделался шаманом. Перешел в смежный цех.

Придя в благодушное настроение, Ордо упал в деревянное кресло, в котором накануне дремал японский унтер-офицер, и закричал, что в Диваажан должны стремиться все благочестивые миряне. Потому что там получают перерождение после земной жизни. Путь туда далек. У кого меньше груза грехов, тот и долетит до райской страны, что находится на юго-западе от Сумбэр-Ула, центра Вселенной.

— Эта такая... чуть накренившаяся планета. — Ордо привстал, накренился и чуть не упал. — Там царит вечное счастье, и ее обитатели



питаются сплошь диковинными фруктами, наслаждаются чудодейственными напитками.

— Даже мяса не едят? — спросил дед Иста. И, получив утвердительный кивок, поцокал языком в знак восхищения. — Ух ты! И собаки мяса не едят?

Ордо ухватил кусок мяса со стола.

— Уважаемый Ис-ста, собаки в той жизни едят мясо земных животных. Земных, ясно? — Прожевав, дорогой гость с запинкой продолжил: — Потому что в Диваажан убийство з-запрещено. — И возвысил голос: — И не надо тут устраивать цанид-чойр, спорить по пустякам! Умники!

Ордо сделал нетерпеливый жест. Хозяин снова налил самогонки в граненый стаканчик.

— А собаки, те, что не переродились в людей, бегают на дальней от Сумбэр-Ула орбите, — чревоуещал, уже еле ворочая языком, Ордо. — Но! — Шаман поднял палец, как учитель в школе. — Отдельные животные перерождаются в людей. Взять вашего пса... Он, точно, станет человеком! За заслуги перед человечеством...

Ордо икнул и рыгнул. Завоняло диким луком мангиром и сивушным духом.

Вале показалось, что ученый гость сочиняет на ходу. Тем не менее, сочиняет «похвально», на хорошую оценку гимназии, или на пятерку, как в советской семилетке.

— Собачки бегают по небу не просто так, а ловят запах хозяина! — выкрикнул шаман и сполз с кресла, изображая небесного пса, а может, просто устал и хотел спать на полу в обнимку с рогатой короной.

Дед Иста вместе с женой с трудом водрузили священное тело обратно в кресло. Время от времени Ордо разлеплял один глаз и, размахивая граненым стаканчиком, требовал налить водки. Хозяин наливал вонючего самогону. Выпив, гость повторял:

— Вот умеют же русские водку делать! — И продолжал проповедь.

Наконец силы оставили рассказчика. На пухлой груди лежали огрызки вареных кишок: этим десертом на исходе трапезы закусывал гость. Похрапев с полчаса, Ордо забрал остатки самогона под видом русской водки, вытребовал лан серебра и удалился прочь с громким иканьем. Корона с рогами застряла было в калитке, но общими усилиями преграду одолели.

После шумного пребывания гостя наступила оглушительная тишина. Водка и самогон были споены не зря. Дочь Валя успокоилась.



До визита шамана девочка не могла прийти в себя, ведь она видела зверства оккупантов и героическую смерть Нохоя во всех подробностях, тоненько скуля за углом сарая.

Хотя какие там зверства, рассуждала мама много лет спустя в моем присутствии, познав значение слова «оккупант» в сороковых годах. Никого (из людей) не резали. Отделались мелким испугом. Не оттого ли, что в руках она зажимала три нефритовых шарика? Словно талисман. Будь они поменьше, их следовало нанизать священными четками.

Эти шарики, твердила мама, спасли жизнь ее отцу. Они вовремя выпали из пасти дракона. Кабы нашли советскую грамоту — у японского унтера, как от подземного толчка, махом пропал бы послеобеденный сон.

## 2.

Нефритовые шарики болотного цвета спасли не только деда Исту.

В пору безденежья девяностых я понес их одному коллекционеру. Понес скрепя сердце, прося прощения пред желтыми, что хайларская глина, ликами деда Исты и бабушки Елены. Посулили хорошую цену. У коллекционера неизведанными путями очутился дракон с тремя головами, примерно такой же, что предсказал визит непрощенных гостей к деду Исте. А может, тот самый. Потому что шариков к дракону не прилагалось.

Придя к собирателю древностей, я в знак уважения снял кроссовки в прихожей, хотя пол нижайше просил веника и швабры. Пробалансировав по единственной чистой половице, я поклонился, как японец в офисе, и молвил, что до СССР из Китая докатилось только два шарика из трех штатных экземпляров. Хотя СССР к тому времени развалился от невиданного землетрясения. Видать, нефритовых драконов в эпицентре за Кремлевской стеной под рукой не имелось. И настала пора перемен.

Коллекционер оказался барыгой. Какая там династия Тан! Ни одной книги в доме, за исключением телефонной. Он был похож на уличного наркоторговца: бегающие глазки, опухшие веки, спутанные патлы постаревшего хиппи. И руки с нестриженными ногтями дрожат. Хозяин ломбарда был его кузеном.

Этот хунвейбин почему-то решил, что мне не хватает на бутылку.

Дракон выглядел пожилым, в царапинах и мелких сколах. Возможно, был с похмелья, как и хозяин. По крайней мере, две из трех

голов испытывали абстинентный синдром. У одной головы был выбит глаз, у другой — зубы.

Я вынул шарики из велюрового мешочка и просунул их в разинутые пасти. Но сцепления не произошло. Шарик падал обратно в чашку, не дожидаясь землетрясения. По всей видимости, шарик со временем обкатался, обтерлся. И выбитые зубы не прибавляли драконовской хватки. Тут и ногой топать не надо. Клыки должны не держать, а удерживать шарик — чувствуете разницу? Об этом мы и толковали, но каждый со своей башни, сбрасывая на голову оппонента ядра, камни и горящую смолу. Он мне про стертые шарик — я ему про выбитые зубы, напирая на слово «артефакт». Сцепления не хватало. А в «артефакте» оппонент узрел нечто оскорбительное из арсенала лагерной фени.

Не сойдясь в цене, я второпях сунул шарик в мешочек из-под настольного лото, в которое играла мама с подружками, нацепил кроссовки и хлопнул дверью на три балла по шкале Рихтера. Чтоб у хозяина дракона выпали шарик из мозгов.

Дождавшись, когда выскочу из подъезда, коллекционер плюнул с балкона и что-то прокричал. И продолжал плевать, как со стрелковой башни, пока я торчал внизу.

Выйдя из сектора обстрела, я задумался. Ехать домой без денег не хотелось. Хотелось выпить. Что я скажу жене?

Коллекционер-барыга жил в стандартной пятиэтажке в дальнем микрорайоне. Я добирался до него с двумя пересадками. Этот тип не стоил и одной пересадки!

Рядом стояли дома-близнецы. На качелях визжали дети. В песочнице подростки пили баночное пиво. Пацаны помладше развлекались тем, что стучали по водосточным трубам, выколачивая мартовский лед. Грохот был вселенский. На пустыре у гаражей гоняли футбол. Толстый мужик в женской кофте держал на поводке маленькую собачку, хотя запросто мог спрятать ее за пазуху или в карман камуфляжных штанов. Люди были одеты как попало, кто в зимнюю, кто в весеннюю одежду. Смотря по мироощущению и достатку.

В межсезонье мир противоречив. У меня в карманах январская стужа, а гогочущая шпана, попивая в песочнице заморское баночное пиво на денежки от школьных завтраков, явно воображает себя на пляжах Флориды. Кому весна, а кому смерть красна.

Стройная девушка в красном пуховике выгуливала большого пса. Пес норовил угнаться то за кошкой, то за мячом, и девушка с трудом его удерживала, выгибаясь всем телом. Фигурка, машинально отметил, ничего себе. Правда, было не совсем ясно, кто кого выгуливал.

Я сел на скамейку, соображая, что делать дальше. В кармане было двести деноминированных (минированных, говорила жена) рублей. Хватало на портвейн, но супруга наказала купить хлеба, молока и лекарство от головы. Оно бы и мне не помешало.

На скамью с размаху села девушка, утомившись от прогулки с собакой. Спинка лавки дрогнула, обдало запахом душистого мыла. Рядом с кроссовками приземлились модные остроносые ботильоны (жена мечтала о таких же). Девушка размяла кисть с полоской от поводка, обвязала им край скамьи. Однако пес и не думал убежать. Он вдруг заинтересовался мной.

Я поежился. Размером псина была с теленка. Или с жеребенка, перекрашенного дедом Истой. Голова лошадиная, зато пасть вполне драконовская. И этой пастью тираннозавр тянулся к моему карману.

— Не бойтесь, она смиренная, — сказала хозяйка. — Это пинчер.

У хозяйки пинчера было милое круглое личико с поплывшими щечками, тени под серыми глазами, тонкие розовые губы, чуть крупноватый нос и чистый, слегка выпуклый лоб. Такой лобик бывает у девушек из хороших семей. Хотя вблизи она оказалась не так молода. Из-под вязаной шапочки выбилась светлая прядь. Возможно, крашенная.

— Фу, Дина! — крикнула соседка по скамье, когда собака опять потянулась к карману куртки.

И рукой взялась за ошейник. Рука и выдавала. С набрякшими венами, в крапинках. Лет сорок, не меньше. Непонятно отчего, я приободрился. И вспомнил про бутерброд с колбасой, который дала в дорогу жена. Супруга предположила, что, выручив деньги у коллекционера, я не удержусь и выпью. По привычке — без закуски. А у меня субатрофический гастрит, без пяти минут язва.

И теперь эта лошадиная морда теребила носом полу куртки, грозя вырвать содержимое кармана вместе с колбасой. Нюх не подвел, колбаса была конской. Карман с бутербродом находился на уровне мужской ватерлинии — в панике я рванул карман, боясь, что в глотке пинчера сгинет часть моего достоинства. На влажную подтаявшую землю упал бутерброд в целлофане, следом — нефритовые шарики.

Немолодая девушка закричала:

— Фу, Дина, фу! На-на-на!

Хозяйка, отвлекая, сунула под собачий нос надорванный пестрый пакетик. Но пинчер и ухом не повел. Проглотил бутерброд с целлофаном — мама дорогая! — вместе с нефритовыми шариками. Слизнул коровьим языком.

На меня напал столбняк, как после укуса бешеной собаки. Псина выплюнула на землю жеванные клочки целлофана. Потом, чихая, отрыгнула шарик. Один. Второй канул в пасти собачьего уroda. Сука и есть!

Я заорал так, что подростки в песочнице прекратили гогот, а бабка перестала выбивать половики у гаражей.

— С-собака! Отдавай, язык вырву! Тварь! В рот компот! Вот с-собака!

Я замахнулся. Псина добродушно оскалилась, зевнула и вывалила язык набок.

— Что вы орете, будто сожрали ваши яйца? — опомнилась хозяйка.

— Хуже! Сожрали меня!

Я отбросил нефритовый шарик, сунул за пазуху. Перевел дух. Стараясь сохранять спокойствие, отчеканил:

— Сделайте что-нибудь, девушка.

— А что я могу сделать? — растерялась старая девушка и стала старше: щечки обвисли еще больше.

— Не знаю... Вызовите рвоту... два пальца в рот, — с отвращением вспомнив недавнее, забормотал я. — Ну, как это делают пьяницы...

— Вы когда-нибудь видели пьяную собаку, гражданин? — усмехнулись в ответ.

— Видел! Только что! — вскричал я.

Собака зарычала, обнажив нешуточные клыки в кровавой слизи десен. Пребывая в шоке, я ничуть не испугался. Хозяйка на всякий случай пристегнула поводок к ошейнику.

— Скажите, какая нормальная собака будет жрать нефритовые камни?! Только пьяная!

— Наверное, она перепутала их с шариками корма... они похожие... — предположила владелица пьяного пса. — Гм. Так это камни? Драгоценные?

— Да, черт вас дерит вместе с вашей уродиной!

— Это пинчер, — обиделась женщина.

— Да? Сделайте пинчеру клизму!

— Она что вам, человек?

Пинчер гавкнул: «Ага!»

Шапочка хозяйки сбилась набок, обнажив лоб. Не так уж чистый. На лбу пролегла легкая бороздка.

— Вот что. Сколько стоит ваш камешек? Я заплачу. — Она стала рыться в сумочке.

— Он бриллиантовый, на сто карат! — взорвался я. — Семейная реликвия, ясно вам?

— Реликвия должна храниться дома, а не в кармане с бутербродом, — веско заметила оппонентка.

— Да? Небось, думаете, что я питаюсь собачьим кормом, девушка?

— За девушку, конечно, спасибо, — медленно сказала старая дева.

— Да успокойтесь вы, сядьте... Выход есть.

— Ну? — присел я на скамью. — Где выход?

— Прямой выход. Через толстую кишку. У собак он еще прямее, — засмеялась хозяйка собаки и помолодела на глазах.

— Вы что же, издеваетесь? — вскочил я. — Предлагаете копаться в собачьем дерьме?!

И начал трясти женщину за плечи, что облепиху по первому морозцу. Кажется, при этом не совсем прилично выражался, точно не помню. Хотя слово «сука» можно трактовать двояко.

Низко забрежал пинчер, натягивая поводок. Внезапно я ощутил боль в паху и разжал пальцы. Собаки пинаться не умеют. Лягаются лишь недокрашенные лошади деда Исты, недовольные окрасом, да люди. Выходит, эта стерва меня пнула! Я заново потряс оппонентку. Шапочка упала.

Упал и я, сбитый с ног ударом мощных лап. Сука ярилась на поводке, вращая зрачками, что кобыла. Кабы поводок был длиннее сантиметров на двадцать, она бы сомкнула клыки на моем горле. Собака даже не лаяла, а хрипела, удушенная ошейником, тянулась ко мне драконьей пастью, грозя вырвать скамеечную доску. От красных десен и клыков до самой земли тянулась жемчужная нить слюны.

Я отполз, встал, отряхнулся, стараясь не терять достоинства. Мужского. Народ же кругом.

И тут меня с двух сторон повязали менты.

Наручников тогда милиции не выдавали. Так что держали меня за локти крепко, как патруль японской жандармерии. Ментов, оче-

видно, вызвали сторонние наблюдатели. Говорят, мы орали на весь двор. Будто лаялись.

Подали экипаж в сто лошадиных сил. Я торчал, сплюснутый, в узком багажном отсеке патрульного «уазика». На поворотах на меня падал пьяный до невменяемости амбал-визави. Дышать было нечем. Наконец, очумев, я нашел выход: уперся ногами в грудь амбалу, зафиксировав его вертикально, так что на виражах болталась только его квадратная башка.

...Дверь скрипнула — я очнулся с ужасающей головной болью. И обнаружил, что дремал на цементном полу. Нос заложило. Ныла шея и затылок. От амбре амбала спасал лишь насморк.

— Эй, дебошир, на выход с вещами, — зевнул сержант, звякнул связкой ключей.

Я перешагнул через храпящего в темнеющей лужице громилу. Из вещей у меня были только нефритовые шарики. Были... Уцелевший после собачьей пасти шарик вместе с двумястами рублями и шнурками от ботинок изъяли перед тем, как водворить в ментовский обезьянник — что-то вроде зверино-вольера без единой скамьи. Сержант тогда с подозрением повертел в руке нефритовое ядрышко. Сунул под свет настольной лампы:

— Это чего? Не наркота, не взрывчатое?

— Это нефрит, семейная реликвия... Артефакт, ясно? — просипел я.

— Повыражайся тут еще, приобщу... Хм, вроде не пьян... А чего оно в мешочке? Может, в химлабораторию сдать? — постучал шариком о стол дежурный.

Широкоскулое его лицо выражало работу мысли. Я процедил, что круглый предмет — память о матери. Довод подействовал. Шарик внесли в опись.

И все равно, маясь в обезьяннике, я беспокоился, что последний уцелевший шарик укатают в химическую лабораторию, где подвергнут инквизиторским пыткам кислотой.

Но шарик вернули. На часах дежурной части было за полночь.

Зашнуровывая ботинки перед окошком, уловил запах душистого мыла. Потом увидел женские ботильоны. Они несмело придвинулись. Острые головки ботинок были в пыли. Я ощутил фантомную боль в паху. Медленно поднял голову. Голова была тяжелой.

Передо мной стояла смущенная хозяйка пинчера. Чего-то в ней не хватало. Она улынулась, не размыкая губ.

— Извините. — Поправила прядь, выбившуюся из-под вязаной шапочки. — Я не вызывала милицию. Это соседи...

Из-за стеклянной перегородки выкрикнули мою фамилию и чью-то еще.

— К товарищу капитану. Оба! — сказали как приказали.

В кабинете позади дежурки сидел капитан с мятыми погонами. На щеке у него отпечатался след от кобуры.

— Да-а, — пробежал глазами листок капитан, — тут на вас, гражданин, понаписали... Типа, покушение на убийство. И две подписи. Прилюдно душил, угрожал, сукой обзывал... Так, Наталья Петровна?

— Сука это моя собака, да, милый? — развернулась ко мне потерпевшая с заговорщицким видом.

Я промычал. Милым меня в этой жизни называла только мама.

Офицер хмыкнул.

— И вообще он мой... ну, как это... хахаль, вот! — покраснела и поправила шапочку. — Мы просто поспорили немножко... про аборт.

Теперь хмыкнул я.

— Суки, хахали, кобели... И когда это все абортируется? — вперил взор куда-то выше нас капитан. Подавил веки. — Короче! Претензий не имеете? Прочитайте и распишитесь.

Когда мы вышли из отдела милиции, сияла ущербная луна. На ней темнели фиолетовые пятна, похожие на окрас Дины. Вот чего не хватало! Точнее, кого.

— А собака где? — спросил я и поднял воротник куртки.

— Дина дома. Она умница.

— Ага, собаки умницы, это мы дураки.

— Просто люди не умеют любить. А они умеют, — вздохнула женщина.

В ночи пролегла тонкая нить понимания. Она пунктирно убегала вдоль улицы гирляндой иллюминации к высотным домам, где неом горела реклама. По пустым улицам, шелестя шинами, колесили редкие авто. Темнота черной кошкой, электризуя волосы на макушке, вытягивала из меня головную боль.

Мимо медленно катило такси — со скоростью предложения. Таксист был уверен, что уж эта влюбленная парочка с разбегу плюхнет на заднее сиденье, а подвыпивший кавалер не пожалеет чаевых. Я похлопал по груди — бумажные деньги покорно хрупнули во внутреннем кармане. Дома меня потеряли, факт. Жена уверена, что я напился. Захотелось спать.

— Ну спасибо, Наталья Петровна, спасли от застенков. Всего хорошего, — торопливо выпалил я и, сунув пальцы в рот, свистнул.

Такси остановилось. Спасительница пропищала в спину.

Упав на сиденье, я назвал адрес и спросил цену доставки. Денег вроде хватало. Я сунул руку за пазуху и кроме двух бумажек наткнулся на нечто твердое — нефритовый шарик в мешочке.

— Сорри, шеф, на минуту.

Я выскочил из машины и скачками нагнал хозяйку собаки, она уже перешла улицу.

— Что на этот раз? — круто обернулась Наталья Петровна. — Желаете, пардон, изнасиловать?

Ее лицо, наполовину освещенное фонарем, показалось странно красивым.

— Простите, ваш телефон... — выдохнул я.

— А-а! Хотите стать хахалем?

— Да я про шарик нефритовый этот... то есть про собаку! Вы мне сообщите? Ну, когда она... когда из нее выйдет... э-э... наружу.

До женщины никак не доходило. Раздался гудок такси.

— Дура! — крикнул я. — Когда твоя сука высрет мой шарик! Аборт, усекла? Апорт!

— Успокойтесь. — Она коснулась перчаткой моего плеча и быстро назвала череду цифр. — Никуда он не денется, ваш шарик.

— Ручка есть? — Я начал шарить по карманам.

— Выпить хотите? — сказала вместо ответа.

Я замер. Все равно меня дома потеряли. Знобило.

Такси, невидное на другой стороне улицы, издало два гудка. Я встал под фонарь и сделал отмашку. Зажглись фары. Машина тронулась.

— Так хотите выпить или нет?

— Хочу!

Мы рассмеялись. Нить понимания окрепла. Гирлянда иллюминации стала ярче.

— Водка? А стакан у вас есть? У меня ёк, — деловито сказал я и зачем-то похлопал себя по карманам, будто каждый день хожу с граненным стаканом наизготовку.

— Нету, — серьезно ответила Наталья Петровна. — Стакан и бутылка дома. Я рядом живу.

— Пошли, — решительно шагнул в темноту.



— Куда вы? — удивилась женщина. — Нам в другую сторону.

Следующие десять минут мы шли молча. Я шагал впереди, а хозяйка пинчера и бутылки корректировала поступательное движение к цели.

Около подъезда я напомнил:

— Не забудьте стакан.

В этом же доме жил коллекционер-барыга. Я сел на скамью. Она была влажной, и я переместился выше, усевшись на спинку лавки, как это делают подростки.

— И, если можно, хлеба, — попросил я и нащупал во внутреннем кармане куртки нефритовый колобок — не убежал, нет? — Не могу пить без з-закуски, — клацнул зубами.

Даже ходьба не согрела. От холода в пору было взвыть. Но выл не я, слово офицера запаса.

— Слышите, это Дина... Вот что. Пошли ко мне. — Категоричным тоном объявила Наталья. — Давайте быстрее, а то Дина с ума сходит! Дождетесь первого трамвая. Еще простудитесь, не затем из милиции вызволяла...

Дома, конечно, меня потеряли, но не впервой же?

— Ладно. Перекантуюсь на коврике, буду гавкать, ежели придут вас насиловать.

— Ха! Размечтался! Место занято.

Меня пропустили в подъезд, обдав запахом душистого мыла.

Ничего не было. Хотя хозяйка выпила пару стопок. За компанию.

Я дремал в кресле.

А на коврике у двери спала псина. Иногда, скребя линолеум, она ворчала: мое присутствие в доме было явно не по собачьему нутру. Однако послушаться строгого «фу» не смела. Видать, и в самом деле, умница.

Ничего не было. Но был момент.

— Вы уж простите, — подошла на кухне близко. — У вас не болит... там...

Она царапнула ноготком ниже ремня.

— Так уж вышло... учили в кружке женской самообороны... Я и Дину почему завела? Дальний район, шпана, раз сумочку вырвали...

У гостеприимной хозяйки были накрашены губы и подведены тени. Ночью? Или почудилось в неровном кухонном свете?

Я ответил, что у меня внизу все нормально.

Был еще момент, когда, насосавшись водки, дремал в кресле под пледом. И ко мне подкрались и вопросительно тронули за плечо. Не поправили плед, а именно спросили о чем-то. Впрочем, это могла быть собака. Ткнулась носом. В темноте примерялась желтыми клыками к горлу. Спящая госпожа не крикнет «фу».

Сон был прерывистый.

Утром на лестнице столкнулся с коллекционером. Он жил этажом ниже и, пока я спускался, елозил ключом в двери.

— Исай, обожди! Мы идем! — крикнула сверху Наталья Петровна.

Исай — это я. Назвался Истой, именем деда. Деду все равно, а я женатый человек.

Завидев меня, барыга переменился в лице. Хотел юркнуть обратно в дом, но тут в полете натянула поводок Дина, ее с трудом удерживала хозяйка.

— А-а, старый знакомый! — потрянул патлами скупщик краденого и похабно вильнул бедрами. — А я думал: кто это всю ночь надо мной скрипит на койке, спать не дает?

— Пададь! — рванулся я без поводка.

— Но-но-но! Тих-тих-тих! — упреждая дальнейший выпад, зачастил сосед. — Опять в ментовку захотел?

— Так это ты, тварь, ментов вызвал?

— И правильно сделал, — спустившись на полмарша, пролаял этот тип. — А тварь распутная не я, не я! Кобеля ей мало, мужика подавай!

— Врешь! Она сука!

— Оно и видно! — торжествующе хохотнул и кубарем скатился по лестнице.

Пока не догнали. Дверь подъезда ухнула.

Меня удерживала собака. То, что таилось у нее в кишках. Я боялся потерять Дину из виду. Этот теленок мог запросто проглотить бабушку с чемоданом и Красную Шапочку с корзинкой. Но мне много не надо. Уж на утренней-то прогулке должен выйти наружу нефритовый колобок. Куда ему деваться? Он от бабушки ушел, он от дедушки ушел, а от меня, Колобок, далеко не укачишься.

Во дворе было пустынно, цоканье каблучков спешащих на работу модниц эхом отражалось от железных гаражей. Ледяные лужицы весело трещали под ногой — как в детстве. Земля была твердой.

Мы оба не выпалились. Однако я зорко держал наготове совок, Наталья Петровна — пакетик.

Ничего не было. Ничего стороннего в экскрементах Дины.

Иногда я звонил Наталье Петровне. Справлялся о самочувствии Дины.

— Здравствуйте, — выдыхал я в трубку. — Что новенького?

— Здравствуйте, — равнодушно отвечали на том конце провода. — Ничего старенького.

Где-то гавкали.

Говорить было не о чем. Ничего нового. Собака не овца какая, чтоб опорожняться катом — идеально круглыми катышками. Хозяйка вполне могла проглядеть нефритовый шарик. Допустим, заболталась во дворе с соседкой во время выгула Дины. А может, пинчер переварил драгоценный камешек соляной кислотой собственного производства? Говорят, она у собак в разы ядреней человеческой, особенно у сук в частности, у стервозных особей в общем и целом.

Но я продолжал звонить. Честно говоря, в звонках было слабое оправдание моей попытки продать нефритовую реликвию семьи.

Эти телефонные переговоры протянулись через жаркое лето. На деревянных столбах вороны успели свить гнезда и успели разлететься их птенцы; провода перечеркнули чемпионат Европы по футболу — говорить ночью мешала прямая трансляция; кабели связи легли поперек грядок огурцов, нещадно горевших на шести сотках, — мне любезно разрешили сделать звонок из конторы дачного товарищества; провода пролегли через отпуск — слышимость была отвратительной, я орал в тесной кабинке сельской почты... Сотовой связи тогда не было в помине.

Жена начала с подозрением относиться к странно коротким обменам репликами по домашнему телефону, смахивающими на шифровки о свиданиях. Что новенького? Ничего такого. Ничего новенького в собачьем дерьме. Конец связи.

Обычно я звонил утром перед работой, — жена с сыном уходили раньше, — когда, по моим расчетам, Дину уже сводили на улицу. Звонил по привычке: было ясно — пиши пропало. Прошляпили шарик. Или хозяйка собаки его присвоила и продала соседу-коллекционеру.

С наступлением отопительного сезона Наталья Петровна начала грубить.

— Здра-асте, жопа, Новый год! Что ж вы хотите, в самом деле, гражданин говночист? — визжала она раненой дворняжкой. — Не верите мне, спросите Дину!

Впоследствии, едва слышав мое заискивающее «здрaсте», трубку бесцеремонно бросали где-то в отдаленном микрорайоне.

Я добирался туда с двумя пересадками, чертыхаясь и обливаясь потом в автобусной давке. В одной руке торт, в другой — портфель с бутылкой венгерского десертного. Я решил зайти к Дине с другого боку. Не забыл и пакетик собачьего корма: гулять так гулять! Гулять и выгуливать.

Хозяйка была в затрапезном байковом халате с разными пуговицами.

И губы не накрашены.

И тени не наведены.

И это ей странным образом шло.

В глубине великоватого разношенного халата угадывалась стройная фигура.

Наталья Петровна, увидев торт, страшно перепугалась. Бросила меня в прихожей с гостинцами, метнулась к шкафу, уронила плечико, пытаясь переодеться в платье под прикрытием дверцы, возилась, чертыхаясь, с молнией. Квартира была однокомнатной, старой планировки, с короткой прихожей, так что я видел все. Почти все.

Я покашлял. Покраснела, швырнула платье обратно в шкаф и заколола вырез халата брошью. Но я успел зацепить взглядом сильные ноги бегуни на короткие дистанции, ложбинку, убегающую в черный бюстгальтер, и втянутый живот. Побегай-ка наперегонки с пинчером! Хозяйка в ответ на нечаянный комплимент сообщила, что в старших классах занималась спортивной гимнастикой.

Дина легла поперек прихожей, вывалив язык и пустив слюну. Пришлось ее обойти, вжимаясь в стенку. Хозяйка крикнула «фу» — собака посторонилась. Я уже засек, что, несмотря на устрашающие габариты и пасть размером с обувную коробку, это чрезвычайно добродушное животное. Домашнее!

Наталья Петровна не могла усидеть в тесной кухоньке за столом, крытым вытертой клеенкой, то и дело порываясь что-то там разогреть. Ее волнение передалось мне. Я никак не решался коснуться

цели своего визита. Тут кремовый торт, а там, пардон, шоколадный цех. И нефритовый шарик вместо вишенки.

«Наталья Петровна». Я держал дистанцию до последнего. Защищался от душистого запаха мыла. Меня она звала по имени, но это абсолютно ничего не значило. Значит, ничего быть не могло. И имя не мое — деда Исты.

Мы звякали ложечками-фужерами и вели беседу о высоком, к примеру о погоде и прохладных батареях, ругали власть и реформы — тщательно избегая низких тем, связанных с выгулом домашних животных. Я спросил про соседа.

Наталья Петровна оживилась:

— А знаете, Исай, она же его укусила! Представьте, это Дина-то! Она же кошки не обидит! Ей уличный кот морду расцарапал, водила к ветеринару...

Вяснилось, сосед-коллекционер обнаглел после того, как засекал, что я ночевал у Натальи. Решил, что она водит к себе мужиков. Делал недвусмысленные намеки, в Пасху заявился на порог пьяный, с бутылкой водки. Наконец, утром перед собачьим променадом прижал на лестнице и хлопнул пониже спины. Дина укусила ухажера. Приревновала, спросил я. Она же сука, был ответ. Укусила и тут же испугалась, спряталась за хозяйку, чуть не сбила с ног. Сосед убежал с проклятьями и угрозами. Что отравит немецко-фашистскую овчарку, хотя Дина не овчарка. С тех пор, как увидит соседа — рычит. А раньше не рычала.

— Хм-м, — выдохнул сигаретный дым из ноздрей. — Наверно, Дина и на меня обижается, а, Наталья Петровна?

Я вытянул шею из-за стола: в глубине прихожей мерцали зрачки.

— По крайней мере, не рычит на вас, — жестом попросила сигарету хозяйка. — Я же говорю, умница. Дина видит мое отношение к вам и собачьим своим умом делает выводы.

Я дал прикурить. Собеседница прикуривала неумело. Я подождал, когда она прокашляется, и сказал нейтральным тоном:

— А как вы ко мне относитесь?

— Я-то?

— Вы-то!

— Да прекрати ты выкать своей Наталье Петровне!

И ее чистый круглый лоб отличницы разгладился. Серые глаза приблизились, пугающе потемнели.

— Я отношусь к вам... к тебе... не как к хахалю. Очень хорошо. Вот. И попросила называть ее Таташей. Или Татой. Я едва успел загасить сигарету — хозяйка, демонстрируя поразительную гибкость бывшей гимнастки, перегнулась через стол. Мы поцеловались, едва не смахнув высокое горлышко венгерского десертного.

А у меня бзик, еще с сопливого отрочества. Теряюсь, как только ощущаю на губах партнерши табачный привкус. С тех пор, как старшеклассница поцеловала в тамбуре поезда Улан-Удэ — Москва. Наш класс премировали путевкой в столицу за сбор металлолома, а девушка была старше, не из нашего класса — племянницей завуча школы. Она умела курить взтяжку и целоваться умела, получается, взтяжку.

Для меня так и осталось загадкой, в какую минуту Наташа успела разложить диван-кровать.

За дверкой, отделяющей единственную комнату от прихожей, металась и выла Дина, стуча когтями по линолеуму. Я признался Наташе, что не могу соответствовать текущему моменту — из-за внешних раздражителей. Дескать, голой спиной чую холодную слюну, ниспадающую с клыков. В конце концов, укусила же Дина мужчину, хотя и поделом. Вдруг она решит, что хозяйку опять хлопают пониже спины? А против воли или по согласию — собаке неведомо.

Тата предложила поменяться местами. Теперь я был защищен с тыла. Но момент был упущен. Распластанный, я думал о собаке.

Таташа встала, слабо белея в свете уличного фонаря. Начала искать халат. Фигура, подсвеченная, выгравировалась в раме окна. Она прошлепала босыми ногами, заперла собаку в санузле, скрипнула диванной пружиной, скользнула соском по щеке. Ступни были холодными.

Дина завывала с новой силой, заскребла когтями в дверь ванной. Вой этот, протяжный, нутряной, прожигал дом-пятиэтажку насквозь. Чувяла неладное. Ревновала, хоть и сука.

Попал в просак. Меж сладким и соленым. Промежду прочим. Я предложил Тате остановиться. Просто полежать. И выпустить собаку.

Псина, повизгивая, чуть не вынесла дверь ванной. И разом заткнулась, что ребенок, заполучивший соску. Робко стуча когтями, прошла в комнату. Протяжно зевнула.

Глядя на геометрический рисунок строительного крана, циркулем обозначенный в окне лунным светилом, на диковинные тени, царапающие потолок, мы немножко поболтали. Таташа, не поворачивая головы, спросила, зачем я убиваюсь из-за камешка?

Под собачьи вздохи я рассказал про нефритового дракона и шарики, спасшие наш род. Как пить дать (шаману Ордо), не сжуй крашеная дерьмом краденая кобыла коммунистическую грамоту, японцы вырезали бы семью деда Исты. Включая дочь Валю, мою маму. Выходит, шарики спасли жизнь и мне. Тут я непроизвольно вжал ухо в подушку. Про несостоявшуюся продажу нефритовых шариков соседу я малодушно умолчал.

Таташа гладила мою щеку. Я еще что-то говорил. Счастлив мужчина, которому в ночи внимает женщина.

Хозяйка слушала, как собака, ориентируясь на интонацию, не понимая слов. Но одно слово ее проняло: мама.

Тата, Таташа — так ее звала мама. А больше никто. Мужчин у нее практически не было. Так и сказала: практически. Хм, бывают и «теоретически»? А вот у мамы хахаль был. Этим определением она наградила гостя — немолодого, узкоплечего, в очках, — когда застала его с мамой, сидящих на кухне за бутылкой вина. И больше хахаля не видела.

Они так и прожили с мамой в этой квартире, им не было тесно. По ночам мама плакала на этом же диване. Как-то утром Тата сказала: пусть хахаль возвращается, она не против. Ляжет на раскладушке или уйдет на съемную квартиру. Поздно, шептала мама, белея непрокрашенными корнями волос.

Вот в наказание повторяет судьбу мамы, после паузы продолжила ровным голосом Тата. И даже носит мамин халат. Как собака, ловит запах, исходящий от халата, слабеющий год от года. Запах болгарского лицевого крема «Медовое молочко» и нерафинированного растительного масла. А еще детского мыла: мама верила, оно уберегает от морщин, — теперь она сама им пользуется...

Последние слова Таташа произнесла в нос и умолкла.

По потолку ползло ромбовидное пятно от проезжающей машины; я проследил, как оно преломилось в углу, встал, деловито натянул трусы. Перешагнул через собаку, не зажигая света, принес из кухни остатки вина и чайник.

Тата громко высморкалась в наволочку и выпила воды прямо из носика чайника. А я, раскрутив бутылку, допил вино из горла. И мы облегченно рассмеялись.

Послышался стук. Дина беспокойно била хвостом. Псина не дремала. Сторожила, чтобы наш моральный облик находился выше уровня дивана-кровати. Защищала дом, как и положено псу. Спасала семью. Мою семью.

Так что хахаля из меня не случилось. Или он случился «теоретически».

Лунные потеки в окне, тихий разговор разнополых людей в горизонтальном положении, холодные ступни, вздохи и зевки большой собаки, чистый запах детского мыла — все это так и осталось лучшим кадром. Я часто прокручиваю эту короткометражку ушедшей натуры, потому что в ней нет ничего материального. С любого боку.

«Ни одну ночь он не ложился без женщины, но ни разу не пролил семени хотя бы с горчичное зернышко». Пролит более горчичного зернышка и дождавшись внуков, я наткнулся на зерно в жизнеописании Далай-ламы VI. Привет с китайской стороны. Оправдание слабости как проявление силы особого рода. Именно — рода.

Однажды раздался звонок. Трубку взяла жена. Спросили Исяя.

— Такого здесь нет.

— Нет, такого там есть, — твердо сказали в трубке.

Женский голос, чеканя согласные, сообщил, что звонит по просьбе Натальи Петровны: умерла Дина.

— Что? Кто? — крикнула жена.

Но трубку повесили, не дожидаясь соболезнований.

— Ничего не поняла. Кажется, ошиблись номером.

Не ошиблись. Звонили по мою душу.

Вряд ли Дину отравил укушенный сосед. Скорее, скончалась от старости: собачий век короток. И унесла с собой тайну исчезновения второго нефритового шарика. В любом случае добродушная псина приняла и переварила, как Нохой, все зло и соблазны людского мира и ныне с чистой совестью бегают, согласно косноязычной теории опального ламы Ордо, по накренившейся планете на дальней от Сумбэр-Ула орбите, в юго-западной райской стране Диваажан, где много диванов-кроватей и все существа пьяны от вечного счастья.



— А кто это — Дина Петровна? — отвлекла от теоретизирования жена. — Ветеран войны? Пойдешь на вынос?

Я растерялся:

— Типа того... ветеран тыла... Надо бы сходить. Хорошая была... был... человек.

### **Шапочка от куклы-нингё**

Я вышел из маминого животика. И сразу, как Геракл, совершил подвиг.

Неудачное начало, знаю. Сейчас даже дети «6+» не верят, что их нашли в капусте или их принес в клюве разносчик пиццы (аисты в наших краях не водятся). И в школе, кажется, просвещают. Говорят немыслимые в прежнее время вещи. Прежде пионерам глубже пестиков-тычинок знать не полагалось. Ни на пестик.

Теперь о подвиге.

Помню, мама, отвечая на мой вопрос, правду ли болтает во дворе рыжий Ренат, двоечник, силач, хулиган, короче, отличный пацан, — начала путаться в показаниях. Сначала: вроде бы меня нашел участковый уполномоченный в партии конфискованной капусты из ларька «Фрукты-овощи». Потом, теребя клеенку кухонного стола, выдавила, не смотря в глаза:

— Ты знаешь, сынок...

Мама сделала трагическую паузу. Я перестал хлебать компот.

— Ты вышел из маминого животика...

И порозовела, как дешевое фруктовое мороженое за семь копеек. Врать мама не умела. Она что-то еще лепетала на троечку, словно ее расплож вызвали к доске.

Я хотел успокоить маму, что все давно знаю. Как-никак перешел в четвертый класс. Достаточно зайти в школьный туалет, чтобы понять из правдивых рисунков на стене и энергичных подписей к ним, откуда берутся дети. Да и на улице просветителей без Ренатов хватало. Но вовремя прикусил язык.

Успокоившись валокордином, мама дала следующее признание:

— ...и родился недоношенным, семимесячным.

Минуточку. Выходит, я — недоносок?! Здравствуйте с кисточкой и косточкой из компота, которой я при вновь открывшемся обстоятельстве чуть не подавился.

В точности неизвестно, сколько я весил, выйдя в свет, но гирька весов стронулась лишь после вторичного завешивания синенького тельца и едва одолела деление 1 кг. «Не жилец», — шептались нянечки родильного отделения. Мама притворилась спящей и слышала приговор. Если бы нянечки были японскими, они бы сказали: нингё. Дословно — игрушечный человек. Проще — кукла.

Тогда не было кювезов. Мне был уготован кювет дороги жизни.

При любом исходе заявляю в письменном виде, что уже одним фактом явления в мир я совершил подвиг. Не отходя от места рождения. Человечество я вряд ли осчастливил, зато сделал таковым одного человека. И этого вполне достаточно.

Мама была сердечницей, заядлым гипертоником. Значение слова «стенокардия» я узнал прежде правильного ударения в слове «писать» (не в стол — в горшок). Без отрыва от груди. Правда, долгое время, будучи октябреньком, считал, что в плохую погоду маму душили стены. Вот вам и стенокардия. Возможно, так оно и было. Запах лекарств сопровождал меня с пеленок, заглушая кислый дух описанных ранее пеленок.

А в канун моего рождения верхнее давление беременной зашкаливало за риск «220». Ждали инсульта или инфаркта. Третьего не дано. Но я нашел третий путь. Сообразил головой. Просек кесарево решение и сечение. Без него мои шансы на эту жизнь равнялись нулю, похожему на голову куклы-пупса.

Самая большая кукла из семейства пупсов достигала размеров зрелой кошки, не считая хвоста. Дорогие экземпляры при наклоне говорили: «Ма-ма». Пластмассовые куклы на родильной фабрике одевали с головы до ножек. Туфельки, чулочки, платице, банты, даже сумочка и, наконец, шапочка. Она была из байки, сбоку пуговичка.

Тогда не было УЗИ, предсказывать пол ребенка не умели. Мама хотела дочку. Подруга подарила куклу-пупса. Нингё — с ходу назвала ее мама. Шапочка от куклы идеально подошла к моей бедовой головушке размером с мамин кулачок. Мягонькая байка не вызывала раздражения кожи, а петелька с пуговичкой уберегала от сквозняков.

Говорят, при наклоне я изрекал: «Ма-ма». Вжился в образ. И в жизнь в целом.

Мама вплоть до своей кончины в семидесятитрехлетнем возрасте хранила байковую шапочку. По семейным торжествам она извлекала ее на свет и приговаривала:

— Молодец какой... маму спас... Умница! Вылез... не струсил...

Все эти славословия относились ко мне. Иначе говоря: не отсиживался в окопе, вылез под шквальным огнем калибра 220, закрыл тщедушным тельцем пулемет, обеспечил продвижение наших.

«Наши» — это мои внуки.

Со временем байка с мелким цветочным рисунком вылиняла, но благодарная мама хранила шапочку от пупса в дальнем углу комода, перекладывая ее богородской травой и крапивой. От моли. После мамы я вложил внутрь шапочки пакетик силикагеля, обернул ветхий головной убор чистой марлей — никакого целлофана! — и поместил его в боковом кармашке фибрового чемодана.

Я родился если не в рубашке, то в шапочке нингё. Как в каске.

Мама всерьез утверждала, что, едва высунув головку меж ее ног, я заорал что есть мочи: «Ура-а-а!» Хочется верить. Однако тут скорее преувеличение. И преуменьшение давления у роженицы до нормы. Так мама одолела седьмой месяц беременности, находясь на седьмом небе.

По поводу моей недоношенности она особо не заморачивалась, то и дело повторяя: «Вырос не хуже других». Ну, не знаю. Сие спорно. Взять хотя бы бытовое пьянство... Впрочем, о том потом, потом.

Но тогда, на кухне она понизила голос, хотя мы были одни. И строго наказала не рассказывать о нашей тайне. Выловив из компота абрикосовые косточки с целью извлечения на дворовой скамейке скользко-сладких ядрышек, я кивнул с набитым ртом. И в дальнейшем благоразумно помалкивал во дворе. Еще обзовут недоноском.

А нынче чего терять? Ловить врагам нечего. Или некого. Пусть обзывают. Жизнь худо-бедно прожита. Состоялась, поправляет жена, наливая компот старшему внуку. Младшему компот не рекомендован, а то подавится косточкой, пусть пока обходится морковным соком.

Но я не об этом. Все люди вышли оттуда, в конце концов. И не делают из этого далеко идущих оргвыводов.

Я вышел в люди из маминого низа, как из шинели участкового.

Мне не в чем было идти в детский сад. И мама на вывезенном из Хайлара «зингере» пошила пальтишко — из собственных теплых трусов производства китайской фирмы «Дружба».

Из женских трусов. Ни хао себе! Посылка со второй родины. Наложённым платежом.

Надо ли говорить, что китайские панталоны с начесом очень ценили торговки замороженными кругами молока, штукатуры-маляры, сообщники воров на стрёме, надсмотрщицы СИЗО, почтальонши, плакальщицы на похоронах, сторожихи, путевые обходчицы, дворничихи, вокзальные шалавы и другие женские лица, по роду занятий весь световой день, с захватом темного времени суток, пребывающие на свежем воздухе. Однако в первую голову их ценили роженицы — те же торговки, штукатуры-маляры... далее по списку выборочно.

Дамские панталоны были необъятными, до колен. Дружба не имела границ. Так что материи хватило не только на пальто, но и на капюшон. Тогда капюшоны, несмотря на очевидную их практичность, в Стране Советов почему-то носили лишь агрономы, постовые и рыбаки-моряки вкуче с прорезиненными плащами.

Уже зачехляя «зингер», мама вдруг вспомнила капюшоны японских солдат, расквартированных в маньчжурском городке ее детства. В непогоду капюшоны пристегивались к шинелям. Будучи удобным изобретением японской военщины, капюшон однажды спас жизнь младшей сестре отца Мане. К ней, двадцатилетней девушке, пристал на улице солдат. Дернул за руку. День был пасмурный, а его намерения ясными. Маня толкнула вооруженного ухажера в грудь. Уязвленный отказом, хотел снять винтовку с плеча, но примкнутый штык зацепился за капюшон — и тот упал на глаза. Пользуясь заминкой, Маня со всех ног кинулась прочь. Прежде чем завернуть за угол, оглянулась: солдат тащил в проулок другую жертву...

На улицах Улан-Удэ незнакомые женщины подходили к нам, спешащим в детский сад, и спрашивали, где мама достала дивную вещь — капюшон, не «инпортная», нет? Мама краснела и лепетала про нингё.

В определенном смысле — импортная. Там еще на бирке иероглифы мелким шрифтом. От Магадана до Москвы интимные места советских граждан обоих полов натирал ярлык с каллиграфической вязью по-русски: «Дружба». Она украшала кальсоны и женские панталоны голубовато-тошнотного колера. Цвета детских горшков, ползунков и коридоров приемников-распределителей. Тогда словцо «фирма», отдающее капитализмом, было под негласным запретом. А вот фирму «Дружба» широкие массы РСФСР знали и видели каждый день — во все глаза некитайского разреза. Эта «Дружба» не

имела ничего общего с самой популярной в полевых условиях закуской — одноименным плавленым сырком за двенадцать копеек: он сплавлял дружбу случайной компании на время. Там, в кустах и за углом. А тут русский с китайцем — братья навек.

Пошитое пальтишко с капюшоном, прообраз модной парки-пуховика, мама перекрасила в химчистке в синий цвет. Чтобы по примеру деда Исты, красившего ворованных коней, окончательно замутить тайну происхождения ходкого товара.

Много лет я гадал, отчего столь высоким штилем обозвали изделия, призванные прикрыть срамные, как ни крути, места. Фирма-то государственная. И заключил, что здесь своя логика. Что может быть важнее сих мест? Заслон простатиту, циститу, мини-юбкам, бикини, сексу и тлетворному влиянию Запада. При одном взгляде на сизые необъятные панталоны пропадало всякое желание. Там голый до гусиной кожи расчет и разврат, а тут взаимное чувство. С начесом.

Неслучайно в конце 1960-х стараниями хунвейбинов, бегавших в мягком климате без кальсон, дружба соседей резко пошла на убыль. «Дружба» исчезла с прилавков галантерейных магазинов. Начес вытерся — началась холодная война. Дутое чувство сдулось сразу после парада с шариками и транспарантами.

На память от пальтишка с капюшоном осталось фото, на котором я стою в нем рядом с мамой и шариками. Да бирка «Дружба» на капюшоне. Пальтишко сгнило после того как молодая родственница, абитуриентка, гостившая у нас месяц, из чувства благодарности без спросу помыла им пол. К тому времени самошвейное изделие и в самом деле напоминало тряпку. Зато бирка и по сию пору как новая.

На байковую шапочку от куклы я осторожно (байка расползалась) нашел ярлык «Дружба». Вышло красиво — наподобие лейбла «Ади-дас». Настоящая фирма. Винтаж, изрек старший внук.

Любая фирменная вещь, не согретая памятью, по сути, половая тряпка. Но по молодости мы этой низости — ниже плинтуса — не понимаем.

«Не форсить» — с детства помню мамину присказку. Пусть неказисто, зато в тепле. А на взгляды девчонок плевать с ледяной катушки.

Сохранилось еще фото. На нем, помимо валенок, на меня напялены полосатые штаны (не из матраса, нет?) на ватине, причем штаны с напуском, чтобы в валенки не набился снег; далее цигейковая шуб-

ка и округлая шапка, намертво прикрепленная к башке резинкой, выдернутой из маминых панталонов «Дружба». Как это принято у кочевников, в дело шли субпродукты забитого животного — от шкуры до кишки-резинки. В довершение я на фото крест-накрест опоясан пуховым оренбургским платком, узел на спине сокрыт — только глазенки и видны. Ни повернуться, ни пукнуть. В овчинной рукавичке зажата веревка от санок. Санки в кадр не влезли, зато на втором плане впечатан санный след с горы. Также в углу снимка торчит собачий хвост. Полуовчарка Джек с лаем бежала рядом, покуда я на санках катился с пригорка. Однако и без Джека хватало опекунов.

Мама тряслась надо мной. Кутала. Одевала в сто одежек — что капусту, в которой меня едва не нашли. Но застежки были. Смутное воспоминание в поликлинике: мне невыносимо душно, давят стены (не стенокардия, нет?), за ворот течет струйка пота, а по слогам выразить протест не могу, ору что есть мочи, отчего потею еще больше.

Я потел и часто болел. Обратная сторона тотального материнского прессинга по всему полю. Сквозняк по левому флангу и навес в штрафную.

Во втором классе я едва не сыграл в жмурки от воспаления легких.

В третьем классе мне сделали проколы от гайморита.

В четвертом вырвали коренной зуб. Не молочный.

В пятом вырезали гланды.

В шестом классе из ложного чувства товарищества я выкурил полпачки «Шипки» без фильтра и угодил в реанимацию.

В четвертом десятилетии бытия я в бессознательном состоянии залег в наркологию...

Минуточку. Эдак мы ни в жисть не доберемся до предмета описи.

Проскакивая листы анамнеза, заострим внимание на пятом десятке лет, когда онкомаркер выдал положительный результат. Никаких положительных эмоций, сами понимаете.

А виной всему кальсоны фирмы «Дружба». Полное исчезновение их с прилавков. Этот факт нуждается в подробностях.

«С этого места поподробнее, пжалста!» — кричал в таких случаях мой однокурсник и жизнелюб Петена, когда рассказ опускался ниже пояса. Сережа Петенко был очкаст, патлат, круглолиц, похож на раннего Элтона Джона. Похожесть усиливали пальцы-сосиски, ими он виртуозно бегал по клавишам старенького пианино в фойе филфака, чем сражал филологинь наповал. Но сэр Джон оказался

геем, о чем заявил для печати, а Серега был бабником, о чем неоднократно делал заявления не для печати. В обоих случаях не стреляйте в пианиста. По окончании универа Петена устроился клавишником в оркестр ресторана «Интурист». Серега всегда шел туда, где, как в биосферном заповеднике, в изобилии водилась дичь — доступные женщины, которые не боятся охотников-мужчин и берут корм из рук интуристов...

Но мы отвлеклись от просьбы. Пжалста. Со всеми подробностями.

В детстве я думал, что к урологу направляют уродов. Моральных, разумеется, ибо внешне пациенты не отличались от прочих людей. Пацаны во дворе разделяли мою точку зрения. Кабинет уролога находился наискосок от процедурной, где мне делали проколы в носоглотке. Никаких бивней, клыков, панцирей и рогов у сидевших в очереди пожилых мужчин и редких женщин не наблюдалось, сколько я ни всматривался. Вставая, они не стучали копытами и не прищемляли хвостов, торопливо закрывая за собой дверь с надписью «Уролог». И я решил, что изъяны у них кроются внутри, в уродливых склизких кишках. Недалеко от полупереваренной истины, кстати.

Однажды утром я испытал боль при мочеиспускании. Нет, не то, о чем подумал Петена. Французским насморком тут и не пахло — я нанес визит урологу и узкий специалист снизошел до философских обобщений.

Какой-то специфический антиген показал превышение. Антиген однозначно выступал против моего имени. «Предстательная железа» — звучало предательски.

Повторный анализ подтвердил тревожную динамику. Мне назначили биопсию. Знающие люди понимают, чем это пахнет. Дело пахло керосином, изрекал во дворе дядя Рома, описывая в сотый раз, как тонул после фашистской бомбежки при форсировании Днепра. Но дядя Рома выплыл, сбросив шинель, вещмешок, котелок, сапоги — все, что тянуло ко дну. Все, кроме автомата ППШ на шее.

Этот геморрой хуже любого гайморита. Эту беду не подпалить керосином. Не вырезать штык-ножом. Не выжечь ротным огнеметом. Опухоль расплзалась по-пластунски, пожирая здоровые клетки, а по ночам перегруппировывалась, подтягивала резервы для решающего броска.

Оставалось идти ко дну. В темно-свинцовые воды диагноза. И тут я запил.

Я бы, может, не сорвался в штопор, кабы не два случая накануне. Направляясь к урологу в черных очках (зачем нацепил, непонятно), завернул в магазин без всякой цели. На самом деле цель была: я неосознанно тянул время.

Дворник сгребал кучи рыхлого грязного снега с тротуара на обочину проезжей части. Я поднял воротник. Дул мартовский ветер. Низкое небо раздавило солнце, и оно подтекало яичным желтком из-под свинцовых пластинчатых туч.

Высокое крыльцо магазина обычно облепляли бабки, торговки луком, чесноком, серой, домашними соленьями, а то и чекушками паленой водки из-под полы. Дурная погода их распугала, на стульчике нахохлилась одинокая тетка. Пальцами в обрезанных шерстяных перчатках она раскладывала на ящике свой товар — бумажные и тканевые цветы. Такие носят на кладбище.

Я рванул тяжелую дверь универсама.

Купил сигарет, хотя дома лежал блок фальшивого «Марльборо», и на выходе, в тамбуре, обнаружил попрошайку. Представители этой древней профессии выглядят одинаково: пуховик невинной масти на размер больше, засаленная вязаная шапочка, растоптанная обувь, картонка с косыми буквами в руках и обязательно — смиренный и тусклый взор. А тут женщина средних лет, одетая не лучше, но и не хуже, чем посетительницы магазина, держала отпечатанный на принтере текст. И смотрела на проходящих не уводя взора, словно не просила подаяние, а находилась здесь по служебным обязанностям, рекламировала товар или кандидата в депутаты. А главное, у нее были накрашены губы!

Я притормозил шаг — меня толкнули, извинились — и взгляделся в листок бумаги, который был наклеен на кусок ДВП: «Внимание!!! Не проходите мимо! Срочно нужны деньги на лечение мальчика...» Н-да, текст не отличался оригинальностью. В шкодливые годы реформ сотни таких мамаш стояли в проходах и подземных переходах.

— На что деньги? — достал я пачку «Марльборо».

— Здесь же написано! На операцию, — с достоинством разлепила кровавый рот просительница и выдавила ямочку на припудренной щеке.

Она не выглядела несчастной, всем видом показывая: гражданин, если любопытство праздное, то идите себе дальше.



— А какая... операция? — холодея от сквозняка и надвигающегося ужаса, спросил я, убеждая себя, что это очередная туфта, лапша на уши сердобольным простакам.

— От рака, мил человек, химиотерапия, вишь ты, не помогла... — пропела намеренно просторечно, с неким вызовом краснотубая, как Смерть, женщина. — От рака, таки дела.

Я вздрогнул и мигом вспотел.

— Ты, это... давай ври, да не завирайся! — тонко выкрикнул и бросил в картонную тару у ног попрошайки нераспечатанную пачку сигарет. — Нашла чем шутить, мошенка!

Не мошенница, а мошенка. От волнения, не иначе. А ведь высшее филологическое, мля.

Я ломанулся к двери, расталкивая людей, срывая черные очки. И на крыльце чуть не перевернул ящик с кладбищенскими цветами. Торговка вскрикнула: пара бумажных гладиолусов упала на заплыванный цемент.

— Какого черта? — вскричал я, поднимая цветы. — До Родительского дня еще два месяца! Два ме-ся-ца! Кого хоронить собралась?

— Простите, — донеслось из-под капюшона. — Хлеба купить... Не до хорошего... А цветочки кому мешают? Извиняйте уж...

— Но это же для мертвых! — оборвал я извинения. — Цветы для мертвых, понятно вам?

У врача я очутился не помня себя, взъерошенный, что воробей после долгой зимы. И зачем, дурак, отдал пачку сигарет? Чтобы больной раком мальчик закурил с горя? Глупость, тупость! К тому же, кажется, успел поругаться в очереди, крича, что повторные больные идут через одного. Куда торопился? Повторно на тот свет?

— Да вы садитесь, — сказала медсестра.

Но сидел я недолго, кратко отвечая на рутинные вопросы. Все было ясно без слов и биопсии. Уролог завел меня в соседнюю комнату, где стояла большая, чуть ли не двуспальная, кушетка. Я начал расшнуровывать туфли, но врач жестом показал, что ложиться не требуется.

Врач был молод, с модной недельной небритостью, под халатом вельветовые джинсы. В окне грачи, а может, вороны, я в них не разбираюсь, сидели на ветке старого тополя и глядели на меня. Захотелось их прогнать, даже рука дернулась.

Мне велели спустить штаны и повернуться.

— Нагнитесь.

Раздался легкий хлопок: уролог натянул перчатку.

— Раздвиньте...

До меня донесся запах табака. Интересно, где курит уролог? На крылечке, где с ним, с его модной небритостью, заигрывают медсестры, сексапильно держа сигаретки в алых ротиках? Вот лучше бы отдал «Марльборо» урологу...

Меня пронзила боль. Ход мыслей спутался. Узкий специалист действовал широко, гуляя указательным пальцем, как у себя в квартире.

Боль усилилась. Наверное, я мычал, как бык в загоне убойного цеха мясокомбината, если в комнату заглянула медсестра. Я крикнул себе под ноги:

— Полегче там!.. Как Элтон Джон, ей-богу!

— Потерпите...

Правильно, что не отдал «Марльборо» уроду урологу.

— Одевайтесь.

Снова раздался хлопок. Врач стянул перчатку и бросил под раковину. Вид у него был озадаченный.

— Хм... У вас гладкая мускулатура уретры... с ней не все гладко.

— Да, не гладко, я вам не Элтон тут Джон, — буркнул я, затягивая ремень.

— Кстати, — потер небритый подбородок врач, — кто это?

Ворона за окном нетерпеливо каркнула.

— Как? Разве вы не слышали? — тянул я время. — Э... профессор урологии... Британское вторжение...

— Так и думал, — кивнул уролог. — Видел в журнале у коллеги.

— Простите, доктор, мою невыдержанность. — Я сел на стул. — Но вы понимаете мое положение?..

— В вашем положении нет ничего унижительного.

— Скажите, дорогой... — назвал я врача по имени-отчеству, — только честно, сколько мне осталось?

Медсестра, молоденькая, с пухлыми губками, наморщив лобик, приготовилась записать, сколько мне осталось.

— Не скажу, — покачал головой врач. — Картина неясная. Нужно инструментальное исследование. Вам придется лечь в клинику... Таня, запиши. Если исключить в анамнезе инфекционную природу заболевания, то налицо длительное воздействие низких температур на мочеполовую сферу. Вы не строитель ведь? Плюс малопод-

вижный образ жизни, жирная пища, вредные привычки, застой венозной крови в малом тазу, ну и эректильная дисфункция, так?.. Вот направление и рецепт. Надеюсь, опухоль не злокачественная.

Он надеется!.. Приехали. Любишь кататься с горки — люби и саночки возить. Забыл мамин завет — носить теплые кальсоны фирмы «Дружба»? Теперь накроет медным тазом в области малого таза.

Между прочим, для операций в зимних условиях на севере Китая пехотинцам японской императорской армии выдавались шерстяные кальсоны. А поверх — шерстяные стеганные штаны. Будучи подростком, мама видела белеющее солдатское исподнее, в котором вояки без стыда копошились прямо на улицах Хайлара. При этом штаны были с напуском на ботинки — они их постоянно забрызгивали, справляя малую нужду. Двигаясь перебежками на утренние занятия в тети-Манином тулупчике, коротком, вытертом и холодноватом, ученица советской школы второй ступени Валентина Мантосова с завистью примечала, что даже для фляг и котелков у солдат имелись утепленные чехлы: они не давали остыть горячей пище.

Ведь что такое малый таз, философски поскреб щетину уролог, это не что иное, как походная емкость для естественного бульона. Если не поддерживать в ней тепло, то бульон становится питательной средой для болезнетворных бактерий. Страдает и детородная функция. Жизнь за Земле начинается и кончается в малом тазу.

Неудивительно, что японцы — хронические долгожители. Но войну они проиграли. А мы хронические победители. Над внешним врагом, не внутренним. Внутри себя победить труднее.

На худой конец, можно было поддевать под брюки женские или мамины рейтузы, как это практиковалось в старших классах, когда «Дружба» пошла на убыль. Так нет, надо было, козлу, форсить зимой в узких джинсах — под них едва хэбэшное трико и влезало. Теперь сливай воду. Ниже пояса.

«Кар! Кар! Кар!» К вороне на ветке подлетел ворон — несомненно, не грач, грачи, по Саврасову, символы весны и жизни, а эти твари только и знают, что вещать беду, — и воронье торжествующе закаркало с новой силой.

Рецепт я небрежно сунул в карман: поздно пить таблетки в салоне ритуальных услуг. Зато направление изучил вдоль и поперек, даже понюхал его. Пахло духами медсестры. На листике с ладонь

было наименование больницы, маленькая круглая печать врача, подпись и всего три буквы: РПЖ со знаком вопроса.

— И куда это меня послали на три буквы? — сунул я листок в окошко регистратуры и ногтем отчеркнул загадочную аббревиатуру, смутно надеясь, что буква Ж означает нечто жизнеутверждающее.

— А вам разве не объяснил узкий специалист? — осторожно ответили по ту сторону стеклянной перегородки — виднелся лишь белый колпак. — И кстати, тут знак вопроса... диагноз предварительный. Обратитесь к врачу.

— А я, как пациент, требую... Буду жаловаться в минздрав, — громко постучал я костяшками пальцев по матовому стеклу.

— Ну хорошо... Но учтите знак вопроса. — Колпак пришел в движение, и мелодичный голос известил: — Видите ли, РПЖ — это рак...

Дальнейшее я не слышал. На меня обрушилась стена тяжелого матового стекла.

«Рак! Рак! Рак!» — каркали во все горло черные птицы на корявом тополе, когда я вышел на крыльцо поликлиники, где жизнеутверждающе курил другой узкий специалист. Я решительно взял курс на универсам, где был накануне. Не за сигаретами — за водкой.

Слова из регистратуры догнали меня в пути и мерно, в такт шагам, ворочались остроугольным щебнем в черепной коробке: «Рак... предательски... железно...»

На крыльце и в тамбуре магазина было чисто, гулял сквозняк: накаркавшие диагноз торговка и попрошайка испарились. Нагадили и смылись.

Жены дома не оказалось, что в моем неунизительном положении было к лучшему. На плите стояла теплая кастрюлька.

Я сразу налил полстакана водки. Достал с полки граненый стакан, — говорят, их больше не производят, — выбросил из него карандаши и фломастеры, сдунул пыль. Граненый стакан символизирует мужество. Из него пили наши отцы в войну, пил я, когда был здоров как бык. Точнее, как дурак.

Полегчало. Отец говорил, пили перед боем и не пьянели. Но я опьянел быстро. И подбил бабки: стал вот дедкой — вырастил сына и дождался внуков. Дерево и то посадил на субботнике. Дом не хоромы, конечно, но с балконом, и санузел отдельный... Задача-минимум выполнена. А многие ровесники уже в земле. Недоносок зажился на этом свете.

Есть пара лет в запасе, болтали в очереди к урологу. А то и больше. Зависит от стадии и операции. Я почувствовал странную свободу. Да здравствуют вредные привычки, жирная пища и малоподвижный образ мыслей!

Я плеснул в граненый стакан еще. Проснулся аппетит. Выпив, крикнул и полез вилкой прямо в кастрюльку. Жена сварила мою любимую гречку со свиной. И заботливо накрыла кастрюльку полотенцем. Я чуть не заплакал. Свиная я изрядная, самого забивать пора. Ха, будет ли толк от моей опаленной шкуры и проспиртованной начинки?

Я с наслаждением бичевал и жалел себя, пил, чавкал и рыгал.

В очереди я послушался страшилок, но теперь они не казались такими уж страшными. И умирать не так больно, как при других формах рака, вещал в очереди один тип. Видимо, он уже единожды умирал.

Как как рок. Ну и плевать ниже пояса. На эректильную дисфункцию. По этой части есть что вспомнить. Успел, пока живой. Воспоминания — не так уж мало. Правда, помнил смутно, потому как одно удовольствие с одеялом накрывало другое. Не пил несколько лет, берег натруженную печень. И что в итоге?

Я закурил, хотя до того не осмеливался дымить в доме — лишь на балконе. Дым можно проветрить, а воспоминания не выветрить никаким инструментальным путем.

Рок как рок-н-ролл. Осталось хорошо повеселиться. «Прогуляться девка вышла, все равно война!» — мурлыкал однокурсник Серега П. после вторично заваленного экзамена и переноса его на осень. Продам дачу, сниму со сберкнижки последнее, переведу в фунты, прогуляюсь по местам боевой славы Битлов. Миную Элтона Джона и скучный файв-о-клок. Разгонять тоску и тамошний туман. Все пенни — в Пенни Лэйн. Перейду Эбби-роуд на зеленый свет. Да здравствует Ливерпуль в кавычках и без. Проход по левому флангу (там левостороннее движение) и прострел вдоль ворот. На фига я учил аглицкий с первого класса и постигал прононс в лингафонном кабинете? Глядишь, одолею Джеймса Джойса. Буду сдувать пену с запотевшей кружки в пабах Ист-Энда и на выносном столике под Вестминстерским аббатством. Пока не очокурюсь под Тауэрским мостом. Но сперва отведу душу ихним трехэтажным в двухэтажном автобусе. Есть еще скотч, мясной пудинг, премьер-лига...

Стоп. Положение вне игры.

Пора бы подумать о душе. Сбросить суету бытия, как дядя Рома. Все, что тянет ко дну. А ко дну тянет низкое. Спасает, понятно, высокое.

Водка явно способствовала духовному росту. Я налил еще. Делаю добро молча, без громких слов, толковала мама, а там разберутся... «Там» — ясно где. В небесной канцелярии секретарша с пухлыми губками, похожая на урологическую медсестру, поставит штамп на входящем документе, выдаст бахилы и присвоит номер курса мучения. Моральные уроды — те пойдут по этапу. В пункте назначения их изрешетят из автомата ППШ — и так, изрешеченный, как дуршлаг, я, сепарируя ветер сквозь дырки в теле, побреду по кругу интенсивной химиотерапии...

Поллитру я опростал менее чем за час, дальновидно не переодеваясь в домашнее. И готов был идти за второй.

В тамбуре круглосуточного магазина попрошайек стало больше: появился пацан. Оборванец, беспризорник, в летних замызганных кроссовках, я его видел у магазина ранее.

Перед походом к врачу я отложил энную сумму на дорогие лекарства. Хотел сразу от уролога бежать в аптеку, наивный. И вот всю ее, за вычетом водки и пары бутылок пива, бухнул в тару у ног попрошайки. Авось рак попятится раком.

Просительница добыла подаяние из обувной коробки с большим достоинством.

— Дяденька, дяденька! Ждите!

За углом магазина меня, глотавшего «жигулевское» из горла, нагнал мальчишка.

— Вы зачем дали столько денег, дяденька?! У нее и сына-то нет! И вообще детей нету! — запыхавшись, выпалил юный конкурент по промысловому цеху.

Я чуть не поперхнулся пивом:

— Такими вещами не шутят, парень.

— Да она в нашем бараке живет, могу показать, квартира двенадцать! Алимасова она. У ней сожитель, а не сын, Кривой Цыган. Вор, бабки на наркоте тратит!

Я отдал пиво пацану, нацепил черные очки и пошел обратно. Гордая попрошайка, урвав куш, считала мои деньги на крыльце.

— Минутку! — крикнул я издали. — Ваша фамилия Алимасова?

— Ну, допустим, — прищурилась Алимасова. — А ты кто, прокурор?

— Вроде того. Верните деньги, они помечены и переписаны. Вы занимаетесь незаконным предпринимательством, согласно статье 128-бис Уголовного кодекса РСФСР в редакции 1993 года.

Статью я выдумал на ходу.

— Ага, незаконным, точно! — шмыгнул носом пацан и отхлебнул пива.

— Это была контрольная закупка, гражданка Алимасова, — продолжал я раздувать блеф и помахал красной корочкой члена общества садоводов. — Квартира двенадцать? Алло, как слышите, прием?

Я вытащил диковинный в ту пору мобильный телефон «Моторола» в нерабочем состоянии, купленный с рук по дешевке, и громко прокричал фамилию, номер квартиры нарушительницы и формулу «контрольная закупка». Последнее словосочетание обычно производит неизгладимое впечатление.

— Да подавись!

Пойманная с поличным, Алимасова отделила купюру от моего взноса в фонд борьбы с раком, спрятала ее внутри необъятной груди, остальное швырнула к ногам. Диагноз был верный: не мошенница, а мошенка. От слова «мошна».

Пацан успел подобрать сотенную и сунуть в кроссовку. Я сделал вид, что не заметил, и тщательно собрал деньги.

Торговка кладбищенскими цветами сматывала манатки, складывала стульчик, засовывала бумажные гладиолусы в сумку на колесиках.

— Эй, а вы-то куда?

— Да ну вас! — махнула рукой хозяйка посмертной галантереи. — У вас там контрольная закупка, а у меня цветы ненастоящие. Последнее отбираете, менты несчастные! Будьте вы прокляты, империалисты!

Я живо смотался в магазин за добавочной чекушкой и догнал цветочницу, когда она с грохотом затаскивала сумку на крыльцо барака, что стоял на задах нашей пятиэтажки.

В подъезде было темно, воняло кошками, жареной картошкой и нерафинированным маслом. Деревянные ступеньки громко скрипели.

Женщина испуганно обернулась на лестнице:

— Вы зачем тут?.. Я больше не буду. Детьми клянусь! — И тут же гордо выпрямилась: — А хотите — общите. Нам терять нечего, кроме своих цепей!

Я давно заметил: чем больше прибедняется проситель, тем полнее у него дома чаша.

— А ну, пройдемте, гражданка. Чем докажете свою малообеспеченность?

Вторично делать из себя лоха я был не намерен.

На этот раз несчастье было настоящим. Углы клеенки на кухонном столе протерлись до дыр. В ведре шуршали тараканы. Края раковины со ржавым пятном посередине отбиты до черноты. Девочка играла на кухне пустыми бутылками.

— Мама! — заверещала дочка. — Хлеба принесла?

Она ринулась к сумке, рванула застежку, с победным вскриком подняла над головой буханку хлеба, дунула на кусочек рафинада, извлеченный из кармашка замызганного платица. Хозяйка разложила на полу цветы и выставила грязные бутылки. Их у магазина много: дворники не успевают убирать. Еще один промысел торговли.

В комнате заплакал ребенок — почуял возвращение матери. Женщина быстро нажевала хлеба, ушла за занавеску и, как волчица, изрыгнула добычу в рот детенышу. Плач смолк.

— А я помогаю маме делать цветочки, — похвасталась девочка.

Под носом у нее было грязно. Она жевала хлеб с сахаром и была вполне довольна жизнью. Главное, в этой жизни у нее есть мама. Я понял, почему та предлагала кладбищенский товар задолго до Радунницы. Жить-то надо сегодня.

Я снял очки. Цветы — фальшивые, а нищета неподдельная. Когда вернулась хозяйка, я всучил ей ком денег.

Женщина села на табурет и заплакала:

— Господи! Щастье-то какое... — Она громко высморкалась в кухонное полотенце. — Благодарю дяденьку, живо! — вскричала.

Девочка цапнула мою руку и начала слюнявить кисть, оставляя на ней мокрые сладкие крошки. За занавеской заплакал ребенок.

— Прекратите! Все! — рявкнул я.

Плач прекратился. За занавеской тоже.

Стало тошно от роли благодетеля. Дешевка. Такую сумму оставляют в ресторане за обед на два лица.

— Выпить, — вырвалось у меня.



— А у нас нету, — растерялась хозяйка. — Пойдите... Еремеиха с первого этажа спирт разводит. Никто покамись не травился... Я ма-  
хом.

— Не надо. У меня с собой, — показал я чекушку. — Стакан найдется?

— Вот, пжалте... — Хозяйка заискивающе протерла чашку тем же полотенцем, которым утиралась. — Щастье-то какое...

Она нарезала черного хлеба, не без гордости выставила тарелку квашеной капусты, покрошила вялую луковицу и полила закуску остатками растительного масла.

Я выпил. С опозданием предложил водки даме. Она отказалась — и мне это понравилось. Как понравился и ржаной хлеб с квашеной капусткой.

Доброта бедных людей куда слаще милости богатых. Слова мамы, как всегда, исполнены своевременной мудрости. О многом в жизни, сотворенном в пьяном виде, я жалел. Но о тех мятых деньгах — никогда. Спиритизм их, как старые долги, чем я хуже ростовщика Радевича из Хайлара?

На прощание, уже у двери, девочка подала мне бумажный гладиолус. Ее мать от ужаса прикрыла глаза — решила, что я заберу пожертвование обратно.

Я взял цветок. Авось не пригодится.

Так, с кладбищенским цветком в руке, меня свалила боль в паху. Острая, вошедшая вязальной спицей ниже пояса, боль переросла в тягучую, будто у меня взяли биопсию на ходу. Кабы не скамейка у подъезда, я бы рухнул на грязный асфальт.

И не мог подняться. Помог сосед, с ним я не здоровался, а зря. Люди лучше меня.

Дома закрылся в ванной. В мошонке слева опухло. Боль вроде притихла, но стоило встать под душ — ожила, да так, что в глазах потемнело. Туши свет. Пока не завалили охапками бумажных гладиолусов.

Я выпил еще водки для храбрости и позвонил другу. Храбрости требовалось мужество. Признать, что кое в чем не прав. Вот, и тут, перед лицом вечности (слова «смерть» я избегал), пытаюсь отделаться ничем не значащими, обтекаемыми фразами. Обтекающими подлость. Лингвист, твою мать.

У меня диплом филфака и справка иныа о незаконченном высшем. А у друга за плечами просто законченное высшее, само собой

филфак. Фак! Дело даже не в дипломах. Товарищ был элементарно грамотнее, эрудированнее меня, безо всяких инязов и словарей знал три языка. Он и дал работу в смутное время. Свел со столичным издательством. Поначалу мы переводили гороскопы, эзотерику, брошюры типа «Как стать миллионером за 12 недель» или «Как забеременеть по лунному календарю», околonaучные опусы, эротику, даже комиксы, словом, макулатурный хлам, хлынувший из-за бугра. А не так давно на нас вышел солидный западный заказчик и посулил грант с помещным долларовым содержанием. Подразумевалось, по завершении проекта последуют другие. Речь шла о религиозной литературе. В доказательство серьезности намерений из Москвы прислали новенький компьютер — редкую птицу в наших краях в те годы.

Компьютер был один. А нас — двое. Когда позвонил куратору, что-де забыть прислать второй «макинтош», тот сообщил, что европейские партнеры ограничили состав грантополучателей. Из проекта в нашей группе выпадает крайний участник. Боливар не выдержит двоих.

И тут я ни с того ни с сего брякнул, что в прошлом друга вызывали в КГБ. Это было полуправдой. Действительно, вызывали, но без карательных санкций, провели беседу, поставили галочку. Однако моего навета по телефону, без документального подтверждения, оказалось достаточно, чтобы вычеркнуть товарища из долларовой ведомости. И компьютер отдали мне. Заказчики ненавидели спецслужбы не меньше нашего, но боялись за бизнес. Лавочку могли прикрыть за любой намек на неблагонадежность.

По трагическому совпадению в те дни товарища бросила жена. Оставила с ребенком на руках. Просто не вернулась из зарубежной командировки, попросив развод заочно. Ребенок от тоски заболел. И товарищ, найдя по объявлению няню, пошел на стройку.

Когда я позвонил, бывший компаньон спал. Отсыпался после смены. Голос был хмурый.

— Прости, я ухожу... — сказал я, сжимая трубку и сжимаясь от боли в паху.

— Уходишь от жены? — проворчал товарищ. — Новый проект? У другой губы слаще?

— Проект старый. Я ухожу из него. Можешь забрать комп.

— Но они меня не возьмут! — Голос отвердел, друг окончательно проснулся. — Они же знают про меня, про то самое... про контору... Это не телефонный разговор.

О небо! Спустя десять лет после профилактической беседы в здании с колоннами, когда рухнул Союз и сама «контора глубокого бурения», абонент на том конце провода продолжал бояться призраков прошлого.

— И сроки, поди, поджимают? — приободрился компаньон. — Я не успею перевести, сверить...

— Вот именно — сроки. Им некуда деваться. Старых мерингов на переправе не меняют. Половину я сделал — в компьютере увидишь. Осталось только отредактировать.

— Вот как? Слушай, как раз на стройке сокращают всех, кому стукнуло сорок пять... Погоди, ты-то как? Что случилось? — спохватился друг.

Боль в паху унялась.

— Скажем так: по состоянию здоровья. Устроит?

Это устраивало всех. Заказчика в том числе. «Проект завершит мой коллега, да вы его знаете...» Они его знали. Об изъёме в резюме коллеги никто не вспомнил. Сроки поджимали.

Товарищ позвонил через день. Поблагодарить.

— Старик, спасибо! Ты же знаешь про дочку. Уход ей нужен. А я после смены устаю, как бревно... Но ты ведь тоже... по состоянию здоровья. Могу первое время отдавать четверть... Треть.

Последние слова дались ему через силу.

— Ты мне ничего не должен, — членораздельно сказал я в трубку.

Перебив поток благодарностей, добавил, что именно я заложил его работодателю. Как последний сексот уходящей империи. Что мы квиты. И повесил трубку.

Товарищ больше не звонил.

В течение суток я лишился части накоплений, перспективной работы и родного очага. Последнего рубежа — в связи со звонком представителя заказчика. Он попросил быть дома, когда приедут забирать компьютер. Жена потребовала объяснений. Не у заказчика — у меня.

В пылу объяснений тема кухонной дискуссии вышла за малые рамки. Меня обвинили в моральной импотенции. От лирики перешли к физике твердого тела. Кое-что высосал из пальца я, кое-что припомнили мне. И предложили уматывать туда, где никто не обвинит в импотенции.

Я схватил тревожную, по выражению горняков-спасателей и бытовых пьяниц, сумку «Адидас». Только во дворе сообразил, что

идти, собственно, некуда. Кювет жизни. Дачный домик выстудился за зиму до состояния ледяной избушки, а дров нет. Накануне знакомую одинокую женщину я по телефону обвинил во всем хорошем, и она, заслышав мой голос, бросила трубку. Так тебе и надо, недоносок. Деньги я сдуру раздал. Съемная квартира, не говоря о гостинице, не то чтобы не по карману — неуместна. Лучше взять выпить и пожрать чего... а там видно будет... есть на примете общага...

И тут я нащупал в кармане джинсов бумажку — направление в больницу. Так-так, паспорт и прочие ксивы при мне. А что, в больницы палате можно бесплатно перекаптоваться несколько дней! А что? Манная каша, перловый супчик, молоденькие медсестры (хоть поглазеть), чистая казенная койка, неспешные философские беседы с собратями по диагнозу, сон-час...

Это был выход. И вход. В приемное отделение.

Чтобы выплыть, говорил дядя Рома, надо оттолкнуться от самого дна.

Жена, услышав от кого-то, что я в больнице, примчалась туда с кастрюлькой бурятских пельменей - бууз, укутанной в махровое полотенце.

А главное, обследование неопровержимо установило: опухоль доброкачественная.

«Кар! Кар! Кар!» — жизнеутверждающе горланили вороны, пока мы с женой пересекали двор диспансера. Узкую асфальтовую дорожку взорвали корни деревьев.

Супруга взяла меня под руку. С модной недельной небритостью шагалось легко.

Синь разъедала белесые комки облаков. Теплый ветер доносил запах больничных щей. Блестели, словно мокрые, листики тополей. Солнце целовало в макушку.

Я перехватил пакет с пустой кастрюлькой из-под пельменей, растегнул пальто и гаркнул во все горло:

— Пр-ивет, вор-рона!

Немолодая санитарка в длинном ватнике с капюшоном, тащившая наволочки с бельем, не поленилась, остановилась, отняла руку с плеча и покрутила пальцем у виска.

Жена рассмеялась, метнула влюбленный взгляд, как в молодости, когда, неженатые, мы дружно шли в ногу на последний киносеанс, прижалась и шепнула ласково:

— Шиз!

А слышалось: жизнь.

С этого места, пожалуйста, подробнее.

## Полкопейки

### 1.

Город просыпается под трехязыкую молитву и мычание коров. Они несут на рогах клочья тумана: мимо глинобитных хижин и дощатых лавок, где, наскоро пропев тонкими со сна голосами хвалу небожителям, уже раскатывают по полкам ткани и смахивают бычьим хвостом ночную пыль; мимо базара с еще вялой толкотней тележек, груженных капустой, морковью и зеленью; мимо редких юрт, где под перебор четок и невнятное бормотание варят зеленый чай в чугунках; мимо низеньких изб, в коих топятся большие печи и крестятся двумя перстами; мимо крыльца двухэтажного дома с тяжелыми ставнями и не погашенным с ночи красным фонарем, где, похоже, не молятся вовсе.

Туман, вспоротый рогами домашних животных, поднимается над чешуйчатой крышей дацана и маковкой церкви, затем, гонимый дымом людских очагов, уходит в долину и к лесистым грядам Хингана, растворяясь в ультрамарине маньчжурского неба. Кукарекают длиннохвостые нерусские петухи. Еще немного — и солнце заиграет в мутноватых водах Хайлара, реки, давшей имя городу. В дацане раздается мерный стук медных тарелок, в церкви бьют заутреню. Востроглазые подростки с бамбуковыми коромыслами семят кривыми улочками, грохочут ранцами гимназисты с кокардами на фуражках, их сверстники в Новом городе повязывают красные галстуки. Смелее, уже в полный голос, брешут собаки, блеют козы — вослед слабеющему мычанию коров. От железной дороги летит гарь, доносится гудок, означающий, что поезд на Чанчунь проследовал по расписанию, — и по этому сигналу начинаются занятия в образцовой школе второй ступени.

Наконец, вижу мальчика по имени Мантык — как себя самого, до перерождения. Босого, в коротких бумазейных штанах, с неумытой рожницей и синяком под глазом, полученным в драке после игры в ножики.

...Я устал кричать на коров. Как всегда, эти безмозглые твари бредут медленнее, чем следует, — надо до первого солнца, говорит аба\*, выгнать стадо к реке, где трава сочнее. Иногда я грею ступни в теплой коровьей лепешке: пятки жжет иней ранней осени.

Сопки вокруг города в желтых проплешинах. Потом они побуреют, некрасиво полысеют. И тогда, вздымая пенные бурунчики на реке, с ровным свистом, словно гимназист в гильзу, вдоль долины задует ветер из пустыни Гоби, сухой и колкий, как верблюжья колючка.

Передернув плечами, мечтаю на бегу о глотке горячего зеленого чая. Пусть без молока — он ароматный и вкусный, потому что собран в самой южной провинции Гуандун, не устает повторять владелец лавки господин У. Господин этот необычный — лысый и с животом, чем сразу отличается от других китайцев, со спины похожих на мальчишек.

Наши задолжали господину У пять ланов серебра. Не знаю, сколько это будет на маньчжурские юани, живых денег в нашей семье давно не видели. Увидим позднее, когда аба Иста устроится на железную дорогу и принесет рубли. В Хайларе по рукам ходили разные деньги, даже японские иены. Серебром какие-то люди в сумерках расплачивались с абой на заднем дворе за перекрашенных лошадей. Юани аба Иста брал только в крайнем случае. Многие хайларцы во времена Маньчжоу-Го предпочитали ланы серебра.

Появившиеся рубли были на вес серебра. Например, в магазине Нового города, где живут «советские», можно купить невиданные товары. А не купить так поглазеть — на диковинный бинокль, велосипед, насос. Женщины гладили эмалированную посуду, рулоны тканей и, улыбаясь, отходили от прилавка. Мужчины ценили инструмент с клеймом «СССР». А еще — запечатанную сургучом водку, не чету рисовой. Детей завораживало на полках иное. Даже на копейку тут можно заполучить кулечек леденцов, на три копейки — набор разноцветных карандашей.

Но были в ходу и полкопейки. Многие думают, что полкопейки на свете не бывает. Еще как бывает! Это же полкулька леденцов!

Это открытие я сделал на окраине города, где меня поманил голу-боглазый человек. Выглядел он странно. Спецовка грязная, в масля-

---

\* Аба (бурят.) — отец.

ных разводах, в таких ходят рабочие КВЖД, а сапоги яловые. Да еще выбрит и пахнет чем-то сладким, леденцами, что ли. Мужчины в Хайларе брились только по праздникам. Голубовато-стальным глазом меня прожгло насквозь. Человек быстро и чисто спросил по-китайски. Я понял вопрос через слово и ответил «да».

— Говоришь по-русски? — улыбнулся незнакомец. — Наш человек!

Снова пахнуло приятным. Хайларцы так не пахли — лишь пришедшие офицеры: белые, красные, разные. Учувяв этот запах, на его носителей даже собаки не лаяли. У людей, пахнувших дикалоном, мог быть пистолет — уличные псины быстро выучили этот урок.

Человек извлек из штанин коробочку с картинкой всадника на лошади, постучал папиросой о крышку. Я заворуженно смотрел, как сгорает папиросная бумага. Такая нежная, из чужой жизни, где пахнет дикалоном. Папиросы я никогда не видел вблизи: аба Иста и соседи, даже женщины, курили трубки.

Человек, пыхнув папироской, спросил, хожу ли со стадом к реке. Я опять сказал «да». Человек протянул монетку и попросил обо всех незнакомцах, идущих в город, тотчас же сообщать господину У. И тогда с нашей семьи спишут долг. Он знал про наш долг!

Подъехала телега с грудой железок, на таких ездили ремонтники КВЖД, и человек-дикалон, отбросив окурков, скрылся в облачке пыли. Но оставил приятный запах.

Я разжал ладошку с залипшей монеткой. Бросилось в глаза грозно выдавленное «СССР», еще какие-то буковки вкруговую, а на обратной стороне: «полкопейки» и «1925». «Пол» написано отдельно и крупно, чтоб, не дай русский бог, невзначай не отвесили полный кулек леденцов, а только полкулька. Несмотря на свою половинчатость, монета была весомой. Я думаю, человек со стальными глазами, говорящий по-китайски, дал полкопейки не из жадности: у пахнущего дикалоном — денег что грязи на берегу реки Хайлар.

Он заплатил за половину задания.

Читать я толком не умел — ни по-китайски, ни по-русски, ни по-каковски, хотя в Хайларе имелось четыре школы. При этом две русские: белогвардейская гимназия и советская школа-семилетка, вторая распахнула двери в Новом городе через год после открытия железнодорожных мастерских с красным флагом на крыше. Когда на улицах появились солдаты со штыками, открылась и японская школа.

Но я перестал ходить в школу. В семье решили так: пусть Валя и сестры идут по ученой части, а я — по мужской. По части работы. Считать до ста научился — хватит. Я не возражал.

Как много букв поместилось на полкопейке! Прочитать их помогла сестра Валя. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — зачитала сестра по слогам, как прежде молитву, вызубренную для урока Закона Божьего. Ходить в гимназию Валя не захотела из-за толстого батюшки, который за неправильно сказанную молитву больно драл волосы. А в советской школе ее приняли в пионеры, повязали на шею красный галстук. И никто, даже пионервожатая, не драла волосы. Галстук после прихода японцев аба Иста сжег на заднем дворе.

С этой грамотой сплошные иероглифы. Стало непонятно, на каком языке в Хайларе говорить, не то, что читать и писать. Дома — на смеси бурят-монгольского и русского, на улице и на базаре — на китайском пополам с японским, разбавленными русскими ругательствами, в школе — на чистом русском. Успевай только башкой вертеть! Ползими Валя ходила в японскую школу — на этом настоял аба. Хотел понравиться новым хозяевам города. Это потом пригодилось: при встрече с солдатами Валя кричала японское приветствие, стишок-хокку и кланялась. Они смеялись и опускали винтовки... А ведь я своими глазами видел, как пьяный солдат вырвал из рук матери грудного ребенка, подбросил его и поймал на штык.

Обычно, лишь только раздавалась японская речь, мы с Валею прятались в подполье. Потом додумались до первого закона природы: выживает не тот, кто сильнее, ибо на любую силу всегда найдется сила больше, а тот, кто умеет сливаться с окружающей средой. Кто наловчился прикинуться неживым, несъедобным. Как это делает лесной паучок, притворяясь палочкой или сухим листиком.

И Валя стала выходить на хайларские улицы с вымазанным личиком, сливаясь с серыми, почти черными заборами. Солдатня перестала обращать на нее внимание. Зацепить взглядом пробегающую собаку, пролетающую муху труднее, чем кажется. К тому же лень снимать с плеча винтовку, чтобы прихлопнуть. Человека — как муху. Разве что на спор.

К этому открытию меня подтолкнула не школа, которую я бросил, а случай на утренней пастьбе. Лица пришельцев тоже были вымазаны береговой грязью. Они тоже не хотели привлекать внимания. Прикидывались несъедобными. Это были солдаты взвода разведки,



как я понимаю сейчас, переродившись, постарев и поумнев за неполный век.

В то утро выпала наша очередь пасти коров и со стадом послали меня, неуча. Значит, двое солдат, один в каске, другой почему-то в кепи с желтой звездой расстелили на траве брезент, пристроили на нем деревянный чемодан. Солдат, немногим выше меня, высморкался в рукав, сел на катушку с толстым проводом и распустил обмотки. Напарнику такая вольность не понравилась — он выразил это двумя тягучими словами. Маленький японец сплюнул вместо ответа и снова нагнулся к обмоткам. Винтовка мешала, и он положил ее на брезент. Тот, что повыше ростом, тоже сплюнул и уселся прямо на мокрую траву. Быстрым движением достал из подсумка пачку сигарет.

Маленький оказался телефонистом. Покончив с обмотками, он по-хозяйски щелкнул замками и раскрыл чемодан. Сверкая никелированными винтиками, на свет явилось чудо — я видел похожий телефонный аппарат в доме с красным фонарем, когда относил туда записку от взрослого дяди. Изнутри к крышке футляра-чемодана была приклеена фотография: на фоне нарисованной белой горы сидит семья. Родители и двое детей. Все застыли с испуганными выражениями. Мальчик моего возраста. В главе семейства можно было без труда узнать телефониста, хотя на голове у него вместо каски торчала шляпа.

Солдаты, кажется, очень устали и меня как будто не замечали. Из-за ртов шел пар.

Туман понемногу рассеивался. Маленький солдат показал рукой в сторону города, что-то проворчал. Высокий опять сплюнул и убрал сигареты.

Расплевались тут! У меня застыли ноги, а согреть их в коровьей лепешке не было никакой возможности: стадо, не видя, но чуя пришельцев, огибало место высадки разведчиков. В разрывах тумана проглянула неровная темная полоса — окраина Хайлара.

Маленький покрутил ручку аппарата, зачем-то дунул в трубку и коротко сказал. Подержав трубку, положил ее и усмехнулся. Напарник облизнул губы. Вяло поспорив, солдаты все-таки закурили — как по команде закрыли глаза и вытолкнули из ноздрей дым. Телефонист лег спиной на брезент и вздохнул. Его товарищ вытянул ноги. Морщины на их лицах разгладились, они стали похожи на лица китайских крестьян на хайларском базаре. Я понюхал воздух, пряный и

чужой. Высокий выбросил пустую пачку из-под сигарет. На ней был нарисован корабль с пушкой, красное солнце и иероглиф.

Разглядеть рисунок как следует я не успел: шею похолодило тяжелое лезвие. Штык пригнул меня к склизким обмоткам. Солдаты захихикали. Пахло потом и чесноком. Я старательно почистил рукавом тяжелые, в заклепках, ботинки, заляпанные илом и глиной. От страха меня стошнило прямо на них — к толстым рантам ботинок налипли кусочки жеваной лепешки.

Смех оборвался. Обе пары ботинок враз дернулись. На землю полетели недокурные сигареты, предательски дымя. Солдаты вскинули небритые подбородки.

Из тумана возник третий. Он пришел со стороны реки по следу телефонного провода. Он был не в ботинках, а в сапогах с отстегнутыми шпорами, и его шинель была чище. Презрительно сощурившись, он свернул козырек кепи вбок и поднес к глазам бинокль.

Хайлар цеплялся за холодное серое небо струйками дыма: ветра не было. Над городом, слабо крича, летали птицы, спугнутые ударами колокола. Базара из-за водонапорной башни не было видно, но чудилось, я слышу голоса — как торгуются и шупают товар покупатели.

Я встал на цыпочки и вытянул шею. Человек удивленно посмотрел на меня: белки глаз были желтыми, в красных прожилках. Он процедил сквозь зубы и исчез в редющем тумане так же внезапно, как появился.

Меня обшарили. Карманов в штанах не было, но все равно они нашли защитную монетку. Полкопейки 1925 года. Выковыряли ее из штанов штыком, больно оцарапав ногу.

Коровы шумно дышали неподалеку, где-то пищал голодный воробей.

Солдаты молча изучали монету. Их, должно быть, поразили буквы «СССР».

Они начали спорить. Маленький японец бросил взгляд на фотографию в крышке телефонного футляра и задумчиво посмотрел на меня, будто хотел что-то сказать. Высокий нахлобучил кепи, потянул из-за пояса штык-нож... Телефонист недовольно prognusавил. Они опять немного поспорили.

В воздух полетела монетка. Мои полкопейки. Высокий поймал монетку, прихлопнул и торжествующе показал товарищу. На ладони тускло отливалось: «СССР». Орел.

Телефонист фыркнул, как лошадь абы Исты, ухватил спорщика за запястья и перевернул ладони с зажатой монеткой. На сей раз возникли цифры «1925» и четко — «пол». Полкопейки. Решка.

Трюк известный. Его не раз проделывали гимназисты. Верный результат могла дать только земля. Землю не перевернешь.

Японские вояки тоже когда-то были детьми. Они заставили меня бросать монетку. Я сам должен был выбрать свою судьбу.

Монетка полетела в мокрую траву. Высокий и маленький принялись ее искать.

Голодный воробей бесстрашно клевал остатки моей блевотины. Рядом блестели полкопейки.

Страх стянул кожу на затылке. Не дожидаясь, когда монетку бросят в третий раз, я схватил ее и припустил изо всех сил, отбивая пятки о маньчжурскую степь — по ней катился огненный шар, опалая спину.

И в ту же минуту все вокруг пришло в движение, забряцало, заревело, окончательно разогнав туман.

Я взбежал на сопку, с колотящимся сердцем оглянулся.

Распугивая тарбаганов и повторяя извивы дороги, вдоль реки, от ее притока Кулдура, ползла гигантская темно-зеленая гремучая змея. Она подняла величественные клубы пыли, и первые лучи солнца высекали в них искорки штыков армии вторжения.

## 2.

Вам никогда не приходилось ездить в багажнике легендарных «жигулей-копейки»? Незабываемые впечатления. Никому не пожелаю. Разве что врагу. Может, в «мерседесе», «мазерати» или «феррари» багажник более комфортный, не знаю, не ездил, но в «жигулях» — никаких человеческих условий. Во-первых, он копеечно тесен. На поворотах этот плацкартный отсек эконо-класса сжимался в размерах. Во-вторых, колени резала железяка. Домкрата или пилы-«болгарки». Чудовищно воняло резиной, псиной и бензином.

Протестовать было бессмысленно. «Тихо, старый козел», — ржавым голосом просипели над головой. Хорошо, что я был пьян. Иначе сошел бы с ума из-за муторных позывов клаустрофобии. Надо отметить, похитители обошлись со мной гуманно, оставив початую бутылку водки. Ее я прижал к груди.

Поначалу я стучал кулаком над своей головой, орал что есть мочи, однако быстро выбился из сил и понял, что лучше сопеть в обе ноздри. Раз меня затолкали в багажник, значит, я зачем-то нужен. Неужели меня будут пытаться?!

Лиц напавших средь бела дня я не успел рассмотреть: все произошло стремительно, как в дешевом боевике. Заломили руки, дали под дых — я поперхнулся пивом, банка закатилась под скамейку. Пока откашливался, взяли за руки-ноги и бросили в багажник, словно куль картошки. А когда стал цепляться за острый край багажника, получил увесистого тумака в нос. Кругом потемнело. Барабанные перепонки разорвались от хлопка. И в тот же миг взревел мотор.

Сперва я лежал на спине, но стал давиться чем-то теплым. По солоноватому вкусу понял, что это кровь. Отплеываясь, с трудом залег на левый бок. Приложил прохладное стекло бутылки к лицу. Когда автомобиль остановился, судя по всему на перекрестке, исхитрился глотнуть. Водка была солоноватой.

Интересно, зачем я им, последний тунеядец СССР? Что я им, Альдо Моро? Денег у меня даже на закуску нет. И богатых родственников, способных заплатить выкуп, тоже нету. А если б и были, то заплатили бы только за бензин в один конец. Куда подальше. Так что пытаться меня утюгом нет резона.

Скорее всего, бандиты-рэкетиры ошиблись адресом. Начинались интересные времена, про которые мы, впрочем, уже слышали и видели по телевизору. Слово «рэкетиры» докатилось до нашего захолустья одновременно с доселе невиданным баночным пивом, но, взболтанная по пути в провинцию, банка при вскрытии разбрызгивала содержимое мимо рта.

Автомобиль подскочил на ухабе. Я стал напоминать собой банку пива. Если я забрызгаю своим содержимым багажник, они, точно, будут пытаться утюгом. Как в кинофильме «Воры в законе».

Что я им сделал? Помню, сидел на лавочке во дворе, пил пиво. Когда пиво проливалось на грудь, то, утираясь, я задевал висевший на шее талисман. Незамысловатый родовой оберег — просверленную монетку на шнурке, полкопейки СССР 1925 года. Пивом я запивал водочку. Жмурился на солнце, задумчиво глядел вслед девушкам. Была бы закуска — покрошил бы ее голубям. В общем, мирная картинка.

Солнце било в глаза, но не внаглую, не лампой следователя, оно тоже жмурилось. Комковатые облака на бескрайнем, как море, по-

лотне растерялись, застыли, не зная, в какую сторону бежать. Ветра не было. Люблю такие сентябрьские денечки. Еще тепло, уже не жарко. И девушки ходят туда-сюда. Еще с голыми ногами или уже в тонком капроне.

«Ах, эти девушки в трико нам ранят сердце глубоко!» — говорил мой однокурсник Серега Петена в ту пору, когда мы тоже представляли определенный интерес для девушек в капроне. Это было до нашей эры.

...Видения исчезли. Железяка врезалась в колено с новой силой. Затрясло. Путь пошел по бездорожью. Пустая бутылка перекатилась и больно ударила по виску.

Мой ор был прерван светом. Ослепительным, бесцеремонным. Я перевалился через борт багажника и, не вставая с колен, шумно проблевался.

Не успел вытереть пальцы о травку, как услышал рык:

— Полудурки! Вы кого привезли, дебилы? Он же старый, блин!

Кажется, меня не будут пытать. Стариков не пытаются. Еще помрут от инфаркта. Я поправил на груди монетку-талисман. Полкопейки для полчеловека.

На берегу Селенги стоял Сивоконь, бригадир частных такси. Сивоконь (фамилия или кличка — неизвестно) был не в ладах с законом. И давно. Болтали, одно время он держал воровской общак. Однако с ростом живота и седины завязал с прошлым и подался в «индивидуалы», как обзывали коммерсантов первой волны. Правда, мужики во дворе свидетельствовали, что Сивоконь, он же Сивый, он же Конь, торгует по ночам паленой водкой, дурью и краденой видеотехникой. С наступлением темноты такси становились передвижными киосками подержанных товаров.

— Бакланы! Шпана! Вы зачем человеку харю испортили?! Водилы несчастные. Бандиты недоделанные. Ниче доверить низзя. Щас самим рога поотшибаю! Распатроню!

Сивоконь набычился и выпятил вперед круглый, как пивной кег, живот. У бригадира не было шеи, голова с кепкой-восьмиклинкой начинала расти прямо из пухлой груди. Живот Коня казался больше, чем у собственной дочки, беременной неизвестно от кого.

— А этого тогда чего — отпустить?

— Верните откуда взяли! — раздался тот же рык.

По приказу шефа два дюжих таксиста в дерматиновых коричневых куртках бережно усадили меня на заднее место. Даже тряпку дали, чтобы утирать кровь и сопли. Тряпка воняла солидолом.

И я опять чудесным образом очутился на той же лавочке.

За последний час ничего в окружающей среде не изменилось. В небе застыли клочки облаков, все так же раздумывая, куда плыть. Небесная синь была цвета стеклоочистителя. Пацаны гоняли в футбол, девочки пищали на качелях, бабки торчали у подъезда, мамы с колясками кучковались у песочницы. Выкради меня вторично, как несчастного Альдо Моро, — никто бы и ухом не повел. Даже дворняги. Пьянство и бандитизм стремительно становились бытовыми.

Хотя мою обшивку оцарапали в мелком ДТП, в целом я не имел претензий к участникам движения. Нет худа без добра. Во-первых, благодаря встряске в багажнике я опорожнил желудок и мне окончательно полегчало. Во-вторых, Сивый передал через своих подручных денежку «на лекарства». А кровушку и утереть можно, не бере. И куртку-ветровку, изгвазданную в солидоле и соплях, давно пора выбрасывать.

Скамейка, на которой я опять пил пиво пополам с водовкой, считалась «пьяной». От глаз милиции и общественности ее прикрывали кусты акации. На ветках иногда росли мичуринские плоды скрещивания — граненые стаканы. И тут до меня дошло, из-за чего кипеш.

Раньше на скамейке сживал бездельник Санек. Бражничал, считал ворон, лузгал семечки, ругался с дворничихой. Прежде он трудился сантехником в ЖЭУ. Легкие трешки, ходовой номинал уходящей империи, испортили этого незлобивого, легкого на подъем светловолосого парня. С засорами, кран-буксами и прокладками он справлялся играючи. Вместо трешницы Санек мог довольствоваться и мятым рублем. Квартиросъемщицы женского пола, от пенсионерок до пионерок, души в нем не чаяли. Еще и потому, что кудрями сантехник напоминал Есенина, о чем возвестила член домкома и заслуженная учительница РСФСР Полина Сократовна.

На беду златым кудрям смазливового сантехника, в крайнем подъезде жила дочь Сивоконя. Отец выправил ей однушку. Таня жила одна. А без мужчины в доме то труба потечет, то слезы. Была Таня худа. Ее так и звали — Худая Танька. Мужики в ее сторону не глядели. Взглядом там зацепиться не за что, жаловался дед Жора, ветеран

советско-финской войны. Однако Худая Танька очень даже глядела в сторону мужчин. По слухам, вызывала мастеров своего дела на дом и расплачивалась с ними трешками. Скорее, пьяные сплетни. Доподлинно известен единственный случай, когда таксист, застуканный Сивоконем в квартире дочери, из бригады исчез... и всплыл ниже по течению Селенги месяц спустя.

А вот Саня-Есенин в крайний подъезд зачастил. С разводным ключом и без. Опоила его Танька, что ли? Осыпала дармовыми трешками? Да только образцово-показательный до того сантехник начал нарушать производственную дисциплину. Ведь сантехник должен быть лишь слегка пьян и опохмеляться не ранее первого перекура. Санек нарушал этот неписанный либеральный кодекс жилкомхоза. И его турнули без выходного пособия — на лавку. На ней он протирал штаны с утра до вечера, бывало, и трезвый, — ждал, что его позовут обратно в ЖЭУ.

Худая Танька, наоборот, не казала на люди носа-картошки, напоминавшего папашин. Позднее выяснилось почему. Как ни рядилась дочь Сивоконя в агрономские плащи, пузо перло наружу. Контраст между худым тельцем Тани и животом папашиных габаритов был разителен.

Синхронно с выходом Худой Татьяны в свет — в женскую консультацию — златокудрого Саньку ветром с лавки сдуло.

И на ней утвердился я. Изгнанный с малозначимой работы, торчал на скамейке и наблюдал течение облаков. Тут-то меня и сцапали сатрапы Сивоконя, приняв за виновника Таниных несчастий. Видать, таксисты-бандиты подумали, что именно такой, старый и облезлый, под стать Таньке-дурнушке. А скорее всего, ориентировка была скупой и тупой: «пьяный на лавке».

Я находился в приятном подпитии, когда возник Саня. Он выполз из подвала ЖЭУ, где ему в очередной раз отказали в вакансии, и жутко хотел выпить. Мне были близки страдания сантехника. Каждое утро я просыпался с мыслью, что уж сегодня-то найду работу, брошу пить и буду делать гимнастику на балконе. Дождавшись за углом, когда жена уйдет на работу, я усаживался на лавочку. Рано или поздно на ней появлялся единомышленник. Далее шло по накатанной.

...Когда мы приканчивали вторую чекушку водки, запивая ее четвертой банкой пива, возле лавки затормозили «жигули» с шашечками и надписью на лобовом стекле: «ИТД Сивоконь».

Повторно ехать в багажнике я отказался наотрез. Но два лысых бугая в коричневых куртках и широких спортивных штанах устремились напрямик к Сане. История повторилась в деталях. Опальному сантехнику заломили руки, дали под дых и бросили в багажник такси. А когда он начал барахтаться, защищаясь ножным насосом, ему показали отвертку, острую, как шило. И Саня притих.

— Вы чего творите, фашисты?! — вскочил я с лавки, осмелев от пиво-водочного коктейля. — Щас милицию вызову!

Мой протест был услышан.

— Это кто тут такой храбрый ментов звать?! — захлопнув багажник, обернулся таксист. — А-а, ты... Мало тебе одного раза? Хочешь еще прокатиться? Бизон, а ну, хватай его, пока он в ментуру не слинял!

Место в багажнике было занято. Саня был высок и длинноног, как кузнечик. Вернее, как стрекозел. В любом случае его лето красное пропело.

На этот раз я ехал с удобствами, прижатый на заднем сиденье коротко стриженным крепышом. Когда машина сбавляла ход перед светофором, я ощущал задницей вибрацию от слабых стуков и слышал невнятные крики. Стрекозел бил копытом. Таксисты ржали.

Мы приехали на то же место. Дивный вид! Река огибала небольшой остров с кустами ивы и уходила вдаль, втекая в небо. Сивоконь, расставив ноги в необъятных штанах, развлекался тем, что бросал камешки в воду, стараясь выбить как можно больше «блинчиков». Увидев нас, он оставил детскую забаву.

— Полудурки! Водилы несчастные! Бандиты недоделанные! Какого хера опять старого козла привезли?

— Да он в ментуру хотел настучать, шеф! — ткнул меня в бок таксист.

— Во, блин, неблагодарный! — Сивоконь от изумления вытянул шею. (Оказывается, у него есть шея!) — Ладно, пусть пока... Давай сюда энтото красавчика.

Саню вытряхнули из багажника и привязали к березке. Сантехник заверещал, но ему врезали по печени и сунули в рот тряпку — кажется, ту самую, которой я вытирал кровь и блевотину. Меня поставили на колени, наказав держать руки за спиной. Когда я попытался почесать нос, то свалился в траву от удара ногой.

— Горе хочешь? — вежливо осведомились надо мной.



Для затравки беседы папаша Худой Таньки обошел дерево с привязанным Саней и дал пинкаря шкодливому сантехнику по вызову. Тот замычал.

— Ну че, блондинчик, на кого внука мово записывать будем?

Саня выпучил голубые глазки и замычал с новой силой.

— Так ты не понял, красавчик? — расстегнул твидовый пиджак и выкатил живот Сивоконь. — Знаешь, кто я? Я отец Татьяны, усек?

Красавчик закивал утвердительно: усек, ежу понятно.

— Отец той самой дуры, которой ты заделал ребенка.

Санек возмущенно выпучился. Сивоконь выдернул тряпку из рта.

Намолчавшийся сантехник произнес тираду. Из нее, а также из отдельных реплик оппонента выходило, что Худая Танька на седьмом месяце, абортироваться поздно и, главное, эта дура не хочет, а Александр категорически отказывается жениться, мотивируя тем, что «с кем Танька на районе токо не валялась».

Таксисты вразной хмыкнули: дыма без огня не бывает. И прикусили языки от бешеного взора шефа. Сивоконь наклонил голову — белки глаз были красными — и сделал знак.

В ход пошел праведный огонь родительского гнева. К березе подскочил подручный с канистрой и с паскудной ухмылкой облил Саню горючим АИ-93. Златые кудри Есенина слиплись и потемнели.

— Не имеете права! — Бедолага фыркнул бензином. — Я в мили-ицию-у-у!..

— Шеф, гли-ка, и этот в ментуру наострился, сучара! Мож, его проще утопить — и концы в воду?

— В реке потушим красавчика!

Таксисты загоготали.

Стоял прекрасный день бабьего лета. Есенинские кудри искрились каплями горячего. Отговорила роща золотая.

Сивоконь не спеша размял папиросу, демонстративно прикурил от услужливо протянутой зажигалки, подошел к сантехнику и тонкой струйкой выдохнул дым в лицо. Огонек папироски кружил в опасной близости от паров бензина, распространяемых жертвой. Картина маслом баталиста, члена МОСХа РСФСР: нестигаемого партизана в лесах Брянщины допрашивает обер-полицай, куражась перед зондеркомандой.

— Что вы хотите со мной с-сделать? — с дрожью в голосе задал вопрос партизан Саня.

Непонятливого сантехника облили бензином еще раз. Для промывки мозгов. Однако при этом забыли, что арестованного воспитал комсомол. Правда, комсомол его же и исключил. За бытовое разложение в общежитии ПТУ. Но прежде воспитал.

Про вынутый кляп в ходе допроса с пристрастием забыли. И блондинчик плюнул в лицо своему мучителю слюной пополам с бензином АИ-93! Папироса в зубах обер-полиция погасла: в процентном соотношении плевка героической слюны было больше, чем предательских паров бензина.

Сивоконь зыркнул по сторонам лиловым глазом, утерся, брякнул спичечным коробком и твердокаменной рукой бросил горящую спичку на грудь патриота.

Сперва вспыхнули золотые кудри. Сантехник-партизан, корчась, завopil:

— А все-таки она вертится, вашу мать!

Из огня и клубов дыма сквозь треск неслись проклятья в адрес оккупантов и мерзкий запах горелого мяса. Когда прогорели веревки, человек-факел сделал несколько шагов и рухнул в нестерпимо-зеленую траву. От нестигаемого сантехника осталась черная тушка с вздытыми руками-ветками да кучка мелочи на проезд в один конец...

Таксисты-садисты, не стовариваясь, повернули звериные лики в мою сторону. Хорошо, что я стоял на коленях, а то бы ноги подкосились от слов:

— А со свидетелем че делать будем?!

— В демократическом обществе у человека должен быть выбор!  
— выкрикнул я.

Ответом был квакающий смех.

Я уже ощутил на губах маслянисто-приторный вкус АИ-93, как шевелятся волосы от ужаса и огня, но пинок в плечо — «Руки за спину, кому сказано!» — вернул в реальность.

Саня... стоял живой, мокрый, кудрявый, что береза, к коей был привязан. И без признаков копчения.

Это моя беда. У меня слишком развита фантазия, что в переводе на человеческий язык означает трусость, замечала мама. Однако фантазия перевешивала — я сумел влезть в шкуру малолетнего дяди Мантыка, пастушонка с берегов Хайлара. Мама так часто рассказы-

вала про бегство младшего брата от японского отряда, что я хорошо, еще с детства, представлял, в какую сторону рванул бы по холодку...

Мантык не без основания считал, что обязан своему спасению монетке — полкопейке СССР 1925 года выпуска. Ведь солдаты могли с ходу бездумно проткнуть пастушонка штыком или, зажав рот, перерезать горлышко, но наличие монетки надоумило их бросить жребий.

Когда разные авторы пишут про ужасы оккупации, интервенции, плена, чумы, про то, что жизнь не стоила копейки, пенни, песо, дой-чемарки, пачки сигарет, кружки пива, то я, обжившись в оболочке дяди Мантыка, смею утверждать, что в Хайларе тридцатых годов она не стоила и полкопейки.

Когда Мантык рассказал дома о встрече с японским дозором, то аба Иста в мастерских КВЖД просверлил в монетке дырочку, такую же как у китайских монет. Доморощенный талисман отхончик, самый младший в семье, надевал редко, потому что буквы «СССР» могли неверно истолковать японские патрули, наводнившие город.

Семейное предание гласит, что в день гибели Мантыка от рук торговца-китайца, у которого он украл морковку, талисмана на шее у мальчика не было...

Потом монетку носила его сестра Валя, моя мама. Аба Иста просверлил дырочку неровно — на своем веку шнурки талисмана несколько раз истирались. На моей шее монета висела уже на серебряной цепочке.

— Да согласен я, согласен, да подавитесь вы!..

Визгливый голос вернул меня из долины Хайлара на берег Селенги. Сивоконь задумчиво курил папиросу. Сантехник орал благим матом у березы и трясся.

— Согласный я, отпустите, я больше не буду! — заверещал Саня, едва к его лицу опять приблизился огонек беломорины.

В партизаны-подпольщики Саня не годился. Кишка тонка. Вантуз не тот.

И в этот момент на поляне появилась Худая Танька. Вывалила живот с первого сиденья. Хлопнула дверцей. Чужая тачка «жигулей» тут же газанула прочь.

— Папка!.. Саша!.. Что здесь вообще происходит?! — пошла в атаку животом вперед дочь бригадира.

— Тихо, доча. Короче, он согласный. — Сивоконь затушил папиросу каблуком.

— Щас же развяжите его!

Колыхаясь животом, Худая Танька бросилась к березе.

— Нет, пусть он повторит прежде... Говори, жених, распатрону! — рыкнул бригадир.

Дочь Сивоконя пыталась развязать узлы на веревках. Саня, учуяв защиту, осмелел. Он потряхнул кудрями, они уже подсохли и напоминали вермишель. И отчеканил:

— Допустим. Я женюсь. Не по любви, учтите. Допустим. Подавитесь!

— Чего-чего? — перестала возиться с веревками Татьяна.

— И «жигули» ваши — «копейка»! — разошелся Санек. — Грош цена вашему концерту!

— А нам подачек не надо, — отвалилась от березы девушка. — Я вам не Худая Танька!

— Стой, доча, — растерялся Сивоконь. — Он же согласился... почти. Чего делать-то?

— А что хотите с ним, то и делайте, — пошла прочь Гордая Танька.

Перспектива сгореть или утонуть в качестве свидетеля вслед за несостоявшимся женихом меня не устраивала. Я нащупал талисман дяди Мантыка и поднял руку, как на уроке. Чтoб увидели стоящего на коленях.

— Ну? Тебе-то чего? — набычился бригадир.

— Надо монетку бросить.

— А что, это мысль, — притормозила шаг дочь Сивоконя. — «Жигули» — «копейка», да? Да ты сам гроша не стоишь! Эй, у кого есть копейка?

Таксисты во главе с бригадиром начали выворачивать карманы. Я присоединился к благотворительной акции, не вставая с колен. Нашлась кучка мелочи серебром, а копейки — ни одной.

— Давайте рубль бросим, — предложил лысый бугай, заламывавший мне руки. — Какая разница?

— Большая разница, — заметила Гордая Танька. — Я сказала — копейка. Медный грош ему цена. Это я — не он! — буду решать, с кем мне жить.

— Во, у этого есть! — рывком поднял меня с колен амбал. Он протянул руку, похожую на березовое полено, к моему талисману: — Вау! Тут даже полкопейки будет!

— Не трожь, гад! — увернулся я. — Это семейная реликвия.

— Да стой ты, чувырла, не вертись. — Меня намертво обхватили сзади ручищами.

Присутствующие по очереди ознакомились с семейной реликвией, дивясь, что на свете существует половина копейки.

— Полкопейки твоя цена, — засмеялась в сторону привязанного хахаля Гордая Танька.

В ответ Саня что-то проблеял, обмякнул на веревках.

— Небось, баксов стоит, монета ить древняя, — заметил один из водил-бомбил, ковырнув ногтем полкопейки.

— Не-а, она ж порченная, с дыркой. Бракованная, вишь ты, — сказал другой.

— Тихо, бракованные! — растолкал подручных Сивоконь и обратился ко мне: — Слушай внимательно, фраер. Никто тебя не тронет. Мы можем денежку твою вырвать с мясом, сечешь? Но тут судьба человека решается... В животе человек который. Тут добром надо. Дашь на пять минут монетку, а я тебе за это на бутылку дам.

Я заколебался. На бутылку гипотетическому мертвецу не дают. Не в сивого коня корм.

— Нашел! — вскричал первый водитель-грабитель и показал копейку. — В заднем кармане закатилась в туалетную бумажку... Копейка что надо. «СССР! Девяносто первый год!» Больше таких не будет!

Про полкопейки 1925 года выпуска забыли.

— Решка — отпустить и женить. Орел — казнить, так как не орел он, — постановил бригадир таксистов.

— Да я без вашей копейки женюсь, — подал голос Саня. — Пустите, я буду кем хотите...

— Тут я решаю, кому быть женихом, а кому гореть синим пламенем, — молвила Гордая Танька.

— В демократическом обществе у человека должен быть выбор! — в отчаянии, трепеща березовым листом, крикнул сантехник.

Ответом был сардонический смех.

— Ща будет тебе выбор: в речку али в топку, — изрек таксист и подбросил монетку.

Копейка тускло блеснула в медных лучах заходящей над Селенгой гигантской монеты — солнечного светила — и упала в лапу Сивоконя.

Одно неосторожное движение — и ты отец, остроумно заметил сатирик. А тут не до смеха. Одно неловкое движение — и тебе капец. Однако движение может быть ловким. Этот фокус известен еще по мальчишеским футбольным баталиям. Можно дать монетке упасть в поле, а можно прихлопнуть ее ладоншкой. Второй способ рождает варианты. Увидеть сквозь пальцы орел-решку и неуловимым движением, перевертышем ладони, выдать нужный результат.

Верилось с трудом, но бригадир таксистов, невзирая на пузатый бампер, тоже был пацаном. Когда-то. И тоже знал этот фокус.

— Решка! — возвестил Сивоконь и торопливо прихлопнул копейку своей лапой.

Наложил вето на возражения со стороны невесты и жениха.

Медовый месяц — это когда влип.

Наконец-то Санька познал тайный смысл устойчивого словосочетания, — сидя за свадебным столом с припудренным фингалом под глазом. И я на той свадьбе был, мед-пиво пил. В качестве свидетеля. Со стороны жениха.

Слабо пованивая бензином, Есенин втихаря выражался немедовыми словами и не в рифму. Худая, но Гордая Танька млела в фате, пряча живот под столом.

Галстук на Сивоконе смотрелся как на хряке уздечка. Ворот белой рубашки не застегивался. Пара таксистов-садистов в унисон работали сильными челюстями и чокались друг с дружкой, не дожидаясь официальных тостов.

Когда в очередной раз Санек обдал меня ароматом АИ-93, чтобы выразить категоричное мнение по поводу сборища, я заметил, что из-под распущенного галстука жениха выбилась золотая цепочка. К ней цеплялась просверленная монетка. «1 копейка. 1991. СССР». Реликвия распадающейся империи и всей этой вонючей истории.

### **Змеевик медный Спираль 1**

Этот медный змеевик, не более полуметра в длину, ужом прополз в наши дни, демонстрируя нечеловеческую живучесть. Извиваясь, что лосось на нерест, — да нет, бери выше! — что сперматозоид, он бесстрашно одолел пороги тернистого пути из феодализма

в социализм и рванул далее — по спирали развивающейся демократии. Пережил облавы, антиалкогольные кампании, проработки на товарищеских и мировых судах, увел по ложному следу охотников за цветным ломом. И не покраснел от стыда, лишь позеленел от времени. А ведь ему, почитай, сто лет в обед, за коим не грех опрокинуть стопку первача.

Когда-то мой дед Иста провез его в СССР во втором уцелевшем чемодане работы хайларского мастера Бельковича. В первом, как известно, контрабандой провезли пару кирпичей.

В канун бегства из Хайлара из-за этого представителя семейства гадюк вышел грандиозный скандал. В маньчжурский диалект вползли русские маты и завернулись в три кольца. Был полный бенц, как выражался еврей Юрий Радевич. Крик и топот. Из пасти нефритового дракона выпали три шарика. Бабушка Елена категорически не хотела брать самогонный аппарат в страну большевиков и светлого будущего. Места в чемодане и так катастрофически не хватало. Даже для дракона. А тут на жизненное пространство претендует неудобь в приличном обществе сказать кто! То есть что.

После оживленного обмена мнениями решили ограничиться змеевиком — центральной и небольшой деталью чудо-аппарата. Он и получил билет в качестве ручной клади. А вышло — подручного клада.

Самогонный аппарат, конструкцию из нержавеющей железа размером с полено, дед Иста приволок из ремонтных мастерских КВЖД. Бабушка Елена отметила вредное влияние русских товарищей. Однако едва первую продукцию — литровую бутылку самогона, даже не первача — обменяли на туесок муки, хозяйка прикусила язык.

А перед отъездом в СССР язык распустила. И даже обозвала мужа архиншой — пьяницей. Хотя пьяницей дед Иста не был. А был вечным работягой, бравшимся за любую поденку. Самогон он гнал нечасто: не хватало сырца. Мелкую хайларскую картошку и ту в доме считали поштучно. В пасть агрегата шли мерзлые картофелины или рис, сметенный в конце дня с прилавков и полов городского базара. И все равно самогонка деда Исты была лучше дрянной чанчуньской водки. Дед-самогоновец успешно менял плоды надомного труда на продукты.

Будучи в вечных раздумьях, чем накормить семейство, Иста Мантосов надеялся в неведомом Советском Союзе выгонкой огненной жидкости уцепиться за новую жизнь. Хотя бы на первых порах. В Маньчжурию они с будущей женой Еленой попали из Приангарья подростками вместе с родителями, крещеными бурятами, которые, как и сотни земляков, подались на строительство Китайско-Восточной железной дороги. А потом в России случилась революция. Судя по беженцам, наводнившим Хайлар, эта революция ничего хорошего не сулила. Как и СССР. Зато эту силу уважали и боялись. Те же японские солдаты. Эта деталь была главной. Центровой — как змеевик.

Иста с младых лет уяснил одно: самогонку любят и красные, и белые, и желтые. Голубоглазые и узкоглазые. Любил ее, конечно, и мой дед. Просто у него оставалось мало времени для бытового пьянства. От советских рабочих Иван, как звали Исту в бригаде, слышал, что в СССР ввели госмонополию на водку. Даже магазин в Новом городе, где с одного крыльца торговали промтоварами, а с торца — водкой, обзывали «монополькой». Но запретный плод слаще, вспоминал дед Иста русскую поговорку. Слаще и дороже.

Жену он убедил тем аргументом, что по ту сторону границы продаст змеевик за ближайшим углом. Якобы его оторвут с руками (что могут оторвать с ушами, дед как-то не подумал). В итоге медная штукovina, изъятая из тяжеловесного агрегата, прошмыгнула в чемодан и забилась в угол, чуя свою ущербность в моральном плане. Бабушка Елена накрыла змеевик тряпками.

Досмотр таможни был орнаментально-декоративным, как иероглиф. При пересечении границы в вагон зашли два пограничника и, задохнувшись от спертого воздуха, с зажатыми носами тут же подались вон. Можно сказать, что змеевик прополз в Страну Советов контрабандой.

Сказать можно. Но с натяжкой. По прибытии в Улан-Удэ на станции Дивизионной боец НКВД, обнаружив медную спираль в чемодане, лишь посмеялся. Так змеевик попал в опись вложения чемодана из Хайлара.

Называется, пригрели змею на груди.



## Спираль 2

Республиканский наркологический диспансер

СПРАВКА

Вниманию медицинских работников!

Гр. (Ф. И. О.) прошел радикальное лечение по поводу хронического заболевания (прочерк), ему проведена имплантация препарата «Эспераль» сроком на 3 (три) года.

Введение и прием любых спиртосодержащих препаратов данному пациенту строго противопоказаны и являются опасными для его здоровья и жизни.

Пациент предупрежден об опасных последствиях, которые могут развиться в случае нарушения режима трезвости.

(Печать, подпись, дата.)

Такая вот эспераль истории, понимаете ли.

Подобное радикальное лечение в народе еще называли «торпедо». Медный змеевик торпедировал мою личную жизнь, едва не пустив семейную лодку на дно.

Жена моя законная, вертя справку так и эдак, заметила, что срок и дату можно было не ставить. Тонко намекала на толстую генетику по мужской линии. На тяжелое наследие феодального Китая, где так и не научились делать приличную водку. Припечатала штампом наркодиспансера деда Исту и попутно деда Павла со стороны отца. Тот еще был строитель социализма.

Разговор происходил по завершении полуторанедельного пребывания в закрытом помещении. Я был слаб от курса капельниц, интерактивного общения с тамошней публикой, включая драки с санитарями. Не теряя морального и физического преимущества, жена предложила сдать медный змеевик (она его почистила) в пункт приема цветного металла. Я ринулся в темнушку и торопливо щелкнул замками фибрового чемодана. Змеевик при извлечении на свет блеснул надраенными до рыжеватой наглости легкомысленными извилинами. Хоть сейчас в бой и в запой.

Одним словом, заметила классная руководительница, докатился.

В восьмом классе меня обсуждали на педсовете за то, что в школьном туалете пил вино «типа Кеши». Был такой изумительный напиток из виноградного жмыха со смешным названием на ценни-

ке, продавался на розлив в магазине «Спутник». Стоил 48 копеек за литр. Мама давала в школу копеек пятнадцать. Хватало на коржик и компот. Литр вина — много даже для взрослого. Мы с одноклассниками брали вино в складчину. Так что коржик шел на закуску, а вместо компота, выходит, «типа Кеши». Вино в силу дешевизны было столь популярно, что одноименного мальчика пионерского возраста задрознили до того, что он перевелся в другую школу. Но и там, говорят, его звали не Иннокентием, не Кешей, а типа того.

Спрашивается, куда смотрела общественность? Видно, туда же, куда и продавщица — в молочный алюминиевый бидон. Его приспособили под винную емкость. Тетя в заношенном халате, поелозив по дну бидона литровым черпаком, небрежно переливала янтарную жидкость в принесенную тару — банки и бидончики. Мы подставляли под струйку литровую бутылку из-под молока. Лихо воткнув в посуду воронку, продавщица одним глазом пересчитывала мелочь, другим следила за реализацией винного продукта. И непрерывно жевала серу. При этом ни капли, ни копейки мимо!

Халат продавщицы был колера мятой алюминиевой фляги. А лица мужиков в очереди — цвета «типа Кеши», янтарные. Вот вам и общественность. Дешевый напиток они непедagogично называли «мочой» и «мечтой пионера». В общем, пошло несерьезное, годное разве что на опохмел да малолеткам. Лишь однажды нашу гоп-компанию, облепившую уже наполненную бутылку на подоконнике винного отдела (она не входила в ранец), урезонила статная тетка: «А еще комсомольцы!» Мы ответили торжествующим клекотом.

Нас выслел учитель истории и обществоведения по кличке Католик. Кличка ему шла. Видимо, такими и были католики. Галстук-удавка, вонючий «Шипр», сам поджарый, темноликий. Член педсовета инквизиции. Поджарился, подкладывая дрова в костер для грешников.

Пил я, понятно, не один. На липкую литровую бутылку слетелись четверо одноклассников, что мухи на сладкий компот. В одиночку, болтали пацаны, пьют только алкоголики. Однако на скамью подсудимых угодили я да мой товарищ по парте — тезка Генка Свирин. Плохие гены. Я был твердым троечником, Свирь — не менее твердым двоечником. Два сапога пара, и оба на одну ногу. Генка и подбил нас на пьянку. На подвиг. А я невиноватый — просто выпала моя очередь. Жребий судьбы.

Пили по кругу. Свирь банковал. Граненый стакан украли из автомата «Газвода». Для дружеской пирушки в окружении унитазов мы предусмотрительно выбрали туалет не в главном здании школы, а в пристрое мастерских, куда редко заглядывали учителя. Пили стоя, как на фуршете. Коржики из буфета держали в левой руке. Стакан наполнялся доверху, присутствующие перманентно трусили и мечтали скорее завязать с пьянством. Одноклассники нервно поглядывали на дверь, она держалась на хлипком крючке. Виночерпий, стоя в дверях с банкой наперевес, мрачно усмехался, отрезая путь к отступлению. Давясь и проливая напиток, каждый думал о том, чтобы не запятнать себя несмываемым пятном слабака.

Хотя один комсомолец запятнал. Школьный костюмчик. Это был самый мелкий — Сашка Ухов. Ухо и брать-то не хотели, но он обещал после уроков прокатить всю компашку на колесе обозрения в горсаду, где работала его старшая сестра. Прожигать жизнь — так на всю катушку. Едва Сашка с громким чавканьем дохлебал вино, как сразу метнулся к унитазу и выблевал выпитое. Свирь заржал. Мы мужественно хохотнули.

Генка торжественно подал мне стакан, наполненный до краев, даже с горкой.

— Это сила поверхностного натяжения, — показал на янтарную дугу Ухо. После опорожнения желудка ему стало легче. — Помните, физичка на уроке говорила...

Словно в патриархальной юрте, я бережно принял дар обеими вспотевшими ладонями. И лишь после этого Генка дал Уху оплеуху. Разумеется, в ухо.

Я облизнул губы, сглотнул слюну, выпрямился, будто меня хотели повторно принять в пионеры (самое яркое впечатление, прием в комсомол не помню). На фоне пыльного, вымазанного сизой краской окна вино с рубиновыми переливами смотрелось на твердую пятерку. В животе заурчало. Свирь подмигнул: давай, чувак, на тебя смотрит СССР!

И в этот момент дверь выбили плечом.

— Эт-та у нас што тут такое, а?! — взвился к закопченному потолку туалета скрипучий, иезуитский голос.

На пороге стоял Католик. Морщины на его кувшинообразном лице разгладились от удовольствия. Он улыбался, склонив голову набок и белея пробором.

Учитель шагнул в помещение для фуршетов. Он неотрывно глядел на меня. Собутельники недолго думая прошмыгнули у Католика под мышками. Как мышки. Он даже не пытался их задержать. Последним с чувством выполненного долга слинял из туалета Свирь.

Я убежать не мог. В руке у меня был полный стакан. Рука была мокрой от вина. Мелькнуло: избавиться от улики, вылить ее куда-нибудь! Но до унитаза далеко. И я вылил. В себя. Медленно. Завороженно глядя в глаза Католику. Зрачки историка ширились и обретали стальной оттенок. У меня зашевелились волосы на затылке — честное комсомольское! Полагаю, от ужаса. Так загипнотизированный кролик напоследок жует морковку, дабы стать слаще для удава.

На судилище инквизиции сей вопиющий факт призналиотягчающим. Выдуть стакан вина на глазах у учителя — это вам не за косячки девчонок дергать.

Комсорг класса Люся Фролова, сидевшая через парту, глядела ласково. Даже десятиклассницы шушукались и на перемене бросали на меня взоры. Комсорг Люся, подавая под расписку приглашение на чрезвычайное собрание, задержала мои пальцы в своих. Секс-бомба класса Зоя Мясина, оправдывая фамилию не по годам развитой грудью, на уроке физкультуры невзначай коснулась левым буфером. Я стал героем школы.

Но мне было не до славы. Дома стоял запах валокордина, сводивший с ума нашего кота. Мама тихо плакала. У нее поднялось давление.

На педсовете, куда вызвали родителей, мама готова была провалиться сквозь землю. Генку Свирина называли потенциальным преступником, меня — начинающим алкоголиком. Как в водку глядели. Дальше других пошел член родительского комитета, кандидат филологических наук, доцент местного пединститута, тип с академической бородкой. Мы еще вполголоса поспорили со Свирем, сидя на скамье подсудимых: шкиперская борода или пиратская? Доцент, поблескивая стеклышками очков, открыл доминантный дискурс об этимологических корнях наших со Свирем имен и, как исследователь, вывел тезис о наследственных генах. То был камешек в огороде да Исты.

Однако был еще дед Павел. Родня звала его не иначе как дедка Павел — в прозвище сквозила какая-то несерьезность. Легкий раскардаш. Загул в среднесрочной перспективе.

Еще в молодости дедка Павел пристрастился к картам. Эта беда поразила аборигенное население Южной Сибири одновременно с приходом благ цивилизации, электричества, изб-читален и машинно-тракторных станций. А где карты, там и зелено вино. Но карты шли козырным номером. В них играли сутки напролет, забывая покушать, разве что пили — не обязательно вино. Все затмевала игра. Проигрывали дома, скот. Мужчины уже не помнили, как выглядит коса, топор, вилы, седло, покидали родовые места, уходили в Иркутск, где исчезали в подпольных катранах\*.

После смерти жены Марины дедка Павел бросил пятерых детей. Забота о них легла на узкие плечи старшего сына Тараса, подростка. Это был мой отец. Отрезвила война. Дедка Павел появился на пороге старенькой избы как ни в чем не бывало. В карты он проиграл мало, потому что проигрывать было нечего. Дом, в котором прозябали дети, и тот был чужой — раскулаченных односельчан. К тому времени отец, недавний рабфаковец, находился в Действующей армии, служил офицером. На его денежный аттестат, а это было богатство по меркам бурятской глубинки, семья и выжила. Как-нибудь я подробнее расскажу об отце, а пока — о моем милом непутевом деде.

В нем многое шло из детства. Он и к картам прилип, как к ди-ковинной игрушке с цветными рисунками из неведомой сказки. На пороге нашей городской квартиры в одной из первых хрущевок Улан-Удэ он возникал в своем стиле — безмятежно улыбаясь, будто ничего не случилось. В кармашке великоватого пиджака с сыновнего плеча торчала колода карт. Дедка Павел всегда проявлял интерес к моим игрушкам, восхищенно цокал, раздвигая усы, когда брал в руки гоночный автомобиль с инерционным моторчиком: таких забав в свою пору взросления он не видел. Интерес был искренний, дети это чувствуют. Вместе мы, старый да малый, ползали по полу, катая машинки.

Время от времени дед предлагал сыграть в самое безобидно-детское — в подкидного дурака. Я был не прочь. Все эти нарядные дамы, короли и валеты, черви и пики манили в волшебную страну. И только окрик моего отца заставлял дедку Павла испуганно, роняя на палас даму крестей и валета бубей, прятать колоду обратно в кармашек.

---

\* Катран — карточный притон.

Между сыном и отцом-стариком не было доверительных отношений. И разговоров не было — только ворчанье моего отца и виноватая улыбка дедки Павла. Время поменяло роли: отец стал сыном-шалопаем, а сын — строгим папашей. Дед, конечно, чувствовал вину за прошлое, но неглубоко, что ли, как ученик, прогулявший урок.

Лучше относилась к гостю моя мама. Под неодобрительным взором мужа она наливала свекру большую рюмку водки и тарелку картофельного супа с мясом — вожделенное блюдо бедняков. При этом выбирала мясо помягче — для стариковских зубов.

Дедка Павел любил невестку, называл ее — бэрхэ, непоседа.

Аккуратно, мелкими глоточками дед выпивал водку. Проводил по усам, нюхал корочку хлеба и замирал, прикрыв глаза, словно птица. Почти ничего не ел. Когда мама меняла остывшую тарелку на новую и настоятельно просила дорогого гостя откусать, то дедка Павел лишь улыбался, оглаживая живот: «Пусть впитается...» Наверное, оттого он был тощим — пиджаки болтались на нем, как на швабре.

Дедка Павел интуицией игрока понимал, что второй рюмки ему не нальют. И надо выжать мелкую удачу, выпавшую из колоды бу-ден, до капли. Пусть впитается.

### Спираль 3

Даже в мутные годы полусухого закона самогона я не гнал, предпочитая магазинную водку, а змеевик сдавал напрокат по совету знакомого драматурга Базара. У тебя козырь на руках, сказал он, это же золотое дно, лизинг. Базар — имя восточное, рыночное. Не чуднее, чем ваучер, бартер и прочие ужасы капитализма.

Новые времена придали супруге смелости. Медный змеевик она поименовала змеей подколодной. Находиться в доме творению деда Исты стало опасно.

Однажды я пришел с работы и, даже не переобувшись в тапочки, полез в фибровый чемодан. Надо пояснить, домой я заявился в легком подпитии. В редакции за бутылкой итальянского вермута, выставленной корректором Ксюшей по случаю дня рождения, мы полвечера обсуждали выгоды самогоноварения при неожиданном раскладе общественно-исторической формации. У кого-то остался талон на водку, их давали на каждого члена семьи, включая грудных младенцев, из расчета две бутылки в месяц на рот или соску. Но водка в магазине

кончилась, очереди давно рассосались, пришлось утешиться «катанкой», паленой водкой, купленной у тетки за углом. За редакционным столом, кривя устрашающие рожи после глотка разведенного технического спирта, мы с новым энтузиазмом принялись ругать новую власть. И вспомнили про самогон. Аж слюнки потекли.

Змеевика в чемодане не оказалось. Жена пожала плечами. Однако тревожный взгляд в окно выдал ее.

В фиолетовой дали наступающей ночи зазывно манили огни у теплотрассы. Около нее каждый вечер горел костер, собирая в круг бездомных и темных личностей. Этот костер, видимый с моего балкона, зажегся с началом реформ. Летом и зимой у него грелись сборщики металла, терпеливо дожидаясь дымящегося варева на тагане; здесь же они ночевали, накрываясь картонной тарой. Тем, кому не досталось места у костра, летом отползали в кусты, по осени вжимались в трубы теплотрассы.

В монокуляр восьмикратного увеличения, подаренный отцом в детстве, я видел напольные весы, железный гараж, приспособленный под склад, облезлый диван и кресло, гниющие под открытым небом. В кресле посиживал, судя по позе — нога на ногу, хозяин приемного пункта черного металла и цветного лома. Метрах в тридцати от костра стоял вагончик. Вроде офиса, полагаю. Бродяги всего города, словно муравьи, стекались сюда с добычей. Иногда добыча в разы превышала габариты человека-мураша. Пару раз я наблюдал, как пацаны катили к весам чугунные люки канализации. У вагончика разыгрывались бессловесные драмы: человечки, отчаянно жестикулируя, сновали от весов к костру и обратно; порой до меня, покуривавшего на балконе, доносился слабый женский крик.

Дело было поставлено с размахом. К концу дня к вагончику подъезжал грузовичок с небольшим краном. Одно слово — «воровайка». Частенько там торчало и иное транспортное средство — милицейская коробочка «уазика».

Утром с большой головой я отправился к теплотрассе в слабой надежде найти прерывистые следы «змеи подколодной». Путь оказался не столь близким, как это представлялось с балкона. Хожdenие по песку прибавило расстояния. Туфли запылились, то и дело я оставался, вытряхивая камешки.

Возле вагончика на козлах для распилки дров лежал карликовый, метр с кепкой, цельнометаллический Ленин, крашенный серебристой краской. Впрочем, кепки на вожде не было, как и левой руки,

в коей он должен был ее сжимать. Рука с кепкой валялась под верстаком. Зато правая длань указывала путь в коммунизм, где раздают мелкую монету, — в данном случае на дверь вагончика.

Перед ней с утра пораньше маялись три типа неопределенного возраста с мятыми лицами и два пацана. Несмотря на лето, на типах были замурзанные пуховики.

Протяжно скрипнула дверца. Из вагончика вышел шеф — так эти холопы, кланяясь в пояс, именовали своего барина. Шеф был круглолиц, круглобок и золотозуб. Мелькнуло: зубные коронки и те из цветного лома. Хозяин приемного пункта, синхронно ковыряясь в носу и жуя жвачку, развалился в грязном кресле.

Шеф, как видно, был неплохим психологом, если с ходу, без взвешивания, предложил троице за моток медного кабеля и алюминиевые обрезки пол-литру технического спирта. Три друга согласно кивнули и, робко постучав, вошли в вагончик-бухгалтерию. Пацаны, как представители поколения пепси, оказались более прагматичными — за неподъемную крышку канализационного люка, под которой, видимо, ночевали, требовали твердую цену. Приемщик, не вставая с кресла, предлагал вдвое меньше, мотивируя тем, что вообще-то они «по чугуну не работают». Из носа он выковырял нечто, схожее с микрозмеешком, и принялся разглядывать козявку на свету.

И тут я не выдержал:

— А если кто упадет в колодец, кто отвечать будет?

Ковыряющийся в носу хозяин новой жизни раздражал.

— А ты кто такой, коммунист, что ли? — прекратил мелкую мотику шеф.

Японский городской! И этот оккупант ищет коммунистов.

Выяснив, что я не «коммунист», то есть не из коммунальной службы, хозяин подобрел. Кивнув на скоросшиватель в моей руке, обнажил золоченые коронки:

— Хотите продать оптом? Сколько весу? Имеются расценки.

Колыхнувшись животом, он живо вскочил с кресла, аж пружина звякнула камертоном. Я сказал, что ищу змеешком. Медный такой.

— Че-во? Не-е, приборы учета не принимаем, — выплюнул жвачку приемщик и махнул рукой на Ленина: — Даже памятники в разобранном виде. Да и то большевицкие, поял, да?

Приемщик вершил новейшую историю России. Он вдруг заорал на пацанов:



— А ну, пшли отсюда со своим надгробьем!

— Ну ты и жлоб, дядя, — ответили те и покати́ли крышку прочь — в другой приемный пункт.

Пустить меня в закрома хозяин категорически отказался. Тон беседы изменился. Шеф смотался в вагончик и вернулся, потрясая бумагами.

— У меня все по закону, поял, да? — брызгал слюной хозяин. — Во, гляди. Да я могу принимать все, что не запрещено, поял? Даже твой змеевик, хотя у меня его нет! Между прочим, самогоноварение в стране запрещено. Шляются тут всякие, с папочками... Во, легок на помине! Падла, привез чертей на хвосте...

По узкой колее к нам пылил милицейский «уазик», желтый, что яичко к выборному дню, с синей полосой и синим же колпаком на крыше.

— Зинаида! — заорал шеф в сторону вагончика. — Атас!

Забрехала спавшая под крыльцом собачка. Ленин упал с козлов, вонзившись растопыренной ладонью во влажную с ночи почву. У потухшего костра произошло движение. Бомжи линяли в кусты и ныряли под трубы теплотрассы. Дворняжка, чумазый колобок с заросшей мордочкой, сперва отважно выскочила на шум мотора, но, углядев, что это менты, заскулила и полезла обратно под крыльцо.

Я сел в освободившееся кресло и чуть не провалился в него, ощутив под копчиком жало пружины.

— Эй, на барже! Огоньку не найдется? — вместо приветствия крикнул, выпав из «уазика», капитан с сигаретой в руке.

Его китель был распахнут, галстук скособо́чен. Сержант-водитель жевал пирожок, облокотившись о капот.

Хозяин подбежал и чиркнул зажигалкой. Проводив взором тающее сизое колечко, капитан пошептался с приемщиком лома.

— Против лома нет приема! — оставшись довольным беседой, гаркнул офицер. Хозяин с готовностью засмеялся.

— Значит, контора пишет?

— Контора пашет, — сверкнул коронками приемщик.

Капитан оглядел Ленина, хмыкнул и тут заметил меня, утопавшего в продавленном кресле.

— Аут! Держите меня двое! — капитан заорал так, что вылезшая из-под крыльца дворняжка поджала хвост. — Не узнаю, Гендос, ты, че ль?

Буба всегда был громкоголосым. Бывало, кричал, как травмированный, со своего левого края, нудил одно и то же, типа: «Я, я, я!» Или: «Пас, мля!» Или: «Край, край!» Просил мяч. Был жаден до игры.

Я не сразу признал в разбитном, с пивным животиком, милицейском офицере левого крайнего любительской команды «Динамо», за которую мы играли, начиная с детской секции. Позже выступали за юношескую сборную города, потом недолго на первенстве республики «по мужикам», как говорили. Кажется, Витя, однако по имени его звал только тренер Михаил Васильевич Поляков. А вся команда — Бубой, на поле и вне игры, за то, что ловко пародировал в раздевалке киногогеря Бубу Касторского. Эдакий живчик. Как раз для левого фланга. Бубу даже вызывали на смотрины в команду мастеров в другой город, но он в гостинице учудил что-то с женским полом. Был жаден до игры и до жизни. Левый такой.

— Ну ты как, старик? — нещадно хлопал меня по плечу Буба. — Контора пишет, да? Культур-мультир? Мяч-то пинаешь, хавбек хренов? А я, мля, иногда вспоминаю молодость. Ты не смотри на трудовую мозоль, — погладил живот бывший форвард, — на ментовском турнире хет-трик сделал, мля, хит-трюк, в натуре!

Капитан захохотал, довольный проходом по левому флангу.

— Чего динамо крутишь, пас на выход не даешь? — опять хлопнул по плечу Буба. — Водочки для обводочки, а? Не ссы, я угощаю!

Приемщик стоял с раскрытым ртом, только коронки тускло отсвечивали.

— Щас, чувак, айн момент, — подмигнул Буба и спросил у приемщика: — Зинка на месте?

Не дожидаясь ответа, зашел в вагончик. Послышался визг, смех. С приклеенной улыбкой капитан выскочил наружу.

— Ну шо, хлопцы, рванули, мля, с низкого старта! — двинулся к машине Буба и удивленно обернулся: — Че отстаешь, Гендос? Есть проблемы? Ты вообще зачем здесь?

Я поведал про змеевик.

— Мля! А я думал, статью кропаешь, — хмыкнул старый знакомый и ткнул пальцем в приемщика: — Э, командир, че встал памятником? Слыхал, чего белые люди тут втирают? Это тебя, меж прочим, касается... Говори, где змеевик, и не говори, что не видел! А то хуже будет. Скажу участковому — живо найдет!

Шеф, уводя взгляд, водрузил карликового Ленина на козлы и лишь потом ответил:

— Дык... того... я его за штуку двинул... Ходовой товар-то... медный к тому ж...

— А это, мля, твои проблемы, хрен оловянный! — сплюнул под ноги капитан. — Сроку тебе двадцать четыре часа. Или медный товар станет вещдоком, сечешь поляну? Самогоноварение в стране запрещено, газеты читаешь? Против лома нет приема!

Водитель захохотал, роняя ливер из пирожка.

«Уазик» рванул с низкого старта. Я ударился головой, ухватился за поручень.

Правая рука серебристого Ленина указывала вектор движения — в светлое завтра.

«Против ЛОМа нет приема». ЛОМ — линейный отдел милиции. Наконец-то я догнал смысл сокровенной фразы, вселяющей дикий оптимизм и служебное рвение.

В ЛОМе и пили. В подвале, где находилась лаборатория фотографа-криминалиста Костика, худенького, с виду абсолютно штатского в ментовском логове человека. Костик носил джинсовый костюм и длинные волосы не по уставу.

Сперва мы расположились с двумя бутылками в кабинете Бубы, но в дверь то и дело стучались, и старый знакомый, процедив, что в конторе развелось стукачей, увлек меня в подвал. Капитан команды блюл правила игры и не собирался получать «горчичники». А в фотолaborатории окна-бойницы и те завешены черной материей.

— Ну че динамо крутишь, насыпай! — подгонял хозяина подвала Буба.

Костик разливал водку по науке. Сперва наливал в мензурку с делениями, потом переливал в стакан.

— Видал? Культур-мультир! — восхищенно цокал языком Буба.

Закусывали домашней снедью, которой Костика снабдила мама. Иногда откуда-то доносился голос, что рашпилем по металлолому. Не голос — глас инквизиции, искаженный селекторной связью.

— Пьете, суки-и-и?!

Я вздрагивал. И с теплым стаканом в руке озирался на дверь, с минуты на минуту ожидая, что в убежище ворвется Католик — учитель моих школьных лет и, воздев корявый палец к потолку, спросит, почему я не выучил урок истории.

Вместо Католика в подвале «на минутку» возникал двухметровый старлей с красной повязкой «Дежурный по ЛОВД». Лицо дежурного было багровым. Он скрипуче вещал уже без помех интеркома:

— Пьете, суки?! А я за вас чалиться должен, да?!

Выпив прямо из мензурки, он хватал секач для обрезки фотографий и, жуя пирожок с капустой, делал вид, что собирается остричь длинные волосы Костика. Эта шутка повторялась в каждый заход дежурного по ЛОВД.

— Не трожь интеллихенцию! — Буба отбирал резак и выталкивал шутника из лаборатории. — Иди служи Родине. Секи там поляну, мля. Свистнешь, коли начальник...

Опростав литр водки, вызвали водителя-сержанта. На сей раз покупку спиртного субсидировал я — это не обсуждалось.

Отдав «пятихатку», я осмелел и попытался вернуться к повестке дня. Например, взять за жабры приемщика.

— Не, чувак, его плющить нельзя, — посерьезнел капитан и понизил голос, хотя Костик уже был в таком состоянии, что пытался прикурить фильтр сигареты. — Он, в натуре... ну, это самое, что, где, когда... Сливают нам оперативку... Наш осведомитель, короче. Пас на выход! — Буба повеселел. — Хочу вот завести информатора в борделе. Во будет культур-мультир!

Фотограф уже дремал на диванчике. Капитан же как ни в чем не бывало стоял на ногах-тумбах левого крайнего форварда. О количестве выпитого можно было лишь догадываться по легкому присвисту:

— Не ссы. Найдем мы твой з-змеевик, как пить дать! Как два пальца об ас-сфальт... А пирожки, мля, классные, с-скажи, с-старик?

Очнулся в чужой квартире. Я спал на ковре, точнее, завернувшись в него и подложив под голову чужие вельветовые тапочки. Они, собственно, и заставили проснуться. И так башка трещит, а тут еще воюющие тапки у носа.

На тахте всхрапывал, свесив ногу в носке, хозяин. Бубы нигде не было.

За окном раздался гудок. Маневровый тепловоз тащился по узкоколейке на мясокомбинат. По всем приметам, я находился в квартире видного бурят-монгольского драматурга Базара Э. У черта на куличках. Однако ж как я тут очутился?

— Тебя мент приволок, — сообщил, сходя в туалет, Базар. — Я даже струхнул малехо. Из-за самогонки. — Хозяин квартиры подтянул трусы.

Сомнений быть не могло. «Малехо» — любимое словечко Базара.

Я попытался восстановить цепь событий. Что, где, когда... Приволок меня сюда, как видно, водитель-сержант, которому Буба поручил доставить мое тело. Но как я оказался у Базара? Так... сливаем оперативку... ориентировка — змеевик... Стоп. Базар гнал самогон из томатной пасты, о чем неоднократно хвалился: типа «Кровавая Мэри», выпивка и закуска в одном стакане! Так и есть. Ключевые слова «змеевик» и «самогон» слились в моей забубенной Бубой башке, и я продиктовал адрес Базара.

Морально стало легче. Провалы памяти бывают только у законченных алкашей. Выходит, по классификации Католика, я всего лишь начинающий алкоголик. Это бодрило. Но в голове шумело, глушило левое ухо.

— У тебя с собой бутылка была, початая... И про какой-то змеевик долдонил. Хорошо, жена в деревне... Малехо ум болит. — Базар взялся за голову. — И пил-то вроде малехо. Однако не помешает. Поправиться малехо.

Денег не было. Даже на пиво. Все деньги я спустил в ментуре. Против ЛОМа нет приема.

Имеется брага, сообщил хозяин. Из томатной пасты. Это было ноу-хау, по выражению Базара. Паста продавалась в пятилитровых алюминиевых банках и стоила сущие рубли. Кроме прочего в томатной пасте содержался сахар, дефицитный в условиях полусухого сезона.

Мы прошли на кухню. Нас приветствовал почетный караул — квартет растопыренных резиновых перчаток, надетых на горловины трехлитровых банок. Банки стояли под раковиной. Мутное их содержимое напоминало разливное вино «типа Кеши» пополам с киселем из школьного буфета. В жидкости плавали бордовые прожилки.

Хозяин выбрал банку с самой упругой резиновой рукой, с хлопком стянул с горлышка перчатку, бережно взял емкость в обе руки, хлебнул забродившего киселя, закатил глазки, глубокомысленно почмокал губами, как сомелье, определяющий год урожая и сорт марочного напитка.

— Э! Эта уже созрела!

Приложился и я. Определить год урожая томатов не успел. Ринулся в туалет.

Лирическое отступление. В данном сочинение выше и ниже журчания унитаза, пожалуй, многовато блюют. Аж пиджак заворачивается. Чистоплюев может затошнить. Лирическое наступление: герои погибают в три погибели на сломе исторических эпох, по капле выдавливая из себя наследие тоталитаризма. Ответ на вызов времени. Акция гражданского неповиновения, политический протест в русле, точнее, в струе прав и свобод гражданина демократического правового государства. Они концептуально не блюют (sic!) коньяком и шампанским, что было бы чистой воды декадентством, плевком в гущу народных масс. Страдальцы высокоидейно изрыгают второсортные напитки.

— Это же брага, — виновато подтянул трусы драматург. — Не конечный продукт. Малехо заготовка для самогонки...

Слушали: пить или гнать? Хотя кворума не было, постановили: гнать, потом пить. Во-первых, первач. Во-вторых, из второй банки.

Базар надел треники с вытянутыми коленками. Его большое и усатое лицо выражало решимость. Хозяин отчаянно загремел кастрюлями. Выяснилось, что самогонного аппарата, о чем он хвастался, как такового нет. Сочинил для фабулы. А народный напиток гонит примитивно — способом конденсации с помощью двух разновеликих кастрюль.

Классический кворум обеспечил ворвавшийся на кухню режиссер Алмазов. Русский режиссер бурятской драмы. Дверь была открытой, пояснил он.

Алмазов отменил наш генеральный прогон с воплем:

— Не верю!

Алмазову можно верить: хронический алкоголик. Кроме того, закончил с синим, как он говорил, дипломом престижный ГИТИС и служил очередным режиссером в столичном театре. Оттуда его выгнали после того, как на премьере он громко кричал актерам из-за кулис: «Текст!», «Не верю!», «Куда прешь?» и прочее. Перепутал в пьяном виде спектакль с генеральным прогоном. Алмазова временно сослали на задворки советской империи с официальной формулировкой: «Для повышения художественного уровня национальных театров и укрепления их репертуара». Однако через год, данный штрафнику Мель-

помены на исправление, над СССР опустился занавес. Не железный — финальный. И про Алмазова забыли. Ссылка стала бессрочной. Чем отчаянней опальный режиссер барахтался в складках тяжелого занавеса, в бархатных объятиях провинции и запойного катарсиса, время от времени выныривая и грозя вернуться в Москву с новыми задумками, что потрясут столичную сцену, — тем меньше ему верили.

Алмазов с ходу заявил, что художественный уровень творческой задумки не отвечает сверхзадаче. Репертуар не тот. И мы, дикари аборигены, не ведаем, чт? есть катарсис, он же первач, в посконной сермяжной ипостаси. В патриархальной русской деревне, инда взопреют озимые, самогон-де варили совершенно по-иному.

Но спектакль провалился. Гость схватил трехлитровую банку с полуфабрикатом, влажную от конденсата, — она выскользнула и разбилась.

Накануне тесную кухню Базар покрыл линолеумом. Будто чуял.

Артель старателей застали за странным, непрофильным занятием. Вооружившись совками для песочницы, троица гоняла из угла в угол вонючую лужицу. Затем золотоносную жижу кругообразно трясли на противне из духовки, подражая старателям Аляски и Алдана, и переливали из лотка в детский горшок внука. При этом двое из классической тройки находились в трусах, благоразумно развесив штаны на спинке стула.

Сивушная вонь достигла первого этажа подъезда, сообщила появившаяся без стука Света, жена Базара. На площадке собрались соседи, шпана на галерке взбудоражена.

Раздались аплодисменты. По набрякшим щекам драматурга. Света с грохотом сбросила с плеча рюкзак с деревенской бараниной, отобрала противень и замахнулась им. Мы отвернулись. Раздался звук, коим в кукольном театре обозначают гром и молнию и разные там превращения с ужасами. Алмазов бежал за кулисы скверно пахнущего действия, путаясь в штанах.

Собранного хватило на полный горшок, равнозначный двум трем литровой бутылки самогонки. Несмотря на фильтрацию, в бутылку попали соринки, волосы, горелая спичка и дохлый таракан. Кроме того, в прозрачной таре напиток обрел цвет детской неожиданности. Выяснилось, что впопыхах перед авралом горшок внука опростили не полностью. Ничего страшного, уверил хозяин, в южных провинциях Апеннинского полуострова и на Балканах детей до сих пор заставляют

писать в чаны с давленным виноградом. Для придания напитку крепости и оригинальных ноток в послевкусии. Два пальца об асфальт. Мы ползли — колено в колено — с просвещенной Европой!

От ползания по линолеуму коленки треников Базара намокли. Тонкие, малоразвитые ноги представителя национальной интеллигенции походили на конечности большого кузнечика. Он подскочил к супруге на задних лапках, расшнуровал кроссовки и подал тапочки. При ходьбе подошвы и носки отрывались от пола с громким шелестом. У плинтуса лежал влажный носок бежавшего Алмазова.

Базар шустро протер липкий пол трениками. Все одно трикушке капец.

Оттаяв, жена подала стаканы и немудреную закуску. Я натянул джинсы. Базар на правах хозяина остался в исподнем.

Пили, отплевываясь от мусора. Первач отдавал детской мочой.

Базар снял с языка длинный вьющийся волос.

— Дай-ка... Откуда тут женские волосы? — Хозяйка подозрительно оглядела находку. — Добро пожаловать, как же. Не успела отехать в деревню... Кажись, крашеный.

— Да ты чего, мать? Светка, мать твою! — привстал драматург в семейных трусах с орнаментальной надписью «Love». — Гендос, скажи ей!

— Внимательно слушаю вас, Геннадий, — развернулась ко мне Света, брезгливо зажав волос двумя пальцами.

Когда меня называют полным именем, например моя законная, я внутри напрягаюсь. Жду подвоха. Вот в Гендосе нет подвоха. А в Геннадии сплошь фальшивый пафос. Напрягаюсь, но собираюсь. С мыслями. И мгновенно выдаю оптимальную версию.

— Ха! — вполне натурально засмеялся я. — Сэсэг, тут самим не хватает, баб еще поить... Да это Алмазов крашеный волос из театра притации! Сэсэг дорогая! Да там все актрисы крашеные. И вместо цветов парики на подоконниках.

Сэсэг — аутентичное имя хозяйки. В переводе — цветок. Но окружающие звали ее Светой. Фонетика посконного бурят-монгольского имени говорила об искренности переговорщика и взывала к объективности. Эдакая психологическая тонкость.

Цветок расцвел. Сэсэг порезала вареный бараний язык, привезенный из родового улуса. Потом еще раз ловко процедила через марлю урожай, собранный с поля, пардон, с пола.



За столом воцарился мир. Мы дружно поругали Алмазова — бабника и алкоголика. Хотя, выбирая из двух соблазнов — женской груди пятого размера и бутылки размером ноль пять, — Алмазов однозначно присосался бы ко второму дару. А пускай. Натворил дел, смылся — пускай послужит громоотводом.

Развивая успех, Базар вспомнил про змеевик. Я понял товарища. То тоже была психологическая тонкость — увести беседу подальше от крашенных женских волос. Мол, такое богатство пропадает зря. Чистая медь. Начальный капитал. Базар давненько, лежа на диване, мечтал вписаться в рынок, открыть свое дело. «Малехо бизнес».

— Лизинг, слышал? — вскочил со стаканом драматург и подтянул трусы.

Его одутловатое, объемом в трехлитровую банку, лицо обрело цвет медного змеевика. Детская моча и в самом деле придавала крепости домашнему напитку. Его в отличие от хозяина я больше пригублял. Самобытный первач с оригинальными нотками в послевкуссии был на любителя.

Я буркнул:

— Лизинг? Лизать с пола?

— А ты не корчи рожи, всем малехо польза! Ноу-хау!

— Поматерись мне тут еще, — встала Света-Сэсэг.

— Темные люди! С кем я живу!.. Короче. Дашь змеевик на пару месяцев, жмот?.. Сам не ам, другим не дам, да? Собака на сцене! Лопе де Фига! И тебе малехо капать будет! — кричал индивидуалист-надомник, чуток спятивший на почве капитализма. — Томатная паста — это копейки, понял? Лизинг! Франшиза!

Хозяйка вечера оглядела кухню и помрачнела:

— Какая там франшиза, тут одна шиза.

Провожала меня уцелевшая в заварушке одинокая резиновая рука. Одна из четырех. Подрагивая, она трогательно махала вслед. Судя по крепкому приветствию, содержимое банки созрело для малого бизнеса и рвалось наружу, дабы вписаться в рынок.

Но малый бизнес у Базара не прошел регистрацию по месту прописки: Света запретила франшизу. Цветок коммерческого успеха не расцвел.

Зато место моей постоянной прописки пробили по адресной базе ЛОМа, и спустя сутки подросток с грязным носом принес медный

змеевик вместе с запиской: «С тебя пол-литра, хавбек. Привет семье. Буба».

Жена увидела змеевик вечером: он клубком свернулся в прихожей, как нагулявшийся мартовский кот.

— Сам приполз, — пошутил я.

Жена серьезно кивнула.

Привет от Бубы был кстати. Пьяная болтовня драматурга с рыночным именем заставила вспомнить опыт предыдущих поколений. В сухом осадке от самогонки, разбодяженной мусором, насекомыми и детской мочой, выпарилось здоровое зерно.

Змеевик деда Исты пошел по рукам. Лизинг, бартер, мир-дружба. Всем малехо польза. Мутная огненная вода органично влилась в смуту тех дней. Органическая химия. Культур-мультир.

Зарплату кругом задерживали. За неимением живых денег я поначалу брал продуктами. Жена одобрила бизнес-план. Но арендаторы норовили всучить в счет проката оборудования проросшую картошку, червивую муку, твердокаменную лапшу, китайскую свиную тушенку «Великая стена» (жрать это мыло в трезвом уме было невозможно), избегали поставок дефицитного сахара и вообще всячески ловчили. А то повадились расплачиваться продукцией родных предприятий: им ее впаривали вместо зарплаты.

В результате на балконе и в темнушке нагрелся десяток кипятильников местного «Теплоприбора», пылились залежи кастрюль и тазов завода эмалированной посуды имени Кирова, электробигуди с «Электромашины», дюжина кружек Эсмарха завода РТИ и прочая бесполезная утварь. Кипятильники в конце отопительного сезона я дарил родственникам, а раз с похмелья притаранил эмалированный таз беременной официантке ресторана «Селенга». Таз испуганная девушка надела на выпирающий живот, — пришелся аккурат впору, — прикрыла его фартуком и унесла в служебное помещение. Взамен принесла коньяку (спиртное разрешалось посетителям с четырнадцати ноль-ноль) в чайном сосуде тонкого стекла в мельхиоровом подстаканнике, с ложечкой внутри и двумя кусочками сахара на тарелке — для конспирации. Позвякивая ложечкой, я выдул напиток чайного цвета. Сахар-рафинад пошел на закуску. В другой раз бартером за кружку Эсмарха налили доверху, под самую крышку, кастрюлю «жигулевского» на вынос.

Но то редкие удачные опыты. Требовалась наличка. Ее мог обеспечить главный дефицит — водка. Сорокаградусную давали на талоны, розовые в крапинку, — литр горячительного на каждого члена семьи. Засада в том, что после полудневной вахты в гигантской очереди водки тебе могло не хватить. И тогда уставший, обозленный гражданин, проклиная новые времена, готов был выпить все что угодно. Особенно хорош, говорят, был лосьон «Огуречный». Выпивка и закуска в одном флаконе.

Пробил звездный час медного змеевика. Истинные ценители самогона без лишних слов платили за лизинг розовыми талончиками. Большинство людей на самогонку смотрели со смутным подозрением. Первач, даже на кедровых орешках, в качестве платежа никем не рассматривался. Нужна была прозрачная как слеза, валюта, а не мутноватая жидкость внутреннего сгорания. На запечатанную же пол-литру беленькой, пусть даже на низкосортный «сучок», глядели ясным взором и сантехник, и воспитательница детсада. Водка была лучше денег. Рубль стремительно терял в цене. Стоимость водки росла как на дрожжах.

Одновременно вырос авторитет покойника, независимо от его социального статуса при жизни. По справке о смерти выдавали ящик водки. Зятя становились шелковыми и прописывали у себя тещ и дряхлых родственников. До гарнира из толченого стекла обычно не доходило. К чему нам акулий оскал империализма? У нас человек человеку друг, товарищ и группа товарищей. Родной человек не просто так залегает по месту прописки — по мере лежания он становится пушистым, розовым в крапинку, что вождеденный талончик.

Отоваривал водочные талоны я с заднего крыльца, минуя кордоны милиции. Когда все работницы окрестных магазинов, включая уборщиц, стали кудрявыми от электробигудей производства «Электромашин», я, озираясь по сторонам, сообщил по секрету пухленькой продавщице, что клизма в домашних условиях помогает поху-данию. В дело пошли кружки Эсмарха.

На втором году полусухого закона розовые талоны по моей просьбе стал рисовать действительный член Союза художников СССР, живописец-маринист Баир, что в переводе значит — радость. Что ему крапчатые талончики — он брызги байкальской волны гениально подделывал! Я уж подумывал вернуть змеевик в лоно семьи. Однако в пьяном виде у Баира рука с кисточкой дрожала, а пьян он был не

только в отопительный сезон, но и в сезон таяния снегов и открытой воды, творчески наплевав на пленэр. Тоже мне, Саврасов!.. Грачи пролетели мимо.

И я продолжил практику лизинга. Нераспечатанной водки в доме стало так много, что бутылки, дабы те не побились, жена перекладывала резиновыми кружками Эсмарха. Мы кушали мясо каждый день. Жена расцвела, стала пушистой, как под электробигудями.

Находясь у первоисточника, я, разумеется, хромчил. Малехо. Кашеварить у котла и не снять пробу? Хромчил, сказать на глазок, на бутылку в сутки. Благодаря змеевику деда Исты в нутро капало равномерно, как из кружки Эсмарха. Пока в глазах не стало темно в розовую крапинку.

Супруга дотянулась в моей комнате до первого ряда книг на верхней полке и обнаружила заначку. Весь второй ряд был уставлен подписными водочными изделиями, частично прочитанными до последней капли. Там же валялись засохшие корки, сморщенные надкусанные огурцы, огрызки ранеток, ошметья квашеной капусты и кружка с надписью: «Заводу эмали посуды им. Кирова — 50 лет».

Лизинг накрылся эмалированным тазом.

Жена размахнулась кружкой Эсмарха.

Клизма не помогла. Таксист согласился доставить мое тело в наркологический диспансер за два кипятильника.

## Спираль 4

— Суррогаты употребляли? — первый вопрос в приемном боксе. Его задают всем поступающим небритым лицам, даже тем, кто не в состоянии дать иного ответа, кроме мычания.

— Самогон... малехо... — опустил я голову. Она была слишком тяжелой. — Вообще-то я не пью...

Я был послушен и тих.

— Сегодня какой день? Четверг или вечер? — спросили вкравчиво.

А была пятница.

— А год какой?

На этот вопрос я ответил уверенней.

В глаза бил свет из окна.

У меня констатировали алкогольную интоксикацию средней тя-

жести. Я неуверенно предположил интоксикацию легкой тяжести. Жена хмыкнула. Я присел на кушетку. Сразу захотелось лечь.

Легкая тяжесть бывает, когда буянят, таких сюда не берут, пояснила пожилая санитарка, протирая подоконник. Теперь хмыкнула врачиха. Волосы у нее были лимонного цвета, темные у корней, явно суррогатные.

Стараясь не буянить, я разделся до пояса, как велели.

— Дальше, — нетерпеливо сказали из-за стола напротив.

— Штаны сымай, дохтурша сказала, — проворчала санитарка, выжимая тряпку.

Я зачем-то посмотрел на жену. Она нервно теребила сумочку. И повела плечом: мол, сам виноват.

Врачиха надела золоченые очки, встала из-за стола, сделала некий жест.

— Труссы тоже сымай, кому сказано, — перевела санитарка.

— Тетя Поля, вы дадите работать? — усмехнулась докторша.

Я хотел возмутиться, но передумал и снял трусы. Жена отвернулась.

Тетя Поля пояснила, что врач ищет следы от уколов в паху и на руках, тут ничего неприличного. Мне разрешили одеться.

Потом врач померила давление, пованивая суррогатными духами. Замутило. Давление выскочило 170 на 100. А может, то были цифры расценок, плохо помню. Нас попросили расплатиться в кассе — третья дверь по коридору — «за детоксикацию и снятие алкогольно-депрессивного синдрома».

Лишних денег в доме не водилось. Только их булькающая и звякающая сублимация. Самое поразительное в этой спирали истории, что за услуги наркологического диспансера жена расплатилась с заднего крыльца — нераспечатанными водочными запасами, полученными за аренду змеевика деда Исты (содержимое початых бутылок было вылито в унитаз). А когда бартерного литража оказалось маловато, на благое дело детоксикации организма пошли кружки Эсмарха и эмалированная посуда — ее как раз не хватало в пищеблоке лечебного учреждения и в палатах интенсивной терапии. Особым спросом пользовались тазы.

— Чтоб куда блеваться, — заметила санитарка тетя Поля.

Залежей продукции местных товаропроизводителей хватило даже на процедуру кодирования.

**Министерство здравоохранения РБ  
Республиканский наркологический диспансер**

**РАСПИСКА №**

Я, (Ф.И.О.), проживающий по адресу..., настаиваю на проведении мне лечения алкоголизма методом (прочерк) «эспераль» (вписано от руки). О возможных последствиях для здоровья и жизни в случае употребления мною любого количества алкоголя в течение (прочерк) месяцев с момента лечения предупрежден.

Обязуюсь выполнять все рекомендации лечащего врача. В случае нарушения мною взятых на себя обязательств, любые претензии как с моей стороны, так и со стороны лиц, представляющих мои интересы, исключаются.

*Подпись пациента Дата*

Спустя годы после указанной даты, когда я завязал безо всякого кодирования, наткнулся на эту расписку, вчитался, ужаснулся. Оказывается, я настаивал на лечении от алкоголизма методом «эспераль». Пожелтевшая бумажка торчала закладкой в томике лирических стихов. Но тогда мне было не до лирики, не до стихов.

Мужское отделение наркологического диспансера напоминало коридор плацкартного вагона и располагалось выше других отделений, на четвертом этаже мрачноватого здания без балконов. В помещении было душно. На дежурном посту я торчал с сумкой полчаса: медсестры пили чай в служебке, оттуда доносились взрывы смеха. Голова кружилась, хотелось прилечь, да было некуда.

Кроме меня на единственной скамье сидела Сладкая Парочка — этот слоган из рекламы тех лет всплыл сам собой. И впрямь, мужчина и женщина были схожи, что палочки хрустящего шоколадного батончика. Даже половые различия стерлись: оба темноликие, опаленные внутренним жаром, будто вышли из одной духовки и упаковки. Они держались за руки. Ну да, конструкция катамарана в шторм устойчивей. А штормило, видать, регулярно. Так лепятся друг к дружке пьяницы, дети и влюбленные. Под две последние категории немолодая чета явно не подходила. Можно было подумать,

что мужа пришла навестить жена — обычное дело в наркологии, однако я обратил внимание, что парочка обута в одинаковые пластиковые тапочки, казенные, не по размеру, отчего пальцы с желтыми ногтями смешно выпирали вперед. Мужчина и женщина молчали и улыбались.

— Ну и как жить думаете, а? — обратилась к блаженной паре пожилая женщина, возникшая из-за угла. — Врач сказал: хорошего не ждите, ежели будете пить вместе...

Я приготовился услышать разгадку странного союза, но меня отвлекли.

«Поднять коня» — первое, что услышал в мужском отделении. Отирающиеся на дежурном посту типы, все в майках, решили, раз я пришел с воли, то по ту сторону двери кружат мои дружки. Когда сообщил, что меня сдала жена, ребята поскучнели, удовлетворившись сигаретами.

Поднять коня — это вот что: под окнами диспансера цепляют к веревке пакет со спиртным, а уж тянуть репку охотники находятся всегда. Можно, конечно, обратиться к санитарам, но, во-первых, те берут за услуги чуть ли не половину водки, объяснил тип в майке, и вообще капризничают, избалованные вниманием контингента. Странная креатура — санитар в нарколожке. Такой штатной единицы наркологической службе не полагается: алкоголики не шизики. Хотя буйных пациентов, понятно, и здесь хватает.

Впрочем, криков из палат не доносилось, в отделении стоял ровный гул. Рой потревоженных пчел. Или мух — это уж кому как.

В коридоре неприкаянно маячили тени «отходняков» — неведомых, бессловесных, дурно пахнущих созданий, едва перемогших жуткую ломку: их привезли сюда в неменяемом состоянии, сначала «зафиксировали» к койкам и капельницам, а теперь вот наконец-то освободили от пут. Кажется, они еще толком не сообразили, на каком они свете. Возможно, диспансерный коридор эти грешные души воспринимали как тоннель... У дверей ординаторской и процедурной они убыстряли шаг и втягивали головы. Попытки вписаться в социум заканчивались фиаско. Из местного парламента — курилки — парии вылетали, провожаемые грязными матами. Комната отдыха с телевизором, занавесками, картиной в стиле Тулуз-Лотрека и запыленным кустом в кадке для них оставалась мечтой, хрустальной, как водка. Каста неприкасаемых, попарно и группками,

оставляя стойкий шлейф псины, целыми днями, а то и ночами неслышно, как моли, скользила по коридору, проклинаемая санитарками, — чутко прислушиваясь к затухающим внутри себя голосам, досматривая в пути блекнущие галлюцинации, — лишь бы не возвращаться в палаты интенсивной терапии, откуда несло мочой от братьев по несчастью, распятых жгутами-бинтами на железных койках с клеенчатыми матрасами, мычащих, рычащих и умоляющих их развязать во имя всех святых.

Следующая после изгоев ступень иерархии — «свитера». Их видно сразу: летом и зимой они напяливают на себя свитера или одеяла из-за остаточного явления интоксикации — суженных сосудов. Им постоянно холодно.

После «свитеров» шла прослойка странных пациентов с порезанными подбородками и щеками. Освободившись от пут и отмывшись, они брались за бритве, но руки дрожали, лица искажались в мутном зеркале...

Едва же на щеках заживали порезы, человек вступал в клуб избранных — «маечников». Им, наоборот, всегда жарко: их зовет жизнь. Свитера летят в угол палаты, пациенты остаются в майках и футболках. «Маечники» бесцеремонно расталкивают «отходняков», обгоняют в коридоре «свитеров» и «порезанных» — в поисках заварки, сахара, соли, сигарет, кухонного ножа. У них начался жор. Выздоровливающий организм алчет усиленного питания после запойных недель, бывало, сдобренных лишь рукавом да хлебной коркой, и последующего отсутствия аппетита, когда не то что рыбная фрикаделька — весь свет не мил.

Тем не менее общественное устройство тут демократичное, любой может перейти из одного разряда в другой — было бы желание.

Миряне, распространяющие про нарколожку всяческие ужасы, не понимают простой, как граненый стакан, истины: российский пьяница по природе своей существо добродушное. А когда рядом страдает собрат, со дна отравленного организма взбалтываются остатки гуманизма: налить чаю лежащему, утешить наломавшего дров, дать дельный совет новичку, мающемуся под капельницей, позвать сестру, поделиться домашними припасами. Даже криминальные личности, демонстрируя из-под маек наколки, приметил я, не напиваясь в богоданных стенах на героическое прошлое.

Это — заговор пьяниц против остального мира.



Неслучайно насельники заведения закрытого типа величают его ласково — «наркушка». По сути, второй дом. Однажды попав сюда, алкаши-хроники навещают его регулярно, до нескольких раз в год.

Этот плацкартный вагон несется — да! да! да! — к лучшей жизни. Иначе не стоило ползти, подчас буквально по-пластунски, в «наркушку», а без лишних телодвижений лечь на рельсы. Ибо всякий изблевавшийся, но безмерно страдающий есмь человек.

Безбожную сентенцию поминали в палате, уверовав, что сие — из акафиста у иконы «Неупиваемая чаша». Иконы не было, молиться не умели. Много лет заклинание, вульгарно бляя, передавали из уст в уста. Ссылались на мифический первоисточник — некоего пациента без рясы, лечившегося здесь от хронического мирского пристрастия.

Хотя и в палатах пили. На второй день я уже философично наблюдал дикую картину: одной рукой больной внутривенно принимал лечебную струйку физраствора с витаминами, а другой, приподнявшись на подушке, перорально вливал сорокаградусную жидкость. И никто в палате — и те, кто только что давал совет, как перемочь острое желание выпить, — не думал перехватывать руку с водкой.

Скучающие, пресные лица. Обычная реакция на решение того, кто не выдержал мук. Люди отстранялись от союзника, давшего слабинку, отчуждались от горя, как бы говоря: «Что ж, брат, бывает... Это не очень правильно, но таково твоё решение, и я его уважаю. Тебе жить или умирать, тебе, а не мне, брат. Удачи!»

Выстраиваясь в неровную колонну, больные создавали в длинном коридоре некое броуновское движение, с короткими заходами в комнату отдыха и курилку. Поневоле втянутый в это движение, я доплелся до приоткрытой двери и услышал, как заведующий отделением, высокий мужчина в роговых очках, по телефону жаловался на наплыв внутривенных наркоманов: никто не знает, куда их девать и что с ними, собственно, делать, одноразовых шприцев не хватает, не говоря о койках. Старое здание рассчитано на добрых старых алкоголиков и милых бытовых пьяниц. А женское отделение — и на дамочек, траванувшихся на почве неразделенной любви или из-за посадки на мель семейной лодки.

Одноразовые шприцы — это он верно сказал. Тогда их было мало. В процедурной я поругался с медсестрой, наотрез отказываясь принять укол стеклянным шприцем. Моему примеру последовали другие.

— Мы тут не за СПИДом! — зароптали в очереди.

Мужики в сизых наколках забубнили о «беспределе». Вызвали дежурного врача — тот развел руками.

Витаминного укола я так и не получил, но к ночи все равно почувствовал себя лучше: капельницы сделали свое дело. К ночи — это важно. Тут все боятся ночи. Еще вечером смеялся, рассказывал анекдоты, поглощая домашнюю снедь, а утром нашли в постели холодным, как желье подоконника. Эту байку в десятый раз вам с удовольствием перескажут однопалатники.

Мои соседи по палате почему-то решили, что я прикидываюсь больным и прячусь в диспансере от милиции, алиментов или кредиторов. И делали намеки с сочувствующими нотками в пропитых голосах.

Диспансер похож на тюрьму не только снаружи. Любое передвижение за пределами отделения происходит под лязг ключей. На одной из дверей висел даже амбарный замок. Я уж не говорю о решетках на окнах.

Лишь одно окно не было зарешечено — курительной комнаты, в которой день и ночь висел дым коромыслом, а нередко пахло анашой. Из-за этих стебанных реформ, жаловался Ссаныч, нариксов стало в родных пенатах больше. Жить невозможно.

Ссаныч — пожилой боец алкогольного фронта, сосед по палате, обрусевший бурят, похожий на Хо Ши Мина в изгнании. От многолетнего пьянства его лицо напоминало мошонку. Ссаныч просветил, что некоторые медсестры содержат кавалеров из числа санитаров. Санитары — не путать с медбратьями! — элита болезного контингента. Таким манером физически крепкие пациенты по неписаному договору с администрацией залегали на облюбованные койко-места. Не на неделю — на долгие месяцы, особенно если дело шло к зиме. Питались из общего котла, а взамен выполняли нехитрую работу, в том числе кувыркались на казенных койках согласно графику дежурств женского медперсонала. Все санитары находились в расцвете лет и в бегах: алиментщики, беспаспортные, вечные студенты, бывшие игроки в три наперстка, освободившиеся по УДО и прочая публика. Иногда за ними являлась милиция. И тогда, бывало, широкую грудь, синеющую от наколов, в коридоре без стеснения орошала слезами сестра милосердия.

— И кто на эту работу пойдет, сам посудит? — рассуждал под капельницей Ссаныч, пощипывая свободной рукой бородку и вперив

взор в пузырящуюся бутылку на стояке. Едва сестричка, прилепив пластырем иглу к запястью, вышла из палаты, он продолжил: — Зарплата — слезы, работа вредная, а эти сестренки через одну или разведенки, или из деревни в город. Им, девкам, тут комнату дают и харчи. И в виде квартальной премии — мужика, хе! Вот будь я помоложе, кха... Ты глянь, какая тут натура! — Ссаныч кивнул на заглянувшую в дверь медсестру. — Это ж метафора!

Захихикав, старик забылся и махнул рукой, чуть не выдернув иглу из вены. Еле наладив целебный ручеек физраствора путем осторожных манипуляций, он подытожил, что путь к вечному кайфу устлан белыми халатами.

Иногда Ссаныч выражается витиевато. Метафорически, как он сам говорит. Он художник. И художник настоящий, член союза, лауреат премий и автор персональных выставок. Но это в прошлом. После развода с третьей по счету женой живет в мастерской. Ну и пьет, конечно. Водит в мастерскую нестарых еще женщин, завлекая провинциальных дурочек полубогемным бытом и загадочным словом «метафора». Чаше же пьет в одиночку. Войдя в запойный штопор, из последних сил, пока не начались глюки, хватает «тревожный» чемоданчик, в коем хранится смена белья, бритва, мыло, одеколон, чай, сахар, документы и широкий кусок клеенки. Вызывает такси и едет сдаваться в «наркошку».

Завсегдатай Ссаныч знает в диспансере всех, и все знают его.

— Наш остолоп, — сказал про него санитар. «Стопп», поправил санитар художник.

В приемной главного врача висит его картина, пейзаж Байкала, дар лечебному учреждению от благодарного пациента. Предыдущее творение в жанре ню было администрацией отвергнуто. «Ну и ню! — изрек главврач, взирая на толстую и абсолютно голую тетку. — Она ж пьяная!» Вместо платы за лечение Ссаныч частенько оформляет санбюллетени и уголки здоровья. Он бы жил и с третьей женой, сетовал Ссаныч в темноте после отбоя, но сытятся, как напьются. Как тут жить? Бросить пить — это в голову художнику не приходило.

Во всякие заговоры, кодирования, иные средства борьбы с пагубой, включая радикальные, Ссаныч не верил. В комнату отдыха раз пожаловали два вертлявых типа из общества «Антидоза», развесили плакаты и принялись на все лады хвалить новую методику исцеления.

— Свежий воздух, простая, здоровая пища и труд! — восклицал розовощекий молодой человек без признаков фиброза печени. — Вот наш единственный путь к свету!

Ехать к свету предлагалось в Красноярский край на лесозаготовки. Проезд и питание бесплатные.

— Свежий воздух, говорите? — встал Ссаныч, подтянул пижамные штаны и громко испортил воздух.

Народ со смешками потянулся к выходу, вежливо обтекая эмиссаров здорового образа жизни. Мероприятие было бесповоротно испорчено. Та же участь постигла представителей общества анонимных алкоголиков, секты Муна и свидетелей Судного дня. Кто-то обязательно вспоминал выходку Ссаныча. Вербально и буквально.

Второй сосед Виктор алкашей глубоко презирал. Исключение он делал для нас со Ссанычем. Делая заявления в пространство, Витек шумно вздыхал. Обложенный подушками, он гордо восседал в кровати, потому что в горизонтальном положении его тошнило. Хрящевидный перебитый нос бывшего чемпиона РСФСР по боксу среди юношей в полулегкой весовой категории аж выпрямлялся от возмущения, а лицо римского гладиатора становилось свекольным от скачущего давления. Уже который день ему не могли поставить капельницу: вены наркомана со стажем были не толще волоса, а сестрица-мастерица, единственная в отделении могущая попасть в Витину вену, неожиданно взяла отпуск за свой счет.

Виктор был не местный, сбежал из Кемерово, где, по его словам, дружки достали бы с героиновой дозой и в морге. А в этом городе у него тетка. У Виктора было желание прыгнуть с иглы. Желание выстраданное. Он часто вспоминал мать и жалел ее. Каждый вечер перед отбоем бывший боксер прощался с жизнью.

— Ежели утром, мужики, меня найдут, того... зажмуренного... сообщите матери... Тут под матрасом адрес... Не то, гады, похоронят как собаку... — вздыхал Виктор.

Он боялся ночи.

Ночь... За окном лежала темень окраины, изредка прорезаемая фарами заблудших авто, да из синеющей глубины помаргивали огоньки, заманивая в безвозвратный мут.

Медсестры пытались уколами сбить давление симпатичному наркоману, подсовывали реланиум, феназепам — «колеса», из-за которых в отделении случались драки меж нарками. Санитары с по-

дачи медсестер предлагали страдальцу водки и жратвы. Все, кроме дозы. Но водку он презирал.

Деньги у Виктора водились, и он решился. В комнате отдыха с пыльным фикусом дни напролет скучал перед черно-белым телевизором в ожидании мультфильмов пацаненок, откликавшийся на погоняло Шкет. Шкет, в свою очередь, тоже презирал свое «потерянное поколение» (так и выражался) — сверстников, нюхающих по подвалам клей и краску с ацетоном. С недавних пор он заторчал на игле. По-взрослому. Вот почему его не поместили в подростковое отделение.

— Ну и молодец, — прокомментировал хвастливое откровение Шкета Виктор, которому тот носил чай из столовой. — Помрешь молодым. Даже бабу не попробуешь, дурик.

Врачи смотрели на распахнутое настежь окно курилки сквозь пальцы. Лишь бы не пили. Курилка всегда полна народу, и попытка суицида, как полагало начальство, здесь маловероятна. Но в тихий час больных оттуда гнали.

В такой час Виктор позвал меня в курилку.

— Держи!

Он подал конец скрученной простыни. Затем подпер дверь шваброй. Дышал он тяжело, с одышкой, будто внезапно достиг возраста Ссаныча и влез в курилку по водосточной трубе. Руки его тряслись.

У раскрытого окна стоял Шкет и криво улыбался. Виктор проверил узлы и ухватился за простыни:

— Трави помалу! Шкет, не дрейфь!

Рассуждать было некогда. Шкет весил не больше барана — мы без труда опустили его на крышу пищеблока. Именно опустили: перебирать ногами и руками Витя строго-настрога запретил. Посыльный резво сполз по оконным решеткам и побежал в сторону гаражей, пригибаясь за кустами акации.

Шкета послали за дозой. Виктор уже не мог терпеть мучений.

Из курилки в палату я привел его под руки. Он лег на голый матрас, и тело его, сильное и гибкое, тело грозы полуплегкой категории, тотчас скрутило не хуже простыни. Он зарылся в подушку, замычал. Не в силах видеть унижений бывшего чемпиона, я вышел в коридор.

На вахте сидела Сладкая Парочка — оказывается, так ее звали тут все — и, по обыкновению, молчала, взявшись за руки. Я уже знал, что это официальные муж и жена, хронические алкоголики. Они пери-

одически лежат в разных отделениях, и всегда в одно время, беспокоясь друг за друга. Им сочувствуют на всех этажах, даже санитары. Только этой парочке, состоящей на диспансерном учете, разрешено видаться. Обычная история, сообщила словоохотливая уборщица. Начинать пить, как водится, супруг, а любящая жена, стремясь из лучших побуждений уменьшить количество зелья, стала пригублять да незаметно втянулась. А может, устала бороться.

И немолодая уборщица, протирая унитаз, гулко высморкалась в очко:

— Любовь, паря, промеж ними... Любовь!

Шкет в диспансер не вернулся. И не вернется.

Это стало понятно, когда назавтра в отделение пришла с передачей мать. Принесла сынку блины со сгущенкой, его любимые. Я не хотел брать блины, они были в липком пакете. Но мамаша Шкета, можажая привлекательная женщина, расплакалась в коридоре.

Блины мы умяли вместе со Ссанычем. Виктор отказался. Он равнодушно, с окаменевшим ликом свекольного цвета, воспринял послание от невозвращенца:

— Заторчал на игле в подвале, дурик...

Он простил малолетку.

В конце коридора раздавалось завывание дрели, стуки. В диспансере второй день шел ремонт. Я слышал от постовой сестры, что там будут коммерческие палаты с сануздами, холодильниками и телевизорами. В нашей же палате не то что захудалого радиоприемника — розеток не было. На их месте красовались незакрашенные пятна цемента. Во избежание суицида, сказал Ссаныч, такие случаи бывали.

Наконец, когда с ужасающим грохотом начали рушить стены, коридор перегородили зеленой строительной сеткой. Но все равно тумбочки в палате покрыл тонкий слой пыли. В столовой пациенты в знак протеста перестали кушать первые и вторые блюда, утверждая, что в них попал песок.

Мужское отделение стали расселять в другие палаты. В курилке шутили: повезло тем, кто попал «в просак» — на женский этаж. Просак — промежность, пояснил специалист по ню Ссаныч. Меня же, непонятно за какие заслуги, может за малобуйное поведение в приемном боксе, определили в детско-подростковое отделение.

Отсутствие храпа — главное преимущество детской палаты. Помню, как страдал от него в армии. Хвала тебе, Спаситель, благостно засыпал я, обтянутый тонкими сыроватыми простынями, вытертыми по краям до бахромы.

Рано радовался.

Средь ночи меня пружиной поднял животный крик. Так визжит поросенок, когда его отнимают от свиноматки. Сбросил одеяло я один. Десятилетние обитатели палаты продолжали сопеть в подушки: в этом возрасте сон особенно крепкий. Лишь одна головка вынырнула из-под солдатского одеяла. К подобным концертам здесь привыкли.

В палате запалили свет, и санитарка с медсестрой с руганью втащили из коридора пацаненка лет восьми, не более. Мальчишка орал уже, как хряк перед забоем, кусался и царапался, матерясь не хуже взрослых. Хотя резать его никто не собирался. Его хотели связать эластичными бинтами, их медперсонал волочил, словно длинные макароны. Сестра интеллигентной наружности, увидев меня, извинилась за ночное вторжение, попросила помочь. Я отказался. И предложил отпустить пацанчика.

— Отпустить?! Ха! — патетически хмыкнула медсестра и поправила модные очки. — Отпустить... Ха-ха!

— Ох, доча, давай шустрей, силы у мене уж не те... — выдохнула, удерживая извивающееся тело, санитарка.

Набрякшее ее лицо казалось темным, почти коричневым в полночном свете. Рубашонка мальчишки задралась до горла, он пытался укусь за запястье, но санитарка пухлым локтем мастерски блокировала эти поползновения.

— Заткнись, гаденыш, не то вколю витамин! — Медсестра показала буйному пациенту шприц. — Сережа, ты меня знаешь.

— Знаю-у-у... — тоненько завыл Сережа и обмяк.

Его не мешкая связали бинтами, сделали укол и уложили в кровать.

— А вы его не жалейте. Не знаете — не жалейте, — сказала, перед тем как погасить свет, медсестра. И, оглядев палату взором армейского старшины, протрубила: — Спать!

Стук двери — стало темно. В оглушительной тишине вразнобой закрипели кровати: мальчики проснулись и начали вполголоса осуждать Сережу. Из-за него теперь не дадут компота и обещанно-

го пирога. Маленькие старички, они рассуждали на диво здраво. Я не видел их личиков, но чудилось, у них отросли седые бородки, давно не стриженные в непрерывных бегах. Говорили двое, один справа, через койку, второй откуда-то из угла, а другие кротко поддакивали в темноте: «Ага... Но!.. Козел!»

Выяснилось, что Серя, так они называли скандалиста, родился в семье алкоголиков. И унаследовал родовые черты. В отделении Серя крал все, что плохо лежит, сам не понимая зачем. Из столовой воровал хлеб, который засыхал в тумбочке. Недавно утащил моток туалетной бумаги, спрятал под ванной, и он размок, разбух, расползся, а туалетная бумага — дефицит, ее в диспансере не дают ни мужскому, ни женскому отделению, а только детскому. Пацаны даже хотели его побить, но не стали, потому что Серя — тот еще псих, его коронка — извлечь истерику из любой ситуации. Он может кататься по полу и биться головой о стены. Вот его и связывают. Серя боится лишь укола, самого болючего — витамина бз.

Дружный полуночный вердикт палаты: надо слушаться взрослых, здесь нет ментов, «синяки» и то трезвые, врачихи и санитарки добрые, попросишь добавки — всегда дадут, не то что в интернатах... А из-за Сери теперь не видать компота и пирога, который лечащий врач обещала принести из дома.

Кто-то из пацанов, громко шлепая мужскими тапочками, сходил в туалет и оставил дверь открытой. Свет в проеме образовал косой светлый квадрат, падающий в палату из коридора. Впоследствии в больницах я не раз видел этот белый квадрат в черном багете человеческой боли.

Из окна, затянутого полиэтиленовой пленкой, поддувало, небо было без звезд, однако малолетние пациенты той ночью были вполне себе счастливы. Маленькие старички! Намерзшиеся на улицах, они были благодарны судьбе, что оказались в теплой постели, а не в подвале, рады трехразовому питанию. А дома что? Холодная лапша утром и вечером да пьяная мамка. Такое счастье. Счастье, что тебя не убил отчим, что шпана не сбросила в канализационный люк, не изнасиловали за батончик сникерса... Они знали цену хлебу и копейкам, которые ленятся поднять пассажиры. Битые и находчивые, маленькие старички разговорились (в темноте это сделать легче) — будто предъявляли счет единственному представителю взрослых в палате. Из взрослых они любили только врачей и поварих. Я чувствовал себя неуютно.



Я с удивлением обнаружил, что большинство из них не были занятыми наркоманами или пьянчужками. Меж глотком пива, вдохом клея из пакета и сладостью они однозначно делали выбор в пользу последнего. Подростковое отделение наркологического диспансера из-за нехватки реабилитационных центров в те годы служило отстойником-распределителем для беглых детей. А еще выполняло коммерческие функции для редких взрослых, потому что питание здесь лучше и вообще спокойнее.

В коридоре подросткового отделения с утра стояло лишь три стойка капельниц: для меня, еще одного блатного, брата главврача онкологического диспансера, и мальчика из нашей палаты, не рассчитавшего дозу клея «Момент».

В раздаточной маленьких пациентов хвалили: вылизывают тарелки, даже добавку, можно мыть на раз. Там же в обед я увидел ночного скандалиста. Он был вялым, лениво подметал хлебной коркой картофельное пюре с тарелки. В столовой мы остались одни.

— Сережа, а болючий укол-то? — не зная, о чем спросить, сказал я под шумок моющейся посуды.

— Не-а, — прогнусавил Серя, утирая рукавом рот, — это другой, не витамин бэ. От этого спишь и голова пухнет... Его и мамке колют.

— А где мама?

— Внизу... — невнятно пробубнил мальчишка с набитым ртом.

Лицо было серое, в цвет казенной байковой курточки. Губы искушены.

— Где-где?

— Мамка внизу лежит, — прожевал Серя.

— В женском отделении, что ли? — воскликнул я. — Врешь!

— Не вру, видел я ее! — округлил глаза пацан.

Его вялость как рукой сняло.

— Тут же кругом замки, мышь не проскочит! — чуя лазейку, делано подивился я.

— Тихо ты, че орешь, мужик... — бросив взгляд в окошко раздаточной, прошипел Серя.

И поведал тайну.

В соседней палате шел ремонт; оттуда и сейчас слышался стук молотка и визг пилы-«болгарки». И потому решетки с окон сняли. После того как пацанов раскидают по семьям-интернатам, говорили,

там будет коммерческая палата. А в коридоре рядом с туалетом из стены выпирал пожарный щит со стертыми буквами «ПК». Я тоже заметил свернутый шланг за стеклом, позеленевший от длительного обезвоживания, он, должно быть, символизировал усмирненного зеленого змия.

Незарешеченное окно и пожарный шланг — связать это воедино мог в уме только профессиональный беглец. Дверка щита запиралась несерьезным замочком, такой годился разве что для почтового ящика.

Санитарка проболталась Сереже, что этажом ниже положили его мать. И после полуночи, когда медсестра ушла спать в подсобку, он размотал шланг, закрепил его на батарее ремонтируемой палаты, спустился на уровень женского отделения. И узрел за решеткой при тусклом свете палаты интенсивной терапии мать, примотанную к койке эластичными бинтами. Она была распята под капельницей. Сынок раскачался на шланге (помог ночной ветер-сообщник) и пнул оконную решетку.

«Мамка-а-а! Я zde-еся! — не попадая зубом на зуб, заорал под лунной злостный нарушитель режима. — Мамка-а-а! Глянь в окно!» Он замерз, но не выпускал спасительный шланг из рук. Слезы сбивали фокус, он не мог утереться, однако мог поклясться, что мамка его услышала: женщина под капельницей завожилась, силясь повернуться к окну. «Мамка-а-а! Не оборачивайся! — вскричал сын. — Игла выскочит! Игла-а-а!..»

— А может, не твоя мать была? — сказал я.

Сережа сразу надул губы, даже не доел пюре. И потом весь день умудрялся избегать меня, хотя в небольшом отделении сделать это сложно.

Ночью, когда маленький телевизор на сестринском посту смолк, я встал. Зачем — не знаю. Дежурная сестра спала на диване в ординаторской.

Я подошел к пожарному щиту, замочек раскрылся легко. Дверка протяжно скрипнула, я вздрогнул от сдержанного смеха.

— Че, бляха, не спится без бабы?

За спиной стоял высокий мужик лет сорока с гаком. Или живот, вываливающийся из треников, делал его старше? Под майкой в обрамлении курчавой поросли синела татуировка: ангел с мечом. У ан-

гела был заговорщицкий вид, он походил на хронического алкоголика, которому вместо граненого стакана всучили меч. По тому, как ангел расправил крылья, пребывание в наркологическом диспансере явно шло ему на пользу.

Брат главного врача онкодиспансера лежал в небольшой, но отдельной палате и целыми днями отгадывал кроссворды. Обильные продуктовые передачи блатной пациент уничтожал в режиме нон-стоп, по всей видимости, они помогали усиленной мозговой деятельности. Первое время приставал ко мне с вопросами типа: «Четверка коней на фронто́не Большого театра, четвертая — дэ». Дыша колбасным духом, предлагал раздавить чекушку перед обедом, подмигивал и хихикал, когда мимо проходили медсестры. Я сказал, что у меня запор и глисты, и он отстал.

— Тоже по бабам наострился? Через окно? — тихо, как жеребец в ночном, заржал сосед. — Да ты не бойсь, не скажу никому. Ты че куришь, земляк?

Курить в детском отделении было запрещено. Полночный свидетель, раскуривая сигарету возле туалета, успел рассказать, как застукал пацана. Пошел по-малому и увидел, что Серя раскатывает шланг — из коридора в палату к окну.

— А че, нормальный ход! — пыхнул брат главврача. — Мужик по бабам пошел. Пусть привыкает!

Он помог пацану водрузить тяжеленный шланг обратно на место.

Я сказал, что мальчик ходил к родной матери.

— Во, бляха, дают мамаша с сыном! — озадаченно притушил сигаретку. — А я думал, он за бабами подглядывать полез... Но ты не бойсь! — захихикал сосед. — Всегда есть выход, когда имеется вход сзади!

Оказывается, можно обойтись без пожарного шланга. Брат главврача давал деньги санитарам, и те устраивали встречи на темной лестнице с дамами из нижнего отделения. Ночью или в выходные дни. С пациентками легкого поведения обычно расплачивались водкой. За отдельную плату тебе могли предложить randevu в комфортных условиях — в подсобке на груди грязного белья.

Я подумал, что эдак можно устроить свидание Сери с матерью.

— Свидание с женщиной? Как два пальца!.. — громко сказал брат главврача и осекся. Добавил тише: — Токо бабки готовь... Героиновая или «синячок»? Мой совет: с нарками не связывайся, брат. «Синяя» лучше будет... Как швейная машинка... отвечаю.

Я вернулся в палату. Ровное дыхание спящих мальчишек вернуло душевное равновесие. Засыпая, увидел белый квадрат.

## Спираль 5

...И тяжела же работа маньяка! Взять ее важнейшую фазу — расчленение трупа. Он же теплый еще, не из холодильника, а мясники знают, что рубить легче в меру оттаявшую плоть.

Под потолком с тихим свистом крутились лопасти вентиляции, разгоняя мух и пух. Все было мокрым: фартук, руки по локоть, лицо, волосы. То ли от крови, то ли от жира. Рукоять топора скользила в ладони — приходилось то и дело протирать ее ветошью. Вдобавок я потел; по цокольному этажу диспансера волнами катила июньская жара и тополиный пух. Уже через полчаса я стянул влажную футболку, потом спортивные штаны и вскоре остался в одних плавках и шлепанцах.

Утирая пот, я поднимал глаза и видел в узких, что щели дота, за решеченных оконцах белеющие ноги поварих, вышедших покурить. Ноги как ноги. Кровавая работа не рождала ассоциаций.

Я выковыривал из волос комочки, сгустки и косточки и думал: если это не ад, то его предбанник. Однако я был неловок. За годы офисной работы утратил всякие навыки физического труда. Топорная работа! Я никак не мог попасть в след предыдущего удара. Лезвие весело влетало в раскисшую говядину, пузырилась кровавая пена, топор, ускользая, не слушался рук.

И тут мне дали помощника: видимо, кто-то из кухни заглянул в разделочную и — ужаснулся. Или посмеялся.

Но помощником мгновенно стал я, как только напарник взял в руки топор, хищно оглядел искромсанную коровью тушу и глухо сказал:

— Передохни, братишка...

Я с трудом узнал его без бороды. Тощий, как подросток, заросший, будто столетний дед после векового запоя, грязный, нечесаный, он два дня мычал связанный в палате интенсивной терапии (там всегда открыта дверь) и вонял на весь коридор. А тут побрился, помылся, и оказалось, что он моих лет. Чуток за сорок. Его звали Саней.

Саня разделся догола. Я тоже сбросил плавки, иначе не отстираешь потом. Предстояло расчленить три туши. Кроме того, набить

филейными кусками пакеты для главного врача и заведующего отделением. Я понял, почему котлеты в столовой — единственное мясное блюдо за весь день — разваливаются от прикосновения алюминиевой вилки.

Саня набросился на труп коровы с патологическим энтузиазмом. Дергая кадыком и корча зверские гримасы, он смачно, хлестко и метко всаживал топор, тютелька в тютельку в линию топорного фарватера, и ухал, словно филин:

— У-у! Суки!.. Суки, получайте!.. У-у! Суки!..

Что-то было в этом крике. Этот оскал похож на улыбку.

Так идет в атаку штрафбат.

Так орет роженица — и в роддоме, и в кустах. Именно так, по-русски, верещала и всхлипывала в тайге ороchonка, дочь бригадира оленеводческой фермы, не доехав до акушерско-фельдшерского пункта какой-то сотни километров.

Так дерутся эски и пьяные работяги. Так усмехается третий номер орудийного расчета, уплотняя деревянным досыльником, похожим на бейсбольную битку, снаряд в зеве 122-миллиметровой гаубицы.

— У-у! Суки, получайте!..

Однако в крике Сани был свой обертон. Эхо сорванных бинтов. Унижение, бессилие, злость на приходящего по ночам черного человека, на сумерки запоя и секунды просветления, от которых еще горше. Черно-белое отчаяние. Страх перед свободой. Теснота барака и внезапно, так что больно глазам, раздвинувшиеся стены. Открывшаяся даль горизонта проводит и подводит черту. Под упущенными возможностями — безжалостно и бесповоротно. Не крик — резюме бедовой житухи.

Сперва я подносил снаряды, по кивку соратника разворачивал туши под удар, с хрустом отламывал, подхватывал падающие куски и относил их в сторону, но заразившись напором, схватил второй топор.

— У-у! Суки!.. Суки, получайте! У-у!

Теперь мы орали хором.

Дикое, должно быть, зрелище: два голых мужика, трясая яйцами, машут окровавленными топорами посреди трупов животных и мажутся, что буйные пациенты. В проеме появились озабоченные лица санитаров.

Саня с грохотом бросил топор на оцинкованный стол, обернулся к двери:

— Э, начальник, закурить нема?

Санитар возобновил процесс жевания чуингама:

— А мы думали, у вас «белочка» началась!

«Белочка» — это белая горячка. Принято считать, что она рождается в апогее алкогольного пике. Это не всегда так. На то и штопор, чтоб выйти боком. При мне мужчина интеллигентной наружности, получая выписные бумаги и бюллетень, уже переодетый, на вахте, где его ждала жена, вдруг начал озираться по сторонам.

— Что-то забыл, Федя? — шагнула навстречу жена алкоголика. — Вещи — вот они, в пакете. И тапочки я положила, и ложку, очки...

— Палки!.. — заглянул под диванчик Федя. — Где мои палки?

— Палку ты дома бросишь, чувак! — заржал, проходя мимо, кто-то из «маечников».

Медсестра привстала из-за перегородки:

— Какие палки ищете, больной?

— Я сказал — лыжные палки! — буркнул выписывающийся. — Лыжи, елки-палки! Нам еще до сто второго квартала добираться, правда, Галя? Туда автобус плохо ходит.

Галя заплакала. А был июнь, кстати.

— Где мои лыжные палки, девушка?! — уже раздраженно чинил допрос медсестре. — Я, когда поступал, здесь, за диваном, оставил... А лыжи внизу сдал в приемном покое. Думаете, пьяный, не помню ничего? А палки здесь тут...

Так и сказал: «здесь тут»!

— Тут, главное, мазь подобрать, — вякнул, проходя в обратную сторону, тот же остряк.

Раздался хохоток. На вахту потянулись зеваки. От скуки «здесь тут» рады малейшему инциденту.

— Да-да, кажется, я видела какие-то палки, наверно, их унесли на вещевой склад, — весело и громко сказала медсестра, делая знак возникшей в коридоре подруге.

Та поспешно ушла в ординаторскую — спустя минуту послышался ее деловитый говор по телефону.

«Лыжника» выписали. Вместе с тапочками, очками, зубной

щеткой и ложкой его увезли санитары, рослые, холодно-вежливые, трезвые — не наши.

Зато другого чудака и не думали увозить. Привыкли. Он был абсолютно нормален, за исключением малости: в кухонном закутке в ожидании кипятка под бульканье разнокалиберных посуды разговаривал с электрощитком.

Каждому свое. Бывшему боксеру как воздух нужна доза, мне — устроить свидание Сери с матерью. Вот ведь повадились лазить за птицей счастья в окно, когда есть дверь. Нет, это мы уже проходили. Тушить из пожарного шланга убежавшее молоко. Ночью у щита «ПК» было подсказано цивилизованное решение.

А через день меня перевели обратно в мужское отделение. Я остановил трусившего по коридору санитары — парня с узким, как судно, лицом. Про Серю-скандалиста и его мать я говорить не стал. Санитары, если не сойдешься с ними в цене, могут настучать администрации.

— У тебя там баба, что ли? — Узколицый задумчиво сунул палец в нос. — Хм-м... С этим тут строго, брат. Ежели насчет бухла или «колес» — проще... А тут трешь-мнешь. Даже если по-бырому. Это ж другое отделение, сечешь? А ключи у дежурной сестры. Мой тебе совет: передерни в туалете. Не ты первый. После запоя прет — обычное дело.

Я обмолвился насчет денег.

— А сколько у тебя? С собой? — перестал тот ковыряться в носу. — Давай...

Он засуетился, багровые прыщи на щеках чуть не лопнули от нетерпения.

— Только гарантий, учти, никаких... — бормотал он, засовывая купюру под стельку тапочка. — Сегодня Тонька в ночь застывает. А у ней у самой хахаль. Придется с ним делиться... Ты пока не дергайся. Ежели что, я тебе вякну после отбоя. Будь в палате.

Из его торопливой невнятицы понял одно: в этом деле много посредников.

Вечером, после ухода врачей, санитары напились. Пили с размахом: набрали снеди, фруктов, купили торт, пригласили боевых подруг. Медсестры удивлялись: откуда деньги? Сперва крутили в основном тюремный шансон, нестройно, как козлы, подпевая; потом

— песенку про девчонку-малолетку. И так без конца. Правда, после отбоя по требованию дежурной они убавили громкость музыки, зато стали громче говорить. «Бу-бу-бу!» — разносилось по коридору.

Я лежал в палате и слушал этот аудиопонос со скрипом зубовым, не без основания подозревая, что пропивается мой аванс.

Стука в дверь они не услышали. Когда я вошел, одна медсестра сидела на коленях у лысого санитаря в спортивном костюме — это у них вроде спецодежды. Второй кавалер разливал по стопкам и что-то взახлеб рассказывал, наверное анекдот, — компаньоны застыли с улыбками манекенов в ожидании сигнала, где смеяться.

— Больной, а почему вы входите в служебное помещение, да еще без стука?! — наконец ожила медсестра, тон был ледяной.

Грязные тарелки щедро усыпаны кожурой от мандаринов — под цвет маникюра. Торт растерзан прямо на столе.

— Вечер добрый, как насчет моего дела? — Я прикрыл за собой дверь.

— Мужик, ты че, с койки упал? — потряхнул косичкой прыщавый.

— Дела у прокурора, а у нас истории болезни.

— Да он же пьяный! — хохотнул его дружок.

Он расстегнул молнию трикотажной куртки, то ли от духоты, то ли с целью демонстрации накаченных мышц.

— Больной, вам что, вызвать бригаду? двадцать пятую? — сморщила личико девушка.

Белый халат она сняла. В уголке рта белел крем от торта. Моего торта!

Бригаду-25 из психоневрологического диспансера боялись, как ночного кошмара.

— Да привязать его — и все дела!

Знакомый санитар начал теснить меня к двери, изрыгая мандариново-чесночный дух и нашептывая:

— Ну не получилось, брат, дежурный врач сменился... Я тебе потом другую приведу... — И громко: — Иди проспись!.. Он, точно, пьяный, чуваки!

Я оттолкнул провожатого:

— Тогда гони бабки! Взад!

— Че-во? Какие бабки? В чей зад? — встал под одобрительные смешки амбал с койки.

И снял куртку. Бицепсы были что надо.



— Уж не те ли это деньги, что он пытался всучить нам как взятку?.. Они приобщены к делу, как вещдок, понятно тебе, лошара?

Амбал был выше на полголовы. Иногда это полезно. Обратить недостатки в достоинства. На его горле алел засос. В этот дергающийся кадык, в просвет между небритым квадратным подбородком и кудрявой шерстью, что перла из-под майки, я и ударил — так, как учил комбат Зайченко. Вложив в удар всю обиду за сладкое.

Санитар захрипел, стал оседать и синеть лицом. Узколицый сводник схватил со стола нож, вымазанный в торте. Медсестра завизжала.

— Не надо мокрухи! Милиции нам не надо! — залопотал второй прихлебатель, нервно дергая молнию на спортивной куртке.

Узколицый отрезал большой кусок торта.

Я вышел.

Шум, поднятый в стычке с санитарями, достиг ординаторской. И меня в наказание сослали в подвал на разделку мяса. Врачам, как всем бюджетникам, задерживали зарплату, и они хотели получить свое хотя бы говядиной.

А еще через три дня я выписался. Напоследок узнал. Первое. Виктору наконец сделали капельницу. Опытную медсестру отозвали на день из отпуска, и она нашла вену где-то возле ключицы боксера-наркомана. Второе. Истеричный мальчик Серя сбежал из диспансера по пожарному шлангу, когда ему сказали, что мать выписали из женского отделения за нарушение режима. Сбежал, но дома не появился. Да и был ли у него дом?

Блудные сыновья на то и блудные, что им есть куда возвратиться после загула. Я вернулся домой вслед за змеевиком деда Исты. Спиралевидная медная деталь — после франшизы, ее хозяин — после алкогольной шизы. Змеевик, упав на дно фибрового чемодана, скрутился в пять оборотов. Чтобы больше к нему не приставали. Мы оба завязали с этим делом. Кодирование тут ни при чем. Просто спираль истории замкнулась.

Замкнулась, однако не отпустила. Годы спустя я видел сквозь сон белый квадрат.

Перед выпиской случился казус. Санитары решили показать напоследок, кто в доме хозяин. Сперва хотели разобраться со мной в мясницкой, но увидев в моих руках топор, благоразумно отложили

казнь до ночи. Связать сонного — и выбросить из окна курилки. А свободный полет списать на *delirium tremens*, алкогольный делирий, именуемый в народе «белочкой».

Об этом мне сообщила медичка Елена, подруга амбала с помятой глоткой, которой во время стычки не было. Оказывается, бойфренд изменил ей со смазливой уборщицей. Та убирала служебный туалет и там же, встав коленями на мытый кафель, оказала услугу санитару. Застуканный с поличным, амбал виновато сипел, держась за горло: «Подумаешь, Ленок, мы даже догола не раздевались...» Когда же Ленок попыталась призвать к ответу уборщицу с облезлым маникюром, разлучница вцепилась ей в прическу.

Пришлось вызывать Бубу. Звонок из ординаторской в линейный отдел милиции устроила Елена. Видать, больно надрали ей волосы.

Буба примчался через два часа. И не один — вместе со здоровяком старше, тем самым дежурным, который с поста прибежал хлебнуть в фотолaborаторию. Он был выше амбала-санитара на полголовы. Похохатывая, Буба и старлей заполнили прихожую мужского отделения. У Бубы почему-то не хватало пуговицы на кителе. Левый крайний тут же забыл о цели визита, приклеившись к медсестрам, и уже через минуту записывал в служебную папку номер телефона под кокетливое хихиканье абонентки. Старлей, поигрывая дубинкой, делал ею неприличные пассы.

Санитары закрылись в подсобке.

Мне вернули аванс за несостоявшуюся встречу Сери с матерью. Против ЛОМа нет приема.

Самое смешное: при выписке предложили остаться поработать санитаром.

На вахте сидела Сладкая Парочка. Муж и жена встали, держась за руки, как дети, и сказали хором:

— До свидания!

На улице под окнами детского отделения на стоптанных каблучках началась пьяненькая женщина. В руке она держала пакет. Видимо, в таком виде ее не пустили на свидание, и она высматривала кого-то в окнах.

— Сынок! Сережа! — запрокинув голову, кричала пьяная.

Покачнулась, по асфальту покатались яблоки... Из здания вышел толстый вахтер, стал гнать шумливую посетительницу, пнул яблоко.

Я собрал яблоки с грязного асфальта и преградил путь толстяку. Он выпятил грудь:

— Эт-та что ишо за фрукт?

Я с хрустом надкусил яблоко, порченное ботинком охранника, и выплюнул плодоножку ему в лицо. Толстяк, соблюдая лицо, непроизвольно сделал шаг назад и с ворчаньем ретировался.

Я отдал фрукты женщине. Она подвернула каблук и не могла идти. Я довел ее до остановки и посадил в автобус. Женщина, плача, пыталась всучить мне пакет с яблоками. Я взял одно.

Дома у меня разболелся живот. От немытого яблока, не иначе. Интоксикация легкой тяжести. Легко отделался.

Ибо всякий изблевавшийся, но безмерно страдающий есмь человек.

## **Карандаш Всероссийского театрального общества**

### **Огрызок 1**

Мы потеряли маму.

Она и в жизни была худенькой, а после жизни и подавно.

— У нас тела идут под номерами и где попало не валяются, молодой человек. Это госучреждение! — прожевав, изрекла цветущая дама в грязно-сиреновом халате,дохнув жареной рыбой.

И пальцами с облезлым маникюром вынула изо рта толстую, со спичку, косточку.

— Да куды она денется? Пожрать не дадут... Вы ж видите, мест нет.

В мертвенном неоновом свете на оцинкованных столах покоилось с десяток тел. Свет был неровный, дрожащий. Одни тела казались серовато-белыми, другие землистыми, но все с почерневшими носами. Хотелось их прикрыть. Ближе ко мне, вытянув руки по стойке «смирно» (какая стойка, о чем я?), лежал старик с гигантскими ступнями и давно не стриженными квадратными ногтями. Волосы на лобке были седыми. Говорят, у покойников они продолжают расти. Ногти тоже. Мужчины были сплошь небритыми. Через стол располагалась женщина, нестарая, судя по приличному, – не то, что у некоторых живущих жующих, – маникюру. Рука выглядывала из-под рваной простыни. Большинству повезло меньше — так и маялись в чем мать родила...

Мамы среди них не было. Как и в других четырех боксах, здесь находились тела, подлежащие выдаче. Не было ее и в коридоре, где

покойники жались к свинцовым стенам на узких высоких столах. Пахло затхлым, неживым. Это формалин, шепнул дядя Костя. Тем витальней воняло жареной рыбой, клянусь — хеком. А его надо уметь готовить. Пожарить — опошлить идею. То ли дело хек в морковном маринаде, который делала мама...

В морг мы попали в обед. Нас и пускать не хотели. Но дядя Костя, высокий, в очках, в прошлом директор краеведческого музея, крикнул в дверное окошко, что пожалуется Клавдии Нимаевне.

Дверь тоже была оцинкованной, видать, в предыдущей жизни служила покойнику столом. Плача несмазанными петлями, она нехотя раскрылась.

Санитарка одной рукой держала разделочную доску с крупно порезанными кубиками картошки, другой взяла справку. Из-за ее спины доносились веселые голоса, где-то шумела вода, свистел чайник. Справку вернули — на ней остались следы мокрых пальцев.

Санитарка кивнула в сторону приоткрытой двери:

— Там она, кажись...

Мест и в самом деле не было. Тела походили на бутафорские. Театр теней какой-то. Или неоновый свет тому виной? Лица служителей напоминали маски. Предбанник рая. Или первый круг ада. Хотя это же мама! Святой человек.

От сложных запахов замутило.

Старшая санитарка в сиреновом халате сверила справку с записями в амбарной книге:

— Утром же была...

Я хотел крикнуть в сытое жующее лицо с пухлыми сальными губами нечто дерзкое. Но вздрогнул.

— Мама! — пропищали под боком.

Вдоль оцинкованного стола, задев косичками огромные ступни мертвого старика, в бокс протиснулась девочка с ученической тетрадкой.

— Мам, нам задачу задали... Сколько будет перевезти из пункта А в пункт Б семь тонн баклажанов в килограммах?

— Какие баклажаны, доча?.. Тут человека перевезти надо! — Санитарка снова пролистнула амбарную книгу.

В общем, мама моя напоследок задала задачку. На засыпку. На два метра в глубину. Даже не задачу — розыгрыш, театральный этюд. Служила ведь в театре.

В детстве у нас с мамой была любимая игра — прятки. Я прятался ненаходчиво, обычно в платяном шкафу, впопыхах оставляя тапочки на полу. А мама ходила вокруг шкафа и тапочек и громко удивлялась, куда это, интересно, мог подеваться сынок, никто его не видел, а? А я, дурачок, с колотящимся сердцем сидел на корточках в темноте, в полах отцовского реглана, задыхаясь от запахов нафталина и кожи, восторга и предвкушения грядущего торжества. Сама мама в наших хрущобах умудрялась прятаться так, что мы ее, бывало, искали вместе со старшей сводной сестрой. Однажды мама укрылась за занавеской в ванной, держа поверх нее головку душа. В другой раз надела пальто, надвинула на лицо отцовскую шляпу и притулилась к вешалке, где хранились зимние вещи. В третий раз вообще легла вдоль плинтуса, накрывшись свежевыбитым во дворе ковром, а голову замаскировала ажурной пластмассовой колотушкой.

У плинтуса морга, возле самой двери, распластанную на носилках, маму и нашли. Она накрылась... прости, Господи, неразумного нехристя — конечно, ее накрыли! — какой-то рваниной. То ли простыней, то ли халатом — в тон грязно-серым стенам и вытертому линолеуму. К стене была прислонена метла, деревянная лопата для уборки снега, а сбоку — огромные валенки общего пользования. Злого умысла не было: мама усохла — носилки с тряпками казались пустыми. Она так мастерски изобразила свое отсутствие, сыграв со смертью в прятки, а метла и лопата стали реквизитом последних выездных гастролей.

Когда занавес дерзко сорвали, я увидел родного человека во всей беззащитности: желтое, даже оранжевое, сплющенное тельце подростка, курага грудей, искривленные артритом ножки с косточкой на левой ступне, изуродованные бесконечной стиркой и готовкой клешни кистей... Боже, каким чудом я выполз из этого тельца?!

Очнулся от сильного толчка в плечо.

— На-ка, держи.

Оказывается, я стоял на коленях. Дядя Костя подал мне водки в железной кружке. Санитарка держала дольку жареного хека на вилке.

Я отказался ехать в стареньком дяди-Костином «москвиче» и забрался в кузов бортового «зилка», куда погрузили тело мамы — твердое, несгибаемое, завернутое в ковер. Водитель торопился: мы опаздывали на вынос; машину трясло, и почти всю дорогу я просто-

ял на коленях, придерживая маму за ноги. Старый, прожженный с краю ковер (раньше он висел на стене гостиной) был коротковат. Из-под него выглядывали стылые, словно жестяные, ступни. Их я обул в брезентовые строительные верхонки, валявшиеся в кузове. Мне почему-то казалось, что маме холодно, хотя, конечно, ей было уже все равно. В детстве она твердила мне, что всякая простуда, особенно ангина, идет от ног, без конца вырезала стельки, вязала шерстяные носки, примеряла их на себе (у нас был один размер) и жмурилась от счастья: «Ноги смеются!» В кузове я пытался натянуть на голые, совсем синие ноги шерстяные варежки, но они не лезли из-за косточек, торчавших сбоку, будто шестые пальцы. Зато верхонки, измазанные в цементном растворе, пришлось маме впору.

Ноги смеются, твердил я, удерживая прямое, как палка, тело. На поворотах непокрытая голова гулко, бильярдным шаром стукалась о борт, я что-то возмущенно, рискуя заработать ангину, кричал поперек декабрьского ветра. Наверное, что ноги не умеют смеяться.

Гроб ждал маму дома. А в грузовике ее завернули именно в тот ковер, под которым она пряталась от меня маленького... Прятки в тени.

— А кто такая Клавдия Нимаевна? — спросил у дяди Кости по прибытии в пункт Б.

Авось, могущественное имечко пригодится на кладбище и в столовой на поминках.

— Куратор из министерства. Да ты не бери в голову. Ее года два как в живых нет.

Театр никак не кончался, туды его в качель.

На память о театре, который в судьбе мамы, да и нашего рода, сыграл первую скрипку бурятской оперы, остался угольный карандаш производства ВТО — Всероссийского театрального общества. Им артистка Валентина Мантосова подводила глаза в тесной гримерке второго состава перед выходом на сцену. Ни афиш, ни театральных масок, ни программ с автографами — остался лишь карандаш, и то огрызок с полмизинца сопливого мальчика, каковым я был в те годы, когда, уцепившись за подол маминого пальто, шнырял в служебный вход театра оперы и балета. Уже начав бриться, по жизни не мог избавиться от ощущения ненатуральности, театральности происходящего вокруг, словно в захудалой постановке на пыльной

провинциальной сцене (менялись только декорации). Даже когда этой жизни угрожала опасность. Остались обрывки, огрызки воспоминаний.

## Огрызок 2

Предлагаемые обстоятельства далеки от театральных. Трагедия и комедия. Драма кукол. Опера, небезыntenерсная операм.

Для пролога — о театре военных действий.

Первым сценическим гримом мамы стала хайларская грязь. К середине тридцатых жители маньчжурского городка свыклись с японской солдатней. Она была везде: на базаре, на улице, на крыльце дома с красным фонарем, на вокзале, в дацане и церкви. По одному, повзводно и в составе патруля. Пехотинцы могли средь бела дня обмочить забор, расставив ноги в обмотках, а ночью ворваться в дом. Все это делалось нарочито шумно — чтобы показать, кто теперь на севере Китая хозяин.

Тем разительней стало появление летом засушливого 1934 года «других японцев», как их сразу обозвали в Хайларе, хотя они как раз старались не привлекать внимания. В то лето Валя перешла в седьмой класс советской школы КВЖД второй ступени и хорошо запомнила, что в классах, на рынке и на улице, словом, повсюду в Старом и Новом городе, только и говорили — вполголоса — о странных японских военных.

Во-первых, они расположились отдельно от остальной рати — не в городе, а в голой степи, где споро возвели сборно-щитовые строения, похожие на большие сараи, и обнесли их колючей проволокой. Однако флага на крыше не вывесили. Хотя соратники делали это по малейшему поводу и водрузили полотнище с солнцем даже над домом с красным фонарем, где жили веселые бездетные девицы. Рядовые нового отряда не справляли нужду посреди улицы, не кричали, не плевались, не напивались, не хватали женщин за разные места и никого не резали. А многие их командиры носили смешные круглые очки, сквозь которые пристально разглядывали товары на рынке, будь то пучок морковки, кочан капусты или живность. Перед тем как взять в руки нечто съедобное, офицеры надевали белые перчатки!

«Другие японцы» отличались необычайной чистоплотностью. Подворотнички их мундиров были на диво чисты, а сапоги вызывающе

блестели на непролазных улицах Хайлара и в ненастный день будто отражали грязь. Девочка Валя видела представление: офицер из загородного отряда покупал живую курицу. Он протер очки платочком, надел белые перчатки, ловко ухватил курицу за связанные лапки, с брезгливой миной оглядел ее, поднял крыло. Птица притихла. Потом офицер снял перчатки, щелкнул пальцами — из-за погона с двумя звездочками выглянул солдат с флаконом и тряпочкой. Запахло чем-то знакомым — спиртом, сообразила Валя, — так раз в месяц, в зарплатные дни мастеровских КВЖД, пованивал аба Иста. Командир намочил марлю, протер ею пальцы и правую кисть. Кудачущую курицу забрал солдат. Офицер расплатился, сел в автофургон и упылил. У них был автомобиль!

Еще одна странность. Эти японцы никогда не торговались, вежливо расплачивались, в то время как прочие представители экспедиционного корпуса норовили отобрать товар. Автомобили в Хайларе видели и раньше, но редко. Иногда в Новом городе чадил советский грузовичок, за ним бежала детвора и собаки. С началом японского вторжения колесных машин в городе стало больше, правда, ненамного — пушки таскали упряжки лошадей. Зато у загородных построек без флага стояли автофургоны, рассказывал с горящими глазами Валин брат Мантык, который пас коров у реки и там же в свободные часы играл с мальчишками.

Как-то пьяный солдат попытался увести корову из стада. Корова мычала, упиралась передними ногами, лягалась задними. Пастушок Мантык плакал. И тут раздались выстрелы. Солдат протрезвел. Стреляли от ворот с колючей проволокой. Корову вернулась в стадо.

Какая корова? Причем тут театр? Погодите, будет вам театр...

Однажды в небе над Хайларом закружил самолет. Однако увидеть его вблизи, как ни хотелось Мантыку с друзьями, не удалось. В степи выросла цепь пехотинцев с примкнутыми штыками. Самолет приземлился за городом, подрулил к сараям, прямоком к воротам, обвитым колючей проволокой. Из самолета выгрузили большие ящики. И стальной ястреб, сверкая в лучах полуденного солнца, улетел за горизонт.

К концу лета хайларские мальчишки пришли в необычайное возбуждение. Любимым их развлечением была ловля сурков-тарбаганов и полевых мышей. Мать ругала Мантыка, что тот мало помогает в доме, не готовится к школе, а, улучив минутку, бежит с силками за город, где его ждут друзья.



Выяснилось, что развлечение может стать серьезным занятием. Вечером Мантык принес домой японские иены, кучку бумажек. Хозяйка перепугалась. А когда глава семейства схватил вожжи, Мантык, размазывая сопли, поклялся, что не обворовывал пьяного японца, а честно заработал заморские деньги. При этом за сурка заплатили вдвое меньше, чем за мышшь-полевку! Абэ Иста уличил во вранье, ведь тарбаган гораздо больше и жирнее мыши, его шкурка идет на выделку, его мясо в голодный день — и в суп. А с мышки какая выделка?

На следующий день для проверки сведений, выбитых вожжами из младшего сына, вместе с Мантыком в степь была послана старшая сестра Валентина. Мать пожарила лепешек из последней муки, положила в заплечный мешочек дочери два куска мяса и фляжку чая с молоком — обычный рацион мужа, уходившего на весь день в мастерские. Мальчишеский промысел уравнили с работой взрослого мужчины.

Вечером Валя рассказала родителям, как было дело. Охота прошла не совсем удачно. До обеда из норы удалось выманить лишь одного сурка, но после съеденных лепешек дело пошло шустрее. Правда, мыши в руки не давались. Хотя в ловле помогали Бася и собака Нохой. Баське, похожему на медвежонка соседскому мальчишке, Валя вручила ведро. С ним он без усталости бегал к реке. Водой заливали тарбаганы норы.

К воротам с колючей проволокой бригада охотников принесла четырех тарбаганов и трех мышек. Еще одну, полумертвую полевку, принес в зубах Нохой, преданно заглядывая в глаза и усердно виляя хвостом. Мышь не подавала признаков жизни, и ее забраковали: покупателям степных зверушек требовались только живые экземпляры. Зато вредные тарбаганы вовсю подавали признаки жизни, своими когтями они изорвали мешки. Пришлось несколько раз стукнуть по мешку палкой.

Товар находится в нехорошем виде. Состояние товара влияет на цену. Об этом уставшим искателям живности и добытчикам иностранной валюты торжественно объявил японец, вышедший в белом халате. Часовой вытянулся, отдал честь, качнул штыком. Валя, которая раньше ходила в японскую школу, кое-как, запинаясь, перевела мальчикам условия сделки. Офицер пренебрежительно махнул перчаткой. Белый халат скрывал мундир, погоны со звездочками угадывались.

Меж двух сараев сновали солдаты в длинных клеенчатых фартуках. В руках они бережно, семена, держали какие-то сосуды, по виду фарфоровые. Откинув длинный полог, на крыльцо ближнего сарая вышел еще один человек в белом халате и очках. Пол-лица скрывала марлевая повязка. Он спустил ее на подбородок, стянул белую перчатку и закурил.

Валя была уверена, что это не врачи. И красного креста нигде нет, хоть умри. Врачей она видела в больнице Нового города, куда они ходили с классом давать концерт. Больных людей за колючей проволокой не замечалось. Дяди в белых халатах больше походили на учителей. Но какое отношение учителя имеют к армии?

Эту мысль пытливая пионерка Валя не успела додумать. Раздался свисток. Свистел, выпучив глаза, выбежавший на крыльцо солдат. Его фартук был забрызган кровью.

Человек в белом халате в спешке бросил сигарету, натянул повязку на лицо, чуть не уронив очки. По дворику забежали солдаты, что-то высматривая в траве. Трель свистков не умолкала.

Нет, не та трель, не звонок в антракте. Погодите, будет вам театр...

— Тикусё! — ругнулся приемщик сурков и мышей и скрылся в сарае.

Про Валю, Мантыка и Басю, стоявших у ворот с добычей и открытыми ртами, забыли. Офицеры-врачи орали, солдаты, путаясь в длинных блестящих фартуках, сломя козырьки, бегали туда-сюда. Все кричали: «Недзуми!» Недоразумение по-японски, тарбагану понятно. «Ошибка», — перевела Валя мальчикам.

— Недзуми! Недзуми!

Нохой возмущенно залаял. Часовой выставил штык.

Наконец к детям подошел толстый солдат в фартуке. Лицо прыщавое, нос — красная пуговица, глаз косой. И как его только взяли в армию? Наверное, над ним потешались сослуживцы. Хотя вряд ли: судя по погончику, он был не простым солдатом. Фельдфебель, важно пояснил Бася. Его отец служил у барона Унгерна, и Баська разбирался в званиях.

Толстый косоглазый фельдфебель пересчитал пищавших в мешке полевых мышей и отдал Вале, старшей из троицы, мятые иены. Сурков офицер не принял.

Валя настояла, чтобы мальчишки отпустили полуживых тарбаганов в степь.

Получив свою долю, Баська помчался в советский магазин в Новом городе за сладостями. Иены принимали в Хайларе везде. Баськины пятки только и сверкнули. А мог бы на те же деньги купить сандалии.

Дома аба отругал за изорванные мешки, а мама-эжы похвалила, разгладив иены:

— Чудны дела, Иста! Мышь маленькая, а деньги большие!

Валя чуть не поперхнулась луковой похлебкой: недзуми — это мышь! И как она могла забыть урок? Японцы потеряли мышку. О том и кричали как резаные. Взрослые вроде люди, а устроили много шума из ничего.

Но и шум еще не представление. Имейте терпение, будет вам театр...

После появления вежливых японцев, скупавших полевых мышей, в Хайларе вдруг перестали убивать людей, а принялись увозить их на автофургоне за город. Люди на рынке шептались, что после пребывания в сборно-щитовых сараях арестованных ночью грузили в поезд, идущий в сторону Чанчуня. Еще никто из них обратно не вернулся.

Возвращавшаяся из школы Валя издала заметила у дома автомобиль — и схватила портфель под мышку. Успела вовремя.

Мантык извивался в руках японского солдата. Другой солдат штыком преграждал путь главе семейства. Мать, плача, кланялась толстому японцу, он стоял спиной, без оружия, из-под плаща торпились полы белого халата.

— Бакаяро! — выругался солдат, отпустив Мантыка.

Винтовка упала на землю.

Братишка прижался к сестре.

Толстый, убеждавший в чем-то мать, переключился на Валентину. Говорил коряво, мешая монгольские, русские и японские слова.

— Рюкан!.. Ися!.. — обратился фельдфебель к Вале.

Она узнала его сразу: это был тот, кто расплатился за мышей. Косоглаз, и прыщи с лица не выдавил, хоть и в белом халате.

— Рюкан... — продолжал толстый и перешел на русский язык: — Глиппа... Холосо...

Из его слов выходило, что брата и сестру не арестуют, а повезут лечиться от гриппа. Коммунисты и старики им не нужны. Все будет хорошо.

И тут с Валентиной случилось нечто.

Она упала на землю, влажную после дождя, затрепетала, сломав головку набок. Левая ножка быстро и весело дрыгалась — как у барашка, которого недавно забили во дворе. Спина выгнулась коромыслом, с каким ходят русские хайларцы.

Аба Иста рывком поднял дочку и поневоле отшатнулся. Лицо ее было черно от грязи и жара, на губах выступила пена. Закатив глаза, она протянула руки и шагнула к толстому. Тот толкнул ее в грудь — больная девчонка рухнула, замычала, катаясь по земле и царапая лицо.

Фельдфебель попятился к воротам, его узкие припухлые глазки стали от испуга больше. Он, кажется, узнал девчонку, продававшую полевых мышей.

— Недзуми!

Этим кличем-паролем он увлек за собой солдат.

Когда в конце улицы стих звук мотора, Валя встала как ни в чем не бывало. Отряхнулась. Подняла портфель. Под взорами онемевших родителей подошла к рукомоюнику, умыла чумазое лицо. И наконец, захихикала.

Ее первым театральным гримом стала хайларская грязь.

Так мама на унавоженной земле Маньчжурии еще в юном возрасте, будучи лицом без определенного гражданства, вступила во Всероссийское театральное общество, не подозревая о его существовании. Сдала экзамен по театальному мастерству.

Спустя годы она получила билет члена ВТО, но то была формальная процедура, констатация давно свершившегося, признание ее таланта де-юре.

Драматические способности мама демонстрировала и в тесной хрущевке. То застывала в проеме кухни в позе умирающего лебедя, то изображала в лицах соседей, то подражала — одним движением, парой жестов — походке, манерам начальников, от управдома до секретаря обкома. Мы покатывались со смеху на продавленном диване и просили изобразить кого-нибудь еще. На бис. Домашний концерт по заявкам.

Однако никогда не изображала больных и увечных. Всегда помнила Хайлар. Уже работая в театре, отказалась от роли сумасшедшей, за что схлопотала строгий выговор.

— Делай тревожный голос, — невнятно советовала она не искушенной в лицедействе невестке, моей жене, набиравшей номер «скорой».

Жена пугалась. Положение и без того было тревожным: у свекрови, бледной, что известковая стенка, немела правая щека.

Мама не училась драматическому искусству в чистом виде — пожалуй, лишь основам сценического движения, не более. Главным образом изучала колоратурные тонкости бельканто. Обладая приятным лирическим сопрано, была с ходу зачислена в бурят-монгольскую студию для обучения в Свердловской консерватории по целевому заказу БМАССР. А может, по заказу свыше. Великий дирижер Сталин хотел научить кривоногих кочевников технике па-де-труа, заставить плавно перейти от горлового пения и пентатонных обрядовых песен к партии Отелло. Задушить вокализмами аборигенов фултонскую речь Черчилля, утереть нос Венской опере, балетной туфелькой на короткой ножке пхнуть вялый гульфик просвещенной Европы. Откинуть полог юрты и, наспех утерев чумазое лицо снежком, вытолкнуть туземцев под огни рампы.

Мама пыталась и меня учить музыке на расстроенном пианино «Енисей», на котором рядом с бюстиком Чайковского торчала двурогая штучка. Камертон занимал меня куда больше, чем диезы, бемоли и прочие таинства нотной грамоты. Из него могла выйти идеальная рогатка. Дворовые ценности победили: я исчеркал нотную тетрадь и убежал играть в футбол. Камертон мама привезла из Свердловска. Подарок после защиты диплома от любимого преподавателя по сольфеджио. Говорила, он привил ей вкус. Например, маме наряду с Чайковским и Рахманиновым нравились the Beatles, их неклассические композиции и вокал — в ту пору, когда «жуков-ударников» повсеместно обличали. Это признание она делала шепотом.

В послевоенные годы, пока культурные нацкадры ковались в консерваториях, в столице Бурят-Монголии спешно возводилось сказочное здание театра оперы и балета. Ирония древнегреческого рока на хлипких подмостках: театр строили японские военнопленные, захваченные в Маньчжурии.

В зимние каникулы студентка консерватории Валентина Мантосова приходила на стройку в центре Улан-Удэ.

— Хайлар!.. — выдыхала пар в морозном воздухе девушка в пальто с воротником из крашеного тарбагана.

Бросив носилки, к ней подбегали изможденные люди в телогрейках и кепи с опущенными ушами.

— Хайлар? — строго переспрашивала девушка.

— Корэ... Хайлар, Хайлар.

Людишки трясли ушами своих кепи и испуганно оглядывались в сторону конвоира в белесом тулупе и с автоматом ПППШ на груди. Они дрожали — от испуга и январской стужи — и походили на дворняжек. Разве что хвостами не виляли. Зато усердно кланялись.

Странная девушка обменивалась с пленными парой фраз на родном языке.

— Кадзоку... итай... цума... тэгами... посуто... — кланяясь, вразнобой бормотали японцы в русских телогрейках.

Кажется, они принимали ее за свою.

«Семья... скучаю по жене... письмо... почтовый ящик...» Напрягая память, переводила в уме студентка и отвечала:

— Дэкинаи... Это невозможно, не могу.

И раздавала пленным, будто детям на новогоднем утреннике, мелочь и печенье. Отдавала сдачу за полевых мышей.

— Яме! Плеклатить! — тонко кричал, бегая по краю стройки, японец в разбитых круглых очках на резинке, в шинели без нашивок и погон, но понятно было сразу: офицер.

— Хаджимэ! Работать! — лениво поводил дулом автомата конвоир и с хрустом утаптывал снег огромными валенками.

Солдата слушались больше, чем офицера.

### Огрызок 3

Плен, понятно, тоска. С маленькой буквы. И ударение в жизни иное, чем на афише.

«О-о, дайте, дайте мне свободу-у, я свой позо-ор сумею испу-пи-ить...»

Я сижу в темноте на теплых ступеньках амфитеатра, покрытых ковровой дорожкой, и вижу, как князь Игорь с большой рыжей бородой поет в клетке. Клетка большая, как в зоопарке, она поднимается откуда-то из-под сцены. Поющий воздевает руки, сует их сквозь прутья, наверное, просит пирожное из театрального буфета.

А я сижу на свободе и под музыку Бородина уминаю пирожное «корзинка» из буфета: его купила мама, чтоб я не плакал и не портил генеральную репетицию. Я знаю, что мама где-то на сцене, но ее не упрячут в клетку, потому что у нее нет приклеенной рыжей бороды, она не князь, а поет в хоре половецких девушек, и поэтому я не соби-

раюсь плакать. Хотя плакать полезно. Мама может купить еще одно пирожное, мою любимую «корзинку».

Раздается сердитый стук стакана о графин. Я вздрагиваю и пачкаю нос в креме. Пение обрывается. Клетку с пленным князем опять опускают под сцену. После равномерного щелканья оркестр играет снова... клетка всплывает... пленный опять просит пирожное.

Но я его уже слопал и теперь, облизав пальцы, вытираю их о ковровую дорожку.

Пленный поет, хор распустили. Откуда-то сверху, со стороны балконов, появляется мама и, обдав душистым запахом пудры, несильно бьет по ладошке. Я неуверенно хныкаю. Мама, шурша накидкой, испуганно говорит: «Тсс» — и подает маленькую ром-бабу.

Я люблю театр. С ним связаны мои первые и самые сладкие воспоминания.

С детства мне нравилась старая черно-белая фотография, потому что на ней я с трудом узнавал маму. Настолько она красива. Мама в парике известкового цвета и платье поздней александровской эпохи, с оголенными плечами и веером в руке. На шее и в ушах самые настоящие фальшивые бриллианты. Большие небурятские глаза накрашены и сияют, лицо и грудь обильно напудрены, дабы казаться придворной дамой. Снимок сделан в антракте оперы «Евгений Онегин».

— Перди, перди, я твой супруг! — передразнивала мама солиста, который и в главной партии не мог искоренить акцент коренного народа.

Согласные и шипящие были в нем несогласными с партитурой жизни.

— Мне, пжалста, фюре, — другой раз изображала она сокурсника в студенческой столовой.

Тот приехал в большой город из дальнего улуса и очень плохо владел русским языком. Как, впрочем, многие студенты национальной студии. Мама была исключением: еще на уроках Закона Божьего ей драли волосы толстый батюшка в пыльной рясе за неправильное ударение в старославянском. Не всем же выпало родиться в Хайларе, где одновременно говорили на четырех языках.

— Только не такое фюре, — делала мама руки «фонариком», — а такое, — наклонялась и опускала руки вниз, показывая букву «П».

Для большей убедительности однокурсник тыкал пальцем в рот перед окошком раздаточной — просил добавку картофельного пюре. «Фюре» было дешевым и быстро утоляло голод.

В театре платят одни слезы, говорила мама. Добавки не полагалось, как ни кривляйся перед окошком раздаточной. Несмотря на консерваторское образование, солистку Мантосову долго держали в хоре, изредка давая партии второго плана. Папа, пропадавший с утра до вечера в редакции, требовал, чтобы мама ушла из театра. В ответ мама пела арию Ленского.

Я тоже голосовал — вторым голосом — за высокое искусство: в буфете театра оперы и балета появилось новое пирожное безе.

Кстати, о Бизе. Однажды мама приволокла меня — прямо из школы — на генеральную репетицию «Кармен». Генеральная отличается от обычной репетиции тем, что на ней все как в спектакле. Костюмы, парики, золотые короны из фольги, подкрашенная вода в винных бутылках — все настоящее. Даже оружие. Почти.

К финалу выяснилось, что нож в руке Хозе оловянный. Хозе был ниже Кармен на полголовы, с животиком примерно пятого месяца беременности. Потому живот заботливо укутали широкой красной шалью. А может, Хозе страдал ревматизмом: по сцене гулял сквозняк, мама постоянно на него жаловалась. Герой-любовник вырядился в короткую накидку, белые колготки и черные лаковые туфли.

Никто не ожидал, что беременный Хозе, мельтеша черно-белыми ножками, резво, без команды режиссера подскочит к Кармен и с силой ударит под диафрагму. Нож погнулся о корсет. А Кармен как раз набрала воздуха в необъятный бюст для бельканто...

Вышла некрасивая сцена. Я даже перестал лакомиться безе. Трепеща ненаклеенными усиками, роковая красотка залепила влюбленному оплеуху. Сбитая шляпа покатилась по сцене. Хозе заявил, что будет жаловаться в дирекцию. В ответ Кармен показала погнутый нож поочередно режиссеру, дирижеру, хору и куда-то вниз, невидимому оркестру. Хозе речитативом произнес слова, не прописанные ни в арии, ни в либретто. Коварная красотка оборвала предмету страсти бакенбарды, и метнула в него нож. Он просвистел над лысиной Хозе и улетел в партер, в пятый ряд, где я, утопая в кресле с макушкой, приканчивал пирожное безе.



Спектакль покатился по кривому, как нож, либретто. Ударили литавры. Кто-то свистнул. Из оркестровой ямы раздались голоса. Хор зароптал. Усики Кармен обозначились четче: она вспотела.

Про нож забыли. Я сполз под кресло и спрятал сокровище в ранец. А Кармен и Хозе, стянув парики, пошли жаловаться директору.

Сцена оперная обернулась кухонной: главные партии в ней исполняли недавно разведенные муж и жена. Это выяснилось из многоголосия хора. Перди, перди, я твой супруг.

Оловянный нож я посчитал законным трофеем. Когда тайком от мамы распрямил его молотком, он оказался больше, чем выглядел из зрительного зала. Смахивал на пиратский кинжал и армейский штык-нож одновременно. Кинжал вызвал зависть всего двора. Рукоять у него была деревянная, как у кухонного ножа, зато верх рукояти облеплен блестящими и стекляшками. Впоследствии они отвалились, зато тупое лезвие прослужило долго. Одна беда: быстро тускнело. Но если начистить зубным порошком, то нож блестел грозно. Как кинжал и штык-нож одновременно.

Ага, о зубном порошке. В грохоте и саже пятилеток декоративно-прикладной косметике, этому рудименту буржуазного декаданса, не было посадочного места. На лице. Ею могла пользоваться только «интеллихенция». С детства слышал загадочное слово. Им выражались мужики в нашем бараке, толкуя о политике. Гегемон смачно плющил прослойку матом – молотом по серпу.

«Красиво идут!» — комментирует психическую атаку белогвардейцев боец в фильме «Чапаев». «Интеллихенция...» — усмехается напарник.

«Чапаева» я смотрел четырнадцать с половиной раз. Половина вышла из-за того, что на самом интересном месте меня с Витькой Самолетом схватили за уши и взашей вытолкали из зрительного зала. В кинотеатр «Прогресс» мы пробрались без билетов. Кинотрюк строился на том, что за пять минут до финальных титров билетерши со звоном распахивали двери на выход. На дверях были темные шторы. Улучив момент, мы с пацанами прятались в шторах, а когда народ валил к выходу, пробирались в зал и ждали следующего сеанса под сиденьями.

До старших классов я думал, что «интеллихенция» — трехэтажное ругательство. Женщины Бурят-Монголии, которые изначально не были интеллигенцией, вместо пудры использовали зубной порошок «Мятный». Пускали пыль в глаза пролетариату.

Пудру, помаду, румяна, тушь, угольные карандаши и прочую икебану выпускали фабрики Всероссийского театрального общества. А, к примеру, гаечные ключи — завод «Сибмаш». То и другое поступало по месту работы, на прилавки же — по остаточному принципу. Так, в сухой остаток выпала пудра и прочие интеллигентские штучки.

В дело охмурения противоположного пола пошел зубной порошок. Да и стоил он дешевле пудры. Женщины хвалили зубной порошок. Соседка по хрущевке по кличке Спинка Минтая драила порошком личико, попутно портсигар, забытый любовником-милиционером (в надежде, что тот за ним вернется), дядя Рома — медаль «За боевые заслуги», мальчишки во дворе — солдатские бляхи. Мама до блеска начищала порошком украшения, включая единственную в доме золотую вещь — кольцо. А также серебряную ложечку и подстаканник, позже признанный мельхиоровым. По прямому назначению зубной порошок использовался редко. Правда, мужчины хвастались в котельной, что чистят им железные коронки.

Порошок «Мятный» продавался в двух вариантах: в пластиковой и картонной коробочках. Гонялись за пластиковой, ее можно было носить в сумочке. Однажды зубной порошок исчез из розницы и появился на прилавке в детском косметическом наборе «Мойдодыр» — вместе с детским мылом и шампунем. Стоил этот пропуск во взрослую личную жизнь один рубль и пять копеек. «Мойдодыр» смели до обеда.

Мама не бросала театр еще и потому, что там можно было разжиться трофеями: пудрой, помадой, тушью, угольными карандашами производства ВТО. Так делали все артистки хора и отдельные солистки. Раз платят одни слезы, то хоть припудрить бороздки от них за казенный счет. Сам Бизе велел. Напрасно завхоз делала набегии в гримуборные с целью поимки с поличным. Поличное было на лице.

Из декоративных средств мне больше нравилась рассыпчатая пудра, ее теплый запах. Ею пахла мама. С этим запахом я засыпал в детстве, когда мама возвращалась с вечернего спектакля и, шелестя платьем, целовала меня, сонного, в кровати.

Помню спичку в тюбике помады на мамином трюмо, а на донышке тюбика — клеймо ВТО. Трофеи оперного искусства расходовались до последнего мазка, штриха и чиха — от пудры. Пудру клали не жалея — за государственный счет. Помнится, когда Хозе вдарил ниже необъятного бюста Кармен, ее окутало защитное розоватое об-

лачко. Хозе громко чихнул и не смог вторично ткнуть штык-ножом бывшую жену.

Театр, однако, был не только оперы, но и балета. Мама брала меня только на репетиции оперного состава. Тем не менее, и про балет мне кое-что известно. По месту жительства.

Вторым средством по степени оштукатуривания смуглоликих красавиц Бурят-Монголии являлся тональный крем «Балет». При чем тут балет, непонятно. Махали-то руками, не ногами. Тайны Терпсихоры. Терпи, терпи, я твой супруг. Этот крем телесного цвета был незаменим в быту. Им на скорую руку замазывали синяки от кулаков — мужниных и проезжающих молодцов с Большой земли, как они сами, молодцы, себя именовали.

После Первомая, 7 Ноября, дней Конституции, Советской армии (нужное вырвать из отрывного календаря), а то и после будничного выходного дня половина женского населения Улан-Удэ выходила на работу в одинаковых неулыбчивых масках. Такой кордебалет. В смысле, «Отелло». Там, где по ходу действия шибко ревнуют и душат до синяков.

Соседка Спинка Минтая, например, пускала в ход «Балет» после технических накладок — если запасной хахаль заявлялся в разгар свидания с милиционером. Милиционер мог, конечно, одним своим видом и формой турнуть наглеца, но был, японский городской, абсолютно голым! Почти как в балете. Пока любовник № 1 спешно напяливал сапоги да портупею, любовник № 2 успевал навесить Спинке Минтая синяк.

Когда побитая хозяйка, хныча, резонно посоветовала основному хахалю впредь в голом виде надевать фуражку, то милиционер оскорбился за честь ненадетого мундира и ушел. Хлопнул дверью и забыл портсигар.

Об этом соседка рассказывала маме на кухне. Мама ее жалела. А я все слышал, но делал вид, что маленький.

У Спинки Минтая рассыпчатая пудра имелась, конечно, но ее берегли для особых случаев. Взять не театральную, а обычную «тушь-поплююку». Чтоб ресницы были гуще, учила соседка маму, меж слоями туши надо уложить пудру, разделяя ресницы булавкой. До этого не могла додуматься артистка, у которой туши да пудры, не считая карандаша, по месту работы — завались! Ресницы Спинка Минтая подкручивала горячим ножом или ложкой. По совету сосед-

ки мою детскую зубную щетку, валявшуюся без дела, мама приспособила для нанесения туши. Щеточка, что шла в наборе ВТО, жаловалась мама, была никудышной.

Эти ухищрения по наведению марафета были схожи с нанесением боевой раскраски индейцев из романов Фенимора Купера, их я читал запоем.

Последний секрет из арсенала Кармен нашего двора. Сетуя на долю матери-одиночки, Спинка Минтая в ближайшей пивнушке просила нацеживать бидончик попенистее: перед ответственным свиданием она смачивала пивом волосы для лучшей завивки.

Этот секрет женских чар слышал дважды. Через пивнушку я и потерял боевой трофей оперного искусства.

Пудра развеялась как дым. Камертон издал прощальный звон при настройке новой жизни — сгинул в ходе новоселья. Фальшивый бриллиант украла Спинка Минтая, в чем сама пьяная призналась, но найти краденое, сорока этакая, так и не смогла. Пианино «Енисей» продали по нужде, да и за ненадобностью: руки маму уже не слушались. Фото из «Евгения Онегина», где она играла придворную даму, присвоила сводная сестра.

От богемного детства уцелел лишь огрызок угольного карандаша с полустертой надписью «...ТО» (букву «В» срезали перочинным ножиком). Еле удерживая в руке этот огрызок, я написал им на конверте: «Мама». Карандашик при письме норовил выскользнуть из пальцев. Однако спустя многие годы исправно делал жирную черту: фирма ВТО не вязала декоративно-прикладных веников! Карандашик я вложил в конверт. Письмо до востребования, типа того. Письмо — в чемодан. Чемодан большой, его потерять трудно. Практически невозможно. Его можно только украсть.

#### **Огрызок 4**

Театральный кинжал пропал по зависящим от меня причинам. Причины не имели ничего общего с высоким искусством. И имели много общего с жизнью. Липовый штык-нож пригодился больше, чем карандаш для глаз. Хотя не мог порезать даже бумагу, исписанную карандашом ВТО. Страсти гремели не слабее, чем на генеральной репетиции оперы «Кармен». Тыкать оловянным ножом в женщин я не собирался, в жизни они не носили оборонительных корсетов.

Нож-кинжал, по мысли бутафоров, должен устрашать. Брать на понт. Верх лезвия был как у штыка от автомата Калашникова. На самом деле острие было тупым. Однако если начистить его зубным порошком, декоративный нож внушал уважение. В детстве я гонялся с ним за девочками, фехтовал в игре сыщики-разбойники и издали пугал им пациентов противоборствующей улицы. Грехи пубертатного возраста. Выйдя из него, я спрятал оловянный штык-нож. От греха подальше.

Но однажды извлек кинжал из чемодана и, сам того не желая, проложил им дорогу к заветному окошку пивнушки, посажденному в три кольца. В очереди спросили, есть ли у кого открывашка. Я вынул бутафорский нож:

— Такой подойдет?

Очередь молча расступилась. Кинжал я нес сыну в школу, где он должен был играть в представлении, изображать то ли пирата, то ли Кота Базилио. Потускневшее лезвие я до блеска натер средством для чистки кафеля-унитазов (зубной порошок из продажи исчез).

В паузе меж глотками пива к нашей лавке подошел тип в штатском и предъявил удостоверение в красной корочке. Мы с другом переглянулись и хором предложили оперативнику пива в трехлитровой банке с линялой этикеткой томатного сока, клянясь Уголовным кодексом, что не касались горлышка губами. Но мент, сглотив слюну, отказался от взятки и велел показать нож.

Повертев кинжал, товарищ из внутренних органов хмыкнул, сообразив, что предмет не опасен для внутренних органов человека.

— Из кино, что ль? — усмехнулся бдительный товарищ.

— Из театра! — вскочил я со скамейки и для наглядности с силой ткнул себя ножом под ребро, как это сделал когда-то разведенный Хозе.

Нож погнулся, хотя на мне не было корсета. Скрывая боль, я мужественно улыбнулся.

Оперативный работник сделал глоток из банки, что означало полную амнистию.

— Мочой, что ли, разводят? — кивнул на банку блюститель.

Мы дружно поддержали версию следствия.

Пока я на асфальте выпрямлял лезвие ножа обломком кирпича, поступило два предложения, одно заманчивее другого.

К нам подплыла женщина среднего возраста на среднем каблуке, с театральным гримом на испитем личике. В руке она держала бидон

с пивом. Поправив челку, женщина сказала, что ей нравятся «брутальные мужчины». И предложила пройти в кусты у реки — выпить чего-нибудь крепче пива. Я спрятал нож в кошелку: это он, зараза, придавал нам, мужчинам, брутальности. Новоявленная Кармен щелкнула ногтем по бидончику и сообщила, что вообще-то не пьет, а моет «жигулевским» голову. А потом пьет.

Затем к лавке подканал явно уголовный тип, из-под расстегнутой до пупа рубахи виднелись наколки: башни и кресты. Пивная кружка в его руке, синей от татуировок, была пуста. Он попросил не пива — уступить нож за бутылку вина.

— Дык он не настоящий. — Мой товарищ опасливо отодвинулся от нависшей над его головой кружки.

— В том-то и цимес\*, фраера! — блеснул рядом железных коронок покупатель. — Под уголовку не канает, а шороху фраерам наведет, зуб даю!

Он внимательно изучил нож и замысловато матюгнулся.

— А если попадутся не фраера? — Мне вдруг стало жалко ножа.

Покупатель посмотрел в небо. В нем кружили птицы. Перистые облака тянулись за реку, к сопке.

— Ты прав, братка, че я там, на зоне, не видал?

Брутальный тип вернул нож, сплюнул на мокрый от пролитого «жигулевского» асфальт и полез за пивом без очереди с криком: «Цыть, бакланы!»

Кинжал был хоть и бутафорским, но вредным. Когда я набрал воздуха перед глотком, под ребрами заныло. Тупая, как лезвие, боль. Опростав банку с пивом, задрал футболку: под правым соском наливался синяк.

Театр продолжался.

Товарищ оживился:

— Слушай, одолжи ножик на пару недель, а?

В его честных, цвета разбодяженного пива, глазах хронического тунеядца и похмельного правдолюбца плескалась решимость. Когда-то Кирсан был красивым парнем, но за пару десятков лет превратился в лысеющего и рано располневшего зануду. Таких девушки не любят. А виной запойное чтение художественной литературы и бытовое пьянство, местами запойное, сопряженное с поисками социальной

---

*Цимес — здесь: высший класс, от названия десертного блюда одесской кухни.*

справедливости. Кирсана стали именовать Кирюхой. Периодически он обличал начальство, вносил несбыточные рационализаторские предложения, менял места работы, как салфетки после рыбной закуски, и пару раз судился из-за прогулов. Своих и начальства.

Кирюху в очередной раз выгнали с работы. От него ушла жена. Он выступил в суде в свою защиту, оснатив речь цитатами и образами классической литературы, и его восстановили в должности старшего лаборанта. Жена вернулась. Однако тут приключилась другая напасть. Кирюха стал усиленно кирять. То еще полбеды — с кем не бывает, в одной стране живем. Беда в том, что в пьяном виде Кирсан принялся ревновать жену.

Надо сказать, Ирина давала повод. Так после второй опустошенной трехлитровой банки утверждал мой компаньон, временно не работающий.

— Антр ну, — Кирюха понизил голос.

— Ну?

— Свечку не держал, но нутром чую...

К его губе налипла чешуя.

— Карфаген должен быть разрушен! Поехали! — решительно встал с лавки напарник, чуть не разбив банку. — Ырка думает, что я на работе... Тут-то мы их, тепленьких, и пуганем твоим мачете!

Кирсан выхватил из моей кошелки оловянный нож и со свистом рубанул воздух.

Ехать не хотелось. Пьяные бредни, десятая серия. К тому же денег у тунеядца сроду не водилось. Но Кирюха поклялся, что при любом исходе выставит пол-литру, сдав в магазин «Букинист» книжку из серии «Литературные памятники». Это уже походило на бизнес-план. Темно-зеленые «литпамятники», действительно, ценились.

— Давай сперва завезем нож в школу, опосля возьмем их на мокром. — Я спрятал бутафорский кинжал за пазуху. — Пугануть и банкой можно.

— Не-е-ет! — Опившийся, как таракан, правдолюб поднял банку над головой, во всю длину правой руки, над невидимыми миру рогами. — Банка с-под пива?.. О, это слишком! Это дешевка, брат... Банка — она рыбой воняет, коммуналкой... О низость!

Кирюха подозрительно поморгал глазами. Три литра пива разбавили суррогатно-спиртовый конденсат, осевший на стенках его желудка со вчерашнего вечера. Пары вырвались наружу.

— Тут надобно выше! Чтоб видели! Высокое! Чистое! Высокое искусство! — возвысила глас жертва химической реакции и тряхнула банкой.

Плешь мученика оросили священные капли «жигулевского». Театр не кончался.

Темная очередь, осадившая дощатое строение пивной, торгующей в розлив и навынос, просветлела ликами: на нас стали оборачиваться. Человек-памятник держал трехлитровую банку словно бомбу. Кружки постоянно крали, банка была дефицитом. Разного рода инциденты тут видали. Крах посуды признавался уважительной причиной только в случае драки. Демарш правдоруба был выше толпы, но ниже заурядной пьяной выходки. Битье дефицита средь бела дня, без драки — это вызов. Плевок в сторону общины, надругательство над патриархальными устоями.

— Эй-эй, ты! Слышь-ка? Осторожней там с банкой! Не урони... Стой тихо, — раздались озабоченные голоса.

— Последний раз спр-рашиваю, — обратился ко мне этот мыслящий тростник, качаясь с банкой над самим собой (видно, ветер наверху усилился). — Ну?! Едем али нет?! Карфаген должен быть разрушен! Не то грохну сей сосуд о грешную землю, клянусь Акутагавой!

— Токо попробуй, щас самого грохнем! — донеслось из очереди.

Террориста с банкой-бомбой начали окружать. Жаркое дыхание возмущенной толпы действовало на меня отвлекающе.

— Да едем, едем! Отдай банку людям. Хозе, твою мать.

С недавних пор Кирсан стал называть свою жену Ирину не Ириской, как прежде, а Ёркой. Тут был обидный до созвучия намек.

Несчастный муж заподозрил жену в шашнях с молодым соседом. Например, когда супруг в пьяном виде рухнул на лестничной клетке, то помог Ёрке занести тело домой именно сосед. Наутро она курила с ним же на площадке, при этом два раза коснулась чужого мужчины: прикуривая, обхватила голой рукой руку соседа, а еще дала ласковый щелбан по лбу. Не щелбан — поцелуй, можно сказать. Он видел эти интимные действия в глазок.

— Подумаешь! — улыбнулся я.

— А ты не лыбься, ежели не знаешь самого страшного! Антр ну! Между нами...

Поведать самое страшное помешал контролер. Кирюха увлек меня в гущу трамвая, а на остановке мы технично переместились



в спаренный вагон. Последние копейки прокутили в пивнушке, не хватало даже на один билет на двоих.

— Дешевка, брат... — скорчил рожу роконосец. — О низость!.. Тридцать копеек! А то и за рупь можно продать. Она ж трехлитровая. Банка-то. А ты, блин, заладил: отдай людям, отдай людям!

Друг почесал плешь. Наверное, зудели пробивавшиеся рожки.

— Нож где?.. Не верь людям, брат. Тут самый близкий человек, не успеешь кирнуть, готов продать за рваный рупь... Где нож? Ну ниче, мы их шуганем, чтоб у соседа на Ырку не стояло больше!

Пока мы зайцами бегали от контролера из вагона в вагон и доехали до Кирюхиной хаты — стемнело. Хозяйка сварила борщ и ждала мужа с работы. Кирсан скрывал, что его турнули «по собственному желанию», и каждый день, повязав мятый галстук, уходил с важным видом в сторону пивной.

На кухне все дышало умиротворением: аппетитные запахи, пестрые занавески, кошка, трущаяся о ноги, бормочущий динамик, марля на краешке железной раковины, протекающий кран, огоньки за окном...

Кирюха почувствовал себя оскорбленным отсутствием симптомов измены в собственном доме. Анонсирована трагедия в трех актах.

Глава дома стал себя накачивать:

— Ырка! Изменщица! Ты где?!

— Я здесь, — спокойно сказала Ырка. — Руки мойте, борщ еще горячий...

Хозяин взвыл, как от удара поварешкой по лбу, и для ускоренного вхождения в трагический образ схватился за бутафорский нож. Хотя я ведал, что нож даже не кухонный, а лишь деталь реквизита, стало не по себе. А уж Ырке подавно.

Жена Кирсана завизжала и убежала к соседу. Кирюха с торжествующим криком устремился следом. И на плечах неверной жены, не дав захлопнуть дверь, ворвался внутрь без входной контрамарки с криком: «На Карфаген!..».

По инерции я попал в партер. Борьбы и судьбы. Товарищ размахивал кинжалом — не то пугал им, не то приглашал на спектакль.

Сосед, длинноволосый, очкастый, как Джон Леннон, лежал в постели, но заниматься любовью даже гипотетически не мог. Гигантская его нога, закованная в гипс, возвышалась на подушке. К спинке

кровати лепились костыли. Неверная жена закрылась в санузле.

Зря я начистил оловянное лезвие кинжала накануне школьного представления. Увидев его блеск, сосед схватился за костыль и страшно завопил. Не снижая скорости и не давая себя разжалобить, Кирсан вонзил тупо колющий предмет в гипс, будто штык в чучело неприятеля. Нож погнулся.

Несмотря на очевидную непригодность орудия мести в любовных разборках, сосед продолжал вопить. Доморощенный Хозе оглядел нож, изогнутый знаком вопроса. Крови не было. На гипсе имелась малюсенькая выемка. Чего, спрашивается, выть?

Тем не менее товарища можно было поздравить с премьерой. Запуганный до смерти горе-любовник без промедления раскололся, как немецко-фашистский диверсант из романа «В августе сорок четвертого». Бабушка приехала.

Оказалось, тут замешан дедушка. Только у молодого соседа по лестничной площадке имелся доставшийся от деда телефон, установленный по льготе ветерана Великой Отечественной войны. Любившая поболтать по телефону, Ирина повадилась бегать к соседу. За услуги связи расплачивалась сигаретами. А когда владелец абонентского номера сломал ногу, то для удобства пользования получила ключ от квартиры. Заодно сходить в магазин, аптеку. Ничего личного, только бизнес, Бизе.

Походило на правду. Кирюха опять почувствовал себя оскорбленным отсутствием симптомов измены в чужом доме. Он распрямил кинжал рукой и зловеще хохотнул.

Увидев выправленный, готовый к бою нож, сосед прикрылся костылем и выложил последний козырь — признался, что он поклонник голубой луны. Что женщины его интересуют, но в случае, если это переодетые мужчины. В подтверждение своих слов хозяин костылем придвинул тумбочку, изъяс оттуда помаду, лак для ногтей и тени для глаз (карандаша ВТО не было) и заявил, что это его личное имущество.

Театр никак не кончался.

— Антр ну! Только между нами, мужиками! – заверил хозяина непрощеный гость.

Ссылка на нетрадиционную ориентацию переломила ситуацию. Кирсан вернул мне нож и примирительно хлопнул по гипсу. Кровопролития удалось избежать.

Сосед дрожащей рукой протер очки. Лицо его медленно розовело. Однако испуг дал о себе знать остаточными явлениями — позывами.

Кирсан помог хозяину доскакать на одной ноге до туалета, постучал в дверь и попросил жену освободить помещение, взывая к крайней нужде. Довод подействовал пуще угроз. Щелкнула задвижка, дверь распахнулась.

В общем, всем полегчало. Сосед выставил пол-литру.

Закусывать в квартире холостяка было нечем. Действующие лица решили переместиться на кухню Ирины. Муж и жена подхватили парня. Следом за дружным треугольником я нес костыли.

Хозяйка достала из потайного шкафчика вторую бутылку.

В этом гостеприимном доме я и забыл кинжал из оперы «Кармен».

Хозяин занялся самобичеванием. Чокаясь, Кирсан без конца требовал показать нож как свидетельство его мирных намерений и требовал ударить им во впалую грудь интеллигента. Сосед нервно протирал круглые, ленноновские очки. Присутствующие громко, а громче всех сосед и жена, восторгались мастерством театральных бутафоров. Нож пошел по рукам...

Когда я уходил, Джон Леннон спал на диванчике в прихожей, накрывшись костылями. Гипсовая нога на диванчике не поместилась, и я запнулся об нее.

Захмелевший муж и его верная жена сидели на одном табурете, как будто других сидений на кухне не имелось.

— Да не Ырка ты, моя сладкая Ириска...

И прочий культур-мультур. Ворковали, как неженатые.

Интересная штука: нож забыл, а подаренный Кирсаном темно-зеленый том из серии «Литературные памятники» прихватил. И назавтра выгодно загнал его одному книжному червю.

На вырученные деньги купил сыну пластмассовую шпагу для участия в школьном спектакле, а на сдачу — пива в трехлитровой банке с линиялой этикеткой томатного сока. Дефицитная банка по нелепой траектории вернулась ко мне у той же пивнушки. Недаром мама говорила: сделай добро людям — обернется трехкратно. Три литрами, по крайней мере. Прихлебывая свежее «жигулевское» (его еще не успели разбодяжить), я ждал, что из-за угла вот-вот нарисует Кирсан...

Но друг так и не появился. Хм, бросил пить? Может, оно и к лучшему, что Кирсан не пришел и не принес штык-нож из оперы «Кар-

мен». А не то действие спектакля покатилося бы по запиленному либретто, по трескучему винилу вины: липовый нож — трехлитровая банка — трамвайная беготня от кондуктора — гипсовая нога соседа, похожего на Джона Леннона.

А вот и первый весенний дождь! Ветер швырнул в лицо пригоршню влаги, запах солярки и птичьего помета. Над рекой размылись дальние горизонты, темные облака быстро и бесшумно побежали навстречу сполохам розового света... Let it be!

## Огрызок 5

Этот огрызок воспоминаний — не из той оперы. Виной тому пикантный эпикантус.

Для артистов Бурятского театра драмы наличие генетической складки на веках представляло не драму, конечно, но особый взгляд на искусство. Международная обстановка диктовала заглянуть за угол юрты. Показать идеологическим врагам кузькину мать. Расширить угол зрения на мировой репертуар. Замахнуться на Вильяма нашего Шекспира. Мешала физиологическая нестыковка с трактовкой образа. Это в опере Ромео мог голосить, не видя сцены под ногами из-за живота, растущего от диафрагмы. А Джульетта — петь с балкона, будучи пожилой. Таковы каноны классики. Зрителю предлагалось при первых же чарующих колоратурных звуках отрешиться от суеты, мелочей, закрыть глаза и отдаться воображению.

В драме соловьем не запоешь. Публика первых рядов, где сидели лучшие люди города, кооператоры, члены партии, бандиты, вторая любовница первого секретаря, требовала минимального правдоподобия. Надо сыграть, к примеру, декабриста, французского коммуниста, мамашу Кураж, Гамлета с черепом в руке, заклеить фашиста, итальянского повесу, ударить репертуаром по будуарам, а зритель глазам не верит. Своим и чужим. Актерские отговорки, что герои по ходу действия много пьют и с бодуна ходят по авансцене опухшими до эпикантуса, отменялись приемной комиссией Минкульта, как политическая близорукость. К черепу претензий не было.

И вот здесь черный карандаш ВТО служил для отвода глаз. Он позволял безболезненно завуалировать складку на веках, зрительно расширить глаза до размера очей и войти в образ.

Сложнее декоративно-прикладными средствами запечатлеть историческую личность. Допустим, Ленина.

Я входил в служебный вход Бурдрамы на тектоническом сломе эпох. В театрах еще пели в унисон «Интернационал» на областных партконференциях, с напудренным бюстом Ильича, парящим над президиумом, а возле кооперативных ларьков и киосков нетрезвые фрондирующие интеллигенты в открытую шептались: «У них Ленин — у нас Ленин, у нас Маркс — у них Маркес». И выступали за созыв Учредительного собрания и Госдумы.

Рабочий класс, как гегемон, выражался яснее, короче и дальше.

Для укрепления сознательности масс обком партии решил к 115-й годовщине Владимира Ильича поставить композицию «Кремлевские куранты, или Ленин в Октябре». Сюжет пьесы режиссер-постановщик разбавил сценами из золотого фонда советской кинематографии. Воплотить прокремлевское творение было решено на национальной сцене. Коллектив академический, орденосный. Революционное решение подстегивалось явной скуластостью лица вождя. Интеллигенция наговаривала на Ильича, что он калмыцких кровей. Обком партии затребовал справку в Буручке — Бурятском ученом комитете. Там осторожно подтвердили характерный ленинский прищур.

Дело закрутилось телефонным диском обкома партии. С лысиной, правда, вышло не совсем гладко. Глаза можно подвести, но что делать с прической? Исстари повелось, что волос у номадов Центральной Азии толстый, что конский. И наоборот. Разумеется, под рукой театрального гримера есть разного рода накладки, нашлепки, которые даже из волосатой ливерпульской четверки могут сделать пациентов онкодиспансера. И наоборот.

Вышло наперекосяк. У актера на роль Ленина по фамилии Арбанов, немолодого премьера в звании народного артиста РСФСР, произрастала буйная шевелюра и усы, как у певца среднеазиатской группы «Ялла». Седеющую гриву он регулярно подкрашивал. Арбанов гордился схожестью с певцом и охмурял хард-роковой прической молодых актрис, невзирая на то, что в театре на вторых ролях трудилась его законная супруга.

На сдаче спектакля Арбанов натянул на шевелюру нашлепку для обозначения лысины вождя мирового пролетариата. Под лысиной возникли подозрительные шишки и бугорки. При этом они шевели-

лись. Приемная комиссия предложила актеру остричься наголо. Отдать голову на закание революции. Не гильотина же, в конце концов. Волосы отрастут, куда они денутся?

Арбанов соглашался только на усы. Без отрыва от сцены у него разгоралась интрижка с актрисой, игравшей проходную роль телефонистки из Смольного. Промедление было смерти подобно. Главный герой боялся, что телефонистка от лысого и разом постаревшего Ильича уйдет к балтийскому матросу, моложе и выше ростом.

В ходе закулисных переговоров Арбанову, отцу троих детей, намекнули, что не успеет отрасти шевелюра, как очередь на трехкомнатную квартиру, в которой он стоял не первый год, сказочно продвинется. Народный артист отказался, гордо тряхнув крашеными волосами.

И все-таки артисту пришлось остричься. Под ноль. Но было поздно.

Взбешенная не столько очередной интрижкой, сколько отказом от квартиры, жена Арбанова, бухгалтер театра, опрокинула над головой телефонистки трехлитровую банку. Не пожалела пивной тары, ходовой в розлив. На первый взгляд в банке плескалось выдохшееся пиво. Барышня-телефонистка с криком выскочила из гримерной в коридор. Арбанов заступился за партнершу по спектаклю. Последовал «красный террор». Ядреный остаток в банке супруга вытряхнула на буйную не по чину шевелюру Ильича. Волосы отказника и развратника склеились, будто лаком, и окрасились, будто хной. В банке было не пиво. Моча для мачо.

По городу Улан-Удэ поползли липкие слухи. Когда Арбанов в парике появлялся в спектакле по пьесе Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба», с задних рядов вместо всхлипываний раздавались неуместные смешки.

Балтийский матрос от телефонистки отказался, и она в знак протеста связалась с деклассированным элементом.

Сложилась революционная ситуация: верхи (партия) хотели — низы (артисты-оппортунисты) не могли. Был издан декрет. Шедевр ленинианы передали в другой театр.

«Кремлевские куранты» пробили для труппы Русского драматического театра. Были обещаны премии и звания. Наконец-то неакадемический, в отличие от Бурдрамы, коллектив мог взять Зимний.

Успеху штурма способствовала общая диспозиция сторон, красная дата и поголовное отсутствие эпикантуса в труппе.

Роль Ленина доверили артисту Турецкому. Был он без усов, без званий, хлипок, тонконог, невысок, лица обыкновенного, зато волос на голове — тоньше струи из комариной писки. На темечке волосы интеллигентно облезли сами. Через пару лет могла образоваться вполне идеологически выдержанная лысина. Но сроки поджимали. Промедление было insultu подобно. До исторического выстрела крейсера оставался месяц и три звонка в фойе.

Репетировали день и ночь. Премьера состоялась в назначенный час. Были цветы и овации. Появились благожелательные рецензии в местной прессе. В них отмечалось внутреннее и внешнее сходство протагониста с прототипом. Имелась в виду легкая картавость и лысина под кепкой. Кепку Турецкий время от времени сдергивал, демонстрируя работу мысли. Говорил Ильич по писаному. Шинковал апрельские тезисы, что мелкобуржуазную капусту в октябре.

Премии выплатили незамедлительно, до окончания периода массовой засолки белокочанной. Турецкого представили на звание народного артиста Бурятской АССР, минуя заслуженного. Следом народному артисту вручили ключи от трехкомнатной квартиры.

Звонить бы «Кремлевским курантам» по репертуарному расписанию, играть бы актерам безо всякого эпикантуса вплоть до полной и окончательной победы большевиков, кабы с исполнителем главной роли не стало твориться странное.

Турецкий не лез на броневик, да его и не было под ногой, не картавил на людных площадях, засунув большой палец за манишку, да ее и не было, этой манишки. Просто артиста стали узнавать на улице и в трамвае, приглашать в школы и на фабрики, заводы. Турецкий разговаривал с простым человеком с характерным прищуром, слегка склонив головку.

Школьникам он советовал учиться, учиться и учиться. Рабочим разъяснял текущий момент. Выспрашивал пролетарскую аудиторию, есть ли среди нее печник. На улице он строго указывал дворникам на неубранные закрайки снега, на рынке грозился реорганизовать Рабкрин и брал на карандаш нарушения правил торговли, для чего завел блокнот. И повсеместно — на автовокзале, в магазине, поликлинике, у кассы «Спортлото» и даже у пивнушки — регулировал очередность с криком: «Один шаг вперед, два шага назад!» В

последнем месте агитации за власть Советов контрреволюционные элементы хотели побить провокатора, но кто-то гаркнул: «Стойте, товарищи, это же Ленин!»

Дальше — больше. В театр пошли ходоки, соря семечками и следя валенками на паркете, чем вызывали праведный гнев уборщиц. С ходоками Ильич вел душевные беседы, интересовался видами на урожай, подразверсткой и призывал брать власть в аймаках в свои руки, именуя правительство Временным.

Последней каплей стал инцидент на сессии Верховного Хурала. Узнанный постом милиции, актер без помех пробрался на закрытое собрание и, хотя в зале были свободные места, а один депутат готов был уступить кресло вождю, присел на ступеньки у сцены, под трибуной, на виду у всех. Снял кепку, вынул блокнот и принялся строчить.

Народного артиста втихую повязали и увезли в отделение пограничных состояний Республиканского психоневрологического диспансера. Однако через день выпустили, признав артиста вменяемым.

По Улан-Удэ поползли липкие слухи. Дескать, у Ленина поехал чердак. И впрямь, с головы Турецкого усиленно полез волос. Образовалась харизматическая плешь.

«Кремлевские куранты» были дискредитированы без декрета. Спектакль изъяли из текущего репертуара. А тут реформы в стране, о которых так долго не говорили большевики, поспели. Кремлевские кранты.

Сам Турецкий бежал. Злые языки болтали — в Разлив на Байкале. Отсидевшись в шалаше, опальный вождь опять двинул в политику. В середине девяностых он всплыл в штабе избирательного блока «Родина» в роли помощника депутата Государственной Думы второго созыва. Я видел его в аэропорту Домодедово, где он спорил с девушкой в синей униформе, регулируя посадку рейса Москва — Якутск.

## Огрызок 6

Напоследок немного ретуши — огрызком театрального карандаша. История сделала виток — параболой подрисованной брови в душевой гримерке. Не зря мама закатывала глаза, не зря с пеной на губах каталась по сырой земле и чертила прохудившимися сапожками иероглифы конвульсий.



Много лет спустя, когда мама уже ушла из театра, я купил в магазине «Знание» книгу «Милитаристы на скамье подсудимых». Не немецко-фашистские — японские милитаристы. Мама вычитала, что, оказывается, в Хайларе был расквартирован филиал отряда № 731 императорской армии Японии. Те самые странные, тихие японцы, скупавшие у местной детворы полевых мышей.

Эти мыши, а также крысы, сурки и другие грызуны, прочитала мама в материалах Токийского и Хабаровского процессов, заражались бактериями тифа, холеры, оспы, чумы и прочей заразы. Японская армия, захватившая Маньчжурию, готовилась к войне с СССР, бактериологической в том числе. По показаниям некоего Мориты, только в Хайларском филиале № 543 в годы Второй мировой одновременно содержалось около 13 тысяч крыс, зараженных блохами. А в тридцатых годах в сараях на окраине Хайлара, куда мальчиком бежал мой дядя Мантык, ставили опыты над полевыми мышами, разводили блох. Кухня дьявола.

От мышей перешли к людям. В отряде № 731 их именовали «бревнами». А с бревнами можно делать все что угодно. Расчленять живую, пытать током, обмораживать, заражать газовой гангреной... Заключенных привязывали в поле к железным столбам, взрывали перед ними снаряды, начиненные шрапнелью с бактериями газовой гангрены, чумными и холерными блохами. Перед зверствами японских милитаристов бледнеют чудовищные опыты нацистов, писала шершавым языком пропаганды «Правда». В данном случае писала правду.

«Бревен» требовалось все больше и больше. «Особые отправки» — токуи ацукаи — подопытных людей со станции Хайлар производились ночью в другие филиалы отряда № 731 — в лагеря в Муданьцзяне, Сунью и Тоане. Ножные и ручные кандалы, веревки для арестованных, по отчетам штаба квантунской жандармерии, исчислялись сотнями штук и метров.

Военнопленных для опытов не хватало — начали брать гражданских. Желательно физически сильных, способных выдержать долгие мучения. Дед Иста чудом избежал ареста японским пехотным патрулем, но вторично в той же воронке не спрятаться. Кабы толстый косоглазый фельдфебель медицинской службы не узнал девчонку, продавшую ему полевых мышей после бегства зараженной хвостатой твари из лаборатории, то, скорее всего, чемодан из Хайлара собирать было бы некому...

В конце века, когда ездить через границу стало легче, в Улан-Удэ из Хайлара приехала мамина одноклассница по белогвардейской гимназии, куда они ходили маленькими девочками. Пожилая китаянка говорила на старорежимном русском языке и держала спину так, будто находилась в корсете из «Кармен». Помешивая ложечкой фруктовый компот и нахваливая домашнее печенье, она рассказала, что ни один человек из «особых отправок» обратно в Хайлар не вернулся. Ни в тридцатых годах, ни позже.

Мама часто играла свое отсутствие. Прятки — из той же оперы. Эту роль она и сыграла напоследок.

«Матигаи дэс». Вы не туда попали. Фразу, которую она произносила по телефону без русского перевода, не скажешь вооруженным гостям. А театр понятен без перевода.

Фельдфебель посчитал, что бьющаяся в судорогах девчонка невероятным образом успела заразиться чумой, и поспешил ретироваться. Больные для опытов не годятся, да и самому, не ровен час, можно подцепить заразу.

Почему мама избрала театральный сценарий спасения семьи? Кто ей шепнул в предлагаемых обстоятельствах сделать гримом грязь? Почему решила рухнуть на землю, закатить глаза, вывалить язык, до смерти напугав родных и врагов?

Она и сама не могла объяснить, какой бес ее дернул.

Этот бес — талант. Необъяснимый, чудесный. Спасительный. Штрих мастера черным карандашом ВТО.

Занавес. Bravo, мама.

### **«Заря коммунизма»**

В пожелтевшую газету с таким названием была завернута медная чашечка на тонкой ножке, вывезенная из Хайлара. Разбирая содержимое фибрового чемодана, хмыкнул: ничего лучшего для обертки, кроме газетки, в которой я одно время прозябал, мама не нашла? Тряпицу или марлю там. Буддийская все-таки вещица. Эту чашечку для воскурения благовоний дал в дорогу в 1935 году Сэсэн-лама. За то, что девочка Валя мыла полы в маленьком дацане, он стоял на одной улице с домом моего деда Исты.

В чашечку я насыпал рис, воткнул в него палочки хужэ, чтобы мама от дымка благовоний чихнула в райской стране Диваажан. А

газету расправил и уложил обратно в чемодан. В папку с фотками разных лет и справками — консульства СССР в Маньчжурии, ОВИРа НКВД, наркодиспансера о кодировании. На папке-скоросшивателе значилось: «Дело №».

Мама и тут оказалась права: у буддизма и коммунизма куда больше общего, чем у восхода с закатом. О том еще Агван Доржиев толковал. Однако был истолкован предвзято. Ему пришили дело. И судьба его закатилась в тюрьме.

Полвека спустя после бегства семейства деда Исты из Хайлара меня сослали из республиканской ежедневной газеты в районную «Зарю коммунизма». За появление в пьяном виде на рабочем месте. Командировали на сельхозработы, пошутила телетайпистка Наташа Ершова. В ссылку я взял фибровый чемодан.

Но я бежал из ссылки, потеряв туфли...

Впрочем, по порядку.

Несмотря на убойное название, «Заря коммунизма» освещала жизнь района тускло. Блеклая газета печаталась дедовским способом, испытанным большевиками перед II съездом РСДРП. Типичная районка. В редакции я заведовал отделом сельского хозяйства. Отдел состоял из меня одного. Чтобы добраться до героев сельской нивы — неулыбчивых доярок, смуглых чабанов и хмурых механизаторов, — я вставал ни свет, ни заря и два часа трясся на электричке.

Езда на передний край пятилетки стала утомлять, и я часто ночевал в редакции на газетных подшивках. Члены трудового коллектива снабжали дарами собственных огородов и подворья. Выдвижные ящики моего рабочего стола были забиты надкусанными шматками сала и огрызками огурцов. Появились мыши. Уборщица тетя Тася приносила на ночь рыжего кота по кличке Котя. Котя торопливо догрызал огурцы и шкурки сала, потом вспрыгивал на меня, сквозь сон я переворачивался на левый бок, и кот, урча, до утра грел мою натруженную за день печень.

Напротив окон редакции, замыкая общий двор, располагалась бухгалтерия треста «Бурмежводхозспецмелиорация». За точность наименования не отвечаю. Одним словом, что-то длинное и скучное. Милая женщина в светлой кофточке, отрываясь от деревянных счетов и арифмометра, с тоской наблюдала, как мы в разгар рабочего дня распиваем портвейн «777» или агдам, а ближе к вечеру, после

сдачи номера, и водочку. Поймав взгляд из противоположного окна, мы предлагали симпатичной бухгалтерше заняться мелиорацией — осушением болота трудовых буден. Делали жесты, намекая на бурение и брудершафт в одном флаконе. Женщина в окне печально улыбалась, качая головой, и со вздохом — казалось, мы слышим этот вздох! — опять бралась за костяшки счетов.

В просторном бревенчатом здании, вытянутом литерой «Г», кроме редакции находилась типография. В короткой шляпке литеры — три кабинета корреспондентов и темнущая фотолаборатория, в длинной ножке — типографский цех, бухгалтерия и кабинет редактора. В камерке фотолаборатории отсыпались уработавшиеся репортеры. Редактор Жапов заседал в другой половине здания, чтобы не видеть пьянства сотрудников и, по его логике, не нести за это персональной ответственности.

Печать полос была тусклой, но высокой. Никто не замечал высокой низости полиграфического термина: два линотипа, один в вечном ремонте, обшарпанная печатная машина эпохи военного коммунизма и наборные столы с трехлитровыми банками сока по углам. Сок давали за вредность. За свинцовую пыль.

Матери-одиночки просили погасить вредность не соком, а деньгами. Директор типографии отсылал их к редактору Жапову, члену бюро райкома КПСС. Редактор носил широкие галстуки с пышными узлами. Если бы Жапов работал в типографии, то галстук мог сойти за фартук. Галстук диссонировал с щуплым телом, закованным в темный костюм-тройку. Огромные роговые очки еле держались на коротком носу. На лацкане редакторского пиджака краснел значок члена бюро. Даже в жару. На сорочку значок не нацепишь. Рассказывали, сошедшая с электрички женщина с ребенком спросила у Жапова, как пройти туда-то. Жапов поправил очки и буркнул: «Не знаю, я член бюро».

Другим предметом гордости редактора был диплом ВПШ — Высшей партийной школы. Не ведая о том, тройка типографских женщин явилась к Жапову с петицией о монетарной замене сока. Вместо того чтобы простым языком, как Ленин — хождениям, объяснить, что против вышестоящей директивы у него кишка тонка, погнав пургу. Начал с тяжелого, что типографские станки, наследия царизма, заострил внимание на базисе и надстройке диалектического материализма и по спирали истории в русле переходной фазы от социализ-

ма к коммунизму закончил сложной международной обстановкой. Оживил в памяти конспекты ВПШ. Иначе говоря, мужайтесь, женщины Востока, под свинцовыми тучами высокой печати неумолимо тлеет заря коммунизма.

— Зря коммунизма, — во всеуслышание брякнул я, умышленно пропустив букву «а».

Сказано было под портвешок. Острота имела успех. Не только в редакции. С другой половины здания мне прислали банку персикового сока. Чумазные печатницы чумели от свинцовых мерзостей переходной фазы. В стране зрели перемены. Гирия до полу дошла, говорила уборщица тетя Тася. После моего красного словца крамольные разговоры за наборными столами возобновились с красной строки.

Мысли материальны, учит буддизм. Впрочем, как всякая религия, включая коммунизм.

Рано утром, когда я сладко почивал на газетных подшивках, в редакцию ворвался Жапов. На нем не было лица и галстука. Костюм, правда, был, но без ленинской манишки. Редактор потрясал свежей газеткой. Указательный палец Жапова был черным от краски. Палец он вонзил в закопченный потолок редакции с одинокой лампочкой Ильича.

Вместо приветствия Жапов сказал, что он член бюро райкома партии. И, как член бюро, несет персональную ответственность. Не допустит. Не позволит. Сделает оргвыводы. Он поправил очки.

— Да чего случилось-то? — отступил я к углу с рукомойником. Хоть зубы почистить после вчерашнего.

Жапов продолжал кликушествовать. Что-то насчет идеологической диверсии. Устав от политинформации, снял сползавшие с потного носа очки и протер их мокрым (от слез?) платком.

— Учтите, мы дорого заплатим... Надо еще взять почту, телеграф... Промедление смерти подобно! — Редактор начал говорить апрельскими тезисами.

Этих выпускников ВПШ надо стрелять из ППШ. Кивая, я успел выдавить зубную пасту и сполоснуть рот.

Жапов швырнул номер газеты на стол и ткнул черным пальцем в текст, очеркнутый красным карандашом. На первой полосе красовалось: «ЗРЯ КОММУНИЗМА». Заглавными буквами в анонсе номера!

Слава КПСС, не в названии газеты: это было бы слишком. В прежнее время за такое могли без слов поставить на вид. К стенке.

— Кстати, звонил Брагин... — угадывая ход моих мыслей, упавшим голосом сказал Жапов.

Редактор полакал воды прямо из умывальника. Как ученый кот Котя. Брагин был председателем районного отделения КГБ.

— Это все из-за ваших шуточек... Зря — зря... Вы и на прежнем месте прославились! Предупреждали меня...

— Ничего страшного, дадим опровержение, — заметил я.

Жапов булькнул горлом, дернулся и забегал от рукомойника к двери.

— Какое опроверж... Это политическая близорукость!.. Опровержение — это признание вины. Приговор!

— Малюсенькая поправка... мелким шрифтом... нонпарелью... — забормотал я. — Еще Доржиев говорил...

Бормоча, я оттеснял расстроенного Жапова от угла письменного стола, где за тумбой таилась бутылка недопитого портвейна.

— Прекратите толкаться... Вы говорите чудовищные вещи! При чем тут служитель культа, к тому же репрессированный? — Последнее слово сказано шепотом.

На территории района был улус Хара-Шибирь, родина Агвана Доржиева, наставника Далай-ламы XIII-го. Проезжая небольшое село с потемневшими крышами, я в разных вариантах — с русскими выражениями и напевными бурятскими междометиями — слышал от местных жителей одну и ту же легенду.

Легенда звучала так. В буддизме имеется пророчество о том, что на берегу «студеного северного моря» новые люди построят маленькую Шамбалу. Под студеным северным морем подразумевалась Балтика, Питер, но харашибирцы упрямо считали, что это Байкал. Он студеный и намного севернее Тибета. Красный стяг не случайно буддийского колера, это цвет знамени легендарной Шамбалы, повторял невежественным большевикам Агван Доржиев. Шамбала есть коммунизм. Зри в зарию. Точка.

— Прекратите толкаться и нести околесицу! — поправил отсутствующий галстук редактор. — Знаю я эту вашу легенду. Можете рассказать ее Брагину... нонпарелью.

И расскажу. На встрече с наркомом просвещения Луначарским Доржиев спросил, какую религию изберет в России новая власть. «Мы, большевики, ни в Бога, ни в черта не верим», — ответил ему Луначарский на заре советской власти. «Ох, зря... — покачал голо-

вой Агван Доржиев. — А ведь наши взгляды близки. Вы не хотите ни богатых, ни бедных. И буддизм проповедует всеобщее равенство. Стройте новую жизнь на основе буддийского учения. Оно снаружи и изнутри крепкое. Ибо вечного нет. Если ваши действия будут правильными, а помыслы — чистыми, строй ваш продержится семьсот лет. Все, что не разваливается снаружи, разрушается изнутри. Если не выберете буддизм, то вашей власти отпущен срок жизни одного человека...»

Так оно и получилось. Заря коммунизма не взошла. Большевики прошляпили исторический шанс — закодировать человечество похлеще, чем в наркологическом диспансере. Все, что не разрушается снаружи, разрушается изнутри. Эту истину знают даже алкоголики.

— Вы что, пьяны?! — Жапов с треском порвал ненавистный номер газеты и шагнул в сторону.

Раздался дикий визг. Метнулась тень. Кот Котя прыгнул на штору.

А штора держалась на соплях, давно говорила уборщица тетя Тася редактору. Штора с гардиной со скрежетом рухнула. Поднялась пыль.

Жапов попятился к умывальнику и наступил на таз. Мыльная вода заляпала линзы роговых очков редактора.

— Вон из редакции! — вскричал Жапов. — Думаете, не вижу?!

Он протер очки пальцами. Брюки его были мокрыми.

— Заря — зря... Зря стараетесь, враги народа! Предупреждали меня... Пишите заявление по собственному или я вас уволю по тридцать третьей!

— За что, Вячеслав Баирович? Норму строк я выполняю...

— За то! Опровержения не будет, не надейтесь... А это что? Думаете, редактор на той половине не видит, не слышит?! — Жапов ловко, как кошка лапой, цапнул бутылку портвейна, со стуком водрузил на стол и рухнул на стул.

Тяжелой шторой повисла пауза. Редактор сидел посреди разгромленного кабинета, в мокрых брюках и заляпанных очках. Бутылка на столе смотрелась двусмысленно.

— Погонят меня из бюро, как пить дать... а то и, того... из партии.

Жапов вздохнул и посмотрел в окно. Жители райцентра шли на работу, весело переговаривались.

Мне стало жаль Жапова. Все-таки он взял меня на работу, когда отказали другие редакции. Я пошел к двери.

— Стой, ты куда?

— Вы же сказали, Вячеслав Баирович, вон из редакции... Еще успею на утреннюю электричку.

На самом деле я собирался в дощатый туалет во дворе.

— погоди, наливай давай... Что это? Портвейн? Агдам? Ну и гадость вы тут пьете!

Карьера члена бюро райкома партии Жапова едва не накрылась мятым дюралюминиевым тазом из-под раковины. Кабы не бдительное око чекистов.

Тираж районной газеты составлял три с лишним тысячи экземпляров. Из них половина уходила коллективным подписчикам — в лесхозы и колхозы, на свинополь, ремонтно-механический завод, плавкошаптовый карьер, в учреждения. Пригородный район бурно развивался, к распространению печатного органа райкома КПСС подключились парткомы. Активисты бесплатно раздавали газету на проходных, оставляли ее на рабочих местах. И этим фактом гордился Жапов: при нем тираж заметно вырос.

— Представь, как бы смеялись рабочие... Гадость! — поморщился он от портвейна.

Короткий нос съезжился — очки чуть не упали, но редактор привычным движением водрузил их на место. Ему предлагали сменить тяжелую, в пол-лица роговую оправу по моде тех лет, когда он в типографии во время политинформации уронил очки на пол. Однако Жапов дальновзорко считал, что они придают ему солидности. Как члену бюро.

Я хотел успокоить редактора: рабочие газету не читают. В лучшем случае выкладывают на нее бутерброды и вареные яйца во время перерыва — сам видел, в худшем — в условиях дефицита туалетной бумаги — аполитично смяв «Зарю коммунизма», ходят с ней до ветру. Этого я не видел — слышал. Да вовремя прикусил язык.

Редактор, выпив, успокоился. Лицо его порозовело. Я предложил сбежать за второй. Он не ответил — это я расценил как добрый знак. Авось не уолят.

Впрочем, молчание ничего не значило. Редактор Жапов никогда не отвечал на сложные вопросы.

Большого бенца удалось избежать, после паузы сообщил Жапов. И демократично хрустнул огурцом. Отправку тиража на предприятия остановили в семь утра. Еще примерно семьсот номеров поступали в розницу, в киоски. Но почта взята. Революционная ситуация тре-



бовала захватить телефон, телеграф, станцию. А вот слухи не захватить. Задержка печати все равно дойдет до первого секретаря, продолжал Жапов. И Брагин в курсе. Сейчас срочно, с ночи, печатается новый тираж, прежний после доставки во двор типографии пустят под нож.

То-то я ворочался на подшивках. За стеной равномерно стучало.

Опечатку с политическим душком обнаружил сторож типографии, пенсионер. У него я иногда просил заварку. Коротая время, сторож сел читать газету — и сон как рукой сняло. Самое смешное, старик-то беспартийный, с пятью классами образования. И ведь сообразил позвонить дежурному районного КГБ.

Вот гад, подумал я, мог бы и мне сказать, через стенку ночуем. Да-ром, что ли, позাপрошлой ночью угощал старика «Степной украинской» крепостью двадцать восемь градусов, привезенной из командировки в дальний леспромхоз? И сторож, между прочим, настойку нахваливал, оппортунист хренов.

Эта заря никогда не станет дневным светом. Неблагодарный редактор недалеко от сторожа ушел. Допив агдам, Жапов протер значок на лацкане и потребовал прекратить пьянство на рабочем месте. Касается всех! И пнул мятый таз.

Эдак, распалившись, он к тезису моего увольнения вернется.

— Кстати, шеф, как насчет индивидуальной подписки? Там своих сторожей хватает, — меняя тему, озабоченно изрек я.

И демонстративно швырнул пустую бутылку в ведро.

— Ситуация в жилом секторе под контролем, — не поворачивая головы, ответил Жапов. — Выход почтальонов на линию задержан до обеда, когда отпечатают новый тираж.

Редактор отряхнул пиджак, извлек из кармана галстук и стал его повязывать перед мутным зеркальцем, висевшим рядом с умывальником.

— Но ты прав: береженого Це-Ка бережет... Набери номер почты, — невнятно сказал он. — С наполовину завязанным галстуком редактор взял трубку: — Алло, почта?.. Это опять Жапов, член бюро. Как там насчет почтальонов, я будировал данный вопрос...

Минуту он слушал с каменным лицом, потом сорвал галстук и бросил трубку. Нет, сперва бросил трубку, потом сорвал галстук. И уронил очки на стол.

Я подумал, это верещит кот. Но это кричал редактор.

Пришедшая на работу корреспондентка отдела писем Люба Виляк от испуга запнулась о порог, растянулась в проходе и заплакала.

Кот Котя пробежал по павшему телу и с человеческим воплем ринулся на волю, подальше от людей.

Оказалось, один почтальон разнес-таки почту. В том числе крамольную «Зарю коммунизма». Экземпляров тридцать. Почтовики наотрез отказались изымать доставленные подписные издания из частного сектора. Так и сказали: «Это ваши проблемы». Зато обещали выдать адреса и явки.

Прихрамывающую Любу отправили на почту за списком.

— Промедление ссылке подобно! — заявил Жапов час спустя на внеочередной летучке.

Галстук редактор повязал, брюки сменил, очки решительно блестя.

Индивидуальных подписчиков у газеты было немного — не более трехсот. Собственно, читать в районке было нечего. Бодрые репортажи, «вести с полей» да постановления райисполкома. Люди выписывали газету под напором профсоюзных организаций, а также из-за субботного номера, где печаталась телепрограмма и объявления. Первую полосу такие читатели пропускали.

Тем не менее, газетой в доме дорожили. «По прочтении сжечь». Подписчики частного сектора неуклонно следовали правилу разведчиков и сексотов. Газета шла на растопку печи. Другой точкой ликвидации источника информации было загадочное для заокеанских резидентов дощатое строение в дальнем углу огорода.

Устойчивым местом утилизации прессы являлся и колхозный рынок. Ценились простыни центральной «Правды» и ее подобий в областных центрах. Если магазины худо-бедно снабжались оберточной бумагой, то частные торгаши испытывали в ней нужду.

На селе газета пользовалась большим успехом, чем в городах. Наших и заокеанских. В этом сегменте рынка «Заря коммунизма» могла составить конкуренцию «Вашингтон пост», «Бостон глоб» и «Лос-Анджелес таймс» вместе взятым. Не говоря о цветастом «Плейбое». Пусти его, козла, в огород — глянec не дал бы ему в сибирских условиях реализоваться в полной мере. Да и горел он из рук вон плохо.

Однако у «Зари» имелся въедливый контингент подписчиков: ветераны партии, пенсионеры, местные правдоискатели. Те самые «сторожа». Они сторожили любую опечатку. И при обнаружении

оной с торжествующим видом заявлялись в редакцию, потрясая номером. Некоторые сигнализировали в органы.

Тут же не рядовая опечатка. В ней проглядывался умысел текущего момента: в стране начали вводить продуктовые талоны, зарплату повсеместно обзывали зряплатой.

— Еще припаяют политику, — изрек фотокор Гриша Лаврухин.

Этого боялся Жапов. Этого боялись мы.

В молодости по пьяной лавочке Лаврухин украл у соседа поросенка, отсидел два года на общем режиме, где обзавелся сизыми наколками на руках и ногах. На толстых икрах сообщалось: «Они устали». На правом запястье: «Пусть работает медведь, у него четыре лапы», на левом были наколоты ручные часы, а на ремешке лапидарно: «Время жрать». Корявые татуировки Гриша тщетно пытался вытравить, летом носил рубашки с длинным рукавом, словно наркоман какой. Лишь на личном огороде он щеголял в черных сатиновых трусах до колен.

Если уж фотокорреспондент, пятое колесо редакционной телеги, заволновался, что говорить о литсотрудниках?

Ольга Борисовна, корректорша на полставки, статная женщина с бюстом восьмого размера, срочно, с утра пораньше, ушла в декрет. Завистницы из типографии предположили, что опечатка произошла из-за восьмого размера. Дескать, бюст, на котором золотой кулон лежал параллельно корректорскому столу, помешал Ольге Борисовне узреть ошибку на первой полосе.

Мое увольнение Жапов отложил до «окончательного решения актуального вопроса». Выпускник ВПШ положительно не умел говорить человеческим языком. В переводе фраза звучала банально: рой носом землю, авось нароешь прощение.

На планерке Жапов беспрерывно пил воду из графина. Хотя в конце апреля в наших краях не жарко. Мухи по редакторскому кабинету летали робко; одна, отбившись от коллектива, вкравшейся опечаткой сонно ползала по пыльной, немойтой с зимы, странице окна.

Поиски других виновных хозяин кабинета тоже отложил до лучших времен. Хотя бы потому, что редактор обязан последним подписывать полосы в печать. Не будешь же самого себя искать? Жапов был профессиональным бездельником.

Почтальон-шатун опоздал на планерку, явился сразу в отдел экспедиции. И до ареста подписных изданий успел набить сумку

двадцатью восемью экземплярами идеологически вредного номера «Зари коммунизма». Их-то и следовало в течение дня «экспроприровать», по выражению редактора.

Жапов энергично прибил свернутой газеткой муху. Одним ударом резюмировал разбор полетов и утвердил план операции.

Редакция насчитывала семь штыков. На каждый штык-перо приходилось четыре-пять экземпляров. Но это грубая арифметика. Кроме меня, Гришы Лаврухина и Любы Вияк в бой планировалось бросить отозванную из липового декрета корректоршу (в законном декретном отпуске находилась Аннушка, ответственный секретарь), заместителя редактора Саню Гуторова и молодую литсотрудницу Надю Шершавову, писавшую под псевдонимом Н. Остроумова. Комсомолка Надежда отдаленно походила на киноактрису, была перво-разрядницей по лыжам и без пяти минут кандидатом в мастера спорта. Надежда района, а может, республики. Однако когда у Нади перестала расти грудь и начали расти усики, она бесповоротно, наплевав на причитания тренера, ушла с лыжни и принялась писать про спорт в газету. В итоге грудь у незамужней Надежды развилась до нормальных размеров. Мужские голоса регулярно названивали ей в редакцию.

Размер имел значение. Стратег Жапов нацелился, следуя куплету революционной песни, дорогу грудью проложить. Женской грудью. Половину номеров «Зари» доставили в рабочее общежитие треста «Бурмежводхозспецмелиорация». Это была удача. Семей тут мало. В общежитии жили мужчины в расцвете сил: буровики, водители, экскаваторщики, сварщики, а также вахтовики и командировочные. Цельные натуры с мозолистыми руками: схватят, что клещами, — не отпустят. В мужское общежитие редактор откомандировал лучшие женские силы. Лучшие спереди и сзади.

Замужняя корректорша Ольга Борисовна возмутилась. Была она блондинкой натуральной, не говоря о груди восьмого размера. Ее муж работал ассенизатором, много зарабатывал и, судя по репликам корректорши, желал, чтобы жена сидела дома. Но дети достигли школьного возраста — домохозяйке стало скучно на кухне.

— А вы бы, Ольга Борисовна, лучше вообще помолчали! — Редактор прихлопнул газеткой муху на столе. — Это по вашей милости, между прочим, мы тут разгребаем. Вляпались, понимаете ли, по уши... как мухи в дерьмо. Учтите, Ольга Борисовна, хоть вы у нас на полставки — отвечать будете по полной.

— Что вы, Вячеслав Баирович, ей-богу, сразу про дерьмо? — оскорбилась она и покосилась на золотой кулон, который провалился в Марианскую впадину груди. — Да меня Сергей с говном съест, ежели я в мужское общежитие зайду...

Что верно, то верно. Супруг корректорши Сергей, невысокий, большеносый, в темно-синем комбинезоне, имел привычку оставлять свою гавновозку, так звали в народе автоцистерну с гофрированным шлангом, за углом. Подкатывал с подветренной стороны. Вроде внезапной ревизии. Нестерпимо воняя одеколоном, без стука совал нос в кабинет ответсека, где обычно шла корректура и где в отсутствие Аннушки вечно толкался мужской люд. Ревизовать, как вы уже поняли, было что. У Ольги и «нижний бюст» (выражение фотокора Гриши) был выдающимся. На него засматривались рабселькоры.

— Надо будет — и пойдете, и зайдете, и отдадитесь... э-э... отдадите силы, — поправил очки Жапов.

Худосочная Люба Вияк бездумно поддакнула.

Надежда загадочно помалкивала.

Я поддержал редактора. Насчет отдаться.

Лаврухин и Гуторов прыснули с задних рядов. Саня от смеха уронил костыль.

— А вы бы помолчали! — развернула ко мне корабельные жерла груди Ольга. — Остряк! Без году неделя... По вашей милости мы тут разгребаем, правда, Вячеслав Баирович? Вы, вы, это вы первый сказали про эту зрю... зру... тьфу... зря коммунизма! Кругом и давай повторять: зря, зря. Вот и не зрю ни фига. Сбили с панталыку...

Я признал, что острота сомнительная. Попросил прощения у читателей.

Ольга Борисовна успокоилась и согласилась отдать силы в мужском общежитии. Комсомолку Надежду отрядили ей в помощь. Перворазрядница ступила на тернистую лыжню молча.

С остальными членами коллектива разобрались быстрее. Люба, нацепив очки на резинке, огласила адреса, с торжествующим вхождением нашла знакомые фамилии и заявила, что берет на себя пять подписчиков. Фотокорреспондент взялся нейтрализовать четверых из списка. Люба и Гриша выросли в райцентре и знали многих. Замредактора Саня Гуторов, стуча костылем, подошел к редакторскому телефону, поговорил с кем-то из адресатов и с пафосом сообщил, что абонент — его кореш и он сей же момент, не читая, изрежет газету

ножницами и повесит на гвоздик в уборной. К процессу подключили ответственного секретаря Аннушку. На том конце провода она пообещала, как только уснет ребенок, сходить к родственнице-подписчице и лично опустошить почтовый ящик.

Редактор Жапов в счет не шел: ходить по домам ему не позволял авторитет члена бюро райкома.

Был еще водитель редакции Анатолий. Но его в суть операции решили не посвящать из боязни огласки. Чего стоила кличка шофера: Джин-с-Толиком. Сам водитель за глаза обзывал шефа Славой КПСС.

Редактор проинструктировал: подписные номера при невозможности экспроприации уничтожить на месте. Но лучше принести крамолу в зубах.

Таким образом, на мою долю досталось три подписчика. Фамилии счастливых обладателей бракованных номеров мне, неместному жителю, ничего не говорили. Передовиками производства они вряд ли были. По крайней мере, среди героев первополосных материалов не мелькали. Два подписчика жили в частных домах, один в благоустроенной трехэтажке.

Так и знал. Едва постучал в высокую калитку, как донесся бешеный лай. Собак я люблю, конечно, но больше на привязи.

Долго не открывали — собака за забором чуть не подавилась слюной. Я уж хотел ретироваться, как калитку распахнула заспанная женщина в ситцевом халатике. Между тем день будний.

— Вы Курбаткина? — сверившись с блокнотом, спросил я.

— Ага, — зевнула хозяйка. — Че надо?

Я сказал, что из газеты.

— Ха! Здрасте! — Она перестала зевать. — Че, интервью брать будете?

Курбаткина рассмеялась. Глаза у нее были пыльно-зеленые, как стеклотара, личико мягкое, дряблое, тянуло на полтинник, но короткий халатик открывал странно молодые ноги. Они на моих глазах покрылись гусиной кожей.

— Да вы входите, не то прохладно, — отступила назад хозяйка, теряя шлепанец.

Дом был шлакозасыпной, беленый. Крыша наполовину покрыта рубероидом, наполовину шифером. Во дворе темнела полусгнившая теплица, с краю румянилась новым пролетом.

Над крышей жидкие облака тянулись к слабо зеленеющим грядкам. Над ними уже высоко поднялось солнце. Дело шло к обеду, топография на полных парах печатала новый тираж.

— Шарлотта, фу! — прикрикнула Курбаткина на собаку.

Шарлотта оказалась маленькой рыжей дворняжкой. С лая она перешла на рычание. Так и у людей. Мелкие твари самые вредные.

Я не знал, как ловчее объяснить цель визита. Пока думал, Шарлотта зашла сзади и цапнула за ногу. Я рванулся — штанина затрещала.

Шарлотту пбили шлепанцем по морде. Но вельвет это не спасло: на уровне щиколотки зияла дыра. Я чертыхнулся.

— Что ж вы сразу-то... — узнав об экспроприации «Зари коммунизма», закручинилась Курбаткина. — Да вон она, в почтовом ящике, забирайте, пока целая. А штаны новые, поди... У, тварь! — замахнулась хозяйка на собаку.

Раздался скулеж. Я тоже готов был заскулить. Вельветовые брюки жена купила накануне.

— Что ж вы будете ходить с дырой? Проходите в дом, я зашью скорее, — засуетилась подписчица.

К дому вела дорожка из старых выгнутых досок.

Внутри было тепло. От печи вкусно несло тушеной капустой. На свежеекрашенных досках лежали узорчатые круги половиков. У двери висел мужской плащ.

— Так, — сказала хозяйка, — сымайте бруки.

— Что? — не понял я.

— Че-че? Я грю, бруки сымайте. Штаны, ну... Да не бойтесь, одна я, — засмеялась Курбаткина. — Как в анекдоте, ха!

Когда хозяйка смеялась, то мгновенно становилась моложе и привлекательней. Снизу вверх.

Поколебавшись, я снял «бруки». В самом деле, не ходить же с дырой? Мне еще двух подписчиков окучивать.

На голени алела царапина. Курбаткина запричитала:

— Да не бойтесь, Шарлотта — она не бешеная, год назад Матвея-пьяницу укусила — ниче, по сию пору ходит пьяный...

Хозяйка вынула из шкафчика графинчик — прижечь ранку водкой. Я присел на табурете в плавках и уставился в телевизор.

Не успела Курбаткина вдеть нитку в иглу, как за окном стукнула калитка, взвизгнула собака. В дом, кашляя, вошел мужчина в промасленной робе и громко сказал:

— Алло, Катя, ты где? Давай быс...

Увидев меня, вошедший осекся.

— Че, Паша? Че давать? — выглянула из-за телевизора Катя.

— Да ты, я вижу, уже дала...

Получилось как в анекдоте. Полуголый гость, водочка на столе, жена с чужими штанами в обнимку.

От удара кулаком я скovyрнулся с табурета и приземлился на горку поленьев у печи. В руке у меня очутилась кочерга. Но защищаться ею не пришлось.

Курбаткина изо всей силы хрястнула сожителя шлепанцем по лбу. Однако Паша все равно не верил:

— А че водка на столе? А че он голый?

Хозяйка посоветовала спросить об этом Шарлотту. Я показал редакционное удостоверение. Но и это не убедило гражданского мужа. Убедила, как ни странно, опечатка. Политическая диверсия районного масштаба.

Женщина принесла очки. Двухметровый Паша подошел к окну с газетой в руке. Ногтем с черной каемкой провел по первой странице:

— «З-зя коммунизма»... Твою мать! Ну вы там, в газете, даете! Зря коммунизма!.. Ни фига се... Зря, мля! Это ж другое дело. Тут, брат, не встанет!.. Что ж ты сразу-то не сказал, дорогой?

— А ты че, спрашивал, буйвол? — фыркнула подписчица. — Люди, можно сказать, завтра по этапу пойдут, а он ручищами махать!

Под глазом чесалось. Фингал расцветал зарей. Радугой коммунизма.

Паша с виноватым видом приложил холодный графин к моей скуле (водки не налил, жлоб). Хозяйка предложила чаю. Даже Шарлотта во дворе виляла хвостом.

— После обеда вам принесут новый номер, — помахал я газеткой на прощание.

— Не-ет! — хором вскричали оба.

— Оставьте себе, — добавила Катя.

Паша наклонился и душевно рыгнул:

— Не знаешь, скока щас за политику дают?

После бурного визита к Курбаткиной я взял курс на благоустроенный жилой сектор. Там собак меньше.

Еще на подходе к трехэтажному дому заметил странное шевеле-



ние у подъезда. Два мужика, женщина и девочка облепили что-то черное. Я затормозил ход: а если это гроб?

Громоздким черным предметом оказалось пианино.

— Во! Четвертым будешь! — радостно вскричал хлипкий мужичонка в разодранной телогрейке и перекинул через плечо трос. — Во, как раз не хватает. Хозяин щас спустится, будет полный квартет. Хватай веревку давай...

А вот на это я не подписывался. Я даже на «Зарю коммунизма» не подписался, а уж на поднятие бегемота из болота подавно.

Под крышей щебетали птички. Из гнезда высунулась головка. Весна, однако.

— Да ты не ссы, мужик, — тыкал концом троса в лицо напарник. — Хозяйка каждому рупь обещала... И закусь.

— Токо не побейте углы, умоляю, ребята, — вынырнула из-за угла пианино низенькая полная женщина. — Дочке на пианине еще гаммы учить.

— Ага, гаммы, — поддакнула девочка с косичками, копия мамы-ши.

Стукнула дверь подъезда. Вывалился человек в тельняшке, ковыряясь спичкой в зубах. На животе полоски тельняшки были реже.

— Во, полный комплект! — засуетился мужичонка в телогрейке. — А ну, с четырех концов! Подхватили на счет «три»... И раз, и два...

— Минуточку, — пролистнул я блокнот. — Где тут Худяковы живут, квартира девять?

— Дык это мы и есть! — вынырнула из-за пианино хозяйка.

Я пощурился вверх. Квартира для пианино находилась на третьем этаже. А ведь она могла быть на втором, а то и на первом...

— А вам зачем Худяковы? — Вопрос спустил меня с вершин на землю.

Я сказал, что мне, собственно, нужна «Заря коммунизма», что я из газеты.

— Из газеты-ы? — протянула женщина-колобок и оглядела меня с ног до головы. — Я думала, ханыга какой...

Ага, фингал, штаны заштопанные.

— А удостоверение есть? — пожевал спичку во рту человек в тельняшке.

Изучив документ, он его не вернул, а сунул в бездонный карман спецовки. В ответ на мои протесты выплюнул спичку и сказал:

— Слушай, не кипешишь, корреспондент. Поможешь с музыкой — получишь ксиву, газету и рупь в придачу. Чем тебе плохо? Десять минут делов-то.

Я прикинул: утром фотокор Гриша предлагал сброситься, — в гастроном как раз завезли классное «Бяло мицне» — рубля не хватало.

— Кстати, а зачем тебе газета? — буркнул муж хозяйки.

Он ухватился за угол пианино — взъерошил загривок, выпучил красный глаз, вены на шее вспухли. Я путано объяснил насчет опечатки и бракованного номера.

Путь на Голгофу начался с того, что на мою непокрытую голову прицельно какнула птичка. Я рефлекторно опустил свой угол — и взревел от боли. Носок туфли лопнул.

Делов оказалось больше, чем на десять минут. Подъезд был узкий. К исходу первого часа возни пианино «Енисей» застряло в пролете, наглухо перекрыв проход жильцам. Молодые сигали через перила, пожилые поминали Сталина.

И тут с улицы послышался протяжный гудок.

— Мусорка приехала! — донесся радостный мальчишеский крик.

Подъезд наполнился людьми с ведрами. Ведра с мусором передавали через наши головы. Волосы посыпали картофельной кожурой и полили чем-то мерзким.

Худякова раскудаhtалась по поводу оцарапанного угла музыкального инструмента. Пианино купили для юного дарования с рук. Девочка делала успехи в сольфеджио.

Когда мы одолели пролет, юное дарование на ходу сбавало гаммы. От неожиданности я отпустил угол «Енисея» и придавил ту же ногу.

Не было сил кричать — лишь мычать.

Девочка сыграла форте сонату № 2 Шопена. Тема сочинения: гроб с музыкой.

Между вторым и третьим этажами туфля окончательно развалилась. На финишной дистанции хозяин с подачи жены подарил старые кеды. Дар холопу с барской ноги. Кеды были сорок четвертого размера и воняли.

На вершине Джомолунгмы, на пике Коммунизма взошла его заря. Шерпы с трехэтажными матами победно вскинули руки с зажатыми рублями. Кроме честно заработанной денежки и удостоверения мне вручили приз читательских симпатий — подписное издание. За ним девчонка сбегала вниз, к почтовому ящику. Знал бы маршрут вос-

хождения — украл бы газету, и, видит Создатель, сие не считалось бы грехом.

Оба номера «Зари коммунизма» я запихнул в целлофановый пакет, пакет сунул за пазуху.

Спускаться было несравненно легче. И руки свободны. Я цепко держался за перила.

У дома горбатилась мусоросборочная машина. Водитель, кривя уголок рта с папироской, утрамбовывал палкой пахучее содержимое спецтранспорта.

И тут выяснилось, что идти я не могу. Спускаться по лестнице могу, а идти — кеды отказывают. Водитель отдал палку и сел за руль. Опираясь на нее, я доковылял до зева мусорной машины, швырнул туда свои туфли, но промахнулся. Руки от всей этой музыки дрожали, как с похмелья.

Зря. Зря поминал гроб все.

Палимый солнцем, шел по улице, аки паломник с посохом. Птицы летали низко и молча, целясь в макушку. Хвала небу, идти недалеко: подписчики жили в околотке.

Покусанный, оплеванный, хромой... Терять было нечего. Стукнув палкой в калитку, решительно шагнул внутрь. На всякий случай выставил впереди себя посох.

Собаки во дворе не просматривалось. Просматривался гроб.

В гробу лежал старик, задрал кадык и острую седую бороду. Гроб стоял на табуретах, к ним прислонили крышку и пару венков. В изголовье фото в рамке. На красной атласной подушечке тускнели орден и медаль.

— Шо тебе, убогий? — прошепелявила сидевшая на лавке у стены бабушка, едва я шагнул во двор. — Шо тебе, сирый?

К ней лепилась старушка-горбунья в таком же черном платке.

Я поклонился покойнику и застыл надгробием, забыв о цели визита. Горбунья неожиданно резво подкатилась ко мне и вложила что-то в руку. На ладони с мозолями, окровавленными о пианино, лежал пятак.

— Жди покамись на вулице, милай. Кормить будут опосля кладбиш-ша, — молвила бабушка.

Слова явно относились ко мне. Я взглянул на себя чужими глазами: фингал, старые кеды, драные штаны, слипшиеся волосы, не рубаха — рубище...

Я достал блокнот:

— А где Макаров Иннокентий Маркелыч?

— А пред тобой, милай, — прошепелявила бабушка и перекрестилась. — Упокоилась, виш-шь ты, душ-ша раба Божия воина Иннокентия...

Все правильно. И гроб, и фото в траурной рамке, и подушечка с наградами. Покойный был ветераном войны и труда, одним из тех верных подписчиков, на ком держался тираж районной печати. Вспомнил: Люба Виляк писала о нем заметку ко Дню Победы.

Я объявил, что прибыл из газеты. И отбросил посох.

Последние слова услышал вышедший из дома мужчина в темном костюме, похожий на покойного ветерана. Только лицо не бледное, как на фото и в гробу, а красное.

— Еще чего! — возмутился он. — За некролог мы платить не будем. Нам сказали, что за ветерана войны заплатит райком, и баста.

Я успокоил: платить не нужно, нужен свежий номер «Зари коммунизма».

— Еще чего! — снова возмутился Макаров-младший. — Там же некролог о батяне!

Пришлось объяснять, что на первую страницу вкралась опечатка. Газету принесли, местами почему-то мокрую. Но опечатка и некролог читались.

— Вот подвезло батяне! — побурел сын покойного подписчика. — «Зря коммунизма»... И баста. Да он за коммунизм кровь проливал! Похоронить без ошибок не могут, сволочи!

Я поклялся газетой «Правда», что новый, без ошибок, номер «Зари коммунизма» доставят еще до заката.

— Хм... А зачем вам вся газета? — задумался Макаров. — Ошибка-то на первой странице. Зато у нас будет два некролога, усек?

Сын подписчика мыслил прогрессивно, по-рыночному. Некрологи публиковались на последней, четвертой полосе.

Разделить мокрую газету надвое — особое искусство. Я попытался сделать это на пухлой спине Макарова-младшего и испугался за кривой разрыв. Пальцы саднили: я придавил их крышкой пианино между вторым и третьим этажами.

— стакан держать сможешь, брат? — посочувствовал подозрительный тип в рваных туфлях. — Он взялся разрезать газетные полосы, взмахнул складным ножиком: — Шеф, сделаем в один удар!

На похороны стали подтягиваться окрестные бичи и старичье — обычная в таких случаях публика.

Оркестр состоял из одного музыканта — аккордеониста. Он раздвинул меха и мастерски заиграл сонату № 2 Шопена. Гроб с музыкой.

Я вертел головой, высматривая типа с газетой и ножиком, когда на мое плечо обрушился угол гроба.

— А ну, захлопни варежку! Выпить хошь? Держи, уронишь, твою мать!

Во время траурного шествия про печатку я не вспоминал. Все мысли были об одном: как бы не отстать от квадриги гробоносилашников, оправдать доверие группы товарищей.

После того как гроб накрыли крышкой и задвинули вглубь кузова ГАЗ-66 с бумажными венками вдоль бортов, я осел на влажную землю. Грузовик взревел и обдал черной струей. У меня закружилась голова.

Надо мной возник давешний тип с раздвоенным номером газеты. Первую страницу с печаткой он ухватил левой рукой, правой — нож и вторую половину номера.

— Ну? Тебе какую страницу? Первую или заднюю?

— П-первую... — пролепетал я.

— Первая дороже будет, брат, — заметил доброхот.

— П-почему?

— Пэ-пэ-пэ! — передразнили меня. — Пэ-пэ-пэтому что пэ-пэ-первая всегда дороже, пэ-понял?

Я огляделся. На окраине поселка мы были одни.

— А з-зачем тебе з-задняя страница? — тянул я время.

Авось на дороге кто-нибудь появится.

— Некролог там, з-зайчик? А некролог это пропуск на поминки, з-засек?

Он рассмеялся, показав беззубый рот, и сплюнул себе под ноги. Ноги были обуты в мои туфли, лопнувшие под тяжестью пианино. У меня не было сил удивляться.

— Ну? Гони капусту, не то пэ-первая страница станет твоей пэ-последней пэ-полосой жизни. С некрологом.

Я вывернул карман. На ладони уместилось все, заработанное кровью и потом, — рубль и пятак. В киоске районная газета стоила копейку. По подписке и того дешевле. За стократную цену еще никто в мире не покупал свежую прессу.

Забрав наличность, продавец склонился, похлопал по плечу:

— Не делай больше ошибок, брат.

До редакции меня подвезли на милицейском «уазике». Повезло: дойти я бы не смог. Гусеницей полз по обочине, потом, не доковыляв до скамейки десяти метров, опустился на мусорную тумбу. И тут меня взяли под ручки. Уж больно вид подозрительный.

Я опережал время. Прическе, обильно одобренной птичьим пометом, могли позавидовать панки из «Секс пистолз», кеды хипстера. Синяк под глазом смотрелся органично, по-рокерски.

Но менты захолустного райцентра придерживались консервативных взглядов. Кроме того, я подходил под ориентировку лица, находящегося в розыске за неуплату алиментов и изнасилование.

При обыске нашли три номера «Зари коммунизма» с очеркнутыми печатками.

— Так он еще диссидент! — проскрежетал некто в штатском.

Газеты не стали выбрасывать, как хотели, а поместили в сейф.

Меня опознал старший лейтенант, с которым ездили в рейд по самогонщикам. Больше всего нам тогда понравился первач на кедровых орешках. Статью подписали двумя фамилиями. Соавтор признал не сразу. Пришлось окликнуть его из окошка ИВС — изолятора временного содержания.

Стараниями старлея меня отпустили и даже дали скоросшиватель для измятых номеров районной газеты. На скоросшивателе значилось: «Дело №».

Когда желтый «уазик» затормозил у редакции, к окну прилип редактор Жапов. Я приветственно помахал папкой. Жапов смылся из окна. Из редакции с криками вывалились коллеги. Впереди Гриша Лаврухин и Надя Шершавова, за ними семенила Люба Виляк. Последним тащился на костылях заместитель редактора Саня Гуторов. Родные лица!

Я заплакал. Как писал Гуторов в очерке про передового бригадира плавигошпатового карьера, коммуниста, орденоносца, «скупые слезы прочертили две светлые бороздки на его закопченном лице». За эти «светлые бороздки» бригадир хотел бить незакопченную Санину рожу, но, узрев, что автор — инвалид, сжалился.

Фотокор и бывшая лыжница по-скаутски скрестили руки, усадили меня и понесли в редакцию. Про синяк никто не спрашивал. На ходу соратники доложили фронтовую сводку.

В целом экспроприация бракованных номеров прошла по плану, утвержденному в штабе операции, — газеты, шурша, слетались в

родное гнездо. Гриша и Люба за час разобрались со своими подписчиками. В мужском общежитии жильцы при виде точеной фигуры перворазрядницы Нади и бюста корректорши Ольги принесли подписные издания в клыках.

Потом случилась заминка. Некий вахтовик потерял голову от восьмого размера Ольгиной груди и закрыл ее, грудь, в комнате на первом этаже. Ольга подняла крик. Его в соседней комнате слышала Надя вместе с другим свидетелем. Правда, крик был странный, по восходящей... Этот крик разнесся по райцентру.

Муж корректорши подъехал на дерьмовозке к окну комнаты, где Ольга с командировочным, по их утверждениям, играли в шашки, сунул гофрированную трубу в форточку и отлил из цистерны, судя по показаниям прибора, литров эдак двадцать.

Дело дурно запахло. Ольга заявила коменданту общежития, что в логово разврата ее командировал Жапов. Редактора вызвали в райком партии. Не золотуха, так понос, выразился секретарь райкома по идеологии.

А в остальном операция прошла без скандалов. Изъятые в частном секторе номера горкой лежали в коридоре редакции. Нераспечатанные пачки бракованного тиража валялись во дворе прямо на земле: их привезли с почты.

Гриша налил «Бяло мицне». Люба подала местный сэндвич — хлеб с салом и огурцом. Надя помазала лыжной мазью мой синяк. Все говорили наперебой.

Милая женщина в окне напротив, бухгалтер треста «Бурмежводхозспецмелиорация», оторвалась от арифмометра и вдруг помахала рукой. У меня перестала ныть нога.

В разгар дружеского застолья вошел Жапов. Разговоры смолкли.

— Ладно уж, вижу, что пьете... — расслабил галстук редактор.

На его лице блуждала аполитичная улыбка. Редактор известил собравшихся, что ситуация под контролем. До опровержения дело не дошло. В райкоме член бюро Жапов отделался устным выговором. Новую «Зарю коммунизма» отпечатали, доставили на почту и уже разнесли подписчикам. Прежний, политически вредный, тираж придется сдать в пункт макулатуры.

В редакции было необычайно светло. Пыльные шторы, о которые два поколения газетчиков вытирали пальцы, уборщица тетя Тася уволокла в стирку. Упавшую гардину гвоздями размером с карандаш намертво прибил Гриша.

Жапов оглядел мой жалкий вид и осторожно пожал руку. Кажется, меня не уволят. Он объявил сотрудникам благодарность и сказал, что выписал суточные — вместо премии. Командировочные тут же потратили в гастрономе.

У кого-то родилась идея: крамольные номера сжечь. Редактор промолчал.

Мы ринулись во двор. Гриша чиркал спичкой, Саня Гуторов костылем сгребал газеты.

Ответсекретарь Аннушка протаранила коляской калитку, извлекла из коляски газету и торжественно подложила в костер.

Во двор, пованивая дерьмом и грехом, флагманским линкором всплыла Ольга Борисовна. Башенные орудия были расчехлены. Золотой кулон торчал в выемке бюста под углом и искрился. В зрачках корректорши горели бесовские огоньки.

Бутылку пустили по кругу. Жапов, прежде, чем хлебнуть из горлышка, поправил очки. Пьяненькая Люба Вилиак поцеловала редактора. Поцелуй угодил в нос, очки слетели.

В воздухе летала сажа. Пачки диссидентской «Зари коммунизма» разваливались кусками огненной лавы, весело треща и трепеща на ветру.

Мы сгрудились у костра. Без очков, с белыми кругами под глазами, Жапов выглядел куда человечней. Одна из сажинок легла на вздымающуюся молочную грудь Ольги Борисовны. Редактор сослепу погладил грудь корректорши и размазал сажу.

Трудный рабочий день кончался. На западе слоистые лилово-пепельные облака застыли, подбитые пурпурным мехом.

В коляске заплакал ребенок. Где-то мяукнул Котя. Аннушка взяла сыночка на руки. Гриша сделал ему козу. Ребенок хрипло засмеялся. Надя сильными руками лыжницы обхватила тщедушную Любу и в припадке дружелюбия оторвала от земли. Люба вырвалась из объятий и поцеловала костыль Гуторова. Саня от избытка чувств заорал что-то непечатное. Я панибратски хлопнул редактора по спине. От толчка Жапов припал к бюсту корректорши.

Аннушка, не стесняясь, кормила грудью сына, Ольга Борисовна — редактора.

Поправив костер шваброй, в строй газетчиков встала уборщица тетя Тася.

Мы обнялись за плечи, как команда перед серией пенальти. Лица в шеренге лизали отблески костра. Грешные и раненые, мы с боями



вышли из окружения и сохранили знамя полка. Нашу часть не расформируют.

Многое забылось, но этот миг спонтанного братания и тотальной любви в захолустной редакции, где я, гонимый, был несчастлив и счастлив одновременно, проявился из негатива в позитив и отпечатался в мозгу — не смыть реактивом времени. Не смыть и последнего кадра...

Все кругом окрасилось пурпуром вселенского фотолабораторного фонаря. Дальнюю вершину укутало багровое одеяние буддийского ламы. Ноздри щекотал едко-горький дымок благовоний. Сытый ребенок в коляске щебетал тибетскую мантру.

Мысли материальны. При свете заката и кровавых сполохов огня вкралось опечаткой: черт возьми, может, это и есть заря коммунизма?

### **Варежки, ракушка и монокуляр восьмикратного увеличения**

Ракушку размером с кулачок и монокуляр восьмикратного увеличения перед укладкой в фибровый чемодан я засунул в варежки. Чтобы не побились. Варежки из монгольской овчины с длинным мехом, с петельками. Чтобы не потерялись. Варежки, что носки, вещь хитрая: обронишь одну — вся затея насмарку. Носки потерять труднее, разве у любовницы, да и то если застукают, что бывает редко. На худой конец можно ходить в разных носках, особенно в ботинках или в сапогах. С варежками такой номер не пройдет.

У детей жизнь сложнее, чем у взрослых. Сколько я потерял варежек во дворе в ходе битв на снежках, сколько раз меня ругала мама! Даже пришитые к длинному шнурку, продетому в рукава телогрейки, они с треском отрывались во время дружеской потасовки или игры в хоккей. Пока тетя Аня из МНР, удачно вышедшая замуж за дядю Мижида, не подарила мне овчинные варежки. С кожаными петельками. Петли и сохранили подарок.

В свою очередь монгольские варежки донесли до наших дней ракушку и монокуляр. Тоже пара, нанизанная на шнурок одной и той же истории.

Ракушку я помню с раннего детства. Но смутно, сквозь пелену болезни и жара. В детстве я часто болел ангиной, гланды потом пришлось вырезать.

Глотнув горячего молока с медом и содой, я ронял тяжелую голову на мокрую подушку и просил ракушку. Мама прикладывала ракушку к моему уху. Я слышал, как волны шуршат и облизывают берег и с шипением оставляют на песке узоры пены. Не успевали они высохнуть, как набегала следующая волна: шш-шу-у-у, шш-шу-у-у... Мне виделась колонна маяка, белый парусник посреди ярко-синей равнины, мокрая газета на шезлонге, чудились крики чаек, удары весла о воду, девчачий смех... И опять: шш-шу-у...

Я засыпал, пока мама прижимала ракушку к уху. Другой рукой она промокала полотенцем мой лоб.

Ракушку привезли из Хайлара в фанерном чемодане № 2. Ее подарил маме местный дурачок Бака. Хотя это не имя. «Бака» по-японски «дурак». Бака был на весь город один такой. Даже японские солдаты его не трогали. Смеялись над ним и подкармливали.

Дураки в Хайларе не задерживались. Время тяжелое, нормальным-то жителям Маньчжурии — коренным и пришлым, беженцам из России, — жрать было нечего. А Бака задержался. Он бормотал по-японски, но мог мешать в своей речи — мутной и быстрой, что ручей у запруды, — монгольские, китайские и русские слова. И все кого-то высматривал поверх голов.

Бака был, вне сомнения, необычным человеком. Иногда у него случались прозрения. И тогда он, встав столбом, с изумлением оглядывал прожженную шинель, рваную, с вылезшими клочьями овчины, шапку, свои черные, не знавшие мыла ладони, ощупывал лицо, редкую бородку, запекшиеся губы и в ужасе кричал — нечленораздельно, гортанно, протягивая руки. Он не просил милостыни или еды. Если прислушаться к дураку, то в потоке разноязыких слов можно было разобрать, что он просит воды и мыла — отмыться от крови...

Говорят, Бака был японцем, рядовым солдатом, тронувшимся умом после резни в провинции Хэбэй, где людей резали как свиней. Он вдруг стал хрюкать в строю и изо всех сил чистить штык обшлагом шинели. Его не отдали под суд, с ним не знали, что делать. Сперва хотели отправить домой, на острова, но начальство приказало оставить сумасшедшего на материке, дабы не позорил императорскую армию на исторической родине. Так Бака отстал от части: его попросту бросили на произвол судьбы. По следам экспедиционного корпуса, точнее, по следам полевой кухни неразумный воин добрел до Хайлара.

Офицеры, которым Бака радостно отдавал честь, прикладывая руку к засаленному малахаю, в упор его не замечали. Рядовые, оглядываясь, украдкой совали консервы и галеты.

С некоторых пор в руках Баки появилась ракушка. А ракушек в засушливой степи за Хайларом на тысячу ли окрест не сыскать. Проще найти дурака. Скорее всего, ракушка была весточкой с родины – солдатам приходили посылки.

Долговязая, непохожая на японскую, фигура слонялась по Хайлару, застывала посреди улицы, не обращая внимания на окрики всадников. Сумасшедший прикладывал ракушку к уху и улыбался. Наверное, ему слышался плеск моря у острова Хонсю.

Ранней осенью девочка Валя шла домой из школы, где ее только что приняли в пионеры. Взволнованная, она неосмотрительно оставила на шее красный галстук. И мальчишки из белогвардейской гимназии с криками «Красная жопа!» в который раз обстреливали ее из рогаток и, грохоча ранцами, убежали. Один из камешков попал в голову. Спасла тарбаганья шапочка. Все равно над ухом вспухла шишка. Валя заплакала и села на корточки.

— Итай? — спросил по-японски возникший ниоткуда Бака.

Дураки имеют способность возникать ниоткуда.

— Не могу... — сквозь слезы ответила ученица.

— Итай... Больно? Россиядзин? Ты русский? — осторожно потрогал пионерский галстук Бака и шмыгнул носом.

Пионерка не знала, что сказать.

— Дарэ-но? Ты чья?

— Там, — махнула рукой девочка. — Кадзоку... Семья.

— Мусумэ? Дочь? Рёсин? Родители? — оживился, заслышав родную речь, Бака.

Он высморкался и вытер пальцы о шинель.

— Вакаримасэн... Не понимаю, — сказала девочка и потрогала шишку под шапочкой.

Шишка была горячее. Бака заморгал глазками и опять спросил:

— Итай?

Глазки его гноились. Вместо рукавиц на руках сумасшедшего были рваные шерстяные носки. Из дыры в носке выглядывал указательный палец. От дурака разило дымом кострищ. Лицо его было черно, как у негра. Об этом говорил учитель истории: есть на свете такие удивительные люди, черные с макушки до пяток, черные от

черной работы, которых без допросов принимают в Интернационал. Но негров в императорской армии не бывает. Японцы желты, что речная глина.

Бака погладил Валю по голове, но сделал это неловко, задев шишку. Девочка всхлипнула.

— Кокоро... Сердце... — сморщился Бака.

Он приложил руку к груди, всем своим видом изображая сердечную боль, что он сильно жалеет обиженную девочку. Круглая, закопченная у костра, физиономия с редкой седой бородкой вытянулось.

Бака вынул из-за пазухи ракушку, потер ее о сожженный рукав шинели и протянул Вале. Та перестала плакать. Она никогда прежде не видела ракушек.

Бака сделал ладонь горкой и приблизил к уху. Валя, следуя совету, прижала ракушку к уху.

Она услышала море.

Проходившие мимо солдаты поманили Баку печеньем, и он мгновенно забыл о девочке с ракушкой.

Так подарок хайларского дурачка оказался в нашей семье.

Десятилетия спустя я отдал ракушку одной девочке из нашего двора, когда она заболела и у нее поднялась температура. Целительное средство я передал ее красивой и рыжеволосой маме с подробной инструкцией по прослушиванию ракушки.

Теперь о монокуляре.

Этому оптическому прибору полвека. Его купил мой отец в магазине «Культтовары». Вывеска полуподвального магазина на улице Ленина так и писалась — с двумя «т». Понятно, товар культурного назначения, однако и культ тоже. Товар — культ.

Я спросил у мамы, что такое культ. Мама отослала с вопросом к папе. Отец подумал и сказал, что культ — что-то недостижимое.

Бинокль, несомненно, один из культов детства. Наряду с ниппельным мячом, кляссером для марок, складным ножичком, коньками «канады» и велосипедом «Орленок». Даже более культовый — недостижимый бинокль целиком принадлежал миру взрослых, в первую голову людям военным.

Мама говорила, что в своем детстве по наличию на груди футляра для бинокля узнавала офицера высокого ранга. Японские вояки, на-

воднившие в тридцатых годах маньчжурский город, творили зверства. Но люди с биноклями на них не отвлекались, сохраняя отрешенный вид. Наверное, орудуя штыком или саблей, боялись побить дорогие оптические стекла. Или заляпать культтовары кровью.

Да и мамин братик Мантык, со всех ног убежавший от японского дозора, высадившегося на берегу реки, запомнил бинокль. Он висел на груди офицера. Мантык мог поклясться, что командир разведотряда отлично видел его в бинокль и мог при желании подстрелить беглеца, да передумал...

О бинокле мне приходилось только мечтать. Даже не иметь, а хотя бы взглянуть в него краешком глаза — об этом помышлял каждый пацан во дворе.

Отец купил мне монокуляр восьмикратного увеличения. Это как бы распиленный надвое бинокль. Но стоил монокуляр вполне себе кратно — десять рублей с копейками.

В войну отец служил в артиллерии командиром взвода, навидался биноклей и, может, потому легко, не слыша ворчанья мамы, согласился на дорогую покупку сыну.

Ничего подобного! Играть в войнушку я монокуляр во двор не выносил. Детским умом понимал, что тогда оптике капут. Поэтому и сохранился монокуляр.

За полвека он испытал удары судьбы, падения, даже погружение в воду. Внук окунул голову с монокуляром в наполненную ванну, думая увидеть на дне морских звезд, глупыш. Внука наказали сидением в шифоньере. После месячного замутнения монокуляр снова увеличивал дальние предметы и людей. Но тайна пропала, как водой смыло.

К моменту покупки монокуляра мы из барака переехали в четырехэтажную благоустроенную хрущевку — одну из первых в городе. Она возвышалась над деревянным жилым оазисом. Мы жили на третьем этаже — с господствующих высот были видны все тайны околотка. Особенно в двухэтажном бараке напротив.

Я обманул папу. Маленький внук был честнее, чем я в бытность свою сопливым пионером. И сидением в темном шифоньере надо было наказать меня, хотя сейчас я бы вряд ли в нем поместился.

Внук хотел увидеть звезды на дне ванны. Я же сказал папе, что хочу смотреть на звезды в небе и стать космонавтом, как

Юрий Гагарин. На самом деле я жаждал познать не тайны мироздания — лишь одну тайну.

Во дворе мне нравилась девочка Аня. На первый взгляд, ничего такого: вздернутый носик, круглая мордашка, челка, жидкая косичка с не проглаженным бантом, острые коленки в царапинах. Аня имела привычку облизывать губы, они у нее были жгуче-красные, обветренные.

Аня жила вдвоем с мамой, на которую заглядывалась мужская половина двора — от старших пацанов до персонального пенсионера Кургузова. И что-то такое, судя по снисходительной, не по возрасту, усмешке, Аня знала. Знала недетскую тайну.

Два окна Анечкиной квартиры на втором этаже барака подслеповато-заискивающе смотрели — снизу вверх — на мое окно. Но это днем. Вечером горящие окна глядели вызывающе, скрывая за шторами секреты Версаля и Елисейского дворца.

Ерзая на подоконнике с монокуляром, я испытал жестокое разочарование. Окно комнаты, которая служила Ане и ее маме одновременно детской, будуаром и спальней, по вечерам наглухо зашторивалось. В окне же кухни ничего примечательного не происходило — казалось, я слышу запах прогорклого подсолнечного масла и керосина из примуса. Посекундные сеансы в виде не застегнутого халата Аниной мамы — рыжеволосой и длинноногой — ввергали в еще большее уныние.

Зато другие окна барака светились во всю ширь. Я наблюдал суету немых картин за стеклом, стараясь угадать желания движущихся фигурок.

Скользя монокуляром по желтым квадратам, я все чаще стал останавливаться на окнах, соседних с Аниной квартирой. Они-то были как на ладони. Вернее, меня привлекла ссора. Обычная, каковые каждый день случаются на тысячах кухонь и на десятках языков Советского Союза.

Здесь жили мужчина и женщина, детей я не видел ни разу. Хотя игрушки я засек оптикой — куклу и машинку. Игрушки были новые, не побитые в песочнице, уж в этом я знал толк. Другая странность заключалась в том, что мужчина и женщина спали раздельно. В одной двуспальной кровати, но как бы порознь, ну, вы понимаете, не маленькие... Перед сном мужчина вынимал изо рта съёмный протез и клал в стакан с водой,

женщина распускала волосы, протираала салфеткой лицо перед зеркалом. При этом они никогда не раздевались полностью: он оставался в пижаме, она в комбинании. Скукота! Ничего такого. Хотя, по логике, «чего такого» происходит в темноте. Только это вряд ли. Как-то за полночь пошел в туалет и, сонный, увидел желтое пятно в окне напротив. Сон пропал. Я схватил монокуляр. Свет из прихожей проникал в спальню. Однако никакого шевеления. Спокойной ночи, малыши!

Сперва муж, лысоватый, в полосатых пижамных штанах, и его жена, пухленькая, в бигудях и красном байковом халате, пили чай. Потом жена отодвинула стакан с чаем, встала, взяла детскую машинку ихватила еѹ супруга по башке. А игрушки тогда делали не пластмассовые — железные, тяжеленные. Игрушечным самосвалом она разбила нос мужу; он смешно воздевал руки, запрокидывая лысину и утирая платком кровь.

После ссоры мужчина из окон — кухни и спальни — исчез. Вместо него возник другой. Он был моложе и выше. Между женщиной и мужчиной тоже ничего такого не происходило. Поначалу. Потом началось...

День был будний, родители ушли на работу, никто не мешал моим наблюдениям. Гость снял телогрейку, остался в фартуке и больше часа возился на кухне с печкой — менял чугунную дверцу, что-то подмазывал глиной. За это время я успел сделать домашнее задание по географии — раскрасить контурные карты.

В окне напротив печь разожгли, в кухню повалил дым, но его быстро протянуло. Хозяйка, смеясь, махала руками, мастер скалился. Затем печник долго мыл руки у ракомойника, а хозяйка стояла рядом и держала полотенце.

Женщина преобразилась за время своего отсутствия в окне кухни, пока там работал мастер-печник. Она нарасила губы, надела капроновые чулки и туфли на каблуке. Зачем обувать дома туфли, да еще на каблуке, ума не приложу. Мама это делала только раз в году — вечером 31 декабря. Так то, елки, Новый год!

Молодой печник помыл руки и, улыбаясь, сел за стол. На столе стояла бутылка водки, стопки и тарелки с чем-то горячим, от них шел парок. Хозяйка подкладывала варево с печи. Смеха я не слышал, однако представлял радостное возбуждение на кухне.

После второй стопки участники застолья закурили.

После третьей стопки женщина вдруг села печнику на колени. Этого не ожидал ни я в своей квартире, ни гость в доме напротив.

Печник встал вместе с хозяйкой на руках, но не понес в другую комнату, а осторожно поставил на ноги возле рукомойника. Он потянул с вешалки телогрейку, надел ее, а женщина, наоборот, скинула красный халат. Я подкрутил резкость. Сквозь комбинацию просвечивал черный бюстгальтер. Хозяйка обхватила голыми руками шею печника и пиявкой присосалась к его губам.

Мастер-печник оттолкнул бесстыжую хозяйку. Ага, когда цель видна как на ладони, она теряет интерес. Это как в футболе. Можно дать каждой команде по мячу, чтобы не бились за него, как сумасшедшие, набивая шишки, но враз становится скучно... Почему – загадка. Да-да, должна быть загадка.

Женщина взяла со стола трешку (она зеленая) и швырнула. Мастер поднял с пола деньги. Женщина стала срывать с мужчины ватник, что-то крича. Печник опять ее оттолкнул. Она вцепилась ему пощечину. Гость с силой хлопнул дверью.

Я протер промокашкой линзу монокуляра. Нет, то пыль от штукатурки. Там, в окне.

Оставшись одна, женщина села за стол и выкурила две сигареты кряду: их в спешке забыл печник. Затем допила водку в бутылке, две стопки, не закусывая.

Решительно тряхнула волосами, встала, кухонным ножом обрезала бельевую веревку, наискось пересекавшую прихожую. Потом щелкнула пальцами, вспомнив о чем-то, принесла из спальни листок бумаги, ручку и что-то размашисто написала.

Она взяла зубную пасту с полочки над умывальником, открыла дверь и, скорее всего, приклеила пастой листок с обратной стороны двери, выходящей в общий коридор. Положив тубик на полку, набросила изнутри крючок. Приволокла табуретку на центр кухни, скинула туфли, встала на нее, закрепила веревку на потолке, сделала петлю. Двумя энергичными движениями по-хозяйски проверила крепость веревки...

Я зажмурился. Когда открыл глаз, женщина в задумчивости стояла на табурете с петлей на шее. Я постучал в стекло.

Она сняла петлю, сошла на пол, подняла с пола халат, встряхнула его. При этом из кармашка выпал предмет, но она этого не



заметила. Села за стол, подкрасила губы перед зеркальцем, подвела карандашом глаза, поправила прическу и чулки, надела халат и туфли.

Я облегченно вздохнул, решив, что страшное позади, как хозяйка, наведя марафет, опять полезла в петлю. Симатта, чертыхнулся я по-японски.

Стоять в туфлях на каблуках на эшафоте, должно быть, шатко; женщина смотрела под ноги, а может, раздумывала, как бы ловчее оттолкнуть табурет...

Я застучал в окно и заорал.

Она не могла слышать меня, но услышала. Что-то привлекло ее на полу. Женщина слезла с табурета и подняла... ракушку.

Я мог поклясться: это моя ракушка! Я навел резкость монокуляра и увидел, угадал характерный скол с краю — там раковина истончалась.

Я рванулся в прихожую. Зашнуровал кеды и задумался: куда бежать-то? Вернулся на исходную позицию на подоконник. Схватил дрожащей рукой монокуляр.

Женщина сидела за столом, прижав ракушку к уху. Тяжелая петля веревки, как живая, по-змеиному шевелилась над ее головой.

Симатта! Она слушала море.

Опять загадка! Как подарок хайларского дурачка очутился у совершенно незнакомой мне женщины? Местные сумасшедшие ходили без ракушек и прочих штучек для слабонервной публики. Я называл дурачков не «баками», а «бьяками». Этим суровым цельным натурам не до телячьих нежностей из реквизита театра кабуки: каждый божий день они решали вопрос выживания.

Дураки Улан-Удэ были подозрительно умны.

Если не возьмут в космонавты, говорил во дворе Витька Самолет, пойду в дураки. Витька был лентяем, двоечником, однако не олигофреном.

Наши баки-бьяки были заметно грамотней, чем их коллеги в других частях света. Климат не тот. Долго будешь думать — сопли заморозишь. Где бы еще вы могли увидеть дурака, читающего на лавке газету? Процесс чтения начинался с последней страницы. Там регулярно публиковались некрологи и соболезнования с

указанием места и времени выноса тела. На поминках дураков отменно поили и кормили. В детстве я завидовал дуракам. Честное пионерское! Их любили и угощали.

Когда я работал в «Правде Бурятии», в редакцию за пачками старых газет прибегал дурачок Дима. Их он относил на рынок в качестве оберточного материала, а торговцы давали ему мелочь и съестное. Витька Самолет говорил, что Дима служил в звании капитана то ли НКВД, то ли инквизиции. И во время допроса с пристрастием нечаянно выстрелил из табельного пистолета. Пуля срикошетила и попала в портрет вождя. На этой почве Дима шизанулся. Умный ход.

В конце дня, когда я сидел в редакции один, Дима с двумя пачками газет под мышками открыл ногой дверь и обернулся. Холодно-синие зрачки, оценивающий взгляд. Я поежился.

Дима молвил членораздельно:

— Помните, молодой человек: это не мы сошли с ума, это они сбесились. — Он небрежно мотнул подбородком в сторону площади Советов. — А вот вас они держат за дураков.

И был таков.

Наши дураки были сплошными талантами. Дима мог на морозном трамвайном окне одним мазком нарисовать портрет Ленина — сам видел! В Улановке с ее дощатыми тротуарами, где в черте оседлости росли сосны, сумасшедшие были наперечет — эстрадными знаменитостями пыльных улиц. И каждый невменяемый был вменяем в своем репертуаре.

Дима-особист, Адмирал, Примус, Гитлер-капут, Яша Су-трапьян, Ньюра-гадалка, Невеста, Оля-Низзя, Этот Идиот, Тот Идиот, Тот-Еще-Идиот, пара сумасшедших без прозвища... Будучи умными созданиями, они нарезали круги у Центрального колхозного рынка. Застоявшиеся под открытым небом торговцы встречали полоумных свистом и аплодисментами. Тут обоюдная выгода. Уличным артистам — кормежка, лавочникам — развлечение и завлечение покупателей. В отличие от единомышленников, Дима-особист вел себя на базаре тихо. Пожалуй, он был умнее других.

Дураком в чистом виде являлся лишь Негр Вася. Он не читал газет, не таскал их на рынок, а по-честному валял дурака. Единственный из цехового братства, Негр Вася не пытался из-

влечь прибыли из своей доли. Ну, какой дурак будет мазать рожу угольной сажей — аж глаза зыркали, как у шахтера-стахановца! — и выходить в таком виде к людям. Тут не только с похорон турнут, а и с базарного ряда погонят антисанитарной дворяжкой.

Словно в Миргороде, самая грандиозная лужа располагалась в центре Улан-Удэ на улице Кирова. Свиньи не купались в ней лишь по причине отсутствия свиней. Редкий пешеход мог птицей долететь до середины лужи — разве будучи навеселе. Лужа вспухала на глазах даже после однодневного дождя. О, эта лужа была достойна Адмирала!

Зимой и летом Адмирал на крейсерской скорости передвигался в кирзовых сапогах. Еще одна загадка. Дураки Улановки не боялись мороза — не понимали его, выражались местные. Чем-то — долговязой фигурой, что ли? — контуженный моряк напоминал боевого камрада Баку. Адмирал оправдывал высокое звание. В сапогах он забредал в приличную лужу (мелкой избегал, дабы не ронять чина) и, дождавшись скопления народа, зычным голосом отдавал команды типа: «Торпедные аппараты... то-овсь!» Чем не адмирал? Биноклия ему только не хватало.

Адмирала, как подобает, сопровождала свита — ревущие от восторга юнги, пацаны.

Так что я своими глазами видел, как Негр Вася снял ботинки и по фарватеру Адмирала протопал на середину Лужи, где начал плевать. Явный признак аналитического ума.

Плюя в воду, смотри на круги, плевками образуемые, иначе это будет пустое занятие. Эту глубоководную мысль, озарившую потемки лучших мозговых извилин человечества, без слов превратил в жизнь бывший троечник Вася. Именно по этому признаку выбрал слугу главный герой романа Дюма. Он приметил типа, философски плевавшего с моста. А Дюма не читал в детстве только полный идиот.

Созерцание плевков арапом, зашедшим в территориальные воды Адмирала, были истолкованы им как желание служить на флоте. Капитан флагмана решил расширить свиту за счет флигель-адъютанта. Адмирал, выше подчиненного на голову, склонился, зачерпнул из Лужи и провел ладонью по черномазой рожице: адъютант должен иметь подобающий вид.

Но отмыть Васю от Негра не получилось.

Негр Вася плюнул. Не в Лужу – в лицо Адмирала.

Адмирал не знал, что на момент вхождения в акваторию плюющийся уже служил слугой. В машинном отделении. В старой Улановке было много кочегарок. Там Негр Вася и обретался. Принести-подать, подмести пол, почистить топку, вынести шлак, а то и подменить на часок мающего с похмелья кочегара. Летом, когда на железную дверь котельной навешивали амбарный замок, дурачок ночевал на чердаке кочегарки. По внутреннему люку он спускался вниз за водой, иногда, когда сводило живот, брал в шкафчике оставленные с зимы лапшу и крупу. Об этом знали хозяева и не возражали. Знали, что Негр Вася лишнего не возьмет. Дурак же.

А главное, в котельных и не в отопительный сезон в изобилии имелась сажа. Ею Негр Вася мазал физиономию. «Глядь-ка, наш Патрис Лумумба опять в город наострился!» – ухмылялись кочегары. Лумумба, если кто не помнит, был революционным лидером Конго, героем Заира, замученным бледнолицыми колонизаторами при пособничестве лиц одного с Патрисом цвета кожи. И рожи.

Кочегары плохо знали политическую историю, что им простительно. Негра Васю следовало звать Чомбе – именем предателя.

Когда-то Негр Вася был просто Васей. Одно время он учился в нашей школе классом младше меня. Ничем выдающимся не отличался, был тих на переменах. Я б его не запомнил – все, кто младше, по определению в пору отрочества не интересны, – но Вася походил на бегемотика. Толстый, щекастый, ляжкастый. Пионерский галстук вечно в жирных пятнах. Таких дразнят жиртрестами.

К началу пубертатного цикла одноклассники устали дразнить Васю. Оставили в покое. Так постановил первый силач класса Петька Дубеев по кличке Петлюра. Раз в неделю Вася тайком совал в парту Петлюры банку сгущенки.

Вася был троечником – не лез на рожон. Правда, забывшись, подчас изумлял учителей ответами у доски. Математичка Полина Сократовна обыскала толстяка-хитреца в поисках шпаргал-

ки. Вася хихикал от щекотки, но так и не сознался, что при желании мог бы учиться на пятерки. Просто не хотел выделяться. Выделяться значит стать объектом новых насмешек. Спасибо, сыт по горло дразнилками что жесткими буфетскими коржиками. Не лезть на рожон – так учила Васю мама. Она работала в торговой сети, боялась ОБХСС, воспитывала сына одна, души в нем не чаяла. А сыночек чаял сдобу и сгущенное молоко.

О способностях Васи к учению я догадался лишь по прошествии лет: шизиками почему-то чаще становятся люди одаренные.

Школа наша была специализированная, с английским уклоном. Это нынче таких уклонов полно, а тогда это была единственная спецшкола в республике. Бэзил, как именovala Васю англичанка Нелли Иннокентьевна, и по «инглишу» шпрехал на тройку, но однажды был уличен в чтении романа А. Дж. Крони-на «Цитадель» («The Citadel» by Archibald Joseph Cronin) в подлиннике. Из чего можно заключить, что Бэзил был дураком не всегда. Но спецшколу так и не закончил, потому что новая дразнилка, как ни старался Вася, таки прилипла к нему, как муха к сгущенке. И столь же черная.

Спектакль «Отелло», на который солистка театра оперы и балета Валентина Мантосова провела в амфитеатр учеников шестого класса, вряд ли повлиял на решение Негра Васи стать мавром и задушить в себе разум. Тут иное разумение.

Когда я был в седьмом классе, в школе появилась необычная девочка. Необычная не только в стенах нашей школы. Тогда негров, как неполиткорректно называли представителей африканской расы советские люди, за Уралом и за Байкалом видели только в кинохронике «За рубежом» перед началом дневных сеансов, на плакатах против апартеида и солидарности с борющейся Африкой – там, где мускулистый, черный, как вакса, раб разрывает цепи и душит анаконду колониализма; да в кошмарном сне.

Ее звали Мария-Луиза. Об этом объявила классная руководительница, представляя новую ученицу. Новенькая попала в Васин класс. Наверное, она была не столь черна, как это с испуга казалось в школе. У Маши-Уголька, как ее с ходу обозвали одноклассники, были волосы смоляного барашка, розовые ладош-

ки-ноготки и пухленькие, розовые же, губки. Личико, понятно, цвета классной доски. Маша-Уголек не обижалась на прозвище. Сейчас бы она считалась мулаткой-красоткой, звездой дискотек и танцпола, но тогда высокий статус Маши засек лишь троечник-хамелеон с четвертой парты у окна, не хватавший звезд с неба.

Каким течением Западного Нила, каким суховеем Сахары занесло в сибирскую глушь дитя африканской саванны? Воздушно-капельным путем, передаваемым при поцелуе. Мир-дружба. До полного слияния. Год рождения Маши-Уголька даже пятиклашкам объяснял все – 1958. Годом ранее в Москве состоялся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. А мама Маши-Уголька числилась студенткой столичного вуза. Родом с наших мест, вовсе не уголек. Крутой замес. Однако густая, как реки Нил ил, кровь биологического папаши взяла верх. Таких разноцветных детишек образца 1958 года в СССР называли «детьми фестиваля». Пофестивалил и бросил.

Первую неделю после появления новой ученицы школа была поставлена на уши. А на ушах далеко не уйдешь. Ветераны педагогического труда с удивлением отмечали, что сопленосые школяры перестали носиться по коридорам. Маше не давали проходу. На большой перемене случался затор. «Расходитесь, что вам тут, кунсткамера?!» – кричал историк по кличке Католик.

Возможно, экспонат кунсткамеры краснел, но это было трудно заметить.

Удивительнее другое. Обзывать Машу мартышкой, грязнушкой и прочими черными словечками шпане из начальных классов запретил... Петлюра. А с Петлюрой здоровались за руку даже старшеклассники. Ослушников выдавали красные, краснее пионерского галстука, уши. Не ходите, дети, в Африку гулять.

Маша сидела за партой одна.

Зато перед уроком русского языка Маша обнаружила в глубине своей парты шоколадку «Москва». Ей бы молча сунуть презент в ранец, но Мария-Луиза спросила, чья пропажа.

Петлюра крикнул с «комушки» – задней парты, именуемой по названию самого дальнего района Улан-Удэ, – что шоколадка его. (Петр, ставший во взрослой жизни криминальным авторитетом, эту историю и рассказал. Был застрелен из пистолета

«ТТ» в 90-е, но успел рассказать. Мучила его история Маши-Уголька, что ли? Петьку-то.) Петлюра мало походил на кавалера: он вырвал шоколадку из Машинах рук и там же, на «комушке», слопал.

Жиртрест Вася стал худеть. Трест грозил лопнуть. Поставки сгущенного молока законсервировались. Однако гуманитарная помощь страдающей Африке продукцией фабрики им. Бабаева продолжилась.

Находя очередной какао-гостинец, Мария-Луиза вытягивала шоколадное личико, хлопала ресницами, вращая синевато-белыми зрачками огромных глаз, делала пончиком розовые губки, ослепляя ожерельем зубов. Наконец, несмело смела посылку в портфель.

Петлюре эта жаркая африканская страсть надоела. От нее таили шоколадки и сгущались банки сгущенки.

– Эй, Отелло! – заорал Петька. Вася распластался по парте. – Васька, это же мой шоколад! Эй, скажи!

Вася залез под парту. Оттуда герой-подпольщик отважно пробубнил:

– Я никому ничего не передавал.

– Врешь, мне, мне передавал! Ты мне и так должен, жирдяй!

В сладком послании не было намека на цвет кожи. Был толстый, как Вася, намек на тонкую материю. Двоечник решил задачу с одним неизвестным. Нюх у Петлюры был как у молодого льва.

Дело было после уроков. Хищник залег у тропы на водопой, проторенной антилопой-гну и толстым бегемотиком. Петлюра встал у дверей и объявил заседание товарищеского суда открытым.

– Вот. – Поднял шоколадку над головой Петька. – Поймал воровку с поличным. Так ты воровка, Уголек?

– Неправда... – прошептала Маша-Уголек, кусая розовые пухлые губки. – Я не вор...

Все-таки она покраснела, даже сквозь африканскую кожу. Стала еще темнее. И красивее, вспоминал много лет спустя Петр, недаром этот бегемот в нее втюрился.

– Воровка! – закричал правдоискатель. – Чужое ворует. Это мой шоколад.

- Нет. – Маша-Уголек встала из-за парты. Очи пантеры сверкали. – Он мне сам подарил.

И ткнула розовым ноготком в Васю. Троечник на четвертой парте у окна заколыхался студнем.

- Да у них роман! – прогнусавил кто-то из свиты первого силача.

- Они поженятся в джунглях и будут жить на баобабе! – захихикал другой.

- У них будут детки в черно-розовую крапинку! – восторженно выкрикнул третий.

В классе поднялся шум. Девочки потянулись к двери. Петлюра заложил ее шваброй.

- А ты че молчишь, Отелло? – обгрызенным ногтем Петька указал на Васю. – Эй, влюбленный трубочист! Учти, ты мне и так задолжал две банки... Скажи, пингвин, что это моя шоколадка, ты мне обещал.

Вася, не вставая из-за парты, глухо отозвался:

- Врет она все.

- Что и требовалось доказать, – ощерился Петлюра.

- Воровка! Черная воровка!

На задних партах принялись стучать кулаками а-ля дедушка Хрущев о трибуну ООН.

Маша-Уголек заплакала.

Петька отшвырнул швабру. Но девочки застыли у распахнутых дверей в нерешительности.

Под грохот людоедских там-тамов, вой гиен и хохот шакалов Маша-Уголек убежала из класса. Вслед ей несло: «Черная воровка!»

Если прежде на чернокожую девчонку тупо пялились, то после товарищеского суда стали сторониться и шипеть в спину разные словечки. Вспомнили, не поленились полное имя. Самыми безобидными были: «Луишка-воришка!», «Машка-какашка!» В обоих случаях имелся ввиду шоколадный оттенок.

Мария-Луиза неделю не ходила в школу. Сообщили, что болен гриппом. Какой там грипп! Малярия, лихорадка Денге, муха це-це.

После второй четверти посреди зимы Маша-Уголек ушла из школы, улетела в теплые края. И вправду, холодно ей тут было... Оказалось, уехала с мамой в Москву.



Но и Вася в спецшколе не задержался. Перевелся в обычную десятилетку после того, как стало известно единственное и последнее письмо Марии-Луизы влюбленному бегемоту. Его выдавили розовым ноготком на серебристой обертке от шоколада. Шелестя ею, послание зачитал Петька-Петлюра:

«Негр Вася».

И точка. Ни выдавленной буквой больше. Задача с одним неизвестным. Причем тут негр? Васина рожица скорее напоминала сдобную булочку со сливочном помадкой за десять копеек из школьного буфета. Африкой там и не пахло. Возможно, предположила отличница Юля Резникова, подразумевалась черная краска предательства.

Дальнейшие следы Васи - Негра Васи - теряются в саванне времени где-то в излучине Замбези. Не ходите, дети, в Африку гулять.

Спустя годы я с трудом узнал в местном дурачке любителя сдобы Васю. А ведь сто раз проходил на улице мимо. Негр Вася отощал, напялил шкуру дохлого леопарда, отпустил курчавую бородку папуаса. Ну и почернел, само собой.

Я бы ни в жисть не узнал – Петлюра показал. И окликнул городского сумасшедшего, методом тыка изучавшего таблицу Менделеева в уличной урне.

- Эй, Вася. Помнишь меня? Это я – Петька.

Негр Вася и ухом не повел, ковыряя палкой в урне.

- Эгей, это я, не бойся, шизик, это ж я Петлюра, ну? Петлюра! – проорал в ухо бывший одноклассник.

Дурачок бросил палку в школьного товарища, плюнул, всплеснул руками – черными, как личико, и захныкал, размазывая по щекам угольную сажу. Физиономия скукожилась и стала полосатой, как у коммандос в засаде. Нет, как у клоуна в гримерке.

Вася залопотал, приседая и хлопая себя по бокам, что утка крыльями:

- Нету сгущенки, нету... отдам шоколадом, чес-пионерское... потом, потом отдам, щас нету...

Петька дал полоумному троечнику, спятившему на круглую «пятерку», сотенную. Негр Вася тщательно сложил купюру уголком и спрятал ее за щеку. Карманов у блаженного не было. И боты дырявые.

Я забыл про Негра Васю на пару зим, но по весне чумазого идиота забрал патрульный милиционер, которого перевели в Улановку из сельского района. Я ходил в ОВД писать заявление о краже на даче и, пока писал, услышал разговор в дежурке: заметили гражданина за непристойный вид. Рожа-то зверская, чисто африканская! – со смехом вскричал сержант с красными глазами. Утром старшой новой смены, знавший в городе всех собак и дураков, выпустил нарушителя. И даже поделился с ним домашним бутербродом.

Но возникла заминка. Задержанный отказался покидать стены милиции. Ну не дурак ли? Хотя этому негритосу в «обезьяннике» самое место.

- Прикинь! – захлебывался от смеха сержант. – Он предлагал взятку, шоб остаться. Какую-то сгущенку и шоколадку, шоб я сдох!

Пришлось сержанту вытащить нарушителя за шкуру и на крыльце дать коленом под зад. Обретя свободу, неблагодарный не успокоился, опять завопил про шоколадку...

Заслушавшись, я сделал ошибку в заявлении и скомкал бумагу. Эту историю надо писать с чистого листа. Спустя четверть века троечник Вася продолжал сидеть за партой – третий ряд, четвертая у окна – в шестом классе спецшколы с дурацким уклоном. Сидел, изо всех сил вжимаясь в парту. Чтобы влезть в ракушку.

«Аня! Не входи! Здесь я вишу». Эту записку Аня сорвала вовремя, оставив на двери пятно от зубной пасты. И тотчас показала записку маме.

Мама, высокая и сильная, выбила дверь плечом. И застала соседку отнюдь не висящей, а сидящей.

Хозяйка слушала ракушку и улыбалась. Мама Ани подумала, что соседка сошла с ума. Не худший вариант в этом мире.

Потом Аня рассказала мне все, что подслушала из разговоров матери с подругой. В барачной клетушке бушевали шекспировские страсти. И телячьи нежности.

У объекта моего наблюдения не было детей. Аня входила к соседке без стука и часто видела ее плачущей. Несчастливая подружилась с девчонкой, живущей через стенку. Соседка обвиняла в отсутствии детей сожителя. Выгнав его, женщина принялась

водить к себе мужчин. Это Аня знала и без мамы, знал весь барак. Ничего путного из этого хождения не вышло. Вышло наружу еще больше слез.

И Аня дала соседке ракушку. Мою ракушку! Она сказала взрослой подруге, что под ракушку надо загадать желание. Этого я девчонке не говорил — сама присочинила. Вруша во дворе известная.

Ракушку, подаренную хайларским дурачком Бакой, Аня мне так и не вернула, хотя давным-давно, еще в прошлом веке, выздоровела. А соседка, не моргнув глазом, заявила Ане, что ракушка куда-то запропастилась. Называя вещи своими именами, бессовестным образом присвоила. А еще взрослая женщина. И спешно съехала. Вышла замуж за вдовца, который в одиночку воспитывал дочку, сообщила Анина мама.

Плеск волн у острова Хонсю теперь слушала в ракушке другая девочка.

Бог в помощь, сказала на это мама. Моя мама.

После случая восьмикратного увеличения в окне напротив я перестал звать городских сумасшедших бьяками. Пусть будут просто дураками. Ничего обидного. «Дурак», толкуют ученые филологи, вырос из понятия «другой». Вырос как итог работы над собой. Бака был другим. Душевнобольным, кем еще? У него болела душа.

Они другие. И без монокуляра видно. У дураков, как у улиток, нет пола, своим панцирем — ракушкой сумасшествия — они защищаются от жестокостей и войн.

Чтобы сойти с ума, надо иметь его, ум.

...А новую ракушку я привез с Черного моря, когда отдыхал в пионерлагере «Орленок». Не очень далеко от тех мест, где мама отбывала ссылку вместе с другими неблагонадежными лицами с КВЖД. Я видел Черное море глазами мамы. Оно не черное.

Будем считать, что черноморская ракушка — из Хайлара.

Чемодан — большая ракушка. В бликах уличных фонарей, шелесте сухих листьев и шуршанье волн я наблюдаю историю чемодана из Хайлара с обратной стороны монокуляра. При восьмикратном уменьшении, в колодце мутноватой оптики, обратившись человеком-амфибией, засекаю сквозь толщу вод морские звезды, бревно-топлек, стайки рыб и фигурки людей: они барахтаются среди коралловых рифов Атлантиды, плавно

шевелият плавниками и руками; босой мальчик зазывно машет пучком морковки; маленькие люди по-рыбьи открывают рты, однако я их не слышу, угадывая слова по памяти. Я хочу успокоить человечков, крикнуть в ответ, что все пройдет, но из горла вырывается ржавый примусовый сип.

Мы обречены носить коросту воспоминаний, как улитка — домик. Сковырнуть можно лишь с кровью. Я прикладываю ракушку к седому виску и слышу море. Потом, закрыв глаза, вижу его...

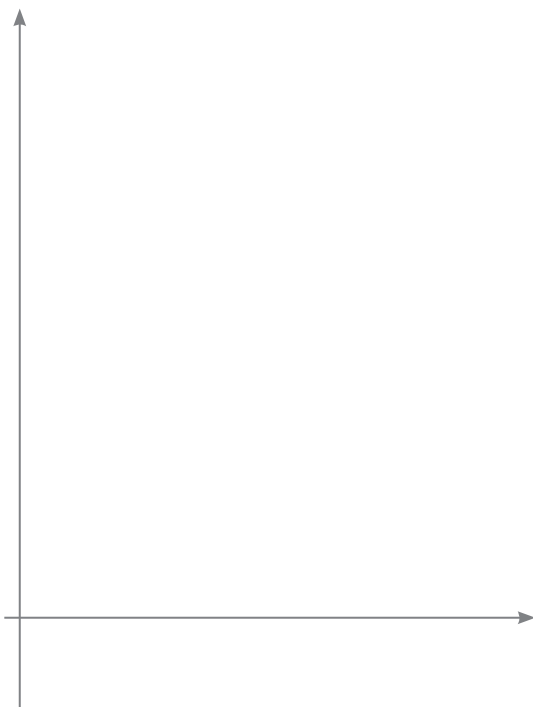
Пенная полоска, искрясь, режет лазоревую мякоть.

И без монокуляра видно. Я давно подозревал, что море — это опрокинутое небо.

2017

# УБИТЬ ВРЕМЯ

*Записки пожилого мальчика*





*Я ребенком из отчего дома ушел,  
Воротился уже стариком...  
Милой родины говор звучит, как тогда,  
У меня ж на висках седина.  
И соседские дети глядят на меня –  
Нет, они не знакомы со мной –  
И смеются и просят,  
чтоб гость им сказал,  
Из каких он приехал краев.*

*Хэ Чжи-чжан. Династия Тан. 7 в. н.э.*

**К** двадцать первой минуте счет не был открыт. Ноздри щекотала казенная пыль, до меня доносился слабый шум трибун, приливы-отливы человеческих страстей и бормотанье футбольного комментатора, – иногда он возбужденно вскрикивал, и тогда можно было уловить отдельные фразы. Например, что на двадцать первой минуте счет так и не был открыт: защитники создали искусственное положение «вне игры». Я понял, что это отборочный матч с французами – о нем взахлеб спорили днем в пивнушке у вокзала. Я лежал смирно, старался ни о чем не думать, чтобы ненароком не сойти с ума, и, по возможности, следить за ходом матча. Я давно приметил: футбол, он как-то отвлекает. А в моем положении главное – убить время.

Я закрыл глаза и увидел небольшой красный телевизор у зарешеченного окна дежурной части, зевающего сержанта с пакетом кефира в руке (если он его еще не выпил), обшарпанные стены, огромный, почти в человеческий рост, сейф, горшок с засохшим цветком на подоконнике, набитый окурками и спитой чайной заваркой, протекающий кран и побитую, с черными плешинками, железную раковину в углу.

Ноги упирались в чью-то спину, я поневоле поджимал их, шевеля пальцами. Хотелось курить, я подосадовал, что вместе со шнурками, ремнем, бритвой, зубной щеткой и галстуком забрали и сигареты. Я постарался не думать и об этом. Заныли отбитые ребра. Сосед вдруг отчетливо сказал: «Моя очередь, моя!», и захрапел снова. За дверью раздались телефонные звонки и голоса, стук и кашель, пол мелко завибрировал.

Я решил заснуть, плюнув на футбольные перипетии, но из этого долгое время ничего не выходило. Все-таки туфли были не лучшей подушкой.

Был конец недели и лучшие места разобрали с вечера. Дело дрянь. Нашим не пройти отборочный цикл. Об этом накануне матча сообщил сержант, проводив по узкому, как в купейном вагоне, коридору. Не доходя до железной двери, вымазанной зеленой краской, мне велели повернуться лицом к стене. Громко зевая, сержант заученно поелозил ключом и с оглушительным скрипом отворил дверь, отомкнул наручники и мягко, по-дружески подтолкнул в спину.

Желтый клин скользнул по безглазым лицам, затылок похолодило, дверь захлопнулась – я ослеп и задохнулся. Лучик, падавший из дверного глазка, пропал. Я стоял перед черной стеной, сложенной из кирпичиков смрада, стонов, храпа, невнятицы слов и обливался потом. В высоком, словно бойница, окне оловом наливалась августовская ночь, порезанная на равные квадраты.

Я чуть не наступил на что-то мягкое. Люди лежали вповалку у самых ног – они сильно устали за день, для многих он прошел в борьбе.

Обвыкнув в темноте, я скинул туфли; помедлив, снял пиджак, купленный еще женой, постелил его на влажный цементный пол, убрал чью-то руку, вялую, безжизненную, и лег, чуть не вскрикнув, – боль прострелила плечо. Из-под двери вытекала струйка свежего воздуха, я повернулся на правый бок, как учили в детстве, уперся коленом в плитус, сунул туфли под щеку и припал к источнику. Игра началась.

Игра на выезде всегда труднее, чем в домашних стенах. Знающие люди сказали: мое дело табак.

## ДЕЛО ТАБАК

Пацаном я тонул. Тонул – сам не верил себе. День был жаркий, воскресный, по радио передавали, двадцать градусов в тени. Оглушенное полуденной духотой, все население нашего городка, зажатого в долине выгоревшими бурными сопками, сбежалось к реке, что



зверье на водопой. Местные красавицы в самошвейных ситцевых бикини, тонконогие уроды с необъятными трусами и животами, загоревшие до черноты короли пляжа в одинаковых нейлоновых плавках – их завезли в промторг восемнадцать штук на весь город; некто в ватнике на голое тело с авоськой пустых бутылок, гогочущая, в сизых наколках, шпана, тазы с горками синеватого белья, рваные газеты, цветастые одеяла, смятые бумажные стаканчики, шлепки по воде, визг, лай, песня про черного кота... Груда тел вдоль дамбы, разбухшее сырое тесто вязкой плоти, лошадь у бочки с квасом, лакающие из реки собаки – каждой твари по паре, и я, проплывающий мимо них дурак, до которого никому нет дела.

Какашкой меня тащило вниз по реке – туда, за баржу, куда отчаянные пловцы, даже дядя Рома, служивший во флоте, заплывали только на спор, и только на бутылку портвейна. Я слышал, как у дамбы копёр монотонно и басовито – тум-м! тум-м! тум-м! – забивает сваи под стадион общества «Динамо».

Известное дело, какашки не тонут, но и к берегу не пристают. Я никогда не выйду на зеленое поле стадиона в новенькой динамовской форме – белая футболка с ромбиком, синие трусы с белой полосой – ее обещали лучшим, и в поле, и в школе, тем, чьи дневники без записей о плохом поведении, и не исчерканы красным, что боковой флажок, карандашом. Школьные дневники тренер Михаил Васильевич проверял перед объявлением основного состава. Какашки не играют в нападения. А надо было слушаться старших.

Не заплывать за буйки!

Даже под взглядами девчонок из параллельного класса.

Течение реки, мощное, упругое, холодящее ноги, уносило меня прочь от людей. Они еще жили, загорали, брызгались водой, играли мячом и в карты, крутили любовь на полную катушку, а я... я – всё, капут, кранты, каюк, кирдык, кажется, отыгрался.

Дело табак, изрекал на лавочке дядя Рома, слушая под окнами нашего барака женские крики и грохот посуды. Дяде Роме дома курить запрещали, потому что он забивал в трубку вонючий флотский табачок. И дядя Рома торчал на скамейке у барака. Играл в домино, раздавал советы, решал споры, банковал, втихую выпивал, глядел вслед незамужним женщинам, короче, прожигал жизнь. А еще слушал концерт по заявкам – так он называл семейные скандалы в конце недели или после получки. При первых звуках домашних разборок

дядя Рома крутил квадратной, как у медведя, башкой с седоватым ежиком, пучил красные, как у карася, глаза, жмурился от притворного страха и поглаживал желтоватые от никотина усы – на руке синел якорь. И гулко выбивал о дощатый столик табак из наборной плеглиглассовой трубки. Этими охристыми кляксами был заляпан весь столик, на что ворчали игроки в домино.

Насмеявшись, дядя Рома долго кашлял прежде, чем выдать коронную фразу:

«Жисть это вам, бляха муха, это вам не это... ясно, шпана?»

Ясно море, дядя Рома.

Какое-то время я держался на плаву, вяло шевелил конечностями, но солнце уж меркло, звуки гасли, в голове стоял гул, в глазах – желтые кольца... Ужас и стыд запечатали рот. Был упущен момент, когда доставало сил и решимости крикнуть “Караул!”, “Помогите!” – а что еще кричат в таких случаях? Закавыка в том, что могли не поверить и поднять на смех. Пацаны, я в том числе, частенько развлекались подобным манером в воде – с юмором у нас по молодости лет было неважно. Срежь бела дня, двадцать градусов в тени – и такие шуточки. Теперь тони тут!.. Глупейшее занятие. Хотя еще мог молотить руками по воде, пускать пузыри, вроде бы жить. Вода, кстати, была горькой, и как ее собаки прямо из реки пьют? – я вытолкнул неуместную мысль из легких с криком “А-а-а!”. Крик получился слабым, д е т с к и м, но был услышан. Ко мне приблизилось большое лицо с облупившимся носом, а в ушах золотые сережки, значит, ж е н с к о е, я улыбнулся ему – оно возмущенно фыркнуло и исчезло.

Дело табак.

Наконец-то до меня дошел смысл загадочной фразы дяди Ромы. Вот кабы не курил с пацанами за сараями, то мог бы с чистыми легкими и чистой совестью доплыть до берега. Доплыть до жизни, где залежи вафельного мороженого. Курить вредно. Словно свайным копром в глупую башку, торчащую над водой сдувшимся футбольным мячом, вбивались простые истины. Поздно. Тушите свет. Детское время вышло.

Я то и дело ложился на спину, запрокидывал голову, но силы утекали с нарастающим шумом в ушах и болью в груди. Собственно, мне уже было все равно.

И, подняв голову из последних сил, я оглядел в тоске жгуче-зеленые, дрожащие в мареве, заросли на левом берегу – прибежище всех

влюбленных нашего города, они были еще прекраснее; ивы, склонившиеся к воде, длинными, как языки, листьями, пили, иссушенные обжигающей тайной, которую скрывали их ветви; возбужденные, они ласкали сотнями языков прохладное тело реки, а она точно сошла с ума... Не отводя глаз от разящих мозг снопов солнца, я сказал то, что хотело мое тело. И, откашлявшись, повторил уже спокойнее, глядя в белые клочковатые облака. Я сказал:

– Боженька, миленький мой, спаси, я еще не любил!

И сей же миг встал, как вкопанный, посреди реки, раздвигая острыми коленками ее длинные мускулистые ноги, плача, смеясь, сморкаясь, – меня рвало прямо в воду, в пенящиеся у коленок бурунчики. Река с ревом сорвала с меня трусы. И так я стоял в центре необъятной гладди, не видя берегов, обнаженный избраннык, ощущая твердь и счастье обладания. Мимо, накатив волну, пролетела моторная лодка, осыпая брызгами и капельками смеха. Я любил этих людей и эту реку. Я мог пройти по ней пешком от берега до берега, все моря и океаны.

Меня снял спасательный катер, и там, в катере, получив первую осведомскую помощь в виде увесистой оплеухи, узнал, что родился в рубашке: течение вынесло меня на песчаную отмель, на косу, узкую, в пять шагов, туда, где в реку впадал ее правый приток. Но я-то уже знал, что дети в рубашках не рождаются.

Дуракам и какашкам закон не писан. Урок не зарок. Я шел по жизни, дымя, как паровоз. И теперь этот паровоз стоит на постаменте у входа в локомотиво-вагоноремонтный завод, куда нас водили на экскурсию пионерами. Обжигающе стылый паровоз, что покойник, – я трогал дядю Рому на похоронах. Он был тверд, как железо.

Отбегался по рельсам. Попал в положение вне игры. Или вне жизни.

Так, не разменяв полтинника, я загремел в отделении кардиологии. Хотя лежал для профилактики, по выражению знакомого врача. Все койки в палате были забиты под завязку. Из-за нехватки мест сильный пол валялся в коридорах. Было немного стыдно. Получалось, занимал место какого-нибудь болезного. Сосед маялся аритмией сердца, а через койку лежал мой ровесник после обширного инфаркта и всем охотно о том рассказывал.

«Слышь, чувак, тряхнуло меня капитально! – разорялся в коридоре, по настенному телефону, этот мужик. – Грят, блин, обширный! Инфаркт-то!»

Он как будто гордился своим диагнозом.

По жизни лежал я в хирургии, легочной хирургии, терапии, инфекционке, наркологии, в ЛОР-отделении еще в детстве по поводу вырезанных гланд, даже в военном госпитале, но более жизнерадостных людей, чем сердечники, не встречал. В кардиологии в основном парились мужики в расцвете лет, типа меня. И говорили мы о женщинах. И стар, и млад. Не потому, что были морально испорченными, сообразил я позже, а потому что, чудом выкарабкавшись из лап смерти в реанимации, радовались жизни.

Женщины это жизнь. Да и кто бы спорил?

Говорили мы также о водке, о футболе, ругали политику, вспоминали армию, но тему курения вежливо обходили стороной. Наверное, хотели курить, но до смерти боялись. Вот-вот, до смерти.

Один, радостный такой, приходил из соседней палаты, и уже в который раз сообщал, что его привезли на «скорой» с верхним давлением в двести двадцать. Давление ему сбили. До такой степени, что он завел роман с раздатчицей столовой отделения урологии. Они часто уединялись на черной лестнице и курили. То есть курила она, а он слушал про несчастную долю матери-одиночки и, так как руки у него были свободны от сигареты, успокаивал собеседницу, нежно поглаживая по спине и ниже, много ниже, о чем нам в подробностях докладывал с горящими глазами однопалатник, старшеклассник с врожденным пороком сердца.

Курил пассивно, но крутил активно. Любовь-то.

За романом пациента и работницы кухни, ее поступательным движением по лестнице страсти, затаив дыхание, следили со всех десяти коек нашей палаты. За окном чернела зима, рисуя узоры на холодном стекле, от окна, из-под белых лент больничного пластыря на раме поддувало, но от свежих сводок с любовного фронта становилось теплее... И, верилось, отступит загрудинная боль и наступит весна. И тебя, немолодого, болезного, полюбит работница общепита. Прижмет к груди, большой, белой, теплой, распаренной над кастрюлями.

Оживился даже старик с койки у двери:

- Кха... Того самое... А вот, паря, было дело в конце войны, в Польше, определили нас на постой к одной панночке... ну и того самое...

Бывалые ловеласы давали обкуренному от страсти гипертоник-сердцееду дельные советы, а завсегдатаи подсказывали укромные места в огромном здании больницы скорой помощи.

И – свершилось. Взаимоотношения на черной лестнице перемахнули через несколько ступенек. От пассивной стадии на этаж интенсивной терапии. После ужина в палату, пованивая табачным дымком, влетел наш пассивный кавалер, прикрыл дверь и, озираясь, прошипел:

– Быс-с-стро, мужики!.. У кого есть одежда?!

Выяснилось, Ирка соглашается. И предлагает ехать к ней домой: сына на зимние каникулы отвезли в деревню. План влюбленных был таков. Раздобыть одежду, переночевать, а утром, до врачебного обхода, работница кухни проведет пациента-нарушителя обратно в палату. Через служебный вход той же черной лестницей.

Собирали счастливчика всей палатой. У влюбленного гипертоника был нестандартный размер ноги. Подошли разношенные матерчатые ботики ветерана войны фасона «прощай, молодость». Старик чуть не прослезился от радости. Мой вклад в любовную интригу выражался в индийском мохеровом шарфе «Nahar». Изготовлено специально для нахалов. Было немножко жаль модной в ту пору вещицы, ворсистой и форсистой, ее носили золоченой биркой наружу, а вдруг прожгут мохер сигаретой, но что не сделаешь ради запретного плода? Тем паче, что сгорающий от страсти гипертоник обещал все рассказать. В деталях.

Парнишка с врожденным пороком сердца вышел в коридор – встал на стрёме. Потом начал канючить у постовой сестры сладкую витаминку – отвлекал внимание. Деловой пацан вышел.

И вот у самых дверей, повязав шарф, пассивный сердцеед на наших глазах стал медленно оседать...

Забегали медсестры, пришел дежурный врач. Так, в шарфике производства Индии (Nahar, Neckutor collection, Mohair, dry clean only) нахала-гипертоника на кровати-каталке укатали в конец коридора, в реанимацию. Укатали сивку горки страсти. Видать, переволновался, сердешный. Спекся у ворот рая.

Украдкой плакала в коридоре работница кухни.

Утром состоялся разбор полетов. Черная лестница оказалась клеткой. Лестничной, но клеткой. Врач, шелестя длинной лентой кардиограммы, ворвался в палату: обширный инфаркт у наблюдаемого больного случился из-за нарушений режима. А именно, из-за курения. самого злостного его вида – пассивного курения.

– Я скорее разрешу вам сто грамм, чем сигарету! Больные придурки!.. Выпишу без бюллетеня!.. Всех! – орал кардиолог. Лента кардиограммы мешала ему махать руками.

Лицо врача, не первой молодости мужчины, побагровело, халат не застегивался на животе.

Доктор присел на койку, сунул в рот таблетку. Руки с кружками и стаканами виновато потянулись к лечащему врачу.

Кардиолог взял кружку с водой, зачем-то понюхал содержимое и запил таблетку.

Жизнь это вам, бляха муха, не это самое. Да и кто бы спорил?

*У противоположной стены завозились, замычали. Я открыл глаза: в окне появились звезды, они не мигали, их будто вырезали из жести, которой была обита дверь. Боль в плече тоже проснулась и отдавала под лопатку.*

*Где-то в ночи, позвякивая незакрепленным бортом, промчался грузовичок, по потолку побежали рваные тени, преломились в углу и исчезли; тонко и незлобиво гавкнула собака. Сосед начал икать. Мне захотелось его ударить. Где-то шел футбол, а еще где-нибудь – теплый дождь, это уж наверняка. И туфли без шнурков. Когда я был маленьким, то часто болел – скарлатиной, корью, свинкой ли, – не помню. Помню просторную комнату, в которой не было ни окон, ни дверей, ни потолка, ни пола; и тебя будто качает в этом сероватом душноватом облаке, и мне ни плохо, ни хорошо, а просто одиноко. И туфли без шнурков.*

*За дверью телевизор врубил на полную громкость: забубнил комментатор, засмеялся сержант. Ошибки быть не могло. Наши открыли счет. Мне захотелось крикнуть в дверную щель, поздравить сержанта, вроде того. Впрочем, если бы счет открыли французы, я тоже был бы рад. Какая разница, кто побеждает на этот раз? Когда шел весной по центральной площади нашего городка, то так и сказал одному из тех, кто размахивал флагом. Народу была уйма. Галдели, как на стадионе, орал в мегафоны, обнимались, будто сравнивали счет, поднимали два пальца вверх в знак неминуемой победы и никто никого не слушал. Мы сцепились, то есть я – то хотел убежать, но тот, с флагом, схватил меня за рукав – треснул шов, и крикнул, что из-за таких, как я, гибнет страна. Я сказал, что просто мне некогда, в этом дело. Тот, с безумными глазами, попытался дать мне подсечку, но я перехватил его руку и мы упали на стылый асфальт, накрывшись флагом, как одеялом. И, главное, сказал – то правду*

– мне и в самом деле было некогда, я спешил за пивом. Я даже не запомнил, какого цвета был ихний флаг.

Дежурный милиционер за дверью приглушил телевизор, засвистел нечто легкомысленное и стал мыть тарелку в раковине – я слышал звук льющейся воды. Захотелось пива. Команды ушли на перерыв.

Я прикрыл глаза. Ночь текла сквозь меня, струилась чернилами мимо зарешеченного окна, громадной вороной скользила над спящей провинцией, тушила фонари, очерчивая крылами закопченный купол небесной юрты, дымовым отверстием в которой торчала дурацкая луна; огибала трехэтажное здание городской тюрьмы, в которой томились отсутствием любви сотни мужчин; обрывком вчерашней газеты ночь летела, обгоняя незримую пыль, вдоль узких пустынных улиц, длинными ветвями тополей скреблась в окна жилых коробок, в ячейках которых по-бедняцки щедро и беспамятно любили друг друга люди...

Я ударил в дверь кулаком. Невнятное эхо прокатилось по коридору. Рядом продолжали храпеть и бормотать во сне. Решетка на окне, подсвеченная луной, обозначилась резче. В сливном бачке журчала вода. Я толкнул соседа в костистое плечо – он умолк на мгновение, издал горлом булькающий звук и захрапел опять. Спал по ту сторону двери и сержант, не слыша ударов, клонил кудрявую свою голову на стол с хранящим молчание черным телефоном, а, может, помня о долге, и не спал вовсе, просто свыкся со стуком, – на то она и дверь, чтобы в нее стучать, – и, закинув огромные черные ботинки на стол, листал засаленный порнографический журнал.

Я поскребся в дверь и затаился: а что, собственно, мне нужно от дежурного? Внимания? Соболезнований? Позвать буфетчицу тетю Зину? Этот добродушный с виду увалень может и рассердиться. Он на посту – кроме шуток, у него и дубинка, кажется, имеется. И наручники. А пистолетом «Макаров» можно не только пивные пробки открывать.

Ну и что? Раз на посту, куда его определило общество, – пусть выслушает. Двое на одного – так нечестно, это вам любой пацан скажет. Разве он пацаном не был, вертухай несчастный? Не мог же он вылезти из материнского чрева с дубинкой, пистолетом и в форменной рубашке? Эй, сержант, тут какая-то ошибка! Да любая экспертиза, на земле и на небе, подтвердит: все, что заложено в детстве, ничем не вытравить. Как говорят футболисты, технику не пропьешь. Начался второй тайм. Я вежливо постучал в дверь: пусть судья добавит время.



## В Е Щ Ь

После ареста меня допросили только на третий день (если не считать возмутительно короткого дознания дежурным офицером). Оказывается, эти пинкертонеры, как и остальные люди, отдыхают в конце недели! Будучи законопослушным, я был в милиции раза три за всю жизнь, получал паспорт и справки, и в глубине души надеялся, что стражи порядка, если и отдыхают, то лишь за чистой револьверов.

Шнурки мне не вернули, и под конвоем заспанного сержанта – руки за спину! – я в понедельник утром, сразу после переключки, прошлепал, стуча задниками летних туфель, по гулкому переходу в соседнее здание. От яркого света и свежего воздуха у меня закружилась голова, я оступился и чуть не потерял туфлю. Конвоир был вынужден подтолкнуть меня в спину резиновой дубинкой.

В просторной комнате с обшарпанными столами, вытертым линолеумом и единственным компьютером с грязной клавиатурой уже допрашивали. Парень-здоровяк с широким крестьянским лицом, сидя перед женщиной средних лет, качался на стуле и что-то бубнил под нос. Внезапно женщина встала, – на спинке стула висел мундир с майорскими погонами, – перегнулась через стол и залепила парню пощечину.

Это так меня поразило, что я не сразу уразумел, чего от меня требуют. Требовали назвать фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес и прочую чепуху, не относящуюся к делу. Дознаватель, молодой, но уже с залысынами, не меняя брезгливого выражения скопческого лица, и ухом не повел на звук пощечины, и продолжил писать. Я обратил внимание, что у него короткие толстые пальцы с низко обрезанными квадратными ногтями, поросшие жестким светлым волосом.

Справившись с приступом тошноты, я сказал, что признаю вину частично. Меня попросили помолчать. Человек-машина продолжал писать.

Когда я был маленьким, отцу купили кожаный реглан: пояс с пряжкой, отстегивающийся, на пуговицах, меховой подклад, цигейковый воротник – шире плеч. Кожа была мягкая, черная, как вакса и толстая. Шик-модерн, сейчас таких не увидишь. Сбежались соседи, цокали языками, мяли подклад, зачем-то заставляли отца поднимать руки, как в детсадовской игре «гуси-гуси, га-га-га, есть хотите? да-да-да!». Мама держала зеркало, пунцовая от волнения и



гордости. Все говорили, что это в е щ ь. Потом мы месяца три сидели на картошке и квашеной капусте, мне было отказано в мороженом и кино, разбили молотком глиняную кошечку с удивленными от людского коварства глазами, в ее чреве было обнаружено три рубля сорок две копейки, я копил на ниппельный футбольный мяч, чешский, кожа у него тоже была мягкая и толстая, я трогал ее в магазине и пахла она тоже здорово; и еще на нейлоновые плавки. Ночью я плакал, мама тоже плакала, потому что днем они с папой сильно ругались: папа швырял реглан и кричал, что нечего травмировать ребенка, пускай этот чертов реглан носит ее родня или мой дедушка, они давно на него зарятся; мама тоже кричала, что он сам просил и пускай папина родня в лице драгоценной мамыши отдает позапрошлогодние тридцать два рубля, лично она уходит жить к подруге, и что у ней были в свое время в а р и а н т ы. Но в итоге ушла не мама, а ушел папа вместе с регланом, было лето, он зажал его подмышкой, в зубах папироса «Беломорканал» и сам нетрезвый. Правда, под Новый год папа пришел в реглане и трезвый, прожил ползимы, и ползимы они с мамой то ссорились, то мирились из-за этого треклятого реглана, ну, не столько из-за реглана, сколько из-за каких-то денег, которые они заняли под этот реглан то ли у мамыной, то ли у папиной родни и не отдали полностью. Потом папа ушел в стареньком пальто, но уже окончательно; мама сказала – к одной бесстыжей женщине, ее видели в ресторане. Зато. Реглан я ношу до сих пор, отец в земле, а я ношу. Подклад съежился, кожа на локтях и со спины вытерлась, но ее в химчистке за бешеные деньги подкрасили, и в целом реглан еще хоть куда. Даже сын на втором курсе пару раз надевал и говорил, что это в и н т а ж н о. Ну да, винт, спираль, саморез памяти.

Когда я вижу этот реглан, он теперь висит у нас в темнушке в прихожей, я вспоминаю отца, его запах – курева, одеколона «Москва» и чуть-чуть вина «Мадеры» – и мне хочется изрезать реглан на мелкие кусочки. Но – нельзя. Одно время я сильно презирал отца, а сейчас понимаю, что это был добрый и слабовольный человек, хотя и фронтовик. Как-то осенило, зачем он тогда вернулся к маме: он пришел подарить мне Новый Год, больше у меня не было такого Нового Года. Шел снег, искрился в нежном свете фонарей, мы с папой несли елку, сквозь матерчатую варежку я ощущал робкие уколы иголок; другой рукой я крепко обнимал коробку с коньками-канадами – пределом мечтаний всех дворовых пацанов, лезвия были покрыты толстым слоем смазки,

похожей на шоколад и так же вкусно пахли. Папа был абсолютно трезв и громко рассказывал про ледяных человечком, которые оживают в полночь, по-моему, он сам выдумал эту сказку, больше я нигде и ни от кого в жизни ее не слышал. Были свечи на елке, такие тоненькие, красные и зеленые, я одурел от конфет, шоколада фабрики им. Бабаева, от мандаринов и яблок. Мама надела туфли на высоком каблуке и беспокоилась насчет свечей, а папа пригублял водку и вино «Мадера» и, смеясь, говорил, что наплевать на пожар, ребенок хоть раз в жизни должен увидеть свечи на елке. Когда мама ушла на кухню, я встал, опираясь на папину руку, на коньки-канады, и папа учил меня делать левый поворот, он у меня никак не получался во дворе. Прибежала мама и стала кричать, что мы испортим пол, а папа сказал, что плевать на пол, если парню не терпится; они чуть не поссорились, но быстро помирились, и ночью я слышал, как папа и мама любили друг дружку; мне было нисколько за них не стыдно, я лежал и думал о том, что где-то в ночи катаются на коньках-канадах ожившие ледяные человечки, делая левые повороты и добро людям. Ну и вот. Потом папа ушел, а реглан остался висеть в прихожей.

Недавно заглянул в словарь: «завещание» – от слова «завет». Это в корне неправильно. Ветхий завет получается. Проверочное слово завещания, по моему мнению, – вещь. И никуда тут не деться. Ни продать, ни выбросить.

Чертов реглан!.. Однажды ночью сын застукал меня, когда я, стоя на коленях, нюхал в прихожей меховую подкладку реглана с опасной бритвой в руке. Сын шмыгнул в туалет и там затих. Кажется, я на полном серьезе хотел изрезать цигейковую подкладку, она невыносимо пахла ушедшим без возврата.

Но – нельзя.

Когда вещь пахнет любовью, она перестает быть вещью.

## ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Судебно-психиатрическая экспертиза признала меня вменяемым. Подумаешь – открытие! Я в этом не сомневался с самого начала. Хотя в «хате» умные головы говорили, что имеет смысл рискнуть и включить дурака – статья мне светила серьезная. Что я теряю? В самом деле, терять было нечего. Но я отнесся к испытанию безответственно. Я думал, меня облепят разного рода датчиками, особенно голову, а чуткие само-

писцы будут выводить меня на чистую воду. Ничего подобного. Никаких приборов и детекторов лжи. Единственное, что напоминало экспертизу, так это цвет. Белый – цвет болезни. Белый кафель, белые занавески, белые пластиковые шкафы, стол и табуреты (они даже не были привинчены к полу!), белые халаты врачей – мужчины и женщины. Они-то начали задавать разные дурацкие вопросы. Например, какой сейчас год. Или сколько веток на дереве. Идиоты! Я сказал, что не считал. Потом спросили, какого цвета трава. Я заметил, смотря откуда смотреть. Если глядеть сверху, то трава, ясно, зеленая, а если снизу, из могилы, то черная. Женщина попросила меня отнестись к делу серьезнее. Попробуй тут быть серьезным, если тебя спрашивают, как я звал свою бабушку, когда та была маленькой. Или что больше – квадрат или параллелепипед. Сколько спичек в коробке. Люди ходят ногами? Какой день недели сейчас и какой день месяца был с утра? Вопросы сыпались с двух сторон в бешеном темпе, что-то вроде перекрестного допроса, один вопрос глупее другого. Под конец я уже не мог толком отвечать – мешал хохот. Психиатры рассердились и объявили, что я пытаюсь неумело косить под шизофреника и что я абсолютно вменяем, отдаю отчет в собственных действиях и так далее. Кто бы сомневался!.. Вместо того, чтобы арестовать настоящих сумасшедших, которые разгуливают на воле, эти недоумки с погонями сажают на нары нормальных граждан.

Если у человека не все дома, то тут уж ничего не попишешь. Но гордиться своей исключительностью и бросать вызов обществу не стоит. Веди себя прилично, не приставай. Люди и так держатся из последних сил, чтобы самим невзначай не спятить.

Примерно в таком духе выразилась продавщица Инга в свободное от работы время, когда эта дурочка впервые заявила в наш двор. И верно, нормальный сумасшедший так бы не вырядился.

Рваный болоневый плащ подпоясан лакированным ремешком золотисто-бурого оттенка, поверх плаща болтались красные пластмассовые бусы, а туфли были с отодранными напрочь каблучками и поневоле задирали свои носы. Под глазом у их хозяйки имелся синяк, однако губки были худо-бедно покрашены и глаза, между прочим, подведены. Кармен-сюита. Театр юного зрителя.

Было воскресенье, и истощное: «Сумасшедшая! Сумасшедшая!» выгнало из двухэтажных бараков, замыкавших наш двор, всех, кого носили ноги. Толстая и склочная баба по прозвищу Крольчиха при-

пылила с грудным ребенком под мышкой и заголившейся титькой; персонального пенсионера Корнеича, парализованного на почве ревности, катила на коляске супруга; сожители Хохряковы – рябой кочегар и его пухленькая бабенка, не состоящие в законном браке, а потому днем на людях не казавшие носа из своего полуподвала, заявились во всей красе. Каждой твари по паре. Последней, качая бедрами, приплыла продавщица Инга, первая красавица двора и его окрестностей, жуя на ходу серу; по случаю выходного – в бигудях, халате, без привычного слоя помады, пудры и туши на лице, – отчего Инга была еще неотразимей. Но раньше всех примчались на место происшествия мы, пацаны, успев занять места в первых рядах.

Под одобрительные смешки собравшихся дурочка вынула из холщового мешка дамскую сумочку с оборванным ремешком, но в приличном еще состоянии, из сумочки – обломок зеркала, и – держите меня! – отгрызок черного карандаша. Не без вызова щелкнув сумочкой, она поплевала на карандаш и стала наводить красоту: сперва приделала к своему печеному личику большие круглые брови, частично заехав карандашом на лобик, отчего лицо ее вытянулось и приобрело выражение: «Что вы говорите?!» Сожители Хохряковы переглянулись, кочегар усмехнулся, а гражданская жена приснула в ладошку. Крольчиха фыркнула. Потом дурочка принялась за глаза, но, как ни плевала на карандаш, глазки не вырисовывались, и она, бросив карандаш в сумочку, вынула оттуда фото жгучего брюнета и объявила, что это ее жених, а она его невеста, и что скоро он приедет и увезет ее. Причем говорила заведомую ложь, и уличил ее в этом битый правдоискатель Корнеич, который без спроса выкатился вперед и углядел, что фото не что иное как вырезка из журнала «Советский экран». Корнеич хихикнул. Крольчиха крикнула, что означало смех. Хохряковы тоже засмеялись, пацаны загоготали и замахали руками: «Халтура! Кино давай!»

Общее веселье прекратила Инга.

«Дура», – внятно сказала она, выплюнув серу. Корнеич нахмурился и скосил глаза на разъезжающиеся полы Ингиного халата. Визгливо заплакал ребенок, Крольчиха заткнула ему рот титькой, зевнула и упылила обратно. Представление закончилось, но имело продолжение. Потому что сумасшедшая, наплевав на общественное мнение, повадилась ходить во двор со своим репертуаром про несчастную любовь. Но Инга во двор не выходила.

Ей и в самом деле было не до смеха. Инга переживала очередной неудачный роман. Экспедитор Владик, похаживавший к ней в барак и которого уже всем двором записали было в женихи, спутался с кассиршей из отдела эмалированной посуды. Но ничего, наша Инга устроила ей на работе маленький бенц: содрала с головы разлучницы парик и замахнулась эмалированным тазом, но случившийся рядом грузчик вовремя повис у нее на руке. Хотя Инга, не глядя на свою красоту, была доброй. Она работала в продуктовом отделе и всегда угощала дворовых пацанов молочным ирисками. В магазин мы ходили по очереди.

В тот день выпала моя очередь. Сполоснув руки у колонки за углом, я оставил товарищей у тяжелых дверей «Универмага» и направился в продуктовый отдел. Друзья расплющили немытые носы о витрину. Инга возвышалась над прилавком белоснежной колонной – фартук, наколка, дежурный оскал, – и жевала серу, неприступная в своей красоте. Ее тщетно пытался штурмовать какой-то тип в шляпе.

«А-а, это ты, – как только мужик в шляпе отвалил от прилавка, молвила Инга. – А ну покажь руки. Мыл?» «Мыл, Инга...» – промямлил я, протягивая руки. Инга не удостоила их взглядом и кинула на весы горсть конфет. «Погодь-ка, – больно царапнула запястье ногтем с облупившимся маникюром. – Шоколадку хошь? А ну зайдем». Я поспешно сунул конфеты за пазуху и двинулся следом за Ингой в подсобку. В каморке, уставленной коробками и бидонами, одуряюще пахло духами, жужжали мухи, а стены были оклеены вырезками красавцев из «Советского экрана».

«Видно, нет?» – Инга приблизила сильно напудренное лицо с родинкой на левой щеке, окатив сладкой волной. У меня зачесался нос. «Погоди... А так?» Она подошла к окну и пощурилась на солнце, затрепетав ресницами. Над родинкой сквозь толстый слой пудры неумолимо расцветал синяк. Я встал на цыпочки, отразился в Ингиных зрачках во всем своем ничтожестве и прожевал ириску: «Не-а... Ничего не видать. Фонарь, что ли?» Инга вздохнула, колыхнувшись телом, с грохотом придвинула табуретку, достала с полки сумочку.

«Владик, козел... Ну, ниче, у него тоже рожа лохмотьями!»

Инга извлекла из сумочки зеркальце, огрызок карандаша и с ненавистью плюнула на него.

«Возьми там, только одну...» Инга подвела карандашом глазища, кося на меня огромным зрачком. Я зачем-то на цыпочках подошел к

тумбочке, взял из стопки шоколадок одну, нижнюю. Стопка рухнула. Шоколад не уместился в ладони и назывался «Аленка». Ну и черт с ним, с названием!

Инга поглядела в зеркальце, скорчила рожицу, тщательно припудрила родинку и синяк, щелкнула сумочкой, встала, поправив чепчик: «Ты вот чего... Ты давай, передай пацанам... шоб этой дуры, шоб ее духу во дворе не было!»

Инга пощурилась на красавца из «Советского экрана», распятого на стене, провела кончиком языка по губам и громко причмокнула, послав стене воздушный поцелуй.

«И так житья нету... Скажи, каждому по шоколадке. Понял? А тебе две».

Я пошуршал серебряной оберткой и кивнул. Из отдела донеслись голоса.

«Да иду, иду!» – вдруг брызнула слюной Инга, оправляя фартук. У меня заложило уши. «Иду, иду, никакой личной жизни!» Инга с шумом двинула ногой табуретку, ослепительно оскалилась и чмокнула воздух, изящно откинув ручку. Меня обдало жаром поцелуя, я утерся и кивнул: шоколад, несмотря на девчачье название, был что надо. С этим согласился у дверей «Универмага» друг Ренат, двоечник, силач, грязнуля и вообще хороший пацан.

Воскресенье не заставило себя ждать. Я стоял на стрёме у ворот, когда в конце улицы замаячила тощая фигурка сумасшедшей. Она еле ковыляла на своих туфлях без каблучков, то и дело останавливаясь, поправляя косынку и бусы. Я свистнул. Пацаны бросили игру в ножики и потянулись от дощатых кладовок к центру двора, лишь Ренат почему-то побежал к себе в барак.

Едва дурочка достала из мешка дамскую сумочку, один из пацанов, как было условлено, вырвал ее из рук хозяйки и бросил товарищу. Чокнутая, которой не дали навести красоту, поглядела на нас с выражением: «Что вы говорите?!» Мы засвистели, заулюлюкали, образовав круг. Ребенок Крольчихи от шума проснулся и завизжал. Крольчиха шлепнула его по попке и ушла в дом. Заскрипели несмазанные спицы инвалидной коляски: Корнеич рвал когти. Жена семенила сзади. Ряды зрителей быстро редели.

«Это мое! Мое!..» Дурочка металась по кругу вслед за сумочкой, смешно округляя от ужаса глаза. Косынка сбилась на плечи, обнажив блестящие на солнце алюминиевые бигуди, один отвязался и

упал. Появившийся в круге Ренат втоптал его в пыль, держа в руке бутылку с жидкостью.

Последними из взрослых очистили двор позабывшие стыд Хохряковы: тихо млевшего от удовольствия кочегара дернула за руку сожительница, уводя от греха подальше.

«Мое! Отдайте! Мое!...» Сумасшедшая подбежала, умоляюще протянула руки и размазала помаду по щекам. Я послал ей воздушный поцелуй и бросил сумочку Ренату. Тот, пританцовывая, поднял ее над головой. Чокнутая ринулась, вздевая руки, но запнулась о чью-то ногу. По земле разлетелись красные пластмассовые бусы. Мы так и покатались от хохота.

«О-о, жених мой ненаглядный, о-о, моя любовь! Я жду тебя на закате солнца!» – противно загнусавил Ренат, подражая дурочке и школьной художественной самодеятельности одновременно. Крикаясь и корча рожицы, что означало, видимо, великую любовь, он пялился на портрет жгучего брюнета. Пацаны чуть не упали со смеху.

«Не надо, я больше не буду...» – стоя на коленях и зажав в руке бусы, взвыла дурочка. Мы загоготали, как гуси.

«О-о, коварный изменщик! – ободренный успехом, вновь обратился к портрету Ренат и скорчил свирепую рожу. – Ты разбил мое сердце, так умри же, презренный!»

Ренат чиркнул спичкой: «Пацаны, держи ее!»

Пацаны поймали сумасшедшую, когда та рванулась к портрету. Она заплакала, как маленькая, кривя измазанный помадой клоунский рот.

Ренат поджег презренный клоч бумаги и поднес его к сумочке, но она не поддавалась огню. Ругнувшись, Ренат отбросил горящую бумагу, взял услужливо поданную бутылку, сорвал зубами затычку и облил керосином сумочку. Дурочка притихла и завороченно смотрела на руки Рената. Сумочка вспыхнула с легким хлопком, отплевываясь черными струйками. Ренат швырнул сумочку в центр круга. Мы отпустили сумасшедшую, и она, обжегшись, закричала. Кто-то подтащил к огню холщовый мешок, вывалил из него тряпье. Ренат брызнул из бутылки еще, и мы разорвали круг, уворачиваясь от черных хлопьев и едкого сизого дыма.

Минут через пять все было кончено. Бусы оплавились и остывали на земле пятнами крови. Дурочка ползала в пыли возле тлею-



щего тряпья и жалобно скулила, то и дело поднимая к небу лицо, раскрасненное сажей и слезами...

Больше во дворе ее не видели. Сумасшедшая исчезла из города так же внезапно, как появилась. И о ней забыли. Другие, более важные события заполнили жизнь двора. Например, Хохряковым надоело жить в грехе и они расписались в загсе, Ренат проиграл мне в ножички солдатскую бляху от ремня, Крольчиха едва не придавила во сне ребенка, а Ренат никак не отдавал мне бляху. Корнейч без спроса у жены подкатывался к Инге, сулил движимое и недвижимое имущество, но Инга отвергла выгодное предложение и стала в открытую жить с экспедитором Владиком, минуя загс. Ну и черт с ним, загсом! Невозможно покрасивевшая Инга бросила жевать серу и по утрам с гордостью вывешивала во дворе стиранные мужские кальсоны и рубахи, а по вечерам с Владиком – упитанным молодым человеком с бегающими глазками – ходила под ручку в кино. И никто, за исключением Корнейча, их во дворе не осуждал, потому как – любовь!

Только недолго продолжалось Ингино счастье. Начал Владик попивать да дома не ночевать, о чем тут же становилось известным во дворе благодаря Ингиным скандалам. Однажды ее видели избитую в кровь, приезжала милиция, но Инга вырвала любимого из лап милиции. А вскоре Владик совсем перестал ночевать дома – после того, как приехал на такси, набитом пьяными девками. Ловко уворачиваясь от ударов, он побросал в багажник пожитки и сел на переднее сиденье. Инга бежала за такси, потом упала и ползла, а девки в машине визжали и тыкали в нее пальцами.

Потом я, не дождавшись от Рената солдатской бляхи, съехал со двора на другой конец города, и как-то слышал от встреченной на базаре Крольчихи, что Инга пыталась отравиться, но врачи ее спасли. Я посочувствовал и забыл. А старый двор со временем снесли, сровняли с землей, закатав в асфальт эту дурацкую историю вместе с пылью, пеплом и красными пластмассовыми бусами.

*Следователь заявил, что обвинительное заключение предъявят на днях – дело – то непростое. Он назвал номер статьи.*

*Напротив, дело представлялось мне абсолютно простым, и поэтому меня необходимо немедленно выпустить на волю. Скучным голосом следователь прогнусавил, что мера пресечения оставлена прежней – под стражей.*



Я мгновенно вспотел и чуть не сполз со стула. Заготовленные в камере, не раз обкатанные в уме словосочетания, мгновенно показались корявыми и наивными. Следователь спросил, будет ли у меня защитник или мне его назначат. Я мужественно выдавил, что никогда не любил играть в защите – только в нападении. Следователь удивленно вскинул бесцветные брови и стал похож на студента-заочника. Дело и в самом деле дрянь. Он никогда не играл в футбол. Криминальный случай. Этот тип будет толкать дело, как навозный жук. На прощание я чуть было по привычке не подал руки, но вовремя вспомнил, что теперь преступник. Человек-машина сказал, чтобы я молился за здоровье такого-то. Фамилия мне ничего не говорила. Оказалось, это тот человек, которого я убил. Чуть не убил, поправился следователь.

Стилым осенним утром я по поручению шефа встречал на вокзале его родственника. Накрапывал дождик и, проклиная директора с его родней, я вылез из машины с ощущением полной своей ничтожности: скоро шеф заставит носить сумочки за его любовницами! И понесешь ведь: на твоё место в наше время всегда найдутся другие, помоложе. Я взглянул на небо цвета асфальта и раскрыл зонт.

До подхода поезда оставалось минут двадцать, перрон был пуст – за исключением какой-то женщины. Я спрятался под навес торгового ларька, закурил и вновь зацепился взглядом за фигуру женщины. Дождь и ветер усилились, по лужам пробежала рябь, со стороны дороги пахло креозотом. К женщине подбежала собака, обнюхала мешок у ее ног, фыркнула и посеменила дальше. Встречающая упорно стояла у края перрона, вглядываясь в убегающие блестящие рельсы. Вот что, поежился я, у нее же нет зонта! И одета была странно. Болоневый плащ, какой давно не носят, был подпоясан лакированным поясом с облупившейся позолотой. Объявили прибытие поезда. Перрон стал быстро заполняться людьми и зонтиками. Женщина вынула из сумочки зеркальце, стала прихорашиваться. Донесся близкий свисток локомотива, в толпе произошло движение. Раздались голоса, закрипели тележки. Женщина вынула из сумочки клочок бумаги, по-птичьи завертела головой, поправляя косынку. Я бросил сигарету и пошел к поезду.

Родственник шефа был уже навеселе и с ходу предложил пойти в буфет. В оковагонной суете я вдруг увидел ту странную женщину. Не обращая внимания на толчки, она напряженно выглядывала кого-то в потоке пассажиров, сверяя лица с журнальной вырезкой.

«Смотри-ка, – со смехом толкнул меня родственник шефа. – И эта дурочка кого-то встречает!»

Я взглянул на нее внимательней: поверх изношенного плаща висели детские пластмассовые бусы. Лицо, когда-то красивое, было безжалостно смято подобно портрету из «Советского экрана» в ее руках, местами полиняло от времени, а ярко и неровно покрашенные губы и брови превратили его в маску. Возле родинки на левой щеке синел шрам.

«Смотри, смотри! – захохотало директорское отродье. – Она на тебя пялится! Никак узнала! Встречай!..»

Встречающая поймала мой взгляд, прищурясь, обнажила беззубый рот, медленно провела кончиком языка по избитым губам и громко причмокнула, заученно, рукой посылая воздушный поцелуй, – как плюнула.

Я зажмурился и утер лицо платком. Или показалось? Шел дождь... Скорее всего, почудилось.

## СЛОЖНАЯ ПАРА

Этот звонок похож на школьный, такой же дребезжащий, видно, молоточек стерся или тарелочка разболталась, держась из последних сил на одном винте. Еще полминуты в длинных коридорах тюрьмы ошалелой птицей трепыхалось эхо: «Отбой! Отбой...» И сразу гас свет, лишь над дверью вылупился желток контрольной лампочки, не в силах прогнать тьму, копившуюся в углах за дальними нарами.

Жизнь в камере продолжалась и после отбоя. Многие, не откладывая дело в долгий ящик, принимались сопеть и всхрапывать, однако были и те, кто еще долго ворочался. «Гонял масло». Раз за разом проживая эпизоды дела: «Эх, если б я свалил пораньше... на фигу вдарил в третий раз?.. где та бабка, свидетель?.. бросают на кухне ножи, потом сиди тут!..» Эти мысли заточенными кухонными ножами резали спертый воздух камеры, как масло, – казалось, я слышу их во всем блеске отчаяния.

От этого можно сойти с ума. Симулянты не в счет.

Мне было легче – я вспоминал детство. Некоторые, правда, вспоминали его ритуальным пионерским способом. Эта мышинная возня мешала сосредоточиться и уснуть. Не мне одному.

*Гиря до полу дошла. Смотрящий по хате распорядился, чтобы стра-  
дальцы дрочили, отвернувшись к стене, и когда все уснут. Или, в нату-  
ре, яйца всмятку.*

Он сидел, веселый такой, на перекрестке улиц Ленина и Каланда-  
ришвили, шляпа набекрень, в зной и в холод, а щетки так и мелька-  
ли перед глазами потрясенной публики. Иногда одну щетку подбра-  
сывали, отбивая ритм другой о гулкую деревянную подставку и, не  
глядя, ловили в воздухе рукой заправского жонглера. При этом чи-  
стильщик умудрялся делать свое дело в лад песенке:

*Раз – ботинок, два – каблук,  
Стук – копейка, рубль – стук.  
Раз – ботинок, два – каблук,  
Выходи плясать на круг!*

И тогда, пацаном, и по прошествии многих лет, мне никак не уда-  
валось повторить этот трюк с щетками – они с грохотом падали на  
пол на середине прихожей и песенки. А ведь надо еще, чтоб клиент  
ушел довольным, и чтоб пришел снова. Тут одним фокусничаньем  
не обойтись. Нет, дядя Коля был ас-истребитель! Казалось, вся сила и  
сноровка отсутствующих ног ушла в его руки.

Я смастерил из обрезков древесно-стружечной плиты, оставших-  
ся после ремонта, подставку для ног – наподобие той, что видел на  
пересечении Ленина и Каландаришвили, но, то ли древесно-стру-  
жечная плита плохо резонировала, то ли у меня руки-крюки, изре-  
кала жена в таких случаях, но щетка не давала требуемого отскока  
– на уровень груди. Я даже садился на колени, дабы достичь высот  
дядя Коли. Пустой номер! У кудесника щетки она подлетала, будто на  
пружинках, и прилипала к ладони, как к магниту. Пока щетка была в  
воздухе, дядя Коля успевал небрежным движением поправить шля-  
пу, бросить в рот беломорину или вынуть откуда-то бархотку, гото-  
вясь к финальной части представления. Неудивительно, что к пя-  
тачку у госбанка и аптеки, где орудовал щетками веселый чистиль-  
щик, стекалась куча зевак, а уж про нас, пацанов, и говорить нечего.

Естественно, дядя Коля выйти плясать на круг не мог. Тележка  
на каучуковых колесиках от детского велосипеда заменяла ему ноги.  
Она же служила скамейкой, багажником, обеденным столом и мно-  
гим чем еще, в зависимости от жизненной ситуации. К примеру,  
справа от набора щеток-кремов в отдельной шкатулке, оклеенной

изнутри пестрым ситцем, имелись граненый стаканчик, порезанный шматок сала и кусок черного хлеба в газетке, початая чекушка водки, а то и помидор. Зарабатывал дядя Коля неплохо, уверенно обходя по части гешефта конкурентов с хлебного места – колхозного базара (слабо им против фокуса с щетками!). Когда в жаркий день мы бегали по его поручению за «крем-содой» в гастроном, или там за куревом, то чистильщик никогда не требовал от пацанов сдачи. Не скрою, наставник угощал меня мороженым в вафельном стаканчике, которое продавали там же, на перекрестке Ленина и Каландаришвили.

За спиной чистильщика, в «багажнике» личного транспортного средства, покоилась пара деревянных учебных гранат, подбитых резиной, – для лучшего сцепления с асфальтом, дощатым тротуаром и вообще с грешной землей. При помощи толчковых гранат инвалид войны передвигался, азартно обгоняя прохожих и крича им из-под ног:

«Дорогу, шнурки!» Типа: лыжню!..

«Шнурками» он презрительно называл клиентов и вообще прохожих.

Руки у дяди Коли были сильные, как у лыжника или там гиревика. Да нет, куда сильнее! Раз дядя Коля одной левой, свободной от щетки, рукой сбил с ног пижона, вздумавшего насмеяться над чистильщиком, – остроносые черно-белые туфли «нариман» мелькнули в воздухе. Очутившись с клиентом в одной плоскости, дядя Коля крутнулся на тележке и дотянулся до испуганной физиономии франта сапожной щеткой... А когда тот, поднявшись с чумазой рожницей, замахнулся не дочищенной туфлей, дядя Коля показал ему снизу сапожное шило. Вслед ретировавшемуся клиенту по асфальту со звоном катилась мелочь (Сергея-Первый собрал ее по темноте).

Перед школой я успевал забежать в подвал, где в соседнем Доме Специалистов располагалась артель инвалидов-сапожников. Здесь, за занавеской жил-поживал дядя Коля. Кровать с никелированными шарами на панцирной сетке, только ножки спилены, шкафчик, плитка и даже коврик на стене – чин-чинарем. На видном месте красовались фотка, где хозяин был в форме, пилотке и с ногами-сапогами, а также китайский термос с драконом. Последнее свидетельствовало о достатке. Я хватал табурет и ножную подставку для клиентов, дядя Коля, позавтракав яйцом вкрутую

и собрав в газетку скорлупу, соскальзывал с табурета и седлал тележку. Клад ящик с инструментом на колени, обшитые кожаными заплатами, нахлобучивал шляпу набекрень, хватал учебные гранаты в обе руки, я помогал хозяину одолеть ступеньки, и в сопровождении почетного эскорта дворовых собак мы направлялись на перекресток.

Когда возвращался после школы, то работа у аптеки была в разгаре. Ящик с набором обувных кремов и масел, жестяными баночками и бутылочками распахнут, звон монет – красота! Летали щетки, толпились зеваки, а дно высокой банки из-под абрикосов не в один ряд устилали медь и серебро. Бумажные рубли и трешки дядя Коля прятал за пазуху.

Прейскурант, как сейчас помню, был таков:

«Пара обычная – 10 коп. Сапоги – 25 коп. Пара сложная – 30 коп. Пара женская – бесплатно!!!»

Сложная пара относилась к черно-белым ботинкам типа «нариман». Мысок и задник у них был из черной кожи, а верх – белым. Но это у настоящих «нариманов». Местные стилиги заказывали у китайцев, что сидели у базара в фанерных будочках, более сложную пару: носок и взъем черно-белый в шахматном порядке, лишь задник сплошь черный. Понятно, такие клоунские ботинки прибавляли возни чистильщику. Так что сложная пара законно стоила тройной цены.

Расценки были криво выведены химическим карандашом на картонке, приклепленной с обратной стороны табурета, получается, под задницей клиента. Особенно криво, аж буквы плясали, написали последние буквы, видать, мастера щетки и бархотки, добравшегося до женской пары, обуяло волнение.

Из преysкуранта явственно видно, что дядя Коля был сердцеедом. Одна шляпа чего стоила! Из искусственной кожи, «инпортная», цокал языком чистильщик, с короткими полями и дырочками по бокам – для вентиляции мозгов? Для вытяжки греховных мыслей, хохотал дядя Коля.

Пока дамочка, соблазнившись выгодным предложением, подставляла туфлю, рассеянно созерцая шляпу дяди Коли, под которой роились греховные мысли, мастер-сердцеед ел глазами все, что находилось выше обуви, и расточал в адрес ножек грубоватые комплименты. Главное – занять господствующие высоты, глядя на проходя-

щих женщин, задумчиво бормотал чистильщик. Странно, дядя Коля занимал по жизни скорее господствующую низину: снизу вверх.

«Вырастешь, дурачок, поймешь!» – опять хохотал мой наставник.

Как-то увидел, как дядя Коля, помогая тетке с авоськой водружить туфлю без каблука, вдруг воровато погладил аппетитную ногу в капроне. Раздался электрический треск. Я зажмурился. Но – ничего, тетка хихикнула, будто ее пощекотали. Этот второй по значению номер мастер нет-нет, да и откалывал с клиентурой слабого пола. Ноги были разные, некоторые и гладить не стоило, даже я, пацан, это понимал. Женщины возмущались, смеялись, или словно не замечали прикосновения, но почему-то все, как одна, следом поправляли прически и гляделись в зеркальца.

Но однажды, хотя нога клиентки была что надо, да и туфли-лодочки, писк моды, сумочка, капрон со швом, перманент, то-сё-фрикасё, дядя Коля не стал гладить ее, ногу. И потребовал плату в тридцать копеек. Пьяный, что ли? Да нет, чекушка была на месте, нераспечатанная, к ней дядя Коля прикладывался в обед, не раньше.

– Это почему же тридцать копеек? Вон же написано «бесплатно!» – опрокинула табурет женщина. Ого, какая высокая! И пахнет одуряюще, духами «Жизель».

– Написано для многодетных матерей и пенсионерок, – бормотал, опустив глаза и собирая скарб, дядя Коля. Он стал еще ниже. И тише. – У вас сложная пара, гражданка... Гендос, хватай табурет... Перерыв на влажную уборку...

– Для пенсионерок, да? Сложная пара, да? – женщина расставила ноги. В гневе она стала еще красивей. Не хватало лишь весла. – Сво-лочь!.. Летчик-налетчик!

И прекрасная незнакомка в туфлях-лодочках и в капроне со швом, уронив табурет на асфальт, стремительно поцокала по Каландаришвили, унося столь же длинный, как название улицы, шлейф духов «Жизель». А может, «Кармен».

Насчет летчика-налетчика, это она точно в воронку. По праздникам и воскресеньям дядя Коля цеплял на фартук медаль «За отвагу». В коробке из-под цейлонского чая с грохотом, как живые, ворочались другие награды, даже орден, но дядя Коля надевал только эту медаль.

В этом не было никакого выпендрежа, а была производственная необходимость. Артельные, провожая дядю Колю на работу с медалью на груди, хмыкали и посмеивались – их-то орденами-медалями не удивить! В такие дни чистильщику подавали особенно хорошо, а иной подпивший мужичок, глядя на медаль, бросал в банку из-под абрикосов зелененькую грешку. В праздники так вообще не было отбоя от желающих раздавить с безногим фронтовиком чекушку или там портвешок. Но дядя Коля пресекал эти поползновения веским доводом: «Отвалите, я на работе!» Произносилось это скрипучим, как скрежет инвалидной тележки, командирским голосом. Выпить дядя Коля мог, но тут был расчет. За пьянство на рабочем месте чистильщика могли запросто турнуть с центральной улицы, его не раз о том предупреждала милиция.

И в один день дядю Колю с перекрестка таки убрали. Временно, извинялся знакомый милиционер, ждут генерала с Москвы. Ждали полдня. За это время дядя Коля, расстроенный упущенной выручкой, успел выдуть свою чекушку, откатившись в проулок, туда, где заросли акации. И там же, в кустах, добавил с кем-то еще.

И надо же такому случиться – хмельной дядя Коля чуть не попал под колеса генеральской «волги»! Спекшаяся на жаре милиция потеряла бдительность. Исправляя промах, ментовский офицерик толкнул ногой каталку чистильщика, торопясь убрать ее с глаз долой. Шляпа чистильщика упала и покатилась.

«Волга» резко притормозила. Из нее вышел генерал: лампасы в две моих руки, пуговицы в два ряда, погоны, то-сё-фрикасё. Генерал размял ноги с бордовыми лампасами и задал чистильщику один вопрос: где служил? Дядя Коля выдохнул запахок в сторону, одернул фартук, стал заметно выше и выпалил номер стрелкового полка и дивизии. Ну точно, как таблицу умножения.

Получается, дядя Коля пылил в пехоте. А мы-то с пацанами думали, что наш герой был летчиком-истребителем и обморозил ноги, как Маресьев. Но печалиться было некогда.

Потому что когда «волга» укатила, из следовавшего за нею «газика» выбежал brave офицер, перепопсанный ремнями, талия, как у балерины, и передал испуганному чистильщику сверток и сиреневую четвертную купюру. Новыми деньгами! В свертке оказался пятизвездочный коньяк. Коньяк ошеломленный дядя Коля распить не дал, как его ни уламывали, зато на генеральские деньги артель инвалидов гуляла два дня, отмечая триумф собрата.



А гулять в артели умели. Умели, мама дорогая, скрипеть костылями и протезами в конце недели. Однажды Паша-Танкист спьяну решил, что пацаны украли у него протез правой ступни и, мелко перебирая костылями, гонялся за нами по двору. Потом упал и полз в пыли, что-то мыча, чем напрочь изгваздал выходной пиджак с орденской планкой... Массовый же выполз (не писать же: выход!) увечных сапожников из подземелья происходил по воскресеньям. Так, наверное, змеи и земноводные выходят на сушу греться на солнышке. Налицо была недодача нижних конечностей, зато руки, по крайней мере, правая из них, наличествовали в рабочем состоянии. И инвалиды работали. Но вне стен подвала в пьяном виде превращались в чудовищ. Некоторые росли, как большие грибы, прямо из земли. Другие обрубки напоминали пни – их корчевали в новом квартале города. Опухшие, темноликие, сапожники, как полагается, изрыгали маты. Больше в адрес пацанов, гонявших футбол. Ради такого зрелища команда брала тайм-аут. Нас они не любили (меня терпели из-за дяди Коли). Было за что. Пару раз разбивали окно подвала мячом (а мы виноваты, если окно на уровне ног?). И за то, что дразнили и подглядывали. Было что подглядывать.

Как-то прыгнул Толик Ссальник, мигая подбитым глазом, поманил меня пальчиком к окну мастерской. Занавесок не было – они мешали сапожному делу. Но и свет в подвале не стоило зажигать: видно было, как инвалид, сдвинув фартук набок и глядя перед собой в одну точку, энергично копается правой рукой у себя в штанах... Возвратно-поступательно, как станок в школьных мастерских. Губы плотно сжаты, будто в поте лица продолжал трудиться над заказом – с гвоздиками во рту. К спинке стула прислонен костыль. Когда страдалец раскрыл рот, застыв с жуткой гримасой, костыль упал... Потом я понял, зачем он включил свет – видеть вырезку из журнала мод. Эту девушку в купальнике и соломенной шляпе он прятал в выдвижном ящичке – я на нее наткнулся, когда дядя Коля попросил найти отвертку.

Это было открытием. Бездушным и опустошительным, как после презренного акта, о котором втихаря знали все. К тому же на внеклассном уроке школьная медсестра раздала памятку о вреде онанизма. И пацаны враз, как один, покраснели... «Кто займется онанизмом, будет плохо с организмом» – грозно завершалась памятка, напечатанная в типографии гороно тиражом 3000 экз. Во



дворе выражались более доходчиво: «Кто дрочит – у того не вскочит». Только новичок мог повестись на побитую молью шутку: «У онаниста рука нечиста». Горе тому, кто тут же, не отходя от кассы, проверял свою ладошку!..

Оказывается, рукоблудием балуются не только мы, грешные, но и взрослые. Инвалиды – тоже взрослые. Помню, шибко презирал себя в первую минуту после извержения вулкана. У меня будет плохо с организмом, усохнет мозг до размера грецкого ореха, выскочат прыщи, девушки не полюбят, детей не будет, и вообще не вскочит, скобочит, так что лучше сразу отрезать лобзиком правую руку и идти подмастерьем в подвал... Этот мир несовершенен, зуб даю.

Ежу понятно, инвалиды обделены женской лаской. Нам-то, пацанам, легче, можно отвлечься футболом или там «зажимболом». Так во дворе назывались суматошные ошупывания девчонок, пойманных врасплох за сараями, после чего в штанах становилось мокро и горячо... Пестики-тычинки! – и охота было щупать эти куриные косточки?

Хотя и увечным кое-чего перепадало. Когда в подвале обмывали удачный заказ, на шум стекались особы когда-то женского пола, окрестные пьянчужки, и с визгом обнимались с сапожниками меж верстаков, полки с поношенной обувью, обрезков кожи и мятых алюминиевых банок с клеем. Воняло классно – скипидаром и еще чем-то запретным.

Мама называли таких женщин нехорошими. И песни из подвала доносились нехорошие:

*Пряжкой от ремня,  
Апперкотом валящим  
Будут бить меня  
По лицу товарищи.  
Спляшут на костях,  
Бабу изнасилуют,  
А потом простят.  
А потом помилуют.*

Мы их потом во дворе разучили – гнусавили, подражая, с блатным подвывом. Лучше всех получалось у Толика Ссальника:

*Скажут: срок ваш весь.  
Волю мне подарят.  
Может быть, и здесь  
Кто-нибудь ударит.*

*Будет плакать следователь  
На моем плече.  
Я забыл последовательность,  
Что у нас за чем.*

Что за чем, я и сам с течением лет забыл, но в конце неизменно звучало со слезой в пропитых голосах:

*Мне могилу выроют.  
А потом меня реабилитируют.*

Кончались гулянки одним и тем же. Выяснялось, кого-то из хозяев обворовали. И тогда воровку, которую еще полчаса назад миловали по очереди, били деревянной колодкой ступни. Тоже по очереди.

Однако работа над ошибками была поставлена в артели на «двойку». Бывало, обкраденный сапожник целовал одутловатое, с нежным золотистым отливом, личико дамы, с которого не сошли следы предыдущей бурной встречи.

Гулянки, да еще с женщинами, случались редко – дядя Коля не позволял. Он у них был за бригадира – иногда за занавеской стучал костяшками счетов и посылал меня за чернилами. Артельные всерьез называли его командиром. А в шутку – капитаном. Только дядя Коля мог ночевать в мастерской. Хотя жить в подвале он стал с недавних пор. А до того, говорили мужики, у него была семья. Ясно море, кому безногий инвалид нужен?

В те дни у меня резко осложнилась личная жизнь. Мама с папой продолжали выяснять отношения из-за какого-то пальто типа «реглан», ну, не только из-за пальто, и я чаще, и по вечерам, стал бывать у дяди Коли. Иногда мы варили супчик на примусе, я чистил картошку и бегал за керосином на базар, с ведром к колонке, там вода вкуснее, чем из-под крана, утверждал хозяин.

Но и дядя Коля любил погулять. Только без фокусов. Недаром артельные величали его «артистом». Не зря под кроватью у него пы-

лился футляр с баяном. Он извлекался по праздникам. Подарок генерала был приравнен к празднику. И песни у дяди Коли были культурнее, что ли.

«Командир, давай про любовь», – просили товарищи. И дядя Коля выдавал:

*Девушку из маленькой таверны  
Полюбил суровый капитан,  
Девушку с глазами дикой серны  
И с лицом, как утренний туман.  
Полюбил за пепельные косы,  
Алых губ нетронутый коралл,  
В честь которых пьяные матросы  
Поднимали не один бокал.*

Голос у дяди Коли несильный, но чистый и ломкий в этой своей чистоте. И сам он был похож в такую минуту на сурового капитана – жилка на виске набухла, морщины на лбу разглаживались, взор туманился.

Стены подвала раздвигались – в таверне инвалиды вставляли на ноги, чокаясь не гранеными стаканами, а бокалами на длинных ножках. Улица Каландаришвили разливалась и утекала к Селенге – на ней нетерпеливо, что птица крыльями, хлопала парусами каравелла... Там били склянки, и уже дважды горнист подавал сигналы, похожие на автомобильные, созывая команду в дальний поход к берегам Миссисипи...

С учетом низкой посадки артиста баян при полном развороте доставал до полу. Тогда баянист одним движением могучих рук взлетал на табурет, ему подавали баян. Баян – громко сказано. Потертая гармошка-трехрядка, не раз облитая вином и, как гулящая девка, сидевшая на коленях у разных хозяев. Она досталась дяде Коле от загулявшего клиента. Ногти с черной каемкой от въевшегося сапожного крема ловко бегали по кнопкам – одна западала, но никто не обращал внимания. Наверно, когда дядя Коля был с ногами (или при ногах?), то носил сложную пару – туфли «нариман». Ну и шляпу, само собой. Он пел и притоптывал в такт черно-белыми «нариманами», покачивая пером на «инпортной» шляпе, и его шибко любили женщины.

Гиря до полу доходила в финале. Мужчины плакали. Лишь артист прояснившимся взором смотрел вдаль сквозь табачный туман, как и полагается капитану. И становился выше ростом. Скорее всего, то был обман зрения, потому что я тоже плакал.

Эту вещь можно было назвать гимном артели, никто из разнокалиберного братства при этом не глядел друг на друга. Все трезвели.

*Нас извлекут из-под обломков,  
Поднимут на руки каркас  
И залпы башенных орудий  
В последний путь проводят нас!*

Дядя Коля запевал, а товарищи, боясь испортить мотив пропитыми прокуренными голосами, лишь беззвучно шептали под нос:

*И полетят тут телеграммы  
Родных и близких известить,  
Что сын ваш больше не вернется  
И не приедет погостить.  
И будет карточка пылиться  
На полке пожелтевших книг.  
В военной форме, при погонах,  
А ей он больше не жених.*

Повторялся куплет про «обломки» и наступало молчание. Выпив по последней, сапожники, эти обломки людей, еще не отойдя от торжественного момента, начинали прибираться в мастерской. Кто брал в руки тряпку, кто веник, кто совок. Уборка шла на всех уровнях – сообразно физическим возможностям. Паша-Танкист шваброй тянулся к окну и распахивал раму, проветривая подвал от табачного тумана и водочных паров. Над ведром переворачивались жестяные банки для окурков. В раковину в углу с грохотом сгружали грязную посуду, а также бутылки, их потом сдавали и покупали хлеб. Под взглядом сурового капитана команда на корабле понимала, что праздник кончился, пора на вахту...

Однако песня – та, про любовь – имела продолжение. И мы поверили, что дядя Коля был в прошлой жизни если не Маресьевым, то капитаном дальнего плавания и отморозил ноги, когда его шхуну зажало,

как «Челюскина», льдами, аж челюсти шкипера свело, и дядя Коля, спасая экипаж, таки отморозил ноги. Поверишь тут, если мрак артельного подвала на твоих глазах разгоняет девушка с глазами дикой серны и лицом, как утренний туман, а туман сапожного клея съезживается от духов «Жизель». Или «Кармен». Пепельных кос, правда, не было, зато алых губ коралл явно коснулась помада производства ВТО.

Был конец дня, артельные разошлись по домам, дядя Коля вернулся с перекрестка и хлебал вчерашний супчик прямо из кастрюльки, громко шмыгая носом. Я сидел и ждал рваную покрывку от мяча, которую дядя Коля пообещал зашить.

Когда вошла девушка из песни, спросив ангельским голосом: «Можно? Есть кто?», то дядя Коля сильно смутился и покраснел – даже в подвальной серятине это было заметно.

- Закрыто!.. – слабо выкрикнул хозяин, пытаясь уползти за занавеску.

- Коля, ну что ты как маленький, – приглядевшись, сказала вместо приветствия прекрасная незнакомка. Впрочем, какая незнакомка? Туфли-лодочки, сумочка, капрон со швом, перманент, то-сё-фрикасё. В ней я с удивлением узнал клиентку, что уронила табурет на перекрестке улиц Ленина и Каландаришвили и обозвала чистильщика летчиком-налетчиком. Она появилась в нашем городе недавно, явно заплутав, – словно птица отстала от стаи по пути в теплые края; туда, туда, туда! – где павлины, баобабы, туда, где люди и обезьяны кушают бананы прямо с веток, и все мужчины в черно-белых «нариманах» ходят, будто танцуют, под стук кастаньет, на ходу поддевая острыми носами засохшие шкурки мандаринов и с лету забивая голы под восторженные крики мулаток.

- Ну? Долго будешь бегать от меня? Поездом трое суток... тут еще концерт...

- Люба, ты...- выдохнул дядя Коля и зачем-то надел шляпу для вытяжки греховных мыслей.

Меня они не замечали в упор. Но я никак не мог уйти без покрывки – дюжина пацанов ждала во дворе, а Батон приволок велосипедный насос. Я слинял в темный угол.

- Устала я, Коля, – присела на табурет Люба.

Поморщившись, сняла туфлю, размяла ступню.

Нежданно и стремительно, как орангутанг на длинных лапах, шурша кожаными заплатами на обрубках, дядя Коля подлетел к

ножкам в капроне, но не стал их гладить, а принялся целовать ступни, как заведенный. Шляпа его свалилась и покатилась.

Люба переломилась в тонкой талии, коснулась губами макушки, – так кочевники нюхают голову ребенка, – тоненько завyla и стекла вниз, струясь, что капрон. Оказавшись на одном уровне, они начали ощупывать друг дружку, словно проверяя, на месте ли, не исчез? Странно, они целовались не в губы, как полагается взрослым, а в лоб, глаза, нос, ухо, куда ни попадя... Как дети, ей богу.

Под эту суматоху я выскользнул наружу. И вернулся через час: мы решили гонять в футбол – черт с ним! – рваной покрывкой.

– А? Чё тебе, Гендос? Покрывка? Ага, щас... – рассеянно переспросил дядя Коля, взял в руки покрывку. И тут же о ней забыл.

Успокоенные, они сидели уже за столом, где мерцали китайский термос с драконом и ополовиненная бутылка коньяка – та, генеральская. Он на табурете, она на крутящемся железном стуле.

– Ну? Едем, Коля, – сказала женщина, игриво крутившись на стуле, щелкнула сумочкой и вынула зеркальце. – Домой, домой! Какие вопросы, Коля?

Глядя, как пудрится Люба, с кашлем вытолкнул из груди дядя Коля:

– Красивая ты, вот и весь вопрос... Это была разведка боем, фрау, и разведка донесла, что мы не пара. И точка. Конец связи.

– Что значит не пара, Коля? – встала во весь рост, шурша перьями и капроном, залетная птица.

– Сложная пара. Черно-белая...

– За тридцать копеек? Дешево ты себя ценишь!

– Люба, да найдешь ты себе получше, с ногами, шнурками... Давай-ка, Любовь, выпьем на разлуку... – ухватил бутылку хозяин.

– Я буду пить за встречу, – гостя накрыла ладонью граненый стаканчик. Ого, у нее и ногти лакированные! – Помнишь там, в парке?

– Тогда, может, станцуем, мадам? Щас, токо брюки поглажу... – хлебнув коньяку, слез с табурета дядя Коля. – Токо, боюсь, для танго больно разного мы роста. Больно, Люба...

– Ты опять за свое, капитан?

– Ага, я капитан, вот мое судно!.. – длинной рукой капитан вытащил из-под кровати эмалированную емкость с ручкой и с грохотом бросил к ногам Любы. – В рот фокстрот! А ну покажи ей сортир, Гендос!

Дядя Коля оседлал свою тележку и теперь бешено крутился на ней, колеса от детского велосипеда визжали.

- А ну пшла!.. Ты для кого вырядилась? Каблучки, чулочки со швом, духи «Кармен»! Шлюха! Хочешь хахаля, так и скажи! Только свистни – шнурки сбегутся!..

Чистильщик шмякнул о стену футбольную покрывку, подвернувшуюся под горячую руку.

Женщина пошла к выходу. Цоканья каблучков не было: она шла на цыпочках.

Я подхватил покрывку – черт с ней, с дыркой! – и обогнал даму на лестнице, ведущую из подвала вверх. К свету.

И заплутавшая гостя исчезла из города так же внезапно, как появилась. Испарилась, будто взмыла. Сделала прощальный круг над городком, зажатый выгоревшими сопками, пролетела вдоль реки с безлюдной черной баржей, снизилась над нашим двором, выкликая часто и звонко: «коля-коля-коля-коля!» - и устало, с благодарностью расправила крылья, инстинктивно делая поправку на вращение Земли.

А безногий чистильщик, не видя неба, продолжал трудиться на перекрестке улиц Ленина и Каландаришвили. Но уже не проделывал фокус с щетками. Наверное, поэтому клиентов на пяточке у аптеки резко убавилось. И наверное, поэтому дядя Коля стал чаще выпивать на рабочем месте – не только в обед, но и с утра. Шляпу он потерял, и вообще стал дурно пахнуть. И милиция вежливо вытурила инвалида с центральной улицы.

...Мы гоняли футбол, когда пыль, поднятая нами (проигрывали с позорным счетом), смешалась с пылью от «шкоды» с красным крестом. Кто-то из заказчиков вызвал «скорую» в подвальную сапожную мастерскую.

Гроб для дяди Коли был похож на детский.

Артельные не знали, что делать со скудным имуществом бригады. Родственников не нашлось. Баян отдали попрошайке, который умел на нем играть. Тот страшно обрадовался и грозился поставить свечку за упокой хозяина баяна с первого же подаяния. Фотографию, ту, где дядя Коля с ногами, и награды отдали в военкомат. А вот пачку писем в обувной коробке в присутствии всей футбольной команды почему-то всучили мне.

Кто-то из пацанов выхватил письмо и громко зачитал. Но с первых строк стало ясно, что читать это надо или одному, или уж никому... И я решил письмо сжечь. Дворовые разделились на две команды: за и против костра, чуть не подрались между собой. На этот раз наша команда победила.

Но когда пепел за сараями развеялся, на земле остался прибитый дождем обуглившийся уголок письма с буквами «овь». Нет, не кровь, не свекровь, не вновь морковь, а, скорее, любовь. И, похоже, с большой буквы.

## **ВВЕРХ ПО МИССИСИПИ**

*Адвоката мне назначили. Дали самого никудышного.*

Во время первой нашей встречи она очень смущалась, позже призналась, что это ее первое дело. А раньше была учительницей. Поступила заочно на юридический. Мне было все равно. Я никогда не играл в защите – только в нападениях. Очно. Заочно в футбол не сыграешь. На суде, был уверен, правда восторжествует. Я не хотел никого убивать – они первые начали. Но Оксана Федоровна тоном учительницы заявила, что поражается моей беспечностью. У нее были красивые серые глаза. А больше ничего красивого. Адвокат сказала, что свидетелей в нашу пользу практически нет. Да еще прислали плохую характеристику с места работы. Написали, что я отлынивал от поручений и норовил уйти в отпуск вне очереди. Плюс дело о разводе – личная жизнь, конечно, но все-таки. Присяжным заседателям это может не понравиться. Из обвинительного заключения стало известно, что я средь бела дня схватил железный прут и нанес им несколько ударов гражданам, дожидавшимся поезда. Отчего один из них до сих пор находится в больнице. Так утверждали водитель такси, еще один мужчина и женщина. Я заметил, что в деле отсутствует мотив. С чего это вдруг, спрашивается, ни с того, ни с сего я схватил железяку и набросился на людей? Мотив есть, усмехнулась адвокат и сообщила, что мне назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Мотив городского сумасшедшего мне мало импонировал. Хватит одной. Кстати, эта дуручка, из-за которой разгорелся сыр-бор, и есть самый ценный свидетель. Вот где она? Оксана Федоровна лишь вздохнула.

В тот же день меня перевели в следственный изолятор: тюрьма, когда вывели из фургона-автозака, показалась огромным, в полнеба, свинцовым дирижаблем. На другой половине купола будто застыл на ме-



*сте белоголовый орлан – уж не меня ли выглядывал в смрадном городе повелитель прерий, прилетев из дельты Миссисипи?*

В то лето мне сказали, что у дедушки в деревне есть речка, лошадь и собака. Ах, что за счастье!.. Речка, лошадь и собака, несомненно, обещали настоящее приключение. Я уже воображал себя то ковбоем, то охотником-индейцем, то золотоискателем, то в хижине на берегу Миссисипи...

С собой в деревню я взял карту мира, компас без стрелок, пистолет с пистонами, школьный ранец для золотых самородков, два сухаря и – тайком от родителей – коробок спичек.

Лошадь оказалась старой, речка – ручьем, собака – кривоногой дворняжкой с несерьезным именем Шарик. У нее даже ошейника не было. Зато и ручей, и лошадь, и собака Шарик были настоящими, понимаете? Вдобавок, от дедушки пахло дымом дальних костров и странствий. Правда, дедушка сказал, что всю жизнь пас коров за ближней сопкой, но я ему не очень-то верил.

Мы переходили ручей вброд вслед за коровьим стадом. Ручей был чистый и холодный, и я до ломоты в ступнях вглядывался в каменистое дно, надеясь отыскать золотой самородок. Иногда солнечный луч указывал на него в торопливой воде – у меня часто колотилось сердце. Долго, не веря, держал я в руке речной голыш, мгновенно сохнувший на солнце до последней прожилки... Дедушка окликал меня, и я спешил, стараясь не угодить в теплые коровьи лепешки.

Меня усаживали в седло. Конь фыркал, подергивая гладкой кожей, шевелил ушами, но, как я ни бил пятками, не скакал рысью. Шарик, тот вообще не лаял и беспрестанно зевал. Шерсть у него свалась катышками, глаза – черные пуговицы – слезились. Дедушка говорил, что лошадь и собака тоже на пенсии.

Возвращались в сумерках. Коня теребили за гриву, меня – за чуб. Шарик кидали кость – он молча вилял хвостом. Струйки кизячного дыма утекали в вечернее небо под перезвон ведер. Призывное «ир, ир, ир» несло над крышами. Коровы мычали в ответ и разбредались по дворам. Шли домой и мы.

Вечером или в плохую погоду сидели вокруг печки. Я, дедушка и собака Шарик. Сердито шипели мокрые поленья, за окном скулил ветер. Дедушка сидел на низкой скамеечке и курил трубку. Булькало в чайнике, гудело в трубе, под полом пищали мыши. Розовые отсветы

гуляли по темным стенам, лизали дедушкины морщины. Где-то далеко кричала неведомая птица. Было ничуть не хуже, чем в хижине на берегу Миссисипи.

- Какое смешное слово, - дедушка выпустил из-под усов колечко дыма. Оно сразу же убежало в приоткрытую дверь печи. - Ми-си-си... как?

- Миссисипи! - повторил я и бросил взор на компас. - На языке индейцев - Большая река.

Собака наострила уши и внимательно посмотрела мне в глаза.

- Ишь ты! - поцокал языком дедушка. - Совсем не по-бурятски!

На огонек заходил сосед - горбатый старик Агван и тоже цокал языком, обнажая беззубый рот. Дедушка говорил, что Агван знает все. Поздний гость перебирал четки, будто считал кедровые орешки, кланялся загадочно улыбающимся бурханам. Я засыпал под тихий стариковский говор.

Однажды в степи, когда коровы забрели в сосновый лесок, я сорвал травинку и стал водить ею по карте мира. Дедушка отпустил коня и заглянул через плечо:

- Э-э... скажи, а где течет река... Большая река?

- Миссисипи? - подмигнул я Шарiku. Тот вильнул хвостом и зевнул.

- Во-во! - оживился дедушка. - Ми-си-си... Смешное слово! Ветер услужливо перелистнул страничку школьного атласа.

Я ткнул травинкой в Северную Америку. Она была похожа на толстую акулу с раскрытой пастью: вот-вот проглотит Кубу словно рыбку.

- А мы где? - заволновался дедушка.

Кто-то жарко дыхнул в ухо. Я оглянулся. Шарик внимательно изучал Америку своими глазами-пуговицами.

Я быстро нашел голубую слезинку Байкала на второй половинке карты.

- Ух ты! Мы, значит, тут, а они, значит, там!.. - почесал под шапкой дедушка и провел темным ногтем по Миссисипи. Шарик осторожно понюхал карту и фыркнул - Америка была явно несъедобной.

Дедушка хмыкнул и поглядел вдаль. Выгоревшие за лето желто-бурые сопки качались в теплом воздухе. Конь, отмахиваясь хвостом от паутов, щипал траву. Коровы лежали в тени сосняка и жевали жвачку, будто разговаривали друг с другом. Крошечными

мотоциклами тарахтели кузнечики. Из норки выглянул кто-то уса-  
тый и тотчас скрылся. Над степью парил сапсан.

- Эх-ха... - пощурился на птицу дедушка и вздохнул. - Хоть бы од-  
ним глазком!..

С того солнечного, без единого облачка, дня дедушка начал все  
чаще задумываться. Иногда он удивленно оглядывался вокруг, слов-  
но видел эту степь и этот улус впервые в жизни.

- Однако, там тоже люди живут! - твердо сказал он как-то вече-  
ром.

Я засмеялся: дедушка открыл Америку!

- Ишь, книгочей! - рассердился дедушка. - Вот увидишь, вот уви-  
дишь!..

Он отошел в угол к медным бурханам и забормотал слова молит-  
вы. Как всегда, пришел старик Агван, они шептались и перебирали  
четки.

Утром дедушка почистил сапоги, надел пиджак с орденом и до-  
стал со дна сундука маленький сверток, перевязанный резинкой.  
Напоил, запряг коня, бросил сена в телегу...

Усталые, мы прибыли в большое село. Копыта цокали о булыжную  
мостовую.

Шарик и я, обнявшись, лежали в телеге и грызли сухари. Нас об-  
гоняли грузовики и велосипедисты. Небо было серое, с низкими об-  
лаками.

Лошадь встала у дома с каменным крыльцом и красным флагом.

Я, дедушка и Шарик тщательно отряхнули с себя пыль, но в дом с  
красным флагом пустили только двоих.

В огромной комнате могло поместиться коровье стадо. Ковер под  
ногами был мягким, как трава. На стене висел портрет лысого весе-  
лого старикана с золотой звездой на белом пиджаке. Лысина была  
желтой, как у бурхана, гладкой, как бильярдный шар в прокуренной  
бильярдной горсада, но, скорее всего, зайчики пускала не голова, а  
стекло, сообразил я.

Стол был предлинный, а в конце его, прямо под портретом сидел  
человек в галстук и улыбался. Завороженные портретом, мы как-то  
не сразу его заметили. И зачем такому маленькому человеку такая  
большая комната?

- А-а, кто к нам пожаловал!

Хозяин большой комнаты вышел из-за стола.

- Наш ветеран! Фронтовик, передовик! Гордость района! Прошу, прошу! Забыли вы нас, нехорошо, нехорошо! Как здоровье? Как дети? Отдыхаете, ахатын? А-а, вижу, вижу, внук, да? Тебя как зовут, мальчик? Из города приехал? В каком классе? Как учишься?

Человек в галстук забросал нас вопросами, как снежками. Они были холодными, эти вопросы, несмотря на то, что хозяин большой комнаты улыбался. Глаза у него были холодными, что ли?

Дедушка присел на краешек стула.

- Спасибо, спасибо... - кашлянул он и уставился на свои сапоги.

Человек в галстук снова улыбнулся:

- Не стесняйтесь, уважаемый! Вы же наша гордость! - Человек подошел и потрогал дедушкин орден. Завидовал. У нас во дворе так смотрит на чужую обновку Толик, прозванный Ссальником за то, что писается в постель.

- Пенсию вовремя приносят? Крыша не протекает? А может, все-таки здоровье, а? Могу устроить путевку...

- Во-во, путевку, - оживился дедушка.

- Нет вопросов! - радостно вскричал хозяин большой комнаты.

Это хорошо, подумал я, что у этакого говоруна наконец-то кончились вопросы. Можно кое-что и самому спросить. Я поднял руку, как на уроке.

- Что тебе, мальчик?

- Скажите, зачем вам одному такая большущая комната?

Человек с холодными глазами задумался.

- Молчи, молчи... - испуганно прошептал дедушка. - Путевку испортишь!

- Ох уж эти нынешние детки... - улыбнулся человек.

Глаза у него стали еще холоднее.

По-моему, он так и не придумал ответа.

Я поглядел в окно. На улице, понурясь, стояла наша лошадь. Шарик неотрывно пялился на дверь.

Хозяин большой комнаты взял в руку остро очиненный карандаш красного цвета.

- В санаторий или дом отдыха?

- А? Что? - удивился дедушка.

- Я говорю, куда путевку? В санаторий или...

- Нет, нет, - заерзал на стуле он. - Мне далеко надо. Шибко далеко!

На улице Шарик усердно вилял хвостом, но его все равно гнали от крыльца.

- Желаете турпутевку? — в свою очередь удивился хозяин. — Ну что ж... Куда именно?

- В эту... как ее... Ми-си-си... Смешное слово такое!

- Миссисипи! — обернувшись, выпалил я.

- А... где это? — не сразу спросил человек с холодными глазами. Вид у него был растерянный. А говорил, что вопросов больше нет! В галстук, а не знает, где течет Миссисипи! В школе, наверное, учился на тройки... Деревня!

- Миссисипи — великая река Америки, — подражая учителю географии, изрек я. — На языке индейцев — Большая река.

- Да вы что?! — понизил голос бывший «троечник». — Смеетесь, да?!

Я засмеялся: уж очень сильно испугался взрослый дядя.

- Шутники... — отдуваясь, расслабил он галстук.

- Да раньше за такие шуточки!.. Я тебе такую Америку покажу!.. — погрозил мне пальцем.

Лысый старикан с портрета весело показал мне кулак.

Хозяин покраснелся, затянул потуже галстук и произнес речь. Америку следовало догнать и перегнать.

- Что-то не пойму я... — почесал затылок дедушка. — Неужели вся Америка такая плохая?

- Уж не хотите ли вы уехать туда... э-э... насовсем? — побледнел этот любитель глупых вопросов.

- Зачем насовсем? Мне бы с ихними стариками поговорить. Старики везде одинаковые... Урожай каков, чем скотину кормят, ну и про жизнь... Я говорю, люди везде одинаковые... Да вы не беспокойтесь. Дорога, конечно, дальняя, но я кое-что скопил... Вот.

Дедушка привстал и протянул хозяину огромной комнаты маленький сверток, перевязанный резинкой.

- Уберите! Уберите!.. — попятился тот и вдруг затопал ногами по ковру. Поднялась пыль.

- Вон отсюда! Не позволю! Вон!.. — закричал он изо всех сил.

Тут, откуда ни возьмись, на ковер колобком влетел Шарик и зала-ял. Послышался треск разрываемой штанины, шум, крики...

За окраину села нас проводил хмурый милиционер. Шарик винато бежал за телегой. Конь фыркал — милиционер вел его под узд-

цы. Дедушка не смотрел на дорогу и держался за грудь. Ему было худо.  
- Эх, вы... — выдохнул милиционер и утерся платком. — Старый да малый!.. Скажите спасибо, легко отделались...

И он пошагал обратно - в селе уж зажглись первые огоньки. Знакомое «ир, ир, ир!» донеслось оттуда... Дедушка лег в телеге ничком. Шарик прыгнул в телегу, уткнулся носом ему в щеку. Я взял в руки поводья, криком прогоняя страх, - впереди была ночь...

Дедушка занемог. Он все реже вставал с постели, и все чаще в дом приходил старик Агван. Шарик вздыхал. Нос у Шарика был сухой, глаза его - черные пуговицы - слезились.

Старик Агван, еще больше сторбившись перед медными бурханами, перебирал четки - кедровые орешки. Я чиркнул спичкой и поднес ее к бронзовой чашечке - дом наполнился запахами степи...

- Ом-мани... - крутил медный барабанчик старик Агван. - Ом-мани...

Это протяжное «О-о-м-м-м», сливаясь со звоном колокольчика, вытянулось кривоватым сизым колечком, отплыло от бронзовой чашечки, обволакивая и щекоча ресницы. Я моргнул и чихнул. Колечко дыма испуганно юркнуло в раскрытую печь и шустро унеслось - через трубу - в небо.

Шарик лизал дедушкину руку и скулил.

- Ом-мани... - гнусавил, будто у него насморк, старик Агван. - Ом-дари-дудари-бурчэм-сууха...

Тихо звенел колокольчик. Я закрыл глаза и представил, что это колокольчики звенят в облаках, там, где бродят синие коровы... Синих коров доят мальчишки с крылышками, а молоко само по себе разливается по небу огромным белесым одеялом. Вот откуда берутся облака.

Шарик стал подвывать Агвану и застучал хвостом о пол. Я проснулся.

- Ом-мани... - все так же бубнили рядом. Агван начал покачиваться.

Я сложил ладошки так, чтобы они приклеились. Но они не хотели приклеиваться!

Дедушка подозвал меня и понюхал голову:

- Не плачь, ты же мужчина. Агван сказал, я буду жить в другой жизни... где Ми-си-си... Ми-си-си...

Он задышался.

– Миссисипи, – сжал я дедушкину руку и вытер слезы.  
Миссисипи. Миссисипи. Миссисипи!

## РОМАН С ЧЕМОДАНОМ

*В тюрьме меня замучили клопы. Я мерил шагами камеру от унитаза до окна, сонный, вовсе не от того, что камера была переполнена, и спать приходилось «в очередь». Тело чесалось во сне и наяву. Сосед, милейший человек с бородкой разночинца, который парился на нарах седьмой месяц, сказал, что через пару недель клопы признают меня за своего и кусать будут меньше. Так оно и вышло, а, может, кожа задубела, не знаю, но укусы я перестал замечать и даже играл с клопами в прятки. На верхних нарах, откуда до потолка было рукой подать, я обводил ногтем ползущего по сыроватой штукатурке клопа, он начинал, тыкаясь, ходить по замкнутому кругу, не в силах одолеть контрольно-следовую полосу, пока, обессилев, не падал вниз. Сосед давил вампира ногтями, приговаривая «прости, Господи». Позже мне сказали, что этот милейший человек задушил во сне тещу и прирезал ее любовника, а потом расчленил их. Нет, вру, расчленил только тещу. На мосластого молодого бойфренда сил не хватило. И вынес части тела в большом фибровом чемодане. Сейчас таких не производят – я не про любовника, про фибровый чемодан.*

Сколько помню, этот фибровый урод всегда был где-то рядом и постоянно угрожал семейному благополучию. Огромный, как буфет, не раз битый ногами и об углы, посеченный шрамами бурной молодости, с отваливающейся ручкой, заедающим замком и днищем, вытертым до ржавой проседи, чемодан, тем не менее, требовал к себе внимания. Одно время он стоял в прихожей, неподъемный от старых газет, учебников и поношенных детских вещей, – так об него все запинались и чертыхались. Фибра, хоть и не новая, хорошо держала удар, как говорят боксеры, а при случае, казалось, давала сдачу. Когда сыну надоело ходить пешком под стол и вздумалось оседлать чемодан, как пони, он, взбрыкнувшись, придавил наезднику ножку. Было море слез, истерика у жены, чемодан терпеливо снес пинки и удары скалкой и пластмассовой саблей, мстительные выкрики типа: «Так тебе, получай, нехороший, получай, у-у!» На новой квартире чемодан заимел скверную манеру без спросу падать с антресолей,

на смерть пугая домашних. Это фибровый реликт никак не вписывался в современную планировку, упрямо отказываясь лезть в шкаф, в сервант-«стенку», а под кроватью собирал вокруг себя кучу пыли. Чемодан опять определили в прихожую, более просторную по сравнению с прежней, но и там он продолжал свои гнусные выходы, падая под ноги гостей, которые от неожиданности выражались и смущались одновременно. Фибровое хамло ставило в неудобное положение не только интеллигентных людей, но и домашних животных. Четырехмесячного щенка ротвейлера, которого купили за непозволительные деньги в качестве сторожевого пса, он испортил на второй день. Глупый щенок, видимо, решил, что этот будкообразный гладкошерстный объект коричневой масти – живое существо, только неизвестной породы. Наверное, его сбили с толку сложные запахи, которыми чемодан напился за долгую жизнь среди людей. Весь день щенок подлизывался к соседу по прихожей, тщательно его обнюхивая и виляя хвостом, но молчаливый чемодан плевать хотел на собачий политес. На второй день, не вытерпев, щенок возмущенно гавкнул на чемодан. В ответ тот рухнул, подняв облачко пыли, чем надолго лишил щенка дара лая. По крайней мере, его, лая, мы так больше и не слышали – щенок только скулил в углу и обиженно косился на гладкошерстного соседа. Пришлось сбыть пса в хорошие руки за полцены, так как содержать его за здорово живешь не позволял местный бюджет. Жена сказала, что ненавидит чемодан – впервые за все время их знакомства. На семейном совете вопрос был поставлен ребром: или я, то есть она, или он, то есть чемодан. Доводы были серьезные. Кроме прочего, он портил интерьер, в прошлый раз покалечил подругу с мужем, а также отпугнул милых людей, пришедших по объявлению о продаже щенка. В-десятых, она не понимает, чего мне от него нужно. Жену поддержал сын, которого замучили прыщи, но, однако, помнившего давнюю обиду. После дебатов большинством голосов чемодан был отправлен в ссылку – доживать дни на балконе.

Я и сам, честно говоря, не понимал, зачем мне этот образец материальной культуры эпохи развитого феодализма. Прежде фибровый чемодан был, конечно, нужнее человеку. Он заменял кожу и был доступен каждому гражданину. Кроме прямого назначения, на нем, к примеру, можно было сидеть. И хорошо сидеть. Однажды Первого мая, в День, если кто не помнит, международной солидарности тру-



дящихся, в доме не хватило табуретов, и на чемодан, произнесся тост и облобызав родителей, со всего маху села пьяненькая соседка тетя Зина. И чемодан даже не пискнул. А тетя Зина, между прочим, была необъятной, как городская тюрьма, потому что работала в тамошнем котлопункте, и была известна тем, что как-то нечаянно, то ли во сне, то ли при перемене позиции, задавила любовника. Был суд, и судья, полная положительная женщина без очков, оглядев чемоданные габариты рыдающей тети Зины, отпустила ее на волю.

Кроме сидения на воле, чемодан предоставлял массу других услуг.

Когда мы жили в бараке, я, бывало, готовил на нем уроки, а мама гладила на чемодане белье. Изредка по субботам после работы к отцу приходили друзья-фронтовики, и если мама не сердилась, а единственный стол был по-прежнему занят, то мужчины устраивались с чемоданом где-нибудь в углу, выставляли не него пару чекушек водочки, мама резала на столе холодец, хлеб, лук, а то и колбасу; накинув телогрейку, я бежал во двор, торопливо рубил топориком в дощатой кладовке мерзлую квашеную капустку, – и все это богатство перекочевывало на чемодан. Выпив-закусив, поругав начальство и американский империализм, отец с товарищами вытирали фибру насухо и, поддерживая чемодан коленями, играли на нем в домино – играть в карты дома мама запрещала.

Да что там говорить! С этим чемоданом можно идти в бой. Было дело, отец, возвращаясь с курорта, в тамбуре плацкартного вагона отбил фиброй удар финкой, а взмахом чемодана оглушил одного из грабителей, которые покусились на этот самый чемодан. Выставив же фибру впереди себя, можно было без труда пробиться сквозь очередь к заветному окошку кассы с криком: «Поберегись!»

«Человек без чемодана представляет жалкое зрелище, – говорил перед тем, как насовсем уйти из дома, отец. – Все равно что лодка без весел. И не человек вовсе, а полчеловека. А мужик и подавно. Если у тебя под рукой, под ногой или под жопой фибровый чемодан, значит, еще не все потеряно».

Этот чемодан с протертым днищем, как верный слуга, хранил тайну первого грехопадения хозяина. И когда много лет спустя теща с женой обвиняли в суде чемодан в двуличии и пособничестве разврату, то в общем-то были – по-женски, интуитивно – не так уж далеки от истины. Как сейчас помню, худощавым молодым человеком ехал я в переполненном рейсовом автобусе на производственную

практику. Позади был первый курс, впереди – месяц в деревне и вся жизнь, под тощей задницей – фибровый чемодан; мест в автобусе не было, вернее, у меня – то оно было, но в последний момент я уступил его женщине в ярком цветастом платье и уселся на чемодан в проходе. Помню сережки с зелеными камешками, маленькое розовое ухо, чуть вздернутый носик, а когда оборачивалась, – ямочки на щеках и щербинку на зубах. Женщина держала в руках большой пакет с портретом Аллы Пугачевой и вслед за ней то и дело улыбалась мне поверх голов – благодарила. После очередной остановки место рядом с ней освободилось, на него нацелилась было тетка с бидоном, но услышала категорическое «занято». Было произнесено сие громко и грубо – так кричат на домашнюю скотину или похмельного супруга. Через пять минут я знал про обладательницу цветастого платья практически все: что она ездила в город просить денег у родни, денег, конечно, не дали, сволочи, у них снега зимой не выпросишь, пусть подавятся салом, которое она им привезла; зато купила дочке кой-чего в школу; что работает она в смешанном магазине («Смешном?» – переспросил я и мы долго смеялись), что кормов нынче мало, что муж пьет, но в целом человек хороший. Автобус тряхнуло, соседка, обдав духами, прижалась теплым бюстом и задушевно спросила, не отшиб ли я чего, сидя на чемодане. А еще через полчаса мы сошли на пустынной развилке дорог. Как только осела пыль, выяснилось, что она выше меня ростом и до ее дома минут двадцать ходу, а если не огибать сопку, то и того меньше, а до райцентра и заветной производственной практики еще километров тридцать. Она засмеялась, колыхнувшись грудью, обнажая щербинку, и успокоила: ничего страшного, райцентр не убежит, а производственную практику можно пройти везде, была бы охота. И она снова засмеялась, снимая туфли. Чемодан несли по очереди – он был наполовину набит книгами, последние метры дистанции чемодан тащила она, а я нес пакет и женские туфли со свежими набойками, и это меня волновало. Добравшись до лесополосы, мы первым делом уселись на чемодан, переводя дыхание. Потом замолчали, как заговорщики. Изредка по дороге, вздымая пыль, пронеслись грузовики. В траве стрекотали кузнечики, было жарко, но снимать платье она не решилась, так как стеснялась, да и лесополоса была жидкой, из молодых тополей; но и пачкать выходной наряд не хотелось, и в дело спонтанно пошел чемодан, который, как опытный греховодник, упал под нами в нуж-

ный момент. Было не совсем удобно, с чемодана постоянно что-то свешивалось – то нога, то сережки с зелеными камешками, то снова нога; фибра скрипела, но терпела, едко пахло духами и раздавленной полынью, в глазах рябило от узоров разнотравья и платья, колено больно резала открывшаяся скобка замка, все ближе и ближе жужжал шмель, но с тем и другим я ничего поделать не мог. Наконец мы с криком свалились на землю, а чемодан, встав на дыбы, закрыл от взора любопытной полевой мыши заключительный аккорд гимна во славу природе... А еще через полчаса она, мгновенно тормознув своим выдающимся бюстом «КАМаз» с прицепом, заботливо подавала мне в кабину чемодан. По итогам производственной практики мне в зачетке поставили «удовлетворительно».

Потом была настоящая практика, в более комфортных условиях, один раз даже при свечах, но, странное дело, то ли чемодана не было поблизости, то ли было слишком много слов, не запомнилось ничего такого, из-за чего можно было потерять сон и аппетит. Зато я потерял его после того, как чемодан отлучили от семейного очага. Кусок в горло не лез, лишь только представлял чемодан (и себя заодно) за окном – состарившегося, больного, честного работягу, преданного близкими, – под дождем или снегом. Я стал плохо спать. Ночью я вставал, на цыпочках, чтоб не разбудить жену, подходил к балконной двери, прижимался щекой к холодному стеклу и вглядывался в темноту, стараясь при свете уличного фонаря угадать знакомые очертания. Но жену я все-таки разбудил, и она записала меня на прием к андрологу. Андролог отклонений не обнаружил, но о чем-то долго шептался с женой.

За ужином, когда я ковырял вилкой котлету, жена вдруг завела разговор о том, что ей тоже жалко чемодана, за эти годы он порядком помотал ей нервы и стал по-своему дорог, так что, – тут она запнулась, – статус домашнего животного наш чемоданище вполне оправдал. Но. Жена сделала паузу: если домашнее животное перестает выполнять свои обязанности, то добрый хозяин все равно не выбросит его на улицу, а отдаст в хорошие руки. Чем фибровое наше сокровище хуже породистого щенка ротвейлера? Да ничем. И вполне заслужил достойную старость. Я насторожился. Думаю, жена с удовольствием выбросила бы фибровое сокровище на помойку, кабы не печальный опыт. При одной угрозе данной карательной акции я запил горькую. И перестал ее пить после слов, что это была шутка.

Жена перевела дух: на сей раз ей не до шуток, наш балкон не настолько велик, чтобы терпеть этого фибрового носорога, к счастью, – жена поправила прическу и внимательно оглядела ногти без маникюра, – имеется неплохой вариант. И что же это за хорошие руки, поинтересовался я. Не трепыхайся, был ответ, твой фибровый урод даром никому не нужен, она узнавала по знакомым, зато местному драматическому театру для новой постановки требуется реквизит, в том числе старый фибровый чемодан. И она ткнула пальцем в газету. Что ж, подумал я, театр – приличное заведение, все лучше, чем прозябать на балконе, опять же в коллективе, с людьми.

В означенный день и час в фойе местного театра выстроилась очередь. Я никогда не думал, что в нашем городе осталось в живых столько фибровых чемоданов. Разных калибров, модификаций и поколений, они еще держали фасон и в основном сохранили благородную шоколадную масть. В ней чудился вечный загар искателя приключений, в строгих линиях – военная статья и выправка, в блеске заклепок и уголков – чувство собственного достоинства, а в замочном щелчке – выверенный жест аристократа. Самый маленький из семейства фибровых служил для походов в баню, на тренировку или на работу. С ним можно было сообразить на троих, точнее, на четверых, за углом или на лоне природы – и стул, и стол по желанию, не даром фибровый чемоданчик уважали сантехники и прочие работники по вызовам, которые внутри рядом с инструментом держали стакан, порезанный шматок сала и горбушку хлеба, и хлеб, заметьте, не черствел. Более крупный фибровый экземпляр можно было смело брать в командировку или в недельный загул, его обожали абитуриенты, демобилизованные воины и воры-рецидивисты. В таких случаях чемодан изнутри поверх мелкого клетчатого рисунка оклеивался фотографиями родных, знакомых по переписке женщин, журнальными вырезками киноактрис и девушек в купальниках, открытками типа «Люби меня, как я тебя». Средний чемодан, размером с массовую копию картины Айвазовского «Девятый вал», годился для демонстративных уходов из семьи к любовнице и обратно в силу того, что запасные брюки сохраняли в нем первозданную остроту стрелок. Этот чемодан, без сомнения, подходил для иных краткосрочных выходов – в дом отдыха за интригой и в лес за грибами. Самый большой фибровый чемодан был незаменим для первых целинников, спекулянтов и торговцев заграничными капроновы-

ми чулками и бюстгальтерами, кедровыми орехами и семечками, а также для молодоженов, не обремененных имуществом. Именно в таком гранд-чемодане я исправно писался в пеленки до шести месяцев, и теперь, глядя на характерные рыжеватые разводы во внутреннем убранстве, гадал: то ли это детство золотое просочилось сквозь толщу лет, то ли снег и дождь сквозь фибру. Опальная ссылка на балкон нанесла чемоданному имиджу ощутимый урон. Фибра местами прогнулась, замки заржавели, краска кое-где полиняла, изнанка отстала, крышка скособочилась и закрывалась с трудом. Вдобавок чемодан стал дурно пахнуть, старик резко сдал, как после хронического простатита и на него нельзя было смотреть без слез. И хотя мы с женой хорошенько помыли его с шампунем и обрызгали мужским одеколоном, дабы перебить запах не то голубиною, не то кошачьего помета, выглядел он в фойе театра среди своих более благополучных собратьев ужасно. И потому я крайне удивился, когда помощник режиссера – вертлявый молодой человек с длинными волосами, собранными на затылке в косичку, – остановил свой шаг возле нашего чемодана. То, что надо, – он щелкнул пальцами и заявил, что дает за чемодан двадцать пять рублей. Жена захлопала в ладоши. Бис. Браво. Вереница фибровых чемоданов потянулась к выходу. Я возмутился. Мой чемодан стоил дороже. Помреж сказал, что это окончательная цена, у театра нет лишних денег, а двадцать пять – хорошая цена по нынешним временам. Жена, изучив маникюр, сказала, что из любви к искусству готова отдать чемодан даром. Обняв чемодан обеими руками, я, похолодев от наглости, назвал совершенно немыслимую цену, так как чемодан – раритет. Помреж рассмеялся, тряхнув косичкой, потом нахмурился и процедил, что может добавить еще пять, – он выдержал трагическую паузу, – своих собственных рублей. Между прочим, заметил я, эта дряхлая развалина – не то, что надо. Я пнул чемодан: один замок заедает, крышка еле закрывается, а краска, сами видите, вся облезла. При этих словах группа фибровых чемоданов застыла у выхода. Помреж, откинув волосы со лба, горячо заговорил, что именно такой ретро-стиль им и нужен. Понимаете, раскраснелся он, глядя на жену, сверхзадача спектакля состоит в том, чтобы зритель испытал катарсис через преодоление символов греховного бытия. По ходу пьесы главный герой бросает чемодан со всем нажитым и обретает способность летать... Браво. Бис. Плевать я хотел на ваш катарсис и вашу сверхзадачу, пе-

ребил я этого пижона, гоните бабки или чемодана вам не видать как своей косички. Помреж хмыкнул, развел руками и сказал, что на таком пещерном уровне он общаться не умеет. Супруга добавила, что ей за меня стыдно. Помреж поцеловал жене руку и обронил, что он ей искренне сочувствует. Намек был до обидного прозрачен, я дернул дамского угодника за косичку, и тут меня со всех сторон обступили фибровые чемоданы.

В милиции меня продержали полдня – пока оформляли протокол, выписывали квитанцию, повестку для явки на административную комиссию и зачем-то долго простукивали стенки чемодана. И когда я под вечер приехал домой с чемоданом под мышкой (ручка оторвалась в милиции), то меня – по ходу пьесы – ждали тишина и записка. «Можешь спать со своим чемоданом в обнимку, шизофреник, мы ушли жить к маме. Привет чемодану». На следующий день позвонила теща и елеиным голосом сообщила, что если дело только в чемодане, а не в других женщинах, то она может принять его у себя, ей как раз банки для варенья хранить негде. Я бросил трубку. У тещи, надо сказать, был пункт. С тех пор, как за обеденным столом в ее присутствии произнес «сексуальная революция» и вскоре после этого не ночевал дома, потому что банальным образом напился у товарища в гостях и не мог самостоятельно передвигаться, теща определила меня в графу развратных типов, а хронические прорехи в семейном бюджете – тем, что трачусь на женщин и, возможно, живу на два дома.

Катарсис разразился спустя неделю, когда жена и сын в сопровождении тещи вернулись домой. Я был на работе и теща с ходу приступила к влажной уборке помещения, втайне надеясь решить сверхзадачу – обнаружить в квартире следы посторонних женщин в виде шпилек, отпечатков губной помады на окурках и бокалах, крашенных волос, проч. Таковых обнаружено не было, тогда из-под моей кровати был извлечен чемодан, протерт грязной тряпкой и случайно вскрыт. В нем были найдены пара черных сатиновых трусов, именуемых в народе «семейными», майки, носки, кальсоны, полотенца вафельное и махровое, кусок банного мыла, мочалка, зубная щетка, зубной порошок, бритва типа «станок» и запас лезвий к ней, кисточка и крем для бритья, расческа, одеколон «Шипр», сигареты «Прима», спички, выглаженная фланелевая рубаша, маленький граненый стаканчик, перочинный ножик с приспособлением для

открывания пивных бутылок, сушеный лещ, заботливо обернутый в газету, а в кармашке – пара ненадеванных капроновых чулок в целлофановом пакетики. Короче, мне было предъявлено обвинение в попытке умышленного разврата, а вернее, ухода из семьи к женщине примерно тридцати лет, разведенной и имеющей на иждивении ребенка дошкольного возраста. Жене не давали покоя капроновые чулки. Теща авторитетно пояснила, что в годы ее молодости такие чулки, да еще со швом, приличным женщинам не дарили, их дарили любовницам. Назвать имя разлучницы я отказался наотрез. Теща сказала, что ничему не удивляется, известно, из какой я семьи, тяжелая наследственность, их бросил отец ради другой и плохо кончил. Я замахнулся на тещу толстой книгой о вкусной и здоровой пище (Госиздат, 1957, 331 стр. с илл., без объявл., усл. кр-отт. 123,0, бумага мел., тв. переплет), был изгнан из дома вместе с чемоданом и временно поселился у холостого товарища, который, дыша мне в лицо ароматной сивухой, надавал кучу советов.

На суде теща подозрительно помалкивала – видать, смекнула, что дело заварилось нешуточное, зато жена заученно, пряча бумажку в рукав, обвинила во всех грехах, кроме разве что измены Родине, а чемодан в пособничестве. Причем тут чемодан, удивилась судья, полная положительная женщина в очках. Жена стала объяснять, оглядываясь на тещу. Теща вяло поддакнула про чемодан. «Не морочьте мне голову, – рассердилась судья. – У меня и без вас дел навалом. Конкретные факты измены имеются?» Теща пояснила, что имеются косвенные улики: и опять – бу-бу-бу – про чемодан. «Послушайте, граждане, – судья сняла очки. – Вы с кем разводитесь? С чемоданом или с человеком?» Она встала и сказала, что не даст развалить ячейку общества из-за какого-то там чемодана. И дала три месяца на размышление.

Маленьким мне казалось, что воскресная баня – то, ради чего живут люди. В моем представлении она как бы замыкала круг. Работать, пить, есть, ругаться днем, любить ночью, умирать к концу недели, смыть грехи, родиться, и снова работать, ругаться и любить... С утра только и было разговоров, как бы половчее занять очередь и успеть купить веник. Мама торжественно гладила смену белья и раздавала мелочь – отцу на пиво и веник, мне на крем-соду. Ходили как в культпоход – семьями.



Дело в том, что раньше горячая вода в домах отсутствовала, и в общественную баню по воскресным дням стекалось полгорода. Здесь, в длинных очередях можно было встретить знакомых, соседей и родственников, здесь отмякали души, вели неспешные разговоры, женщины обменивались слухами, мужчины играли в шахматы и сбрасывались на беленькую, молодежь знакомилась, здесь зарождались романы, планировались измены и будущие семьи, спекулянты обсуждали делишки, а в буфете все это соответствующим образом закреплялось. Единственное, из-за чего порой возникали споры – из-за веников, которых вечно на всех не хватало.

Мама с нами в баню не ходила, потому что по воскресеньям затевала большую стирку. Какое-то время я ходил в баню один, когда отец ушел от нас в первый раз, и в очереди, помню, сильно тосковал. Но однажды субботним вечером отец вернулся домой шибко навеселе и подарил маме капроновые чулки, а наутро, опохмелившись, объявил, что мы всей семьей идем в баню. Мама бросила стирку. По этому случаю отец взял наш самый большой чемодан и мама, сияя глазами, сказала, что он сошел с ума. Был солнечный морозный день, снег хрустел под валенками, искрясь, больно резал глаза. Отец шел по правую руку и нес чемодан, мама, смеясь, по левую, и когда попадалась ледовая дорожка, мы втроем дружно разбегались, и я, держась за руки взрослых и крича от счастья, катился по льду. В очереди отец сказал, что не нужно спорить, и начал, как фокусник, вынимать из чемодана березовые веники и дарить их нуждающимся женщинам как цветы. В буфете я объелся пирожными и беспрерывно рыгал от выпитой крем-соды, отец с мамой пили пиво, закусывая лещом, а мама, покрасневшись после парной, говорила, что она совсем пьяная. Ну и вот. А после отец от нас ушел. Уехал из города, вроде бы куда-то на север, только его и видели. Правда, кто-то из пацанов брякнул во дворе, будто моего отца посадили, и я, утирая кровь, дрался с обидчиком за сараями – «до первой слезы». Но я не плачу до сих пор.

Вот, собственно, и вся история с фибровым чемоданом. Когда мама была живой, она продолжала хранить в нем смену чистого белья и мыло – верила, что однажды отец вернется под воскресенье и мы пойдем в баню. Она так и не надела капроновые чулки, которые ей подарил отец – сначала ждала тепла, потом отца, потом просто тепла...



А фибровый чемодан нашел пристанище у меня под кроватью. Я пригласил знакомого слесаря и он всего за бутылку портвейна приладил к чемодану ручку, починил замок. Ржавчину я извел импортной пастой, начистил замок и заклепки до блеска зубным порошком. Сперва хотел подкрасить фибру, но решил, что пусть будет так, как есть. Изредка по субботам я протираю чемодан сначала влажной, потом сухой тряпкой, проверяю замки, перебираю мыло, одеколон, бритву, белье, перетряхиваю полотенца и рубаху, проверяю, не портился ли леж и капрон. Я искал по городу папиросы «Беломор-канал», которые уважал отец, но выяснилось, что его теперь почти не производят, и решил заменить их сигаретами «Прима». Со стороны это выглядит, наверное, смешно, давно нет мамы, давным-давно ушел отец, зато мне порой снится удивительный сон: над рекой встает туман, течение ленивое и мощное, но мне не страшно, потому что по правое весло сидит во всем чистом отец, по левое мама в новых платье и капроновых чулках, они молча улыбаются мне, седому мальчику, сидящему у руля; еще немного, и солнце пробивается сквозь клочья тумана, видны изумрудные заросли ивняка, ниже по течению играет рыба и низко над гладью реки летит птица; я спускаю за борт босые ноги, и вода такая теплая...

И в самом деле, сказала жена, наконец-то я перестал кричать по ночам.

## **ВХОД СО ДВОРА**

*Перед очной ставкой на меня надели наручники. Так я встретился со сказкой. Братец Иванушка и его сестрица по развратному промыслу Алёнушка устроили спектакль. Театр кукол. Жаль, аплодировать в наручниках я не мог. Впрочем, согласно протоколу у действующих лиц оказались другие имена. Их я опознал сразу. Они меня – тоже. Парень, едва сдернув с головы бейсболку, с ходу заявил, что я и есть тот самый преступник, который бросался на мирных граждан на остановке. Девушка сказала, что еще тогда, у вокзала, узнала меня. Ошибки быть не могло. Следовательно встрепенулся, бросил стучать по клавиатуре и спросил, не были ли мы знакомы ранее? Сутенера вдруг одолел кашель, девушка прикусила язык. Я сказал, что примерно за месяц до драки на вокзальной площади был клиентом этой проститутки. Девушка потерзала на табурете, попыталась натянуть короткую юбку на колени.*

Свидетель попросил занести в протокол страшное оскорбление: разве дозволено обзывать приличных граждан проститутками? Следователь сказал, что оскорбляют – то не его, пусть помолчит. И повторил свой вопрос. Девушка, поглядев на сутенера, произнесла с запинкой, что раньше меня не видела. На вопрос, знакомы ли свидетели между собой, молодой человек ответил, что они познакомились на вокзале как раз в тот день, когда присутствующий арестованный гражданин устроил там кровавое побоище. Так и сказал: кровавое побоище. Свидетели видели безобразие от начала до конца. Двое мужчин сперва о чем-то спорили. Тот, который ниже ростом, то есть я, хотел силой увести женщину с собой, наверное, чтобы совершить с ней развратные действия, а высокий не давал. Женщина была явно не в себе. Потом тот, который ниже, схватил железную палку и ударил высокого. Высокий погнался за обидчиком. Завязалась драка, в которой принял участие третий гражданин. Его – то и увезли на «скорой» после того, как я ударил его дважды по голове. Как с цепи сорвался. Чисто зверь. Надо такого изолировать от общества, и надолго. С разрешения следователя я спросил, что уважаемые свидетели делали на площади. Ждали поезд, был ответ. Следователь хмыкнул: известно, что они каждый день и каждую ночь делают на площади. Пусть не рассказывают сказки. К делу это не относится, только пусть они не думают, что милицию можно водить за нос. И попросил присутствующих расписаться поочередно в протоколе.

Аплодисментов не было – мешали наручники.

Его звали, кажется, Сергей, ну да, Серега-Слон. Росли в одном дворе, и Слон этот был примечателен тем, что изо всех сил стеснялся своих ушей – больших, торчком, а края ушных раковин чуть загибались книзу, ну, как у слоненка, особенно после стрижки «бокс». Вислые мочки, сморщенные, почти старческие, раковины, и, если смотреть против солнца – в синеватых прожилках. Наверное, полдвора сбегалось глазеть на Серегины уши после его визита в парикмахерскую.

И когда спустя четверть века поздним дождливым вечером я открыл дверь на робкий звонок, то сразу его узнал. Конечно, он здорово изменился относительно своего сопливого отрочества. Ну, подросток, ясное дело, обзавелся усами, морщинами и железными зубами – Серегой тут и не пахло. Но уши!.. Едва он приподнял обвисшие края шляпы, я оборвал его церемонное вступление: «Заползай, Серый!»

Кажется, я обрадовался этому посеченному дождем и жизнью субъекту, посланцу чужих миров, фантому, материализовавшемуся из дворовых драк «до первой крови» и пыли футбольных баталий до глубоких сумерек. Он возник из сумерек и уйдет в сумерки, дождь смоет следы, – до следующего, лет через двадцать с гаком, звонка в дверь. Если буду жив, естественно. Но это неважно. Детство и любовь к женщине – суть одно и то же.

Он снял туфли, прошел на кухню в носках, оставляя темные от-  
метины на линолеуме. Смутившись, вытащил из глубины подмыш-  
шек бутылку водки: жена не будет против? Жена была не против: она  
укатила по турпутевке в Югославию, тогда там еще не было войны.

Собственно, говорить было не о чем. О чем можно говорить со  
своим полузабытым детством? Об обезумевшей кошке, к хвосту ко-  
торой привязали пустую консервную банку? О первой выкуренной  
сигарете в вонючей общественной уборной, после которой стошни-  
ло; о вполне невинном мальчишковом разврате на чердаке барака, в  
котором жили; о коллекции марок, проигранной в «ножички»; о бу-  
блике с маком, который отобрал более сильный?.. Он и этого, по-мо-  
ему, не помнил. Морщил лоб, улыбался, мерцая в полумраке кухни  
железными зубами, и поспешно кивал ушами. Какой там бублик с  
маком – дырка от бублика!

Как от меня нашел? Увидел в трамвае, сошел и проследил. Про-  
сто так – он пожал плечами. И стал извиняться – к сожалению, он не  
знал моего отчества. Ну и плевать: в детстве мы как-то обходились  
без оного. Мы выпили. Уши покраснели. Его уши. Мелькнуло, будет  
просить в долг. Разговор не клеился и после второй рюмки. Я смо-  
трел на его уши и думал: это как же должна проехаться по человеку  
жизнь, чтобы он начисто забыл свое детство? Не иначе, стальными  
колесами. Или лукавил? Помнил ведь имя и фамилию. Да, помнил,  
всегда помнил, единственного из пацанов нашего двора. Он накло-  
нил голову, уводя взгляд, показал аккуратную, размером с кофейное  
блюдечко, лысину и коротко хихикнул: лишь потому, что именно я  
дал ему эту кличку – Слон. Мне захотелось возразить: я называл его  
Серым, в глаза и за, Слоном – другие, которые для пущего смеха при-  
ставляли к своим глупым башкам растопыренные ладони, но жела-  
ние вдруг пропало. Чепуха какая-то, из прошлого века – два сорока-  
летних мужика пьют водку и выясняют обиды детства. Но он явился  
не за этим. И не за деньгами. У мужчин среднего возраста своя ин-

туиция: он пришел выпить и, возможно, поговорить. С первым все обстояло нормально, а вот со вторым...

Я стал припоминать: был чудаком, молча сопел, но не отставал – истово гонялся за мячом на потеху дворовым, веря в каждый ложный финт, смешно падал при этом; приехал в город из деревни и не владел техникой городских ребят, для которых футбол был почти религией. И падал, и дрался молча, часто бывал бит, потому что не применял запрещенных приемов. Даже раны зализывал без жалоб. Но девчонки обходили его стороной: уши, сами понимаете.

Мы сидели на кухне и молча пили водку. Спас футбол. Нет, не тот, дворовый, с песком на зубах и ссадинами на коленях, а нынешний, что на экранах телевизоров.

Тут Слон поднял хобот и затрубил, будто хотел отыгаться: фамилии игроков, продажное судейство, названия зарубежных клубов пережевывались железными зубами, как гамбургеры; травмы ведущих игроков (он сокрушенно покивал ушами), жеребьевки, Ван Бастен, Кантана, Марадона, имена, фразы из пены пивных споров. Короче, футбол без границ. Раскрасневшись, Слон кромсал это меси-во стальными бивнями: очки, игры дома и на выезде, трансферы, гонорары звезд... Не закрывая рта, налил себе еще водки. Застигнутый врасплох, я вяло поддержал тему, но незаметно втянулся, зажег верхний свет и смотался на угол улицы за второй бутылкой к бабкам-спекулянткам (действовал горбачевский сухой закон).

Говорили всю ночь – до хрипоты и головной боли, соседи в стенку то и дело стучали. Кажется, заключили пари: «Милан» или «Глазго Рейнджерс»? Или «Барселона»? Ставка – бутылка коньяка. Под утро не могли вспомнить, о чем был разговор, но про футбол – точно. Было решено, как только откроется почта, отбить телеграмму. Кажется, Марадоне. На том и расстались. С объятиями и футбольным гимном: он, естественно, подражал трубе, я – ударным инструментам. В стенку снова стучали.

Потом я уехал в командировку на неделю, а еще через день в переполненном автобусе услышал от седого друга детства, что вынос тела Сергея Леонидовича завтра в два часа, улица Коммунистическая, дом такой-то, в х о д с о д в о р а. Кто такой Сергей Леонидович? Его еще Слоном дразнили, ну, такой, помнишь?.. Приятель огляделся, – давили со всех сторон, – и приставил растопыренные, в сизых наколках, ладони к голове. К голове доктора каких-то наук.

А если между нами, мальчиками, приятель понизил голос, – дверь взломали на третьи сутки, страшно выла в квартире собака. «Нет, ты подумай, а! – брызгал слюной друг детства, – и все из-за бабы!.. А ты не знал? От него же жена ушла, уже как полгода...»

Я сошел на остановке «Стрелка»: стало трудно дышать. Женщины его не любили, это верно. И, возможно, обзывали Слоном: город у нас маленький. Ну ладно, ладно, успокаивал я себя. Слон перед смертью хоть наговорился всласть, пусть о футболе, хотя ему было глубоко на него начхать; и я теперь вспоминаю его с грустью, стыдом, нежностью и благодарностью: он дал мне надежду, что я не последняя сволочь на этом свете, хотя это так и есть; все-таки я не захлопнул дверь перед его носом, когда ему было ни плохо, ни хорошо, а очень одиноко; и пусть та фантастическая ночь в охваченной сигаретным дымом и алкогольно-футбольными парами кухне будет слабым искуплением моей лжи – ведь это я, я, последняя сволочь, первым обозвал его Слоном, да еще приставил к своей глупой башке ладошки и помахал ими, а он заплакал и побежал за дощатые кладовки, провожаемый смехом и улюлюканьем дворовой шпаны.

Говорят, чтобы умереть, слон покидает стадо и уходит вглубь саванны, но ушастые собратья, задрав хоботы, с ревом провожают его до места и до последнего часа стоят рядом, топчутся, вздымают пыль, наивно пытаясь поставить его своими хоботами на ноги.

Но человек слаб и мал, и до слона ему расти и расти.

## **МЕЛОЧИ ЖИЗНИ**

*Случай из детства вспомнил, когда следователь выбежал из кабинета после звонка начальства и оставил на столе обвинительное заключение. Не про меня, ваша честь. Обвиняли собаку, честное пионерское! Я пробежал вводный абзац. Прямо в квартире после евроремонта собака породы стаффордшир загрызла хозяина, он взял ее в дом щенком. Соседи вызвали милицию, дверь взломали, но собака не давала войти, кидалась на людей, по странной логике охраняя труп с выжранными внутренностями. Пришлось пристрелить ее из табельного пистолета.*

### **1.**

В это трудно поверить, но когда-то я мечтал о коньках, и не с допотопными резинотканевыми креплениями, сработанными в ка-

менном веке, – о настоящих коньках-на-ботинках с неотразимым названием «канады», с легкими, острыми, звенящими на морозе, лезвиями. Я не раз представлял, как, небрежно перебросив «канады» через плечо, выхожу во двор, на глазах у потрясенно ковыряющих носы пацанов не спеша распускаю на ботинках густую шнуровку, погружаю ноги в обнову, едко пахнущую смазкой и кожей; подтягиваю шнурки и длинный жесткий язычок под ними, смахиваю варежкой снежинки с запотевшей и еще липкой нержавеющей стали, обстукиваю самодельной, вырезанной из многослойной фанеры, клюшкой черные, не побитые в игре, головки ботинок и, не глядя по сторонам, кромсаю лезвиями укатанный до гулкости толстый и грязный наст, по всем статьям обгоняя на хоккейном пяточке близ кочегарки тупые, неповоротливые, наивно загнутые полозья «снегурок», кое-как лепящихся к валенкам при помощи веревочек и палочек, жалких в своем главном недостатке – принадлежности к детству.

Еще я, конечно, мечтал о велосипеде со звонком на руле, дабы вещать прохожим и остальному миру о своем явном превосходстве. Но двухколесная мечта была по тем временам совсем уж заоблачной, и потому шла не первым, а вторым номером, так... на всякий случай. Еще я хотел кожаный ниппельный мяч, лучше чешский. Что еще? Уф, до сих пор глаза разбегаются... Бинобль с восьмикратным увеличением, классер для марок, складной ножик со штопором, хотя штопор был ни к селу, ни к городу, в ту пору вина я не потреблял, как сейчас помню, и правильно делал, зато пробовал, паршивец, курить в з а т я ж к у (интересно, а поцелуи взятаяжку бывают?) в школьном туалете, после чего мне стало худо прямо на уроке. Впрочем, это мелочи жизни, не имеющие к дальнейшему повествованию ни малейшего касательства.

Приведенная выше инвентарная опись хотений (не писать же – мечт, как накорябал однажды в сочинении на вольную тему мой сосед по парте и по подъезду Толик по кличке Ссальник, за что схлопотал трояк с минусом) могла быть сочинена любым пацаном нашего двора, разве что под иными стартовыми номерами – сообразно вкусам и величине пролитой перед родителями скупой мужской слезы. Как ни странно, щенок, пусть даже милашка будто с открытки-календаря, вопреки досужим представлениям детских писателей и педагогов-завучей о хрупком мире ребенка, в эту шкалу неодушевлен-

ных ценностей попасть не мог не по причине одушевленности, а по причине отсутствия этой самой цены. Ну, поставьте себя на место ребенка. Каким макарон, спрашивается, ему мечтать о том, что суют задарма и при этом дышат перегаром?

Этим-то убийственным свойством обладал кочегар дядя Володя, который периодически бухал по коридорам нашего барака грязными кирзачами и, оставляя на хлипких некрашенных половицах гигантские следы пришельца иных миров, просовывал в двери чумазую, мятую, обросшую, облепленную угольным шлаком, физиономию и прицельно щурил красный глаз: «Ну?! Топить будем али не будем?!» И все как-то сразу понимали, что речь идет не об угле, не о давлении в котлах, не о дровах, а о щенках, которыми согласно графика собачьих свадеб разродилась в очередной раз дядиволодина сука Райна, добродушная блудница, грязнуля, помесь бульдога с носорогом, со свалявшейся шерстью цвета солдатской шинели, башкой с кочегарское ведро, с откусанным в период битвы за женихов ухом и вислыми, розовыми в крапинку, сиськами матери-героини. И что в ней находили кавалеры – уму непостижимо!

С окончанием отопительного сезона дядя Володя получал премиальные и, забросив совковую лопату куда подальше, приступал со товарищи к бытовому пьянству, не сходя с рабочего места. Естественно, без хозяйского пригляда Райна в окружении разнокалиберных поклонников отбивалась от рук и становилась крайне неразборчивой в связях. В итоге Райна то находилась в интересном положении, с трудом волоча по земле набухающие сосцы, то, вывалив язык, лежала у дверей кочегарки, облепленная многочисленным потомством, которое с отчаянным писком толкалось в очереди за молоком. Столь изысканное, с прибалтийским акцентом, имя для собаки дядя Володя придумать никак не мог, несмотря на, что брал приступом город Оснабрюк и освобождал злату Прагу. Райну обозвали таковой, – как и кормили, – всем двором после коллективного похода в кино про несчастную любовь матери-одиночки производства Таллинфильм. Она и была дворнягой в истинно высоком значении слова, неизменной и неприкосновенной достопримечательностью местного ландшафта. Ближе к холодам, освободившись от материнских обязанностей, Райна пепельно-бурым сфинксом возлежала на теплых кучах шлака, высокомерно скашивая мутный, что дядиволодин, глаз на копошащихся поодаль человеческих детенышей, раз-



решая себя гладить и кормить школьными завтраками - и так всю зиму до наступления женихов.

Спустив последнее и прорвав блокаду собутыльников, дядя Володя выползал из застенков кочегарки, несломленный и безмолвный, с недоумением щурясь на белый свет: зеленеющую траву, пробившуюся там-сям сквозь россыпи шлака, на мелюзгу, гоняющую мяч, сохнувшие на вешалах пододеяльники, на греющихся на солнышке разом притихших бабок. Райна бросала ловить мух и приветствовала хозяина лежа, будучи в заботах об очередном выводке, ради приличия выбив хвостом угольную пыль. И виртуоз лопаты и граненого стакана вдруг осознал, - это было заметно по характерному плевку сквозь зубы, - что инкубационный период в природе закончился и, кажись, настал т о п и т е л ь н ы й сезон. Дядя Володя, как все земноводные, линял шкурой - засаленным ватником, пред оком зевающей Райны сгребал слепых кутят в мешок и нетвердой поступью устремлялся в жилой сектор, чтобы задать людям, можно сказать, гамлетовский вопрос.

Сказать можно. Ибо, как ни крути, вопрос стоял ребром. Или вы берете щенка на постой и тем спасаете ему жизнь, али божьей твари уготована жуткая участь - пустить пузыри в мятом ведре из-под угля, истекающем ржавой водицей аки кровушкой, - по вашей, заметьте, вине. Быть извергом никому не хотелось, но и держать собаку на десяти квадратных метрах не было никакой возможности. Зачастую в ней уже обреталось подросток Райны, нагло всученное тем же дядей Володей накануне прошлого отопительного сезона, да и своих спиногрызов хватало. От невыносимого внутреннего жара - как в топке! - светлые полоски тельняшки обуглились и, скребя их, кочегар в присутствии детей тыкал в лицо исходящим плачем комочком плоти - промедление с ответом было смерти подобно. При взгляде на кочегаров кулак размером с голову ребенка, в котором кто-то невидимый, лишь хвостик торчал, подавал писк о помощи, одна и та же мысль посещала головы взрослых и детей: зачем топить, когда можно чуть-чуть сжать поросшие жестким светлым волосом пальцы с лопатообразными ногтями, отороченными черной каймой... Писклявый клубок проблемы разрешался вполне педагогично. Заполучив сто граммов, - некоторые жены даже прятали их к приходу кочегара, или мелочь серебром, а то и рубль, смотря по семейным обстоятельствам, дядя Володя, одобрительно



крякнув, бросал щенка обратно в мешок со словами, что это была шутка юмора. Да, да, шутка, громогласно обращался дядя Володя к детям, топить щенят никто и не собирался, он лучше отдаст их в хорошие руки. Что это были за хорошие руки, можно было только, поживаясь, догадываться, но выводок Райны исчезал со двора одномоментно с дядей Володией, который, совершив свой иезуитский обход, беспробудно храпел в кочегарке на топчане, накрывшись пустым мешком из-под щенят. После чего приходил в норму, брился, пованивал «Шипром» и здоровался по утрам с чистой совестью – это было заметно по характерному плевок сквозь зубы.

Но Толик Сальник, которого прозвали так после того, как он украл сало на колхозном рынке, утверждал, что дядя Володя по ночам все-таки топит щенят у себя в кочегарке, и уже мокрых сжигает в топке. Честное пионерское, он видел собственными глазами, когда убежал из дома от пьяного папаши и ночевал на чердаке кочегарки. Пацаны ему не поверили, разве можно верить человеку, который, когда его поймали и заставили прилюдно жрать украденное с горчицей, на втором шмате сала обоссал левую гачу? Так и пошло: Сальник, в смысле Ссальник. Но Толик с криком, что он никогда не врет, полез драться. Драться никому не хотелось – чуяли, щенячьим, что ли, нюхом ссальникову правду. Лишь поковырялись в носсах и, пристыженные, молча разошлись. И когда по теплу дядя Володя с шевелящимся мешком за плечом африканским Дедом Морозом пожаловал к нам домой, я крикнул из-под отцова плеча, что дядя Володя всё врет и все ему верят, потому что боятся. Мама сказала, что нехорошо так говорить на взрослых, а отец нахмурился и налил гостю водки в стакан. А когда кочегар ушел, вытер мне слезы и сказал, что если дядя Володя действительно топит щенят, то он сообщит начальнику кочегарки, а мне к Новому году купит «канады», он обещает. Мама спросила, с каких это, интересно, шишей. И они стали ругаться. А я стоял, обалдев, с мгновенно высохшими от счастья слезами, люто ненавидя лето за то, что летом не бывает Нового года.

О щенке с белой звездочкой на лбу и белыми же лапками, которого за шкуру опустил в мешок кочегар, я вспомнил лишь вечером. Толик Ссальник прибежал, размахивая руками: «Ну, кто врал? Айда сегодня ночью! Айда в кочегарку, чё, струсил, да?! Сами струсят, потом обзываются!».

И Толик презрительно сплюнул. Оказывается, Серега-Первый передумал идти ночью в кочегарку. Сдрейфил позорно, девчачий любимчик! А ведь громче всех орал, что Ссальник врет. Да еще сбежал с колхозного рынка в решающий момент – это ему он должен был перебросить краденое сало. И Толика поймали с поличным.

– Сам обоссался, а еще обзывается! Серый, гад! Серя-засеря!..

Серега был высоким пацаном со смазливой, что у пионера-трубача с обложки детского журнала, личиком – аж тошнило (не путать с Серегой-Слоном). Во дворе было два Сереги, два Серых. Один – красавчик, другой – урод с большими, как у слона, ушами. И никакие грязные клички не могли обгадить противную красоту первого Сереги. Его так и звали: «Это какой Серега? Первый?»

Девчонки к нему липли, что ириски к зубам, давали списывать домашние задания на переменах. Уж очень Серега-Первый любил ириски «Золотой ключик», которыми его угощали одноклассницы и даже одна старшеклассница.

Непонятно, зачем баловню судьбы понадобилось искать приключений на рынке? С Толиком, с тем понятно. Маленький, шустрый, в великоватой телогрейке с вылезшей ватой, доставшейся от старшего брата, он был рожден для мелкой кражи. Напарнику Толик годился по плечо. Вдвоем Ссальник и Серый образовали странную пару двоечника и хорошиста, Тарапуньки и Штепселя, но фартовую. Толик скидывал телогрейку на уличной лавке, на нее никто не зарился, настолько она была никудышной, и шнырял меж торговыми рядами, передавая Сереге краденое – сало, соленые огурцы, яблоки, круг молока, банку меда, один раз даже сырую печень, все, что попадалось под руку. А Серый, натянув на личико пионера-горниста невинное выражение, не спеша покидал рынок со школьным ранцем, в котором перекатывалась и бултыхалась добыча. Ее делили по-братски. Толик тащил снедь домой, младшим братьям и сестрам, а Серега выменивал продукты на ириски у знакомой продавщицы гастронома № 1. Женщины его любили с детства, особенно те, кто постарше.

И вот Серега-Первый в нужный момент сбежал. Испарился из торговых рядов – что-то его спугнуло. И Толик остался с вещдоком на руках – со шматом сала. Ему бы швырнуть его подальше от себя, но кидаться продуктами было выше Толиных сил. Ну и обоссал гачу, с кем не бывает.

То было двойное предательство. Мало того, что Серый бросил Толика на растерзание разъяренным торгашам, так еще, когда избитый подельник обвинил в трусости, в кругу пацанов обозвал Толика Ссальником. И поправил пышный чуб, будто в пионерском салюте: «Всегда готов!». Мол, честное пионерское. Кличка приклеилась, что клей БФ в авиамоделльном кружке. Так, в громком хохоте потонуло Серегино предательство, его заслонило броское прозвище. И никаким жалким Серей-Засерей ее было не переплюнуть. Ловкий пацан, этот Серый. Всегда ловил момент. Всегда готов.

И опять Серега-Первый струсил идти ночью в кочегарку. Может, не струсил, а чуял подвох. Вдруг напарник бросит его в нужный момент?

Я согласился. Еще запишут в девчачьи любимчики. Толик велел взять спички, моток бельевой веревки, надеть кеды, чтоб не скользить и не греметь по крыше. В условленный час мы взобрались по останкам водосточной трубы, ночь была лунная, для дураков. Пугая кошек, проникли на чердак, где чем-то воняло, чиркая спичками, нащарили пожарный люк. Матерясь вполголоса, подняли тяжеленную крышку и при тусклом свете дежурной лампочки увидели сверху – как на ладони! – котлы, кучу угля, лужицы, лопаты, ведро и ржавую бочку в углу. Дяди Володи не было, но мы слышали храп – хозяин спал у себя в каморке. Мы порядком замерзли прежде, чем до нас донесся кашель. Дядя Володя, почесываясь и кряхтя, попил воды из-под крана, беспричинно пнул ведро – и в тот же миг кочегарку прорезал писк, будто пищат голодные птенцы. Донеслось поскуливание – Райна скреблась в дверь с улицы, чуяла неладное, умница. «Ну, кто врал, кто врал?! Сами трусы!» – забубнил, обрызгав ухо, Ссальник. Уж очень ему хотелось избавиться геройским поступком от позорной клички. Зевая и потягиваясь, дядя Володя зачерпнул воды из бочки, опустил ведро на пол, дужка жалобно всхлипнула. «Щас, щас увидишь...» – заерзал Ссальник и чуть не столкнул меня вниз. Дядя Володя огляделся, – мы пригнулись, – воровато перекрестился и достал из мешка писклявый комочек... Когда очередь дошла до щенка с белой звездочкой на лбу, я, вываливаясь в люк, закричал вниз: «Фашист! Фашист!» Но было поздно, кочегар разжал пальцы... Я снова закричал, Толик свистнул. Дядя Володя задрал голову, блеснул зрачком, схватил ломик и пошагал к двери. Мы кубарем скатились с крыши и пока бежали, не чуя ног, к дому, в голове сверлило: «А на фига мы взяли бельевую веревку?!»

## 2.

Он стоял в проходе торговых рядов и смотрел вниз, не обращая внимания на толчки прохожих. Так, завороченно, рыбак смотрит на drogнувший поплавок. Наверное, так мышкует лисица. Была суббота, рынок бурлил. Дранный китайский пуховик, на ногах неродная пара обуви. Но не это заставило остановиться.

Нда, далеко от колхозного рынка Серега по жизни не ушел. Тот, который Первый. Хотя базар был уже не колхозный – буржуйский. Горчица без сала. В стране не шматами – вагонами воровали. По всему видать, друг детства салом уже не промышлял. Не ловил мышей. Потерял квалификацию. Я его узнал по одному быстрому движению – так раньше он поправлял пышный чуб, что у пионера с обложки детского журнала. Ныне, за неимением чуба, он поправил засаленную вязаную шапочку с адидасовской биркой. Германской лейбл с тремя ступеньками вверх в данном случае значил уступы вниз – дна не видать. Ну да, это тот самый пацан, что обозвал Толика Ссальником, и не пошел ночью в кочегарку, кажется... Прежнего красавчика признать было сложно, но тут Серега-Первый снова сделал движение, поправляя чубчик, хотя его не было в помине. Будто хотел поднять пионерский горн, да передумал. И нос грязный. На обложку детского журнала не годится.

– Серега? – окликнул я и для верности добавил дворовую кличку. – Серый, Первый, ты?

– Тихо, Гендос, – не поднимая глаз, буркнул Серега-Первый. Он нырнул под ноги покупателей, схватил монету...

Нимало не смутившись встречей спустя четверть века, довольный добычей, Серый пояснил свой вид: дескать, пострадал от любви. Так и сказал: «От любви».

Серый заторопился, буркнул, что его ждут.

На остановке торчал тип в грязном камуфляже и кроссовках, и пялился под колеса отъезжающих маршруток. Внезапно он кинулся в грязный снег, что-то быстро сунул в карман. Раздался визг тормозов, мат...

– Это Олечка. Пусть работает, – сказал Серега. По его словам, он изобрел идеальный, а главное, абсолютно законный способ добывания средств. Он заключался в том, чтоб в местах скопления людских масс, не привлекая внимания, часами глазеть под чужие ноги. Чаше

всего люди теряют, конечно, десятикопеечную мелочь. На втором месте по степени теряемости идут почему-то рубли, а уж потом полтинники. Роняют и железные десятирублевки, пятаки – редко. Так что основу Серегиного бизнеса составлял Его Величество Рубль. Люди теряют его и не шибко о нем жалеют. А вот за червонцем возвращаются. Однажды поднял сотенную, так догнали и дали еще – три дня харкал кровью в подвале. В лучшие, обычно предпраздничные, дни заработок доходит до ста-двухсот рублей, в худшие все равно хватает на булку хлеба. Как только Серого осенила гениальная идея, он забросил сбор пивных банок. В серой его жизни бывают и минуты триумфа.

– В удачный день залезешь в трамвай, а кондукторша давай гнать. Ну, я ей отсчитаю рублики – вот у нее рожа-то вытягивается! – залился счастливым смехом Серега-Первый, обнажив беззубый рот. Рот, которым он когда-то чавкал, жуя ириски «Золотой ключик», и, мокрогубый, целовал женщин. Правда, лет через десять после школы Сергей жевал «чуинг гам», он сидел за рулем «Жигулей» в черных очках. Ну, вылитый мачо. Первый. Тогда Серега торопился и посадил меня на развилке, сказав, что его ждет одна ириска. Потом я сообразил, что ирисками он называет женщин – они были сладкими, липкими и влажными после судорожных торопливых встреч.

В теплом салоне маршрутки Серого развезло, и он забыл, что его не хотели впускать в салон: от бывшего героя-любownika воняло псиной, словно он, как Толик Ссальник, обмочил гачу. Тот – от страха, этот – от радости. Мачо тире моча. От перемены мест сумма мелочи не меняется.

Я объяснил пассажирам, что человек пострадал от любви и ему негде принимать душ с шампунем.

– Ладно уж, раз от любви, – громко разрешил женский голос с заднего сиденья. – Ехай, милоч!

– Так бы сразу сказал, что из-за бабы! – буркнул водитель, дав на газ.

Хороший все-таки у нас в Сибири народ!

По прибытии я купил в магазине водки и палку сырокопченой колбасы. Хотел взять замороженных пельменей, но вспомнил, что у Сергея вряд ли имеется под рукой электроплитка. Серый терпеливо дожидался у дверей – охранник тормознул его из-за антисанитарного вида.

- Это ты зря, мы б костерчик соорудили!.. – на секунду расстроился Серега из-за пельменей, не устая, впрочем, повторять: удачный день, сегодня удачный день!

День и впрямь был удачным. Спустя час в подвал влез Олег с буханкой хлеба, вялым фаллосом ливерной колбасы, суповым паке-том, двумя подгнившими мандаринами, луковицей и литровой бутылью воды из-под колонки. Володя сообщил, что за день под-нял, кроме мелочевки, «червонец» и «полста». Выпили за процве-тание малого бизнеса. Я всучил хозяину последнюю сотенную. И тут Серега-Первый заплакал – две светлые полосы пробороzdили чумазую рожицу. На месте кудрявого чуба лоснилась лысина, на лысине темнела свежая ссадина.

- Кто это тебя, Серый? – спросил я.

- Ерунда, Гендос, мелочи жизни! Работа у нас вредная. Нали-вай... Будет день, будет ириска!

Серега погладил лысину и захихикал, чернея ртом. Олег захохотал.

Хозяин вызвался проводить гостя.

Должно быть, мы представляли странную пару, если на оста-новке нас остановил милицейский наряд. Сержант полистал мой паспорт и начал светить фонариком в Серегину физиономию. Се-рый прищурился и стал поправлять несуществующий чуб. Запле-тающимся языком я принялся объяснять, что человек пострадал от любви. Как ни странно, довод подействовал.

Уже из салона маршрутки, потеряв замерзшее стекло, увидел, как Серега-Первый поднял что-то из снега и быстро, не оглядыва-ясь, пошел прочь.

Я вспомнил, от чего пострадал Серый (кто-то из городских го-ворил в бане). В смуту 90-х шел в гору, кидал партнеров, менял девок, как фантики. Потом женился на красавице, детей завел. И – бросил семью ради богатой и немолодой. Но богатая через год нашла себе моложе, а жена с детьми обратно не приняла, отжала квартиру.

И в любви он смотрел вниз. Ниже пояса. А надо бы, брат, на звезды.

## ТАЙНА

В камере, в «хате» чуть не случилась драка. Кто-то посчитал мою возню с тетрадью и ручкой подозрительными. Не стукач ли я? (Адвокатша Оксана Федоровна по моей просьбе принесла тетрадку, ручку и два запасных стержня). Тетрадь вырвали, я кубарем скатился с нар и пнул того, кто листал тетрадку, промеж ног, но так как пнул босой ногой, желаемого эффекта не достиг. Меня дружелюбно пообещали убить. Последовал окрик из угла. Тетрадку передали в руки «смотрящего», неврачного мужичка в спортивном костюме. Целыми днями он, несмотря на запрет, покуривал за занавеской, пил «пуншик» – водку пополам с чаем на почетном месте, на нижних нарах у окна, возле батареи. Встретишь такого на улице – пройдешь мимо, не запомнив. Мужичок пролистнул страничку, усмехнулся, повертел рисунок так и эдак и вернул тетрадь. И разрешил перебраться с цементного пола на нижние нары. С той поры я мог писать без помех.

Было воскресенье, я слонялся по квартире, от нечего делать нюхала собственные подмышки. Жена с сыном ушли в поход по магазинам: чадо начало бриться, и старые вещи в одночасье стали маленькими, д е т с к и м и. Я подходил к окну, щурясь от солнца, – снег во дворе потемнел и его не убирали. Мальчишки сбивали сосульки с крыш гаражей, бабка в мокрых валенках трясла половики, по карнизу, царапая жесть, с клекотом ходили голуби и уже успели нагадить на подоконник. Я колупал пальцем легко отваливающуюся замазку и с ненавистью думал о надвигающейся уборке, мытье окон, о скопившейся за зиму рухляди, прочей бодяге и поглядывал на телефон: хоть бы одна сволочь позвонила! Я уже натягивал джинсы, не решив в точности, то ли пойти выбросить мусор, то ли – пить пиво в пивбар за углом, когда в дверь грубо постучали, возможно, ногой, хотя могли бы и позвонить. Я и открыл-то, не спросив дежурного «кто», больше из возмущения. На пороге из сумерек лестничного тамбура возникло нечто, без признаков пола, закутанное в тряпье, лица не угадать. Лающим, с фальцетом, голосом были произнесены мои фамилия и имя. Я включил свет в прихожей и обнаружил, что гостей, собственно, двое. Тетка в облезлой шубе, опоясанной платком, в тренировочных штанах с вытянутыми коленками и разбитых сапожках держала на поводке пятнистую, словно в камуфляже, собаку. Собака



не рычала, не скулила, не виляла хвостом, а просто смотрела на меня потухшими угольками. Тетку я вычислил сразу: в меру пьющий коммунальный боец за справедливость. Разлепив узкий бескровный рот, она пробулькала, что действует по просьбе, а иначе ее ноги тут не было бы. Она смерила меня взглядом, дернула поводок – собака пощурилась и понюхала воздух, – и заявила, что эта тварь ничего не жрет, воет по ночам и она с ней замучилась. Тетка замолчала, буровя немигающими, близко, как у собаки, посаженными глазками в ожидании ответа. Из коридора сквозило, я поджал пальцы в тапочках, осененный, пробормотал, что собаки мы не теряли и никогда не держали, они ошиблись адресом, хотел закрыть железную дверь, недавно с грохотом вставленную для защиты от непрошенных гостей – до сих пор в ушах звенело от звуков крошащегося бетона. «Нет, теряли!» – стальным голосом пресекла мои поползновения эта груда тряпья. Чертыхаясь, я схватил с тумбочки у зеркала деньги, оставленные женой на хлеб, и, торопясь уладить недоразумение, всучил их напористой непрошеной гостье. Впрочем, откуда она знала фамилию и имя? Тетка с достоинством спрятала деньги в ворохе тряпья и тем же стальным голосом, вгрызающимся в бетон, выдала мне мою Тайну.

Оглушенный ею я тихонько потянул поводок, собака молча, стуча когтями, переступила порог, клоня к полу черные длинные уши. Задрав морду, понюхала воздух, моргая, взглянула мне в глаза, ткнулась в руку сухим носом, снова тревожно посмотрела в лицо, и я понял, что меня узнали.

История эта случилась между прочим. Более важным и неотложным. Между делом и делишками, порой грязноватыми, без которых немыслима наша жизнь, и, получается, случилась между жизнью. Какая уж там тайна? С маленькой буквы. Шаг влево. Он и побегом-то теперь не считается. Так, шалости пожилых мальчиков. Ну, попросили составить компанию. «Понимаешь, выбил жене льготную путевку, дети у стариков, хаза свободная и сам холостой! Чувак, оборудование не должно простаивать, так ведь нас учили, а?» – возбуждаясь, кричал в трубку бывший однокурсник. Последний раз я видел его три года назад и даже не помнил, как он выглядел. Гарик, точнее, Игорь Матвеевич умолял о помощи. Будут две дамы чуть за тридцать, самый писк, а испытанный в боях напарник, с ко-



торым купили было в складчину греческий коньяк, в последний момент скопытился, – что-то у него там на кухне прорвало, наверное, жена не пустила. Заменить по ходу матча нечем, скамейка запасных поседела и поредела. Был конец рабочего дня, я уже собирал бумаги со стола, а тут этот звонок. Накануне обещал жене, что позанимаюсь с сыном по химии, на носу выпускные экзамены, а дите вместо того, чтобы взяться за ум, штудировало эротическую литературу. Но Игорь Матвеевич, он же Гарик, являлся проректором того самого учебного заведения, куда мы с женой наметили пристроить своего оболтуса. Так что, с одной стороны, звонок был по теме, не каждый год, согласитесь, раздаются звонки от проректоров. Что и заставляло держать трубку и выслушивать пошлости. «Ну, коли ты не в форме, то хоть поддержи разговор, вбрось шайбу, наши в меньшинстве! – разорвался на том конце провода этот поклонник игрищ в закрытых помещениях. – Спать с живым человеком вовсе не обязательно!» Этот довод и решил исход встречи.

...Очнулся от того, что затылком почувствовал взгляд. Я приоткрыл глаз: обои в мелкий цветочек, светильник из фальшивого хрусталя, подушка слабо и нежно пахла духами. Голова раскалывалась, как грецкий орех, посередине, и мозги были плохо прикреплены к скорлупе, но я попытался собрать мысли в кучку. Итак, я не был дома, это плохо, не в вытрезвителе, это хорошо, но и не у Гарика, что было бы предпочтительней, как уважительная причина в глазах жены. Я шевельнул головой и вместе с болью отчетливей ощутил взгляд, настойчивый, пристальный. И еще дыхание – тяжелое, прерывистое, хриплое. Стало не по себе. Помнится, после третьего тоста «за любовь» попытался улизнуть домой, на что бдительный хозяин, крепко обняв за плечи, закричал, что в наше время поздно вечером ходить по улицам небезопасно. Могут изнасиловать. В ответ на очевидную пошлость последовал дружный смех. Дамы, а ими оказались хронически неуспевающие студентки-заочницы, не в меру накрашенные и раскованные, хихикали на диване, демонстрируя подержанные коленки. Впрочем, одна, высокая, с бюстом, в вишневом платье, была еще ничего. Ее достоинства мы и обсудили, выйдя на кухню. Хозяин предложил, пока мы трезвые, бросить на пальцах. Считали два раза – Гарик заявил, что я выбросил пальцы не сразу, – и оба раза вишневое платье доставалось мне. Я готов был уступить по старой дружбе, был как-то неуверен в себе, но Гарик убедил, что дело

– верняк. Весь вечер этот багроволицый, седой, погрузневший тип, без пяти минут дед семейства, изображал из себя плейбоя. Живот не мешал ему прыгать козлом. Делали музыку погромче, в стенку стучали соседи, пили на брудершафт, с хохотом менялись партнерами во время танго, крутили по студенческой традиции бутылочку на сердечный интерес, я целовался с вишневым платьем, ощущения в целом были неплохие. Дальнейшего не помню – греческий коньяк, порядком разбавленный водкой, уложил меня в чужую постель.

Я обнаружил, что спал в рубашке и галстук, рванул одеяло и слез в постели. На меня, не мигая, пялилась собака черными угольками – глаза в глаза, уши ниже морды, язык там же, невнятной масти и поведения. Смотрела добродушно, с интересом, то и дело принимаясь, но лишь пошевелившись – угрожающе зарычала, наклонив морду и уводя взгляд. Я огляделся – вишневого платья нигде не было. Телевизор отечественной марки, шкаф, книги, мой костюм на стуле, очки в тонкой оправе на столике. Ничего лишнего. Собака зевнула, пустив слюну, я потянулся к стулу – и замер от рычания. Из оцепенения меня и собаку вывели скрип и стук. Псина заметалась, схватила один тапок, под столиком хапнула другой, потеряв первый, и, царапая пол, умчалась. Я лихорадочно дергал молнию на брюках, когда услышал звонкое: «Дайна, место!» (Вот дались им прибалтийские собачьи клички, в самом деле!) В комнату с мокрыми волосами и полотенцем на шейке вошла хозяйка... Н-да, вишневое платье было бы ей великовато, да и будь впору, не спасло бы. Впечатление? Как говорят летчики, видимость – ноль. Девочка со старым лицом, старым и бесцветным. Я не сразу сообразил-то, что это та, другая, которая тоже была в гостях у Гарика. Тоже танцевала, тоже смеялась, тоже пила на брудершафт, тоже пела «Не расстанусь с комсомолом...» – серой мышкой, для маскировки раскрасив мордочку и коготки и обеспечив кворум на собрании вышедших в тираж комсомольцев. Я ее не помнил. Как можно с одного раза запомнить мелкий рисунок обоев? Гарик, ученая очковая змея, все рассчитал. А меня споил. Старая девочка послужила декорацией, впрочем, как и я, старый мальчик. На фоне которой разворачивались основные события. Ну и черт с ними, с событиями, я сладкого объелся по молодости, до сих пор потряхивает в районе третьего позвонка.

Она что-то спросила, придерживая на груди ситцевый халатик, сползающий с острых ключиц. Кажется, насчет завтрака. Я попросил

сигареты. Покраснев. – девочка и есть! – сказала, что вообще-то не курит. А как же вчера, у Игоря Матвеевича? Понятно, дымовая завеса. Чтобы не увидели острых ключиц. Она надела очки, их тоже вчера не было, видимость и вовсе стала минусовой. Послушная старая девочка изъявила желание сходить за сигаретами, тут недалеко ларек на улице. Из коридора, помахивая хвостом, – услышала слово «улица», – вышла собака и уставилась на меня своими угольками. Они были готовы сходить за сигаретами вдвоем. Как, внутренне поразился я, с мокрыми волосами, когда в полях еще белеет снег?! Я представил, как она тащила меня, пьяного в зюзю, словно муравей бревно, задыхаясь, не видя ни шиша без очков, потом волокла на свой этаж, – и мне стало ее жаль. И ведь ничего не было, и быть, наверное, не могло ни в каком виде. Я сказал, что перебыюсь и без курева и что мне пора на работу.

Хотя, конечно, было. И то, что было, называлось безжалостно – жалостью. И Дайна больше не рычала. Старая девочка позвонила на работу, было плохо слышно. Как узнала номер – загадка, я сказал, что очень занят, через неделю буду посвободней. Ровно через неделю в тот же час опять было плохо слышно. Я представил, как она стоит в холодной будке автомата, почему-то с мокрыми волосами, и сказал, что приду, только квартиры не помню. Она звонко крикнула, что будет ждать возле остановки и повесила трубку. Каждый раз удивляло, что она упрямо хотела встречать на остановке, а дома пятнистая Дайна встречала ее, держа в зубах тапочки. Однажды они встретили меня вдвоем, и, когда подходили к дому, к Дайне подбежала девочка, завизжала, отбросив мячик: «Тайна! Тайна!»

Длилось это не больше месяца, я помню хорошо, до начала футбольных телетрансляций. Раз в неделю, в одно и то же время, сразу после работы, но не позже полдевятого, плюс двадцать минут маршрутным такси, так что я, не вызывая расспросов, совал ноги в теплые домашние тапочки уже полдесятого. Это было удобно, и протянулось бы еще, если бы глупышка не призналась, что она живой человек. Ни кожи, ни рожи, так мальчишки с детства дразнили, а поезд ту-ту. Вот, собаку завела, хоть кто-то ждет, а то хоть вой на пару. И учиться пошла на заочное, а на фига ей, у ней и так одно высшее. И каждую весну, дуреха, на что-то надеется... Она высморкалась в пододеяльник, села в кровати, отвернувшись худенькой спиной, лопатки выпирали из нее, как крылышки. А с собакой творилось неладное, она

металась по комнате, мела хвостом пыль, сучила передними лапами и будто рыдала. Хозяйка закричала на собаку, бросила тапочком, – поджав хвост, та убежала, и изредка, задавленно рыдала уже из коридора. Я пошел на кухню, налил себе водки, в другой стакан – воды. За окном стемнело, россыпью тлеющих угольков, готовясь ко сну, лежал в долине город. Звезд не было, было около восьми. Когда я вернулся, она уже успокоилась, включила светильник, натянула халатик. Что это, близоруко щурясь, спросила она, принимая стакан, и попросила водки, запив ее водой. Отдышавшись, сказала, что про слезы можно забыть, просто она хотела сходить в кино, они никогда не ходила с мужчиной в кино. Я оделся и увидел в комнате собаку. Дайна сидела с тапочком в зубах, кажется, с тем самым, которым в нее кинули.

И в следующий раз она встретила меня на остановке. И я, и она понимали, что это, по сути, прощание, хотя все было как обычно: немножко выпили на кухне, она спросила, как учится сын, я гонял по тарелке зеленый горошек и думал о том, что для кого-то она могла быть хорошей женой. После, пока шумел чайник, мы по очереди ходили в ванную, потом пили чай и опять немножко поболтали – о последнем фильме по телевизору и, несмотря на то, что говорили медленнее обычного, будто в особом режиме видеозаписи, уложились, как всегда, к полдевятого. Разве что собака вела себя необычно: взрыдывала и ползала по прихожей. Что с ней, спросил я у двери. Ничего страшного, сказала она, у суки начинается течка и надо бы ее стерилизовать да руки все никак не доходят.

Эти записки я пишу, горбясь под самым потолком, методом пиктограммы. Элитное место на нижних нарах я уступил. На верхних нарах светлее – до лампочки рукой подать. Очки с плюсовыми диоптриями разбились при аресте, так что все равно выводить буквы я бы не смог. Текст я запоминал, а для лучшего запоминания рисовал картинки: например, человечков, играющих в футбол, или девочку с собакой, это зависело от сюжета. Очень удобно. Экономия времени. Рекомендуются всем сидящим, а также лежащим в психушке. Писать я решил после того, как мне надоело играть с клопами. И потом, я подумал, что рисунки могут пригодиться в суде (на адвоката, на это нежное создание, я не очень-то рассчитывал). В качестве шпаргалки оправдательной речи. Ваша честь, я никого не убивал!

Больше я не видел хозяйку собаки. И не слышал – она не звонила. Правда, несколько месяцев спустя позвонила Рита, ее подруга, та, высокая, в вишневом платье, и суровым голосом назначила свидание. Я был не прочь, Рита в целом мне нравилась, насторожило лишь, что свидание было назначено на той же остановке, в тот же день и час, известные только двоим да еще, пожалуй, собаке, и я не пошел.

Потом было душное лето, на даче сгорели огурцы, наши позорно проиграли в четвертьфинале, сын поступал в университет, не питая надежд. Но я припер Игоря Матвеевича тезисом о том, что уговор дороже денег. По этому поводу ходили в ресторан, платил, естественно, я – из семейного бюджета. Гарик, раскрасневшись и распустив галстук, кричал, что он уговора не нарушал, что та, вторая, мышка-норушка, сама в меня вцепилась пиявкой, не отодрать. А вишневое платье, если уж на то пошло, ему снять так и не удалось. Заказчики не расплачивались за поставленный товар, в стране был бардак, зарплату задерживали, сигареты продавали поштучно, но тут подвернулась халтура, я удачно купил на барахолке норковую шапку, летом они дешевле. По осени на кухне прорвало трубу, залило соседей снизу, пришлось раскошелиться – якобы взаймы, но было ясно, пиши пропало. Зима началась раньше обычного дождями со снегом, я слег с температурой и на досуге приистрастился сочинять кроссворды, обложился словарями, послал три кроссворда в газету, один напечатали, и я охладел к этому занятию. Знакомых обворовали, вынесли все, что можно, подонки, мы спешно вставили железную дверь и начали подыскивать собаку сторожевой породы. И за всей этой колготней, хлопотами, телефонными звонками и маетой, что и есть, увы, жизнь, совершенно забылась история с Надей, так, оказывается, звали хозяйку собаки – старую девочку с крылышками на узкой спине. Надя!.. Ее имя всплыло по весне, когда на реке уже тронулась пуга, молодые люди ходили без головных уборов, под окнами с утра до вечера голосила детвора, по асфальту шелестели мокрые шины, в кинотеатре отменяли сеансы из-за катастрофического отсутствия самого кассового зрителя – влюбленных парочек; когда таежный сверчок запел на проталине брачную песнь, выпячивая оливковые бока, взбежал по ветке и снова пропел – звонко и призывно, и долгая синь разъезла редкие клочковатые облака и легла неоглядно; когда мне сказали, что ее в жизни нет.

## ПОСЛЕ ПЯТНИЦЫ ЧЕТВЕРГ

По весне, когда над старым двором пролились первые дожди, сошел снег с дальних сопок, от реки потянуло смолой и соляжкой, воздух странно – как прежде – посинел и загустел от детских криков, шелеста шин по лужам, цоканья каблучков, велосипедных звонков, кошачьих концертов, осколков смеха, обрывков фраз, кое-как слепленных голубиным пометом, – по главной улице прошествовала настоящая лошадь, громыхая телегой с пустыми бидонами и оставляя стынущие на асфальте яблоки навоза. И, как прежде, за телегой с лаем и визгом бежали собаки и мальчишки, норовя пнуть эти самые яблоки и пристроиться возле бидонов, а старик возница в телогрейке сердился и взмахивал вожжами...

Уборщица застала у окна врасплох: я обернулся на грохот швабры о ведро и с ужасом понял, что рабочий день кончился и пора домой.

Дверь долго не открывали – я подавил кнопку снова. Наконец за дверью завопили и притихли: меня изучали в глазок. Я отошел, так, чтобы были видны коробка с тортом и яркий пакет, в котором без труда угадывалась бутылка вина. К вопросу «кто?» – да еще баском, – я не был готов. Не говорить же, в самом деле, что Робинзон пожаловал к Пятнице. Я зачем-то приподнял коробку с тортом, глупо улыбаясь и лихорадочно вспоминая отчество хозяйки.

«Ма, там тебя, кажется», – сообщил за дверью сынок.

В глубине квартиры коротко спросили и тот же ломкий басок ответил, что «хахаль, кажется». Вот паршивец! Неужели у Оли-Пятницы такой большой сын? Она говорила о нем, но вскользь, с неохотой. По легким шажкам и наступившей паузе я догадался, что теперь к глазку припала хозяйка. Я поклонился.

– Хорош, – оценивающе пощурилась в проем Оля и лязгнула дверной цепочкой. – Ну, проходи, коли пришел... Только, чур, недолго.

Прическа у Оли сбилась, челка растрепалась, отчего личико еще больше округлилось, руки по локоть были мокрые и красные, косметики ноль, старое трико и шлепанцы на босу ногу. Но глядела королевой, не без вызова: видал? Ну и плевать, мол, трудовые будни праздники для нас. Вообще-то надо было уходить. Но как раз сегодня я не желал быть «хахалем». Я снял плащ, повесил на знакомый крючок, прошел с гостинцами на кухню и уселся на табурет – нога на ногу. Под столом по своим делам пробежал озабоченный таракан.

Возле плиты линолеум вытерся – невозможно было разобрать рисунок. Из комнаты донеслись взрывы рок-музыки.

– Четверг же, – словно читая мои мысли, тихо сказала Оля. – Ты что, совсем уработался там?

Она приснула в ладошку и я осознал, что именно меня в ней нет. Женское в Оле-Пятнице вполне мирно уживалось с девчоночьим, острые ключицы с округлостью прочего, прысканье в ладошку с продуманным флиртом. Она и грешила-то как-то несерьезно: то пугая, то играя...

– Чтоб четверг не отверг, – я извлек из пакета бутылку болгарского сухого и поставил на стол. Он был уставлен грязными тарелками. Пахло жареной рыбой. Кран капал и подтекал, вокруг него уже образовался ржавый кружок. К мусорному ведру прислонилась пустая бутылка болгарского сухого – с прошлой пятницы. Слабеющее солнце било вкось, высвечивая на стекле толстый слой пыли и отвалившуюся замазку.

– Борька, сволота, посуду не помыл, а! – хозяйка решительно прошлепала в комнату сына. Музыка смолкла. В коридоре возникла раскрасневшаяся Оля, вслед ей что-то басили.

– Поговори мне, еще получишь! – огрызнулась на ходу Оля. Она была прекрасна, как физкультурница. Дать ей весло, она бы разнесла городской парк культуры и отдыха к такой-то бабушке.

– Нет, ты подумай, ему слово, он тебе десять! Свинья, троечник несчастный! Погоди, я тебе устрою лагерь Саласпилс! – размышляя вслух, Олечка ворвалась на кухню и с удивлением обнаружила меня на табурете.

– А давай посуду помою, – привстал я.

– Сиди уж, – задохнулась от моей наглости хозяйка. – Тебе чего здесь, распивочная, да? По четвергам, да? Вот что, мужчина. Заберите бутылку, кафе закрылось. Здесь граждане живут, дети. По четвергам рыбный день! Ну? Кому сказано? Освободите помещение, понятно! – не на шутку разошлась хозяйка. Впрочем, я и себя-то с трудом узнавал, что уж тут говорить об Оле-Пятнице?

По пятницам сын уезжал к родителям Оли, на другой конец города, на левый берег, сразу после школы, а я с дежурным тортом и бутылкой сухого вина подтягивался сразу после работы. Продолжалось это где-то с полгода, с того дождливого осеннего вечера, который застал меня в кафе-стекляшке. Оля и за стойкой прыскала в ладошку и



округляла глаза в ответ на остроты посетителей. Были еще припухлые губки, короткий носик, челка, что-то знакомое. Я проводил ее домой и, припертая к стенке на лестничной клетке, она выдохнула пароль: пятница.

Сценарий пятницы был утвержден с первого вечера: много сладкого. Оля делала крашенные губки трубочкой, чуть растягивая слова. Чайные ложечки звенели о фужеры. На маленькой кухне я задыхался от французских духов – той гадости, которую день и ночь рекламируют по телевизору, но терпеливо ждал десерта, который следовал после короткого антракта в отдельном санузле. В общем, ничего страшного, местами приятно, а сокрушительную пустоту по окончании можно было списать на пять рабочих дней.

В комнате опять завели музыку – громче прежнего. Оля ринулась по коридору, теряя шлепанец: «Нет, я кому сказала, а!» Музыка оборвалась, будто рок-певцу заехали в лицо кремовым тортом. Ну и черт с ним, с десертом. Я вышел в прихожую и натянул плащ.

– И торт забирайте, здесь вам не кино, – мгновенно возникла рядом Оля. Что ж, это действительно было кино, причем последний сеанс. Я так и сказал Оле: пусть торт останется на память. Оля выразилась в том смысле, что скатертью дорожка, катись колбаской, старпёр (старпёр – это старый пердун, любезно пояснил сынок), у нее таких навалом, помоложе и неженатых, только моргни. Я пожелал счастья в личной жизни и шагнул к двери.

– Погоди-ка, – Оля наморщила лобик. – А ты зачем приходил-то? – она включила в прихожей свет.

Вид у нее был, как у ребенка, которому выпал нелегкий выбор между пирожным и мороженым. Она прищурилась, под глазами обозначились тени. Моющиеся обои в прихожей давно не мыли. На тумбочке перед зеркалом лежал пустой тюбик из-под помады.

– Вот... – хмыкнула, перехватив взгляд, Оля. – Хотела окна помыть... И Борька дома... Все равно ничего бы не получилось, правда? – Она помолчала и подошла ближе. – Ты же знал, что Борька дома. Знал, правда?

Я увидел морщинки у рта и глаз – Оля слишком много хихикала, а ведь не девочка уже, давно не девочка. Мне стало ее жаль. Я сказал, что совсем заработался, много заказов, голова кругом, и, возможно, перепутал конец недели с концом света.

Оля прыснула в ладошку: «Ой, умора! Я так сразу и подумала!» И уже понизив голос, по-заговорщицки: «А торт я спрячу, от Борьки,



да завтраго не прокиснет, небось...» И она, чмокнув в ухо, подтолкнула к двери.

Во дворе в детской песочнице под неодобрительными взглядами старушек со скамеечки я прикончил болгарское сухое в два захода – сперва хотел вернуться и оставить бутылку до пятницы, но передумал. Четверг – день генеральной уборки, когда после долгой зимы перетряхивают вещи, моют окна, а сор выметают из избы. Причем навсегда.

В пивнушке у вокзала мы для разгона взяли три жигулевского и по полтора на брата. Потом хотели повторить, но тот, лысый, маленький, в рваном китайском пуховике, сказал, что если взять водку у бабок на углу, то выйдет значительно дешевле. Мне было все равно. Главное, что новоиспеченные друзья очень хорошо слушали про самую настоящую лошадь, которую я видел на улице своими глазами... Самую настоящую лошадь – не поверите!

Очнулся за полночь на раскладушке – это означало, что состоялось выяснение отношений и я, таким образом, отлучен от семейного очага. Я попил воды из-под крана и припомнил, что теперь мне и пятницы мало, кот мартовский, что я кругом неудачник, в этом месте по обычаю возвели на пьедестал мужа сестры, его правый руль без пробега по СНГ, и нечего морочить голову про какую-то кобылу... Вместо ответа включил телевизор погромче – на жену это не произвело впечатления, а вот на соседей – да, произвело, в стенку застучали.

Эти удары отдались в затылке – он раскалывался. Я набросил плащ и вышел из дома с мусорным ведром наперевес. Шел дождь, мелкий, невесомый, я скорее увидел его, чем ощутил, в свете фонаря. Было свежо и ветрено, небо с редкими звездами, в выбоинах асфальта блестели лужицы. Дом наш – стандартная коробка в новом микрорайоне города стоял в окружении чахлах тополей и жилых коробок. Дальше начиналась степь или то, что было степью, которую загадили стихийными свалками. Но если ветер дует со стороны сопок, что за рекой, то дышать можно. Ну, я и дышал, подставив лицо теплему дождю. Я добрел до мусорных контейнеров – удары ведра о край железного бака разнеслись в ночи набатом, – на седьмом этаже вспыхнуло и погасло окошко; я вздрогнул от догадки и уже быстрым шагом, чуть ли не бегом – к родному подъезду, не попадая в ступеньки, взлетел на четвертый этаж, не сразу, чертыхаясь, открыл дверь. Уни-

мая дыхание, посмотрелся в зеркало – дождь смыл с меня лет пять, не меньше, в волосах запуталась водяная пыль и они потемнели. Я причесался, помыл руки, почистил зубы, хотел побриться, но решил, что сойдет и так. Я почему-то торопился. Оделся потеплее – пиджак под плащ, кепку, полушерстяные носки. Вспомнив, порезал на кухне полбуханки хлеба и рассовал по карманам. Жена спала на правом боку, берегла сердце, так советовал врач; лицо ее – страдальческое в дни моих отлучек и в минуты любви, – разгладилось, застыло в ожидании. Мне стало грустно. Ведь ожидание – привилегия юности. Я вспомнил ее девушкой, спокойной деревенской девушкой со смуглой шелковистой кожей и робкой грудью, с прохладными скулами, в модном открытом платье, одолженном для свидания, она слегка стеснялась большого выреза на груди, но и сознавала – то, что надо; я замечал это по тому, как она кончиками пальцев проводила по узким бретелькам и перламутровым пуговицам. Я постоял над ней в мокром плаще, и свет торшера ее не разбудил, не встревожил, и вправду, она сильно уставала, жить с непутевым мужем, знаете ли... Я поправил одеяло, отводя взгляд от лица, взял со столика деньги, какие случились, конверт с письмом сына, погасил торшер и вышел. Дверь тоненько скрипнула, будто заплакал ребенок.

Дождь усилился – свет от фонаря стал мягким и желтым. В луже играла бликами мелкая рябь; разбрасывая тени, качались тонкие ветки тополей. Холодная струйка потекла за ухо, я поднял воротник и зашагал, руки в карманах, в сторону реки. Ветер по-свойски подталкивал в спину. На бровях то и дело нависали капли, я утирал их рукавом, не сбавляя шага. Цель была смутная, размытая, как вечер и дождь, берущие начало неизвестно откуда, как эта ночь, в которой не было звезд и неба, – и все же цель, ибо в темноте шел я достаточно уверенно. Иногда я останавливался и оглядывался назад – дом угадывался в пелене, темной глыбой на сизом полотне. Мигающий свет фонаря съежился до размеров далекой звезды. Там, на той звезде остались немытые моющиеся обои, кремовый торт, выпотрошенное помойное ведро и подлость на десерт; там, в той галактике сгнули кривые ухмылки, езда в переполненном автобусе и скользкий график вранья... И чем сильнее бил в спину ветер, тем яростнее, штыпором, ввинчивались во мглу злые мои мысли, тем отчетливее проступали в ней контуры моего ухода, неожиданного и, должно быть, смешного. Асфальт кончился и началась степь с короткой и сколь-

зкой травой и кучками металлолома, раз я запнулся, упал и тотчас встал: свет далекой звезды погас. Ветер изменил направление, уворачиваясь от него, шагнул вбок, и, не успев испугаться, покатился вниз.

Стена была гладкой и пологой. Я приподнялся и рухнул. Левое колено вывернуло боль. Кричал я, наверное, долго, если уже не ощущал дождя, только холод, липкий холод. Липкий холодный пот тела Господня, пролившийся на меня в ночи. Я сидел в луже и отплевывался от дождя – и глупое же занятие! Боль в колене, замороженная, утихла. Непослушными пальцами я нащупал в кармане хлеб. Это прибавило сил – я закричал.

...Кто-то задумал гараж в трех уровнях. Тронутые желтизной стены, лопата, лом, носилки в углу – и как я их не нашарил? За шиворот просыпался песок, под ногами в луже заиграла рябь, и там же преломилась и задрожала фигурка человека. Я задрал голову, моргая, – уже рассвело, небо посерело. Темная кромка была оторочена пучками травы. На краю стоял некто, серое пятно вместо лица, из-под рифленых подошв вылетел клочок дерна и царапнул ухо. До меня долетел окрик. «Живой?» – повторил хозяин будущего гаража. «Живой, живой», – хотел крикнуть, но вышел шепот.

Когда-то на месте строящихся гаражей была комхозовская конюшня, куда для общественных нужд списывали с ипподрома отбегавших свое лошадей. Будучи сопляком, я, тем не менее, вовремя сунул коняге горбушку хлеба и свел выгодное знакомство со старым возницей, что резко подняло мой авторитет во дворе. Дело в том, что в те времена гужевым транспортом доставляли молоко в магазины, им же вывозили пустые бидоны, а потому два раза на дню путь коняги пролегал по главной улице города. И не было большего шика, чем проехать рядом с возницей на зависть окрестной шпане. А старик был строг, курил махорку и, блюдя санитарные нормы, к бидонам не подпускал, взмахивая для острастки вожжами.

Я ее раньше не видел, и, наверное, поэтому упросил возницу прокатить нас до угла. Челка, чуть вздернутый носик и глаза, округлившиеся при виде живой лошади. Она сидела рядом и всю дорогу мы держались за руки – дружеским тимуровским пожатием. Не знаю, что уж она о себе возомнила, только однажды на перемене мне передали записку. «Давай дружить, только по-настоящему». И подпись,

не то Люда, не то Люся. Я не успел запомнить, потому что записку вырвали, зачитали вслух и гнусаво спросили, когда состоится свидание. Вопрос потонул в хохоте. Я на ходу пристроился к нему и от-важно прогнусавил: после дождичка в четверг!

Она ждала на углу и в четверг, и в пятницу, под дождем, дурочка. Вот дурочка. Неделю болела от простуды, не ходила в школу, а вскоре уехала из этого города навсегда – отец у нее был военным и получил новое назначение. Куда-то на юг, говорили, очень далеко.

Там, наверное, сейчас тепло, пахнет дынями, песок обжигает ступни, на набережной негде мандарину упасть, но по утрам или после дождя пляж пустынен и тих, обрывок газеты липнет к мокрому шезлонгу, редко вскрикивают чайки, море лежит недвижной равниной, мелкая волна шуршит у борта; вычерпав консервной банкой воду с днища, я снова берусь за весла, забирая влево, за буйки, она еле слышно повторяет свое неизменно «боюсь» – вот глупая! – я бросаю весла и сжимаю узкую теплую ладошку, легкий смех растворяется в солнечных бликах; а воздух вокруг и дальше, за маяком, настолько синий, что больно смотреть.

## ПРЕДАТЕЛЬ ЛЮБВИ

Я же говорил, что мне всучили никудышного адвоката! Она опять забыла сигареты! Девчонка. Училка. Юристка недоделанная. Свидания с адвокатом были единственно ценны тем, что на них можно было всласть покурить. Конечно, спасибо родному государству, что хоть такого дало. Гуманитарная помощь из-за границы. Из-за границы контрольно-следовой полосы. Оксана Федоровна, даже не извинившись за забытые сигареты, сообщила, что у нас появился шанс. Следовательно, бывший однокурсник, проболтался. Мол, зря ты его, Оксана, защищаешь, он аморальный тип, ходит по проституткам, неудивительно, что и людей убивает средь бела дня. Я попросил внести в протокол, что как рецидивист с давних пор стою на учете в детской комнате милиции. Меня попросили не паясничать. Почему я не сказал, что знаком со свидетельницей, имеющей приводы в милицию за занятия проституцией? У нас был конфликт? Почему этот факт не внесен в протокол? Это в корне меняет дело! Не хотелось отвечать – вне себя от злости я пялился в стену служебного помещения и только сейчас сообразил, чего в нем не хватает – окна. Оксана Федоровна пробормотала, что принесет самые дорогие си-

гареты, какие только продаются в этом пыльном городе. Я сказал, что конфликт был, и еще какой, этот сутенер чуть не сломал мне нос. Обращался ли я в тот день в травмпункт, пользовался ли такси, кто вообще может подтвердить, что я был сильно избит? Кто мог видеть меня на вокзале с такой-то? Поймите, придвинулась, обдав дорогим парфюмом, Оксана Федоровна, если конфликт действительно имел место, то показания свидетелей можно поставить под сомнение! Я вспомнил, что обращался на вокзале к таксисту на старой «Волге». Запомнил ли номер такси или, на худой конец, внешность водителя? Единственное, что я мог вспомнить, так это кустистые брови а-ля Брежнев. Оксана Федоровна записала в блокнот «Брежнев» и задумалась. Под красивыми серыми очами появились тени.

Мне захотелось сказать ей что-то ободряющее: уж очень эта дамочка колготится из-за моей персоны. Понятно, у нее это первое дело. Я обронил небрежно, что дело, в общем-то, плевое. Адвокатша стала кричать. Если мне наплевать на собственную судьбу, то бога ради, она умывает руки. Однокурсник прав: я аморальный тип. Ходить к проституткам в моем-то возрасте!.. Я спокойно заметил, что как раз в моем возрасте люди и пользуются секс-услугами. Кстати, я ими не пользовался – мне надо было просто убить время.

Оксана Федоровна извинилась – мол, в конце концов, это мое личное дело. Она успокоилась и сказала, что тут возникает проблемка. С одной стороны, мы можем нейтрализовать свидетелей и гнуть свою линию на 108-ю, превышение пределов необходимой обороны. А с другой, мое знакомство с проституткой произведет невыгодное впечатление на присяжных заседателей, это как пить дать. Уж очень в приличном обществе не любят продажных женщин, знаете ли.

Я возвысил голос. Да кто они такие, эти присяжные обыватели, чтобы судить-рядить о добре и зле, о таинстве отношений мужчины и женщины, кои не могли разгадать лучшие умы на протяжении веков, – словно бабки на скамейке перед подъездом?! Приличное общество!.. Импотенты и домохозяйки, забывшие, как выглядит мужской член! Любая проститутка честнее каждого из них. Любая дурочка умнее. Кстати, где эта дурочка?

В дверь заглянул надзиратель с вопросом, все ли у нас нормально. Я смолк.

Оксана Федоровна сказала, что свидетельница поймана (так и сказала – «поймана», честное слово!) и допрошена. Но ведь она сумасшедшая.

*Путается в показаниях. Пыталась соблазнить следователя. Когда ей показали мое фото, она закричала, что я к ней пристававал. Я заявил, что требую очной ставки со своим детством.*

*Оксана Федоровна нахмурилась. В такие минуты она здорово напоминает классного руководителя:*

*– А что вы хотели, гражданин хороший, дело давным-давно поставлено на учет в детской комнате милиции!*

## 1.

Был Мальчик – худенький, скуластенький, краснеющий по любому поводу, с вырезанными гландами и следами от медицинских банок на спине, отчего он никогда не купался с мальчишками. У Мальчика было все, что полагается мальчику на этом свете – трезвый папа, усталая мама (поцелуй на ночь), уголок с игрушками в о т д е л ь н о й квартире, щенок по кличке Барс, коллекция марок, копилка в виде глиняной кошечки, выглаженный поутру красный галстук, хорошие отметки в дневнике и первые муки мужания, утоляемые в тоскливом одиночестве.

И была девочка – полукровка, безотцовщина, с рано развившимися формами и обрезанной косой, круглой мордашкой, блестящими глазками и круглым же именем. Они жили в одном дворе: Оля в двухэтажном бараке, где в коридорах воняло жареной рыбой, керосином и кошками; он – в кирпичной пятиэтажке, куда он переехал из того же барака, из грязи в князи, болтали во дворе. Благоустроенное жилье имело очевидные выгоды – с балкона он видел ее окно и Олину мать, высокую, простоволосую, всю из себя видную такую, которая имела привычку не задерживать шторы перед сном. Папа твердо обещал ему бинокль, если закончит четверть на пятерки, и Мальчик налег на учебу, поражая учителей своей памятью. Он уже трогал ее грудь, два пугливых зайчонка с маленькими твердыми, как горошины, сосочками в узком тупике за дощатыми сараями. Его поражало, что при этом она беспрерывно жевала шоколадные конфеты, которые он брал без спроса в мамином буфете. Мальчик решил, что влюблен.

Был еще друг Ренат – курчавый крепыш в кедах на босу ногу, одноклассник и двоечник, родители его – сосланные татары жили в

том же бараке, что и Олечка. Ренат имел три очевидных достоинства: отжимался на турнике одиннадцать раз, курил взятяжку и презирал девчонок. Свистел им вслед, дергал за косы и тому подобное. О, двоечник – тяжкое бремя геройства. Ему-то и было по величайшему секрету сообщено. Разговор происходил за баракom, в мужском сортире, кособоком, крашенном известью, дощатом строении, на стенах которого выделялись решительные подписи к правдивым рисункам. Жужжали мухи. Ренат поднял Мальчика на смех: он лазил ей под маечку чуть ли не каждый день (лифчика Олечка еще не носила), причем бесплатно. Называл он это довольно цинично – «зажимбол». Дружбе едва не пришел конец. Мальчик был уязвлен, у него защипало в носу и стало до слез жалко шоколадных конфет. «Да плюнь ты! – посоветовал друг и добавил басом. – Все они, бабы, одинаковые!» Фраза поразила, в ней была простота, оптимизм и, возможно, истина. Любовь рассеялась, как дым от сигареты, выкуренной по-взрослому, взятяжку. Однако ранка саднила, он шмыгнул носом. Ренат щелчком отправил окурок в дыру, гаркнул: «Эс-Эс-Эс-Эр, два очка!». Хлопнул по плечу и поволок расстроенного товарища в барак. Мальчик упирался. Но Ренат был сильнее. Он отжимался одиннадцать раз на турнике и был, несомненно, настоящим другом.

Коридоры были увешаны тазами и вениками, уставлены сундуками и примусами. Было темно, прохладно, пахло жареной картошкой на подсолнечном масле, керосином и кошками. Она спросила «кто?» и долго не открывала. Вышла в мамином халате с оборками, губки измазаны алым. Халат был велик и расползался на груди. Олечка улыбнулась победно. Ковыряясь в носу, Ренат прогнусавил, что его друг умирает от любви. Мальчик незаметно покраснел в темноте. Ренат захохотал. Олечка обозвала нахалами. Пошли под лестницу. Ренат встал на стpёмe. У Мальчика стало сухо во рту, он неловко сунул ей в руку конфету, раскисшую от долгого пребывания в кармане. Не зашуршала, как обычно, оберткой, а спросила: «А та правда любишь, пpавдa?» И спрятала его потную ладошку под халатом. Мальчик замычал. Лестница скрипела, по ней ходили вверх-вниз. На этот раз ему было позволено больше, о-о, много больше. Халат жгуче вонял дамскими духами и рыбой, он задыхался, чуть не потерял сознание. Их руки встречались и, пристыженные, разбегались по телу. Какие-то резинки, пуговички. Они мешали. Лестница несносно скрипела. Ренат ненатурально кашлял. Мальчик вдруг забормотал уменьши-



тельно-ласкательные слова. Она оттолкнула его с загадочным «потом, потом!», по-же-н-с-к-и запахла халат. Блеснула в полумраке глазками и со смехом убежала. Он вывалился с не менее загадочным: «Они не такие, как мы!» На нем не было лица. Ренат издал квакающий смех. В штанах было тесно и горячо. Дома встревоженная мама уложила его в кровать, напоила брусничным морсом и не пустила наутро в школу.

Да, он как будто заболел. Написал контрольную на «тройку». Шансы заполучить бинокль упали. По его вине Ренат, списавший у него контрольную, схлопотал «двойку». Ходил сонный – наверное, плохо спал. Отказался играть в ножички и в футбол. Последнее было грозным симптомом. Мама велела глотать желтенькие кисло-сладкие шарики, в них было много витаминов. Коварная Ольга сказала при встрече, что он задолжал ей три конфеты. Конфет, в общем-то, было не жаль. Мама привела доктора. Доктор пришел без белого халата, заставил присесть, больно давил веки и переносицу (пальцы воняли табаком), высунуть язык (сделал с удовольствием), а после пил с папой водку на кухне. Диагноз был несправедлив: у-р-е-б-е-н-к-а переутомление. Услышав это, ребенок дернул щенка за хвост и бросил баночку с желтенькими витаминами в помойное ведро. Папа отметил дурное влияние улицы – имелся ввиду Ренат. А Ренат, между прочим, первым додумался, в чем дело. Любовь – известное дело. Состоялся мужской разговор на прежнем месте. Мальчик подтвердил, что конфет ему не жаль. Мухи жужжали. Ренат, которому недавно в присутствии родителей, мрачного рыжебородого толстяка и вечно напуганной чем-то матери, было заявлено, что если он еще раз напишет контрольную на «двойку», то будет оставлен на второй год, предпринял энергичные меры. На следующий день отозвал на перемене и прошипел, выкатив глаза, что, кроме долга в три шоколадные конфеты, девка просит за все удовольствие черт знает чего и выругался. «Черт знает чего» состояло в... – друг сделал паузу и закатал рукав. На грязном запястье химическим карандашом было начертано: «карсет». Смотрелось здорово – как татуировка. «Это еще что такое?» – удивился Мальчик, его бил озноб. «А хрен знает! – друг плюнул и стер надпись. – Сам хотел спросить. Написать написала, а чего, не сказала. Лыбится токо, сучка, у-у!»

Ренат пробовал по-соседски припугнуть ее, но Оля храбро ответила, что все-все расскажет маме, а та – дяде Володе, а дядя Володя



сильный и народный дружинник. «Ты-то хоть знаешь?» – спросил с надеждой Ренат. Мальчик помотал чубчиком. «Все они, бабы, одинаковые!» – заключил товарищ. С тем и удалились на урок. Ренат, над которым висел меч второгодничества и отцовский ремень, не давал покоя. Первая записка, брошенная через парты, гласила: «Ну чё, вспомнил?» Хотя вспоминать Мальчику было абсолютно нечего, даже с его памятью отличника. Он исписал злополучным словом всю промокашку. Разве что имя? Вроде Кармен? Есть такие женские духи, стоят у мамы на трюмо. Слово было нехорошим, от него воняло кошками. Мальчик готов был выкрасть духи. «Устроить ей зажимбол и амба! А на мамашиного хахалю насрать!» – следующая записка выражала отчаяние. Мальчик глядел в промокашку, где в колючих зарослях враждебного слова яблочками наливались Олины груди – они рисовал их машинально. Он вертел слово так и эдак, получалась чепуха, абракадабра, черт знает чего, буквы были круглыми, как пуговички и разбегались в разные стороны. Слово было покрыто тайной, затянута резинкой, укутано нейлоновым чулком – шифр для шпиона, пароль для часового, заклинание из сказки, тайна пахла духами и не имела ничего общего с рисунками на дощатой известковой стене. Ренат с задних парт строил свирепые рожи. Мальчик сжевал промокашку, сделал из нее снаряд и запустил им в друга. Ренат от неожиданности выругался матом и был изгнан из класса. Учительница сняла очки и шумно вздохнула – Иннокентий сидел у нее в печенках, – близоруко моргая, спросила, на чем они остановились. Ах, да, Французская революция... Учительница беззвучно разевала рот. Франция!.. Дюма-отец, Дюма-сын, шпоры, шпаги и, миль пардон, женщины – красивые, как Кармен, из-за которых беспрерывно дрались на дуэлях, потому что каждая из них в обязательном порядке носила к о р с е т. «Да здравствуют мушкетеры короля!» – заорали друзья после уроков. В штанах было горячо. Олечку можно было понять – ошибки молодости, с кем не бывает.

В магазине «Товары для женщин» на вопрос, сколько стоит корсет, из-за прилавка ответили, чтобы мальчики не хулиганили, а шли делать уроки или собирать металлолом. Тем временем в кассу выросла очередь, сплошь женщины – привезли нечто заграничное, видимо, корсеты. Стояли часа два. Мальчик гремел в кармане содержимым копилки, семь рублей (два железных) и сорок восемь копеек медью. Очередь колыхалась от духоты, бюстов и авосек. Говорили о

ценах и женских болезнях. В кассе сказали, что корсетов на базу давно не завозили, потому как это пережиток прошлого – их носили буржуазные женщины до революции. Очередь осуждающе колыхнулась. Ренат, как услышал про пережиток, так прикусил язык. «Да ну ее, эту хреновину! – прошипел он в ухо. – Припаяют срок, потом доказывай!» Стало ясно, дело – безнадега. Оставалось пасть перед Олечкой на колени. Но, оказалось, корсеты вовсе не пережиток. Из «прожигателей жизни» они в глазах очереди превратились в героев-тимуровцев. «А корсеты для больных? – урезонила всех старушка в очках на резинке. – Пионеры зря интересоваться не будут». И привела пример. Ренат воспрял духом и потащил слабонервного друга в аптеку. Было немного странно, Олечка мало походила на больную. Зато, рассудил Мальчик, она походила на женщину и имела законное право на женскую болезнь. Милая Олечкина улыбка, неясная, болезненная, светилась в конце барачного коридора. Мальчик прикинул на ходу: в крайнем случае, можно загнать марки – один тип из соседнего двора подкатывался, сулил червонец. Он обогнал озабоченно сопящего Рената и уверенно толкнул тяжелую дверь аптеки. В нос ударили воспоминания о вырезанных гландах. Жидкобородый старичок в белой шапочке заметил из-за стеклянной перегородки, что место для шуток молодые люди выбрали неудачное. И притворил окошечко фанеркой. Было видно, старикан вредный, этот и с рецептом не даст. Ни микстуры, ни корсета. Они сели на скамеечку в углу, где в деревянной кадке дремал фикус. И крепко задумались. Звенела дверная рессора, шаркали туда-сюда больные и их родственники, клубились запахи лекарств, солнечные зайчики дрожали на темных стенах, рябило в глазах от склянок и подмывало перебить их из рога-ток.

И додумались. Мальчик, правда, согласился не сразу. Аптека закрывалась в семь, еще час толстая уборщица мельтешила в окне, взмахивая шваброй и тряпкой. «Ночной аптекарь приходит в десять и дежурит до утра», – проболталась, закрывая дверь на большой амбарный замок, уборщица. В девять стемнело окончательно. Зажглись фонари, и на мостовую упали пестрые тени. Ренат щелчком отправил окурков в урну – «Эс-Эс-Эс-Эр, два очка!», достал из кармана гвоздь, – зачем носил, неизвестно, подвел Мальчика к окну, забранному редкой решеткой, озираясь, велел нагнуться, встал ему на спину и ловко открыл форточку гвоздиком. Ренат отжимался на

турнике одиннадцать раз и имел широкие плечи. Лезть внутрь пришлось более тощему. Мальчик пыхтел, извиваясь ужом, прутья решетки впивались в ребра; чтобы не закричать, он шептал уменьшительно-ласкательные слова. Ренат безжалостно толкал в задницу и подбадривал матом. Внутри горела настольная лампа, в поисках валерьянки бродила кошка. Валерьянка была на месте, грелки, бинты и противозачаточные средства тоже, о чем свидетельствовал преysкурант цен, но корсетов на месте не было. Дался Олечке этот корсет, в самом деле!.. Он прошел в подсобку, уставленную коробками, затем за стеклянную перегородку, на полках тускло отсвечивали колбы и бутылки. Пошарил в шкафчиках, заглянул под прилавок, где штабелем были сложены костыли... О ноги терлась кошка. В окне маячил Ренат, плющил нос о стекло – рожа получалась зверская. В конечном счете старикан был прав – место для шуток было выбрано неудачно. Потому что вечер закончился в милиции: под ногами заверещала кошка, он дернулся, махнул рукой, на кафельный пол упала здоровенная бутылка с резиновой пробкой. Рената в окне как ветром сдуло. Завоняло чем-то тухлым. Мальчик вдохнул раз-другой и как будто уснул. Без пяти минут десять его застигли подметающим с пола осколки и собственную блевотину.

Почему-то это обстоятельство стало отягчающим: заметал следы преступления, вроде того. Мальчик держался, как партизан, и друга не выдал. Но Ренат все равно был доставлен в милицию и вполне правдоподобно врал про лекарство для больной тетушки. Дело в газеты не попало, но получило огласку по месту учебы, где прошло собрание под лозунгом: «Они позорят честь нашей школы». Папа отметил влияние улицы, имелся в виду Ренат. С мамой было плохо. «Что, что понесло тебя в эту несчастную аптеку?!» – стонала мама с мокрым полотенцем на лбу. Мальчик расплакался, признался и был прощен. Дело в итоге уладилось, похитителей женских корсетов поставили на учёт, папа сходил в аптеку и заплатил за разбитую бутылку. Ренат, нещадно поротый отцом, самолично написал контрольную на «тройку» и перешел в следующий класс. Мальчик снова поражал учителей своей памятью. Вот только Олечка... А что, собственно, Олечка? Ничего с ней не случилось. Просто мама ходила в барак к Олиной маме. А может, и не ходила, шума, крика, слез не наблюдалось. Олечка здоровалась, как прежде, разве что не смотрела в глаза и не требовала долга в три шоколадные конфеты. А вскоре во-

обще съехала со двора. Прикатил на грузовике дядя Володя, маленький, чернявый народный дружинник; не вынимая папиросы из рта, погрузил немудрящий скарб. Олина мама в открытом цветастом платье громко смеялась, Оля сидела в кузове на матрасах, держала на коленях большое круглое зеркало и не глядела по сторонам. Мальчик прятался за углом, но видел все отчетливо в бинокль. Лишь когда осела пыль, и грузовик скрылся за воротами, его нашел Ренат, вложил в руку записку и быстро ушел. На листке в клеточку химическим карандашом было крупно и округло выведено:

П р е д а т е л ь л ю б в и.

На этот раз без ошибок.

Никогда больше не видел Олечку, сгинул, отнюдь не в пионерских, лагерях друг Ренат; стерли с лица Земли старый двор, на его месте сейчас платная автостоянка, ушел к другой папа, умерла мама; были женщины, дни острого, вздох, счастья, была жена, был женатый сын, были зубы, мост на левых нижних резцах, нелюбимая работа – всякое было, чего уж там, в одной стране живем! – но вот что: та детская глупенькая история с корсетом, этим пережитком прошлого, покрытая плесенью веков, пылью и сажей отгрохотавших пятилеток и перхотью от седых волос, вспоминалась вплоть до запахов – духов, кошек, жареной рыбы, сортира и аптеки... Иногда, обычно ночью, мучило странное: вернуться и спросить. И был ли знак, предупреждение, исходившие из детства, там, у незамутненного истока; мета, наколка химическим карандашом, которую ни смыть, ни стереть плевком, не вытравить кислотой, а только искупить?..

*Наконец-то сообразил, на что похожи мои записки в эксклюзивном жанре пиктограммы. На китайские иероглифы! С одной стороны, рисунок – полный примитив, что колючая проволока, с другой – сокрытый от посторонних смысл. Код тайного общества эпохи династии Тан. Синтаксис чуждательной страны, сжатый в пружину, готовый раскрыться посвященному во всю длину своего посыла миру.*

*Тут без переводчика не обойтись.*

*– Халасо... Они не видел этого мусину... Вся Русия одно лисо... Они не видел... Халасо...*

*Человечек снова запел – высоко, по-птичьи. Осекся и затравленно огляделся вокруг.*

*Единственный свидетель, который видел, как человек с золотой цепью поднял с асфальта железную палку и два раза ударил ею меня, как на грех, оказался китайцем. Мистика какая-то. Китайцы работали не-подалеку, возводили бетонное ограждение, и обронули кусок арматуры. За нею и вернулся свидетель (россиянин не вернулся бы, даю суточную пайку!). И вот теперь он отказывался от первоначальных показаний.*

## 2.

Кошелек лежал на асфальте, пузатенький, радостный такой – как подарок. Не заметить его было нельзя. Я огляделся и, помедлив, нагнулся – кошелек ожил и, точно лягушка, прыгнул на метр. Все еще не соображая, что происходит, я снова протянул руку – кошелек опять отпрыгнул в сторону. Из кустов раздался квакающий смех. Я покраснел: попался на удочку, как пацан! Подняв воротник, поспешил прочь.

– Ма-адой чеаэк, а, ма-адой чеаэк! – раздался позади гнусавый голос. – Это не вы обронули ка-ашалек?

Я прибавил ходу. За спиной забухали тяжелые шаги.

– Ладно, не кипишись, дурачок! – меня назвали по имени, на плечо легла увесистая ладонь. На ней синела полустертая наколка: «Оля». И еще сердечко.

Батон!.. Круглое лицо старого барбоса, посеченное шрамами, излучало детскую радость по поводу ловкого розыгрыша. Таких приемчиков Ренат, будучи сопленосым заводилой нашего двора, знал немало. Например, подложить кирпич в картонную коробку на видном месте или намазать лавку гуталином в парке культуры и отдыха, или разбросать коровьи лепешки на центральной улице города – улице Ленина. За лепешками Ренат специально ездил на Левый берег. Самое обидное, что розыгрыш с кошельком считался верняком и я не раз в паре с Ренатом его проделывал. Впрочем, не все Ренатовы забавы были столь безобидными. Долгие годы, особенно когда было тошно, у меня перед глазами стояла объятая пламенем кошка, которую этот самый Ренат облил керосином. Батоном вечно голодный Ренат стал позже, в классе седьмом – после того, как украл в хлебном магазине батон белого хлеба. Рената скрутили и, пока не прибыла милиция, юный правонарушитель успел укунить за палец грузчика, обозвать продавщицу «падлой» и сгрызть полбатона. Короче, нелады с законом начались у Рената с незапамятных времен. В шестнадцать

лет Ренат убил человека, отчима, за то, что тот ударил мать. Это был его первый срок. Потом были другие. Хладнокровный, расчетливый в деле и драке, попадался Батон в основном из-за женщин. Деньги и женщины – две страсти сжигали Рената, в жилах которого текли татарская и чуток бурятской крови. Этот крутой забайкальский замес понуждал Батона время от времени менять первое на второе.

Как-то это в нем уживалось – откровенная злоба и спонтанная жалость к тем, кто слабее его. Однажды его жестоко избила на автовокзале шпана за то, что заступился за бездомного старика. А выписавшись из больницы, первым делом отправил на больничные койки всех своих обидчиков и в тот же день, к вечеру, снял на улице норковую шубу с женщины.

– Здорово, Гендос! – орал он в трубку после очередного исчезновения из города, чаще ночью. – Не спишь, гнида писательская? Все бумагу мараешь? – и заливался квакающим смехом.

И когда при встрече мы выпили, Батон разогнал выюющуюся вокруг него криминогенную шпану и, буравя налитыми то ли кровью, то ли вермутом, глазками, задал свой коронный вопрос: «Послушай, а вот как люди книги пишут, а?» Мучил он его, что ли, нескончаемыми днями отсидки?

Батон честно признавался, что от корки до корки прочитал в жизни лишь одну книгу – УК РСФСР. Непонятно, что привлекало вора-рецидивиста к моей скромной персоне, наши жизненные орбиты давно и круто разошлись – пересекались тыщу лет назад, в детстве. Причем, Ренат, в отличие от меня, помнил мельчайшие подробности нашего сопливого дворового бытия: как разбили мячом окно старосты двора – персонального пенсионера, как воровали кедровые орехи на базаре, как прятались на чердаке от дружинников, сколько ударов мячом выбивал одной ногой каждый из пацанов, их клички, клички местных дворняг; как за каким-то чертом залезли в аптеку, прочую чепуху... Наше общение держалось на тонкой ниточке детства, но оборвать ее у меня не хватало сил. Ренат застыл, что муха в янтаре, в том далеком времени и, как знать, возможно, эта память не давала ему превратиться в законченного бандита. И когда он окликал меня раз в три-пять лет – на улице, по телефону – я послушно шел ему навстречу.

Но нынче не хотелось. Я знал, за что на этот раз мотал срок Батон – город у нас маленький.

Как-то на Центральном рынке Ренат поймал взгляд скромно одетого мужчины средних лет: бывшие зеки узнают своих каким-то загадочным, звериным чутьем, не то, что с ходу – с лёту.

Угощал Батон – деньга у него время от времени водилась. Сашу, так представился новый знакомый, Батон вычислил сразу: типичный «мужик», рабочая лошадка зоны, такие попадают в нее случайно. Вот и Александр задавил кого-то на своем грузовике, даже пьяным не был. Пока сидел в лагере – с ним развелась жена. Вышел на волю – ни кола, ни двора. Болтаясь на рынке, познакомился с женщиной. Второй год живут вместе, воспитывает девочек как родных дочек. Одна беда – работы нет, денег тоже, старшей не в чем в школу ходить, а то, что Алла наторгует или он где случайно подработает, хватает едва-едва. Да вон она чужими яблоками командует за прилавком. Батон зацепил взглядом светловолосую женщину со следами недавней красоты и предложил закрепить знакомство. Аллу Батон – любитель белого хлеба и белых женщин – купил тем, что с ходу попросил завесить, сколько ни жалко, яблок для ее дочек.

В предместье Дивизионку, где жила Алла, ехали на такси. Батон развалился на переднем сиденье, Алла сидела сзади, держа пакет с яблоками, колбасой и сладостями, Александр судорожно вцепился в две бутылки водки. Батон чувствовал прилив сил – даже таксист внимал ему с почтением. И за столом с добела вытертой клеенкой Ренат, косясь на бюст хозяйки, продолжал заливаться соловьем. Сашке он пообещал работу через своих корешей, детям, мгновенно уничтожившим сладости, – только фантики вспорхнули! – новые гостинцы, Алле, посмеиваясь, новую жизнь и захватывающие перспективы. Батон в принципе мог нравиться женщинам – природную некрасивость и перебитый нос с лихвой компенсировали уверенные движения, жесткий взгляд, хоть и грубоватое, но чувство юмора. При случае Ренат мог небрежно вернуть в речь запомнившуюся цитату, даже стихи – на зоне он любил общаться с эрудитами. И когда Алла отлучилась во двор нарубить капусты, а ее гражданский муж заметно окосел, Батон пробормотал, что, мол, приспичило. Но приспичило по другому поводу. В сенях Ренат крепко ухватил крутое бедро хозяйки, на что получил отпор, впрочем, не сильный – со смешком.



Воодушевленный отпором, Батон услал Александра за очередной дозой спиртного. Тактика званого гостя была примитивной: сожителя спойть, дабы приступить к штурму главной крепости, которая, кажется, была готова сдаться на милость победителю. Начать осаду немедля мешали вертевшиися возле материнской юбки девочки. И Батон предпринял словесную атаку: на хрена, извините, мадам, такой женщине такое фуфло по имени Саша? Алла вздохнула и ответила столь же прямо: не знаю, зачем, а только без мужика на этом свете не прожить. Ответ обнадеживал.

Но Александра Батон недооценил. Тот вернулся далеко не один – кроме водки Саша прихватил дружка под два метра ростом, видать, заподозрил неладное насчет видов дорогого гостя на ладную фигуру Аллы. И чем говорливее становился Батон, тем мрачнее – собутыльники, недружелюбно хрустевшие капусткой. Ренат, с детства не привыкший отступать, пошел ва-банк, предварительно боковым зрением опытного бойца сделав необходимые замеры: сколько сантиметров отделяет его от кухонного ножа на буфете, сколько – от двери и выключателя. А ва-банк состоял в том, что Батон на лагерном жаргоне популярно объяснил, что Саша и его дружок не мужики вовсе, а парнокопытные, и не угодно ли им выйти вон хотя бы на одну ночь куда подальше? Первым стал угрожающе подниматься из-за стола двухметровый амбал. Батон машинально ударил его бутылкой по лбу – дзынь! – тысяча осколков в кровавых потоках заката, льющихся в оконца, образовали вокруг головы радужный нимб. Амбал стал медленно оседать. Саша, – будто и не был пьяным! – резво метнулся к кухонному ножу, но Батон ласточкой прыгнул к выключателю и вырубил свет. Истошно закричала женщина, заплакали дети, и в кромешной темноте Батон всадил нож-финку в налетевшую на него фигуру, рванулся к выходу и был таков.

Нет, не таков был Батон. Пробежав без шапки по холодку метров тридцать, он опомнился и вернулся в дом. Зачем? По законам Зазеркалья следовало пришить всех свидетелей, и эта мысль мелькнула у Батона. Но пропала, лишь только он включил свет: в луже крови мычал и извивался Александр, дружок сидел в оцепенении, прислонясь к стене, и при виде Рената испуганно поднял руки. Детей не было видно, а их мать тихонько подвывала за печкой. Батон налил стакан водки, выпил его залпом, хрустнул яблоком и заорал: «Тихо, я сказал!» Он поочередно пнул невменяемых амбала и хозяйку, громко и



членораздельно поставил задачу: сейчас он вызовет милицию, а они – «скорую», а за все хорошее они покажут на следствии, что за нож первым схватился Александр... «Убью а то. Честное пионерское», – он вытер лезвие финки о волосы амбала.

На суде свидетели подтвердили, что хозяин приревновал сожигательницу и первым замахнулся ножом на безоружного гостя, а потом погас свет...

В результате вышеназванных грамотных действий со стороны Батона спустя каких-то пяток лет, добродушно скалясь, Ренат хлопнул меня по плечу, будучи на свободе и навеселе. Дело, по его разумению, не терпело промедления – он предлагал ехать к какой-то Алле к черту на кулички. Водкой и яблоками он уже затарился. Мне отводилась роль посредника или сводника. Короче, бред сивой кобылы. Или нет – дикого быка, влюбленного в Луну. Я отбоярился тем, чтобы грозный друг детства позвонил утречком, часиков в восемь-девять.

Гром прогремел по расписанию. Я схватил трубку и взглянул на часы: 8.00. Батон орал на том конце провода, что мы «забили стрелку», назад ходу нет, и что он уже поймал частника. Еще Ренат просил взять паспорт. На всякий пожарный. «На очную ставку, что ль?» – буркнул я в трубку, зевнул и услышал в ответ квакающий смех.

Но чем ближе подъезжали мы к Дивизионке, тем жиже становился Ренатов смех. До железнодорожного переезда Батон, развалясь на переднем сиденье и жуя резинку, калейдоскопически изложил события последних лет и закончил свой рассказ резюме: «Фраернулся из-за бабы, понял?» Пока мы пережидали грохот товарняка, – меня так и подмывало выйти из «Жигулей» и уйти домой пешком, – Батон обернул ко мне тревожное лицо: «Может, вина купить, а? Сухо-го? Все ж таки эта... женщина она...» И разозлился: «Перебьется!..»

Дом Аллы представлял из себя шлакозасыпной домик с кривым палисадником и большим огородом, сплошь засаженным картошкой и сорняком. Батон велел водителю обождать, не выключая мотор, минут пятнадцать и уезжать. Открыл калитку, пнул бросившуюся под ноги дворняжку, постучал в дощатую, побитую сапогами, дверь и поставил меня впереди себя. Выждав, я постучал еще раз. «Стучи, стучи, – дыхнул в затылок Батон. – Спят... На рынке она не работает, я узнавал».

Дверь открыла заспанная полуодетая девушка с синяком под глазом и жадно уставилась на винтовые колпачки бутылок, торчащих

из пакета. «Мать где?» – рявкнул Батон. «А она болеет...» – хихикнула девица и прикрыла ладошкой выбитый зуб. Мы прошли внутрь.

Позднее увиденное Ренат охарактеризовал как бордель. Причем солдатского пошиба – у печки стояли кирзовые сапоги, на столе пустые бутылки и банки из-под армейской тушенки. Запах был, как в казарме поутру. Девушка, хихикая, скользнула в соседнюю комнату, там скрипнула кровать, и в проеме возникла стриженная лыбящаяся рожа с чубчиком: «А-а, водяра пожаловала!» Батон метко запустил сапогом в чубчик: «А ну цыть!» И воткнул нож-финку с плегсиглассовой наборной ручкой в стол. И вояка-дембель гренадерского роста изобразил «цыть», едва попадая ногой в сапог и роняя портянки. Дверь хлопнула, в доме поднялась пыль.

– А кто эта тута раскомандовался? – возникло чучело женского рода. Грязно-желтые волосы наполовину закрывали одутловатое синюшное лицо и выцветшие белесые глазки. Кажется, хозяйка так и спала в армейской засаленной телогрейке. Алла зевнула и процедила:

– А-а, так это ты, милоч, шумишь? Уже откинулся, душегуб? Ловко! Ну, наливай, коли пришел, а то щас подохну...

Батон с грохотом смел со стола пустую тару, выставил водку и вывалил яблоки. Алла, не морщась, хлобыстнула стакан водки и начала стремительно пьянеть.

– А солдатика ты зазря в шею-то, Ренатик, – сообщила заплетающимся языком Алла, качаясь на табуретке. – Они, солдатики, они хорошие, они нам тушенки приносят... А ты чего не пьешь, Ренатик? Брезгуешь, да? На вот, полюбуйся, что ты с нами со всеми исделал, убивец... Вишь, какая Алка стала некрасивая... – Алла икнула и хихикнула, как дочь. – Знаем, знаем, зачем ты сюда пожаловал, знае-ем! А чё, ежели шибко нестерпел, то вон Людка завсегда... Она молодая, в соку, вон как это яблочко!

Людка хихикнула, как мать, подседа к столу и потянулась рукой с обломанными ногтями к бутылке, подмигивая синяком гостю. Батон дал ей оплеуху, – Людка кубарем скатилась под стол, – и заорал: «Младшая где, я сказал! Младшая где?»

Из-под вороха тряпья у печки вылезла девочка с грязной щекой, худющая, босая, шмыгнула носом. Батон, потеряв о подкладку пиджака яблоко, протянул его младшей дочке.

Ренат дал мне денег на такси и уже на пороге я услышал его рык: «Кабы знал, что сопьетесь, в прошлый раз пришел бы, сучки!...»

Изредка возле рынка я встречаю Батона. Он как-то сдал, постарел, ссутулился, отпустил седую бородку – ни дать, ни взять, праведник. По его словам, он «завязал», но деньга у него по-прежнему водится. Правда, Ренат божится, заученно осеняя себя крестным знамением, что ему просто шлет денежки из-за бугра один чудака, которому он когда-то спас жизнь на зоне.

Да, Батон изменился. Во-первых, стал жаловаться на жизнь, на нынешние нравы, чего с ним отродясь не бывало. Аллу он собственноручно сдал в наркологию, два раза она оттуда убегала, он дневал-ночевал, и в итоге Аллу то ли закодировали, то ли зашили супротив злодейки с наклейкой чуть ли не пожизненно. А вот за Людкой, старшей дочкой, прямо беда, не углядели – пошла по рукам, и пьет, и ширяется незнамо чем и с кем. Уж Батон за ней по всему городу гонялся, и ремнем бил, и дружков ее резал... А она – опять за свое. Сущее наказание, а не девка. Иногда, впрочем, приползает домой, валяется у «тятеньки» в ногах. И Батон прощает – его-то простили!

Зато младшая – умница. Быстро нагнала одноклассников и учится на твердые «четверки». Красавицей будет – в мать.

Иногда я вижу на рынке Аллу, она, как прежде, торгует овощами-фруктами. Аллу я узнаю с трудом, а она меня совсем не узнает. И, пожалуй, это к лучшему. Да, да, к лучшему...

*...И вот теперь он отказывался от первоначальных показаний!*

*– Предупреждаю, что за дачу ложных показаний вы будете отвечать по закону, – следователь поглядел на Оксану Федоровну.*

*– Нет, ты подумай только! – адвокатша нахмурилась. – Он же прошлый раз говорил совсем другое!*

*Переводчик громко и торжественно протараторил что-то соплеменнику. Тот испуганно залопотал. Переводчик поклонился:*

*– Харасо... Они нисево не видел... Они только работай, работай... болсе нисево... Нисево не видел... Харасо...*

*Короче, ничего хорошего. Вот почему китайцев больше всех в мире. К занятиям любовью они относятся, как к работе – никаких перекуров!*

*Китайцы, решетки, непрекращающийся лязг железа о железо... Судебно-психиатрическая экспертиза поспешила с вердиктом: я сходил с ума.*

Оксана Федоровна растерянно посмотрела на следователя. Тот улыбнулся. Уголовное дело, банальная, в общем-то, драка, невероятно запутывалось. Точнее, раскручивалось в одном направлении.

Еще хуже обстояло с другим свидетелем защиты – таксистом с бровями а-ля Брежнев. По тому, как на очной ставке дорогой товарищ Брежнев выпучил свои линялые голубые глазки, я понял, что меня вспомнили. Таксист заявил, что никакого избитого гражданина он на стоянке означенного дня и числа не заметил. Зато Брежнев очень хорошо запомнил, как я избивал железякой беззащитного пассажира. Вот жлоб!..

Два – ноль. Игра пошла в одни ворота.

Человек – последняя тварь.

### СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ

Человек – последняя тварь, привыкает ко всему. Эту сентенцию повторяет смотрящий, расхаживая меж нар и брезгливо воротя нос. Уж очень сия максима ему нравится.

В старом Китае должника заточали в деревянный ящик, лишь бедовая головушка да правая рука торчали наружу. И торчали на тысячу ли окрест живым иероглифом чисто иезуитски – в зной и зимой, пока родные и близкие не вырубят из семейного бюджета столько-то ланов серебра, требуемых по вердикту китайского мандарина. Вырубят буквально. Зубилом. Кусочки драгметалла, свободно конвертируемая валюта Степи – ланы и цины – вырезались что тесто для пельменей.. Для чего нагретый кусок серебра предварительно раскатывался до формата противня. В противном случае должник сидел в деревянной клетке до второго пришествия с севера тумэнов Чингисхана. Чалился что селедка под шубой.

При этом пенитенциарная система Поднебесной подразумевала содержание подследственного за собственный кошт. И не отрубала правую кисть должника (отсекали воришке, с которого взять-то нечего, кроме серебряных пятен пота на рубище), а оставляла поверх ящика как рычаг для кормления. Так как досмотра передач в тамошнем СИЗО не было, то кормить разрешалось, чем угодно. Даже рисовой и молочной водкой, кои сердобольные родственники для смягчения участи (и арестант слезно просил) носили бараными бурдюками.

И что вы думаете? Древние хроники, включая «Книгу гор и морей», отмечают: злостные нарушители режима, режима питания, спива-

лись, уходили в запой, хотя далеко вроде не уйдешь, и отказывались вылезать наружу, даже если родня, скрепя сердца, скрипя зубами, таки вырубил требуемые ланы-цины из родоплеменного куска серебра и внесла их в казну мандарина!

Загребел я на нары в разгар лета, когда тополиный пух на выносных столиках лип к пролитому пиву, что вокзальная шалава к командировочному, в камере-хате стояла духотища и вонь «носкаина». Почище кокаина и клея «момент», однако. Понюхаешь и моментально заколдобиишься. Я думал, не выдержу и дня. А вот уже снег тополиным пухом липнет к узкой оконной решетке. И скоро Новый год.

В камеру передали маленькую пластмассовую елочку. Ее водрузили повыше, примотав скотчем к трубе у воздухозаборника, чтобы видели все.

Если в доме пахнет мандаринами, значит скоро Новый год. Только не китайскими, а абхазскими мандаринами. Мандарины-начальники за Великой Стеной могли пахнуть разве что перегаром от рисовой водки и уткой по-пекински, выкушанными на долговые куски серебра. Мандарины же из Абхазии быстро портились, потому что выращивались без химических приправ, и покупались за пару недель до новогоднего застолья, не раньше.

Для меня Новый год – прежде всего мама. Худенькая, с натруженными руками, в великоватом байковом халате с вечными следами от свежей готовки, не говоря о фартуке. Она была прирожденной хлопотуньей – потерянная, несчастная, бродила по квартире, когда дела не находилось, и жалобно бормотала, что у нее ноют руки. Без работы. Вены на узкой подростковой руке вздувались, как у грузчика, и уже позднее, к концу жизни ее пальцы, знавшие лезвие ножа, ребра стиральной доски, половую тряпку, кипятилок, соду и прочая, но и клавиши! – страшно искривились. По воскресеньям мама выпаривала белье в огромном чане, лихо орудуя палкой, а я, если папа был в командировке или в загуле, носил дрова из сарая. К старости мамина правая рука напоминала клешню. Играть полонез Огинского на стареньком пианино стало практически невозможно. Мама перживала, но по-прежнему умудрялась меж хозяйственных хлопот подкрашивать ногти бесцветным лаком. Декабрьские деньки были ее страдой. С некоторых пор, с класса с пятого, я думаю, стараниями мамы в мажорное мандаринное облако под занавес года то и дело вторгались элегичные луково-селечные нотки.

«Как вы сказали? Селедка под шубой?!» – врезалось в память восклицание мамы в парикмахерской, где она делала прическу под Эдиту Пьеху. Перманент, мелкую завивку под барашка, столь популярную у работниц общепита, мама недолюбливала. Она училась в консерватории. В доме имелся камертон, похожий на идеальную рогатку без резинки. Пока мама записывала в очереди рецепт, я с ужасом представлял на тарелке овечью шерсть в рыбной чешуе.

Ох, не зря мандарины в этом рассказе настроены под камертон селедки, чуяло мое естество с самого дремучего детства. Мама заставляла вынимать косточки из распластанной рыбной тушки, жирной и склизкой. Это напоминало выдергивание прожилок с мясистых долек мандарина. Оба занятия малоприятные, нервные такие. Будешь нервным, когда тебя ждут во дворе с клюшкой, а ты голыми руками влип в пахучую историю и, кажись, надолго. Можно дважды вымыть руки хозяйственным мылом, но ладошки все равно долго воняют. Если чистка мандаринов имела стимул, обозначаемый выделяемой слюной, то первое занятие отдавало тоской – ударение на втором слоге, в хвосте рыбы. Потому что была еще ария Тоски, которую напевала мама, часто стуча ножом, нарезаая кубиками картошку, свеклу и морковь для селедки под шубой. Оставалось уложить их слоями и заправить.

А вот майонеза не было в помине. Главное отличие праздничных закусок и салатов моего детства: они заправлялись нерафинированным маслом и сметаной. Даже «селедка под шубой», которая по популярности соперничала с «оливье». Салат из квашеной капусты на всякий случай прохлаждался на подоконнике, пока гости квасились в прихожей. Хотя, на мой взгляд, салату из капусты, да еще с лучком, политым маслом, самое место на столе, а селедке, да под шубой, лучше плавать в проруби.

...Дверь могла без стука распахнуться и войти соседка, спросить соды или соли...

Непонятно, почему мама акулей хваткой вцепилась в эту селедку. Мама так надоела всему дому своим открытием, щебеча в предновогодней лихорадке про изумительные вкусовые качества новомодного рыбного блюда, рецепт которого ей дали по секрету в лучших домах Бурят-Монгольской АССР, что сосед Емельянов в сердцах брякнул маме:

«Иди ты, Пьеха!.. Сама ты селедка под шубой!».

Сам Емельянов был под мухой.

И мама заплакала.

Дело в том, что у мамы была старенькая мутоновая шуба. Со временем классный, шоколадной масти, мутон превратился во что-то мутное, но с претензией на путное. Шубу она по осени вычесывала, пытаясь распушить тающий, что снег на асфальте, мех, носила в химчистку подкрашивать. Тщетно. Шуба катастрофически линяла, переливаясь от свекольного до морковно-картофельного колера, холера ее раздери, белея проплешинами на полах и в вороте – словно пьяница, опрокинув рюмку, с размаху вторгся вилок в слои рыбного салата, беспардонно разворошив и смешав цвета. Мама отважно заделывала лысеющие краешки шубы обрезками от моей шубки, в которой я ходил еще в детсад. Наверное, можно было выпилить из семейного бюджета ланы и цины серебряной мелочи, но тут подвернулся мужской кожаный реглан. Шик-модерн! От обновы папа отнекивался вяло, любил погулять, покрасоваться, а мама любила его, вот и все – факт не обсуждался. Тот и этот.

Но главная обида заключалась в том, что мама в симультанной погоне за дефицитом, модой и папой действительно стала напоминать селедку – фигурой, не более. Многие женщины почему-то мечтают похудеть, а мама изо всех сил хотела потолстеть, особенно ниже пояса – по бокам и зачем-то сзади, ела пюре с маслом на ночь. Поначалу я думал, что День Конституции, краснеющий в отрывном календаре на декабрь, это женский праздник.

«У меня конституция такая, – краснела мама от замечания какой-нибудь толстухи, – я в Китае родилась, там все такие...»

Услышав про сопредельную державу, люди опасливо кивали, буд-то в одночасье прозрели в китайской грамоте.

И папа любил маму. Но по случаю, что ли. Без случая эта любовь никак не давала о себе знать. К примеру, когда мама заплакала, он полез драться с соседом Емельяновым, а тот был выше на голову. Они вышли из подъезда на мужской разговор. А вернулись пьяные. Оба. При этом сосед придерживал сползающего папу.

– Мать, прости! – кричал папа маме. – Мы на одном... того самое... Первом Украинском того самое... пластались-то... Щас же з-звинись, гад! – икал отец.

– Хозяюшка! Трали-вали... – рокотал Емельянов, кадыкастый, в хэбэшном трико, надетом задом наперед, отчего неестественно вы-



тянутые коленки делали соседа каким-то парнокопытным. Только без рожков, козлиной бородки и дудочки.

– Соседушка! Да ты ваще не при делах! – подтянул трико Емельянов. – Селедка ваще мировой закусон... и не старшая ты, трали-вали... то ись страшная... страшнее есть ваще-то ... в смысле, не старая ты, фу ты холера! – сосед притопнул валенком.

– Первый Украинский!.. – икнул папа, – он всегда первый!

Емельянов поцеловал папу в макушку: «Брат!..»

Но насчет того, кто старше страшно-старой селедки, это он, брат, зря. Мама скривилась, будто съела селедку без соли и решила просолить ее слезами.

Но не будем о грустном. Новый год все-таки.

Мама готовила за день до 31 декабря и другое рыбное блюдо – обжаренный золотистый хек под морковно-луковым маринадом. И дешево, и сердито, приговаривала хозяйка. Но с началом селедочно-шубной эпопеи хек стыдливо краснел на подоконнике на пару с салатом из капусты. Однажды папа притаранил из командировки в Баргузин красавца- сига, размером с полено, и мама сделала из него чудо-пирог, который участники застолья вспоминали весь год. Главная заслуга сига – у него не было косточек... А вот прибалтийские шпроты в плоской, что подошва, банке, как все консервированное, шли в дело в последнюю очередь, обычно на старый Новый год или для непредвиденных гостей. Особенно по линии профкома. Под вечер, уже теплые, вваливались в дом Дед Мороз со Снегурочкой. В эту дипмиссию в трудовом коллективе обычно отряжали сачков, нарушителей производственной дисциплины и скучающих незамужних женщин. Точнее, они вызывались сами. Дед Мороз иногда забывал бороду и Снегурочку, а забытая Снегурочка порывалась остаться до утра и показать маскарадный наряд Русалки...

Ну, с рыбой мы покончили. Также в качестве мирового закусона мама выставяла холодец. Но редко. Холодец надо варить с утра до ночи, а у мамы куча дел, вплоть до инструкций по наряжанию елки. Елку, с налипшими корочкой снега и опилками, папа приносил всегда настоящую – появившихся на прилавках «Промтоваров» пластмассовых елок разного калибра не переносил. На дух. Даже если на кухне радио орало с утра до ночи: «Химию – на поля!»



Кроме шаров и сосулук, на ветках меж мишуры и стеклянных бус созревали огурчики, помидорчики, луковички. Повелось это с де-душки Хрущева и его пристрастия к подъему сельского хозяйства и подъему в заоблачную высь – аж соломенную шляпу сдувало. Одна тема космоса чего стоила: ракеты и прочие спутники. Игрушечной фауны – от попугаев и обезьян до рыбок и свинок – тоже водилось в изобилии. Кроме стеклянных, висели мягкие их собратья. Деда Мо-роза и Снегурочку изготавливали из ткани, ваты и пенопласта. Потом появились пластиковые деды морозы и снегурочки. Те были теплые, а эти – холодные... Елку обязательно увенчивала звезда – с подсвет-кой и без.

В начальных классах я тайком вырезал снежинки, фонарики, фи-гурки из салфетки и фольги, не признаваясь в девчачьем рукоделье друзьям, а потом с чувством собственного достоинства забросил его.

Однажды мне влетело. И не от папы, от мамы. Подсмотрел, как старшеклассники устраивали в классе новогодний «дождь». Дела-лось это просто: кусочек ватки наматывался на край «дождевника», ватку мочили и бросали в потолок – ватка прилипала к беленому по-толку... Когда от маминого шлепка ринулся в совмещенный санузел, туда следом прибежала мама. И там, обнявшись на унитазе, мы с на-слаждением ревели уже вдвоем.

Мама вешала на елку шоколадные конфеты, сделав нитяную пе-тельку на ушке фантика. Начинку я тайком съедал, а фантик-пу-стышку аккуратно расправлял и оставлял на ветке, очень довольный своей хитростью. И только сейчас, спустя треть века вспомнив род-ную улыбку, меня вдруг ожгло, как горчицей: вашу мать, мама знала все!..

Если отец привозил из командировки в сельский район говяжьи языки, то на свет рождалось дивное заливное блюдо. На узкой длин-ной тарелке оно матово дрожало, дразня едока. Язык проглотишь! Маленькая стеклянная розетка с горчицей дополняла вкус. Раз я второпях ухватил чужой кусочек говяжьего языка, щедро намазан-ный горчицей, и – рухнул под стол... Горчицу собственноручно гото-вил папа по рецепту, вывезенному из Венгрии, где дослуживал после войны. Пожалуй, то был единственный кулинарный вклад главы се-мейства в дело победы над уходящим годом. Год старел, буквально съезживался по часам, скукоживался по минутам – под фронталь-ным натиском мамы и мадьярской сабельной атакой с фланга.

...Дверь без стука распаивается и соседка спрашивает то ли соды, то ли соли... в кухонном угаре не понять.

- Клава, возьми сама!... – не разгибаясь, кричит мама.

Ей некогда. На облезлой духовке мама выпекает шедевры – курицу с рисом, а также «хворост» и печенье с миндалем. Про печенье я вспоминал даже в армии. Кутаясь по самую макушку в караульный тулуп, то и дело поправляя сползающий ремень АК-74 со штыком, я глядел на небесное светило и чувствовал себя самым несчастным человеком под Луной. В ее разводах мне чудились мамино, чуть подгорелое, печенье с миндалем. И тогда узоры печенья магическим образом перетекали в профиль девчонки из соседнего двора. Мысли мои, дерзкие и горячечные от обжигающего мороза, ввинчивались в темень ракетой класса «земля – воздух». Луна становилась ближе, невозможное – возможным.

Армия – не то, что вы думаете. Это долгое предчувствие любви, дрожащее на кончике штыка. И предошущение дома и Нового года. Что одно и то же.

Свежих огурцов и помидоров на столе не было в помине, тогда в Сибири они зимой не продавались. Папе в начале декабря поручалось задание Генштаба – раздобыть болгарское пятилитровое ассорти «Глобус». И папа разбивался в лепешку, но добывал, хотя еле стоял на ногах и ворочал языком. Стоила ли шуба селедки? Ведь помидоры из «Глобуса» вечно лопались...

Покончим с закусками, проскочим, обжигая губы, горячее блюдо, и скорей – к десерту. Взрослым – селедку, детям – плетку. Без шубы. Чтобы не обожрались сладким. Например, шоколадом фабрики им. Бабаева, который гости считали своим долгом всучить сынку хозяев, то бишь, мне. Даже после зимних каникул карманы у меня слипались от раскисших шоколадных крошек. Такова светская жизнь! Под шумок застолья я пробовал выдохшееся полусладкое шампанское – кислятина, и как ее взрослые пьют? Магази́нские торты в ту пору считались роскошью. Еще и поэтому в доме под Новый год, помимо свежей хвои и мандаринов, пахло подгоревшим печеньем.

Из напитков отмечу «Крем-соду», от которой я беспрерывно рыгал, и облепиховый кисель. Первый – производства местного безалкогольного завода, второй – мамино. Отец уважал сорокапятиградусную «Старку» из литрового штофа – коньячного цвета и качества. И еще вино «Мадеру» – но на следующий день.

Стратегическая задача ночи – обѣесть и не уснуть. Начинали провожать старый год с вечера по часовым поясам. И помогали это делать сперва радиолы «Эстония», потом телевизор «Рекорд» с экраном, размером с разворот ученической тетрадки. Мы купили его с рук. Телевизор завернули в детское одеяло, не раз описанное мною (из писки, не из чернильницы – прим. авт.) в былые годы, обмотали бельевой веревкой. Я сидел на заднем сиденье «Победы», такси с шашечками, судорожно цепляясь за веревки «Рекорда» на поворотах. Когда приехали домой, то еще полчаса по указанию папы сидели, напуганные, и ждали, пока телевизор отойдет от холода. Если включить сразу, сказал отец, то телик может взорваться, что противопехотная мина – а в минах папа знал толк. Сидеть я не мог и бегал по квартире, пока папа не поставил на место. И вот «Рекорд» включили. На экране с треском побежали полосы... Я заплакал (что-то много плачут в данном рассказе, это не камертон, в смысле, не комильфо), мама закричала. Папа собрался ехать бить рожу. А оказалось, местное телевидение показывает до одиннадцати часов (завтра на работу) и начинает вещание с восьми утра. Всю ночь мне снились кошмары, будто из «Рекорда» лезет пьяный кочегар дядя Володя и рычит, что Райна поставила рекорд, родив за раз тридцать три щенка...

Потом пацаны всего подъезда ходили к нам смотреть телик, сидя на полу. Мокрые телогрейки и валенки товарищи сбрасывали на лестничной клетке перед дверью.

Собственно Новый год начинался, когда раздавались позывные «Голубого огонька», мама надевала туфли, а меня заставляли мыть руки. Нет, вру, сперва мама надевала туфли – и в тот же миг она, непривычно высокая, не к у х о н н а я, начинала светиться изнутри голубым светом... Мама в меру сил старалась приодеться не хуже, чем «в телевизоре», хотя бы по праздникам, стрекоча на швейной машинке «Зингер», героически вывезенной из Китая. На «Зингере» в условиях строжайшей экономии она творила чудеса.

Все мы вышли из маминых трусов, одни раньше, другие позже. Я – позже, в старшей группе детсада им. П. Постышева. Даже тут не обошлось без братской помощи сопредельной державы. Коммунистический Китай слал северному соседу свою теплую «Дружбу». Такая бирка на русском языке увенчивала добротные, нежно-салатные кальсоны и женские трусы, такие, с начесом. В этом густом начесе

никакой простатит, простите, был не страшен. Женские трусы были необъятными. Они начинались от бюста и обжимали резинками колени, даря защиту от подъюбочного сквозняка и целлюлита. Именно из таких трусов мама пошила мне пальтишко с капюшоном, эдакий пуховик-аляску периода оттепели. Маму встречные женщины спрашивали: «Гражданка, это в первом промторге выбросили? Очередь большая?»

Очередь за мирной жизнью была большая.

Женщины обсуждали фасоны и прически дикторов, актрис и певиц, подпевали Майе Кристалинской, Эдите Пьехе, Муслиму Магомаеву, Ободзинскому и Поладу Бюль-бюль-оглы.

- А ну еще бюль-бюль-оглы! – шутили мужчины, разливая водочку и папину «Старку». Выпив, они повторяли шутки Аркадия Райкина и частушки Мировя - Новицкого.

Громче всех смеялись мои родители. Прошедшие ссылку (мама), фронт и ранение под Берлином (папа), взрослые умели радоваться мелочам.

Позже, в старших классах после просмотра «Ну, погоди!», «Чародеев» и «Иронии судьбы», вволю насмеявшись при виде Вероники Маврикьевны и Авдотьи Никитичны, рекордом ночи стало не уснуть прежде «Мелодий и ритмов зарубежной эстрады», где могли засветиться АББА, «Модерн токинг», «Бони-М».

Все это трали-вали, вот куда «Старка», елки зеленые, надевалась-то!..

До одури наглядывшись по единственному каналу на «Двенадцать месяцев», «Морозко» и «Карнавальную ночь», ближе к полуночи я ерзал на стуле – во дворе ждали. Мы бежали на катушки, их устраивали на площадях, и катались до двух часов, в морозы под сорок. Аж сопли примерзали к вороту телогрейки.

После боя курантов все выходили на лестничную клетку и на улицу. Зажигались бенгальские огни, трещали хлопушки с конфетти, летал серпантин. Нынешние фейерверки и петарды заменяли выстрелы из ракетниц. Первый выстрел – сигнал к атаке поцелуев. В эпоху дедушки Хрущева в городе было много военных. В нашем дворе под ликующие крики стреляли из окна третьего этажа, где жила русская семья офицера Башкуева (вот честное пионерское!). Сосед Емельянов, воевавший в разведке, глядя в расцвеченное небо, кусал губы. Отец вздыхал. А пьяненькие члены артели инвалидов, вы-

катившись на тележках из подвала Дома Специалистов, озаренные красно-зелеными сполохами, плакали.

Сам Новый год пролетал, как во сне. Слаще предчувствие праздника и его послевкусие. Это как лимонные и апельсиновые дольки: мармелад съедаешь, а жестяную коробочку хранишь годы. Это как увядшее наутро «оливье» из холодильника «Орск» и холодные котлеты – вкуснее прежнего. Это как елочные базары: важна атмосфера, а не тощий товар. Это как пачки открыток, которые мама, улыбаясь, надписывала заранее ввиду перегруженности почты. Это как расцвеченные витрины с елочными игрушками, мимо коих я, зачарованный, бродил.

Кроме абхазских мандаринов на столе красовались китайские яблоки изумительной кисло-сладкой терпкости. За ними мама ходила ночью к поезду «Москва – Пекин». Японский городской, эдак мы от Китая далеко не уедем! Да и куда уедешь без чемодана?

Дверь без стука распахивается и соседка спрашивает сахару-песку. А вот теперь переходим к десерту.

На вокзале Хайлара в суматохе у них украли чемодан. Не украли, а подменили. Таким же чемоданом, набитом кирпичами. Швейную машинку «Зингер» воры не взяли, наверное, из-за тяжести. Мама все прошляпила. Будучи пятнадцатилетней растеряхой, она глазела на невиданное скопление народа.

За пару месяцев до исчезновения чемодана в город вошли японцы. Мама, пробираясь в школу, не раз отводила глаза, когда посреди улицы мочился японский вояка. В Хайларе открыли публичный дом с красными фонарями. Потом красного цвета стало больше...

На улицах валялись трупы.

И семья решила бежать. Помогло то, что мой дедушка, который раньше зарабатывал тем, что перекрашивал краденых лошадей, за год до вторжения Квантунской армии сумел устроиться на КВЖД обходчиком. И мама стала ходить в школу советских специалистов. Прежде она ходила в гимназию и изучала Закон Божий, не раз в старости со смехом вспоминала толстого попа-учителя, бывшего указкой за то, что забыла «Отче наш». Когда мама перешла в советскую школу, гимназисты стали дразнить ее «красной жопой».

Эта «красножопость» и спасла. Японцы резали китайцев штыками – был приказ беречь патроны. Жизнь не стоила и чашки риса. Но

квартал советских специалистов обходили стороной – СССР, это вам не палочки для еды! Спецов потихоньку начали вывозить. Моему деду помог русский инженер, с которым они после работы охотились в степи на сусликов-тарбаганов.

Они собрались в спешке. Все нажитое за два десятка лет уместилось в двух чемоданах. Когда раскрыли их в Улан-Удэ, то вместо вещей обнаружили кирпичи...

Другой «кирпич» был увесистей. Всех, работавших на КВЖД, стали шерстить по прибытию на родину. Тут и обнаружилось, что дедушка выехал из Хайлара незаконно, так как был всего лишь наемным, не кадровым, рабочим. Арестовали даже несовершеннолетнюю маму. На допросах их обзывали японскими шпионами. Били, кстати, мало – оплеухи не в счет. В ход пошло другое наказание. Говорят, эту пытку изобрели в Китае.

Голодным узникам дают соленую рыбу. Скорее всего, селедку. Люди набрасываются на еду. А потом им не дают пить. Ни капли. Умывают руки с мылом, чтобы не пахли селедкой. Говорят, ломались самые стойкие.

*Ну и семейка! И мама, и сынок чалились в «крытке». Даже папа торчал в вытрезвителе. Зато есть что вспомнить. Нет, не селедку под шубой. Когда на нарах вспоминаешь Новый год, легче лежать. И вообще, сидеть.*

Вкус рыбы, что швырнули в камеру, мама помнила всегда. Она вышептала о нем непослушными губами, когда лежала в больнице после инсульта. А до того стеснялась. Потому что они спаслись тем, что по приказу отца пили собственную мочу... Они ничего не подписали, их не расстреляли, а как политически неблагонадежных сослали в Феодосию. А крымских татар оттуда выслали.

«О, Феодосия, Феодосия!..»

Все детство я слышал это загадочное слово из уст мамы, которая при этом вздыхала и на миг затихала в кухонной суете. Загадочная Феодосия так прочно вошла в домашний лексикон, что я думал, что это такое ритуальное словечко, обозначающее пожелание чуда. Ну, типа «абракадабры». Потом я узнал, что Феодосия находится на Черном море и решил, что мама в детстве отдыхала там в пионерском лагере. Оказалось, что мама никогда не отдыхала. Ни в детстве, ни после детства.

Зато благодаря ухищрениям мамы – были подняты все связи, все подружки и их мужья! – я побывал в пионерском лагере «Орленок» в Крыму. В Черном море мы купались, подражая человеку-амфибии из только что вышедшего фильма с тем же названием. Приехав домой, загорелый, я рассказывал, как нас возили на экскурсии в Туапсе и Новороссийск. И я знал, что спросит мама. Она в который раз спрашивала:

«Эй, человек-амфибия, а в Феодосию вас не возили?»

«Нет, мама, это далеко».

«Да, это далеко...»

Эх, кабы я знал всю мамину историю, то подражал бы в Черном море не человеку-амфибии, а вожаку сельдевой стаи. Это куда круче!

Такая вот, япона вошь, селедка под шубой. Казалось, мама должна была, едва слышав рецепт рыбного блюда, бежать к унитазу, чтоб выблевать жуткие воспоминания. Но не из того теста была слеплена мама и ее печенье. Она училась в консерватории! Это как «иппон» – выигрыш вчистую слабого над сильным, чисто женская победа над усаатым мужчиной, что надменно улыбался ей с портретов. Даже выше «иппона»: единоличная победа в сумме и по очкам. На время.

Сквозь толщу Черного моря времени я вижу ее, вечную хлопотунью, в фартуке поверх платья, пошитого на «Зингере». И мне хочется крикнуть маме: не надо переживать, не отменят Новый год из-за пригоревшего печенья и все-все пройдет... Все, кроме чуда.

*Дверь без стука распаивается и соседка спрашивает какую-то вещь..*

Нет, это надзиратель выкрикнул в окошко мою фамилию: «На выход без вещей». Потом, понизив голос, добавил, что мне дали свидание с женщиной. На десерт. В камере принялись упражняться в остроумии: шуточки одна похабнее другой. Я решил, что пришла жена. Адвокат говорила, что звонила ей после того, как меня перевели в СИЗО, но та сказала, что не знает такого человека. И бросила трубку. И все-таки это была жена. Мать моего сына. Я знал, что сын уехал за границу на заработки. И – хорошо. Незачем ему знать, что его отец сидит в тюрьме. Я плеснул холодным чаем в лицо остро слову, его мышцы бугрились из-под черной майки, на плече синела татуировка «ВДВ». Десантник, отплевываясь чайной заваркой, пошел на меня, наклонив голову. Все знали, что он сидел за убийство матери. Он был тяжелее меня раза в полтора и наверняка крепко избил бы, кабы смотрящий за «хатой», щуплый мужчи-



на в спортивном костюме, не отдернул занавеску. Негромко, но внятно сказал, чтоб прекратили к и п е ш. Стало тихо. Десантник поворчал, но послушаться не посмел.

Я заметил, смотрящий симпатизирует мне. Это было необъяснимо. Я не представлял для него никакого интереса – мне даже не слали передач, пожалуй, единственному из камеры. Пару дней назад, например, он угостил меня водкой. И сказал, чтобы я не дрейфил и ничего на зоне не боялся – человек ко всему привыкает. Что верно, то верно. Я сидел в переполненной камере третий месяц, в которой даже спичка гасла из-за недостатка кислорода, а казалось, – жил в ней три года. Я радовался наступившему утру и скудному обеду – постному рыбному супчику и неизменной каше. Первые дни мучила изжога от однообразной пищи и черного хлеба, но и она прошла. Я привык засыпать при любом шуме, я прощал сокамерникам сомнительное качество юмора. С соседом мы играли в шашки на целчки по носу. Неделью назад пожилому, моих лет, подследственному, арестованному за взятку, стало плохо, он вдруг начал задыхаться, его унесли на носилках. Позже вертухай сообщил, что несчастный взяточник умер в тюремном медпункте. И я радовался, что жив. А еще как-то вечером смотрящий предупредил, чтобы я не спал. И в самом деле, десантник с двумя типами пытался меня изнасиловать, опустить, по-местному. Но сначала чуток придушить. Необъяснимым образом никто в «хате» в ту ночь не спал. Странное дело: в камере не принято было спрашивать, за что ты сел, но все знали, за что. Накануне десантник загнал новичка под нары и помянул в известном контексте его родительницу. Я брякнул, что лучше бы тот поберег собственную мать.

## **ПОЧЕМУ АМЕРИКА НЕ БЫЛА РАЗБИТА 2 ДЕКАБРЯ 1962 ГОДА В ДВА ЧАСА 30 МИН. ПОПОЛУДНИ**

Америка была обречена. Она еще танцевала «буги-вуги» в ночных барах и разъезжала на «роллс-ройсах», еще пила виски со льдом, жевала резиновую жвачку и уплетала сандвичи, еще угнетала негров и развратничала в своих неоновых джунглях под душераздирающие звуки саксофона, но деньки ее были сочтены. Так безжалостно постановила подпольная организация «Союз трех пистолетов». Правда, с оружием было неважно. Самопальный пистолет под мелкокалиберный патрон, переделанный из детской железной хлопушки по



шестьдесят пять копеек, имелся лишь у Толика Ссальника. Поначалу мы не хотели брать Толяна на дело: рост метр с кепкой, бегающие глазки и вечно грязный нос. С грязным носом на Америку не попрешь. А главное, болтлив и хвастлив не в меру. Перевесили два обстоятельства. Во-первых, пистолет. Толик божился, что он стреляет, как настоящий – пробивает железную банку из-под абрикосового компота с пяти шагов. Во-вторых, Ссальник был двоечником. Нам были нужны отчаянные люди.

А вот негров было жалко. Атомная ракета не будет разбирать, где белый, а где черный. А еще мы надеялись, что к тому времени американские рабы сбегут от своих хозяев на остров Свободы – мы предупредим наших черных братьев по радио на чистейшем африканском языке.

План, разработанный в штабе «Союза трех пистолетов», был до гениальности прост. С незапамятных времен у нас во дворе, как пенек на опушке, торчала бетонная будка. Издали шибко смахивала на фашистский дзот. Спокойно, граждане. Это всего-навсего аварийный выход из бомбоубежища. Находилось оно в недрах Дома Специалистов. Берегли их, спецов-то. Особенно в последнее время, после того, как Америка напала на Кубу. У подъезда, в котором находился вход в убежище, выставили милицейский пост, а сам вход забрали стальной решеткой и повесили на нее огромный, с Ссальникову голову, замок. Книгочей Борька, брызгая слюной, весь урок природоведения убеждал меня, что в бомбоубежище устроили командный пункт для пуска атомных ракет – про них в ту осень и вправду толковали на всех углах, в газетах и по радио. Так вот, план состоял в том, чтобы напасть на командный пункт и запустить ракету, главное, добраться до заветной кнопки... А про кнопку Борька собственными ушами слышал от милиционеров, когда те сдавали пост.

В конце концов Америка сама подписала себе смертный приговор: нечего было нападать на героическую Кубу, маленьких обижать нехорошо. После уроков мы тренировались на пустыре в стрельбе из рогаток и достигли в том высот военного искусства: с двадцати шагов разбивали вдребезги двухлитровую банку, которая увенчивала чучело противника. У чучела, сооруженного из деревянных ящиков, на уровне груди висела картонка с надписью «Smert Amerike». Потому что никто бить по голове милиционера, охранявшего доступ к красной кнопке, не собирался – все-таки это был наш милицио-

нер, советский. Однажды усатый сержант, когда мы для отвода глаз предприняли разведку боем вблизи объекта № 1 (так бомбоубежище обозначалось на нашем секретном плане) – игру в футбол, помог накачать резиновую камеру. Так что убивать никто никого не собирался. Охранника было решено обезоружить, связать, забрать ключи, а потом, если повезет, захватить секретный чертеж помещения. Пароль – «Родина». Отзыв – «Смерть».

В целях конспирации мы присвоили друг другу подпольные клички. Толику досталось самое захудалое – Хулио. Сальник пробовал возражать – в новой кличке ему чудился неприличный намек, но Борька напомнил присутствующим о военной дисциплине, и Хулио, пошмыгав грязным носом, буркнул: «Угу». Нет, чтобы сказать: «Спасибо, товарищи». Сальник давно мечтал избавиться от прежней клички. Он получил ее после того, как спер на рынке шмат сала. Разъяренный торговец поймал Толика за хлястик телогрейки, потом – за ухо. Напрасно он вопил, что у него тяжелое детство – его не отпустили, и Толик от страха на глазах у присутствующих обмочил гачу. Так что Толик, поворчав для приличия, замолк. Зато Борька присвоил себе то ли имя, то ли звание – Боливара, губа не дура, а мне из избытка чувств присобачил прозвище Гонзаго, которую Борька вычитал в романе про беглых американских рабов. Я решил не поднимать бунт на галере, памятуя о партизанской дисциплине, несмотря на то, что Хулио, этот Сальник несчастный, помирал со смеха. В целях той же конспирации были единогласно утверждены правила тайной переписки. Если депеша помечена тремя крестами, то приказ надо было выполнить любой ценой, даже ценой собственной жизни и отказа от походов в кино. Тут же встал вопрос о руководящих постах. После бурных дебатов единогласно, открытым и совершенно тайным голосованием решили назначить не одного, а сразу трех командиров подпольной организации, что, несомненно, только усилило ее мощь.

С наступлением холодов мы перенесли заседания «Союза трех пистолетов» с пустыря на чердак кочегарки, где было всегда тепло и можно было обсуждать наш план подолгу и в мельчайших деталях. А также списывать у Борьки домашнее задание. На листе ватмана (Сальник содрал школьную стенгазету) Борька, а точнее, товарищ Боливар начертил схему атаки на объект № 1 в масштабе 1 :

50. Масштаб устроил всех – фигурка милиционера на нем была не больше мизинца. При ближайшем рассмотрении при свете фонарика (лампу мы не включали из соображений конспирации, впрочем, света на чердаке все равно не было) нельзя было не признать, что план был дьявольски хитер. Во-первых, нападение должно было произойти средь бела дня, в два часа 30 минут пополудни, так как всем известно, – и милиции в особенности, – что захваты часового и всякого рода нападения совершаются под покровом ночи. Да не тут-то было! Итак, пол-третьего Хулио с учебником под мышкой (военная хитрость!) подходит к разморенному горячим обедом усатому сержанту и невинным голоском просит решить задачу по геометрии. В это время Гонзаго, то есть я, захожу со спины постовому, склонившемуся над учебником, и наставляю пистолет со словами: «Руки за голову, ключи на землю! Родина или смерть!» Вдвоем с подроспевшим Боливаром (он до поры будет стоять на стрёме) мы связываем сержанта веревкой, а Хулио, не мешкая, открывает ключами дверь бомбоубежища. Но, скорее всего, связывать милиционера не придется. Узнав о благородном характере наших боевых действий, усатый сержант присоединится к нам и вступит в «Союз четырех пистолетов». Все-таки это наш милиционер, советский. Вполне возможно, что до красной кнопки дело не дойдет. Прямо из бомбоубежища мы обратимся по радио ко всему человечеству и к угнетенному классу Америки на чистом американском языке. Опять же, узнав о благородном характере нашего захвата атомного оружия, угнетенный класс сбросит цепи, поднимет восстание и мировой оплот империализма падет в тот же час. Родина или смерть, черт подери!

На одно из заседаний «Союза трех пистолетов» товарищ Боливар явился в черных очках, чем вызвал всеобщее восхищение и зависть. Товарищу Хулио на следующее сборище поднялся по пожарной лестнице и проник на чердак, не вынимая изо рта вонючей гаванской сигары: они продавались в гастрономе по цене чуть ли не рубль за штуку. Сигару мы, кашляя, пустили по кругу, как это принято у партизан в горах Сьерры-Маэстро. Вдобавок я принес из дома компас без стрелки и театральный бинокль. Таким образом, мы не начинали наши заседания без ритуального раскуривания огрызка гаванской сигары, внезапной проверки на знание пароля-отзыва, настройки компаса согласно карте боевых действий и обозрения из бинокля объекта № 1, а также на предмет того, не привел ли кто за собой «хвоста».

Сладость подпольного бытия отравляло лишь отсутствие боеприпасов. В самом деле, что за «Союз пистолетов» без патронов? Милиции на смех. И потом, несмотря на клятвенные обещания Толика в боеспособности пистолета, мы с Боливаром с некоторым сомнением вертели в руках смазанную подсолнечным маслом бывшую пистонную хлопушку: боек и пружина вроде ничего, но ствол, выточенный Толяном на уроках труда под видом детского технического творчества, держался на честном Ссальниковом слове, то есть на соплях.

Беда не приходит одна. И пришла она в виде долговязой фигуры кочегара дяди Володи, которого, как выяснилось, привлек на чердак необычный запах гаванской сигары.

«Ах вы гниды! – заорал, дергая кадыком, дядя Володя. И ухватил Ссальника за многострадальное ухо. – Вы что, спалить мне кочегарку хотите, паршивцы?! Да я вас, щенков, удавлю по одному!..»

Товарищ Хулио в нарушении правил конспирации ревел в полный голос – как американский койот, однако. Дядя Володя, ссутулясь под стропилами, с хрустом топтал сапожищами сорок последнего размера шлаковый пол с абсолютно черным от угольной пыли и возмущения лицом, изрытом оспой и водкой. Атмосфера на тесном чердачном пяточке становилась взрывоопасной – в любой момент, стоило закурить сигару, штаб мог взлететь на воздух из-за недопустимой концентрации сивушных паров, изрыгаемых дядей Володей вместе с африканскими матами. В переводе они означали, что товарищу Хулио надо оторвать уши, а товарищам Боливару и Гонзато – ноги. Опасаясь, что Хулио не выдержит пыток и назовет адреса и явки, мы переглянулись и скупое рассказали видному полпреду рабочего класса СССР о близком конце Америки. Нет худа без добра: дядя Володя слыл страстным охотником, прямо в кочегарке, бывало, разделывал голубей и прочую водоплавающую дичь и, несомненно, мог достать патроны. Услышав про наши благородные планы, дядя Володя, светлея негритянским лицом, сбросил цепи с товарища Хулио, закурив сигару и обещал как следует разобраться. Сразу же после ухода кочегара мы единогласно при одном воздержавшемся постановили принять в нашу организацию товарища Лумумбу – новое конспиративное имя дяди Володи ни у кого из присутствующих, при одном воздержавшемся (державшимся за ухо), не вызвало возражений. Товарищ Лумумба мог пригодиться не только как добытчик боеприпасов, но и на всякий пожарный случай.

Дело в том, что помимо доброго и старенького усатого сержанта вход в бомбоубежище охранял его молодой сменщик – безусый, злой и высокий. Однажды, когда в разведывательных целях мы пинали футбол близ объекта № 1, мяч от глупой башки товарища Хулио отлетел прямо в руки охраннику – тот как раз пил чай, – и обрызгал мундир. Милиционер разозлился и унес мячик в каморку. Сначала мы канючили, выпрашивая мячик, – постовой был неумолим, и тогда в порядке генеральной репетиции штурма перешли к активным действиям и обстреляли пост из рогаток. Милиционер погнался за нами и мы не могли не заметить, что наша доблестная армия, несмотря на численное превосходство, позорно бежала... Унижение можно было смыть только кровью. Так что дядиволодины навыки обращения с совковой лопатой пришлось бы в грядущей операции кстати. Кроме того, товарищ Лумумба олицетворял в своем помятом лице пробуждающиеся силы черного континента в борьбе против белой Америки и белой водки.

День штурма был назначен на второе декабря. В этот день, пояснил Борька, Фидель с соратниками высадился на Кубе. Правда, после октября вся эта шумиха вокруг острова пошла на убыль, но мы продолжали тренироваться в стрельбе из рогаток на чердаке – никто из трех командиров не решался первым объявить о прекращении войны против Америки. И потом, чем бы мы занимались после войны и после уроков?

Товарищ Лумумба, получив в качестве задатка гаванскую сигару, передал через товарища Хулио, что готов добыть патроны за восемь рублей шестьдесят одну копейку или за три бутылки водки – ее требовали контрабандисты, чтобы подкупить офицера на границе с Мексикой. Весь ноябрь мы сидели на уроках с урчащими животами – копили на патроны, отказываясь от школьных завтраков, и гордо проходили мимо школьного буфета, не дыша. Воистину члены «Союза трех пистолетов» обладали железной волей! Родина или голодная смерть.

Накануне восемь рублей шестьдесят одна копейка были вручены товарищу Лумумбе на торжественной линейке возле пышущих жаром топков. Дядя Володя отшвырнул лопату, сгреб партийную кассу, просиял и восхищенно молвил: «Вот засранцы!...» Патроны от клятвенно обещал доставить на поле боя. Пароль тот же. На уроке бота-

ники я получил депешу: на промокашке было начертано три креста. Я прочитал тайное послание, сжевал его в целях конспирации и проглотил, погрозив кулаком скелету в шкафу.

Вечером мама тревожно спросила, почему я плохо кушаю и не болен ли я. Она потрогала мой лоб и сунула под мышку градусник. Наивная женщина!.. Откуда ей было знать, что завтра ее сыну, возможно, придется умереть в неполных десять лет! Ночью я плохо спал – слезы застилали лицо и намочили прощальное письмо маме и сестренке, которое я на всякий случай (а вдруг дежурить будет тот безусый милиционер?) прятал под подушкой. О, мама миа, только бы пистолет не дал осечки!..

Утро второго декабря выдалось хмурым: пепельное небо надгробной стелой пронзала труба кочегарки, источая едкий крематорный дымок. В бой я взял длинный гвоздь, моток бельевой веревки, чтобы связать постового, бутылку лимонада, лейкопластырь, чтобы заклеивать сквозные пулевые отверстия, зачем-то соль и спички. Все это лежало у меня в школьном ранце сверху, надежно прикрывая от посторонних глаз рогатку и пистолет. В штабе уже дежурил товарищ Боливар в черных очках. Я мрачно бросил ему пароль и услышал отзыв: «Смерть». Я поежился. Но нам повезло: пост охранял добряк сержант. Товарищ Боливар приложил к черным очкам бинокль, хотя и без того было видно, что усатый сержант вышел из подъезда и вылил в снег воду из чайника. Последним припылил товарищ Хулио с учебником под мышкой, глаза его бегали – Ссальник явно трусил. Борька вынул из-за пазухи листок и стал учить текст радиообращения к народам мира. Товарищ Боливар был по-мужски скуп: «Люди! Товарищи негры! Ахтунг! Янки – капут! Кока-кола – ноу! Куба – йес! Миру – мир! Янки, сдавайс! Самбо! Чао!» Все согласились: текст что надо. Мы склонились над картой, уточняя боевые позиции, и в этот момент что-то зазвенело. Ссальник от неожиданности выронил из рук учебник. Да и я, признаться, перетрухнул. Нервы-то на взводе. Борька вытащил из кармана будильник: был ровно час. Именно не позднее часа товарищ Лумумба обещал по-пластунски доставить на поле боя патроны. Мы переглянулись, обнялись на прощанье и по одному, соблюдая конспирацию, покинули штаб по пожарной лестнице.

Я уже изрядно продрог у объекта № 1, прячась за бетонной будкой и сжимая в кармане пистолет, когда увидел, что Хулио машет мне

из-за угла сарая учебником: что-то случилось. Я уже давно заподозрил неладное, – товарища Лумумбы нигде не было видно. Может, нас выдал провокатор и Лумумбу арестовали?

«Дядя Володя! Товарищ Лумумба! Вставайте!» – мы по очереди робко трясли сапог сорок последнего размера. На дощатом столе в углу кочегарки торчали пустые бутылки и консервные банки, рыжий кот слизывал с краев томатный соус. Штаб «Союза трех пистолетов» был вынужден отметить, что товарищ Лумумба был мертвецки пьян и по этой причине не мог олицетворять поднимающиеся силы черного континента. Борька завел будильник и поднес его к черной от сажи щеке. От звона в ушах дядя Володя резко осел на топчане, бессмысленно уставясь на соратников красными, как у кролика, зенками. Я протянул лимонад, – товарищ Лумумба, дергая кадыком, жадно проглотил содержимое бутылки, – и повторил вопрос насчет патронов.

«Чего-о?! – взревел кочегар. – А ну идите отсюда!» Лумумба страшно выругался и запустил в нас портянкой. В полете она расправилась и плашмя упала на лицо разинувшего рот товарища Хулио – тот от испуга сделал вдох и потерял сознание. Мы подхватили раненого товарища и спешно покинули поле боя. С голыми руками на Америку не попрешь. Соблюдая конспирацию, мы без единого выстрела разошлись по домам – якобы учить уроки.

Пусть Америка вечно молит своего американского бога за то, что дядя Володя не смог вовремя достать патронов!..

*Комната для свиданий была похожа на пенал. В дальнем конце стоял табурет, в окне был виден край пожарного щита, доносились голоса – я понял, что мы находимся на первом этаже. Комнату перегораживала решетка от пола до потолка. В нише сидел охранник – я видел только его тяжелые ботинки. Я попросил, чтобы с меня сняли наручники – это могло произвести плохое впечатление на жену.*

*Затем в дальнюю дверь ввели женщину и она сразу села на табурет. Это была не жена. И не сжительница.*

*Женщина передала привет от Рената. И я с облегчением узнал в этой красивой, нестарой еще женщине, боевую подругу Батона. Алла сказала, что Ренат придти не смог – он в больнице. Что-то серьезное? – встретился я. Ничего страшного, тряхнула мелированными волосами Алла, и улынулась: обострение хронического простатита. Еще бы у старого*



вора-рецидивиста не было простатита после череды холодных карцеров!

– Ему буду удалять предательскую железу! – прижалась к решетке Алла и высморкалась в платочек.

– Предстательную, предстательную железу! – засмеялся я.

– Ага, – кивнула Алла, – я и говорю, предательскую...

Я был ужасно рад привету из детства. Алла посерьезнела: Ренат велел спросить, не обижают ли меня здесь? Я понял наконец, почему смотрящий неназойливо опекает меня. Алла сказала, что как только Ренату сделают операцию, он навестит меня. А пока они собрали посылочку – кое-что с собственного огорода, мне нужны витамины, а еще теплые вещи, носки она сама связала... Я готов был зарыдать. Ежели меня будут обижать, сказала Алла, то надо отписать на волю. Ренат спрашивает, может, с кем поговорить? Со свидетелями, например.

«Не положено!» – зарычали из угла, ботинки пришли в движение. Охранник предупредил, что еще одно нарушение – и он прекратит свидание.

– Не унывай! – изо всех сил заулыбалась Алла. – Ренат говорит, по первой ходке много не дадут!

Да, это была не жена. И не Алёна. И не Оля, ни та, ни эта. И не Стелла. И не Света. И не Надя. И не надо.

## СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ

Иногда мне казалось, что москвичи не такие, как мы. То есть внешне они как люди, и ходят ногами, но внутри совсем другие, с более тонкой извилистой организацией – запутаться можно. Я был пионером и наш класс за сверхплановый сбор металлолома наградили поездкой в Москву. Тогда скорый поезд из наших мест, пыхтя и чадя на подъемах, – приходилось спешно захлопывать окна, – полз до столицы нашей Родины пять суток. Ехали плацкартой, было весело, питались домашними припасами и кипятком. Девчонка из старшего класса, племянница завуча школы со странным именем Стелла, которую взяли в Москву по блату, научила в тамбуре целоваться «по-взрослому». Она сказала, Стелла значит звезда. Сначала курили редкую сигарету с фильтром по переменке, потом звездная Стелла стала высмеивать, что курю не в затяжку – наверно, и целуюсь так же! «Сама дура», – покраснев, буркнул ненаходчиво. Она не



обиделась, а, выше на пол-головы, склонилась, пощекотав скулу ресницами. Кожу на затылке стянуло – я сжал губы, как пионер Петя на допросе в гестапо. «Шизик, открой рот!» – сказала тоном классной руководительницы. То, что она вытворяла языком, было неопишимо, я чуть не задохнулся от счастья и возмущения. Рената из-за плохого поведения в Москву не взяли – и слава богу, а то бы испортил все дело.

По прибытии в столицу на грязный перрон, закопченные, как негрятята, мы спешно повязали галстуки и всем табором, подгоняемые конвоем, попарно двинулись в сторону Красной площади – даже на эскалаторе не дали покататься вволю, сволочи! И встали в длинную очередь. Правда, очередь двигалась ходко, не то что другие, позже – по жизни. Дедушка Ленин был маленький, сухонький, некрасивый, как и полагается быть бурятскому дедушке. Мы дружно отдали салют, подняв согнутые в локтях правые руки над головами. Было стыдно, я не смел поднять на Ленина глаз за то, что целовался в тамбуре посредством языка. Потом я катался в метро по эскалатору, лизал самое вкусное в мире московское мороженое в вафельном стаканчике и исподтишка вглядывался в москвичей: они казались мне людьми из другого мира, где никому не бывает стыдно, потому что совершали только хорошие поступки. Ездили на целину с гитарами, играли в КВН, читали стихи в кафе, скандировали на площадях «Миру – мир!», взявшись за руки с неграми, и еще что-то прогрессивное – я не мог представить, чтобы они могли ходить в туалет. Нет, определенно они не ходили в туалет, это было немыслимо! Долгое время мне казалось, что они и любят друг дружку по-иному, более культурно, что ли, обязательно после того, как посетят театр на Таганке, кафе или, на худой конец, кинотеатр «Баррикада», и тогда то, что именуется в народе любовью, не станет скучной, повторяющейся в деталях, обязанностью.

Чудилось, что сам воздух Москвы пахнет по-другому, как не пахнет ни в одном из провинциальных городов, он не мог пахнуть ни жареной рыбой, ни тушеной капустой, ни пылью, ни керосином, и любовь, законсервированная в этом воздухе, сохраняется дольше, с детства до старости; ведь юные москвичи не стояли в очередях, а гуляли по Ленинским горам, играли на скрипках, катались на таинственном искусственном льду, занимались детским техническим творчеством и другими полезными для нашей Родины делами в

светлых и просторных дворцах из стекла и бетона, ходили смотреть на созвездие Тельца в планетарий, плавали в загадочном плавательном бассейне. Потом они выросли, и стройные, остроумные, как Никита Михалков, шагали по Москве с такими же стройными голубоглазыми девушками. Позднее это наваждение прошло, в Москве было сыро, крантам ботинок налипла серая каша – грязь по полам со снегом и технической солью, прохожие смотрели под ноги и жевали на ходу, куда-то исчез прежний запах – запах вафельного мороженого, настоящего на теплом сквозняке метрополитена, и стало скучно жить.

Когда прилетел из московской командировки, в двери торчала записка. Не раздеваясь, я прошел в кухню, попил воды из-под крана и развернул аккуратно сложенную бумажку. На ученическом листке в клетку женским почерком был написан чей-то адрес. И все. Ни буквой больше. Понимай, как хочешь. Вместо подписи значились три креста. Детский сад какой-то. Я выбросил записку в мусорное ведро. Три креста, вспомнил я, принимая душ, в прошлом веке означали высшую степень секретности. Тайны сопливого мадридского двора! Тут, того и гляди, сын без спросу сделает тебя дедом, а э т и никак не наиграются в войну! Да и с Америкой мы вроде помирились. Однако женский почерк не давал покоя. Кажется, три креста расшифровывались: приказ надо выполнить любой ценой. Тем более, если просит женщина. Но когда это было?! До нашей эры! В глаза попала мыльная пена. Мокрыми босыми ногами я прошлепал на кухню, достал записку, присыпанную картофельной кожурой.

Дверь открыла не первой молодости высокая женщина в коротком байковом халате, но со странно молодыми ногами – даже в полумраке прихожей это бросалось в глаза. Женщина кивнула, как старому знакомому. В квартире было сильно накурено. От стен отставали обои. Под ними шуршали тараканы. На кухне в зеленых зарослях пустой водочной стеклотары сидел незнакомый трезвый мужчина с седым ежиком и пил чай. Он назвал мою дворовую кличку. В этом морщинистом облезлом коротышке я с трудом опознал Толика Ссальника, члена тайного общества «Союз трех пистолетов».

Прошло двести лет, родилось, любило, страдало и умерло целое поколение, исчезла одна страна и возникло другая, люди стали умирать от СПИДа, заниматься любовью на расстоянии и говорить по

телефону на бегу, молодые люди не знали, что такое телогрейка и валенки; на Руси – неслыханное дело! – перестали убивать по приговору суда, обмелели реки и ушли на север волки, над страной пронёсся призрак гражданской войны, изменили многовековой маршрут брачных игр гренландские киты, перекроили карту Европы, мир чуть не погиб от горстки фанатиков, футбол стал тотальным и неинтересным, свет далекой звезды от задворок Вселенной доплыл, вернее, доплыл до городской тюрьмы – и ее начальник сошел с ума, выпустив всех узников; кино и явь поменялись местами, – а Толик Ссальник все так же, не выучив уроков, играл в прятки на пустыре за дощатыми сараями.

Первым делом он спросил, есть ли у меня оружие. Я подумал, что за истекший миллениум дружок сошел с ума – и раньше-то им не отличался. Ну, впал в детство, старческий маразм, с кем не бывает. Но Толик вполне убедительно, даром что трезвый, рассказал, зачем ему пистолет. За отчетный период он покрылся плешью, синеватой плесенью наколок, отмотал в колонии общего режима два срока и вставил железные зубы. Нет, оружие ему нужно было вовсе не для грабежа. Для дуэли.

– Чего-чего? – вяло удивился я. Происходящее было похоже на сон, в котором реально все, кроме самой малости – например, то, что пули калибра 7,62 из пластилина и падают из дула АК-47 у твоих ног.

– Дуэль, дуэль, правда-правда! – подтвердил из коридора женский голос. – Совсем шизанулся на старости лет! Скажите ему!..

– Заткнись, тварь продажная! – не поворачивая головы, просипел Толик и налил мне чаю. – Я тебе водки потом дам, сколько захотишь. Это дело надо на трезвую голову.

– Нет, я не заткнусь! – продолжала невидимая тварь и всхлипнула. – Шизоид!

– Я тебя бить не буду, не мечтай, Светик, сидеть еще из-за тебя. И вообще мы в разводе, – шумно втянул в себя чай с блюдечка хозяин. И обратился ко мне. – Ну, чё, надумал? Учти, ты клятву давал, Гендос! «Родина или смерть», помнишь, ха!

Толик предлагал мне быть смотрящим, в смысле, поправился он, секундантом. На дуэли. Да он смеется надо мной, что ли?

– Больше некому. – серьезно и печально сказал Толик Ссальник. – Борька-то кони бросил. Второй инфаркт, а ты как думал! И послед-

ний. У них, у кандидатов наук, это обычное дело, инфаркт-то. Хлебом не корми – дай инфаркт! Учти, нас на свете только двое осталось... Выручай, братишка!

Кабы книгочей Борька, подпольная кличка Боливар, был жив, то хозяин меня бы не побеспокоил: у каждого в этой жизни свои заморочки, он понимает. Боливар, ученая штабная крыса, конечно, устроил бы все чин по чину. Обида, по словам Толика, была столь велика, что ее нельзя было смыть банальным мордобитием. Только на поединке чести. Как Пушкин. У него тоже с женой непорядок случился. Из-за Лермонтова.

А ведь как хорошо сидели! Толик, его законная гражданская жена Света и Толин дружок по кличке Энди, который отсутствовал в городе несколько лет. Поллитру опростали за одиннадцать минут. По случаю удо.

– Какого удо? Зачем удо? – рассеянно спросил я, демонстративно взглянув на часы.

– Да ты где живешь-то?! – просипел возмущенно Толик. – По случаю условно-досрочного, сечешь? Освобождения, понял?

Короче, продолжал рассказ Ссальник, он побежал за второй. Удо все ж таки. А когда вернулся, Светка целовалась с гостем взасос. Прямо за столом.

– И вовсе не взасос, – подала голос законная жена. – В губы. Он без спросу присосался. Оголодал на зоне. Он бы и к бабушке твоей присосался!

– С тобой вообще не разговаривают, – бросил Толик.

Толик удивлялся, как это он не размазал прелюбодеев по кафелю. И не пришел чем-нибудь острым, например, рогами. Зато сразу же потребовал развода. Сделать это было, в общем-то, несложно. Толик и Света сожительствовали третий год – гражданский муж был идейным противником всякого официоза. Но написал-таки заявление о разводе на имя бывшей жены.

– В туалете твоя бумажка! – торжествующе прокаркали из санузла.

– Не обращай внимания, – подлил чаю седой друг детства. – Тебе как, крепче? Лично я чифир уважаю...

Развод заключался в том, что сожители разбрелись по разным комнатам, а так как жилая комната была одна, то бывший супруг обретался на кухне днем и ночью, я заметил в углу возле мусорного

ведра скатанный матрасик. На кухню коварной изменщице вход был запрещен под страхом изгнания из дома.

Толик почему-то считал, что драться на дуэли надо зимой. Как Пушкин с Лермонтовым. Мы, не сговариваясь, посмотрели в окно. За окном пролетел редкий лист, дрогнуло от порыва ветра стекло, громыхнула незакрепленная жесь карниза. Тополя облетели – были видны окна блочной пятиэтажки напротив. Маленьким, как только стемнеет, я любил заглядывать в чужие окна, для чего у меня имелся бинокль восьмикратного увеличения – предмет зависти всего двора, и наблюдать суету немых картин, простых житейских радостей. Я старался угадать слова и желания движущихся фигурок за стеклом и мечтал о взрослой жизни. И вот она пришла, взрослая жизнь, и побитый этой самой жизнью друг детства несет детскую чушь. Кто ж знал, что надо было смотреть в бинокль с обратной стороны...

Ждать зимы нет никаких сил, заметил хозяин.

Но почему я? Разве у него друзей мало, чтобы часок побыть секундантами? Друзья есть, но – вот совпадение! – все, как один, пьяницы и университетов не кончали. Был Боливар (я не сразу сообразил, что это Борька), и тот коньки не вовремя отбросил. А тут надо по понятиям, чтоб как в книжках. Чтоб красиво было. По-настоящему... По закону... Я клятву давал... Толику не хватало слов. Любит он свою Светку, что ли?

Я заметил, что по закону выбор оружия – за вызываемой стороной. А вдруг противная сторона, на то она и противная, пожелает драться на рапирах, да еще в корсетах, где ж их найдешь, рапиры, не говоря про корсеты!

– Найдём! Рамсы не путай! – клацнул железными зубами Толик Ссальник. – С-под земли найдём! Не твоя забота! Хочешь слинять, так и скажи. А ежели вызвался, иди вызывай, вот адресок...

– Погоди-ка! – окликнул хозяин у самой двери, подошел и понизил голос, оглядываясь назад. – Ты это... того... не говори Светке мое погоняло... ну, кликуху дворовую... Ерунда, сопли, а все-таки... Не говори, лады?

Я пообещал и мгновенно понял Толика по кличке Ссальник. Ее он получил после того, как стащил на рынке шмат сала и, будучи пойманым за ухо, обмочил со страху гачу. Эта роковая детская шалость порушила всю его жизнь. Последующие годы он только и делал, что пытался смыть позорное имя, отстирать пятно на штанине, как пы-

таются извести неприличную татуировку, грехи молодости, добропорядочные отцы семейств. Он и в зону угодил, чтобы получить новое погоняло – там, за колючей проволокой, на клички не скупятся. Бедный Ссальник! – член тайной организации «Союз трех пистолетов», подпольная кличка Хулио – тоже не фонтан, но и она не прижилась во дворе.

...Узкоплечий молодой человек с плутоватым лицом по кличке Сэнди неожиданно принял вызов. Каюсь, я пытался его отговорить, затем предлагал выбрать для дуэли рапиры, а лучше японские мечи.

– Не-а, – почесал впалую грудь Сэнди и со свистом затянулся папироской с анашой. Закатил глазки и шумно выдохнул дым. – Мой косяк, конечно, рамсы попутал... Могу и извиниться, не запаadlo. Но это ж Толяну надо, ему со Светкой жить... Пусть их!.. Забили стрелку! За базар отвечу.

Следующие три дня искали оружие. Потом патроны. История повторялась, но не в виде фарса, скорее, трагикомедии. Нашли пятизарядный самопальный пистолет, смахивающий на революционный наган. И такой же ржавый. Хозяин нагана уверял, что оружие бьет без осечек и предлагал опробовать, только патроны за счет заказчика. Заказчик отказался: патронов было только два. Я сидел на чурке в холодном гараже, где происходил торг, – владелец уступил товар за два спичечных коробка гашиша, – и беспрерывно думал, что это сон.

Всю ночь перед дуэлью пропьянствовали на Толиной кухне. Время от времени один из нас падал на матрас на час-другой, забываясь коротким тревожным сном алкоголика, потом вставал, как зомби, и опять брал в руки граненый стакан. Толик пил от страха, только теперь он сообразил, что на дуэли могут и застрелить, причем, насмерть; я – от нескончаемого идиотизма происходящего.

Как только донесся стук первого трамвая, Толик растолкал меня и сказал, что пора на дуэль. Болела голова.

– Нет, – прочитал мои мысли дуэлянт. – До дуэли ни грамма! – и предложил чифиру.

Света, избегая мужниного взгляда, сунула в теплую варежку яички, сваренные вкрутую. Глотнув чифира и позвякивая кошелкой, в которой перекачивались бутылка, стакан, яички и пистолет с патронами, мы по холодку тронулись в сторону кладбища. Я держал в руке красные флажки, с которыми сын ходил когда-то на Первомай.

На окраине городского кладбища, в редком соснячке нас уже ждал противник. И не один. Рядом с ним еле держался на ногах секундант. Сэнди сказал, что это сосед – другие участвовать в дуэли категорически отказались.

Секундант, то и дело заваливаясь набок, по моему указанию отсчитал от мусорной кучи по двадцать шагов в обе стороны и воткнул в землю флажки. Сверху безнаказанно каркали вороны, невидимые в тумане.

Сэнди, чернея трагической долговязой фигурой, встал к флажку – право плечо вперед! – выцеливая расстояние. Толик сидел на пеньке и облупливал скорлупу. Я глотнул водки, закусил круто посоленным яичком, крикнул и тотчас туман рассеялся. По этому знаку от ближайшей сосны отделился секундант, икнул и бросил монетку вверх. Стрелять первым выпало Сэнди – он зачем-то дунул в дуло нагана, обтер патрон о ляжку и вложил его в барабан.

Стороны обменялись краткими любезностями.

– К барьеру! – слабо крикнул мой коллега и снова икнул.

Толик не спеша выцедил полстакана водки, смахнул крошки яичного желтка с груди, посмотрел в пустое небо, сплюнул и встал к флажку.

Сэнди, расправив узкие плечи, задержал дыхание и взвел курок...

– Боком, встань правым боком, идиот! – заорал я Толику.

Пронзительный крик разорвал кладбищенскую тишину. Из-за пригорка вывалилась женская фигура в коротком байковом халате и, посеменив длинными стройными ногами, теряя шлепанцы, с ходу припала к груди любимого. Сверкая прекрасными очами, заслонила собой дуэлянта и рванула на себе халатик, ослепив белыми, как снег, грудями. Гаркнула по-вороньи: «Стреляй, падла!» Зрелище не для слабонервных.

Сэнди отбросил пистолет и пошел прочь. За ним поплелся секундант.

– Эй, Сэнди, выстрел за тобой, слышишь! – оттолкнул жену Толик.

А закончилась эта история горько.

Толика, возвращавшегося домой в подпитии, подстрелили возле собственного подъезда. В городе болтали всякое. Что с Сальником свели счеты то ли вышедшие на волю дружки, то ли бывший хахаль сожительницы, то ли все враги разом. Про дуэлянта Сэнди никто не подумал. Это было бы з а п а д л о.



Весь последний год с короткими перерывами Толя провалился на больничной койке. Врачи делали осторожные прогнозы. И Ссальник принял решение. Во время тихого часа он ушел из больницы в тапочках.

После регистрации в загсе мы в узком кругу посидели у молодоженов дома. Из секунданта я переквалифицировался в свидетеля со стороны жениха. На фоне новых обоев невеста выглядела потрясающе. Сэнди прислал поздравительную открытку. Света то и дело бегала на кухню смотреть, не пригорел ли торт... Прожевав сладкий кусок, я крикнул: «Горько!»

Толик встал, бледный, что смерть, старенький пиджак болтался на нем, как на вешалке. Жена, выше законного мужа на полголовы, склонилась и тихо сказала Толику: «Раскрой рот, шизик!» Супруги целовались врасос. Я отвернулся.

Провожая гостей, Света включила свет в прихожей и попросила совета. Не вписать ли ей в новом паспорте вместе с новой мужниной фамилией свое настоящее имя – Стелла. Стелла красивее, но Толе не нравится. Говорит, имя, как у бл...- Света запнулась, – как у благородной дамы. Может, я бы с ним поговорил? Толик меня бы послушался. Он образованных уважает. Или остаться Светой? Суть-то одна и та же. Стелла значит звезда, а звезда это свет...

Толика хоронили зимой. На Стеллу было страшно смотреть, и я не смотрел. Снег падал крупными хлопьями, я шел за гробом, придавленный чувством вины, и утешал себя: пусть у нас так – горько, нескладно, да и ведь жизнь наша нескладная, не с т о л ь н а я, и пускай кто угодно бросит в меня камнем, но история Толика и Светы-Стеллы – история настоящей любви. А настоящая любовь, мужики, это мука. Вот Толик и отмучился. Удо.

*«Если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то следователь вправе провести очную ставку... в соответствии со статьей 164».*

Эту выдержку из уголовно-процессуального кодекса громко зачитала Оксана Федоровна, мой адвокат, в конце очередного допроса. Следователь уперся: какой смысл устраивать очную ставку, пустая трата времени, на то она и сумасшедшая, чтобы в ее показаниях имелись существенные противоречия. Все равно их к делу не подошьешь. Но Оксана Федоровна настаивала. Главный расчет был на то, что причитания убогой дуроч-



ки, на защиту чести и достоинства которой встал подсудимый, – очень благородно! – произведут впечатление на присяжных.

Эту дуручку отмыли в психушке, куда ее определили стараниями милиции, и на очной ставке она выглядела вполне сносно. Однако с дырявой замызанной сумочкой-косметичкой не расставалась и здесь. Следователь, погладив залысины, спросил с усмешкой, знаем ли мы друг друга и в каких отношениях находимся. Я пожал плечами: в каких отношениях можно находиться с сумасшедшей? Дурочка заявила, что с тех пор, как я ее бросил, она меня знать не знает. И принялась наводить красоту – извлекла грязный тюбик помады и осколок зеркала. Следователь хмыкнул.

Адвокат громко и членораздельно спросила, кто там, на вокзальной площади, вырвал у нее из рук мешок и разбил зеркальце? Личико допрашиваемой приняло выражение «Что вы говорите?!», она игриво подмигнула следователю и продолжила красить губы спичкой, то и дело макая ее в тюбик.

Оксана Федоровна вздохнула и задала следующий вопрос: кто первым схватил железную палку и кто первым из мужчин нанес означенным тупым предметом удар? Несчастливая провела кончиком языка по губам и прогнусавила, что мужчины дрались из-за нее, мужчины всегда дерутся из-за ее руки на дуэлях (о Небо, и эта про дуэль!), но она ждет жениха, он приедет на скором поезде. Она разгладила на столе вырезанный из журнала портрет красавца. Следователь издал горлом невнятный звук.

– Инга, – тихо позвал я дурочку. – Вспомни, Инга, это же я... Я всегда защищал тебя.

Инга внимательно посмотрела на меня, задумчиво почесала черным ноготком шрам у родинки на левой щеке, изогнула ручку лебединой шейкой и послала воздушный поцелуй...

Дура и есть.

## УБИТЬ ВРЕМЯ

Я поругался из-за чепухи: бормотнул во сне чужое имя. Под боком не спали всю ночь. Я не помнил ничего. Хоть убей. Никаких имен. Больше всего любимую женщину возмущала уменьшительно-ласкательная форма.

– А-лё-ён-ка!.. Это что-то новенькое! Дожили!.. Кого только у тебя не было!.. Была даже Атлантида. Но чтоб Алёнка?! На молоденьких потянуло, да? Нет, главное, не Алена, блин, А-лё-ён-ка!.. – лицо

гражданской жены с набрякшими веками исказила жуткая гримаса. А ведь красивая баба. Была.

Вернуться к законной жене! – мелькнуло. Это вряд ли. Прошлый раз сумку выбросили на лестничную клетку. И вызвали милицию. Я был в подпитии.

Подруга почмокала губами:

– Сладкая, да?.. Не-е, брат, ты не шути, это большое чувство!.. Ха!

Бред, одним словом.

– Не надо ля-ля. Я слышала это имя дважды!

Спутница жизни закурила, хотя полгода назад, когда мы сошлись, торжественно выбросила нераспечатанную пачку сигарет в мусорное ведро. Нечесаная, она сидела на кухне в прожженном на груди махровом халате, небрежно стряхивала пепел в мою чашку с остывшим кофе, покачивая идеально вылепленной, с алым педикюром, ногой бывшей танцовщицы ансамбля «Байкальские волны», и была неотразима в праведном гневе. Похожа на тайского трансвестита. Клятвенные заверения, что знать не знаю никаких алёнок, рассыпались пеплом. Тогда почему я чмокал губами до и после? Женская логика!..

Я демонстративно извлек из ванной зубную щетку и бритву и хлопнул дверью. Самое обидное, что в самом деле не знал никаких Алён-Алёнок, кроме одноименной певицы и Алена Делона. Но певицу знала вся страна, а Делона весь мир. Железное алиби. Хотя смешного мало.

Я добрел до пивнушки, взял кружку пива и задумался. Мадам врать не будет: лишняя головная боль ей ни к чему. Пиво было кислым. За барной стойкой девушка красила губы, парень с колечком в ухе, позевывая, снимал со столов стулья и переворачивал их. Заведение должно было открыться еще полчаса назад, но было воскресенье, и потенциальный клиент отсыпался. Значит, я действительно произнес во сне это имя. Да еще бессознательно почмокал губами. Фрейд, однако!.. Я отхлебнул пива – оно по-прежнему было кислым. Стоп. Иногда Алёнами называют Елен. Но соседка Елена Сергеевна была отмечена сразу же – на днях ей стукнуло семьдесят лет, родственники брали у нас для гостей стулья на вечер. Оставалась Леночка, секретарша шефа. Но она находилась в декретном отпуске и, вообще, не та женщина, которая могла вторгнуться в твои сны.

Чересчур много косметики и фальшивых улыбок. Алёнка!.. Ерундовина на колесиках. Театр абсурда. Или театр юного зрителя. В конце концов, есть другие имена, куда более... осязательные во всех смыслах, которые я мог бы озвучить в ночи. Вот так, по-мужски, надо встать и честно заявить боевой подруге. Не маленькая – поймет. Не пиво – кислятина. Я отодвинул кружку, встал, уронив стул.

Лишь в трамвае, сунув руку в карман за мелочью, нащупал зубную щетку и бритву. Конечно, можно вернуться домой и, знаю, подруга, виновато пряча глаза, стала бы накрывать на стол. Тогда зачем брал бритву и зубную щетку, да еще с таким пафосом? Клоун без манежа. Не мальчик уже. Не взяв билета, я под удивленным взглядом кондуктора сошел с трамвая.

Надо убить время. Хотя бы до вечера. А лучше – до утра. Употребить зубную щетку и бритву по прямому назначению. Дело принципа. Должен же быть во всем этом абсурде хоть какой-то смысл! Будет тебе, мадам, Алёнка на ночь глядя!..

Ноги принесли меня на вокзал. Переступая через баулы, чемоданы, продираясь сквозь певуче-визгливую завесу китайской речи, огрызаясь на сермяжном трехэтажном, я продрался к окошку и спросил, когда отходит поезд до Челябинска. Зачем спросил – неизвестно. Надо же как-то убить время.

Я вышел на крыльцо. Этой дурочки нигде не видно.

Вместе со свистком локомотива до меня долетел запах креозота. По небу в сторону реки тащились пепельные тучи, солнце лупилось из-за них объединенной яичницей. Я вспомнил, что не завтракал. На привокзальной площади таксисты сбились в кучку и сообща решали сканворд. Дачники и прочий люд спешили на электричку, у каждого второго сумки на колесиках. Где-то беспрерывно плакал ребенок. Громыхнул всеми сцепками состав на дальнем пути. На углу заговорщицки шептались о чем-то своем, сокровенном, пьяницы. Выпить, что ли? Я шагнул в сторону закуской и тут из-под земли возникла девушка и попросила закурить. Стал накрапывать дождик. Спичек не было. Девушка, на вид лет двадцать, не больше, сказала, что спички имеются у нее дома. Тут недалеко, метров двести, но спички будут стоять тридцать баксов... можно в рублях.

Мне было все равно. Главное, убить время. По крайней мере, это честно. Ты платишь за то, чтобы не говорить о любви.

Я ожидал увидеть вертеп, этакое гнездо разврата, а в небольшой квартирке было чисто, на низенькой тахте, заправленной пледом, лежали бархатные подушечки. На широком подоконнике – цветы в разнокалиберных горшках. Пахло убежавшим молоком. Я закурил и спросил хозяйку, можно ли мне называть ее Алёнкой. Девушка усмехнулась и сказала, что хоть матерью Терезой. К ней часто обращаются с подобными просьбами клиенты. И попросила не курить в доме. Челка, миловидное личико, маленькие сережки в остреньких, будто фарфоровых, ушках. Невысокая, но плотная, ладная. Ее можно было назвать симпатяшкой, если бы не эта усмешка и тонкие губы. Аленка деловито разделась. Незагорелые полные груди выделялись ослепительным пятном. И тут у меня пропало всякое желание. Увидев, что медлю, девушка легла навзничь, отвернула голову к стене, медленно согнула в коленях ноги... Я загасил сигарету в горшке.

Когда проснулся, обнаружил, что в комнате имеется еще кто-то. Мужского рода.

В кресле сидел парень в бейсболке и смотрел по телевизору футбол. Я спросил, какой счет.

– Не в твою пользу, дядя, – хмыкнул парень.

– А где эта... Алёнка?

– Я за нее. Братец Иванушка, – он встал с кресла.

Братец Иванушка приглушил звук в телевизоре, хотя намечалась подача углового, и объяснил, что я проспал час сверх положенного и потому задолжал сумму в двойном размере. Но так как мы живем в цивилизованном обществе, то он оставил мне немного денег на проезд в общественном транспорте. И на спички. Не вставая, я схватил висевшие на спинке стула брюки. Карманы были вывернуты. Рядом на полу валялись пачка сигарет, зубная щетка, бритва и мятая десятирублевка. Я выругался и начал приподниматься. Парень сделал телевизор погромче, хотя команды ушли на перерыв, развернул бейсболку козырьком назад и, пока я путался в брюках, нанес мне сокрушающий слепящий удар в лицо. Через секунду братец Иванушка сидел на мне верхом, размахивая кулаками. По телевизору началась реклама пива. Сутенер ударил меня еще раз и принялся душить. И тут я вспомнил детский прием – плюнул в лицо. От неожиданности противник ослабил хватку, я ткнул его пальцем в глаз. Противник взвыл и

повалился на пол. Я вскочил, натянул брюки, а когда застегнул ремень и поднял голову – на меня в упор смотрел зрачок пистолета. Недосуг было разбираться, настоящий пистолет или пистолет-зажигалка.

– Ладно, забыли! – прохрипел я, отплевываясь кровью. Кажется, был сломан нос. – Одеться – то хоть можно?

– Одеться нужно, – сказал парень, дружелюбно моргая слезящимся глазом. – Проваливай к своей старухе. Но в наказание за плохое поведение, дядя, ты у меня пойдешь пешком.

Он забрал у меня последние деньги, а сигареты, бритву и зубную щетку выбросил на лестничную площадку.

Дождь прошел, асфальт потемнел. Было свежо. Я попросил огоньку у проходящей парочки. Девушка шарахнулась в сторону, но ее кавалер прикурить дал. Сигарета враз стала красной и мокрой. Вся грудь рубашки была залита кровью. Я отшвырнул сигарету, сел на скамейку и запрокинул голову. В небе плыли клочковатые белесые облака. Дождь был бы кстати.

Умывшись у водоразборной колонки, я доплелся до вокзальной площади и попросил таксиста отвезти домой, сказав, что расплачусь по прибытию. Таксист с кустистыми бровями а-ля Брежнев, удивленно выпучился голубенькими выцветшими глазками.

– Ты-ы?! – тонко пропел он. – Ты расплатишься!? У тебя есть дом? А ну вали отсюда, отброс, пока я милицию не вызвал!

– Козел! – я хлопнул дверцей. И тотчас почувствовал, как опускает лицо.

На другой конец города я, прячась от патрульных милицеских машин и делая короткие привалы на задворках, добрел в сумерках.

Через неделю, когда синяки на лице обрели нежный золотисто-фиолетовый колер, в дверь позвонили. На работу я не ходил – знакомый врач выправил бюллетень. С гражданской женой мы помирились, и она уехала в пригородный профилакторий. Я посмотрелся в зеркало, надел черные очки, в одних трусах на цыпочках подкрался к двери и спросил: «Кто?»

– Откройте, это я, Алёна! – пропищали из-за двери.

Я взял в руки молоток и рывком открыл дверь.

На пороге стояла незнакомая девушка. Ничего особенного. Очки в роговой оправе съезжали с коротковатого носа. Правда, очень красивые губы, будто взятые напрокат из гламурного журнала. Мальчуковая стрижка. Худенькое тельце утонуло в огромной футболке. Дранные джинсы, по-видимому, призваны скрыть ноги-спички. Братец Иванушка не проглядывался. Разве что пацан. За край футболки, как за подол платья, уцепился дошколенок и, хныкая, просил пить. Кажется, на улице в самом деле жарко – передавали, градусов тридцать, не меньше. Переспросив фамилию ответственного квартиросъемщика, девушка решительно прошла на кухню и напоила сынишку водой из-под крана. Я опомнился, натянул штаны и предложил чаю. С сахаром. Может, с лимоном? И вообще, засуетился в каком-то тревожном предчувствии.

- А вы правда Алёна... Алёнка? – мой голос дрогнул.

Девушка поправила очки, кивнула и расплакалась. Мальчик захныкал с новой силой. Глотая слезы, гостья сообщила, что ее уволили с работы и им с сыном не на что жить. Фамилию и адрес вычитала в книге жалоб. Алёнка пропищала, сморкаясь в платочек, что вовсе не хотела обвешивать покупательницу, но та словно с цепи сорвалась. Жалобу настрочила. Еще при этом передразнивали ее имя – сколько раз просила напарницу не звать ее Алёнкой при покупателях. А магазин-то частный, хозяин и слушать ее не стал, уволил сразу же, потому что дорожит мнением окрестных жильцов.

- Ну, хотите, Алёна, пойду к вашему директору и скажу, что вы не виноваты? – досадуя на подругу, опустившуюся до мелкой подляны, спросил я. И ведь в самом деле невиноватая!

- Не-а, - высморкалась в мой платок. – Там уже другую взяли.

В таком случае чего девушка хочет? Алёна пожала плечами. Ребенок сказал, что он хочет кушать.

- А хотите, Алёна, выпить? Хотите? – мне захотелось хоть как-то утешить мать-одиночку, пострадавшую по моей, выходит, вине.

- Хочу, - потрянула головкой гостья, поправила очки и улыбнулась. Все-таки губы у нее были красивыми. Она сходила в ванную, умылась и успокоилась.

Я разогрел плов, сваренный накануне, извлек из холодильника початую бутылку водки. Ребенок стал уплетать плов, как полага-

ется, руками. После третьей рюмки, когда в кресле перед телевизором уснул мальчик, я поцеловал девушку в губы, – они меня притягивали. Слезы смыли с ее невзрачного личика остатки косметики и она казалась девочкой-отличницей с первой парты. Алёнка!.. Мистика какая-то! Я мог поклясться, что поцелуй был вполне невинный, отеческий. Алёна сказала, что ей тоже меня жаль и поцеловала мои синяки.

Сожительница, забывшая дома справку о прохождении флюорографии, застала Алёнку сидящей на моих коленях.

Пару недель мы прожили на даче товарища, который обрадовался, что теперь есть кому поливать огурцы. Сославшись на здоровье, я взял внеочередной отпуск, – мне его не давали, но я настоял, – и по утрам, пока Алёнка спала, успевал сбежать к реке, искупаться, сделать зарядку, наносить воды в огромный ржавый бак и приготовить завтрак из яичницы и свежих огурцов. Что-то случилось со мной в то короткое лето. Синяки окончательно сошли. Ночи были теплыми и звездными. Просыпаясь на рваных простынях, то и дело сползавших с продавленного дивана, я долго вглядывался в колеблющееся в лунном свете лицо этого загадочного существа, пришедшего ко мне из моих снов. Я внимательно вслушивался в ровное дыхание, – Алёнка спала, сложив очки у подушки, – быть может, в полусне она наконец-то произнесет заветное слово, пароль, шифр, который мгновенно, вспышкой сверхновой, объяснит свой необъявленный визит посланца далеких миров?

Но наступал день, Алёнка обращалась в обычную девушку, озабоченно морщившую облупившийся на солнце носик. Пропалывая грядки, она слегка потела, как все земные женщины. Алёна быстро загорела, даже под тонкими бретельками лифчика, и, снимая очки перед тем, как лечь в постель, обнаруживала забавные белесые круги под глазами. Утром, глядя на игравшего с соседской собакой Коленьку, она печально сутулилась, зажав полными губками сигарету и поправляя очки.

«Да и зачем тебе красавица? – спрашивал меня хозяин дачи, бывший однокурсник, изредка приезжавший на дачу распить бутылочку под малосольный огурчик. – В нашем случае, старичок, красота это молодость».



Приятель был прав. Раздражало, например, что Алёна, - сколько я ее потом ни отчитывал, как маленькую, - забывшись, даже ночью обращалась на «вы». Жизнь прокрутили, как рекламный ролик. По утрам, одевая Коленьку, я думал о том, что, казалось, вчера мама собирала капризничавшего мальчика в детский сад, потом в начальный класс, давала пятнадцать копеек одной монеткой на завтрак. Особенно не давались чулочные застежки - чулки вечно сползали во время игры. Я ненавидел эти бумазейные, серовато-поносного цвета, чулки. Другая, поздняя проблема - чернильница-непроливашка. Не такая уж она была не проливаемая! И потому, наверное, ее носили поверх ранца, я - в специально сшитом мамой чехольчике на шелковой веревочке. А еще жизнь отравляли остренькие, с фиолетовыми переливами, перышки, которые насаживали на деревянные ручки, с ними надо было быть настороже, они могли подцепить любую бяку и посадить кляксу на уже благополучно списанную задачку. О, кляксы, проклятье советской школы, за которые в классе безжалостно ставили «двойки», а дома - в угол! Но перья были незаменимы на уроках правописания, потому что позволяли выводить буквы кириллицы с правильными нажимами. Где теперь эти перышки? За что учительница правописания ударила меня линейкой по руке, когда мир давным-давно стучит клавишами компьютера, или, на худой конец, прекрасно пишет шариковыми ручками без всяких дурацких нажимов, зачем поколение мальчиков и девочек пролило мегалитры слез, осваивая никому не нужную в этом жестоком мире каллиграфию и прочие телячьи премудрости, зачем умерли постаревшие мальчики и девочки, так ни разу не применив на практике полученные на уроках правописания знания, а? Зачем существовало, трепетало все то, что накрыла огромная клякса жизни, поглотив, сожрав время?..

Однажды Алёнка сильно обгорела на солнце. Вечером я уложил ее на веранде и стал обмазывать пылающую плоть скисшим молоком, недопитым Коленькой, - за молоком я ходил в соседний поселок. Каждое прикосновение доставляло Алёне боль, спина была багровой, по-моему, поднялась температура. Она лежала смиренно и тихо стонала. И тогда я стал работать кончиками пальцев, почти не касаясь кожи. Алёна затихла и уснула, а ночью пришла ко мне в баньку. Любовь пахла кислым молоком. И было в



прикосновениях ее губ нечто новое, волнующее – дочерняя, что ли, благодарность. Ей было больно, но она лишь задавленно, в подушку, пищала мышкой. И, хотя ночь была безлунной, я видел происходящее в цвете: алые губы, коралловые соски маленьких, как у девочки, грудей, матовость кожи, едкую голубизну глаз, темный, чернее ночи, шелковистый треугольник волос...

Утром я обнаружил на простыне странные белесые завитушки. Потом сообразил, что это омертвевшая кожа с алёнушкиной спинки. Очкастая змейка линяла, устремляясь к новой жизни и оставляя в скошенной траве узорчатую шкурку воспоминаний.

Душным августовским днем я провожал Алёну и Коленьку. Руку оттягивала авоська со свежими огурцами – друг всучил на прощанье, дескать, витамины на севере ребенку необходимы. Ребенок норовил убежать, – то потрогать стоящий на втором пути маневровый, будто игрушечный, тепловоз, то к киоску, где продавали мороженое, – Алена кричала на сына и была свернутой газеткой по макушке. Коленька ревел, заглушая свистки тепловоза. Асфальт на перроне размяк. Обещали дождь, а дождь плевать хотел на людские обещания. Струйка пота неспешно потекла за ухо. Я забрал у Алёны газету и стал обмахиваться. Газета была с кроссвордом – ехать предстояло до утра, с перекладными, чуть ли не до самого БАМа, и надо, бормотала она, как-то убить время. Оттуда, с севера, пришло письмо от ее школьного товарища. Алёна собралась за день. Что за школьный товарищ, я не хотел знать, половина моих одноклассников вымерли, точнее, вымерзли, как мамонты, в годы реформ. Просто девушка из моих снов уезжала.

Когда Коленька, облизывая мороженое, отвлекся, я потянул Алёнку к себе, – она нехотя подалась и едва ответила на поцелуй, – смотрела поверх голов и как-то блаженно, расслабленно улыбалась. Ее волосы пахли солнцем. Грудь кольнул торчащий из кармашка уголок конверта, который передал друг. Жена поражалась моему коварству: столько лет храпел бок о бок, прикидывался отцом семейства, а тем временем держал на стороне любовницу, как не стыдно. Жил на две семьи, и она не удивится, что ребенок этой развратницы от меня. От жары голова шла кругом. Такое же послание могла состряпать бывшая танцовщица. Пнуть тренированной ногой ниже пояса. Я даже посмотрел обратный адрес на

конверте. Его не было. Но в конце письма сообщалось, что я могу забыть дорогу домой – она подает на развод. Ага, привет от законной половины.

Коленька с головы до рук вымазался мороженым, раздался шлепок, и ребенок громко заревел. Сей же миг все вокруг пришло в движение, перрон зачернел, меня пару раз толкнули.

«Ну, пишите», – выдохнула она, поправила очки и вцепилась в сумку. «Куда?..» – хотел спросить и передумал. Глупо писать в прошлое. Еще глупее получать письмом оплеуху. Второй нокдаун в любительском боксе засчитывается как поражение. Да и в тайском тоже: уже не встать. Я успел подать пакет с огурцами, затем – Коленьку, тут меня сильно толкнули в спину, я оглянулся, чтобы заставить наглеца попросить прощения, – тем временем Алёнка с Коленькой сгинули в чреве вагона и до отхода поезда выгоревших на солнце головок своих так и не показали.

Когда хвост поезда медленно растворился в мареве, я обнаружил в кармане пиджака газету. Рельсы, будто облитые сливочным пломбиром, жирно блестели и пускали зайчики. Носовой платок остался у Коленьки, я снял пиджак, утер пот со лба о подкладку, и вдруг понял, что мне, собственно, некуда идти. Дача однокурсника, и та была летнего типа – любовь, выходит, тоже.

Площадь, залитая потоками света, было пустынна. Асфальт пружинил под ногами. У киоска, высунув языки, валялись собаки. Лишь таксисты сгрудились у транзисторного телевизора, вынесенного на бампер, – невзирая на жару, смотрели футбол. Вокзальные проститутки, и те прятались в тени здания пригородных касс. В перерывах между лязгом буферов, свистками электровоза и протяжным скрипом тормозных колодок стрекотал отбойный молоток. Муравьями, сгибаясь под тяжестью добычи и белозубо улыбаясь, протащили пучки арматуры китайские работяги. Короткое эхо разносило над путями ленивые голоса диспетчеров грузоперевозок, разморенных духотой кабинетов: «На пятом пути прибывает нечётный-чётный-чётный...» Единственное клочковатое облачко таяло на глазах. Я зажмурился. Над городом шел солнечный дождь.

«Газету, мля, купить, чо ль?» – услышал за спиной, когда, обмахиваясь газеткой, подошел к навесу автобусной остановки.

Донесся дружный хохот. Особенно старался невысокий крепыш с золотой цепью на короткой шее, точнее, шеи вообще не было. Смеясь, он успевал деловито жевать. Ему бы кольцо в ноздрю, мелькнуло безобидно, и вовсе сошел за бычка. Рядом хихикала девица с огромными, как у цыганки, круглыми серьгами. Она поперхнулась глотком «Пепси» и отбросила банку. Банка со звоном закатилась под лавку.

«Уй, не могу!.. “Газету!” Ты когда последний раз в жизни читал, Грыжа?» – вытер голубенькие глазки бычок.

«Иди ты на!.. Сам-то читал чего, кроме уголовного кодекса-на?» – нахмурился, шевельнув черными очками, двухметровый Грыжа в пестром, как у пирата, платке-бандане. Под тесной футболкой перекачивались мышцы, под квадратным подбородком – кадык. Чем-то, ростом, привычкой облизывать губы он напомнил дядю Володю, дворового кочегара моего детства. Я устал был на дорогие белые туфли сорок последнего размера – если одна из них кирзовым сапогом угодит промеж ног, подумалось, прощайся с женщинами. А то и с жизнью.

«Прекратите лаяться, идиоты! Борька, прекрати, слышишь? – капризно надула крашеную губку девица. – Долго еще эта бодяга? Ну и дыра!»

«А я говорил-на – берем тачку, говорил-на?.. – торжествующе пробасили сверху. – Еще обзывается! Я грю, в газете чисто кроссворды бывают-на! Я ж как лучше, Нинок... Чисто время убить. Париться теперь на жарен-на!..»

И все трое заспорили. Выяснилось, их поезд прибывает только через два часа: очень неудобно, ни напиться, ни в кино сходить.

«Может, опять по пиву вдарим, а? Еще пожрать можно, шашлыков, а?» – утер лысину бычок с золотой цепью и зажевал с прежней скоростью.

«Идите вы!.. Вам бы жрать да пить! – закурила девица. – Пойду в зал ожидания, там хоть телевизор есть».

«А может, в сауну? Там тоже чисто пиво-на! – оживился Грыжа и облизнул губы. – Вон вывеска торчит...»

«Может, тебе еще и бабу в парилку?! – заржал крепыш. – Чур, я первый! Тогда точно на поезд опоздаем!»

«Фу, скоты вы, однако, мальчики! – отвернулась девушка и обратилась ко мне. – Мужчина, не продадите газетку?»

Я отдал газету и шагнул, куда глаза глядят.

И тут на площади появилась эта дурочка. Несмотря на жару, она была одета в рваный болоневый плащ, подпоясанный лакированным ремешком с облезлой позолотой, на голове цветастый платочек, на впалой груди болтались красные пластмассовые бусы. Туфли без каблуков, облупившиеся острые носы потешно, по-клоунски, нацелились в безоблачное небо. Дурочка достала из холщового мешка грязную дамскую косметичку, затем – осколок зеркала, тюбик помады и огрызок черного карандаша, и принялась наводить марафет. Спичкой она извлекла из тюбика крошки помады, кое-как нарисовала ротик, карандашом подвела брови, отчего печеное ее личико приняло уморительное выражение: «Что вы говорите?!». Она кидала кокетливые взоры то в зеркальце, то на игрушечные пластиковые часики на тонком запястье, куриной лапкой поправляла волосы.

«Гли-ка! – захохотал Грыжа. – Во, вырядилась-на! Чисто филармония!..»

«Вау! Дурочка! Живая!» – отбросив газету, захлопала в ладошки девица.

«Дэвушка, а, дэ-эвушка, не скажете, который час?» – зажав нос, прогнусавил бычок, подмигивая остальным.

Полоумная бросила озабоченный взгляд на часики и сказала, что скоро поезд, а на поезде приедет ее жених, он красивый и богатый. Раздался хохот. Больше всех смеялась девица. Бычок, мыча от сдерживаемого смеха, спросил сумасшедшую, не подойдет ли он ей в женихи, он тоже красивый и богатый. Заподозрив неладное, дурочка сложила в мешок предметы дамского туалета и посеменила в сторону перрона.

«Боря, не отпускай ее, не пускай! Бесплатно же!..» – опять захлопала в ладоши девица.

Двухметровый ухватил холщовый мешок: «Стоять-на!..» Задержанная громко заплакала. Верзила легонько ударил ее по спине: «Тихо-на, дура». Сумасшедшая притихла, но вдруг рванулась, треснул мешок – на асфальт полетели косметичка, помада, карандаш, разбилось зеркальце. Дурочка завывала и стала собирать свои сокровища. Я подал ей карандаш и попросил человека в черных очках отдать мешок.

«Тебе чего, мужик, больше всех надо? – подошел приятель с золотой цепью на шее. – Она же дура! Дура, ясно! Вот и пусть дурит, а мы посмотрим!» – и наконец-то выплюнул жвачку.

Я попытался увести сумасшедшую на перрон – встречать поезд.

«Тебя чё, тоже чисто идиотом сделать?! А ну вали отсюда-на, старый козел, не мешай людям-на!» – преградил путь верзила в черных очках, дергая кадыком. В этот кадык я и ударил. Грыжа согнулся, закашлял. Платок-бандана размотался и болтался на шее. Очки скосбочились. Жемчужной ниткой повисла слюна. Девушка, ухватив себя за огромные серьги, завизжала.

...Огнем из кочегарки опалили спину. Я повернулся. Бычок набычился, он что-то кричал, держа ребристую железную палку обеими руками, будто совковую лопату. Искрящиеся снопы дробились о пластиковый навес остановки, о лысину крепыша. Золотая цепь на волосатой груди качнулась, сверкающий луч резанул глаз. Я чувствовал, как капли пота копятся на бровях, но смахнуть их было некогда. Второй удар пришелся в плечо, – метили в ухо, но я инстинктивно отпрянул и побежал по площади. Сзади раздался топот, будто бухал кирзовыми сапожищами дядя Володя, – меня настигал двухметровый. «Главное, не упасть – запинают!» – в голове крутилась заповедь дворовых драк. И в тот же миг страшный удар свалил меня с ног, – было так больно, что я даже не закричал. «Бей его, Грыжа, убей!» – визжали рядом. Я скорее понял, чем ощутил, что меня пинают. Страх разъял пелену в глазах: я увидел на асфальте железную палку – обронили в попыках в азарте добивания. Кубарем перекатившись, я схватил арматуру, ткнул, не глядя, вверх, чувствуя, что попал во что-то мягкое, – тень с воем отвалилась. По инерции, а вовсе не по злобе, я ударил стоявшего на коленях человека. Отбросил железную палку – она почему-то беззвучно упала на асфальт.

Меня окружили люди, много людей: лица искажены ненавистью.

Странное дело, ненависть эта была приятна.

В детстве в нашем дворе имела хождение твердая валюта. Придворная. Твердая, пока не растаяла. Особенно ценилась плитка шоколада «Алёнка». За две «Алёнки» на моих глазах ушел классер для марок, за три – старый ниппельный мяч, за четыре плитки Толик по кличке Ссальник разделся догола и средь бела дня вышел на улицу Ленина. И всего за одну «Алёнку» девочка

из соседнего дома обещала нечто большее, чем поцелуй. Сначала Олечка соглашалась на обычный поцелуй за три шоколадные конфеты, но «Алёнка» ее сломила. Шоколад я получил от продавщицы Инги, первой красавицы двора, за то, что прогнал прочь с ее прекрасных очей местную сумасшедшую. Чем ей досадила несчастная дурочка – непонятно, но «Алёнка» в условленный день перекочевала из-за прилавка в мой карман. Беда, однако, крылась в том, что шоколад выдали утром, а свидание на чердаке нашего двухэтажного барака было назначено вечером. Стыдно говорить, но «Алёнка» не дождалась часа свидания, с нее с шуршанием содрали девственные блестящие одежды, затем молочно-коричневое, как у мулатки, прекрасное тело «Алёнки» было искусано страстным молодым любовником, но не сразу, – в течение долгого дня шла мучительная борьба с искушением и стыдом, – съедено ломтик за ломтиком.

Об этом я вспомнил, когда сосед по нарам поделился своей печалью: запретили передавать в тюрьму какао-изделия. У кого-то нашли в начинке шоколадного батончика «дурь» или там «кокс». В итоге запретили весь шоколад, в натуре! А он тут причем? Сожительница разломала для передачи его любимый – «Алёнку». Растерзала красоту на кусочки по идиотским правилам. Так и не разрешили, козлы. «Алёнка»!.. Он причмокнул губами. Любимая с «малолетки». Сосед возмущенно фыркнул: до чего дошли, волки позорные, детское баловство приравнять к вещдоку? Ссученное время!..

#### РАПОРТ

Начальнику ИК-19/01 п-ку Зайченко С. Г.

*В дополнение ранее поданного рапорта от 19.05.06 сообщаю, что 18 марта с.г. з/к Болотов Г.Н., личный № 63-12, в 19 час. 07 мин. приблизился к колючему ограждению юго-западного сектора «В».*

*На виду у находившегося на смотровой вышке мл. сержанта Тихонова з/к Болотов Г.Н. бросил на колючую проволоку верхнюю одежду (ватник) и преодолел ограждение.*

Тихонов крикнул два раза «Стой! Назад!» и передернул затвор. Однако Болотов Г. Н. подошел вплотную к следующему ограждению – петле Бруно. Мл. сержант Тихонов крикнул «Стой! Стрелять буду!» и произвел предупредительный одиночный выстрел.

Нарушитель снял куртку (робу з/к), остался в спортивном костюме. Болотов бросил куртку на петлю Бруно и преодолел ее. Тогда Тихонов произвел еще один предупредительный выстрел, который не мог не слышать з/к Болотов, продолжавший свои противоправные действия на расстоянии не более 25 м от вышки.

Продолжая свои дерзкие действия, з/к Болотов Г.Н. с целью достижения бетонного забора приблизился к колючему ограждению повышенной сложности типа «Егоза».

В 19 час. 13 мин. мл. сержант Тихонов перешел к стрельбе на поражение, оценив действия нарушителя как реальную попытку к бегству.

Нарушитель з/к Болотов Г.Н. не смог преодолеть препятствие типа «Егоза».

Вызванный по сигналу «Тревога!» караул доставил нарушителя в санчасть. После осмотра выяснилось, что у з/к Болотова отсутствуют нарушения кожных покровов от огнестрельного оружия, имеются ранения в виде глубоких борозд от «Егозы».

После получения мед. помощи з/к Болотов помещен в ПКТ.

З/к Болотов Г. Н., 1959 г.р., ранее не судим, образование высшее, отбывал наказание по ст. 111, ч. 4 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), приговорен к 5 годам 6 мес. лишения свободы, отбыл 3 года 10 мес. 12 дней, из них 107 дней в СИЗО. За время отбытия срока родственниками не посещался, в активную переписку не вступал. Замечаний по режиму не имел, участвовал в выпусках стенгазеты.

С целью выявления сговора на побег в личном секторе з/к Болотова произведен обыск. В матрасе и тумбочке обнаружены личные вещи Болотова Г.Н. – 2 (два) фото (мальчик в пионерском галстуке с щенком, мальчик с родителями), мягкая елочная игрушка, тетрадь с рисунками. Передано в следственные органы до особого распоряжения прокуратуры по надзору за ИУ.

В отношении з/к Болотова Г. Н. ходатайствую об отмене ранее поданной меры – условно-досрочного освобождения (УДО).

Действия мл. сержанта Тихонова считаю обоснованными, заслуживающими краткосрочного отпуска. Расход патронов – 6. Сдано гильз – 6.

Начальник 12 отряда к-н Судомойкин



# МАЛЕНЬКАЯ ВОЙНА

*Хроника воскресенья*





Траляля взглянул на свои часы и сказал:  
– Половина пятого.  
– Подеремся часов до шести, а потом пообедаем,  
– предложил Труляля.  
*Льюис Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье»*

Я никуда не поеду. Жизнь без тебя не имеет  
смысла.

*Жаклин Кеннеди. 27 октября 1962 года*

**Н**очь в горах полна шорохов. Ветер раскачивает верхушки королевских пальм, сухо трещат лианы и цикады, поскрипывает в изголовье гамак, пищат в траве мыши. «Фр-р» – взлетела и канула в ночи огромная птица. Я лежу в обнимку с трофейным автоматом, дуло холодит висок. Звезд отсюда не видно, лишь роятся перед глазами светлячки. Кутаюсь в одеяло – не спится. Дело не в мышах. Повстанцы не боятся мышей, черт возьми! Снова приступ малярии – знобит, руки, сжимающие приклад, вспотели. Обычная история в сезон муссонов. Невидимый туман намочил усы и бороду. Во фляжке ром, на пару глотков, но пить перед боем нельзя. Таков приказ. Разве что принять таблетку хинина, но не хочется будить маму. И так намаялась за неделю. Недавно обошел посты, дозор бодрствует, курит в рукав, как учили во дворе. Даже Борька не спит, этот засоня, который вечно опаздывает в школу. В штабной палатке команданте чистил свой «кольт». Я поделился тревогой. Под вечер в верховьях реки увлекло течением Боливара и он подвернул заднюю левую. Команданте озабоченно погладил бороду. Минометные плиты придется нести по очереди, раненых – тоже. А тут еще дожди, речки взбесились, впереди – переправа...

Я просыпаюсь, шлепаю босиком за печку, тихо, чтоб не разбудить маму, делаю по-малому в горшок. Потом пью на кухне молоко из бутылки – пара глотков, не больше, – унимая колотящееся сердце. По потолку гуляют тени, тополя скребутся о карниз, за окном тонко плачет жестяной обод фонаря... Надо быть честным хотя бы перед собой. Я ненавижу драку и боюсь ее. Боюсь до тошноты. Но ничего не изменить. Чиркнув спичкой, вижу дату в отрывном календаре:

**1962 год**

**28**

**Октябрь Воскресенье**

По уговору обе улицы, как только стемнеет, окончательно выяснят отношения на ничейном пустыре за нежилым бараком и свалкой.

Со стены улыбаются Фидель и Гагарин. Спичка жжет пальцы... Терпи, маменькин сынок, равнение на команданте!

«Почему не оседлан Боливар? Черт возьми, лейтенант, – слезы?!»

«Нет, команданте, это все сезон муссонов, будь он проклят!»

– Сынок...

– Не зажигай света, мама! – закрываю лицо. Мама белеет в проеме. Хлопнула форточка, быстрее побежали по стенам узорчатые тени.

– Мне страшно... – рядом обдуло родным, кисловатым. – Проснулась, сама не знаю отчего... А тебе не страшно, сынок?

Ноеет обожженный палец. Мне скоро тринадцать. И я – лейтенант. Если в драке мелькнет нож, я обязан стрелять. Таков приказ. Фидель переглядывается с Гагариным.

– Хотел закрыть форточку... – веду к постели маму, она худенькая и легкая. Мама засыпает сразу, держит меня за руку.

Стекло приятно холодит ноющий палец и лоб. В тусклом свете фонаря кружатся, кружатся сизые листья. Я слышу их печальный шепот. И старый наш барак кряхтит бревнами, подвывает чердаком – жалуется, что ли. Весь вечер его терзали нестройным пением и скандалами. Угомонились за полночь. Привычное дело – суббота. Пистолет-самопал упрятан в тайнике. Спят соседи, спит двор и его дети – солдаты повстанческой армии.

Сплю, наконец, и я. Ночь в горах полна шорохов.

## 7 час. 18 мин. «Полет нормальный!»

Поутру в дверь стучат. Я знаю – кто. Шлепаю босиком, распахиваю дверь, бормочу спросонок: «Доброе утро, Коминтерн Палыч...»

Сосед – костистый, в разорванной майке – проходит на кухню и долго молчит. Молчу и я. Сплю стоя. Коминтерну Палычу стыдно. Это он вчера бил в коридоре жену и орал про Советскую власть.

– А мамка где? – выдавливая из себя Коминтерн Палыч и сам же отвечает. – Ах да, на базаре...

Радио шепелявит последние известия. Кажется, будет конец света. Или нет – конец пятилетки. Хочется спать.

– Мама сказала – в шкафчике...

Коминтерн Палыч роняет табурет. Дергая кадыком, пьет водку из шкалика. Мама жалеет Коминтерна Палыча. Она всех жалеет.

Лицо соседа, опухшее, мутноглазое, разглаживается, как под утюгом. Он вздыхает и, словно птица, прикрывает глаза. Сейчас будет извиняться.

– Ты вот чего... Ты уж извиняй... Мамке скажи, так, мол, и так... Пошумели соседи-то... Шутка ли!..

Я извиняю соседей. Им не до шуток. Опять разводятся.

Коминтерн Палыч еще говорит что-то невнятно, радостно, глотая слова. На впалой груди в обрамлении курчавой поросли синее портрет Сталина. Татуированные усы генералиссимуса шевелятся.

– Послушай... А моего оболтуса не видал? – обернулся у двери разговевшийся сосед. – Жена вроде на месте, Лаврентий тоже, а Петьки след простыл! Я пересчитал... Нету!

Коминтерн Палыч, надышав облачко сивухи, исчезает.

Сон как рукой сняло. Мне доподлинно известно, куда побежал Петька Хохряков, дворовая кличка Окуроч, рост метр с кепкой. На форпосте ему сегодня дежурить первым.

Заброшенная церковь на взгорье у самой Уды. Река плавно огибает толчею базара, ныряет под мост, по которому усатым тараканом ползет трамвай; врывается в побуревшие заросли тальника (лук и стрелы из него – что надо!), посверкивая, скользит вдоль дамбы и, устав, припадает к широкому плечу Селенги. Все это видно с колокольни. Уда делит город напополам, а мост один! Если заудинская шпана помыслит нарушить договор, а такое уже случалось, и расквасить нам носы поодиночке, то шиш им на постном масле. Мост как

на ладони. Дозорный заметит с форпоста любое передвижение противника.

Мне не по себе. За разведку отвечаю головой. Первый рапорт в восемь ноль-ноль. Воскресенье – день вероломства! Будь готов к труду и обороне!

Натягиваю телогрейку и несусь к реке. Жую на ходу ржаную горбушку, запиваю сереньким киселем тумана. Город отсыпается после рабочей недели. Дворники со злорадством поджигают кучи листьев. Их место на голых ветвях тополей заняли воробьи. Пока они молчат – солнца не видно. «Восход в 7.18. Заход в 17.19. Долгота дня 10.01», – твержу, как заклинание, цифры из отрывного календаря. Блеклые дымки газонов будто от свежих воронок авиабомб. Улицы пустынные. В прифронтовом городе комендантский час. Ходу! – пока не зацапал патруль. Обгоняю телегу с дребезжащими бидонами, возница что-то кричит вслед. Жалкая гастрономовская кляча не чета моему Боливару!

Церковь – это вот что. Стены, облупившиеся до красноты кладки, загаженные голубями, испещренные надписями, и не всегда приличными; порушенные узоры окон, дохлые кошки, горлышки бутылок и стойкий запах внутри. Чем не боевой форпост? Но выше дышать легче.

Извозив телогрейку, – внутривенный ход сужается кверху воронкой, – вползаю на колокольню. Колокола, само собой, нет и в помине. Петьки тоже. Свежо и гулко. Петькина фигурка – на дамбе, с удочкой. Вот хитрец! Свист у меня вполне командирский. Из-под купола шарахнулись голуби.

– А чо такого, чес-слово! – не успев влезть на форпост, оправдывается Петька Хохряков. – Мост я и снизу засекаю... Полет нормальный!

По радио передавали запись старта «Востока-1». Искаженный помехами голос хладнокровно сообщал: столько-то секунд – полет нормальный. На Петьку это произвело громадное впечатление, как и на всех дворовых. Человека запускают в татарары, а он: «Полет нормальный!»

Эти-то святые слова Петька вставляет по малейшему поводу. Тоже мне, космонавт!.. Петька Окурок – щуплый, с бегающими глазками, грязным носом-пяточком и всклокоченными волосиками – в отца. И выпить может, хотя ему на вид тринадцати не дашь. Всем желающим Петька объясняет, что у него тяжелое детство.

– К-курить нема? – у рыбака зуб на зуб не попадает. Удочку он спрятал в кустах у реки. От холодной воды руки у Петьки всегда красные, в «цыпках» – грязь въелась под кожу.

– Полет норм!..

Кепку ему на уши, чтоб не болтал почему зря!

В церкви, пусть заброшенной, кощунствовать грех.

А Гагарин – бог. И улыбка у бога хорошая. Любого пацан во дворе – да что там! – в городе без запинки отбарабанит биографию Юрия Алексеевича. Когда он полетел в космос, все вывалили во двор, загомонили, побросали кепки вверх. Мужчины пустили по кругу бутылку. Участковый по прозвищу Батиста, краснорожий и кривоногий старшина, от избытка чувств пальнул из пистолета, а потом сокрушался: за патрон надо было отчитываться. Его успокоили – вынесли из дома патроны того же калибра и запасной магазин к трофейному парабеллуму. Женщины и мама плакали. Думали, что наступил коммунизм.

Этим летом тоже был шум: в космосе очутились Николаев и Попович, – но пальбы уже не было. Зато Фидель, говорили, салютовал космонавтам на другом конце шарика. Всей облоймой. Самолично. Вот что значит «барбудос»! Они и америкашкам дадут под зад в Карибском-то море! В позапрошлую субботу мужики из нашего барака писали письмо Фиделю. Перечисляли награды и рода войск. Пока что с Кубы не ответили: там у них заварушка намечается. Американский империализм вконец обнаглел. У мамы в цехе был митинг. «Руки прочь», значит. Маме как ударнику комтруда дали слово, а она заплакала, испугалась чего-то...

– Батя заходил? – клацнул зубами Петька.

– Как обычно.

– Не говори Хромому про рыбалку, – затараторил он. – Если б не она, чес-слово, не встал бы! Я рыбу еще ни разу не проспал! Думаешь, спать неохота? Батя мамку всю ночь гонял, хотел к Батисте бежать, да мамка не дала. Синяк у ей, у мамки-то...

Петька Окуроч – заядлый рыбак. Прошлым летом он в поисках червей подрыл забор у кладовок, и тот рухнул. Дворовая общественность в лице старосты Кургузова, непьющего персонального пенсионера, грозилась писать куда следует. Петька был нещадно выпорот отцом, поросячий визг Окуроча разносился по всей округе. И еще. Однажды, когда мы с мамой сидели без денег, Петька приволок ведерко хариусов.

– Ладно, не скажу.

– Полет нормальный! – Петька нашел окуроч и, счастливый, по-  
пыхивает.

Я смотрю на город. На заводских трубах трепыхаются рваные простыни тумана. Ночь капитулирует. 7.18. Розовый шар едва касается островерхих гор и лопається ослепительными брызгами. Искристые капли солнечной влаги оседают на крышах и окнах, на кончиках антенн, строительных кранов и удочек заядлых раболовов. И в тот же миг золотом вспыхивает река. Я закрываю глаза. Драка начнется в сумерках.

– Чего ты? – шепчет Петька. Он дрожит.

– Солнце, не видишь?

– Вижу... – не сразу отзывается Петька. – Щас бы в колокол, а?

Встречный ветер ерошит чубы. Подобно большому кораблю, город плывет в пылающем мареве рек. С капитанского мостика видно далеко. Улицы корабля оживают. Бежит трамвай, урчат автомобили, люди-мураши потянулись к муравейнику-базару. Всюду кумачовые пятна – нашей революции исполняется сорок пять. Я люблю город. Знаю, вблизи он не так красив. С деревянными тротуарами и бараками, яблоками конского навоза на асфальте, пылью и очередями. Но это мой Город. Мой, понятно?..

Неожиданно Петька кричит благим матом. Окуроч прижег ему пальцы. И поделом. Нечего зевать в дозоре.

На мосту течет жидкий ручеек прохожих. В руках у них мирные авоськи. Детская коляска. Одинокй велосипедист. Девочка с собакой. Двое с удочками. Стоп! На мосту вооруженная колонна! Тьфу, да это пионеры тащат металлолом... Их обгоняет трамвай. Но в него заудинская шпана с палками и прочим боевым скарбом не сунется. Пассажиров пугать – милицию кликать.

– Да кому эт-надо! – морщится Петька. – Зауда спит детским сном... Слышь ты, лейтенант! Ввв-в-а...

Честно говоря, я бы с удовольствием отпустил Петьку. Толстые стены излучают январскую стужу. Колокольня наполовину замурована, но сквозняк чувствительный. После рыбалки, видать, особенно. Щебень, мусор, останки голубя под ногами. Надпись: «Дурак!». Обрывок веревки под куполом. Тоска.

И почему это на колокольне нет колокола?

– С утра не жрамши... – ноет Петька. От него воняет рыбой и дезертирством.



И торчать ему, горемыке, на форпосте, пока не сменят. И кто?! Борька-засоня. Скрепя сердце покидаю товарища. На войне как на войне...

Никто не знает, из-за чего сыр-бор и сколько лет война эта длится. Наверное, вечность. Когда явился в этот мир, он уже враждовал. Боевое крещение получил в детском саду – вражеский младенец укусил за нос. Родной двор утешил и научил давать сдачу. Всучил рогатку, позже кое-что потяжелее. О, месть сладка... Можно простить фингал под глазом, но унижение – никогда.

Заудинская шпана напрягла хилые свои мозги и обозвала нас «барбосами». Нас – «барбудос», сыновей Фиделя! Самое ужасное – прозвище пошло гулять по Городу. Только великая потасовка смоет наш позор!

Накачавшись злостью, я на всех парах прибежал во двор: «Команданте, полет нормальный!»

### **8 час. 7 мин. Тайна «полубокса»**

Тут мой Боливар умиряет свой воинственный бег. Навстречу ему балетным шагом семенит Рада. «Рада всегда всем рада». Некоронованная королева при дворе «барбудос». Белая шапочка, черные волосы, зеленые глаза.

Со мной что-то происходит. Поднимаю плечи, руки в брюки, походка, что в море лодочка. Эдак рассеянно поплеываю.

– Приветик, Аюр, – взмах сумочки, белозубая улыбка.

Меня назвали по имени! Презрение к женскому полу лопается мыльным пузырем. Губы растягиваются в глупой улыбке. Пятки – вместе, носки – врозь.

– Привет, Рада! – счастливый, рычу в ответ.

Хорошее все-таки имя. Точь-в-точь про нее. Меня обдает запахом цветочного мыла и шелестом болоневой курточки (последний крик моды!). Украдкой провожаю точеную фигурку. Могу поклясться, она и сейчас улыбается. Кому? Всему свету!

С некоторых пор на девчонок гляжу иначе. Сами знаете – как. Смутные желания бередят душу. Сильно подозреваю, что мои прыщавые соратники испытывают те же муки. Но кто же признается? Смелычака ждет худшее из наказаний – град насмешек.

Очнувшись от гипноза, устремляюсь в штаб. Находится он на роскошном чердаке четырехэтажного Дома Специалистов. Высокие его окна и балконы сверху вниз смотрят в мелкие глазницы нашего барака. Я думаю, домам неудобно друг перед другом. Но что делать? Кочегарка и длинный ряд сараев замыкают их в двор. Наш двор.

Хромой Батор ждет в штабе. Хоть бы разок проспал!

– Поздновато... – стучит он ногтем по наручным часам: 8.07. Может, видел с крыши, как я истуканом стоял после улыбки Рады? Меня обдает жаром. Хромой Батор поглаживает шрамы на подбородке. Сердится. Ему можно: он наш команданте. Внимательно выслушивает мой рапорт, переспрашивает про мост.

Пылинки танцуют в косых лучах света. Ботинки пружинят на ковре из шлака. Над головами, царапая железо, ходят голуби. Внизу за смотровым окном пошумливает улица. Угол чердака мы отгородили досками и картоном. На столбах – вырезанные из «Огонька» портреты Фиделя, Гагарина, Титова, Гевары. Рядом намалеванный от руки план города. Зеленый цвет – наша территория, коричневый, за голубой лентой реки – вражеская, нейтралка заштрихована. Скамейка, ящики. Штаб вполне приличный.

Прихрамывая, команданте подошел к карте и заговорил про боевые операции в Санта-Кларе и Плайя-Хирон. Узкое лицо с высоким лбом озаряется вдохновением. Длинноволосый, худой, злой. Вообще-то он жутко начитанный и странный. Расхаживает как раз над своей квартирой. Отец у него – большой начальник, на «Волге» ездит. А одевается Хромой Батор похуже Петьки Окурка. Вот и сейчас напялил на себя рваный свитер. Начал учиться на «двойки», хотя до того ходил в круглых отличниках. И хромым-то стал непонятно: взял и прыгнул с кочегарки. Просто так. Даже не на спор! Сперва я думал, что это из-за Рады – они живут на одной площадке. Выяснилось, он даже не здоровается с соседкой. При мне благовоспитанная Рада (музыкальная школа и балетный кружок) обозвала его: хулиган! Тот лишь усмехнулся.

Рада переехала в наш двор недавно. С ее появлением пацаны дружно перешли с куценькой прически «бокс» на «полубокс» – волос там чуть больше и чуб подлиннее. Сужу, конечно, по себе. На большее не хватило духу. Длинноволосых беспощадно выгоняют из школы. Очередная волна репрессий. Что и грозит Хромому Батору. Если, разумеется, не вступится папаша. У Рады отец тоже начальник, но по-

меньше – ходит пешком. И к нам заходит. Мама величает Максима Малановича «дорогим гостем». Я здороваюсь с ним за руку, верите? Как мужчина с женщиной.

### **8 час. 23 мин. «Родина или смерть!»**

... – Ты меня слушаешь? – подозрительно косится Хромой Батор.

Чего слушать-то? Про тактику партизанской войны могу и сам рассказать: «Родина или смерть!» И точка.

Раньше местные пацаны называли себя «шанхайскими». Вон на столбе вырезано: «Шанхай. 1958». И подпись некогда известного хулигана – «Мадера». Потом донеслось эхо кубинской революции, возникли «барбудос» и Хромой Батор. Звание команданте стоило ему разбитого носа.

– Давай проверим твою игрушку. Я достал еще...

В ладони команданте блестит желтый патрончик мелкого калибра.

Пистолет!.. Признаться, совсем про него забыл. Изображаю на лице дикий восторг. Боек и ствол выточили с Петькой в школьной слесарке, под видом детского технического творчества. Мы были вынуждены. На другом берегу Уды мелькнули ножи. Пусть это слухи. Даже в мыслях преступившего неписаный закон Города ждет кара. Кто сеет ветер, – пожнет бурю. Так и заявил Хромой Батор. Мы подняли сжатые кулаки.

Если вынуть в стене кирпич, увидишь тайник. В промасленной тряпице – грозное оружие возмездия, упакованное в железную пистонную хлопушку за восемьдесят копеек.

Усмехаясь, Хромой Батор пригвоздил к столбу газетный клочок: тощий великан в цилиндре, полосатых штанах, с козлиной бородкой и волчьим оскалом. Он стоит по колено в воде и размахивает над островком пузатой бомбой, на которой начертана буква «А».

Выстрел грянул со второй попытки, но не хуже, чем в кино. В правом ухе зазвенело. Где-то мякнула кошка. Ошалело стуча крыльями, голуби ринулись с крыши. От столба шла пыль.

– Попал! – чихнул Хромой Батор.

Пуля вырвала из рук великана бомбу. Я понюхал ствол. Почему-то воняло чесноком.

– Здорово! – Хромой Батор подобрал щепку – почти с ладошку.

С той поры, как подбил из рогатки голубя, слышу во дворе за меткого стрелка. В лейтенанты произвели и пистолет доверили. А кому интересно, что при стрельбе закрываю глаза?

– Это еще что! То ли дело по движущейся мишени! – расхвастался я не на шутку.

– Да, да... – бормочет команданте. – Проклятые гринго...

Искупавшись в пыли, мы нашли-таки у стены пулю. Она сплюсцилась и теплая.

– Отца вызвали ночью, – вдруг говорит Хромой Батор. – До сих пор нет...

Ого! Хромой Батор заговорил про отца. А то можно было подумать, что он сирота.

– Давай еще, – чихаю я.

– Надо беречь патроны, – встряхивается команданте.

Мы заботливо укутываем пистолет в тряпицу, прячем в тайник. Меня заставляют повторить приказ: стрелять при малейшей угрозе холодным оружием.

– Еще есть время отказаться, – добавляет команданте. – Добровольцы найдутся...

– Я готов! Заход солнца в семнадцать девятнадцать! – рычу в ответ. По спине бегут мурашки.

– Так я и думал, – давит мое плечо команданте. – Родина или смерть!

Совсем стемнеет к шести часам. Он вчера засекал. Конечно, в темноте можно огреть и своего. Зато легче убегать от милиции. Мы встанем спинами к нежилому бараку, чтобы не обошли сзади, и будем теснить противника к свалке. Там ему и место.

Хромой Батор снимает с руки часы.

– На! Не опаздывай больше. После боя вернешь.

Корпус часов чуток облез, стекло мутноватое, но за ним неумолимо стучат шестеренки и гордой вязью светится – «Победа». О, «Победа»! Предмет зависти всего двора. 8.23. Команданте верит в меня!

Пожарная лестница наверняка покрыта инеем и скользкая. Да и поддувает. Спускаемся через внутренний люк Дома Специалистов.

И попадаем в дружеские объятия Батисты.

– А-а, барбосы, с приземлением!

Из-под синих обшлагов вылазят огромные волосатые ручищи и клешнями ухватывают наши загровки. Сейчас мы, наверное, похо-

жи на елочные игрушки. Усы Батисты топорщатся. Блестят яловые сапоги.

– Мы вам не барбосы! Немедленно отпустите!

Хромой Батор тщетно пытается сохранить достоинство в висающем положении.

– Не брыкаться! Кто стрелял? Ну?!

Участковый хватает команданте за ухо – немыслимая дерзость! Но – ни звука. Даже под пыткой «барбудос» не назовут адреса и явки.

– Мне все известно, барбосы! И так жильцы жалуются! Ну?!

– Ой, ой, дяденька, не знаю!

Кажется, это кричу я. Ухо горит огнем. Пахнет ваксой и еще чем-то казенным.

– Ну, погодите, бамлаговцы! Я вам покажу чердачную жисть!

Команданте незаметно подмигивает. Чердак отменяется. Сбор в полевом штабе.

– Кто стрелял? А?! – крутит ухо старшина. Слава богу, не мое. И неожиданно вскрикивает. Клешни на миг ослабли. У Батисты замечательно кривые ноги – ныряю меж ними. Треск хлястика – проклятье! Зато Хромой Батор, подпрыгивая, катится вниз,

– Пусти, Батиста!

– Кто Батиста? А ну, пройдем!..

– Отпустите его, старшина!

Команданте вернулсЯ. Зачем?

– Беги, Батор, он меня в милицию-ю!

При слове «милиция» просторная лестничная клетка заполняется жильцами. Халаты, бигуди, шлепанцы, животы, подтяжки.

– Верна-а! В милицию его!

– От них грязь одна!

– Житья нету! Повадились сюда, шпана барачная!

– Заткнись, крашенная! – кричит Хромой Батор.

– Ах! И этот тут! У такого отца – и такой сын! Распустил космы! Начальство, так все можно?!

– Молчи, дура! – шрам на подбородке ожил и посинел.

– Ах! Милиция, что вы позволяете! – стонет рыжеволосая в бигудях.

– Вы первая начали!

– Я?! Ужас! Ужас!

– Он вам не барачный!

– Вот как? Интересно, тогда кто он?  
– Он... он... – Хромой Батор запинаясь. – Он... человек! Человек!  
«...век-век!» – четырехэтажное эхо бьется о стены. А вдогонку – смех.

– Прекратите, как вам не стыдно!  
Голос чистый и звонкий. Рада! Прекрасные зеленые глаза пылают гневом.

Смех умолкает.

– Погодите, бамлаговцы, доберусь я до вас, – трет коленку старшина и дзинькает подковками до самого первого этажа.

Сдвигаю набекрень кепку, чтоб не увидела догорающее ухо. Задирю рукав – там, где часы. Напрасно! Лучистые глаза обращены на команданте.

– Кто тебя просил лезть... – бурчит Хромой Батор.

Рада подходит ближе. Шуршит болоневая курточка.

– А ну, катись отсюда! – кричит Хромой Батор. – Ходишь по пятам! Девочек нам не хватало! Нашлась защитница...

Рада, представьте себе, улыбается!

Покраснев, команданте добавляет крепкое выражение.

Рада вздрагивает и быстро уходит. Внизу хлопает дверь.

Зря это. Между нами, мальчишками, говоря, Рада – та девчонка, которая может присниться. Впрочем, мне-то какое дело? Я смотрю на часы «Победа».

### **9 час. 00 мин. Это идут «барбудос!»**

*Слышишь чеканный шаг?*

*Это идут «барбудос»!*

*Песня летит над планетой, звеня:*

*«Куба – любовь моя!»*

Какой-то сопляк сидит на поленнице и, отчаянно перевирая мотив, стучит в такт палкой.

– Эй, не свались!

– А меня возьмете? – тотчас свалился он с поленницы, по виду второклашка. – У меня и рогатка есть...

На сопляка ноль внимания. Пересекаю двор. У барака чисто: за ночь ветер-дворник согнал листья к углу кочегарки. Небо тоже подмели как

следует. Ни облачка. И солнце – рыжее, что яичница. В животе урчит. 9.00. Староста Кургузов заступил на дежурство – его лысина светится в окне. Следит за порядком. По нему можно сверять часы.

Так и знал! Дозорный валяется в постели. Борька Болембах – не Кургузов, это точно.

– Больше не буду! – Борька зевает и путается в штанах. И в школе по-вторяет то же самое. У засони узкие плечи, пухлые животик и попка, весь облик напоминает грушу. И в кого он такой? Болембах-старший – как жердочка. Вечный труженик с печальным носом. Он (нос) как раз выглядывает из кухни.

– Молодые люди, пожалуйста завтракать.

– Папа, вы не беспокойтесь... – Борька тянется к телогрейке.

– Борис! – трагически восклицает Болембах-старший. – Ты говоришь невозможные вещи!

Всякий раз меня убивает вот это. Борька «выкает» отцу, а тот величает его Борисом, не иначе. «Борис!» – Семен Самуилович округлил масляные глаза. Теперь Болембахи похожи. И носами, и волосами – курчавыми, смоляными. Самое возмутительное – Борька в открытую бреется отцовской бритвой. Иногда Болембах-старший взбивает сыну пену. Какая-то чудовищная несправедливость. Засоня и трус решил обзавестись бородой.

Дело в том, что «барбудос» в переводе с кубинского...

«С испанского», – вежливо поправил Борька. Случилось это летом, за сараями. «При чем тут испанцы! – закричал Петька Окуроч и сплюнул сквозь зубы. – Думаешь, не знаем! Ха! Не посаран, понял?» – «Во-первых, но посаран...» – начал Борька. «Врешь ты все! – отшвырнул окуроч Петька. – Куба – да, янки – нет! Как дам по уху!» – «Кто, я – вру?!» – округлил глаза Борька. Петька говорил невозможные вещи. «Пацаны, чего глядите! Бей провокатора!» – Петька несильно толкнул Борьку в грудь. «Провокатор» не отступил.

Но пацаны, воробьями облепившие поленницу, угрюмо ковыряли в носках. Сказанное походило на правду. И то, что Борька, против обыкновения, не трусил, говорило за себя.

Спорщиков разная Хромой Батор. Петька сразу же потребовал пипрос и доказательств. Борька вынес из дома отцовскую беломорину и книжку с пальмой на обложке. Ткнул в подчеркнутое: «барбудос» – бородачи.

Н-да... С бородами у нас неважно.

Стать бородачом мог только Борька. В пятом классе у него прямо на уроке выросли усы. Трогать их давал за две ириски. Вдобавок Борька начал бриться, чтобы «волос был гуще», и с той поры щеголяет по двору с синими щеками, чем выводит из себя Петьку. У того даже пушка на губах не намечается. «А я виноват? – оправдывается он. – Детство чижолое, чес-слово!»

На следующий день после спора все появились с мелкими порезами на подбородках. У Хромого Батора под нижней губой алел шрам. Петька заклеил щеку пластырем. Тут уж обидно стало мне. По-настоящему обидно. У пацанов хоть и тайком, но есть чем бриться. А мы живем с мамой. Бритвы в нашем доме нет...

– Семен Самуилович, если можно, дайте Борису сухим пайком. Мы торопимся, – сглатываю слюну и дергаю за рукав Борьку. Будущий бородач внимательно разглядывает в зеркале свои щеки.

Семен Самуилович не понимает, что такое сухой паек. Беда с этими штатскими лицами!.. Болембах-старший работает женским парикмахером. Честное слово, не вру. «Дамским», – поправляет он. Борька рассказывал, что папаша на коленях обещал мамаше перейти в мужские парикмахеры.

– Молодой человек, скажите, а дежурство у Бориса не опасное? Колокольня без колокола, знаете ли... И вообще.

Семен Самуилович мнется и сует термос.

Так! Борька успел проболтаться обо всем отцу.

«Боялся проспать, – умоляюще выпучился он. – Не говори, а?».

Ладно уж. Собственно говоря, Борька не засоня. Просто любит читать по ночам книжки. И контрольные дает списывать.

Ястребиный взор старосты Кургузова провожает нас за ворота. Я несу термос. Борька вращает синими щеками – уплетает колбасу с хлебом. Петька Окурок проклиная нас на колокольне.

Хлопаю «бородача» по спине.

– Чао! – откашлявшись, кричит он.

Борьке – на форпост, мне – на базар. Дела, дела...

### **9 час. 22 мин. «Сдачи не надо!»**

Базар у нас не настоящий. Не тот размах, что ли. Ни кокосов, ни верблюдов. Хоть бы ишак какой объявился! Где истошные крики менял и продавцов воды? Где звуки труб и толпы паломников?



«Разве это базар?» – возмутился бы Борька.

Правда, крику у нас тоже хватает. Вон семейская тетка, укутанная в платки, бусы и юбки, ругает мужичка. Мужичок не поддается, требует сдачу. При этом крикуны с колоссальной скоростью щелкают кедровые орехи. В заплечном мешке верещит поросенок – не хуже ишака, однако.

Под вывеской «Керосин» курит дядька в стоптанных сапогах, по виду приезжий из района. Толстая продавщица в черном халате с криком гонит от дверей лавки покупателя. Тот торопливо гасит окурок каблуком.

Вдоль некрашенных деревянных рядов – жуткие улыбки свиных рыл, бараньи туши и веники, горки сала и картошки, вскрытые бочки квашеной капусты, соленых огурцов и омулей... В животе урчит с новой силой. Старушка в дэгэле и старик в ичигах курят трубки и щупают тарбаганы шкурки. Усатый дядька гнусавит в окошечке, наливает вино из чайника в стакан, чмокает алыми губами и глядит на солнце. Манит улыбкой: «Малчик, малчик...» Я качаю головой.

Пить нельзя. Таков приказ.

Если кто помалкивает на базаре, то это сапожники-китайцы. Зажмут губами гвоздики и без передыху стучат в своих будочках. Вдруг на углу вспыхивает драка. Там играют в «три наперстка». Парень в тельняшке ухватил очкарика за волосы, а тот пинается. Визжит поросенок. Солдатский патруль уминает позы, розовые щеки лоснятся. Над ухом брызгают слюной: «Чтоб ты сдох!..» Торговцы снедью – подозрительно вкусными пирожками – ожесточенно спорят о достоинствах старых и новых денег.

Драка прекращается. Зеваки идут к другому углу, где появилась местная знаменитость – дурачок Гриша по кличке Гитлер Капут. Долговязый, рябой, он хрумкает огурцом. В карманах рваного пальто добыча – горлышки пустых бутылок, в глазах – блеск привалившего счастья.

Завидую дуракам. Их все любят и подкармливают. Стоит дураку подойти к лотку – туда валом валит народ. После Гриши полбочки соленых огурцов как не бывало. Все кругом хрумкают. Я тоже: стибрил под шумок. Торгаши и стараются улестить Гришу. А потому он всегда сыт и пьян. Если не возьмут в космонавты, говорит Петька Хохряков, пойду в дураки.

Сожрав огурец, Гриша читает стихи. «Собственные».

– Я пришел к тебе с приветом! Кхе... – дальше он путается и плюется с досады. Ему хлопают и подносят стакан вина.

– Гитлер капут! – крикнув, объявляет он. Хохот. Гриша кланяется, как артист. Следующий номер программы – жужжанье мухи о стекло, визг поросенка и застарелый анекдот про кукурузу. Дураку можно. Хохот и улюлюканье.

Один я не смеюсь. Давняя встреча не дает покоя. Первоклашкой занесла меня нелегкая на дамбу. Гриша собирал там бутылки. Увидев известного в городе дурака, я испугался и заревел.

«Не бойся, глупыш, – ласково молвил Гитлер Капут. – На-ка яблочко...» Отказываться было глупо. «Учишься? – погладил он ранец. – Учись хорошо. И не бойся, слышишь? Никогда ничего не бойся».

Он задрал вверх рябое лицо, пощурился на колокольню: «А вот колокола нету... Беда, беда...»

Гриша вздохнул, звякнул бутылками, обернулся: «Вырастешь, вспомни обо мне. Жил, мол, в прошлом веке один дурак. Яблочком угостил... Ладно?»

Яблочко было сладким – с базара.

...Внезапно Гриша обрывает поросячий визг и убирается восвояси. Но толпа зевак не расходится. На арене базара возникает нелепая фигура. Заклятый враг Гриши одет в женскую кофту, шляпу и мокрые валенки. Дурачок часто взмахивает руками, вквохтает и, как заведенный, шипит что-то под нос. Ну, точно примус. Если прислушаться к Примусу, можно узнать всякую всячину. Как рубить лес и стряпать рыбный пирог, отчего падает курс акций, почему колокольня без колокола и кто убил Кирова.

Потом, вздрогнув, Примус монотонно бормочет: «Не знаю... Ничего не знаю...»

Заметив толпу, Примус дергает сивой бородашкой: «Строиться, гады! На лесоповал! Без права переписки!» Народ хохочет. Дураку дают кусок сала. Он прячет его в валенок – про запас.

Гриша и Примус никак не могут ужиться. Это совершенно необъяснимо. Жратвы на базаре хватило бы на вагон дураков. Однажды Гриша дурацким своим умишком додумался-таки и в знак примирения подал при встрече надкушенное яблоко. Примус запустил им благодетелю в нос, отчего пошла кровь. Обиженный не остался в долгу. С криком «Гитлер капут!» метнул в товарища по несчастью горсть квашеной капусты... Повеселились от души.

А вот и дурочка. Она пока что без прозвища – на базаре недавно. Распустив космы и закатив глазищи, утробным голосом возвещает конец света и священную войну. В городах останется по пять человек, в деревнях – по одному, а спасется тот, кто окажется у горы. Земля будет сожжена на сто локтей в глубину. Примус беспокойно хрипит: «Не знаю... Ничего не знаю...» Народ мгновенно расходится, и косматая уходит несолоно хлебавши. Так ей и надо!

То ли дело веселый безногий чистильщик! Как заправский жонглер, орудует щетками, пристукивает ими в лад песенке:

*Раз – ботинок, два – каблук,  
Стук – копейка, рубль – стук.  
Раз – ботинок, два – каблук,  
Выходи плясать на круг!*

А ботиночки-то, как у багдадского вора, – с форсом. Лаковые, черный низ, белый верх. Каблуки что копыта. Взмах бархотки – острые носы туфель пускают зайчики. Вырасту – заведу такие же.

В баночку с медяками летит рубль. Ого! Старыми деньгами – червонец.

– Сдачи не надо! Выпей, земляк, за здоровье Мадеры!

9.22. На горизонте всплыл Мадера. Бывшая гроза городских окраин, родом с нашей улицы. Последний раз, болтали, залез он в винный ларек, где его, пьяного вдрызг, и сцапали. Дружков Мадеры во дворе не осталось. Кого в армию забрали, кого в тюрьму. Родственники надеялись, что Мадера там и сгинул. А он, вишь ты, рожу наел! Когда-то Мадера мимоходом щелкнул меня по уху. Такое не забывается... Та же челка, будто приклеенная ко лбу, хрящеватый нос и тонкие бесцветные губы. Разве что золотую коронку вставил и усики отпустил. Экий пижон! Брюки – клеш, белый шарф, новая телогрейка. И серу жует.

– Чо, суконеч, зыришься? Соску дать? – ощерился Мадера. Зубы мелкие, желтые.

– Ты – Мадера... – вырывается у меня.

– Ишь, козявка, узнал! – перестал он жевать. – Шанхайский, чоль?

– Ага. Только мы теперь «барбудос».

– Чего-о?! – загоготал Мадера. – Какие такие... барбосы?

«Газеты читать надо», – мысленно ответил я и пошел дальше.

– А ну, щенок!.. За ноги и об угол! – тряхнул так, что клацнули

зубы. – Тыкву расколоть?! Стой, покуль Мадера базарит... Сколь вас во дворе... этих самых...

– «Барбудос»? Три взвода.

– Чего-о?! А вы, зырю, пацаны деловые! Наш закал, шанхайский!

Мадера выплюнул серу и поволок меня к заветному ларьку. Не обращая внимания на лопотанье усатого хозяина, хапнул чайник. Бросил в окошечко красненькую: «Сдачи не надо!» Лопотанье смолкло.

Пристроились мы в будочке безногого чистильщика. Он шумно обрадовался чайнику, подтянулся на могучих руках и сел на табурет. Мадера расплескал по стаканам вино и присосался к носику чайника.

– С возвращеньцем, значит, – сказал безногий. Стакан в его руке исчез.

– Угу! – утер рот Мадера. – Трешник, понял? От звонка до звонка! Мусора, паскуды! Вышел – ни друзей, ни б..! Пей, пацан.

– Не рановато ли? – чистильщик покосился на портретик Сталина, приляпанный изолентой к стеклу. Будочка чистильщика – тихий островок в штормящем море базара.

– Я раньше начал! – ругнулся Мадера. – Пей.

Под одобрительные смешки я глотнул, успел распахнуть дверку и выблевать назад.

– Кислятина, – бодро сказал я, – то ли дело кубинский ром!

– Разбежался... Токо добро переводить, – проворчал Мадера и отобрал стакан.

– Ты ешь, ешь, – улыбнулся безногий.

На газете лежали колбаса, хлеб, лук, сало. Минутой раньше набросился бы волком... Сейчас не хотелось. Подташнивало.

Мадера вынул ножик с наборной ручкой, подцепил кружок колбасы.

– Кто там у вас мазу держит? Ну... главный?

Я рассказал про Хромого Батора и грядущую битву. В животе стало тепло. Голова слегка кружилась. Заслышав про драку, Мадера оживился.

– Пацаны деловые! Да мы такое сварганим! «Гоп-стоп!» Каждому по часикам! А энтим заудярам лично хари попорчу! Как, возьмете в «барбосы»?

Мадера загоготал и полакал из чайника.

– Туточки одна фатера... – тихо и жарко задышал перегаром Мадера. – Форточка ма-ахонькая... Как раз по тебе...

– А без артподготовки, это как!.. – взревел чистильщик и стукнул кулаком по табурету. Газета намокла от вина. На изрезанном морщинами лбу выступил пот. – Сволочи!

– Падлы, – согласился Мадера.

– Бабы нету, – уронил голову чистильщик. – Эх!..

– Это мы запросто! – хрюкнули напротив. – Такие стервы водятся!

– Сынок, – уставился на меня тяжелым взглядом безногий. – Не слушай, а?

– Ниче-е! – повел носом Мадера. – Я раньше начал! Пацаны деловые!

Незамеченный, улизнул. Безногий чистильщик плакал, Мадера пел про Колыму и старушку мать. Чайников было два...

– Где шляешься? – сердито сказала мама и кинула мне халат. Я взялся за ящик и покачнулся.

– Тебе плохо? – мама замерла над кучкой гнилых овощей.

– Готов к труду и обороне, мам! – отвернулся, чтобы не выдать себя запахом. – Эй, дядя, поберегись!

И я с вымученной улыбкой принялся таскать ящики за прилавок. От ящиков несло тухлятиной. Это вам не частная лавочка!

Овощторг открыл на базаре воскресный филиал. Мама устроилась туда подсобным рабочим. Мы сидели и перебирали вонючие, склизкие помидоры. Мама ничего не чувствовала. Продавщица над нашими головами воевала с очередью. Все дружно ругали новые деньги. Мама – тоже. Большой, винного цвета помидор лопнул и растекся у меня в руках. Я опрокинул ящик.

За забором меня вырвало. Я полакал ледяной водички из колонки, утерся телогрейкой. Стало легче. На небе вспухли сизые облака. За штабелями пустых ящиков бубнили о своем алкаши. Охота им пить всякую гадость? Проходя рядом, услышал знакомое шипение.

– Не знаю... Ничего не знаю...

Примус! Интересно, что он на этот раз отмочит?

– Ну, побалдели, и хватит, – этот голос тоже где-то слышал.

Я припал к штабелям. Сквозь щель увидел Гришу. Гитлер Капут что-то терпеливо втолковывал со стаканом в руке. Примус мычал и глядел в небо.

– Ты это брось! – наконец вышел из терпения Гриша. – Я тебе не вертухай! Лапшу на уши!.. Видел я тебя на пересылке, понял?

Гриша притянул за грудки Примуса. Шляпа скатилась, обнажив седую, как снег, голову.

– Не знаю... Ничего не знаю...

– Идиот, – устало сказал Гриша.

На ящиках был накрыт стол. Всего понемногу, чем славен был осенний базар 1962 года. И, конечно, чайник. Гриша явно подлизывался к своему неразумному собрату.

– Били меня... – глядя в сторону, буркнул Гриша. – Единственный способ вырваться... Скажи, не бойся. Тебя никто не будет бить. Ну, посмотри, посмотри на меня! Узнаешь? Скажи, не бойся...

– Не знаю... Не знаю... – озираясь, захрипел Примус.

– Черт! – схватился за голову Гриша. – Может, ошибся... Столько лет прошло... Но ведь это был ты, тогда, на пересылке... Неужели ошибся? Там много было... Ты, ты! Кончай дурака валять!

– Не знаю... Ничего не знаю... – быстрее залепетал дурачок.

– Ладно... Ты прав. Кушай, кушай...

Примус взмахнул руками, нахлобучил шляпу и накинулся на еду. Громко чавкал, лез грязными пальцами в рот, жирные ладони вытирал о кофту, от нетерпения елозил валенками. В бороденке запутались рыба чешуя и хлопья капусты. Гриша глядел на товарища с жалостью. Издав горлом странный звук, отвернулся.

Я переменил занемевшую ногу. Под ботинком хрустнуло. Гриша обернул в мою сторону встревоженное лицо. В глазах плеснулся испуг. Сквозь щель я видел, как медленно глупела рябая Гришина физиономия. Нижняя губа оттопырилась: пронзительно заверещал поросенок.

Примус вздрогнул, ударил Гришу по голове чайником. «Гитлер капут!» – дал сдачи Гриша. Чайник летал над головами. По щекам и бороденке вино лилось, будто кровь. Стол переговоров был опрокинут. Дары осени втоптаны в грязь. На шум уже бежали зеваки. Побросав стеклотару, Гриша ускакал в проулок. Примус прятал в валенки соленые огурцы.

– Где шляешься? – проворчала мама. – Не сидится ему... Уроки сделал? Иди уж...

Мама отобрала у меня веник, подтолкнула.

– Сынок... – окликнула, помялась. – Если придет Максим Маланович... А впрочем, я сама... Иди!

Продавщица в замызганном халате бранилась с покупателем. Оба с чувством поминали старые деньги, старую жизнь. Да пропади она пропадом!

Нет, базар у нас не настоящий.

### **10 час. 50 мин. «Встать! Суд идет!»**

Такой теплой осени не припомню за неполных тринадцать лет. Пацаны купались в Уде до середины сентября. Петька Хохряков, тот вообще ночевал на реке у костра. Развлекался тем, что пугал влюбленные парочки. И такой красивой осени не припомню. Сейчас – то лист облетел, а еще недавно Уда манила серебром в золотисто-рубиновой оправе перелесков.

Мой Боливар галопом несется вдоль дамбы. Скрипит кожаное седло. Рядом наперегонки бежит река. Копыта цокают о гравий. Ку-саю встречный ветер. Красота! Боливар встряхивает гривой, пускает из ноздрей клубы пара. В груди холодно и легко. На повороте верный конь обгоняет реку и устремляется к форпосту.

Победное ржание Боливара не потревожило дозорного. Я посвистел еще. Колокольня зияет пустотой и тишиной. Неужели Борька ухитрился заснуть в этакой холодине? Бр-р... 10.50. Вижу дезертира! Помогает Петьке удить рыбу, возится с крючком. А до пересмены целых десять минут!

Застигнутый на месте преступления, Борька не знает, куда девать мокрые до локтей руки.

– Хорош! Мало того, что проспал... Петька ждал на колокольне, ждал... – тон у меня вполне учительский.

– А он и не ждал! – обрадовался нарушитель.

– Чо врешь, чо врешь! – облизнул губы Петька. – Ждал я там, ждал! От и до!.. Был бы колокол, узнали бы!

Ногой Окуроч пытался загородить банку с хариусами. Рыбки развали рты – молили о пощаде.

– Кто, я – вун?! – округлил глаза Борька. – Сам позвал...

– Как дам в ухо! – подскочил Петька.

– Сам позвал, сам позвал... – отбежал на безопасное расстояние Борька. Петька погнался следом, держа удочку как копье. Борька ве-рещал не хуже поросенка, однако.

– Встать! – гаркнул по-командирски.

– Ну, стоим... – запыхавшись, остановились рыбаки.

Я выпустил хариусов на волю. Они махнули на прощание хвостами. По реке плыли белые рыбки – льдинки. Тонкое стекло припая звенело комариным писком: «Ти-и... ти-и-и...»

– За что? – ужаленный, набылчился Петька. Борька поддакнул.

– Суд идет! – скорчил я свирепую рожу. Пусть прочувствуют глубину своего падения. Это произвело впечатление. Подсудимые при-молкли.

– Вы дважды нарушили... Самовольно оставили пост. Да за это в военное время!.. А Борис еще и проспал! Я обязан доложить Хромому Батору.

– Больше не буду, – без выдумки промямлил засоня.

– А я виноват? Мое дежурство самое первое... Бр-р... Да еще без ку-рева...

Я пошел к форпосту. Дезертиры не отставали. Команданте с такими не чикается – гонит в шею. Пусть идут куда глаза глядят – хоть в детскую музыкальную школу.

Петька понял, что на этот раз словами меня не разжалобить. Протянул сложенный вчетверо газетный лист.

– Во! Уважительная причина. Чес-слово. Тяжелое семейное положение. И куда смотрит общественность! – сообщил Петька бабьим голосом. Шмыгнул носом-пяточком, поморгал глазками. Еле-еле выдал слезу.

Я разгладил газетный клоч:

*«Хохрякова Анна Алексеевна, проживающая по ул. Шмидта, 18, возбуждает дело о разводе с Хохряковым Коминтерном Павловичем, проживающим по ул. Шмидта, 18. Дело подлежит рассмотрению в народном суде Советского района г. Улан-Удэ».*

Ну и ну! Ул. Шмидта, 18 – наш барак. Не было субботы, чтобы Петькины родители там не разводились. Как положено. С криком-руганью. Но чтобы через суд?! Допек-таки Коминтерн Палыч свою Хохрячиху на почве бытового пьянства... А Петьку жаль. Ему нужна поддержка коллектива.

Я повертел газету. Числа и даты не было. Наверное, Петька содрал ее с тумбы.

«Прекратить испытания ядерного оружия!», «Задание партии выполнено: в Бурятии выращен початок молочно-восковой спелости!», «Атомные маньяки», «Кеннеди бряцает оружием», «Сверх-



выстрел русских!», «Заседание Совета Безопасности» – кричали заголовки.

Н-да, газетка свежая... Петька не врет.

– И в школе показывал, – Петька бережно сложил газету. – С уроков теперь отпускают. Чес-слово! Курить нема?

В конце концов я тоже нарушил приказ. Выпил перед боем.

– Но чтобы это был последний случай!

«Барбудос» повеселели. Петька нашел окурок. Борька погладил синие щеки и побежал на колокольню.

Я свистнул. С колокольни помахали. 11.00. Смена постов. Форпост продолжает наблюдение.

«Бом! Бомм!» – подражаю я колоколу.

«Бем-бем-бем!» – колокольчиком заливается Петька.

### **11 час. 15 мин. «Мамаюкэру!...»**

К этому часу жизнь во дворе бьет ключом. Меж столбов на вешалах сохнут простыни. Рядом выбивают половики. Под ногами мешается мелюзга, играет в чику на «ушки» – лимонадные пробки. Пара колясок. Девчонки прыгают через скакалки. В беседке похмельные папы бренчат мелочью. Наскребут на троих – и в баню. Староста Кургузов осуждающе глядит на них из окна. Солнце светит, но греет на оценку «три». В серенькое небо чадит труба кочегарки – в Дом Специалистов дали отопление. На лавку выползли бабки. Причем наши барачные старухи держатся от домспецовских в стороне. У тех своя лавка, а кроме того – балконы. Но сейчас на них трясут ковры. Слышно, как за углом с «хэканьем» колют дрова. В барак снуют пацаны – с полными ведрами и охапками поленьев. Воскресенье – день грандиозной стирки. В раскрытом окне стонет радиолка: «Мамаюкэру! Мамаюкэру!...» И так – без конца. Будто пластинка заела. На самом деле песня такая. Крик моды.

За сараями, словно пенек на опушке, торчит бетонная будка. Издали смахивает на фашистский дот. Спокойно, граждане. Это всего-навсего аварийный выход из бомбоубежища. Находится оно в недрах Дома Специалистов. Берегли их, выходит, спецов-то. Да что-то плохо. Полдома еще до войны съехало в неизвестном направлении, как в воду кануло. Возможно, так оно и было. Мужики в беседке скзывали. На место бедолаг-спецов и их семей въехала громкоголая

пушера. С бигудями, пижамами, кошками, фикусами и песенками типа «Мамаюкэру». Из грязи в князи. Хромой Батор их тихо ненавидит. Даже кошек.

Бомбоубежище и есть полевой штаб «барбудос». Вход свободный – кому не жаль костюма. Надо нырнуть в амбразуру бетонного дота, зажав нос и не жалея живота своего, проползти метров пятнадцать наперегонки с крысами. Осторожно, не ушибите темечко о стальную дверь. Смелее, она не задраена... Можно попасть в убежище и пешком через подъезд – под лестничной площадкой дверка, замок открывается гвоздиком. Но ползком, согласитесь, куда интереснее.

Задумано бомбоубежище на полном серьезе. Пять отсеков с массивными стальными дверями на винтах. Как на подводной лодке, знаете? Только лодка эта давно лежит на дне. И дышать трудно. Там и сям противопозные и телефонные трубки, фильтры, раздавленные линзы, рваные сумки с красными крестами, поваленные скамейки и емкости с надписями: «Вода», «Топливо». Раздетый до скелета электродвижок, кишки проводов, выпотрошенные насосы, блоки питания. А также битые бутылки и стаканы, тряпье, вонь. С некоторых пор сюда повадились темные личности.

Однажды книгочей Борька вычитал, что вместе с запасом воды, воздуха и питания в убежищах бывает и золотой запас – в основном в виде слитков. Только запрятано оно в тайнике, в свинцовом контейнере. В золото мы как-то не верили, но свинцом Петька заинтересовался – это ж сколько рыбачьих грузил! Я согласился из солидарности. Еще подумают, что струсил. Половину найденного сокровища решено было отдать героической Кубе. На золото можно купить гору оружия, а лучше – атомную бомбу.

Мы взяли с собой сухари, китайский фонарик, коробок спичек, лопату, моток бельевой веревки, бутылку лимонада, зачем-то соль и сорок копеек, черные очки и хозяйственную сумку для золотых слитков. Наглотавшись пыли, впихнули себя внутрь. Колени и локти горели. Потайных люков и ходов нигде не было. Но в дальней, пятой по счету, комнате храпел на скамейке таинственный незнакомец. Он зевнул при свете китайского фонарика и отобрал у нас сухари, коробок спичек, лопату, моток бельевой веревки, сорок копеек, зачем-то соль, сложил все это в хозяйственную сумку, выпил бутылку лимонада, оставил черные очки и ушел, подсвечивая себе фонариком. Да, чуть не забыл! Прихватил еще Борькин шарф домашней вязки.

В крошечной тьме блуждали на ощупь. Стучались лбами об углы и друг с другом. У ног рыскали крысы. Кричать было бессмысленно, но мы кричали. Склеп отвечал издевательским хохотом. Борька нацепил черные очки. В них, видимо, было не так страшно. По счастливой случайности Петька упал на разбитый телефонный аппарат. «Папа!», «Мама!» – эти золотоискатели вырывали из моих рук трубку и зачем-то дули в нее. Трубка хранила гробовое молчание. Борька был близок к истерике. Петька мужественно поскуливал и тщетно искал на полу окурки. Спичек не было. Прогоняя тошноту и слезы, я эдак бодро засвистел: «Мамаюкэру! Мамаюкэру!»

Вылезли на поверхность шахтерами-стахановцами. Ноги подкашивались. Руки дрожали. Все было черным. Ночь, мы сами и очки.

Дома Борьке влетело за китайский фонарик и шарф, Петьке – за моток бельевой веревки и сорок копеек, мне – за хозяйственную сумку для золотых слитков.

О приключении в бомбоубежище вся троица благоразумно помалкивала – не дадут же во дворе прохода!

Кочегар дядя Саня долго удивлялся, куда пропала лопата.

### **11 час. 30 мин. Что-то случилось**

Возле Дома Специалистов, вздымая пыль, тормозит грузовик. У бетонного дота уже суетятся люди. Как из-под земли выросли милиционеры.

– Куда, мальчик? Назад! – преграждает путь синяя шинель.

«У меня приказ, сержант», – мысленно возражаю ему.

– Расходитесь, граждане, расходитесь! Ничего интересного!

Как бы не так! Страшно интересно. Стар и млад – все тут. Староста Кургузов прилип к окну. И Батиста здесь, ишь, раскраснелся от усердия.

– Обычный ремонт, граждане, идите по своим делам, – участковый трясет животом и оглядывается. Там, в тени подъезда, стоит человек в сером пальто и шляпе, черных очках и тихим голосом отдает распоряжения. Дюжие молодцы снимают с грузовика и уносят в подъезд тяжелые ящики, молча тянут провода, спускают кабель в будку. Земля под ногами вздрагивает, глухо урчит отбойный молоток, в амбразуре бетонного дота полыхают отсветы электросварки.

11.30. Что-то случилось. И Хромого Батора нет... В толпе однодворцев строятся догадки. После короткого спора сходятся во мнении, что совершено злодейское убийство. И не одно. Вон сколько милиции понаехало! Дело «пестрых» или «черной кошки».

Поодаль синеют Борькины щеки. Он выпучивает свои глазища и делает таинственные знаки. Подъезжает еще один грузовик. Дюжие молодцы забрасывают в него разный хлам из бомбоубежища: покоренный металл, насосы, сгнившие противогазы, дырявые сумки с красными крестами... Борька заглядывает в кузов – ищет китайский фонарик. Батиста хватает его за ухо, отшвыривает. Борька орет. Человек в черных очках кривит губы. И тут до меня доходит... Идиоты мы с Петькой! Борька оказался прав. Кто-то опередил нас. Вперяю взор в гору хлама – золотые слитки пока не блестят.

Видя, что вместо кучи трупов выносят кучи мусора, народ расходится. За углом снова колют дрова. Остаемся лишь мы с Борькой. Серый человек в черных очках кривит губы. Играем для конспирации в «пристенок». Уши на макушке.

– Товарищ... э... – участковый подносит руку к козырьку и отсекается. В просвете кривых ног Батисты видны отутюженные брюки и край серого пальто.

– Привлекаем внимание населения, мм? – цедят из-под серой шляпы.

– Дык воскресенье... – растерянно гудит Батиста.

– Впредь без паники. Отвечаете головой. Объект первостепенной важности.

Серый человек садится в серую «Шкоду». Машина серой крысой упрыгивает в клубах серой пыли. Батиста утирает платком багровое лицо, пинает серый бетон и ковыляет со двора.

– Слыхал? «Объект первостепенной важности»! – толкает в бок Борька.

– Угу. А золото где?

Книгочей усмехается моей наивности и тянет к подъезду. Возле него вырастает синяя шинель.

– Вы куда, ребята?

– А здесь живет наш товарищ... – не теряется Борька и называет фамилию.

– Номер квартиры? – спрашивает милиционер и смотрит в лиск. Борька толкает в бок: «Видал?!»

Под лестницей – спуск в бомбоубежище. Темная его впадина с шипением искрится. Рабочий прилаживает у входа решетку.

– Колянч, – кричат снизу, – проводку надо менять!

Мимо с кряхтеньем волокут мотки проводов, новенький электродвижок, он в масле и зеленый.

– Дядя, у вас воскресник? – с невинным видом задает вопрос Борька.

– Много будешь знать – скоро состаришься, – хмуро отвечает дядя и с силой бьет молотом. Старая дощатая дверь, пискнув, падает, открывая взору решетку, – она упиралась в стены. Вход в полевой штаб строго воспрещен.

– Видал?! – торжествующе вскричал Борька. – А я что говорил! Они там настоящий бункер делают!

– А-а, – разочарованно мычу. – Значит, вправду ремонт...

– Много ты понимаешь! Ящики заносили, видал? – пыхтит друг. – Это и есть золотой запас! Слитки, понял?

Как же я сразу не догадался! На этот раз мы возьмем два фонаря и много-много спичек. Хотя зачем? В бомбоубежище теперь будет свет.

– Гм... – читает мои мысли Борька и чешет затылок. – Вопрос в том, как туда попасть...

Я гляжу на милиционера у подъезда, на новую решетку бетонного дота, и золотой блеск нашего открытия тускнеет. У барака выбивают половики. В коляске плачет ребенок. За сараями пилят дрова. Завтра в школу. «Мамаюкэру!..» – шепчу в тоске.

## **12 час. 00 мин. Страсти на чердаке**

*Я иду по Уругваю-ю,*

*Ночь – хоть выколи глаза-а,*

*Слышны крики: «Раздиваю-ют!»*

*Дэ-эвушку на полчаса!*

Знакомый сопляк – руки в брюки – голосит с блатным подвывом. И не один. Ему подвывает пегая дворняга с короткими и кривыми ногами. Ну, как у Батисты. И где он откопал такую уродину?

– У нее в родове такса была... – обиженно сопит этот шкет. – Честное октябрятское!

«Такса» косит глазом, задирает верхнюю губу – рычит. Тоже обижается за предков.

– А нас возьмете? – просительно морщит нос малолетка. Под носом у него грязно. – Она и след берет.

«Такса» уставилась черными пуговками, виляет хвостом.

– Девчонок не берем! – объявляю этой уродине. Псина рычит.

– А у меня граната есть. Сам делал! – выкладывает последний козырь сопленик.

Ну-ка, ну-ка... Это уже ближе к делу.

– Айда за поленницу!

За поленницей он показывает бутылочку с завинчивающейся пробкой, в ней вода. Из другого кармана выгребает голубоватые комья, сыпет в бутылочку, завинчивает пробку и бежит за угол. «Такса» берет след хозяина. Я успеваю залечь. «Граната», поклокотав, лопается со звоном: «П-пах!» Стекланные осколки летят над головой, горошинами стучат о дрова. Этот фокус нам известен. Но где этот шкет добыл карбид?

– Ну как? – сплевывает сквозь зубы террорист-одиночка и подтягивает штаны. – Зауда как драпане-ет!..

Я с достоинством отряхиваюсь. «Такса» лает. Оказывается, карбид недавно сгрузили у бомбоубежища. Найти склянки на заднем дворе аптеки и отвлечь милиционера от карбида – пара пустяков.

Спешу, переполненный новостями. И сталкиваюсь с Максимом Малановичем. Лицом к лицу – роста он невеликого, зато пахнет дорогим одеколоном. И у такого коротышки – дочь Рада, стройная, как тополек. «В мать», – грустно говорит Максим Маланович. Он вдовец. Справедливости ради, скажу – приятный человек. Здоровается первым.

– Здравствуй, здравствуй, Аюр, – торопливо подает руку отец Рады.

У мамы ладонь и то крепче. – Как мама? Береги ее...

Что это с ним? Обычно Максим Маланович – сама степенность. Любит поговорить. С мамой, например, может беседовать часами. Мама больше молчит – слушает.

– Я на работу, – стеклышки очков тревожно блестят. В воскресенье – на работу? Максим Маланович поправляет очки. – Но я зайду, непременно зайду...

Куда он денется! Уже и соседи шушукуются...

Собачий лай отвлек от раздумий. Между прочим, нюх у нашего участкового, как у таксы. Не добрался бы до тайника с оружием! Уже,

наверное, караулит чердачный люк. Решаю лезть в штаб по пожарной лестнице. Оттуда участковый меня не достанет.

– Я с тобой! – хватает за штанину хозяин «таксы». Собака виляет хвостом.

– А ну, брысь! Оба! – отдергиваю ногу, подпрыгиваю и цепляюсь голыми руками за поручни. Они мокрые от растаявшего инея. Холод железа пронзает грудь.

Одолев уровень третьего этажа, чувствую, что выстуженная за ночь лестница превращает меня в Кая – ледяного мальчика из сказки. Руки ноют до плеч, пальцев не ощущаю вовсе. Сверху наш двор предстает во всей красе. Горы шлака у кочегарки, грязные проплешины, бурые крыши барака и сараев... Ветер усилился. Понизу полощется белье, с тополя срываются последние листья, низко гудит лестница...

Лысая подошва скользит по влажной перекладине, и я зависаю на руках. Вот что испытывает червяк на крючке!.. Двор кружится, кружится, сараи встают на дыбы, полоска горизонта гнется коромыслом... Эй, бог, если ты есть, помоги! Мама, Рада, пацаны-ы! Будь прокляты эти военные игры! Хочу жить... Жить! Мама-а!

На помощь пришла не мама, не бог – закалка «барбудос». Не зря, ох, не зря наш команданте заставлял подтягиваться на перекладине до боли в животе. Превозмогая ее, тянусь вверх, ботинок упирается в твердь... Жив! Вива Куба!

Лицо в слезах, но кто это видел?! Грудь ходит ходуном, в глазах – желтые кольца. Мертвой хваткой – за стылое железо. Отдыхаю напротив большого окна. Крашенная хозяйка кормит грудью дитя, лицо ее светится...

Еще дрожат руки, но сердце стучит ровнее. Сажу на крыше, пью воздух как лимонад. И не могу напиться. Вкусно! Скулы щиплет ветерок. До чего же вкусно жить! Радоваться рыжему солнцу, серому небу, воркующим голубям, мороженому, улыбкам девчонок, шуткам пацанов, каникулам и запаху тающего снега... Буду взрослым и добрым, заведу детей и остроносые ботинки (нет, сперва ботинки), а мама никогда не умрет. «Бом! Бомм!» – гудит в груди колокол.

Внизу не слышат! – стирают, варят обеды, нянчат детей, скандалят, пьют водку, говорят о ценах и колбасе. За колокольной – горы, пепельные их шапки сливаются с небом, по которому быстро и неслышно летят птицы и облака. И хочется коснуться их руками... Во дворе копошатся фигурки, такие одинокие!..

12.00. Солнечный коготок царапнул бровь, я смаргиваю капельку влаги. Тиканье часов возвращает меня с облаков на пыльный чердак. А если там притаился Батиста?

Стараюсь не греметь ботинками о железо. У смотрового окна замираю от голоса, чистого и звонкого. Это ее голос. Но что она делает в штабе «барбудос»?

– А здесь ничего... Даже уютно. Это и есть ваш штаб?

Я распластался на крыше, лежу тихо. Слышу собственное дыхание.

– Зачем пришла? Тебе нельзя, – ломкий басок команданте узнал бы из тысячи.

– Какой строгий! Играете в свою войну, да?

– Тебе-то что? Уходи!

– Это приказ? – фырканье.

– Если хочешь – да.

– Я же не солдат... – Короткий смешок. – О, не гневайтесь, команданте... Я правильно сказала?

Сопенье – команданте думает.

– Тебе, наверное, кажется, мальчишеская дурь...

– Угадал. Так мне и кажется.

– Мы за правду боремся... Тебе не понять.

– Где уж мне! И во имя правды разбиваете друг другу носы?

– Не поймешь. Девчонка ты. Кончен разговор.

– Ну, надо же нам поговорить. Хватит бегать друг от дружки и презрительно фыркать при встрече. Я ведь тебе нравлюсь, правда?

– Вот еще! Совсем не нравишься!

– Но и не кусаюсь...

Тихий смех. Шелест болоневой курточки.

– Не говори так... Я не маленький.

Скрипит шлак. Смешок.

– Опять убегаешь? Подойди, не бойся.

– Вот еще! Чего ты хочешь?

Я представляю, как Хромой Батор меняется в лице.

– Поцелуемся? Для начала, мм?

Хихиканье. Не верю ушам своим. И это говорит Рада! Умница, паинька, круглая отличница.

Долгая невыносимая пауза. Ни звука. Лишь воркуют голуби, внизу слабо гавкает собака, и воет в трубе ветер. Я вспотел. Черт возьми, да целуйтесь вы скорее! Шуршит болоневая курточка. Кончится эта



пытка или нет?! Я готов застрелить обоих из пистолета мелкого калибра!

Раздается плач. Банальный девчачий плач.

– Ты... ты... – задыхается Хромой Батор. – Ты бесстыжая... Так нельзя... Если по правде – ты мне нравишься... Но ведь девчонка еще... Так нельзя, понимаешь?

– А когда будет можно? На том свете?! – зло кричит Рада. Рада ли?

– Мы могли бы дружить... – неуверенно бурчит команданте.

– Нужны вы со своей дружбой! Играете в свои игры... Проснись, команданте! Мы все умрем! Умрем!

Я чуть не скатился с крыши. Что эта девчонка себе позволяет?

– Что случилось? Скажи толком!

Плач пресекается: девчонку трясут за плечи.

– Твой отец приходил... ночью... – давится слезами Рада. – На кухне сидели... с папой... Говорили ужасные вещи... про атомную бомбу... С-страшно... У-у!

– Не плачь. Тебе, наверное, померещилось. Со сна.

– Не говори со мной как с маленькой! Иду по улицам... Люди смеются, мороженое едят, с детьми, колясками... Думала, притворяются. Может, так надо... Чтобы без паники... Я тоже притворялась. С самого утра... Улыбаюсь, улыбаюсь, аж скулы болят... И мамы нету! Папе не говорю... Не любит, когда подслушивают...

По-моему, я краснею. Ну и положеньице! Не затыкать же уши! И когда они кончат слезы лить?

– Красивая, умная... Не целовалась еще... Ничего, ничего не знаю... Любовь, дети, зачем это?.. Я никому не сделала плохого. Почему, почему я должна умирать?.. Папа куртку купи-и-ил... Болоневую-ю!.. О! А вдруг она взорвется? О! О!

– Что? Что взорвется? Говори толком!

– Бом... Бом... Бомба-а-а!.. – залилась в три ручья девчонка.

Эта истерика уже действует на нервы. Рада с каждым словом нравится меньше и меньше. Могу поспорить, что у нее покраснел нос.

– Тебе померещилось, приснилось... – убежденно басит Хромой Батор. – Ну, хочешь, у отца спрошу?

Плач стихает.

– Скажи, – сморкается в платочек плакса, – когда с кочегарки прыгал, страшно было? Только честно...

– Откуда знаешь? А вообще-то – да. Страшно.

– Но ведь ты мог разбиться!  
– Не знаю. Не думал как-то. Хотел доказать... Себе самому. Дурак, в общем.

– Извини...

Молчание.

– Скажи, отчего колокольня у реки без колокола?

– Н-не знаю. Чо это ты вдруг – про колокол?

– Так... Хочу услышать. Никогда не слышала колокол... Хотя бы точку, а?

– Успокоилась? Иди домой. И забудь, как страшный сон.

В ответ невнятный писк. Шурушение болоневой курточки, скрип шагов, хлопок люка. Фу, ушли... Ромео и Джульетта – чердачный вариант. И команданте тоже хорош. «Давай дружить!» Расскажи кому – не поверят.

Влезаю через окно, разминаю затекшую ногу. На чердаке без изменений. Дымные полосы света. Под ботинком пружинит шлак. Улыбки Гагарина и Фиделя. Разноцветная карта боевых действий зовет на подвиги.

Проверяю тайник. Батиста до него не добрался. Пистолет, два патрона. Чего тут болтала эта истеричка? «Мы все умрем!» Кинокомедия! Театр юного зрителя!

Так и подмывает пальнуть из мелкокалиберного пистолета в белый свет!

## **12 час. 44 мин. За Удой-рекой**

Мой Боливар на полном скаку налетел на мину – экая досада! Случилось это по милости труса Борьки. Упросил-таки проводить его до парикмахерской. Рассказал, что отец забыл дома термос и бутерброды. И изобразил сцену в лицах.

«Как муха на мед!.. Все мужики мужиками, по воскресеньям с семьей, с детьми, а он!..» – кричала Борькина мать тетя Зина – высокая, с мушкетерскими усами. «Работа такая, Зина. Желание клиента – закон...» – вяло оборонялся Семен Самуилович. «Старый козел!»

И так далее... Тут не только термос забудешь – голову.

В пылу погони за расстроенным дамским парикмахером я наступил на яблоко конского навоза, шмякнулся на мостовую и едва

не выронил из кармана пистолет. Если бы не Борька – Боливар целый-невредимый стоял бы на привязи.

Закавыка в том, что парикмахерская на том берегу реки. Встреча с противником в одиночку, да еще на его территории, чревата потерями – термоса, мелочи до рубля и выше, а главное, синяками и разного рода унижениями... Даже описывать их не хочется.

Глядя на несчастное Борькино лицо, я согласился. Ну и дурак! При падении подошва левого ботинка оторвалась и «просила каши». К тому же зазеленил штанину. Боливар обернулся ишаком. Борька, склонившись надо мной, предложил хлебнуть из термоса. Тоже мне, сестра милосердия!

Нейтралку проскакали без звона копыт. Я поневоле подражал команданте: хромал, загребая рваной подошвой мусор. Борька виновато трусил сзади. Река ехидно журчала под мостом. Друг отставал больше и больше. Я тоже сбавил ход. Начинались владения заудинской шпаны.

Двигались кружным путем, короткими перебежками. Зауда – деревня в городе. Заборы, квохтанье кур, огородики, цепные собаки, избы со ставнями, баньки, стайки... Пыльные кривые улочки, лавочки, заваulinки. Обходили их стороной, шарахались от звуков гитары и огородами вышли к парикмахерской. Красный флаг, высокое крыльцо, дверь на мощной рессоре, фикус в кадке – чинно, благородно.

В тесном коридоре томились женщины разного возраста и толщины. В воздухе разливалась сладость – одуреть можно. Борька прямоком шагнул в зал. Семен Самуилович порхал над креслом, в котором восседала дама с золотыми серьгами и кровавым ртом. Кресло привинтили к полу – иначе огромная башня из рыжих волос по всем законам физики его опрокинула бы. Не башня – симфония. Маэстро в ослепительно белом халате взмахивал дирижерской палочкой – расческой, нашептывал, клиентка отзывалась серебряным колокольчиком. Отступал на шаг-другой, шурился загадочно, улыбался в зеркало. Дама жмурилась: «Семен Самуилович, вы волшебник...» О соседние зеркала вяло бились сонные мухи, у пустующих кресел скучали парикмахерши в желтых халатах. Очередь стремилась только к Семену Самуиловичу – лучшему дамскому мастеру города и его окрестностей.

Борька поставил на столик термос и сверток, нагло подмигнул клиентке в зеркале. Я изучал в коридоре прейскурант и об-

разцы причесок. «Полубокс», «Канадка», «Бабетта», «Улыбка»... Нежности телячьи! Спиной ощутил пристальный взгляд нескольких пар глаз. Очередь, – все на одно лицо! – морщилась и воротила носы. Я и сам почуял неладное. От штанов разило ароматом конских «яблок», в царстве красоты, видимо, особенно нестерпимо. В пасти рваного ботинка торчал окуроч. В стенном зеркале отразилась хитрая рожица с большими ушами и грязным носом. Я был неотразим.

– О, мне дурно... – закатила глазки крайняя, с напудренной бородавкой.

На помощь пришел друг: запах конюшни проник в зал. Борька, словно заправский пожарник, облил меня из ручной пневматической груши – с кепки до левого ботинка.

– Фабрика «Заря», – торжественно возвестил он и направил струю на бородавку. Очередь притихла. Борьку тут знали и побаивались.

Я утерся кепкой. Духи и конский навоз дали мерзостный результат.

Семен Самуилович расшаркивался с клиенткой. Дама трогала башню на голове, кровавым ртом изрыгала поток любезностей: «О! О!» Семен Самуилович взмахнул салфеткой и припал к ручке с кровавыми ноготками.

– Следующий! – заорал Борька.

Дверь жажнула, взвизгнула рессора, и в зал влетела Борькина мать. Усики ее шевелились. Чем-то тетя Зина напомнила моего Боливара. Наверное, фырканием. Семен Самуилович отпал от ручки с кровавыми ноготками и получил вместо платы пощечину. Дама ойкнула. Парикмахерши перестали ловить мух и ждали развития событий.

– В окне видела! – фыркала тетя Зина, грозно поводила плечами и трясла вторым подбородком. Платок сбился на литую шею.

– Зинаида! – трагически воскликнул мастер дамской прически.

– Или семья, или!.. – Борькина мать зыркнула в сторону. Очередь сидела, не шелохнувшись. В сгустившемся молчании жужжали мухи.

В этот момент хлопнула дверь, и в зеркале я увидел маму. Что ей понадобилось в дамской парикмахерской? Заметив меня, мама очень смутилась.

– А, соседка! Пожалуйста, пожалуйста, – обрадовался Семен Самуилович.

– Мимо шла... С базара... – теребила платок мама и показывала всем авоську. Она посмотрела на меня умоляюще. Я выставил правую ногу, закрывая рваный ботинок.

– Как договорились. Давно ждем... – Семен Самуилович уже снимал с мамы плащ. – Окажите честь.

– Я потом... Очередь же... – мама никак не хотела отдать авоську с картошкой.

Очередь не возражала. Семья парикмахера (кроме Борьки) улыбалась. У мамы густые черные волосы, которые она закалывает гребнем – и на работу, и в праздники.

– Такой день, такой день... – хлопотал, усаживая в кресло маму, Семен Самуилович. Она напряженно смотрела перед собой. Супруга дамского мастера резала бутерброды. Парикмахерши пили чай из термоса.

– Такой день... По высшему разряду... – взмахнул салфеткой Семен Самуилович.

Ну, заладил!.. Какой такой день? Обычное воскресенье. Довольно-таки холодное. Вдоль заборов друг за другом гнались листья. Борька брел, подталкиваемый ветром, и страдал.

– Мама же любит его! Термос, обеды, диета, лекарствами поит... И халат ему на работу стирает... Пойми их!

Я почесал под кепкой и промолчал. Руку оттягивала авоська с картошкой. Задумчивые, мы потеряли бдительность.

В 12 часов 44 минуты из-за угла выскочили трое – в кепочках с обрезанными козырьками, брюках клеш. Заудинские. Борька побежал назад, но путь преградили еще трое. Челки, наглые улыбки, и серу жуют.

– Здравствуйте, барбосы! У вас все такие пугливые?

Дикий хохот. Конопатый заводила лениво наматывает на руку солдат-ский ремень. В пятизвездную бляху запаян свинец. Борьку колотит, аж щеки трясутся. Рановато. По опыту знаю, что бить будут не сразу – сначала поупражняются в остроумии.

– Обыскать бы... – ковыряет в носу самый маленький, конопатому верзиле по плечо.

– Не к спеху, – сплевывает обильную слюну конопатый. – Они у нас пугливые шибко. Вишь, обкакались со страху-то...

Конопатый лягает мои, в «яблоках», штаны. Новый взрыв хохота.

– Эй, девочки, кто из вас так надикалонился-я? – зажав нос, гундосит заводила.

Заудинские веселятся. Мы в западне. Пустынная улочка. Заборы, заборы... Ни родни, ни милиции. Бежать? Догонят и в наказание разденут. Такое уже бывало. А у меня к тому же авоська. И Боливар не подкован на заднюю левую.

– Пацаны, айда их к Французу! – вопит кровожадный малец.

Предложение встречается с энтузиазмом. Француз – местный главарь, или, по-городскому, мазёр. Дело худо. Нас волокут в глубь нежилого дворика. Борька упирается, ему костыляют по шее.

У костра сидит Француз – мордатый парень в тельняшке и новой телогрейке. В консервных банках бурлит темное варево – чифир. Приятель разламывает ящик, что-то рассказывает Французу... Оба гогочут. Подбросив в костер дощечек, дружок оборачивается... Золотая фикса – сверк!.. Мадера? Здесь, в логове заклятых врагов! Не может быть!

Мы едва встречаемся взглядами, и приятель Француза бочком-бочком катится со двора, заматывая клешами следы. Съежился, воротник поднял. И туфельки лаковые, черный низ, белый верх. Но мало ли в городе пижонов в брюках клеш и лаковых туфлях?

– Эй, корешок, а чифирок? – пришепetyвает вслед Француз. – Как стемнеет, усек? За свалкой, поял?

Французского в мазёре маловато. Низкая челка закрывает и без того маленький лоб. Глубоко посаженные глазки, гнилые зубы и татуировки на руках. Появление кличек загадочно. Зачастую ее обладатель ей не соответствует. Вон того кровожадного мальчика, к примеру, зовут Тумбой. Но кличку еще нужно заслужить – подраться, отобрать деньги, лихо выпить, не морщась, водку, а лучше сразу сесть в колонию для несовершеннолетних. Каких кличек только нет! Бизон, Фриц, Банан, Макинтош, Валет, Сохатый, Подонок, Кабан – целый зоопарк! Хромой Батор говорит, что клички – пережиток рабовладельческого строя. Француз его ненавидит. На пальцах у мазёра наколото – «1946», год рождения. Француз старше своей стаи, в драках не участвует, сидит в своем логове и без конца пьет чифир. Хромой Батор его ненавидит.

– А! Кто к нам прище-ел! Барбосы! – обжигаясь, лакает из банки Француз. Букву «ш» произносит как «щ» – из чистого форсу.

– Угу! – выслуживается ради клички конопатый. – От моста за ними следили... Шпиены! Хитрые! В паликмахерскую зачем-то ходили... Эва, дикалону-то извели!

– Ща! – изумляется Француз. – Внутрь? Во, молодежь пошла...

Борька жалко улыбается, вот-вот хвостом завилает...

– Слушай сюда, барбосик, – ласково пришепetyвает хозяин двора. – Будешь прыгать вокруг костра и гавкать, поял, барбос?

Борька покраснел, как помидор, – колеблется.

– А, вот и картошечка! – замечает мою авоську Француз и лыбится. Зубы острые, как у грызуна. – Щас мы ее в костерчик, поял? Ув-ващ-щаю картошечку в мундире! Ну, давай ее, барбосик, давай...

Я медлю. До маминой зарплаты жить на картошке неделю.

– Фу, какие непослушные мальщики! В гости, да без подарков! А с непослушными мальщиками делают что? Правильна-а! Щлепают по мягкому месту...

Предвкушая удовольствие, заудинские хихикают. Конопатый поигрывает ремнем перед Борькиным носом, яростно шипит:

– Скидывайте штаны, ш-шпиены!

Борька громко гавкает. Синие щеки трясутся. Заудинские так и схватились за животы.

– Кайф! – цедит чифир Француз. Глазки его заплыли.

Чья-то рука тянется к авоське, а я тяну ее к себе. Локоть упирается во что-то твердое...

– Скидывайте штаны, сказано вам!

Бросаю авоську, вскидываю пистолет, оттягиваю затвор и целюсь Французу прямо в челку. Он роняет консервную банку, костер шипит.

– Убью-ю, убью-ю, всех убью-ю! – ору без остановки, забывая, что мелкокалиберный пистолет не заряжен. Да и неважно. Я действительно хочу убить. И это мгновенно поняли вокруг. Распластались по земле, кое-кто побежал петляющими скачками. Борька тоже залег. Больше всего в этот миг ненавижу себя – за каждую минуту унижения.

Темное лицо чифириста белеет. Он поднял руки и лопочет. Блатное пришепetyвание улетучилось с дымком костра.

– За что... За что... Ребята... Ребята...

Наслаждаюсь его страхом. Французова морда сереет, его дружки ползают в грязи. От удовольствия голова идет кругом.

– Вы чего, ребята? Шуток не понимаете? – выпучивает глазки мазёр. – Мир, дружба!

– «Мир, дружба»?! – подбрасывает с земли Борьку. – А ну, скидывай штаны! – Он пинает конопатого. Тот лежит ничком – притворяется мертвым. – А ну, пошли в плен! – раздувает щеки Борька. Конопатый на карачках собирает рассыпавшиеся картофелины.

Организованно покидаем территорию противника. Впереди ни жив ни мертв тащит авоську конопатый верзила, затем, сжимая в кармане пистолет, иду я, сбоку жует трофейную серу Борька. Со стороны может показаться, что три товарища возвращаются из Дома пионеров. Время от времени Борька оглядывается, насккивает на недавнего мучителя и пинается.

У моста свернули в кусты. Взятый в плен «язык» оказался болтливым, как девчонка.

– Все, все скажу, – от страха у него прибавилось конопушек.

Мы узнали, сколько человек выставит Зауда для драки, количество и вид оружия. Ремни, палки, вплоть до обреза, заряженного дробью.

– А как же уговор? – замахнулся Борька.

– Я-то причем... У вас, сказывали, пистолеты появились... У каждого второго... Разведка донесла, – покосился на дуло моего мелкокалиберного «язык» и прогнусавил с обидой: – Неправда, чо ль?

– Эх, вы! Нарушаете договор, да? – с презрением выплюнул трофейную серу Борька. – А ну, скидывай штаны!

«Нарушитель договора» п озорно расплакался. Почему-то решил, что настал его смертный час. Пижонские брюки клеш заберут, а холодный труп с камнем на шее кинут в реку.

– Братцы, братцы... – размазывал слезы конопатый верзила. – Виноват, чо ль, за Удой родился... Мамка одна... Сестра маленькая... Им дрова колоть будет некому-у...

И он замычал с неподдельным горем. Равнодушная Уда несла свинцовые воды, вспениваясь у опор моста. Сероватые льдинки шуршали о припай. Мимо, словно утопленник, проплыло бревно...

«Языка» еле успокоили – ценные сведения, мол, спасли его шкуру.

От избытка чувств конопатый пообещал не являться на драку, чем значительно ослаблял мощь неприятельского войска.

Конопатого я, невзирая на протесты Борьки, отпустил. В самом деле, разве человек виноват, что его угораздило родиться не где-нибудь в Америке, а именно за Удой?



### 13 час. 00 мин. «Петька Хуарес – маленький кубинец»

Лысина персонального пенсионера Кургузова закатилась в окне – минута в минуту. Час дня. Двор опустел. И пацанов не видно. Война – войной, а обед – обедом. Сейчас даже на колокольне никого: Зауда тоже кушать хочет.

Борька умчался докладывать команданте о ценных сведениях и собственных подвигах в тылу врага. Бойтся, что опережу и присвою лавры. Напрасно. Я так громко гавкать не умею...

Воскресный обед – то, ради чего живут люди. После рабочей шестидневки за столом – вся семья. Папа (если он имеется) трезвый и серьезный, мама не ворчит на папу, а кормит чем-нибудь вкусным. Детки уплетают конфетки и котлетки. Идет неспешная беседа. И вот что поразительно. Чего бы ни коснулся разговор: космоса, новых денег или сообщения ТАСС – он скатывается к обсуждению очередного скандала у Хохряковых.

В бараке – длинные языки и коридоры. Они уставлены сундуками, канистрами, колясками, увешаны тазами и березовыми вениками. Скрипучая лестница воняет кошками. Дружно пошумливают примусы. Вчера была суббота, а сегодня – тишина. Мир. Живем в бараке дружно. Берем взаймы и долго не отдаем. Борька – на первом этаже, Петька – через стенку. Его родители, как ни прискорбно, там же. Но и Хохряковы в воскресенье мирятся. Тогда Петьке перепадает мелочь на кино.

Я принес домой дров для маминой стирки. Пистолет положил в школьный портфель. Без стука вошел Петька Хохряков. Сейчас крикнет, что полет нормальный. Но Петька молчал. Молчал так, что расхотелось хвастаться про заудинские похождения. За плечами Окурка горбился рюкзак. Ушанка, телогрейка, валенки. Простудился, что ли?

– Курить нема? – прошептал Петька. На нем не было лица. То есть оно было, но очень уж кислое.

– Слышь, Аюр, давай уедем. Насовсем. Чес-слово!

– Насовсем? А... как же они? – я кивнул на стенку.

– Плевать! Пускай сами разбираются... Имущество делят! Устал я что-то от Хохряковых... – он потрянул рюкзаком – зазеленело. – Уже собрался... На ихнюю мелочь две буханки хлеба купил. Макароны, спички, крючки, леску... Вот токо курева нема... Давай, собирайся. Жратвы побольше и ложку. Деньжат не худо бы...

Деловито-печальный тон сбивал с толку.

– А... куда? – я малодушно благоухаю женскими духами.  
– Забыл? На Кубу, – внятно сказал Петька.  
– Так... не обедал еще... – совсем растерялся я.  
– Валяй. Токо живеи. – он, не раздеваясь, сел на табурет. Уши шапки были завязаны под подбородком.

– А как же школа? – тянул я время. Отказываться ехать на Кубу было неприлично.

– Плевать! «Куба – да, янки – нет!» – недавний дезертир был настроен решительно. – Я там и фамилию поменяю. Чес-слово! Хохряков, разве это фамилия? Курам на смех!.. Пепе Хуарес, как, звучит?

План Пепе Хуареса был прост, как валенок. Сесть на товарняк, доехать до ближайшего морского порта и забраться в трюм грузового судна. Нынче все корабли плывут на Кубу с помощью. Борька так говорил.

– А, валенки... – перехватил мой взгляд Петька. – Чтоб на товарняке не околеть... На Кубе выброшу. Сам говорил, жара. У них там заварушка намечается... Возьмут, чес-слово! Пистолет захвати и патроны. «Не посаран», понял?

Петька вспотел, но раздеваться отказывался.

– У нас же драка с заудинскими, – опомнился я. – Драпаешь? Так бы сразу и сказал!

– Ладно, тогда после драки, – поник Петька. Вздыхнул, снял ушанку и рюкзак. – Но ты все равно не забудь ложку... И крючки с поплавком...

Я грешен перед Петькой. Три урока подряд расписывал ему кубинские пальмы и мулаток. И про жару не забыл, и про рыбалку. Сказал, что в «барбудос» берут пацанов – разведчиками. Борька подтвердил. Это мы начитались книжки о «Пепе – маленьком кубинце». Очень он нам понравился... Но ехать на Кубу?! Мы уже в шестом классе – соображать надо!

Высунув язык, прибежал Борька, выпалил, что Хромого Батора нигде нет, попросил керосину и разъяснил двоечнику Петру Коминтерновичу Хохрякову, что обстановка изменилась. Корабли обходят Кубу за сто миль.

– Там у них блокада – хариус не проскочит! Газеты читать надо, понял? – Борька щелкнул неуча по лбу и умчался обедать.

– Все равно уеду! Чес-слово! Хохряковы, гады, надоели! – заплакал Петька и пнул валенком рюкзак.

### 13 час. 20 мин. Любовь и уголь

Тупо гляжу на часы, потом – на ботинок. Мама вот-вот придет. Ох, и влетит мне за драную подошву! Ботинки новые, мама купила их перед началом учебного года, отстояла очередь. И за штаны в конских «яблоках» наддаст. Зеленые разводы засохли, и штаны стоят коробом.

На плите греется кастрюлька с супом. В животе урчит. То верный Боливар ржет в предвкушении обеда. Ничего, потерпит.

Ботинок самому не починить, тогда хоть постирать штаны. Срочно! Хватаю ведра, коромысло и рысью – в кочегарку.

В кочегарке живет дядя Саня и его семья. Можно просто Саня, он не обижается. И жена на вид – девчонка. Тоненькая шея, две косички.

В просторном темном зале ровный и сильный гул. Багровыми каемками полыхают топки. Потолка – не угадать, но оттуда капает. Меж котлов сушатся пеленки. Коляска посреди большой лужи. У входа навалены уголь, тачка, лопаты. Неожиданно становится светло. Дядя Саня шурует лопатой, куча угля осыпается – огонь в топке прожорливо воеет. Красные языки лижут лицо дяди Сани. Он шурит глаз на манометр – проверяет давление. В майке, белозубый, черномазый, веселый. Мускулы перекатываются от локтей к плечам. В Доме Специалистов не нарадуются на кочегара.

«Служил на флоте – красивый вроде!» – смеется дядя Саня. Он всегда смеется.

Я огибаю лужу, звякаю ведрами.

– Га, Юрка! – кричит хозяин кочегарки, роняет лопату и приотпыывает на угольной крошке. – Юрка-Аюрка, где твоя тужурка? А наши Даши просят каши!

Он тормозит меня и уводит за фанерную перегородку. Здесь светло, сухо. Под ногами – опилки. За столом сидит жена дяди Сани и кормит из ложечки дочку. В каморке две железные кровати, шкафчик с посудой и игрушками. В закутке пристроена ванночка, из крана капает горячая вода. Трубы, трубы... Они оплетают каморку, словно змеи. «Зато тепло», – говорит дядя Саня. Одна беда – нет окон. Хотел дядя Саня пробить дыру, вынул пару кирпичей, да староста Кургузов увидел из своего окна и написал куда следует.

– Кушай, Дарима, кушай... – упрасивает мама дочку. На кого та похожа – не понять. Глазки раскосые, черные – в маму, нос и губки – в каше, но вроде папины.

Появление их в нашем дворе – роман! Жили в соседних селах парень и девушка. Дядя Саня или просто Саня – в семейской деревне, Бальжид – в улусе. Надумали они жениться, да родители ни того, ни другой позволения не дали. Дядя Саня умыкнул невесту, скрывались они от погони в лесах и горах, кажется, чуть не замерзли. Бальжид пытались заточить в темницу, дядя Саня угодил в больницу. Или наоборот. Короче, их проклинали. Влюбленные бежали в город, женились и отгородили угол в кочегарке. Вот вам и роман, товарищ Вальтер Скотт!

Даша-Дарима капризничает, плюется кашей, выскальзывает из-за стола и колобком катится к пышущему жаром котлу. Ее заинтересовала багровая каемка и она хочет ее потрогать. Дядя Саня поймал дочку на полпути... Бальжид побледнела, испугалась.

– Ничего! Главное, не зевать! – подбрасывает дочурку папа. – Нам бы перезимовать!

Даша-Дарима захлебывается от смеха.

– Оставь ее, ты же грязный... – в черных зрачках горят искорки смеха.

Моя мама носит в кочегарку овощи с базара – витамины для девочки, а недавно связала ей теплые носки.

– Что новенького, Юрк? – вскользь спрашивает дядя Саня. Лицо его тревожно.

Я вздыхаю. Дядя Саня отворачивается. Семья кочегара не имеет адреса, а потому ждет письмо из деревни на наш дом. Девочке нужно окно...

Дядя Саня наливает в ведра горячую воду. Цепляю их коромыслом.

– Юрка-Аюрка, где твоя тужурка? – смеется дядя Саня. Он всегда смеется. На веселых лицах папы и дочки угольная пыль.

### **13 час. 38 мин. «Ландыши, ландыши...»**

Я знал, что мама красивая. Но что с ней сделал Семен Самуилович!..

От неожиданности пролил горячую воду и ахнул.

Мама улыбалась. Иссиня-черные локоны свивались в корону. Мама будто подросла. Лицо прояснилось, побелело и куда-то исчезли морщинки у глаз. Глаза ее сияли!

Рваный ботинок и вымазанные штаны не видит в упор!

– Ну, ты у нас невеста... – наконец выдыхаю я.

Мама краснеет, как девчонка. И в мою душу западает подозрение...

– Воды принес, горячая...

– Стирка отменяется! Ой, что это я сижу... Который час?

– Полвторого, – бросаю взгляд на часы «Победа».

Мама ойкает, бежит по комнате. Даже не спросила, откуда у сына ручные часы!

Меня заставляют умыться, почистить зубы, причесаться, надеть чистую рубашу, школьные брюки и тапочки. Н-да.. Если мама невеста, то я жених. Чудеса продолжаются. На белой скатерти возникают ваза с яблоками, копченая колбаса, банка шпротов и – держите меня! – бутылка шампанского.

Мама уносит горячую кастрюльку за шифоньер, переодевается в свое любимое платье.

– Ну как? – смущенно поправляет она прическу. Розовый бант приколот брошкой. На ногах – туфли на высоком каблуке.

– Полет нормальный! – цокаю языком и показываю большой палец. От мамы пахнет духами. Я раздул ноздри: – Фабрика «Заря»!

– Откуда знаешь? – смеется мама. Ого! У ней и ногти красные.

– Дали премию? План – досрочно? Деньги за облигацию? А может...

Нутро обмирает холодом: а может, отец?.. Он исчез в год моего рождения. Исчез бесследно – все, что о нем знаю.

– Не переживай, – посерьезнела мама. – Он хороший человек... Ты сядь, сядь. Поговорим... Максим Маланович сделал мне предложение. Еще месяц назад. Но без тебя я не могу... Ты уже большой...

Ясно, не маленький! Даром, что ли, Максим Маланович ходит с мамой в кино. Продолжается это полгода – на радость сплетникам и бабкам на лавочке. Однажды Максим Маланович заявился в барак с букетом. Коминтерн Палыч, как увидел в коридоре цветы, так от возмущения полез драться.

– У дочери он уже спросил... – тербит край скатерти мама.

Интересно, кем я буду Раде? Братом? Подружкой? Вечерами она станет делиться своими любовными переживаниями... Пытка вре-

мен инквизиции. А когда Хромой Батор на ней женится, буду посаженным отцом. Вернее, посаженным дураком... Эх, почему я не уехал с Пепе Хохряковым! Разбирались бы в этих женитьбах без меня...

– Не хочешь, так и скажи, – не смеет поднять глаз мама. – Я пойму...

Эх, мама... Что тут понимать, когда шампанское на столе! Совет да любовь.

Мама чмокает меня в лоб и снимает с шифоньера довоенный патефон. От него клубится пыль. А вдруг патефон не работает, столько лет прошло... Мама волнуется и просит проверить. Пластинки ей дала тетя Зина. Я покрутил ручку.

Ландыши, ландыши, светлого мая приве-ет...

– полузадушенно сипит патефон. Э, песенка не по сезону!

И хорошее настроение не покинет больше вас!..

В патефоне что-то щелкает, хрипит, но песня – что надо. Хорошего настроения мне как раз не хватает. Мама подпевает и расставляет тарелки. Она помолодела и наконец-то разогнулась. Любит она этого коротышку, что ли?

Максим Маланович работает в конторе, имеет дело с бумагами. Коминтерн Палыч ругает его «интеллихентом» и другими нехорошими словами. Невзлюбил с первой же встречи. Максим Маланович по своему обыкновению поздоровался первым и спросил про здоровье. А Коминтерн Палыч был с похмелья... «Ах ты, интеллихент паршивый, издеваться, да? Над рабочим классом?! – бушевал сосед и рвал на себе майку. – Да ты знаешь, кто я таков? Ефрейтор Хохряков – полковая разведка! А ты, гнида, в тылу сидел и бумагу марал! Мало вас извели...»

Мужики с нашего барака насилу уняли.

Коминтерн Палыч вбил себе в голову, что гость ходит к нам по воскресеньям с дальним прицелом. А именно – выпить чекушку водки, которую он приобрел «на свои кровные». После трудовой недели Хохряков закупает две бутылки и одну маленькую. Ее он отдает маме, потому как на себя не надеется, а наутро заявляется поправить здоровье.

Но хватит о соседи. В дверь стучат – и входит Максим Маланович. Без цветов. Здоровается с мамой, жмет мне руку и протирает очки. Вид шампанского приводит его в растерянность. Он явно не ожидал такого приема.

– Твоя мама сегодня красивая, – выдавливает дорогой гость.

Мама улыбается и поправляет прическу. Стою истуканом – вымытый, причесанный, в отутюженных брючках и с отвращением изображаю пай-мальчика. Новая прическа и туфли на высоком каблуке делают маму заметно выше гостя. Жених!.. Не мог на цветы разориться! Интересно, как будет целовать маму – на цыпочках или подставит скамеечку?

Кажется, я ревную. И теперь хорошо понимаю супругу Семена Самуиловича.

А, вот и они. Тетя Зина врывается с большим свертком, несмело wpły- вает Семен Самуилович, в руках у него цветы. Молодец дамский мастер!

– Ап! – жестом фокусника тетя Зина ставит на стол бутылку марочного вина. Полное лицо ее сильно напудрено. – Я извиняюсь!

– Поздравляем... – Семен Самуилович вручает цветы и целует маме руку.

– Ах ты, дамский негодник! – грозит пальцем его жена и трясет вторым подбородком – смеется.

Максим Маланович хочет сказать, но ему не дают – тетя Зина прижимает его к своей необъятной груди. По маминому сигналу ставлю пластинку и завожу патефон.

*Ландыши, ландыши, светлого мая приве-ет...*

*Ландыши, ландыши, белый буке-ет!*

Тьфу, опять не та!

Подрагивая усиками, тетя Зина распечатала шампанское. 13.38. В потолок летит пробка, шампанское льется рекой. Звон бокалов, всеобщее оживление. Шампанского мне не налили, скупердяи. Максим Маланович порывается встать. Я пью лимонад и жую колбасу.

– Нуте, так сказать, с помолвкой, я извиняюсь! – зычно кричит жена парикмахера.

– Молодые люди, молодые люди! – часто-часто заморгал Семен Самуилович.

Максим Маланович решительно встал, протер очки. Он волновался. Тетя Зина постучала вилкой по бокалу.

– Прошу меня выслушать. Я... – жених осекся. – Я прошу прощения... Никакой, так сказать, помолвки не будет. Я не имею права... Обстоятельства выше нас, понимаете...

Жених снял очки и близоруко огляделся.

– Это невозможно понять! Мир сошел с ума! – в его голосе было отчаяние.

За столом воцарилась тишина. «Ландыши, ландыши...» – хрипел патефон.

– Тэ-эк-с... – протянула тетя Зина. – Это что же получается? Муж с работы отпросился, я стирку бросила, цветы на рупь, подарок – десять рэ, вино марочное – три рэ. И все – новыми деньгами... Это кто же сошел с ума, я извиняюсь?

– Вы меня неправильно поняли! – протянул руку Максим Маланович. – Человечество стоит у черты... Там, на Кубе...

– Мы вас правильно поняли! Нечего было одинокой женщине мозги пудрить! Да весь барак подпишется... Я извиняюсь! Хошь бы ребенка постеснялись! А еще интеллигентный человек!

– Зинаида, если ты не против, – я на работу... – прошептал парикмахер.

– Ты-то хошь помолчал бы! У людей черт-те что, а он со своими бабами!

И Борькины родители, переругиваясь, уволокли подарок, цветы и бутылку вина.

Патефон равномерно щелкал – пластинка кончилась.

– Мне уйти? – усмехнулся я.

Максим Маланович благодарно кивнул.

– Никуда он не пойдет, – сухо сказала мама. – У меня от сына нет секретов.

Я дожевал колбасу и принялся за шпроты.

– Хорошо, – покорно сказал Максим Маланович. Подавил глазницы. – Не спал ночь... Пошел на работу. Никаких известий... Хуже нет, чем сидеть и ждать. Происходит непонятное... Как в дурном сне. Иногда кажется, что это не со мной, не с нами... За детей страшно! Они-то в чем виноваты? Это катастрофа!..

– Я понимаю, – кусая губы, прошептала мама.

– Там, на Кубе... – с усилием произнес гость.

– При чем здесь Куба? – опустила уголок рта мама.

Я посадил на брюки жирную каплю. Ничего не понимаю! Максим Маланович говорит загадками. Не хочешь жениться – так и скажи. Невелика потеря!

– Скажите, месяц назад, когда вы делали предложение, все было



иначе? – мама сидела за столом неестественно прямо и теребила край скатерти.

– Именно так! – с отчаянием заговорил коротышка. – Все изменилось! Была надежда... Собственно, она и сегодня с нами... Подождем хотя бы месяц... неделю... Мир сошел с ума! Нильс Бор предупреждал...

– Уходите, – мама встала.

– Я люблю вас, – глухо сказал коротышка.

Мама рассмеялась. Я хмыкнул. За стенкой что-то упало, раздался вопль, звон посуды. Я макнул корочкой в рыбный соус. За стенкой еще раз взвизгнули, и в дверь, кудахтая, влетела Хохрячиха – простоволосая и босая.

– А-а, убивают, убивают, а-а! – одутловатое лицо соседки было смято ужасом, к рваному на груди халату она прижимала золоченые ложки. Под глазом наливался синяк.

В дверь просунулась лохматая голова Коминтерна Палыча. Порог он перешагнуть не смел – из уважения к маме.

– А ну, выдь в калидор! Выдь, я сказал!

– Не выйду! Душегуб! – Хохрячиха уцепилась за плечо Максима Малановича.

– А-а, интеллихенция тута! Славно, славно! Шампаньское лакаем? Приятного аппетита... Во, ты за его выходи, он богатый! В тылу нахал! – сосед разразился квакающим смехом.

– Слушайте, вы! – побледнел Максим Маланович. – Научитесь разговаривать с женщиной! Это во-первых. Во-вторых, я воевал с первого дня, впрочем, это неважно... Подите вон или я вас застрелю как паникера, как... бешеную собаку!

– Ты чего, чего... – попятился в коридор Коминтерн Палыч и сел на сундук. Со стены с грохотом упал таз.

Максим Маланович поклонился и вышел.

– Ни часу, ни минуты! – ревела Хохрячиха. – Гиря до полу дошла!

Мама сорвала брошь, разворошила бант и чудо-прическу, выпила шампанского. Оно выдохлось (я под шумок попробовал). Кислятина!

Хохрячиха поджимала босые ноги, но выйти в коридор боялась, прятала золоченые ложки за пазуху. Я пошел на разведку.

Коминтерн Палыч храпел, обняв березовый веник. Голые пятки свешивались с сундука.

Петька сидел на полу посреди разворошенной комнаты. Громадные узлы, разобранные кровати, битая посуда, батарея пустых бу-

тылок. Облитый томатным соусом кот Лаврентий доедал на столе остатки трапезы.

Хохряковы делили имущество. Поначалу все было благородно. Даже выпили «на прощание». Петьку заставили писать в школьной тетрадке, кому что причитается. Буря случилась, когда опись дошла до золотых ложек. Хохрячиха утверждала, будто на свадьбу их подарила ее родня, Коминтерн Палыч – обратное... Даже коту Лаврентию досталось.

На Петькино имущество никто не претендовал. Оно было на нем. Рюкзак, валенки. Слезы у Хохрякова-младшего высохли. Я дал ему яблоко со «свадебного» стола. Петька сгрыз его, булькая от злости.

– Развожусь! С обоими! – выплюнул семечко. – Чес-слово!

Дома влетело за рванный ботинок и вымазанные штаны. Я потрогал ухо и шмыгнул носом. Мама тут же обняла, расплакалась, как девчонка.

Я завел патефон. Когда-то его купил отец. Отстукал ногой ритм и подхватил припев:

«Ландыши, ландыши, светлого мая приве-ет...»

#### **14 час. 22 мин. Странные вопросы**

Воскресная баня – то, ради чего живут люди. Ходят, как в культпоход – семьями. С утра только и разговоров: занять бы половчее очередь и успеть купить веник. Торжественно гладится смена белья и раздается мелочь на пиво и крем-соду. Пусть объявят конец света – березовый веник вам не уступят.

Мама взялась за портфель. С ним я хожу и в школу, и в баню.

– Я сам! – вовремя накрыл пистолет стопкой чистого белья. Поверх бросил полотенце и мыло с мочалкой. Почистил кирзовые сапоги. Глупо мыть голову перед дракой, но отказаться идти в баню – вызвать подозрения.

– К Батору зайду, мама! – взмахнул портфелем.

Хромой Батор давно просил сходить с ним в баню, хотя у него дома горячая вода и ванна.

Мама успокоилась и принялась за стирку.

Староста Кургузов сыто лоснился в окне. У подъезда Дома Специалистов стояла холеная «Волга» – серебрился олененок на капоте. Водитель спал, раскрыв рот. На лестничной клетке у обитой черной

кожей двери я поколебался. Хромой Батор не любит, когда к нему заходят пацаны из барака. Я поелозил сапогами о половики и подавил кнопку.

Открыла бабушка – суетливая, горбатенькая, с печеным личиком. Она у них вроде домработницы.

– Уезжает он, уезжает! – махнула она ручкой и хотела закрыть дверь.

– Ко мне? Пусти, бабушка, – ломкий басок команданте не терпел возражений.

Я вошел и понял свое ничтожество. Высокие потолки, широкие окна, начищенный паркет и обилие комнат напомнили школу. Все добротно, крепко – двери в два проема, лепные узоры поверху, осанистые кресла. Оленья морда у входа угрожающе кренится ветвистыми рогами, удерживая толстое кожаное пальто на атласной подкладке. Оно источает запах табака и парикмахерской.

Я стянул сапоги, ступил на ковровую дорожку и в тот же миг почувал себя плохим школяром.

– Тебя нигде нету... – прошептал я.

– Говори нормально, – нахмурился команданте.

– Есть ценные сведения, – чуть громче сказал я. Команданте оглянулся, сделал знак: «Потом, потом...»

– В баню пойдешь?

– В баню? Это идея!

– Ох, рассекретничались! – проворчала, выглянув из кухни, бабушка.

– Батор, я долго буду ждать? – донеслось из полуоткрытой двери. Ого! Голос построже, чем у директора школы. Отец Батора дома! Он не сделал мне ничего плохого, наоборот, однажды погладил по голове и подарил автоматическую ручку, которая не делала клякс. Ручку я проиграл в «махнем не глядя», но воспоминание о тяжелой ладони до сего времени – 14.22. – стягивает кожу на затылке.

– Обожди в моей комнате, – подтолкнул меня Хромой Батор и юркнул в дверь.

Его комната битком набита интересными вещами. Не считая книг Купера и Вальтера Скотта, на полках, столе и диване были: карманный фонарик, бинокль четырехкратного увеличения, гантели, спиннинговый набор, деревянные ножны, майорский погон, сломанная зажигалка, костяная фигурка индейца, трубка с откусанным мундшту-

ком, мятая охотничья фляга, пустые гильзы, увеличительное стекло, выжженный на березовой плашке портрет Че Гевары, том энциклопедии Брокгауза-Ефрона на букву «К». На стене – карта Центральной и Южной Америки и эспандер. Не удивительно, что Хромой Батор знал почти все и мог достать малокалиберные патроны.

Я потянулся к биноклю и уронил на пол тетрадку в клеенчатом переплете. Она раскрылась – вся в кляксах. И я нечаянно прочитал: «...изменилось все, кроме образа мыслей людей». Дальше шли собственные рассуждения владельца тетрадки.

«Вчера Б. трусил при выполнении пустякового задания (испугался собаки). В нас сидит страх. Я, например, боюсь темноты. В наказание себя пробыл без фонаря в полевом штабе (бомбоубежище). Кругом бегали крысы. Это страшнее, чем прыгнуть с кочегарки. Отец говорил, что мальчиком тоже боялся темноты. Вывод: страх передается по наследству, как цвет глаз или волос. Страху подвержены и сильные люди (см. партизанский дневник Че). Вытравить страх можно еще большим страхом».

«У них цели и способы иные. Они сильны чувством стаи. Грубая сила, клички, культ вождя (мазёра) – все оттуда... В то же время они – рабы. Могут напасть стаяй на одного. Вывод: они – зло. Уничтожать зло в пределах разумной жестокости – око за око. Всякая революция, в т. ч. кубинская, победила большой кровью – своей, но и чужой».

«А. – хороший стрелок, но мягкотел, как интеллигент. Откуда в нем это? Доказано, что мягкотелые люди особо жестоки. Вывод: только сила есть залог справедливости (см. историю франц. революции)».

«П. склонен к дурным привычкам. Дурные привычки есть следствие условий жизни. Вывод: П. не виновен. Оставить в организации».

Я перелистнул страничку. Последние записи были сделаны карандашом, буквы налезали одна на другую.

«Виноваты ли они в том, что не похожи на нас? В их глазах мы – зло...»

«Р. нравится больше и больше. Что делать? (Зачеркнуты два слова.) Ненавижу!»

«Колокольная без колокола? Вместе умирать не страшно!»

У двери завопили – я захлопнул тетрадку. В комнату вошла горбатенькая домработница с тряпкой. Вывернув головку из платка, подозрительно оглядела меня с ног до головы: не спёр ли чего?

– Ну-к выдь. Ходят тут, опосля убирай за ими...

В коридоре было прохладно. Из кухни тянуло свежей выпечкой, я видел край кафельной стенки. Дверь кабинета, за которой исчез Хромой Батор, была все так же приоткрыта. Я не знал, куда деваться от чужих слов. Ну и денек! То подглядывать, то подслушивать...

– ...кончен разговор! Хороших слов не понимаешь! Садись и уезжай. Машина у подъезда. К вечеру будешь на месте.

Отец говорил с сыном, как учитель с учеником.

– Завтра в школу, – возразили робко.

– Со школой улажено. Отдохнете друг от друга. Между прочим, мне пришлось за тебя краснеть. Да, да, не строй ухмылки! Грубишь учителям, волосы отрастил... Тебе бы еще бороду!

– Было бы неплохо! – искренне признался команданте.

– Кончай паясничать! Я не спал всю ночь... – Голос отца дрогнул. – Батор, ты мой единственный сын... Что с тобой происходит? Умный, добрый мальчик. Откуда эти «двойки», эти хулиганские замашки? Одеваешься в какое-то рванье. Я, кажется, создал тебе все условия...

– Спасибо. Не за что, – усмехнулся единственный сын.

– Как... как ты сказал?

– Я долго думал, папа... – помолчав, начал Хромой Батор. – Скажи, отчего колокольня без колокола?

– Колокольня? Ах, эта, у реки? Н-не знаю... Ты задаешь странные вопросы...

– Держись, папа. Это правда, что мы все умрем?

– Умрем?.. Кто придумал эту чушь?! – возмущился отец.

– Вы, – усмехнулся сын. – Вы. Взрослые.

– Сынок... – тихо сказал отец. – Я тебя очень прошу, уезжай в деревню. Поживешь у тети Поли, там лес, горы... Чем плохо? Ты мой единственный сын... Уезжай.

– Папа, это будет похоже на бегство. А у нас на сегодня намечена война.

– Война?.. Ох уж эти ваши игры! Дети! Если б вы знали, если б вы знали!..

– Скажи, зачем колокольня без колокола, и я уеду.

Стало тихо. Я тоже задумался. В самом деле, почему? Говорят, колокола снимали для отливки пушек. Только в какую войну? В этом или прошлом веке?

– Потому что люди больше не верят в бога, – твердо ответил отец.

– Колокольня должна быть с колоколом, – уперся сын, – иначе это не колокольня. Я долго думал, папа.

– Сынок... Ты говоришь как старик. Уезжай!

– Не могу. Я иду в баню. Меня ждет товарищ.

– В баню?! Ты с ума сошел! Я тебя никуда не пущу!

– Если непустишь, выпрыгну из машины. На ходу. Буду хромым на обе ноги... – сын засмеялся.

Паркет закрипел. Отец ходил по кабинету взад-вперед.

– Иди, – вздохнул он. – Дай-то Бог...

Я пробежал на цыпочках к входной двери, надел сапоги. Хромой Батор вышел в коридор, натянул рваный свитер.

– Ох, ох! Уже поехал, родненький! – захлопотала бабушка. – А пирог-то, пирог! Дорога дальняя...

– Я в баню, дай мыло.

– Ох, ох! В какую еще баню? С утра в ванной мылился! – вывернула из платка головку.

– Это не важно, бабушка.

Мы вышли во двор. Шофер «Волги» упал на руль – отсыпался за ночь. Увидев нас, староста Кургузов заволновался в окне, расплющил нос о стекло.

– Где ты был? Мы тебя везде искали! – с удовольствием гаркнул я во все горло.

– Товарищ заболел... Боялся один остаться... Чудной... – уклончиво бормотнул команданте.

Догадываюсь, что «товарищ» женского рода... Про чердачный разговор, ясное дело, молчок. Не сговариваясь, мы поглядели вверх... Я вздрогнул. В окне Дома Специалистов застыла маска – неживое, белое лицо. Не мигая, Рада смотрела в небо...

– Мамаюкэру, Мамаюкэру, Мамаюкэру, Мамаю!.. – знакомый шкет голосит на весь двор. Сзади плетется на кривых ногах «такса», преданно заглядывает хозяину в рот.

Я спешно докладываю команданте о пользе карбидных гранат, «языке», а также о том, что Зауда готова применить в драке обрез, заряженный дробью.

Команданте молчит, поглаживает подбородок.

Я снова и снова говорю, исходя из последних данных о противнике. На дне портфеля, как у опытного подпольщика, ждет своего часа пистолет-самопал. Страх вытравляют еще большим страхом.

Я вдруг обнаруживаю, что не боюсь драки, а жду ее со спокойствием гладиатора.

Карбид можно добыть возле бомбоубежища. Там идет ремонт. Услышав про бомбоубежище, команданте проводит по лицу рукой, будто хочет проснуться.

Во дворе – язык на плечо! – появился связной. С колокольни засекли на том берегу дымок и хлопок в кустах. Зауда сделала пробный выстрел. На мосту уже дважды возникали разведгруппы противника...

Команданте молчит.

Я уволю связного в сторонку и приказываю делать карбидные гранаты. Связной, заложив в рот пальцы, оглушительно свистит... Дребезжат стекла барака. Староста Кургузов приник лысиной к подоконнику – залег, как при артобстреле.

– А меня возьмете? – выныривает из-под руки сопливый шкет со своей «таксой». Собака виляет хвостом.

– Отстань, – говорю на ходу.

Мой Боливар спешит в баню на всех парах. В бой надо идти, смыв грязь, женские духи и сомнения. Я нетерпеливо оглянулся. Команданте сильно отстал. Он некрасиво западал на бок и с трудом подтягивал ногу, ту, что короче. Впервые я увидел, что Хромой Батор по-настоящему хромым.

### **15 час. 00 мин. «Мы будем жить при коммунизме!»**

Образцово-показательная общественная горбаня № 1 – местная достопримечательность и точка паломничества. Над двухэтажным зданием, с темными подтеками и окнами-бойницами, гордо реет алый стяг – в праздники и будни. По числу помывок на душу населения горбаня № 1 далеко опередила горбаню № 2, а по количеству посещений – драмтеатр, краеведческий музей, библиотеку, общепит, сапожную мастерскую, парикмахерские и станцию юных техников. Здесь работает коллектив коммунистического труда. Здесь добились экономии горячей воды и расширения прейскуранта. Здесь не дают пиво на вынос. Здесь воспрещен вход в женское отделение мальчикам старше шести лет.

Едва в упорной схватке одолеешь тяжеленную, на висячей гире, дверь, – на тебя выливается ушат сведений и предостережений. Вымпелы, плакаты, стенды, таблички...

Хромой Батор с непривычки вертел головой, шевелил губами. «Штраф три рэ», – разобрал он одинокую надпись на стене, вымазанной свинцовой краской.

– За что три рэ?

Отвечать на глупые вопросы было некогда. Со всех сторон напирали, толкались локтями, словно все эти дяди и тети решили поиграть в знакомую по детским годам игру под названием «жми масло». После суматошного барахтанья в людском море меня щепкой вынесло к окошечку кассы.

– Веников нет!!! – завопила в мегафон кассирша. Уши заложило.

Людская волна схлынула. Счастливые обладатели веников ринулись вверх по лестнице. Пришлось покупать мокрый веник у свежeweымытого розовощекого типа за полцены.

В предбаннике – черным-черно, но без толкотни. «Еще один!» – гнусавит за шторкой банщик в видавшем виды халате. «Еще одного» расталкивают соседи, и он, оборвав легкий сон, не веря себе, занимает тесную кабинку. Очередь парилась в верхней одежде, покашливая и всхрапывая.

15.00... С такими темпами нам не поспеть к бою.

Команданте усталился на гигантский, до потолка, стенд с трехметровым красавцем в комбинезоне и с молотом в руках.

«Моральный кодекс строителя коммунизма» утверждал, что человек человеку – друг, товарищ и брат. Строитель коммунизма обязан быть примером, хорошим семьянином, нетерпимым к проявлениям хулиганства, национализма и прочего, не пить и хорошо работать... Красавец со стенда безмятежно улыбался, здоровый румянец говорил о том, что он только что смыл все свои грехи в мужском отделении образцово-показательной общественной горбани № 1.

Хромой Батор напряженно шевелил губами...

Меня больше интересовало другое. Наискосок игриво хлопала дверка, колыхалась занавеска и на мгновение сверкала голая пятка. Сердце бухало в горле: вход в женское отделение мальчикам старше шести лет был категорически воспрещен. Я приравнен к мужчинам, но в строители коммунизма, однако, не гожусь...

Вдруг женщины загомонили. Расталкивая очередь березовым веником, к двери с криком: «Ударник комтруда!» прорвалась тетя Зина и сгнула за занавеской... Я оглянулся кругом и не заметил Се-



мена Самуиловича, мужественно сбежавшего в дамскую парикмахерскую.

– Мы будем жить при коммунизме... – ахнул Хромой Батор.

А то как же! И песня такая есть. В праздники по радио передают. Я насвистел мотив. Дяденька у двери проснулся и погрозил пальцем.

Хромой Батор продолжал изучать программу строительства коммунизма. Я мог отбарабанить ее с закрытыми глазами. Мне даже снилась магическая цифра – «1980». Цифра эта переливалась всеми цветами и была облеплена не то повидлом, не то сахаром...

Мы с команданте переглянулись: одна и та же мысль посетила наши грешные головы. На вершину коммунизма мы взберемся в тридцать лет, по сути, стариками. Если к тому времени у нас не выпадут зубы, то будем бесплатно жрать конфеты. Тридцать?.. Лучше поздно, чем никогда.

#### **16 час. 00 мин. Участковый проявляет участие, а команданте шутит**

– Пацаны, куда спешим? – окликнул нас, таких чистеньких, Батиста. Лицо его от долгого пребывания в парилке побагровело, белки глаз окровавились. Он распахнул пальто: «Уф-ф!» По усам и вискам струился пот.

Я насторожился, убрал портфель за спину – пистолет был замotan в грязное белье.

– Уф, хорошо! – воскликнул участковый.

Мы согласились. По телу разлилась истома, воздушные пузырьки заполнили каждую клеточку – впору полететь. Не пускала лишь коварная улыбка Батисты.

– Гуляем, пацаны! Воскресенье! Айда, я угощаю...

И, как мы ни упирались, завел нас в буфет при горбане № 1.

Буфет тоже был образцово-показательным. Красный вымпел гордо плыл в табачном дыму над бочками пива и мокрыми головами помытых граждан. «Не курить!», «Да здравствует 45-я годовщина Великого Октября!» – аршинные буквы осеняли чепец с брошью. Буфетчица – размалеванная и сдобная – жевала серу, не глядя, наполняла кружки пенистым напитком, одним глазком оценивала сдачу, лениво переругивалась с выпившим клиентом, хихикала в ответ на шутки другого, помоложе, и гляделась в зеркальце.

«Штраф три рэ!» – зачитал ближайшую вывеску Хромой Батор и повеселел. Голос его потонул в перезвоне стаканов и кружек – мужики с жаром обсуждали качество пара в парилке. Столики были заляпаны пивом и рыбной чешуей.

Батиста растолкал громкоголосых любителей пива. Его узнавали и давали дорогу. Буфетчица заулыбалась, поправила чепец и брошку.

Столик насухо вытерла невесть откуда взявшаяся пьяненькая старушка.

Себе участковый взял пару кружек пива, нам – по стакану крем-сода и по пирожному в виде корзинки. Мы с команданте ошарашенно переглянулись: участковый милиционер угощает пирожным! Определенно в этом мире что-то случилось – Уда пошла вспать?

– Не робей, пацаны, – Батиста одним глотком осушил кружку и вытер усы.

Нет, здесь дело нечисто! Уж больно ласково поет наш старинный враг... Я пнул под столиком ногу команданте. Хромой Батор, не морщившись, ответил тем же. На дворовом языке это означало, что в случае чего крайний должен сдать в руки милиции, а другой бежать с ценным грузом – я обхватил портфель с пистолетом покрепче.

– Товарищ участковый! – шумели с другого столика. – Просим уважить!

– В другой раз, мужики, – отшутился Батиста и сдвинул лохматые брови. – Пацаны, у меня к вам огромная просьба...

Команданте заранее побледнел – от возмущения. Ясно: сейчас будет вербовать в провокаторы-шпики. Не на тех напал! Мы одновременно отодвинули пирожные-корзинки.

– Вы чего, пацаны? Брезгаете... – огорчился Батиста. Усы повисли. – Ну, скажите, чего я вам такого сделал? За уши драл, извиняйте... Служба! Вы ж тоже не ангелочки...

– Товарищ-щ старш-шина, товарищ-щ старш-шина, – роняя на пол хлопья пены, к столику протиснулся распаренный дядька. – Что ж в-вы в-в одиночестве...

Нас он явно за людей не считал.

– Не видите, гражданин, я говорю тут с человеками, – с железной ноткой отвечал товарищ старшина.

Дядька исчез. Батиста помолчал, хлебнул пива.

– Сын у меня. Вот, как вы, и росту похожего... На улице пропадает... А в обед пришел в слезах: зачем, кричит, батя, тебя Батистой кличут? Шпана вконец задразнила... И впрямь, нехорошая прозвища. Дюже нехорошая. Вроде как и не советская... Время – то какое! Нельзя, пацаны, мне Батистой быть. Что в мире – то деется! Сын ажна в баню со мной не пошел... Он – то за что страдает, пацаны? С такой прозвищой и подыхать тошно!

И этот помирать собрался! Команданте был белее пивной пены. У столика вновь возникла старушка, пьяней прежнего.

– Э, начальник, это тебе с того столика, – прошамкала посудомойка и выставила перед ним две кружки пива. За соседним столиком засмеялись.

– Товарищ старшина, разрешите обратиться, – сказал Хромой Батор. – Зачем колокол без колокольни? Непорядок на вашем участке получается...

Участковый поперхнулся пивом. Старушка постучала начальство по спине.

– А я помню его, колокол – то... – она вытерла тряпкой пролитое пиво. – Как зазвонит вот эдак: бэ – эм – с, бэ – эм – с! – Посудомойка ото-звалась неожиданным басом. – Так душа – то и разыграет! И так хорошо – то, и так – то жить хочется... Господи!..

Старушка заплакала и припала к кружке. Батиста отобрал ее у пьяненькой посудомойки.

– Не верите вы мне, пацаны, – насутился он. Лохматые брови шевелились... – А ить я воевал. видали шрамы в парилке? Ну, сами посудите, какой я Батиста? Семья у меня, дети... Работа вредная... Ну хоть как кличьте, хоть по – собачьи, но от Батисты этого избавьте... Прошу!

– Хорошо, товарищ участковый, я постараюсь, – тряхнул чубом команданте.

Эх, видели б пацаны, как плакался нам в телогрейки участковый милиционер! Мы с чувством собственного достоинства доели пирожные и строем покинули образцово – показательный буфет.

– Бэм – с, бэм – с! – загудела вслед добрая старушка.

– Да иди ты в баню! – заорал некто свежепомытый.

– Нехристь! Чтоб ты бомбой разорвало! – живо ответила она.

У крыльца горбани № 1 шептались местные знаменитости – Гриша Гитлер Капут и Примус. Я по привычке прислушался.

– Надо помыться, дорогой, – уговаривал товарища Гриша. – Ты же давно не мылся... Ну, узнал, да, узнал?

Примус дернул грязной сивой бородкой.

– Не знаю... Ничего не знаю...

– Видал? Дураки в баню намылились! – со смешком толкнул в бок друга.

Команданте встал как вкопанный. Задумчиво погладил шрам на подбородке.

– Говорят, люди перед смертью хотят быть чистыми... Сколько сегодня народу в бане...

– О чем ты? – засмеялся я. – Какая еще смерть? Просто сегодня воскресенье! Ха!

Команданте сдвинул мое плечо. Больно так сдвинул. Мы стояли на крыльце горбани № 1, поток страждущих помыть свои грешные тела в образцово-показательном заведении не иссякал. Хлопала дверь на висячей гире, нас толкали. Ухо неожиданно оцарапали березовым веником. Команданте отвел меня в сторонку и приблизил лицо. Его волосы пахли мылом.

– Я знаю... – понизил он голос, озираясь вокруг. – Обещай, что не растрезвонишь?

– Вот еще! – буркнул я. – За кого ты меня принимаешь?

– Они... – мотнул он головой на дверь бани, – дураки тоже... они притворяются... Мы все умрем!

– Чего-о?

– Да! Да! – задыхаясь, быстро заговорил команданте. – Про бомбу слышал? Ту самую? Это все из-за Кубы.... Но ты не дрейфь. Умереть всем вместе не страшно...

Теплая капля птичьего помета упала мне на руку. Я задрал голову: под карнизом ворковали голуби. Я стряхнул каплю, пощурился на солнце и хмыкнул: ясное дело, команданте меня испытывает.

– Если ты думаешь, что я испугался этих заудинских... – сплюнул сквозь зубы.

Хромой Батор внимательно посмотрел мне в глаза.

– Ладно. Я пошутил. Не говори никому.

Ну и шуточки у нашего команданте, с ума сойти!..

### **16 час. 30 мин. «Родина или смерть!»**

В окне мячиком прыгала лысина Кургузова.

Выдающаяся личность этот Кургузов. Никто во дворе не помнил,

чтобы его выбрали старостой. Скорее всего, он сам себя назначил. Издал приказ, как только вышел на пенсию. Носил свой необъятный живот и бубнил, что он персональный пенсионер. Сражался с мелюзгой, отбирал рогатки и мячики, чтобы не били окна. Потом, видно, сообразил, что гоняться за детишками не очень солидно для старосты двора (и живот мешал), – прочно засел в окне на втором этаже. Обзор у него неплохой – как с трибуны, и Кургузов беспрерывно строчит доносы и жалобы.

Нет, не зря лысина прыгала в окне. Кургузов чуял неладное.

Покончив с домашними делами и не доучив уроки, за сараи, соблюдая конспирацию, по двое, по трое стекалась армия «барбудос»...

16.30 – общий сбор. Отсюда в походном порядке идем в бой.

В глубине двора на фоне поленниц чернели телогрейки, блестели солдатские бляхи, вился дымок. Ждали команданте...

При виде боевых товарищей мой Боливар встал на дыбы, раздул ноздри: «Вива Куба!» Хромой Батор и я подняли кулаки.

Раздался дружный смех. Пацаны нехотя расступились – в центре, оседлав чурку, покуривал Мадера. Он был в тех же пижонских лаковых туфлях и под кайфом. Пацаны глядели ему в рот.

– ...Ну, я и кричу этому фрайеру – гони башли, паскуда, а то физию попорчу! Мадеру знаешь, мол! Тю-тю, а он уж купюру сует, хе-хе! Гоп-стоп, и ваших нет! Мадеру на зоне всякий уважал.

Мадера хрюкнул и длинно сплюнул. Пацаны тоже сплюнули – в знак одобрения, засмеялись. Громче всех – Борька и Петька. Карманы их телогреек оттопыривались.

– Закуривай, братва, – щедро тряхнул пачкой «Беломора» рассказчик. К нему потянулись руки. Петька схватил две папироски, одну сунул за ухо. Задымили по новой.

– А-а, вот и наши командеры! – протянул насмешливо Мадера. Пригладил челочку, выгнул ручку, дыхнул перегаром. – Будем, значит, знакомы. Мадера, слышал?

Команданте сдержанно назвал свое имя. Это Мадере не понравилось: он ожидал возгласов.

– Ты чо, не понял? Моя кликуха Ма-де-ра! Когда в городе шорох наводил, вы еще на горшках сидели, хе... – Мадера ткнул команданте в грудь. – Да не трепыхайся, мне твою мазёрства не надо. А пацаны у тя деловые! Правильные пацаны! Но! Кого хошь замочат! Верна, братва?

Пацаны оживились, стали усиленно плевать сквозь зубы – это вроде как высший шик.

– И замочим! – крикнул Петька, он был в валенках.

– Бей Зауду! – выпучил глаза Борька. А этот засоня в честь чего раздухарился?

– Да я за родной двор!.. За Шанхай!.. Всех!.. Век воли не видать!.. – разрывал на себе телогрейку Мадера.

Пацаны загалдели: «Бей!», «Бей Зауду!», «Всех к ногтю!»

– Родина или смерть! – взмахнул я портфелем. На дне его перека-  
тились пистолет и патроны.

– Братва! – вскочил на чурку Мадера. – Они вас за падло!.. Зауд-  
да вас стрелять хочет! Как сусликов! Беспредел, в натуре! Хрена им,  
суконцам! – Мадера грязно выругался и упал с чурки. Его заботливо  
усадили на почетное место.

– Вперед, братва! – ословело брызгал слюной Мадера. – Я с вами,  
пацаны! Только свистните... Все!.. Вам ничо не будет! Бей их!

Мы заорали, засвистели, сжали кулаки. Мой Боливар заржал, уда-  
рил копытом. Борька выгреб из карманов бутылочки и начал разда-  
вать самодельные гранаты.

Кто-то сбегал к бомбоубежищу и притаранил ребристые  
прутья-арматурины. Кто-то наматывал на руку солдатский ремень.  
Все как с ума посходили. Я не узнавал Борьку – он расшиб железным  
прутом доску сарая. Залаяла собака.

Мой Боливар заржал и встал на дыбы.

Мадера, усмехаясь, медленно оглянулся на команданте и золо-  
той фиксой – сверк!.. Как фотовспышкой – щелк!.. Фотокарточка  
мгновенно проявилась и отпечаталась у меня в голове: заудинский  
дворик, костер, Француз... И Мадера! Это был он, тогда, там, в логове  
врагов!

От неожиданного открытия я чуть не свалился с Боливара.

– Слушайте! Пацаны! Мадера с заудинскими чифир пил! Он, точ-  
но! Послушайте...

Меня не слушали.

Слышишь чеканный шаг?

Это идут «барбудос»! –

взревели истошно десятки глоток.

«Куба – любовь моя!» – мысленно допел я куплет и схватил Борь-  
ку за плечо.

– Вспомни! Ну? Это был он, тогда, за Удой? Вспомни! Ну? Там еще Француз был!

– Точно! – раздул ноздри он, вращая белками. – Как он меня, а?! Барбосом, понял?! За что?! Убью-ю!!! – Борька яростно высморкался.

– Пацаны! Не слушайте Мадеру!

– Струсил, так и скажи! – кто-то больно толкнул меня в спину.

– Ты, маменькин сынок! – плевок упал у моих ног. – Можешь проваливать!

– Кто – я?! – поднял я камень. Моему примеру последовали.

Мадера мне подмигнул. Команданте стоял бледный.

«Смерть заудярам!» – пропищал знакомый шкет и подпернул штаны. В руке он с трудом удерживал булыжник. «Такса» рычала.

Размахивая прутьями и ремнями, «барбудос» с песней двинулись вперед.

Мадера что-то орал вслед. Мой Боливар закусил удила. Залаяла собака. Петька пнул «таксу».

Ничто, казалось, не могло остановить несокрушимую волю сыновей Фиделя.

Я переложил пистолет из портфеля в карман.

– Стойте! – властно крикнул команданте. Песня не сразу, но смолкла. Пацаны обернули удивленные лица. – Стойте, – повторил команданте и умолк, обдумывая слова.

– Да чего там! – шмыгнул носом Петька. – Бей гадов!

– Задницы им настегать! – надул синие щеки Борька и взмахнул ремнем.

Армия снова пришла в движение. Но команданте поднял руку.

– Пацаны! Пацаны... Идите по домам...

Не по-товарищески получалось. Между нами, мальчишками, говоря, команданте сам заварил эту кашу. На то он и команданте! Он дал мальчишеским головам и кулакам великую идею. Он внес в нашу затхлую жизнь соленый вкус опасности и воинскую дисциплину. Он разделил нас на взводы, а весь мир – на правых и неправых. При нем мы забыли, что существуют бараки, пахнущие кошками, примусы и семейные скандалы, – мы глотнули воздух острова свободы.

А теперь, когда в праведном гневe сжимаются кулаки и наши сердца бьются как одно, когда наши глотки вот-вот вытолкнут: «Веди нас, команданте!» – команданте скучным голосом просит идти по домам учить уроки.

– Пацаны! – перекрывая глухой ропот, сказал Хромой Батор. – Слушай приказ: всем разойтись, сложить оружие!

– Да чо вы слушаете этого фрайера! – очнулся на чурке Мадера. Он вскочил на нее. – Ложь и провокация! Уже в штаны наклал, ха! Зауда смеяться будет! За что срок мотал, братва? Век свободы не видать, чем ваш позор!..

Благим матом завопил Петька: окурок прижег ему пальцы.

– Сволочи! Надоели! – от нестерпимой боли у него выступили слезы, и он затопал валенками. – Жить не хочу! Чес-слово!

Петька рухнул и начал кататься по земле. Заплечный рюкзак развязался, в грязь посыпались макароны, спички, буханки хлеба, рыболовные снасти, звякнула о кружку ложка...

Никто не пытался унять Петьку – истерики у него случались и раньше. Пацаны задумчиво ковырялись в носках. Петька так же быстро успокоился, обдул с хлеба грязь, затянул рюкзак и закурил снова.

– Эх, вы! – Борька вывалил из телогрейки голубые комья карбида и пошел домой. Читать книгу или мирить родителей.

– Поиграли и хватит, – усмехнулись позади меня.

– Детское время вышло, – язвительно поддержали сбоку.

– Куба – любовь моя-я! – гнусаво пропели рядом и хихикнули.

Железный прут высек из камня искру. «Барбудос» швыряли к ногам Хромого Батора оружие. Ремни, палки, самодельные гранаты, ребристые арматурины...

– Вы чо, вы чо, братва? – растерянно лопотал Мадера. – Свихнулись, что ли?! Нас же ждут...

– Полет нормальный, – подвел итог Петька, надел рюкзак и поплелся домой.

Хромой Батор смотрел на закат и кусал губы. Налитый кровавой тяжестью диск падал на крыши домов. Синюшные тощие облака разрезали его пополам. Птицы летали низко и молча.

Повстанческая армия разбрелась доучивать уроки и ужинать. У ног бывшего команданте бугрилась гора оружия. Приказ был выполнен, но какой ценой!..

### **17 час. 19 мин. Заход солнца**

Единственный, кто ослушался приказа, – всадник на понурой кляче по прозвищу Боливар. Она еле поспевает за впередсмотрящим.



Он смешно и высоко подпрыгивает, волосы развеваются – команданте без армии, сапожник без сапог – спешит к месту боя. Удивительно, как быстро бегают хромоногие!

– Куда ты? Стой! – зажимаю карман, чтобы не выпал пистолет. Портфель бьет по ноге.

– А меня возьмете? – пищит из-под руки сопливый шкет. «Так-са» твякает. Ее хозяин размахивает рогаткой.

– Отстаньте! Оба! – рывкнул я и пришпорил свою клячу. Поровнявшись с Хромым Батором, крикнул:

– Стой! Ты куда? Игра кончена!

– Отстань! – приказывает команданте.

Я послушался приказа вторично.

Пустырь встретил настороженным молчанием. Дымились горы мусора, темные глазницы нежилого барака следили за каждым нашим шагом. Я снял с запястья часы «Победа» и протянул их законному владельцу. Он оттолкнул мою руку.

Я надел часы: что ж, игра продолжается. Гвардия умирает вместе со своим полководцем. Пусть у него нет армии, зато есть стрелок, каких мало. Я отбросил портфель, обтер о ляжку патрончик, не спеша вложил его в канал ствола, оттянул затвор. Сунул пистолет в правый карман штанов. Левая нога – вперед!

17.19. Солнце папиросными точками отразилось в зрачках команданте, – он что-то шептал, – плавно наколось на острые макушки далеких гор. Испуская дух, расплескало по горизонту бордовую нежаркую влагу... Косые тени легли на пустырь. Ветер гудел в коридорах нежилого барака, в мусорных кучах, свистел в одинокой консервной банке.

Я проследил за взглядом команданте – мусорные холмы шевелились, ожили. Оттуда, из-за свалки, должны показаться заудинские. Боливар подо мной нервничал, кусал поводья. Я натянул их, положил ладонь на рукоять пистолета и попросил Бога, чтобы оружие возмездия не дало осечки.

Хромой Батор шептал, будто разговаривал с кем-то невидимым. Глаза его сузились и слезились от порывов ветра. Волосы упали на лоб.

– А-а, они тут! – из-за мусорной кучи забелели пижонские туфли, потом зачернела долговязая фигура Мадеры. Он подмахнул клешами консервную банку, она громыхнула, и очень похоже забрежал Мадера:

– Эй ты, командир сопливый, а ну, гони своих вояк обратно! Еще не поздно, усек? Чо варезку разинул? Одна нога здесь – другая во дворе!

Хромой Батор не сдвинулся с места. Мой Боливар ударил копытом.

– Давай я... – тихо сказал. – Приказывай.

Команданте промолчал. Дымные полосы струились в свинцовое, опаленное на западе, небо...

И вдруг с шумом взлетела стая ворон, закаркала, предупреждая друг друга об опасности. В стусившихся сумерках явственно послышались голоса, топот множества ног, бряцанье и кашель...

Мадера подскочил к Хромому Батору, сверкнул фиксой.

– Да ты чо, в натуре! За дешевку продаешь?! – он толкнул его в грудь. – А ну!.. Живо!

Хромой Батор, царапая короткой ногой землю, пошел на Мадеру.

– Ты чо, ты чо, в натуре! На своих, да?! – попятился Мадера. – А я-то к тебе, как к брату! Дурак ты, поял? Какие бы дела крутили! По-шанхайски, поял? Они ж малолетки, усек, им ничо не будет! Малолетки, поял? Озолотились бы, дурень! – Мадера оступился и упал на мусорную кучу. – Ах, ты так, гнида хромоногая! Мадеру на понт! Шанхай спортил, барбос сопливый! – заверещал он. – Уйди, козел! Убью-ю!

Лица не было видно. Блеск золотой коронки и чего-то холодного, опасного...

Живот стягивает судорогой. Родина или смерть.

«Если нож – стрелять! Если нож – стрелять!» – твержу приказ, как заклинание, и дергаю, дергаю рукоятку – ствол увяз в дырявом кармане.

Хромой Батор стоит, замороженный тусклым блеском узкой полоски металла. Не отводя взора, делает шаг и загораживает спиной нарушителя закона Города.

– Назад, команданте, назад! – дуло пистолета прыгает, рукоять скользит в потных ладонях. – Буду стрелять!

Команданте медленно оборачивается, поднимает руку.

– Не!..

Собачий лай отвлек на мгновение. «Такса» юлой вертанулась у ног и взяла след. Пижонские белые туфли мелькали среди куч.

– Где он?! – обжег горячим дыханием участковый Батиста и понесся в сторону собачьего лая.

Я рванулся было в погоню, но услышал стон. Он шел от земли. Упав рядом, рукой нашарил что-то липкое...

Закаркали, вздымая мусорный ветер, черные птицы, дохнуло холодом – стало темно. Я закричал в ужасе и тоске...

Потом с заудинскими пацанами мы несли обмякшее тело команданте, потом бегали от одной телефонной будки к другой; толкаясь и спотыкаясь, старались не отстать от «Скорой». Потом Борьку не пускали в больницу, а Петька пинал валенками казенные двери, потом у кого-то из заудинских взяли нужную группу крови, потом нас долго держали в милиции и грозили, а толстый майор, побагровев, кричал, что не допустит войны до нашего совершенноголетия...

Краски, слова, запахи воскресного дня смешались... Но был момент перед тем, как захлопнулась дверца «Скорой помощи».

Команданте шевельнул запекшимися губами. Он бредил.

Я склонился над носилками.

– Я здесь, команданте! Что, что?..

Его волосы пахли мылом.

– Не стреляйте...

Он был чист.

### **00 час. 00 мин. Продолжение полета**

Полночь. Кутаюсь в одеяло, не могу заснуть – возле уха громко тикают часы «Победа».

Встаю с постели. Луна запропастилась. Стекло гнется, дребезжит от ударов ветра, приятно холодит ноющий лоб. В тусклом свете фонаря кружатся, кружатся листья. Барак кряхтит, подвывает чердаком... Тополя скребутся о карниз, по потолку и стенам гуляют дикийи тени...

Мне страшно. Верного Боливара я отпустил на волю.

Пистолет и патроны выбросил в Уду. Река поглотила их без звука и следа.

Но мне все равно страшно. Я выполнил приказ хромого безумца, но зачем-то оставил последний патрон... зачем?

Поворачиваюсь на другой бок. Надо думать о чем-нибудь хорошем.

О чем же, о чем?

Дядя Володя, он же Батиста, изловил Мадеру при помощи «таксы». Собаку кормили всем двором.

Хохряковы непонятно отчего передумали разводиться.

Семену Самуиловичу разрешили заниматься любимым ремеслом. На семейном совете Борька заявил, что пойдет в дамские парикмахеры.

К нам приходил Максим Маланович и сказал, что кризис миновал. Рада спит. Мама надела туфли на высоких каблуках.

О чем же еще?

Поздно вечером я забрел в кочегарку помыться, чтобы смыть кровь и не пугать своим видом маму. Дядя Саня и его жена купали в своей каморке дочку. Родители смеялись и брызгались водой, как маленькие. Дочка с восторгом пиялилась из ванночки...

Мне становится легче.

В окне высыпали звезды, они дрожат и будят слабые надежды.

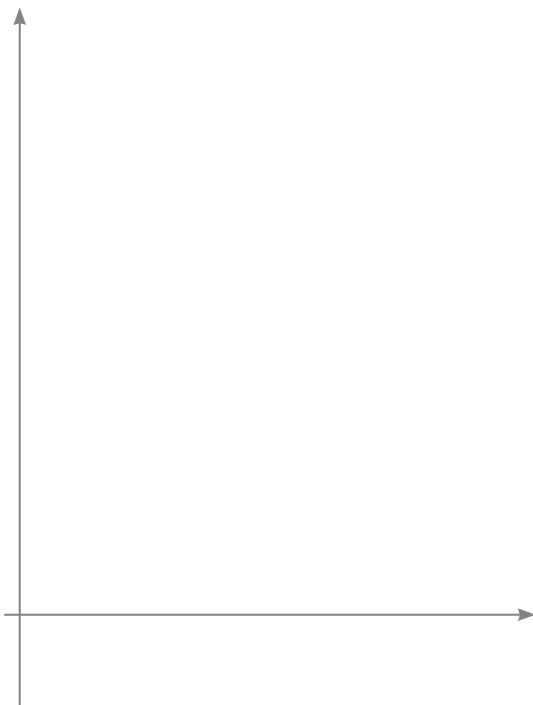
Спит мама, спят соседи, летят во сне сквозь звезды взрослые и дети, умники и дураки, добрые и злые, спят стоя деревья, кони и караул...

Отбой, земляне. Я завожу часы «Победа», кручу колесико до упора. Ночь в горах коротка. А утром – в школу.

Я зарываюсь лицом в подушку и чудится мне – нет, нет, я слышу! – как нежно и печально звонит от реки колокол...

# ПРОПАВШИЙ

повесть





**Х**рипели тяжелые, в три проема, двери, внося в размеренный, гулкий шепоток зала ожидания смуту дальних, пахнущих креозотом дорог; в широких окнах поманивали светлые пятна купированных вагонов, доносилась глухая возня незримых путей, где стояли составы-работяги с синей, как этот вечер, нефтью и прочим полезным для огромной страны грузом; вяло переругивались у виадукта охрипшие от маяты и первых холодов голоса диспетчеров. Вдруг грозно вздрагивали на протяге вагоны, стремительно, один за другим, вылезгивая мощный аккорд во славу железной воли Транссиба, и тогда обмирала, не поднимая головы, заблудшая овечья душонка, и тогда хотелось уехать куда глаза глядят, лишь бы не видеть этот тусклый зал ожидания с пыльной люстрой и подоконниками, на которых тоже храпел и шелестел газетками вокзальный люд, с первого взгляда неотличимый от подобного себе на больших и малых станциях и полустанках России. Была тут и недремлющая тетка с тугими узлами, подозрительно косящаяся на соседей – стриженного паренька с новенькой в полиэтиленовом мешке гитарой, мужчину с «дипломатом» на коленях, накрывшегося газетой, молодую женщину с ребенком и бутылочкой молока, – коих разом сморила усталость. Смуглые, черноволосые молодые люди, распахнув куртки с капюшонами, пили за стойками кофе из бумажных стаканчиков.

Скорый поезд ушел, буфет закрыли, движение в зале мало-помалу прекратилось, стало и вовсе скучно. Лишь мерил зал начищенными до блеска сапогами милиционер, зорко поглядывавший вокруг.

В конце октября погода в этом городе обычно портилась, но чтобы так – поднимая опавшую листву до вторых этажей – неожиданно. Ветер обжигал скулы, выбивал слезы – улицы опустели. Юго-западный, с колючим снежком, он срывался с дальних гор, которые можно было увидеть только в ясный день.

Жорик натянул на голову куртку, прижался щекой к маленькому транзистору, старательно шмыгнул носом. Оказывается, и в Европе неладно, антициклон обрушился на цивилизованных французов; где-то, как водится, угнали самолет; подходил к концу чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. «Как же! – усмехнулся он. – Попрыгай в трусиках! На дворе-то!»

Так вот всегда. Когда муторно на душе, Жорик включает обшарпанный приемничек, перетянутый резинкой, чтоб не выпала плоская батарейка – доставать ее становилось все трудней. Крутит настройку коротенькой писклявой шкалы, впитывая, как губка, события международной жизни, и переживает. Он может переживать от того, что в Южной Африке унижают коренное население, возмущаться тайными поставками оружия, сочувствовать положению бездомных, и тогда собственные беды кажутся несерьезными...

Новости кончились. Жорик поморгал, поерзал на лавке, но сочувствовать расхотелось. Он вспомнил, как его побили за старой кошарой. Побили, впрочем, громко сказано. Так себе – раскровянили лицо, надрали волосы, но один из нападавших напоследок расчетливо пнул в низ живота. Прижатому к бревнам Жорику почудилось, что остановилось время: удивленно замер овечий загон, дощатый навес с нанизанным на жерди веточным кормом дрогнул и покосился, дугой изогнулась кромка леса, степь опрокидывалась, будто наступили на край большущего блюда. Захлебываясь кровавыми соплями, он натужно сипел и синел лицом, сползая по стене. И еще почудилось, что и сам он – овца, беззащитная и глупая, паршивая овца, которая обречена. Ему ли не знать об этом?..

Жорик прикрыл глаза и начал полегоньку биться лбом о гладкое дерево. Нет, нет, домой вернуться невозможно, немыслимо!

– А я вам говорю – прекратите! – услышал Жорик и сообразил, что его окликают. Над ним стоял молодой сержант и хмурился.

– Извините, кхе... – у него неожиданно сел голос. Милиционер он не любил и побаивался. Он вскочил, надел, затем сдернул кепку и оказался совсем небольшого роста.



– Документы! – глядя сверху вниз, потребовал сержант в хорошо подогнанной шинели, лицо его с тонкими усиками пылало гневом. Он поправил на рукаве повязку. – Что это вы себе позволяете?

– Документы? Кхе... Сейчас, сейчас... – Жорик зашарил по карманам, вынул кошелек, чем еще больше рассердил сержанта. Но, видит небо, это вышло случайно, как и то, что паспорт он забыл дома... А есть ли у него дом? Он сел.

– Но-но! – сказал милиционер, заметив, что гражданин намерен возобновить странное занятие – биться головой о лавку. Сержант уже с подозрением оглядел задержанного, да, задержанного – про себя он это решил. По виду сельский житель, но это в лучшем случае. Курточка с грязными разводами, изжеванные брюки заправлены в нечищенные кирзовые сапоги...

– Вам придется пройти со мной, – твердо заявил он. Вокруг них уже начали собираться зеваки – разогнать скуку за казенный счет.

– Расходитесь, чего не видели! – грубовато выкрикнул сержант и взял Жорика за рукав.

– Вора поймали! – услышал он за своей спиной. обернулся и встретился взглядом со зрчками-точками. «Поймали, ага!» – победно блеснула золотая коронка. Жорик ощупал в кармане приемник, натянул на глаза кепку и, подталкиваемый сильной рукой, окунулся в чернильный омут и посвист наступающей ночи. Массивная дверь ухнула, похолодив затылок.

## I

Чабанить он пошел без особого желания.

Просто некуда было податься, и уж никак не хотелось идти в плотницкую бригаду. Хватит, намахался! Не одно лето мотался он по чужим селам с артелью шабашников, «колотил монету», как они говорили. И в самом деле Жаргал Нуров иногда получал на руки такие деньги, которые могли присниться одноулусникам разве что в кошмарном сне. Странно было другое: в Шулуты он заявлялся ближе к холодам в той же болоневой курточке в заплатках, в разбитых сапогах. Денег едва хватало, чтобы протянуть зиму в застуженной избе, в которой даже мыши не водились. Зимой он сидел в своем доме тихо, не шумел; болтали, пил в одиночку, да пойди проверь, если он дверь не открывает. А Жорику было стыдно: каждую весну на высоком крыль-

це правления он хвалился перед шулутскими мужчинами, гнувшими спины за колхозную копейку, как славно заработает в артели, но осенью возвращался домой крадучись...

Был в артели такой обычай – обмывать шабашку перед тем, как разъехаться по домам. Семейные уезжали на следующий день, даже не попрощавшись, а вот такие, как Жорик, которых никто не ждал, продолжали веселье, переезжая из села в село. Привечали их знакомые по прошлым гулянкам громкоголосые хозяйки, искренне радовавшиеся дорогим гостям, а еще больше – дорогим подаркам. Почему-то все эти бедовые женщины жили на окраинах сел, имели одного-двух ребятишек с грязными носами и в свое время поварили в их артели. Кончалось веселье одним и тем же: деньги обращались в дым, или их становилось кому-то жалко, и сердитая хозяйка, которая еще вчера пела за столом песни и взасос целовалась в сених, выпроваживала гостей под лай цепных собак.

Однажды зимой, втянув голову в плечи, Жорик пробирался по улице к магазину – должны были привезти хлеб. Неожиданно его остановил вышедший из какого-то дома председатель колхоза Базаров.

«Ну, – спросил он, усмехнувшись, – не надоело?»

«Чего не надоело?» – прикинулся овцой Жорик.

«Шабашить?» – председатель притопнул ногой снег.

«Я птица вольная... Вам не понять!» – с вызовом произнес Жорик и выправил плечи.

«Где уж нам, колхозникам, понять! – сплюнул в снег Базаров. – А только и птичке пить-клевать надо, а?»

Председатель оглядел дырявые Жорины валенки и телогрейку, из которой лезла вата.

«Вот как я думаю. Ты, Нуров, кончай дурить! Эти шабашки тебя до добра не доведут. Отца твоего я знал. Настоящий был дархан. Руки у тебя золотые – в него, а вот голова... Ты решай, Нуров. В колхоз мы тебя примем. Под честное слово. Работа найдется... Вон свинарник закладываем – дело новое, выгодное...»

И председатель пошагал к конторе, легко ему, наверное, было идти в теплых унтах.

Базарова Жорик недолюбливал. Раздражало, например, что к старости тот вздумал заочно учиться в институте. Пробираясь по вечерам в магазин, Жорик видел в светящемся окне склонившегося

над столом председателя. «Студент, так твою!» – крыл он Базарова русским трехэтажным, которым овладел в артели в совершенстве. Но слова про отца и золотые руки вдруг тронули. Это верно – в отца. Пришел он с войны контуженный, рассказывали, заикался и подергивал щекой, но такой дом поставил – с другого конца Шулут шли люди смотреть на резной орнамент. Отец торопился с домом, работал до ночи, наверно, предчувствуя конец. Умер от вскрывшихся ран. Мать последовала за ним, до последнего своего часа повторяя: «Мини хубун...» Говорили, что ее тоже настигла война...

Вернулся Жорик поздней осенью, уж задувал по степи ветер-низовик, набравший силу в междугорье за рекой, весело гоня по дороге колючки перекасти-поля... Расколов в темноте ставни и дверь, отодрав доски, он вошел в выстуженный дом и бросился на незастеленную с лета кровать. И долго лежал ничком, пока не продрог. На этот раз Жорик вернулся без копейки денег, хотя шабашка вышла особенно удачной. За перелатанные в соседнем районе коровники им заплатили по высшим расценкам. Очнулся он на какой-то заимке, с пустыми карманами, правда, он точно помнил, что зашил в подкладку куртки все остальное. Но подкладка была надорвана. И спросить было не у кого.

Отогревшись у разбитой, с треснувшей плитой печки, напившись кипятку – заварки в доме не оказалось, – Жорик, поразмыслив на трезвую голову, решил бросить пить и вспомнил о предложении Базарова.

Но работалось в бригаде без души, без интереса. Топором махать за копейки и обезьяна может. Невыносимей стало зимой, когда на январском морозе сколачивали из жердей кормушки. Кормушек требовалось много – для всех отар. В лесу трудились с утра, а вот с обещанным обедом запоздали. Всем хотелось горячего. Жорик вдобавок обморозил щеку и под удивленными взглядами товарищей поспешил домой. И уже до первого тепла не вышел, сославшись на болезнь. По вечерам слушал приемник, батарейка садилась, трудно было что-нибудь разобрать, да это было и неважно.

После стратегической кампании Жорик принял нагульную отару. Прежний чабан внезапно слег в больницу, охотников тотчас не нашлось, а тут подвернулся огрызающийся от насмешек Нуrows, болтавшийся у конторы. Словом, председатель не возражал. Пасти овец казалось Жорику занятием необременительным, особенно на нагуль-

ной отаре. Возможно, впечатление это сложилось тут же, у крыльца правления, из разговоров с чабанами, которые после стрижки получали расчет за весь год – кучкой, даже с вычетами это выглядело внушительно. Да и сами чабаны, получив деньги, склонны были забыть трудную зимовку и постоянный недосып во время окота овцематок. А главное, расписывали они ему, от начальства подальше.

Стоянка нагульной отары была в хозяйстве самой дальней, час ходу на подводе. Председатель Базаров поскупился на электрический движок, и вечера приходилось коротать при свете вонючей керосинки. Приземистая избушка с одним окном, в ней помещались узкие нары, печь и стол. Бревенчатая кошара со сгнившими вытяжными трубами доживала свой век.

Вдруг на эту вот заимку приехал – как снег на голову! – двоюродный брат, с которым они вместе росли до школы и который, не в пример ему, выбился в люди, иначе говоря, осел в городе, получил квартиру, отработав немало лет на заводе. Родственник с последней их встречи пополнил, побелел лицом, рядом с личными «Жигулями» стал вроде бы выше. Жорик восхищенно причмокнул – вот тебе и слесарь! Но тот объяснил, что, получив квартиру, ушел с завода и теперь работает в сфере услуг. Он привез подарки – сверкающий никелем нож и бинокль восьмикратного увеличения, вещи дорогие, а главное, нужные. Да, у брата не зря голова на плечах! Не забыл и давний заказ – плоские батарейки для транзисторного приемника. Жорик чуть не прослезился – без радио на заимке было вовсе тоскливо. Ради такого события забил валушка пожирнее.

За бутылкой многозвездного коньяка брат, ловко обгладывая баранье ребрышко, попросил уступить ему дом в Шулутах – просторный и еще крепкий. Сказал, что все равно Жорик в нем толком не живет, а нынче на отаре пропадает, его же семье нужно строить дачу – если разобрать дом и перевезти, то лучшей и не найти! Он совал Жорику новенькие – порезаться можно! – червонцы и целовал в губы: подросли его сыновья, ему – родные племянники, им нужен свежий воздух, с этим делом в городе дефицит. Но Жорик как-то некстати вспомнил про фотографию отца и матери на стене с намертво приколоченной рамкой. И потом, по просьбе Базарова, он пустил в дом молодых специалистов, неудобно их выгонять на мороз. И, как не был добродушно-пьян, сумел выговорить непослушными губами «нет». Брат засопел, выпятил нижнюю губу, и стало заметно, что они все же

родня... Он даже не захотел брать баранину, но Жорик настоял, чувствуя за собой вину. Заглядывая брату в глаза, суетился, укладывая мясо в багажник. «Жигули» рванули с места, Жорик, державшийся за ручку, упал.

А на следующий день на отаре объявился ветеринарный врач Семенов, быстро, будто знал где, нашел в дощатом сарае копыта и шкуру. Жорик забормотал что-то про овечью вертячку, но, видать, в чабанских хитростях был еще слаб, если ветеринар только рассмеялся и, задав пару вопросов, уличил во лжи. Ветврач – сутулый, худой, в очках с золотой оправой и телогрейке, зажав папиросу желтыми зубами, многозначительно процедил, что на отару Нурова прибывает комиссия с проверкой. Из города! И рассказал, между прочим, что в соседнем колхозе одного чабана посадили в тюрьму за все хорошее. От таких слов Жорику стало плохо. У него и так с перепою раскалывалась голова, а тут ослабили коленки, и он готов был бухнуться ветврачу в ноги. Семенов протер очки носовым платком и процедил, что комиссия во всем разберется.

Наохлившись в седле, Жорик пас валушков по жнивью. Пепельно-белые волны убегали к горизонту, узким клином сосняк врезался в даль, истончаясь к нежно-голубым зубцам гор. Жемчужной струйкой поблескивала река, но Шулут за лесом не было видно. Ясно, морозно и тихо. Снег лежал редкими островками, овцы легко добывали корм. Низкорослый мерин, фыркая, переступал, хрупая тонким настом, укачивал седока. Жорик бросил поводья, закрыл глаза и предположил, что он в лодке, в нарядной, белой, как в кино, одежде – отпустил весла, а море робко плещется в борт... И «нет проблем», как говорил глава артели шабашников, закоренелый бегунок от алиментов дядя Василий...

Он поздно заметил выползшую из-за сопки коробочку «уазика». Машина, одолев подъем, прибавила ходу, запрыгала по твердой, как сапожная подошва, колее. Натянув поглубже ушанку, Жорик ткнул стремянами гривастого мерина в бока, дернул поводья... Взмокнув от усердия и спешки, пригнал отару на заимку. А там уже вовсю хозяйничали гости: высокие мужчины в пыжиковых шапках – один в дубленке, другой, постройнее, в кожаном плаще. Они уверенно вышагивали по загонам, громко переговаривались, заразительно смеялись. Возле них, еще больше ссутулясь, мельтешил Семенов, рассказывал, очевидно, что-то забавное. У крыльца белозубо скалился

присевший на корточки молодой парень в кожанке, выпучив глаза, выдувал искры из мокрых от снега щепок. Парень – шофер, понял Жорик – вдруг закашлялся от дыма. «Кто ж так костер разводит, ду-рень?» – подумал, слезая с мерина, Жорик. И ему стало интересно, чего это они с костром возятся? Печь же в доме!

Семенов показал рукой на Жорика, блеснув золотой оправой оч-ков, – гости, давно с улыбками следившие за чабаном, снова громко рассмеялись. Привязав коня к столбу, Жорик хмуро им кивнул, по-крикивая, начал загонять валушков в дворики – передние упира-лись, завидев внутри людей. Поднялось суматошное блеянье. «На-чальство»! – озлился Жорик.

От комиссии он ничего хорошего не ждал. Раз приехали, значит, будут ему, Жаргалу Нурову, рыть яму. Это Семенов-нохой привел волков по следу! И Жорик открыто, с насмешкой смотрел, как вет-врач, испачкав колено в овечьих катышках, придерживал начищен-ный ботинок одного, в дубленке, помогая перелезть через изгородь.

«Шашлык будэм, рэзать будэм, а, друг?» – подмигнул нерастороп-ному хозяину шофер. И тут до Жорика дошло: дурачок, какая ж это комиссия, если приехали шашлык кушать?

И он, отогнав парня, быстро развел костер, замахал руками, уже сам рассказывал гостям нечто, на его взгляд, уморительное. Нацепив на чумазое, в саже, лицо улыбку, с гиканьем носился по загону, по-переменно хватал шарахающихся баранов, выискивая пожирнее. С шутками, мешая друг другу, с Семеновым и шофером заволокли они тяжелого и грязного валуха в сени и без промедления разделали.

«Это по-нашему!» – выпив водки, одобрительно крикнул Жорик, все засмеялись, задвигали табуретами, а тут шофер Коля принес со двора шашлыки на настоящих шампурах, обильно сдобренные луком и пер-цом. «Ишь ты! Умеет!» – вгрызаясь в нежное мясо, с симпатией погля-дывал на бесхитростное Колино лицо Жорик, тот добродушно скалился.

Какие же приятные оказались люди! И, как сняли свои дублен-ки-кожанки, стали обычного роста, высокими они казались издали. Очень понравился ему Сергей Аюрович – в возрасте, но подтянутый, с седыми бачками, в строгом костюме. «Большой человек!» – пнув под столом Жорикову ногу, дыхнул водкой Семенов. А Жорик и без умников это понял по тому, как ежеминутно, по имени-отчеству об-ращался к Сергею Аюровичу тот, второй, в костюме поплоче, кругло-лицый, смуглый – из местных, райцентровский, прикинул Жорик.

Он удачно подхватил дурашливый Колин акцент, все опять смеялись, звенели ножами, пристукивали доньшками стаканов, производили тосты за «процветание золоторунного цеха». Сергей Аюрович молча улыбался.

«Баран рзззть будэм?» – кричал через стол сладко захмелевший Жорик.

«Будэм, будэм!» – скалил зубы шофер Коля и отстранял стакан, косясь на Сергея Аюровича.

Это было непостижимо: большой человек разговаривал с Жориком на равных, интересовался его личной жизнью и планами на будущее и даже поговорил с ним – это под водку-то! – на международные темы. И тут Жорик выдал. Аж Семенов перестал жевать, застыл со стаканом в руке. Как раз накануне Жорик слушал новости и брякнул про апартеид. Сергей Аюрович удивления не выказал, а серьезно подтвердил самые худшие опасения Жаргала Нурова насчет дискриминации коренного населения Южной Африки.

«Ну, Жорж, ты даешь!» – оскалился Коля.

«Они у нас в районе такие! Подкованные!» – с гордостью отметил круглолицый, вытирая платком лоснившиеся от баранины щеки.

Семенов икнул и поправил очки:

«Политинформации проводим по четвергам».

«Это хорошо, – вставая, подал хозяину руку Сергей Аюрович. Рука была мягкая, как у женщины. – Будем считать, что провели еще одну».

И все, переглядываясь, заулыбались, довольные друг другом. Когда гости взялись за дверцы «уазика», из-за сарая вылетел ветврач с мешком в кровавых пятнах.

«Свеженинка, Сергей Аюрович!» – блестя золотой дужкой, закричал Семенов.

«Это когда он успел забить второго?» – мелькнуло у Жорика в голове.

А Сергей Аюрович, натянув на белую кисть кожаную перчатку, бросил что-то круглолицему и сел на переднее сиденье. Круглолицый, досадливо прихлопнув дверцей, запахнул разъезжавшиеся полы заграничной дубленки, хмуро махнул рукой – «давай назад!» Шофер Коля, высунувшись из кабины, выразительно постучал по лбу: сообщать, мол, надо. И дал прощальный гудок.



«Видал? Большой человек...» – бросив мешок, выдохнул Семенов, икнул, утерся шапкой и сплюнул. Жорик тоже сплюнул – в знак согласия. Ветеринар, сделав ладонь козырьком, долго шурился вслед катившему под уклон «уазику». Толкнув в бок, издал булькающий смешок:

– Ну? Акт составлять будэ-эм?

Приезда городских гостей Жорик с тех пор ждал, как праздника, уж не жалел, что связался с отарой. Теперь он – хозяин...

Жорик был доволен, что выдержал натиск двоюродного брата. Отцовский дом он отдал молодым специалистам временно, пока не построят новый – из бруса, так обещал председатель. Наведываясь в колхозную баню, Жорик видел: целую улицу надумал отгрохать Базаров. Вкусно пахло на морозе свежим деревом, смолой, стружкой, отчего сама собой чесалась правая ладонь, хотелось коснуться топорщица, сдвинуть шапку набекрень и сесть орлом на крышу, вырезать конька из желтой несучковатой плахи... Но это так – накатывало на миг. Жорик знал, что Базарову пиломатериал, кругляк дается с криком-руганью, что председатель трясется над каждой доской в этом степном краю, ездит кланяться в далекие леспромхозы. Жорик кривил губы. В артели такие дела они проворачивали куда шустрее через сельповский магазин. На водку для какого-нибудь дяди Федя-кладовщика не скупились. В этой науке их артельный мог дать председателю урок. Вот так-то, студент Базаров!..

Вскоре на заимку приехал уже на «Волге» шофер Коля, привез «Жоржу» блоки заграничного безвкусного курева. На правах старого знакомого валялся в ботинках на нарах, пугал овец в загонах, скалился, хлебал чай, рассказывал городские новости: у шефа женится сын, намечается свадьба – пир на весь мир, нужны живые барашки; а также кто где проворовался, кого где сняли. Теперь и девочек на заднем сиденье не покатаешь, новый завгар кислород перекрывает, зараза, пора рвать когти на север... Уложив в багажник связанных, пучивших круглые глазки баранов, совал конверт – «от себя и того парня», давал прощальный гудок.

Но с Колей, хоть и веселый он парень, было скучновато. Коля болтал о знакомых продавщицах, обещал познакомить. После таких разговоров Жорик не мог уснуть, ворочался на нарах, припоминал артельную жизнь. И уж не хотелось слушать транзистор.

Но вот на ночь глядя с запиской от Семенова прикатали на замызганном «Запорожце» моложавые, шумные, одинаковые, как близне-



цы, то ли кандидаты, то ли ученые, со смехом объявили, что у них наклеивается банкет. Не передохнув с дальней дороги, они влезли в загон – Жорик только-только собирался запустить овец в кошару. Валухи шарахнулись по углам; заблеяли, налезая на изгородь, – чу-яли неладное. Перекрикивая овечий ор, то и дело падая, кандидаты гонялись за баранами. Предвкушая близкую выпивку, Жорик стучал палкой по изгороди, хохотал в азарте: «Вон того! Вон того! В углу! Да не того! Ха-ха! Кто ж так хватает?! За ногу, за ногу, так твою! Да не за переднюю, дурни!...»

С ними он маленько отвел душу. Баир и Гарик, так они назвались, дружно чокались стаканами, обжигаясь, жадно запивали водку бульоном. Перебивая друг друга, рассказывали анекдоты на русском языке и по очереди хлопали «шефа» по плечу. Жорик, придав лицу многозначительность, выпятив нижнюю губу, сетовал, что в мире явно не хватает пресной воды. Интересно, что думают по этому поводу ученые? Баир и Гарик, переглянувшись, охотно поддержали беседу и серьезно отметили, что Запад, безусловно, успешно загнивает.

Жорик долго вспоминал эту беседу, перебирал словечки и удачные фразы, в животе делалось теплей, и забывалось, что сказал Баир Гарику или Гарик Баиру на крыльце заимки: «Слушай, старик, в этой глухомани можно еще не так свихнуться!...» Скорее всего, он ослышался или неточно понял...

И все-таки Жорик продолжал ждать Сергея Аюровича. Ждал, когда внимательно умные глаза спросят: как живешь, чабан Нуров, счастлив ли ты на своей забытой богом и людьми заимке?..

По вечерам все чаще налетал тот же юго-западный низовик, в кошаре беспокоились овцы. При свете керосиновой лампы Жорик осматривал закуржавевшие стены и потолок, сгребал хохир – перегоря, овечий помет давал тепло. Подперев дверь кошары, он удивлялся, как быстро пропала луна. На степь было страшно смотреть. Да и чего там увидишь? Темь непролазная, но Жорик, пересиливая себя, стоял на юру, слезившимися глазами всматриваясь в сторону реки и села. В дощатом сарае всхрапывал, переступая с ноги на ногу, мерин, в полудреме чутко улавливал надвигающуюся непогоду. Вот-вот начнется...

Сбив шапку на затылок, не застегивая телогрейки, Жорик ловил ртом крепчавший низовик, уже всерьез покусывавший щеки. В такие минуты холодом обмирало нутро, мурашки бежали по спине, и

в отчаянии хотелось крикнуть на всю степь, что он, Жаргал Нуров, человек, в конце концов! Спросить бы кого, любое живое существо, хоть мерина этого, зачем он, человек, живет, какой такой смысл в его прозябании на этой равнодушной земле? Умри, пропади, замерзни в снегах – никто и не заметит.

Сморкаясь и всхлипывая, Жорик мочился за сараем, вслушиваясь в вой волков, – совсем обнаглели, серые разбойники, а может, это ветер подвывает в щелястой крыше? Он смотрел в небо. Звезд не было...

Но приезжали с записками люди, и стыдно было за недавние слезы.

Осенью в клубе на традиционном собрании овцеводов, где подводились итоги чабанского года, Жорик сидел в первых рядах. Накануне он смазал жиром сапоги, купил на оставшиеся от аванса деньги новую рубашу, поверх надел легкий овчинный тулупчик и смело прошелся по главной улице. План по шерсти он сделал, и по живому весу поголовья не оплошал, и теперь парился в тулупчике, не мигая, пялился в президиум. Отгороженные от зала красным сукном, на сцене сидели чабаны-сотники, специалисты, председатель колхоза Базаров, ветврач Семенов, уже знакомый круглолицый начальник из райцентра. Все – в галстуках, с торжественными физиономиями. Ходили слухи, что Семенов уходит из колхоза на повышение, уже сдает дела и будет кем-то в райцентре. Не проработав и года!.. Мужчины на клубном крыльце качали головами, но сказать худого про ветеринара не могли, как и доброго, и соглашались, что начальству виднее.

Семенов говорил без бумажки – это было поразительно, особенно после нудного, с массой цифр, доклада главного зоотехника. Выправив плечи, вперив негодующий взор куда-то в потолок – некоторые даже стали задирать головы: чего он там увидел? – Семенов, пуская золотые зайчики от очков, обрушил свой гнев на хромающую дисциплину у «ряда чабанов», а чтобы не быть голословным, то у товарища Нурова, который, несмотря на неоднократные замечания ветеринарной службы, продолжал пьянствовать в рабочее время, халатно относился к своим обязанностям, допустил заболеваемость и падеж вверенных ему животных. Куда, интересно, смотрит правление колхоза? При этом Семенов сослался на постановления партии и правительства, завершив выступление неоспоримой цитатой из газеты. Хочешь не хочешь – надо хлопать, раздались аплодисменты. Круглолицый начальник позже в своей речи отметил принципиаль-

ность коммуниста Семенова. Председатель нахмурился, бросил испепеляющий взгляд на Жорика, как нарочно, усевшегося районному начальству на обозрение. С задних рядов крикнули, что «наш Жорик всегда впереди», по залу пробежала волна смешков... Жорик мигом вспотел в тулупчике, съежился, влез в него с макушкой и до окончания собрания не высовывался. Слова Семенова сразили его наповал. Но, странное дело, обиды на ветврача не было. Жорик впоследствии долго думал над этим фактом и пришел к выводу, что нечто подобное от Семенова ожидал.

Зато шибко возненавидел он своих земляков, которые жестоко посмеялись над ним в клубе. «Бараны! Темные люди! Сегодня я, завтра один из вас!» – мстительно думал он, шагая на следующий день по раскисшей дороге, проживая заново собрание в клубе и весь этот чабанский год. Он шел в правление.

Председатель колхоза Базаров, полный, с крупной неседующей головой, сидел за облезлым столом в брезентовом плаще – подписывал бумаги. Жорик решительно пристукнул дверью. Базаров поверх очков удивленно посмотрел на колхозника Нурова. И от этого удивленного взгляда пропали, прямо-таки испарились злость и клокочущее чувство обиды, которыми Жорик старательно накачивал себя в коридоре.

– Ну? – равнодушно спросил Базаров, не оторвавшись от бумаг.

– Это самое... я это... – сдернул кепку Жорик и неожиданно выпалил: – Насчет Доски почета... Обновить...

– Доска почета, говоришь? – усмехнулся председатель, сразу поняв, куда клонит Нуров. Весной Жорик по просьбе того же Базарова вырезал из дерева Передового Колхозника – такую поставили перед ним задачу. Жорик и раньше вырезал буквы для красных уголков, за что, между прочим, ему прощались отдельные грешки. Передового Колхозника решили установить у входа в правление. Жорик загонял по лесу приставленного к нему парнишку – искали какую-то особенную лиственницу, надоел пилорамщикам своими придирадками, но в назначенный срок, к Первомаю, выпятив нижнюю губу, принимал на крыльце поздравления. Метровый бюст Передового Колхозника вышел, по словам председателя, «на уровне», понравился женщинам из бухгалтерии, что означало полное признание. Но позже Жорик так убедительно рассказывал каждому встречному о том, что ему за «скульптуру» заплатили копейки, что та же бухгалтерия отказа-

лась выдать чабану Нурову премию из-за допущенного в зимовку падежа на нагульной отаре. Жорик пожаловался на «зажим критики» председателю, и тот, поморщась, распорядился премию заплатить. Правда, кто-то успел выжечь на груди Передового Колхозника слово «Жорик». Мальчишки стали показывать на него пальцами. Жорик в расстройстве, не выбираясь в село, пропил премию на заимке, вслушиваясь в бормотанье транзистора.

Но веру в свой талант он не терял. И сейчас надеялся, что тот его выручит.

– Доска почета заказана. В городе, – веско ответил председатель и вновь зачиркал по бумагам.

Жорик покашлял.

– Приказ читал? Грамотный? – спросил Базаров, полистал календарь и вдруг закричал: – У тебя совесть есть, Нуров?!

Не давая раскрыть рта, встал из-за стола, снял очки. Белки глаз были красными.

– Шестнадцать! Шестнадцать!

– Они б-больные были... – промямлил Жорик. – Шкуры я сдал...

– Больные? Знаем, знаем! – председатель, несмотря на полноту, резво подскочил к Жорику. Нурову показалось, что Базаров хочет его ударить, и он пригнул голову. – Жо-рик! Тебе сколько лет, Жо-рик? – председатель противно растягивал его прозвище. – Кто к тебе приезжал последний раз?

– Последний? – Жорик покашлял, выигрывая время.

– Да, на «Волге»?

– На «Волге»? – он изобразил на лице крайнее удивление. – Я человек маленький...

– Ну да! Когда надо – ты маленький, судьбой обиженный... Ты брось овцой прикидываться! Жо-орик! Да в твоём возрасте к людям по имени-отчеству обращаются! Нет у тебя отчества, забыл ты, чей ты и откуда родом! Пропил, прогулял свою память! Ни семьи, ни дома!

– Это мое личное дело, – попытался обидеться он, втайне обрадовавшись, что разговор уходит подальше от овец.

– Тэнэг. Дурак, – устало сказал председатель, расстегнул плащ, сел на место. – А если этим делом милиция заинтересуется, ты подумал? Скажи спасибо, не в наших это интересах – шум поднимать. Инициаторы мы, понял? Иди и благодари ветеринара, он за тебя поручился... Вот так. Отару сдашь по акту.

– А как же я? – у самой двери опомнился Жорик. – Мне-то куда?

– В последний раз! – Базаров нацепил очки. – Поедешь со школьниками хвойную лапку ломать... Там видно будет. Чего кривишься? Не нравится? Привык там у себя в одиночку бездельничать! Ничего, поработать в коллективе тебе полезно.

– Хвою ломать и обезьяна может, – обиделся за свой талант Жорик.

– Вон! – зашуршав плащом, крикнул председатель. – Можешь вообще из колхоза проваливать! Не то время, чтоб с каждым нянчиться!

– Я-то уйду... – со значением сказал Жорик и взялся за ручку.

– Тулуп передашь. Замену найдем...

– Все, все берите! Могу и сапоги отдать! – как ужаленный развернулся Жорик. Голос его зазвенел. За тулупчик ему стало по-настоящему обидно. Почти не надеванный, из легкой овчины, в таком и в городе не зазорно появиться. Его выдали перед зимовкой на пять лет, тогда как сапоги на год, и тулупчик Жорик берег, ходил в телогрейке.

– Сапоги можешь оставить себе. На память, – Базаров посмотрел поверх очков на сбитые головки сапог и усмехнулся.

Жорик хлопнул дверью и, не помня себя, очутился на крыльце. Ломая спички, пыхнул папироской, длинно выругался, бросил окурки в грязь и зашагал, не разбирая пути, по лужам, мимо потемневшего от дождей лица Передового Колхозника. Шмыгая носом, остервенело выдирая казенные сапоги из грязи, он мстительно оглядывался через плечо на Шулуты – разросшуюся за последние годы центральную усадьбу колхоза, большое село, в котором жили буряты и русские.

Жорик да Жорик... Это они нарочно! И председатель туда же! Да если б не тяжелое детство...

У него защипало в глазах, перехватило дыхание, и он остановился на разбухшей от неожиданного солнца дороге, яростно соскребая о корягу налипшие к подошве желтоватые комья суглинка: куда идти-то?..

Жорик пил чай из консервной банки, когда вошла фельдшерица – худенькая девушка с аккуратным пробором и бледным лицом. «Городская, – с интересом затаил за столом Жорик, – с кем гуляет до ночи?» Жорик догадывался, но не желал знать, что в этот поздний час фельдшерицу, недавно приехавшую в Шулуты по распределению, могли позвать к больному.

Не увидев с темноты, моргая, она со вздохом присела на табурет и, наморщив носик, взялась за резиновые сапожки. Жорик громко хлебнул из банки. Девушка вскрикнула: «Мама!», кинулась к двери. В нее как раз входил с застывшей улыбкой и чемоданчиком в руке высокий ларень. Его Жорик опознал сразу – тот, кто громче всех смеялся в клубе, прямо из президиума, чабан-сотник с маточной отары. «Ишь ты! Ишь ты! В моем-то доме!» – у Жорика застучали в висках молоточки, и он, унимая дрожь в пальцах, ткнул указательным в дверь. И такая веселая злость была в его глазах, что парень, выше Жорика на голову, отступился.

– Не по-нашему – человека на ночь из дома гнать, – только и сказал парень. Девушка всхлипнула.

– Теперь будет по-моему! – пристукнул банкой Жорик. – Дорогие мои земляки! Плевать я хотел! Мой дом? Мой!

Парень, пообещав Жорику скорую встречу один на один, увел девушку под руку. Жорик выбежал в сени, прокричал вслед весьма прозрачный намек, заметив, как дрогнула узкая спина фельдшерицы. Парень рванулся, но Жорик успел забежать в дом и набросить крючок.

Наутро приехал председатель Базаров, еще более погрузневший, с одышкой. Он долго всматривался в Жорика, будто первый раз видел, и, точно узнав, протянул:

– А-а, Нуров! А я думал – чужой кто, если обычаи наши забыл!

– «Наши, наши!» – раздраженно повторил Жорик. – Ничего вашего я не брал!

Председатель побагровел, чуть не захлебнувшись услышанным. Жорику снова показалось, что Базаров хочет его ударить, – он пригнулся, но председатель лишь махнул рукой и хлопнул дверью.

Взволнованный и серьезный, напившись чаю, Жорик долго обдумывал в холодном доме, чем бы еще насолить землякам.

Не торгуясь, Жорик продал бинокль и охотничий нож. Накачавшись вином-бормотухой и злостью, ночью залез в отдельный хотон, где содержался племенной производитель. Узкий луч фонаря высветил заматававшегося в углу хваленного барана, с помощью которого Базаров и его окружение намеревались выйти в передовики. Баран, поняв, что дело худо, в ужасе влез на изгородь, пронзительно заблеял. Бросив фонарь, Жорик грудью упал на брыкающееся животное, зажал, связал переднюю и заднюю ноги сыромятной бечевой: «Чуешь, да? Чуешь, базаровское отродье!» – цедил сквозь зубы. Он стал пинать барана между ног – любой мужик знает, куда...

Жорик, как ему казалось, рассчитал точно. Дело было накануне осеменения колхозных отар, и упадок сил у племенного барана-производителя, на которого очень рассчитывали, имел последствия на весь год. Базаров ходил по селу мрачнее тучи. За барана были плачены немалые деньги. Содержался он на маточной отаре, где старшим чабаном был тот парень – ухажер фельдшерницы по фамилии Омбоев. Пусть теперь попробует выйти в сотники! С Омбоева взыскали за барана, чабанам приплачивали и за сторожей. Хотя было ясно, чьих рук это дело. Базаров при нечаянной встрече лишь покосился на Жорика покрасневшим от бессонницы глазом.

Последствия истории с производителем забайкальской тонкорунной породы, которого ввиду отсутствия семени пришлось сдать на мясокомбинат, грянули вопреки прогнозам специалистов задолго до окотной поры у овцематок. Средь бела дня возвращавшемуся в легком подпитии с озера Жорику накинули на голову пыльный мешок, затащили за старую кошару и, не давая опомниться, двумя кулаками сразу, чувствовалось, от души заехали в ухо и в нос. В глазах у Жорика поплыли желтые кольца, но он сумел сбросить мешок, и в тот же миг ощутил дикую боль в паху: небо с овчинку показалось – он, наконец, понял смысл загадочной русской пословицы. Лиц нападавших он, естественно, запомнить не мог, а потому на следующий день непослушными, разбитыми, вздувшимися, как у негра, губами мямлил невнятицу. Но одно он утверждал точно: человек, поднявший руку, точнее, ногу на его мужское достоинство, был Омбоев. Он мог поклясться. Но улики не было. Свидетелей тоже. Одноулуслики хранили гробовое молчание. «Они тут все заодно! Они же эта... мафия!» – пускал розовые пузыри Жорик, истощив весь радиозапас. Участковый, не улыбчивый лейтенант, которого знала каждая собака в окрестных селах, повел себя странно. Он вдруг начал расспрашивать, не слышал ли гражданин Нуров, отчего потерял это самое мужское достоинство племенной баран-производитель... Жорик прикусил язык. Усмехнувшись широкоскулым лицом, участковый пообещал продолжить разговор.

Короче, в Шулутах на него спустили всех собак. С ним перестали здороваться даже бывшие собутыльники. В магазине подавали горелый хлеб. Соседка, татарка Танзиля, добрейшей души человек, неожиданно отказала ему в яйцах и молоке – к ней, мол, приезжали гости из Казани внуки. Это было страшно. Но Жорик, вспоминая об артели, храбрился...



В бухгалтерии, куда он пришел подписывать обходной лист, ему вполне официально заявили, что «если колхозник Нуров Жэ Эм в течение установленного срока не возместит ущерб, причиненный хозяйству в результате падежа животных, правление колхоза обратится в соответствующие органы с целью привлечения товарища Нурова Жэ Эм к ответственности». Жорик был настолько подавлен этими словами, что даже не возмущился. Его потрясли сумма и сроки. Первое, что ему пришло в голову, – продать отцовский дом. И он сразу вспомнил о брате.

Главный бухгалтер, женщина положительная и серьезная, закончив читать, добавила «от себя», что пусть Нуров благодарит главного ветврача района Семенова. Это он уговорил председателя дать возможность Нурову исправиться. Иначе бы... Женщины в бухгалтерии, подняв головы, многозначительно покивали. Обходной лист ему не подписали.

«Все дело в баране», – понял Жорик. Забежав домой, он схватил транзистор и через полчаса уже голосовал на тракте, крича что-то вслед проносящимся грузовикам.

Сверив по бумажке новый адрес брата, Жорик тщательно вытер дорожную грязь о половик и с надеждой подавил кнопку дверного звонка. Открыла жена, эта худая и склочная женщина с крашеными волосами, которая явно презирала Жорика, но, тем не менее, фальшиво улыбалась при встрече и спрашивала о здоровье. Нашла о чем спрашивать?!

Станный у них с братом поначалу вышел разговор. То есть в основном говорил Жорик, а тот, сидя перед цветным телевизором, слушал хоккейного комментатора.

– Выручай, а? Яму роют. Базаров и милиция...

– Ух, дурень! – двоюродный брат хлопнул себя по коленке.

– Ага! Еще какой! Только выручи, а?

– Мазила! Слушай, и куда защитники смотрят?

– Судом грозятся... Прости, если чем обидел! Я тебе потом отдам! Отработаю! Матерью клянусь!

– Вратарь тоже слабак! Гнать надо таких из команды! Ты как считаешь?

– Прости, брат!

– Ладно, встань... Чего опять натворил? Только коротко и без соплей.



Жорик, захлебываясь, рассказал про Семенова-нохоя, его гостей с записками, собрания в клубе, о кознях Базарова, этих женщин из бухгалтерии, которые подсчитали каждую копейку и предъявили счет за чужие грехи.

Когда советские и канадские хоккеисты ушли на перерыв, брат взял слово. Для начала он обозвал Жорика идиотом.

– Ты позоришь нашу фамилию! Взгляни на себя. Взгляни на меня. Ты уже не мальчик. В твоём возрасте порядочные люди имеют семью, детей и так далее... Когда я приехал в этот город, являл жалкое зрелище, вот как ты сейчас. Но я сказал себе: будь сильным. Две пятилетки от звонка до звонка я горбился на заводе. ты думаешь, это приятно – стоять у станка по восемь часов? Но я давал план. Я бегал перед бригадиром, перед мастером на задних лапах. Я участвовал в общественной жизни... Мне дали квартиру! Смотри!

Брат в порыве воодушевления обвел рукой мебель под старину, книжные полки, люстру с подвесками, ковер на стене. Затем увлек упирающегося Жорика в спальню с широкой и низкой, как нары, кроватью, заправленной атласным одеялом; в свой кабинет, в детскую комнату, посетили раздельный санузел, заглянули в сверкающую кафелем кухню, где крашенная хозяйка раздражённо катала тесто... И везде брат, хватая Жорика за руку, кричал в ухо: «Смотри, смотри!» Будто он, Жорик, если не глухой, то уж наверняка слепой и должен вот-вот прозреть...

В перерыве хоккейного матча международный обозреватель с озабоченным лицом говорил, что антициклон, зародившийся в атлантических высях, переместился с французских берегов на север Европы. На экране мелькнули заваленные до крыш коттеджи, безлюдные улицы скандинавского городка, замершие на автобанах машины... Снег валил охапками.

Жорик пялился в телевизор, который видел впервые, как завоженный. Какие цвета! Красивее, чем в жизни.

– ...ты думаешь, что все это упало с неба? Нет, дорогой, ошибаешься! Я давал и даю план. Посмотри на мои руки! – брат сунул под нос бугристые ладони. От них воняло бензином и одеколоном. – Видишь мозоли? Это руки рабочего человека! Ты вот катаешься, а я вкалываю в гараже до темноты! А потом всю ночь дежурить, это как? Руки отмыть некогда! Костоправ я, понял?

– Ветеринар, что ли? – думая о своем, тупо переспросил Жорик, поджимая пальцы в дырявом носке. Тапочек ему эта крашеная не дала.

– Совсем спятил с этими овцами! – засмеялся брат, покачивая шлепанцами. – Да! Цивилизация и до нашего медвежьего угла докатилась! Костоправ клепает частников, понял? Чинит их машины, словом. Не даром, не даром! Спрос рождает предложение. А ты как думал? В грязи, да в масле! Так что давай, не позорь фамилию нашу...

Жорику братовы излияния стали надоедать, и он уныло ждал, когда тот выдохнется и заговорит о его просьбе. Но хозяин ударился в воспоминания о детстве, как они играли в войну и подрались из-за какого-то патрона, и что у них была одна пара ботинок на двоих, в общем, нес чепуху. Жорик покашлял и спросил насчет денег.

– Смешной человек! – брат хлопнул себя по коленке. Шлепанец подбросило. – Я о чем битый час толкую! Ни-че-го с неба не падает!

Жорик, чертыхнувшись в душе, понял, что голыми руками двоюродного брата не возьмешь! Костоправ!

– Ты спрашивал про дом... – покашлял Жорик. – Помнишь?

Хозяин выразил удивление, погладив живот.

– Ну... про отцовский дом... Я согласен. За ту же цену.

Брат встал, натянул на живот тренировочные штаны с полосками, выключил телевизор, снова сел в кресло и только потом засмеялся.

– А я думал, когда он про дом заговорит? Но зачем он мне? Сам посуды. Дача у меня есть, добрые люди помогли. И потом, в деревнях сейчас немало брошенных домов, цены на них упали, да и места у нас, сам знаешь, не курортные... Что делать? Старики умирают, дети уходят в город, дома остаются. Кому охота возиться в земле? В навозе? – брат сокрушенно вздохнул. – А вообще-то нехорошо! Все-таки дом твоего отца, моего дяди, ветерана войны, наконец! И мать, встань она из могилы, не одобрила бы... Так что давай, не позорь фа...

Жорика как пружинкой подбросило, он сжал кулаки. Уши его горели.

– Чего вскочил, как тарбаган? – снизу вверх прищурился брат, выпятив губу. – За все в этой жизни, дорогой кузен, нужно платить.

Жорика так и подмывало поскандальить. Слов не было. Он разевал рот, словно выброшенная на берег рыбешка. Этот «кузен», который еще полгода назад торговался из-за отцовского дома, разыгрывал из себя чуткого родственника. Нохой! То же самое он повторил вслух.

– Тихо, тихо! Пусти свинью в дом... – начал привставать с кресла брат. Глаза его, и без того узкие, превратились в щелки. Брат был раза в два его толще. Костолом! Жорик на всякий случай приглядел на столике тяжеленную книгу о вкусной и здоровой пище.

– Уже уходите? – мгновенно появилась в проеме гостиной братова жена. Фальшиво заулыбалась. – Жаль! А то я лапшу поставила. Очень жаль! Заходите при случае. Всегда рады.

Жорик ринулся в прихожую. Натянул сапоги, куртку, нахлобучил кепку, демонстративно погляделся в зеркало, дернул дверь, заранее решив как следует ею хлопнуть, да не ту – в санузел. Она распахнулась.

– Дядя Жаргал, вы сильно хотите? – пропищал племянник, придерживая штанишки. – Я могу потерпеть.

Жорик вымученно улыбнулся, потрепал племянника за чубчик, рванул нужную ручку, забыв попрощаться и хлопнуть дверью.

## II

Вспомнив разговор с братом, Жорик облизнул потрескавшиеся губы: сильно захотелось курить. Он сидел, поджав ноги, на низенькой скамейке за перегородкой из железных прутьев. Привалившись к ним, в углу посапывал человек в армейских галифе, в кедах и ватнике. Под глазом в неоновом отсвете полыхал свежий синяк. «У этого тоже нет паспорта», – догадался Жорик.

Окно в дежурке линейного отдела милиции было зарешечено в виде восходящего солнца. Или заходящего, скривился Жорик, но это уж кому как... Первый испуг прошел: он понял, что его задержали случайно. Не нравится он начальству, доверия не внушает, но с этим пора бы свыкнуться. Вообще-то сержант, так ретиво исполнявший службу на людях, по пути в отдел смягчился, перешел на родной язык, но Жорик сам все испортил: засуетился, замельтешил, стал словоохотлив. Дурак и есть! В конце концов, не воровал он этих валушков! А деньги он внесет, отработает тем же плотником, если надо...

Старшина милиции, сидевший за столом с несколькими телефонами, грузный, с пшеничными усами, чем-то напомнил ему председателя Базарова. Но разговаривал вежливо, обещал все выяснить, поинтересовался, к кому товарищ колхозник приезжал. Жорик решил не обижаться на «колхозника» и ответил, что к родственникам. Это

была почти правда, почти от того, что отныне он своего двоюродного брата таковым не считал и желал ему разбиться на «Жигулях» у первого столба. Старшина, переспросив фамилию брата, снял телефонную трубку, предложил обождать за перегородкой. Жорик осмелел до того, что громко попросил у дежурного закурить. Старшина отрицательно покачал головой и сказал, что нужно потерпеть.

– А много... кхе... терпеть? – облизнув губы, припал к прутьям Жорик. Его снова охватило беспокойство.

– Немного, я так думаю, товарищ колхозник.

Телефон на столе зазвонил.

– Дежурный по отделу... – схватил трубку старшина. – Да, да, товарищ майор... Принял старшина Загоруйко.

Успокоившись, Жорик опробовал задом скамейку – жестковато, но лучше, чем на вокзале: теплее, тише. Сосед в армейских галифе все так же безмятежно посапывал. Жорик улегся на скамейку.

Проснулся он от громких голосов. Протерев глаза, увидел старшину, молоденького сержанта, который его задержал, еще одного милиционера с повязкой, женщину с высокой прической в накинутом на плечи пальто с песцовым воротником. Спинами они загородили того, кому вразнобой что-то доказывали. Жорик вслушался.

– Поймите, – старшина даже встал из-за стола, к которому вроде бы прирос. – Это же небезопасно, в вашем-то возрасте!

– Уважаемая, мы хотим вам только добра! – сержант снял фуражку и обмахнулся.

– Она там настоящий скандал закатила! – виновато пожаловался дежурному второй милиционер.

– Соображать надо! – нахмурился старшина, рассматривая какие-то бумаги и маленькую фотокарточку.

– И как таких отпускают без сопровождающего! – тонким голосом пропела женщина и поправила прическу. Она повернула голову к старшине, блеснув сережками. – Понимаете, у меня очередь – нечетный на подходе, все торопятся, сейчас вообще народ пошел нервный. Сами знаете... А тут она! Заладила одно и то же: «Россия, Россия!» Я объясняю: «Россия» ушла. Час назад. Теперь только через сутки. А она – «милиция, милиция!»

– Точно! – обрадовался милиционер. – Она сама напросилась!

– Да, да. Ну, я побежала. Люди там! Вы уж тут сами как-нибудь... – Она наклонилась. – Бабушка, вы не волнуйтесь. В милиции вы. Они

вам помогут. Я правильно, говорю, товарищ дежурный? – кассирша не без кокетства обратилась к дежурному.

– Ладно! – повертев в руке бумажки, старшина сел за стол. Погладил усы. – Все свободны! Что-нибудь придумаем...

И милиционеры, бухая сапогами, пошли вслед за женщиной. Жорик увидел на стуле длинноволосого седого мальчика в перепоясанном теплым платком дэгэле. Под стулом стоял фибровый чемоданчик. «А где бабушка?» – подумал Жорик и кашлянул. Мальчик на стуле пошевелился, обернулся, и он увидел, что это старуха с личиком – печеной картофелиной, щуплая и маленькая. Старуха вдруг откровенно зевнула беззубым ртом – будто немо захохотала. «Ведьма!» – быстро отвернулся Жорик, чуть позже сообразив, что старуха его не видит.

– Бабушка, – мягко начал старшина, – поезжайте домой. На поезд мы вас посадим.

– Поезд – хорошо! – оживилась старуха. – Мунго би!

– Чего она там? – обратился старшина к Жорику.

– Говорит, деньги у нее есть.

– Вот как? – озадаченно сказал дежурный. – И много?

Жорик спросил. Старуха даже не повернула головы – видимо, не расслышала.

– Ладно, выходи оттуда. Пока ты спал, мы тебя освободили, – хохотнув, погладил усы старшина.

Жорик вышел из-за перегородки и прокричал в ухо старухе насчет денег.

– Чего кричишь? – возмутилась старуха. – Глухой, да? Деньги есть. Начальник... – поглядела она на старшину, коснулась груди и горячо заговорила.

– Она предлагает вам поехать с ней в Москву. Деньги есть, – невозможно перевел Жорик, держа руки за спиной.

Старшина схватился за бока, захохотал. Потом стал раскачиваться вперед-назад так, что запищал на тонких ножках стул. Жорик неуверенно посмеялся, посмотрел на старуху. Та поджала губы, лицо ее с земляным оттенком еще больше сморщилось, глубже прорезались морщины, глаза-щелки – что лезвия бритвы.

Старшина вытер слезы и поглядел на обоих весело.

– Ну, братцы с вами не соскучишься! Ты чего руки за спиной держишь? – пряча улыбку, сказал он Жорику. – Вольно, вольно, товарищ колхозник!

Дежурный зазвенел связкой ключей, полез в сейф, скрипнул дверцей. Выдал транзистор, высыпал из кошелька обильную мелочь – ровно столько, чтобы доехать до Шулут.

– Работает? – кивнул на приемник дежурный.

– Как же! Недавно передавали про антициклон... – засуетился Жорик.

Но старшина уже не слушал про антициклон и прочие новости международной жизни, а печально смотрел на старуху.

– Ты где живешь-то? – прервал он словоизлияния Жорика, который как раз дошел до угона самолета.

Жорик покашлял, выигрывая время, и вспомнил самое дальнее село, где когда-то шабашил с артелью мужиков.

– Погоди... Это какой район будет? А станция? – дежурный привстал, заглянул в паспорт старухи, вскричал так, что старуха вздрогнула: – Вам же по пути! Вот что, товарищ... ээ... Ну ров... Вот что! Отвезите бабушку домой. Пожалуйста! Договорились?

Жорик кивнул, проклиная свой язык.

– Ну и ладно! – Дежурный торжественно вручил старухе бумаги, паспорт и фотокарточку. – Насчет ваших бумаг не беспокойтесь, я себе записал, сделаю запрос куда нужно... Вам сообщат.

Наклонился, внятно добавил, как говорят детям, показывая на Жорика:

– Вот он... товарищ Ну ров, человек проверенный, он вас проводит, вместе поедете, ясно? Ту-ту, понятно? На поезде!

Старуха встала, личико ее просияло, будто ей дали конфету. Она забормотала слова благодарности, обернула паспорт и стершиеся по углам бумажки в шелковую тряпицу. Спрятав сверток на груди, натянула на голову платок, поклонилась и взялась за чемоданчик. Под настойчивым взглядом старшины Жорика ничего не оставалось, как подхватить чемоданчик. Старуха – она и Жорика-то пришлось по плечо – доверчиво отдала свою ношу.

– Я позвоню в комнату матери и ребенка, – снял телефонную трубку дежурный, – до утра там отдохнете. Билеты берите без очереди, можете сослаться на меня. Так что счастливого пути, товарищи колхозники.

– Алло, это старшина Загоруйко... Надя, сейчас к тебе подойдут. Двое... – ласково заговорил в трубку дежурный.

Жорик выдавил на лице улыбку и пошел с чемоданчиком по коридору, с ненавистью уставясь в спину старухи, которая пошагивала на тонких кривых ножках, обутих в мягкие сапоги, точно уточка.

Ему так не хотелось назад!..

В комнату матери и ребенка его не пустили, и он, отдав чемоданчик старухе, нимало не опечалившись, улегся на знакомую лавку. Он твердо решил поутру улизнуть от навязанной попутчицы. Делать нечего, надо возвращаться в Шулуты. Базаров, он вообще-то отходчивый... А долг Нуров отработает. Базаров ведь знал отца. При мысли об отце стало легче.

Это настроение сохранилось до утра, когда его разбудила уборщица, гремевшая шваброй о ведро у самого уха. С приходом уборщиц, их ленивой перебранкой, с первым звоном ведер, словно по сигналу будильника, началась жизнь в зале ожидания. Громко заговорили, откашливаясь, пассажиры по лавкам, зашелестели газеты, захлопали дверцы автоматической камеры хранения, тренькнула гитара, чей-то баритон занял просительно: «Ольга, ну, Ольга же...». Буфетчица с яркой брошью на чепце рассовывала по кармашкам кассового аппарата мелочь, за стенкой, там, где ночевала старуха, визгливо заплакал младенец...

Дружелюбно растянув губы, Жорик сказал нестарой еще уборщице с подкрашенными глазами, что она такая молодая, а ворчит, нехорошо. Он вежливо поздоровался с сержантом, тот кивнул, и Жорик, победно мурлыча, направился в туалет, чувствуя спиной благодарный взгляд уборщицы. Сполоснувшись над заплыванной раковиной, он сообразил, что нужно поскорее уносить ноги, если не хочет нарваться на старуху. Сержант этот неспроста возле его лавки торчит, получил, чего доброго, приказ от старшины! Втянув голову в плечи, Жорик просеменил вдоль стенки к выходу, сержанта нигде не было, и вышел на привокзальную площадь.

И куда подевалась вчерашняя пакостная погода? Было хоть и ветрено, но зато свежо, пригревало солнце, по ослепительной синеве разбежались куцые беленькие облака. Это было так здорово, что у Жорика на миг потемнело в глазах.

Площадь за исключением нескольких автомашин была пустынная, наискосок, рядом с крыльцом отдела милиции, мусорщик в армейских галифе набивал спрессованными, смерзшимися листьями большую картонную коробку, переворачивал урны. Асфальт был

чист, лишь у бордюра застыли лужицы, ледок игриво хрупал под сапогом... Жорик пощурился на небо, подумал, что жизнь – не такая уж плохая штука, и вдруг сообразил: надо идти к Сергею Аюровичу! Как же он сразу не догадался?

Жорик вывалился из автобуса на главной площади города. Выбрав из окружавших площадь толстостенных зданий самое представительное, где белых колонн побольше и окна повыше, Жорик уже смело входил в просторный, мраморный вестибюль. Тут его решимость слегка поколебалась, он оглянулся, не наследил ли где своими кирзухами на паркете. Люди в темных костюмах и галстуках, то и дело поднимающиеся по ковровой дорожке вверх, не обращали на него внимания, и Жорик собрался с духом.

– К-куда, ку-уда? – привстал из-за перил пожилой милиционер с орденской планкой на кителе. Кустистые седые брови поползли вверх, удивленные глаза уставились на кирзовые сапоги. Жорик, не помня себя, снова очутился на улице, с тоской оглядел ровный ряд черных и белых «Волг».

– Эй, эй, Жоржик! Ты, что ль, чучело?! – от группы балагуриющих шоферов отделилась фигура в кожанке, скалясь белозубой улыбкой. – А я гляжу, гляжу, глазам не верю! – шофер Коля крутился возле Жорика, притопывая узкими на женский манер сапожками, в которые были заправлены модные джинсы. – Ха! Жорж! Крестьянская ты душа! Приехал знакомиться с девочками? А? Нда-а... Одет ты, Жоржик, прямо скажу, сногшибательно! Ха! Небось, производишь фурор в общественных местах?!

– Произвожу, Коля!

Жорик тоже ужасно обрадовался шоферу Коле – похоже, единственной доброй душе в этом городе: не побрезговал, подошел!

– Ну как, баран резать будэм, а? – закричал дурашливо Коля и осекся. – Э-э, старик, я вижу, жареным пахнет... Так, да? Так?.. Дурак ты, Жоржик, между прочим. Стрелочник всегда виноват! Запомни это. Ну, что я, что?! Подневольная душа... Да и то! Облезло все! Шмотки, бабы, жратва, шашлык этот! Жена говорит: лакей. Ты можешь это понять, а?

Коля подавил плечо Жорику. Больно так подавил.

– Образованная она у меня. Была! – усмехнулся Коля. – Ну, что ты на меня глядишь так, Жоржик? Жалко мне тебя, между прочим. Вот, думал, брошу все, рвану к Жоржику овец пасти, на луну гавкать!



Самосовершенствоваться! Взял бы? Да-а... Что, к хозяину на поклон пришел, а дворняжку на порог не пускают? Так, да? Ты думаешь, возможно? Ладно, айда со мной! Только, чур, ты меня не видел!

Схватив Жорика за плечо, он потащил его к дубовым дверям.

– Что ж ты, дядь Коль, тезка незабвенный, трудовое крестьянство зажимаешь? Из ходяков он, понял? – поигрывая ключиками от «Волги», обратился шофер Коля к милиционеру, пошептал на ухо. – Шеф в курсе, – добавил он и незаметно подмигнул Жорику.

– Дык, чего ж он... Молчит, как рыба! Дык чего ж сразу... – заволновался милиционер, кустистые седые брови снова полезли вверх.

– Ну, Жоржик, – зевнул Коля, подводя его к приемной, – ты, главное, не дрейфы! Излагай коротко и ясно, они это любят.

С тем добрая Колина душа исчезла.

Жорик потоптался, огляделся, не наследил ли где, покашливая, сел на краешек мягкого стула. В приемной томились мужчины с папками на коленях и женщина с сумочкой, которую она беспрестанно открывала и закрывала, смотрелась в зеркальце.

При появлении Жорика одинаково сонное выражение на лицах мужчин растаяло и сменилось любопытством. Секретарша с пышной прической и серьгами, как у цыганки, оторвавшись от пишущей машинки, глядела на Жорика, словно на пришельца с другой планеты. Он быстренько убрал ноги под стул, кирзухи громко царапнули пол. Припавшая к зеркальцу женщина вздрогнула и тоже уставилась на Жорика. Он с ужасом почувствовал, что на носу у него выступил пот, что брюки – мятые, а лицо небритое. В одном из мужчин он неожиданно узнал круглолицего начальника из райцентра, который ел шашлык у него на заимке. Круглолицый, видимо, тоже узнал Жорика и выглядел крайне озадаченным, явно хотел что-то спросить, ерзал на стуле.

– А вы к кому, товарищ?.. – оправилась от шока секретарша, сердито качнув цыганскими сережками.

– Я-то? Кхе... – просипел Жорик, смахнув пот. – Кхе... Я того...

– Паркетчик где? – энергично бросила заглянувшая в приемную крупная, мужеподобная женщина в седом парике. Кивнула Жорику. – А, уже здесь! Молодцом!

Она простучала на высоких каблуках к двери напротив, точно так же обитой черной кожей, по-хозяйски погремела связкой ключей. Лица у посетителей снова приняли сонное выражение. Застрекотала машинка.

– Значит, так! – старшинским голосом сказала женщина в парике, вводя Жорика в кабинет. – Управиться до обеда!

Дернув за шнур, она подняла тяжелые малиновые шторы – Жорик увидел на паркете деревянный короб с набором столярных инструментов, стопку плашек. Женщина ушла, стуча каблуками.

В длинном кабинете даже стены, отделанные деревом, поигрывали солнечными бликами. Ворсистый палас был наполовину скатан, и Жорик отметил, что паркетины у самого плинтуса слегка отстают и горбятся. Перебрав в коробе сложенный по номерам инструмент, он успокоился – здесь работал мастер. Снял пиджак, скинул сапоги, чтобы не оцарапать паркет, огляделся: «Сюда, пожалуй, и его кошара поместится!»

Паркетом Жорик никогда не занимался, но слышал о нем в артели. Дядя Вася рассказывал, что дело это хоть и не пыльное, но требует уважения. Когда Жорик слышал запах, как он говорил, хорошего дерева, то мог забыть про обиды. Он наморщил нос, предвкушая удовольствие, осторожно, как больного, простучал пол. Похоже, завелась сырость, но тут уж ничего не поделаешь. Правда, кое-что он может. Жорик погладил умашенное дерево, прижался ухом к паркету.

Он приоткрыл дверь, чтобы предупредить о несомненной сырости в перекрытии этажей, и услышал, как секретарша строгим тоном отвчала кому-то в приемной.

– Сергей Аюрович временно принимает в кабинете напротив. Здесь ремонт.

Жорик решительно опустил на паркет. Ну, что ж, пока настоящий паркетчик где-то ходит, он сделает, пожалуй, не хуже. Сергей Аюрович будет доволен. Да ради такого человека Жаргал Нуров готов перестелить весь паркет в этом белоколонном здании! Правая ладонь зачесалась, он взял из короба стамеску, потянулся к стопке плашек, расправил плечи...

Иногда Жорик ловил себя на мысли, что одушевляет дерево, даже безжизненную чурку. Дерево не камень. Когда-то оно росло в лесу, в семье братьев и сестер, радовалось дождю, шумело ветвями, приветствуя весну после зимней дремоты, и глубже пускало в землю свои корни... Ударь по нему топором – заплачет от боли смолистой слезой. Живое оно, дерево, и пусть его спилили, раскряжевали в леспромхозе, но корни, корни остались в земле, а значит, быть новым побегам и новой жизни. Проходя по улицам любого

села, он обращал внимание на нижние венцы изб, не завелась ли гниль, морщился, как от зубной боли, если косилась ставня или после дождей зазеленела по краям крыша. Тогда он жалел дом, подходил и вслушивался в дерево, давно утратившее смолистый свой дух. Обращаясь к дому, он ругал хозяина, успокаивал потемневшие бревна, как успокаивают безнадёжного больного. Перебирая пиломатериал где-нибудь на скотном дворе, он возмущался, что живой еще, сыроватый, желтеющий занозистыми гранями брус чья-то равнодушная рука бросила прямо в навозную жижу. Огорчался, если примечал в ровной и длинной доске сучок, что язвочку на теле здоровой плоти. Тогда дядя Вася, их артельный, кричал, что опять на Жорика «нашло», мужики галдели, что с такими темпами они не закончат шабашку в аккордные сроки.

«Находило» на него, впрочем, все реже и реже – с годами Жорик начал стыдиться жалеть дерево на людях. Кто его-то самого пожалеет? Человека жалеть куда труднее, Жорик это понимал...

Через два часа работа была закончена. Жорик аккуратно сложил инструмент, собрал в ладонь кусочки дерева, не найдя урны, сунул их в карман пиджака, сдул невидимую пыль с только что уложенных паркетин, четко выделявшихся на полу белым квадратом. С чувством собственного достоинства надел сапоги, разогнувшись, оглядел работу. И самый искусный паркетчик не усмотрит здесь изъяна: плашки лежали ровно, плотно, одна к другой. Он вздохнул. Благостное и умиротворенное чувство объяло его. Сергею Аюровичу будет хорошо работаться, никакой скрип под ногами не отвлечет его от решения государственных вопросов. А то, что большие люди, думая о важных делах, имеют привычку расхаживать по кабинету взад и вперед, – Жорик видел в кино.

Женщина в парике, ею оказалась комендант здания, приняла у него работу, похвалила и сказала, что может провести в буфет. Жорик отказался. Комендантша достала из холодильника, стоявшего за книжным шкафом, сверток и обронила, что хотела бы иметь такой же паркет у себя дома. Жорик сглотнул слюну и кивнул.

Он еще раскатывал палас, когда в приемной слышались голоса. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Сергей Аюрович с тонкой папкой в руке.

– Здравствуйте, – робко сказал Жорик, пересиливая острое желание поклониться.

– Здравствуйте, дорогой, спасибо, – ровным голосом, не повернув головы с седоватыми бачками, молвил Сергей Аюрович. Он устроился в кресле, зашелестел на столе бумагами.

– Не узнаете, Сергей Аюрович? – спросил Жорик, переминаясь.

Сергей Аюрович, записав что-то в настольном календаре, коротко взглянул на Жорика, улыбнулся.

– Ну, отчего же? Второй день над паркетом колдуете? Извините и еще раз спасибо... – он наклонился в сторону, – как в кино! – и тем же ровным голосом сказал невидимому собеседнику: – Танечка, приглашенные пусть заходят.

– Как же, как же, Сергей Аюрович, – заволновался Жорик, – это же я, Нуков, из района...

В приемной завопили, закашляли, в кабинет один за другим вошли мужчины с папками, застучали отодвигаемыми стульями. Последним в дверь протиснулся круглолицый.

– Нуков я! – в отчаянии залепетал Жорик. – Вы еще с этим товарищем, – он показал на круглолицего, чья рука вдруг завязла в узле галстука, – ко мне на отару приезжали, этот... шашлык кушали. Шофер у вас Коля! Он еще за баранами перед свадьбой вашего сына приезжал...

В кабинете установилась тишина.

– Татьяна... – склонился над селектором Сергей Аюрович.

– ...а они говорят – плати! До милиции дошло! – не унимался Жорик, сглатывая окончания слов. – Им что? Я ж не для себя! А они говорят... скажите им! Полтыщи! Я ж не шабашник какой, у меня таких денег нету! А они говорят...

– Это беспрецедентно, – торжественно сказал кто-то в тишине.

Жорик обрадовался поддержке и, не найдя сочувствующего, как к знакомому, обратился к круглолицему. Лицо это медленно вытягивалось, в глазах плеснулся испуг.

– ...а они говорят – под суд!

– Татьяна Дондоковна, проводите товарища. Товарищ ошибся дверью, – спокойно, с нотками сожаления сказал вошедшей секретарше хозяин кабинета, и лишь по тому, как сузились внимательные умные глаза, Жорик понял, что его узнали.

С пылающими ушами, не чуя под собой ни паркета, ни асфальта, Жорик очутился на площади с курткой в одной руке и свертком в другой. Он хотел запустить этим свертком в раздражающе яркую

синь неба, но солидные толстостенные дома вокруг площади угрожающе накренились и сомкнулись, и он опомнился.

Прижимая сверток к груди, Жорик шагал в нарядной толпе куда глаза глядят. Как же так? Он же не ошибся! Это была его, Сергея Аюровича, дверь!

Ноги принесли его на вокзал. А куда в самом деле было податься? Жорик догадывался, что в горячке наговорил лишнего в том лакированном кабинете, да еще в присутствии людей. Кому же понравится? Собственно говоря, в город он приехал к брату, что же тут взять с чужого человека?..

Но обида от этих разумных доводов не убывала. Сидя на вокзальной лавке, Жорик жевал вкусную копченую колбасу, которую заработал на паркетe, сдабривая ее соленой слезой.

«Ураганные ветры, скорость которых достигала ста семидесяти километров в час, пронесли за последние сутки над многими районами Австрии. Ветер валил деревья, телеграфные столбы и опоры линий электропередачи, срывал крыши с домов и хозяйственных построек. Десятки деревьев, обрушившихся на железнодорожное полотно и автодороги, прервали движение поездов и автомашин... В воскресенье в Альпах погибли шесть человек, пропал без вести один, многие получили ранения. Синоптики связывают подобные погодные явления с мощным потоком воздуха из Атлантики...».

Сочувственно шмыгая носом, Жорик застыл с колбасой у рта, другой рукой прижимая к уху транзистор. Он искренне удивлялся, как это диктору удастся читать подобные ужасы бесстрастным тоном.

– Слышь, земляк, дай зобнуть... – возле лавки какой-то тип, переминаясь в кедах, грязным пальцем показывал себе в рот.

Жорик быстро дожевывал колбасу, спрятал транзистор за пазуху и критически оглядел незнакомца. Ну и вид!

– Во народ пошел! Окурка не оставят... – распахнув засаленный ватник, тип почесал голую грудь под майкой и зашарил подбитым глазом вокруг лавки.

– Не курю, – вызывающе соврал Жорик и ощутил прилив гордости.

Тип залился мелким бесом, словно в горле у него запрыгала горошина, хлопнул себя по животу, там, где майка была грязнее. Повалился на лавку, задрал ноги в армейских галифе. Жорик отодвинулся. От незнакомца несло кошарой.

– Ну! С тобой обхохочешься! – выдавил тип в изнеможении. Потрогав синяк, подмигнул здоровым глазом. – Нам бы перезимовать, а, брат? Я тебя еще в отделе приметил! Против ЛОМа1 нет приема, хе!

Незнакомец помахал руками, как крыльями.

– Че, в теплые края? Одобряю. Советую товарняком на четвертом пути. Кабы с поезда не сняли, час бы дыни жрал! Факт! Эхма, занесло меня в край непуганых идиотов!

– Это почему же идиотов? – обиделся Жорик.

– Да кто тут жить станет? Степь да степь кругом... Сплошной сквозняк, бр-р! И подмораживает. Точно! А я все-таки не Снегурочка. Кроме того, унижено мое человеческое достоинство!

– Чего унижено? – открыл рот Жорик.

– Тебе не понять, – изящно, как в тогу, завернулся в телогрейку незнакомец. – Это дело принципа. Я запретил себе работать. Я птица вольная, куда хочу – туда лечу... Мусор грести! Это ж надругательство над личностью! Принцип у меня, понятно?.. А ты, земляк, прибарахлился! – восхищенно осмотрел он Жорика. Особенно ему приглянулись сапоги. Он подвинулся ближе. – Может, вместе рванем, браток? В такой одежке не стыдно к мягкосердечным гражданам подкатиться!

Жорик отодвинулся: тоже, брат выискался!

– Ну, как хочешь... Рыба ищет где глубже, а человек где рыба, – выпалив эту сентенцию, незнакомец бросился к двери – только кеды мелькнули...

В динамике над головой пробубнили нечто, но люди непостижимым образом уловили в том смысл – зал ожидания пришел в движение. Жорик, распахивая встречные узлы и авоськи, огрызаясь на ходу и уворачиваясь от мужских плеч, пыхтел, как паровоз. Он шел против течения. Ему вдруг это представилось очень важным. В месте назначения – у входа в ресторан – он придиричиво обозрел себя в большое зеркало. И, как ни выпячивал грудь, остался крайне недовольным. Небритая, с торчащими там и сям редкими волосенками физиономия, бегающие узкие глазки, сбитые сапоги, пузыри на коленях... Недалеко же он ушел от «земляка» в галифе! Жорик, как заядлый щеголь, повертелся перед зеркалом, но, углядев заплатку на локте, вконец расстроился. Рядом прыснули от долго сдерживаемого смеха. Девчонка-гардеробщица, пригнувшись за стойку, ладонкой закрыла крашеный ротик. Жорик

втянул голову в плечи и с ненавистью зыркнул кругом. Он, что ли, виноват в том, что отразило зеркало? В горле набух комок и никак не сглатывался. Какая-то сопливая девчонка, и то смеется над ним, всякий тип в кедах и галифе, голь привокзальная, учит, как нужно жить! Сколько же можно? В насмешку, что ли, назвали его Жаргалом?..

Когда он с победным плачем явился в этот мир, слабой от мучительных потуг матери соседка сказала, что чуть раньше во дворе оягнилась их единственная овца, да как! Принесла сразу двойню! Большая радость для бедной семьи. «Сын! Сын! Сын!» – запел где-то рядом отец. Мать в волнении прошептала: «Счастье, счастье, люди...» Добрый знак усмотрели в том шулутские старики. Дедушка не раз пересказывал ему историю его рождения, безмятежно при этом улыбаясь. Но только от соседки татарки Танзили узнал позже Жаргал, что овца тотчас не облизала второго ягненка, не подпустила к вымени. А через неделю тот пропал, не помогли и бутылочки с молоком.

Он никогда не придавал значения этой истории, достойной лишь уха женщины, но сейчас вспомнил – будто кольнуло. И такая обида стеснила грудь, что хоть головой об этот цементный пол! Он прислонился к стене, пытаясь поймать чей-нибудь взгляд. Напрасно! Люди были заняты, их ждали неотложные дела: накормить ребенка, сбежать в буфет, сдать на хранение чемодан, купить билет, прочитать газеты. Если и пожалеют, то мимоходом, и снова будут таскать туда-сюда свои чемоданы, набитые барахлом, которого у него никогда не было, читать свои газетки, утирать сопли своим детям, есть, пить, любить друг дружку... В их жизни ему нет места. Не предусмотрено. Что же, если он паршивая овца, то пусть его выбракуют из этой жизни во имя улучшения породы, только чтоб сразу, без фальшивых расспросов о здоровье.

Пытаясь избавиться от удушливого комка в горле, он поплакал из питьевого фонтанчика. А подняв глаза, без удивления, словно был уговор, кивнул старухе в изношенном дэгэле, радостно вставшей со скамьи напротив – личико ее светилось надеждой и мольбой. Стало ясно: она ждала его здесь, у питьевого фонтанчика, с самого утра, зная ту простую истину, что человек ли, зверь ли рано или поздно приходит к воде. Наверное, и он, пусть неосознанно, ждал такого исхода. Он не питал к старухе ни толики участия. Она ему нужна – вот в чем суть. Нужен ли он ей – это неважно. Из западни есть выход...



Он вспомнил забрызганный кровью снег, торчащую волчью лапу в стальных зубьях, словно облитых темным сиропом. После засушливого лета волки совсем обнаглели, начали в открытую нападать на колхозные отары, и чабанам выдали новые, в смазке, капканы, хотя от них было мало проку. Серые хищники разобрались в хитрой человеческой уловке, и только один, потерявший чутье от голода, польстился на кусок барана. И все-таки волк, поняв неминуемую свою гибель, ушел на волю, перегрызя собственную лапу.

Отца он не знал, мать – слабо, а дом заколотил досками. Он уйдет на волю – в другие края, к морю, где кушают дыни, понадобится – к черту на задворки, перегрызя пуповину памяти о малой родине, обернувшейся мачехой. За его шкуру они не получают ни копейки! Братец, хоть он и сволочь оказался, прав в главном: надо быть сильным, иначе сожрут с потрохами, как глупую овцу. Он не овца, он – степной волк!

Усмехаясь, он подошел к старухе, и она доверчиво отдала ему свой фибровый чемоданчик. В кассе его обслужили вне очереди.

### III

На излете восьмидесятого, а может, и большего своего года – кто считал! – старая Долгор, или Матвей-эжы, поняла, что не переживет зимы.

Все бы ничего: днем можно зайти к толстухе Пылжид, а потом к таким же, как она, одиноким старухам, попить чаю, дать совет – ее слушали, поскольку те же старухи, что и она, как ни удивительно, годились ей в дочери. Или же принять в своем доме гостя, а тот обязательно шел с чем-нибудь вкусным – со сметаной ли, яйцами или еще теплыми позами. Жила Долгор одна, но жила легко, без забот – в Тангуте было принято всем селом опекать одиноких стариков, чаще это по молчаливому уговору возлагалось на соседей. А небольшой дом Долгор с подлатанной крышей – в центре села, возле сельсовета, среди людей... Да и сама она старалась быть не в тягость. Травы и корешки таскали ей мальчишки, а уж она сушила их, готовила порошки – от живота или иной слабости. В дощатом сарае меж ржавеющих кос и лопат все лето и осень висели на веревке, источая терпкий дурман, бордово-желтые соцветия чабреца и бес-смертника, пучки ромашки, ревеня, мангира, лежали по лавкам ко-



решки бадана и пустырника, а то и безымянных, одной ей ведомых сорняков. Люди к ней шли...

Тангут, село в сорок дворов, лежал в междугорье, как между ладоней. Извилистой веной бежала речка Сутайка – зимой в долине было намного теплее, чем в открытой степи. Умные головы выбрали это место. Если в летний день обогнуть сопки, то у редкого всадника не захватывало дух при виде зеленых брызг смешанного кудряво-игольчатого леса; они взлетали выше и дальше, к кедровникам, разрываясь в седловине манящим яично-сиреневым уголком степи. Зеленое и желтое будто приклеились к неподвижной и ровной голубизне, к изумрудному полотну, и сама река, казалось, стекает с этой перевернутой небесной пиалы, что укрыло селение от ветров. С любовью, с оглядкой рубились первые дома. Чтобы всего было вдосталь, чтобы себе и внукам досталось... Благословенна эта земля: отзывчива на ласку, богата на охоту, лесные дары и рыбу, хотя последнюю в Тангуте не жаловали, кроме разве что соплёной ребятни. Кто бы мог подумать, что в войну эти сопляки наравне с матерями станут главными добытчиками, в том числе неожиданно пришедшихся по вкусу мясистых, хотя и мелких хариусов!..

И только поздней осенью вдоль посеревших горных ладоней запевал скучную тягучую песню западный ветер, предупреждая, что зима не за горами...

Старая Долгор лежала по ночам с открытыми глазами, слушала, как свистит в трубе западник, словно озорной мальчишка в стреляную гильзу; вызванивая, гнет стекла в окнах, полощет соседское белье, хлопает сорванной с крючка калиткой пустого хотона... Сердца своего она не слышала, но не так, как здоровые люди. Оно будто сжалось в комочек и играет в прятки: то разожмется, заколотится, то пропадет. Она сразу же думала о сыне – и тоска, въедливая, упрямая днем в дальний сундучок души, вылезала и садилась на нее верхом. Тоска представлялась ей в темени притихшего дома такой же старой и дряхлой, как она сама, но не в пример ей – худенькой и легонькой – налитой чугунной тяжестью старухой. Долгор вставала с широкой и низкой кровати, на которой ей было так одиноко, едва слышно шлепала по холодному полу, привычно чиркала спичками, подносила огонек к чашечке с сухими травами – и дом наполнялся запахами летней степи. В углу на возвышении тускло отливали медные бурханы. Но не к ним Долгор протягивала руки.

«Оёя-а...» – вздыхала она, и столько горести, обиды и отчаяния было в этом вздохе! Напрягаясь, она глядела на стену, туда, где висела раскрашенная фотография, и в темноте видела черты бесконечно родного лица: высокий, чуть выпуклый лоб с зачесанными назад волосами, круглые, как у девушки, брови; глаза – строгие и требовательные, нос с горбинкой, матовые скулы с родинкой на левой щеке... Он был стройный, стянутый в талии ремнем, непривычно белолицый – на него откровенно заглядывались юные тангутки, те, кто и поныне помнят о нем обессилевшими старухами. Время летит, словно ветер в степи, и стреле памяти не угнаться... Долгор кажется, будто и не жила она вовсе. Жизнь – короткий, полный хлопот день. Рассвет – боль, рождение сына, полдень – вдовья доля, соленый пот на губах, вечер – баюканье дочерей, потом война – ночь...

Матвей успел закончить десятилетку и с новеньким аттестатом на взмыленном коне примчался с черной вестью. Он был такой, ее сын, – не боялся ничего, ни жары, ни холода. Зимой – на лыжах, весной и осенью – пешком каждый день ходил за пятнадцать километров в райцентр в десятилетку – единственный из тангутских сверстников. По вечерам помогал по хозяйству, учил младших сестреноч доить корову – единственную их кормилицу, допоздна сидел над учебниками. Учителя прочили ему светлую будущность, называли «самородком» и другими мудреными словами – Долгор однажды была в школе, ей как вдове вручили отрез вельвета и грамоту-благодарность за сына. С раскрасневшимся от счастья лицом шла она, прижимая отрез к груди, по раскисшей дороге в Тангут и вспоминала мужа – вот бы порадовался Даба! Муж утонул ранней весной, угодил в полынью. Сын настоял, чтобы Долгор пошла из красивого темно-зеленого вельвета праздничный дэгэл. Тогда, весной 41-го года, она была еще привлекательной женщиной...

Он первый в классе сказал, что нужно готовиться к войне. И готовился – организовал военный кружок, за окраиной Тангута подростки ползали в пыли с палками, кричали «ура», ходили в атаку, целились из охотничьих ружей в размалеванные чурки, изображавшие толстых капиталистов. Кому-то это не понравилось, и однажды Матвея прямо с занятий увели люди в военной форме. Но через неделю, осунувшегося, похудевшего, отпустили, посчитали: молод, глуп.

А оказалось – поумнее иных взрослых.

На войну Матвея не брали – года не хватало. Все лето 41-го, засушливое и жаркое, он уходил по той же пыльной дороге в районный

военкомат и возвращался к концу дня расстроенным. Поздней осенью, когда немец подошел к Москве, Матвей на рассвете с такими же нетерпеливыми сверстниками-тангутцами ушел на лыжах в город – обивать пороги военкоматов. Каково было идти в ноябрьские морозы без малого сотню верст – только им ведомо... Матвей оставил записку, в которой просил прощения у матери и сестренки. И – ни слова больше. След от его лыж черными рельсами тянулся за окраину села, вдоль реки – впаялся, вмерз в ее память.

«Оёя-а...»

На зиму Долгор уходила к соседке – толстухе Пылжид, которую помнит ясноглазой, стройной, с непокорной косичкой девчонкой, восторженно глядевшей вслед ее сыну. Теперь у Пылжид – внуки, с визгом носятся вокруг печки, теребят добрую и оплывшую, как шаньга, бабушку. Шаньги Пылжид печет вкусные и никогда не забудет угостить соседку, а с первыми холодами шумно выбивает во дворе матрас и подушки – дает знать, что постель и кров для уважаемой Долгор готовы. Обычно Долгор с оханьем, больше, впрочем, притворным, выползала на крыльцо, улыбалась с пониманием, благодарила за приглашение. Ей нравилось в большом доме Пылжид, в трудолюбивой и дружной семье.

Но нынче Долгор на крыльце не показалась. Обеспокоенная Пылжид, отбросив палку, которой выбивала матрас, направилась к соседке. Но Долгор оказалась в добром здравии, улыбалась! У Пылжид от неожиданности застряли слова в горле.

– Амар сайн, уважаемая Долгор... – наконец вымолвила Пылжид и заторопилась. – А я вот попросить хотела... у дочки аппетит пропал... дай чего-нибудь... И вообще, пойдем к нам...

То, что услышала в ответ Пылжид, – не укладывалось в голове. Она даже подумала, что ослышалась. Но, посмотрев в глаза Долгор, затряслась от обиды. Долгор сказала, чтоб нынче ее зимовать не ждали.

Пылжид хлопнула дверь. Уже дома припомнила разговор у магазина о том, что старая Долгор выжила из ума, собирается ехать в Россию и ищет попутчика. Тогда Пылжид не поверила, но сейчас задумалась, сердце заныло. Она вне всякой связи вспомнила сына Долгор – Матвея. А может, есть связь?

Не она ли далеким тихим вечером зачитывала неграмотной Долгор то письмо с казенным бланком, где сообщалось, что сын Матвей пропал без вести. Как это понимать? Ну, конечно, живой! В этом

не может быть сомнения. Если бы погиб, так бы и написали... Надо ждать... вот увидите – скоро напишет, даст знать...

Те же слова говорила Пылжид и после войны, правда, с каждым годом реже. А с Долгор лет через десять после победы случилась перемена: из молчаливой, с потухшим взором вдовы, которую не смогли расшевелить и удачные замужества дочерей, она превратилась в неутомимую говорунью. Глаза ее лихорадочно блестели, она могла засмеяться в неожиданном месте, обронить, что скоро приедет ее сын, они заживут как прежде, даже еще лучше, купят корову, овец...

И еще Долгор размахивала какими-то бумагами, говорила, что ей написали из Москвы: сын вот-вот найдется... И в самом деле она заставляла дочерей куда-то писать, ежедневно являлась в сельсовет к председателю Шалбаеву, и тот, отрываясь от дел, перекладывал их письма на официальный язык. Почтальон Бато начал от нее прятаться – она подступала с кулачками и требовала письма из Москвы, обзывала лентяем.

Получив долгожданное письмо, Долгор замолчала и стала прежней.

Неужели Матвей-эжы принялась за старое? И мыслимо ли это – выросло и поседело целое поколение тангутских мужчин, не знавших войны! Пылжид осуждающе покачала седой головой: сама-то хороша, вспомнила! По обычаю нельзя долго помнить ушедших, живым – жить. Но она помимо воли нарисовала себе портрет Матвея. Какой все-таки светлый был парень... Охо-хо, когда это было?

Кряхтя, Пылжид поднялась с дивана, подошла к печи, все же решив вечером обсудить странное поведение Матвей-эжы с дочкой и зятем – серьезным и рассудительным мужчиной.

...Ну и лютая же зима выдалась в тот год – змеиный по лунному календарю! Ветры, взломав многолетнее спокойствие небольшого села, разгулялись, засыпав Тангут снегами, принесли на своих крылах сорокаградусные морозы.

Но надо было работать – жить для сына, дочерей, для фронта, для себя, наконец! Свою корову, ладную и щедрую на молоко, Долгор по примеру одноулусников сдала в общее стадо – временно, сказал председатель, до полной победы над фашизмом. И сама Долгор пошла работать дояркой. За хозяйку оставалась старшая дочка, почти на весь день. В перерывах между дойками Долгор работала на скотном дворе вместо ушедшего на фронт пастуха.

Отдалбливая ломом смерзшиеся комья соломы, не переставала разговаривать с сыном: укоряла, что не пишет, не могла простить, что ушел на войну, не спросясь матери...

Тангутские подростки, которых чуть ли не под конвоем возвернули обратно в село, рассказали, что повезло одному Матвею: не по годам рассудительным и грамотным показался военному... Долгор слушала паренька с обмороженными почерневшими щеками, он возбужденно размахивал руками, а она готова была оттащить его за уши, что торчали, как у теленка, – заранее ведь остриглись, сопляки! Этот хитрец здесь, в тепле, «воюет» возле материнского подола, а ее Матвей?..

«Матвей назвал меня братом», – смущаясь, сказал паренек.

И как же зацеловала паренька, залилась слезами Долгор, напугав схватившихся за руки дочерей, и стыдно было за недавние злые мысли...

Письмо принес мальчишка по имени Бато. Старшая дочка, пошуршав письмом, сказала громко: «Здравствуй, эжы...» Долгор вскрикнула, бросилась к колченомому буфету, размотала платок и подала ковырявшемуся в носу письмоноше кусочек сахара. Дочки одновременно покраснели: завидовали. Не обращая внимания на их переживания, Долгор заставила по три раза перечитать письмо – такое короткое! Живой ее Матвей, живой, вот его почерк, косой, летящий, этот клочок бумаги он держал в своих руках, разглаживал ладонями, дыша на него... Долгор вертела письмо с рисунком идущих в атаку бойцов на обороте, смотрела на свет, даже нюхала, надеясь уловить его запах, запах Матвея, и впервые подсадовала, что не умеет читать. А дочки? Обрадовались, конечно, защебетали, захлопали в ладоши, облепили с двух сторон мать и тут же попросили сахара. Долгор даже смутила такая невинная корысть. Но, неспособная в такой день сердиться, расколола надвое последний сладкий кусочек – берегла к празднику.

И он, праздник, пришел!

Дети мудрее взрослых. Матвей живой? Очень хорошо, но как же иначе?..

Письмо читалось всю зиму, но не каждый день. Долгор тянула сладостные минуты – так, чтобы хватило до следующей весточки. А в том, что она придет, Долгор не сомневалась. Матвей написал – все будет хорошо. Вместе с русскими братьями он бьет фашиста, будут

гнать ненавистного врага прочь до самого его логова. Еще он писал, что любит Родину, эжы и сестренки. Он обещал к лету разгромить врага и вернуться к сенокосу, не позже... И такой уверенностью вяло от этих стремительных строчек, что иззябшая в короткой телогрейке Долгор с удвоенной энергией махала лопатой на скотном дворе, мысленно повторяя: «К сенокосу! К сенокосу!»

Когда тангутцы – старики, женщины и дети, собравшиеся у стола с черной тарелкой громкоговорителя, радостно загомонили: немца погнали от Москвы, – Долгор не удивилась. Война закончится к сенокосу!

Следующая весточка пришла в апреле. В долине потемнел снег. И сам Тангут выглядел в лучах безжалостного солнца неряшливо, в грязных проплешинах, с покосившимися изгородями, которых давно не касалась мужская рука. К тому времени в селе знали, что означает казенная бумага, – не в одном доме раздали жуткие завывания женщин, раненных несправедливостью войны. Долгор утешали вяло: не убит же, в самом деле! Значит, отыщется... А паренек по фамилии Шалбаев, последним из тангутцев видевший Матвея, высказал предположение, что ее сын с его светлой головой выполняет секретное задание командования, возможно, в тылу врага. Но слово «пропал» – Долгор тщетно подбирала схожий, но помягче его перевод – уже посеяло первые семена бессонницы...

Когда умер Сталин, всем, даже мальчишкам, стало ясно, что Долгор зря подолгу смотрит в сторону реки. «Хосороо!»<sup>1</sup> Пропал – все равно что сгинул.

«Нет! Нет! Нет!» — кричала она в темноте в лицо зевающей старухе, что давила ей грудь.

Бог мой, какие только мысли не приходят безлунной ночью! Люди, сколько стоит билет до войны?..

Старая Долгор пересчитала сбережения. Очков она никогда не носила, и мелочь различила на ощупь. У нее было своеобразное зрение: она могла не увидеть человека в трех шагах, но зато хорошо разглядеть его далеко в степи. Долгор никогда не носила очков: зачем? Свой двор и улицу она знала на память, могла пройти с закрытыми глазами из конца в конец, а о том, что творится в телевизоре – удивительном изобретении умных людей, – проще расспросить Пылжид. На умных людей и была надежда. Ей обязательно помогут, растолкуют, возьмут за руку, если надо, – так было заведено в Тангуте, а значит, во всем мире.

...Вместе с мелочью получалось совсем неплохо. Она опрокинула жестяную баночку из-под леденцов – тяжелые рубли и пятаки, грохнув, придавили зеленовато-синий ворох – Долгор ощутила себя богачкой. От пенсии всегда оставалась трешка-другая, которая немедлительно откладывалась в буфет, в жестяную баночку. Но летом Долгор потратилась на крышу – прохудилась, зазеленела по краям, прогнулась, пришлось дать плотникам на расходы и водку. Пылжид, которая отлучалась в соседнее село к родне, позже отчитала Долгор: надо было идти в сельсовет, а не поить заезжих пьянчуг за несколько приколоченных досок. Она даже порывалась нагрянуть со скандалом к шабашникам, они жили в заброшенной избе возле фермы, но те, получив расчет за ремонт коровника, уже снялись с места.

Шевеля губами, Долгор снова пересчитала содержимое банки – слишком много для Тангута, слишком мало для задуманного. «Оёяа-а...» За всю жизнь она несколько раз была в райцентре и лишь однажды – в городе. Младшая дочь давно звала нянчить правнука, квартира, писала она, со всеми удобствами, места хватит. Три года назад, когда косматая старуха-тоска принялась за свое, Долгор наконец дала согласие, и за ней приехал на белом автомобиле внук, нарядный и красивый, будто вышел из телевизора. Сняв пиджак, внук стал заколачивать окна – Долгор зажала уши руками.

Поседевшая младшая дочь жаловалась матери на здоровье, на сердце, рукавом цветастого халата утирала слезы. И все говорила о родном селе, доме, вспоминала степь, ее цветение и запах, как в детстве она с сестрой ходила копать саранки... Они сидели на кухне, две старушки, держась за руки. Невестка возле раковины чуть громче, чем следовало, гремела посудой. Дочь некрасиво сморкалась в платок, вспомнив сестру, залилась слезами. Долгор немного покорило, что дочь ни разу не сказала о старшем брате, будто его никогда не было. Но не подала виду, успокоив себя тем, что тогда, в 41-м, та была маленькой и глупой.

Город Долгор не нравился – шумно, пыльно, много незнакомых людей. Дальше крайнего подъезда она не показывала носа. «А бабушка скоро выйдет из больницы?» – картавил ее правнук по-русски. Она не знала, что ответить четырехлетнему ребенку, игравшему в песочнице. Однажды Долгор, разморенная полуденным солнцем, вздремнула на скамеечке, а когда очнулась, не обнаружила в песочнице правнука. Она испугалась и, задыхаясь, поковыляла к следующему, точно



такому же многоэтажному дому. Мешая русские и родные слова, она пыталась что-нибудь узнать. Мальчиков много, отвечали ей, и все маленькие. Может, он был на велосипеде, а может, в панамке? Долгор шла дальше, куда ей показывали, пока не поняла, что потерялась сама. Это был район новостроек, высотных домов-близнецов одинакового роста, расцветки, одинаковых балконов и пустырей. Она заходила в похожие подъезды, тыкалась в похожие двери – выглядывали удивленные, хмурые люди, спрашивали фамилию, номер дома, квартиры, улицу, микрорайон... Она не понимала. Она задыхалась. Дома обступали со всех сторон, закрывали солнце. Город был против нее. Давным-давно до войны она заблудилась в лесу, собирая смородину. Ноги горели от царапин, лицо – от комариных укусов, за каждым кустом, деревом чудился зверь, сухие ветки под ичигами оборачивались змеями... Она ходила по кругу, с ужасом возвращаясь на ту же тропу со звериным пометом, может, медвежьим?.. Долгор дико закричала, плачем пропоров чащобу. Откуда-то ответили, и она пошла на голос... Здесь же окружали люди – это было пострашнее. Ей вежливо говорили «нет» и шли мимо. Кричи не кричи: в городе она чужая. Нельзя даже постучаться и попроситься на ночлег. День незаметно угасал, люди разбрелись по своим этажам-клеткам, зажглись окна...

Вымотавшуюся, смилившуюся, ее нашел внук неподалеку от песочницы в беседке. Что он кричал – она не хотела понимать. Перекошенный рот изрыгал нехорошие слова очень складно, как-никак внук учился в институте. Но главное Долгор поняла: мальчик дома, а ей ничего нельзя доверять, ни кухню, ни ребенка. До вокзала ее подвезли на том же белом автомобиле.

От города у нее осталось чувство опасности. С ним нужно быть настороже. А ведь там города многолюднее, она знала со слов насмотревшейся телевизора Пылжид. Вот если бы, мечтала Долгор, рядом с ней был знающий человек!.. Умные люди кого хочешь найдут и сами не пропадут!

Председатель сельсовета Шалбаев, мелковатый мужчина с седым ежиком волос и косым шрамом от виска ко рту, высунув кончик языка, макал плакатным перышком в склянку, старательно выводя букву на ватмане. Долгор в мягких ичихах неслышно вошла в распахнутую дверь, постояла, легонько стукнула палкой о пол. Шалбаев вздрогнул, посадил на ватман каплю и ругнулся. Долгор испугалась: она хотела лишь напомнить о себе.



– Ну, чего вам, Долгор? – не отрываясь от кляксы, досадливо потер шрам Шалбаев. – А! Еле ватман достал! Ходите и ходите...

Он подул на бумагу.

– Будут дрова, будут!

– Сайн, сельсовет, – наклонила голову Долгор, кряхтя, опустилась на стул. Небольшой кабинет председателя был завален бумагами, рейками, на сдвинутых столах в беспорядке мешались разноцветные склянки, линейки, гвозди...

– Здравствуйте, а что дальше? – Шалбаев встал коленями на стул, снова высунул кончик языка, соскребая кляксу бритвочкой. Долгор, опершись о палку, решила помолчать и не отвлекать начальство от государственных дел.

– Все на мне! Только что воду не возят! Я же не шестирукий Шива! Секретарь в отпуске, машинистка в декретном... А! «Комиссия, комиссия!» – передразнил он кого-то, надувая щеки.

Долгор сочувственно покивала, угождая начальству. Шалбаев поскреб бритвочкой, лицо его разгладилось – пятно на ватмане сошло.

– Как ваше здоровье? – выждав благоприятный момент, заискивающе прошамкала Долгор.

– Как?! Как вы сказали?! – облегченно засмеялся председатель. – Как мое здоровье?! Ха-ха! Это я вас должен спросить, уважаемая Долгор, как ваше здоровье? Ха-ха!

Долгор тоже засмеялась, прикрывая ладошкой беззубый рот: это действительно было смешно. Глаза ее превратились в щелки.

– Вот! – гордо развернул разграфленный ватман Шалбаев. Прочитал: – «Наказы избирателей... Права и обязанности депутатов...» Эх, уедет комиссия, пойду в отпуск! На охоту, а?! Имею право, а, уважаемая Долгор?

– Как же, как же! – поддакнула она и с невинным видом спросила: – И скоро эта... комиссия?

Выяснилось, через неделю. Долгор заволновалась, заерзала на краешке стула и, переспросив про отпуск, выложила свою печаль. Чем больше слушал ее председатель, тем больше синел шрамом. Он надел великоватый в плечах пиджак с красным флажком на лацкане, сдвинул в угол стола баночки и плакатные перья.

– Вы это серьезно, товарищ... э-э... Долгор? – с еле скрываемым замешательством обратился к ней председатель.

Долгор кивнула. Шалбаев аж крякнул.

– Мы же писали! Помните, Долгор? А потом еще... Сколько лет прошло... В каком же это году?.. У меня должно быть подшито...

Председатель бросился к гудам папок на стеллажах, но махнул рукой.

– Вы же лучше меня знаете...

И Шалбаев, одернув пиджак, произнес речь. Он сказал, что никто не забыт и ничто не забыто, что он лично знал Матвея, это ведь такой парень, такой парень! Был, поправился председатель, и никто не смеет сомневаться в достойной гибели ее сына, а если таковые найдутся, то он, как представитель Советской власти, готов где угодно подтвердить... Никто из тангутцев не посрамил своего народа, а уж Матвей в первую очередь. Старая Долгор может не беспокоиться. А что касается пенсии или иных бумаг, то тут уж ничего, как видно, не попишешь... Пропал без вести! Да и поздно.

Шалбаев спохватился, замолк, заглянул в глаза Долгор. Она сидела, окостенев, похожая на прокаленную временем статуэтку. Уголки рта опустились, узловатые, в темных пятнышках руки, побелев костяшками, вцепились в палку. Председатель оглядел горы папок, захлампенный свой кабинет, бросил затравленный взор в окно: на улице, вздымая пыль, мальчишки гоняли мяч... Шалбаев крикнул, снял пиджак и начал уговаривать. Это же невозможно, сказал он, в ее-то возрасте, она не перенесет дороги. Страшно подумать, какая это даль! Уважаемая Долгор даже не представляет, насколько велика наша страна! А вдруг с ней что случится?

«Но ведь рядом будешь ты, его брат», – мысленно возразила Долгор, но, взглянув на несчастное лицо Шалбаева, промолчала. В его маленьком пыльном кабинете ей стало душно, закололо в кончиках пальцев... Что касается его, будто прочитав ее мысли, с усилием выдавил Шалбаев, то он не сможет сопровождать уважаемую Долгор. Дела, дела, комиссия за комиссией, зимовка скота началась, заседание исполкома, дрова для пенсионеров... Не выдержав взгляда посетительцы, он выбежал из кабинета и с шумом, словно большую птицу, затащил цветную карту мира с двумя полушариями.

– Вот где мы с вами, а во-он где была война... – щелкнул он ногтем по карте. – Нет, это невозможно, нельзя!

– «Нельзя, нельзя!» – с трудом поднялась Долгор, пристукнула палкой. – Что я, маленькая?! Молчи, молчи, не нужны мне твои дрова!.. Ты вот начальник теперь, да? Хорошо живешь, да? Мясо каж-

дый день кушаешь, да? Семью имеешь... А своего старшего брата ты вспомнил?!

– У меня нет... – растерянно начал Шалбаев, осекся, посинев шрамом, поднял руку. И впрямь со стороны могло показаться, что седая старуха хочет ударить мужчину палкой.

– А-а, вспомнил, начальник?! – пристукнула ею Долгор. В глазах ее зажегся опасный огонек. – Разве не тебя Матвей назвал братом, не ты видел его последним из тангутцев?! Кому как не тебе ехать со мной?!

В дверь заглянули, прошамкали что-то о дровах. Не глядя, Долгор ударила по косяку палкой, шикнув, как, бывало, на глупых куриц. Головы в платках исчезли. Председатель стоял в углу нашкодившим мальчишкой, не смея поднять глаз.

Долгор уже не могла остановиться. Вся тоска последних ночей вылилась наружу... В углу стоит не кто иной, как сын вздорной старухи, что давит ей грудь! Стуча палкой, трясясь в ознобе, она, не помня себя, выплеснула ему в лицо страшное обвинение. Председатель вскинулся, будто его и в самом деле ударили, косой шрам набух, ожил. Сжав кулаки, он выбежал в прихожую, загнал стайку испуганных старух в одинаковых серых платках. Они жались к стенке, сбились в кучу, еще больше сгорбились.

– Вот... вот... – вцепившись в край стола, Шалбаев громко сглатывал слюну. – Вот... при них скажи! Они меня тоже знают! Они тоже... в войну... вместо лошадей... Скажи им, Долгор! Разве я прятался от фронта?! Я работал за двоих, за троих... Вот!

Он рванул рубашку так, что по столу покатались пуговички, обнажив белые шрамы на впалом смуглом животе.

– Кто убился на лесозаготовках, потому что вдовам, стране и тебе, Матвей-эжы, нужны были дрова! Не моя вина, что попал в больницу! Не моя вина, что не успел на войну! Вот! Пусть скажут...

Но старухи молчали, бросая виноватые взгляды на Долгор. Они не понимали, в чем дело, не хотели обидеть старшую подругу. Долгор, чувствуя под-держку, скривила губы.

– Застегнись, председатель. Мужчина ты или женщина? Ты жив. Этим сказано все.

Злость придала ей силы. Она повернулась, шикнув на расступившихся перед нею старух, застучала палкой о пол.

Вечером плясали тени на стенах, длинные ветви скреблись в окно. Долгор пожалела, что резко обошлась с председателем Шалбаевым.

Не он ли, будучи бригадиром, помог ей поставить на ноги дочерей, давал коня вспахать огород, мотался в райцентр за теплой одеждой и валенками для тангутских ребятишек... Из сорока трех мужчин, ушедших на фронт, вернулась дюжина, половина искалеченных, а уж из тех, кто ушел первыми, не вернулся никто. Разве Шалбаева в том вина? Оёя-а, старая она, глупая...

Надо бы извиниться перед Шалбаевым и соседкой, подумала Долгор, изучая синие тени в окне. Даже у столба есть тень... Но лишь тень! Может, и прав председатель, зряшная эта затея – искать тень пропавшего без вести?..

В сенях прошлепали, дверь тоненько скрипнула. Хозяйка сидела, не зажигая света, погруженная в свои думы, и не сразу отозвалась на осторожный кашель.

– Хээтэй, мы это... – смиренно сказали от двери.

– Кто это «мы»? – спросила хозяйка, хотя сразу же узнала голос Арюны. Ее муж погиб первым из тангутских мужчин в 41-м. Арюна громко покашляла, и в дверь одна за одной влезли, постукивая палками, старухи, все – солдатские вдовы.

– Мы чего хотели... – подождав, пока с кряхтением и причитаниями «ойе... ойехада...» старухи расселись на лавке, начала Арюна. Хрипловатый простуженный на ветрах голос бывшей чабанки был исполнен достоинства.

– Не в наших обычаях беречь тени ушедших в небытие. Ты сама их знаешь, хээтэй, не раз ты давала нам разумные советы... Будь же разумна до конца. Твой сын, Матвей-эжы, уснул сном воина, его давно отпела степь. Грех отпевать его много лет спустя. Пусть сыны наши и мужья наши спят спокойно, души их унес ветер... Он не вернется, хээтэй, таким, каким ты его помнишь. Зима стучится в двери. Мы должны умереть в своем доме, как знать, может, ты увидишь его в другой жизни... Я ездила в дацан, сотворила молитву за всех тангутских мужчин, за вдов, за тебя, Матвей-эжы. Чтоб в иной жизни мы принесли в своих чревах наших ягнят заново... Надо ждать. Терпение, терпение. Смирись, хээтэй.

Старухи на лавке закивали укутанными в платки головами, забубнили одобрительно, завозились, шоркая ичигами... Не надо зажигать свет! Она и так видит, что этих глупых дряхлых куриц подослал председатель сельсовета Шалбаев.

– Чего ждать? Когда околею на этой вот кровати? Недолго оста-

лось! – собрав силы, громко сказала Долгор. – Кто сказал, кто видел, что мой сын погиб, кто?!

Возня и покашливание в углу стихли, и в этой тишине было слышно, как где-то в дальнем доме тоненько плачет ребенок.

– Молчите?.. Уходите, сестры, и не приходите больше с такими словами... Уходите! – крикнула Долгор, слыша, что старухи медлят. Они пошептались, одна за одной исчезли в проеме. Скрипнула дверь.

– А ты, Арюна? Я все сказала.

Арюна подошла к сидящей у окна Долгор. Единственная из сверстниц, гостя не утратила былой осанки. Она приблизила крупное лицо. В зрачках ее отразилась звездочка, что проклюнулась в небе. Долгор привстала, чувствуя, что ей хотят сказать что-то важное. Слов не последовало. В руку сунули газетный сверток. Долгор поняла: деньги. Рубли, трешки... Отказываться нельзя. «Поклонись той земле за всех нас», – прошептала Арюна, медленно вышла, не скрипнув дверью.

В то же время по соседству добрая Пылжид, уложив в постель внуков, вела наступление на дочь и зятя. Все трое сидели за столом с остывшим чаем. Дочь, полноватая, с мягкими чертами лица – в родову, избегала смотреть в глаза матери. Упорствовал зять – большоголовый мужчина с кулаками-гирями, навечно пропитанными соляжкой. Он сжимал-разжимал эти гири на столе, набывчившись, клонил вперед голову, будто и вправду тяжело ей было на покатых плечах.

– Чего ей не сидится дома? – хмурил он брови. – Пусть живет у нас. Совсем из ума выжила, старая! А вы, эжы...

– Ну, ну, договаривай, договаривай, зятек, – с обидой пропела Пылжид, заколыхав грудью. – Может, и я вам мешаю? Зажилась в своем доме...

– Мама! – дочь, округлив щеки, подняла бегучие от влаги глаза.

– Да не то я хотел сказать! – досадливо пристукнул кулаком зять. Чай из кружки пролился на клеенку, побежал на пол. – Долгор все кажется простым. Села – поехала... Старая она, понятно! Кто сейчас в Тангуте проводит ее? Никто! Для этого надо или свихнуться, или... – Зять сделал неопределенный жест рукой. – Ехать-то куда?! А этого ее внука я видел! Грамотный, а толку?..

– Добрые люди везде найдутся, – поджала губы Пылжид. В глубине души она понимала, что зять прав в своем беспокойстве за Долгор.

И теперь озаботилась тем, что сила мужских доводов возьмет свое. Сама бы она ни за что не покинула Тангут: внуки держали, дом... Тогда уж помочь деньгами – чем может! Знала она и то, что деньги эти зятю-шоферу достаются нелегко, и расстаться с ними из-за «старухиной блажи» ему трудно.

– Если б для дела, жалко, что ли? – буркнул зять.

Кончилось все слезами. Пылжид нарочно размазала их по крупным щекам, схватилась в усердии за правую сторону груди. Зять, не переносивший женских слез, поморщился. Дочь, всплеснув полными руками, бросила сердитый взгляд на мужа. Пылжид дала уложить себя на кровать, запричитала, что ей лучше не жить. Нынешние мужчины трусы, – приподнявшись на подушках, крикнула она в сторону зятя, – держатся за женские юбки, дальше своего телевизора не видят. Сейчас старухи, и то смелей мужчин! Вот в ее время были настоящие баторы, побито их, полегли в далеких степях, а то бы они показали вам, толстопузым... Перед ее размытым слезами взором всплыло лицо Матвея – ясный взгляд, крепкие скулы, розовые губы...

Упав на подушки, она залилась уже по-настоящему. Зять и дочь, не на шутку перепугавшись, бросились утешать хозяйку дома, неуклюже объясняясь в любви. Запахло валерьянкой. Вдобавок из-за печи вышел разбуженный младший сын, набылчился, как отец, и голосом маленького тирана спросил, кто посмел обидеть бабушку?!

Родные вряд ли могли предположить, что эта рано состарившаяся толстая женщина плачет по несбывшейся любви.

Выехали на рассвете. На улице было тихо. Тангут спал, до последней сараюшки, хотона укрытый туманом, но где-то уже звякнули подойники прощальными колокольцами. И всё, желтые пятнышки фермы остались позади. Дул попутный ветер, или так казалось из кабины грузовика, быстро уносящегося прочь... Ключья тумана упрямо цеплялись за телеграфные столбы. Вскоре дорога пошла под уклон, затрясло. Прижатая пухлой грудью Пылжид к дверце, Долгор из всех сил вглядывалась в степь, но дальше столбов ничего видно не было. Ни реки, отливающей сталью, ни дальних строчек сосняка, ни плавной линии сопок, ни жухлой травинки... Плотная бесцветная завеса накрыла знакомые места. Пылжид, отвернувшись, швыркала носом. Мотор тянул нечто печальное. Зять напряженно крутил баранку, вперив взгляд в разбитую, ныряющую в тумане колею. Но вот камешек стукнул в боковое стекло, и там, за столбами, блеснули на миг

река в строгом обрамлении осенних перелесков, гладкий, седой от инея треугольник степи...

На маленькой засыпанной гравием посадочной платформе, продуваемой всеми ветрами, они были одни. Пылжид, закрывая Долгор от ветра, беспрерывно плакала, она думала о том, что испеченных ею лепешек хватит ненадолго... Чемоданчик казался игрушечным в руках зятя, он смотрел на уходящие к сопкам серебристые рельсы. Ветер, изменив направление, выбил из глаз Долгор светлые капельки, было тревожно, как никогда. Увидев поезд, она отбросила палку.

Сойдя с помощью молодых рук на городском перроне, Долгор приметила милиционера и подумала о нем, как о желанном попутчике. В свете фонарей желтые пуговицы на шинели завораживали. Да, она пообещала Пылжид, что заедет к внуку, но еще в вагоне электрички, вспомнив перекошенный злостью рот, отказалась от этой мысли. И Матвей для него чужой. Коснувшись кончиками пальцев линиялого на груди вельвета, где покоились письма и деньги, и покрепче обхватив ручку чемоданчика, она неожиданно ходко заковыляла к вокзалу.

Вышло как нельзя лучше. Она попала к милиционерскому начальнику. И милиция, в чье всемогущество она верила больше, чем в медных бурханов, благословила ее в путь. Правда, усатый дарга самолично ехать отказался, но не бросит же он из-за нее все дела! Главное, что он дал в провожатые своего товарища...

Собираясь в дорогу, Долгор не сразу подумала о дэгэле, не первый год пылившемся в сундуке. Зеленый вельвет местами выцвел, но овчинная подкладка была цела. Она раздумывала: может, поехать в магазинском пальто с цигейковым воротником – подарок покойной младшей дочери надевался по праздникам, выглядел как новый. В нем не стыдно пройти по улицам большого города. Но, посмотрев на фотографию сына, раскрашенную и увеличенную заезжим масте-ром, она попросила у сына прощения.

На фотографии Матвей был как живой.

#### IV

Ночью проезжали Байкал.

Скорый поезд «Россия», пробежавший от океана добрую четверть страны, серебристой змеей изгибался при свете ущербной луны, ныряющей в разодранных ветром облаках, протяжно скрипел буксами,



начиная утомительный бег по огромной береговой дуге, как в отражении повторяющей очертания месяца. Особенно доставалось последним вагонам, которые прицепили в Улан-Удэ. Известное дело, крайнему всегда достается. И мотает его сильней.

Жорик, не раздеваясь, валялся на верхней полке и чуть не свалился при очередном торможении вместе с матрасом. В критический момент он успел – таки схватиться за стальной поручень. Кашляя и почесываясь, долго сидел он, свесив ноги в шерстяных носках, шевеля пальцами, унимая глубокими зевками бешено колотящееся сердце. Глаз машинально, нигде не задерживаясь, отмечал горевшие вполнакала плафоны, чемоданы, сумки, руль детского велосипеда из-под промасленной плотной бумаги на антресолях; рядом, напротив – парня, сопевшего в обнимку с гитарой – вот чудак!; сморщенные занавески, початую бутылку напитка с яркой этикеткой и надкушенное яблоко на столике, чьи-то с пампушками тапочки возле его сапог с нелепо обвисшими голенищами, на нижней полке горбился свежий, в складках, пододеяльник... В плацкартном было душно, пахло обувью, одеколоном, кислым пивом, сапожной ваксой, подмоchenными пеленками и черт-те чем.

Жорик пошмыгал носом и сунулся к окну, чуток опустил раму, и тут-то его зацепил, как окатил волной, запах мокрых камней и бревен-топляков, рыбы и птичьего помета... Он бесшумно спрыгнул вниз, и в тот же миг в рваном просвете туч блеснуло мощно, сильно. Жорик отпрянул от окна: поезд, почудилось, шел прямо по морю!

Байкал пошумливал и не собирался, кажется, укладываться под ледовое одеяло. Берега истаяли в ночи. Море фосфоресцировало, поначалу слабо, кристалликами въедаясь в темень, затем – растекаясь к дальним горизонтам, к чернеющей полосе под неровной каймой облаков, отороченных лунным светом; и там, вдалеке, тоже дрожали, мигали, будя робкие надежды, какие-то звездочки, а скорее всего, шел мокрый снег. И чудилось, верилось – протяни руку и коснешься моря, обмакнешь кончики пальцев в ледяную влагу, быть может, сотворив новые блики в этой серебряной палитре... Не надо бы смотреть, беречь тайное, но не было сил отвести взгляд. Он прикрыл ладонью веки, а когда отнял, уняв дыхание, то море обратилось в мирную, залитую озерами, степь. Степь дышала, обнажив мерно вздымающиеся голубоватые легкие, сквозь перестук колес явственно и также ровно зашелестела волна, ударила в берег...



– Э-э, любезный, ослобони-ка проход! – Жорика ошпарило крепким телесным духом. Высокая, широкобедрая проводница в засаленной юбке бесцеремонно оттерла Жорика в проем, оглянувшись, добавила понимающе тем же низким голосом: – Напровожался, да? Спи уж, мужчинка...

Он почувствовал, как стынет нога в дырявом шерстяном носке. Сколько же он простоял в проходе: минуту или полчаса? Нет, на красоту нельзя долго смотреть...

Проснулся от голода. Только что сидел он у печки, на столе вился парок от вареного мяса, шипящей в сковородке яичницы с чуть загнутыми золотистыми корочками; не скупясь, толстым слоем намазал на хлеб домашнюю сметану, сверху положил кружок копченой колбасы, протянул руку к тарелке со свежей, сладкой бараниной и – увидел ботинок на рифленой подошве. Ботинок, наверняка сорок последнего размера, недвусмысленно раскачивался, возвращая к реальности. Жорик замычал, дернулся, свернув голову набок.

– Фу ты, ирод, испужал-то, господи! – запричитала тетка напротив, приподнявшись на подушках. – Токо-токо вздремнула... А ты, шпана недобитая, убери ходули! – вскрикнула она, блеснув золотыми коронками.

Ботинок исчез.

Жорик скинул куртку, поднял с пола дэгэл, которым был укрыт. Наискосок в боковушке мужчина в роговых очках, навалившись на столик и щури глаза, читал газету.

– Что творится! – мужчина сердито блеснул линзами. Его поставленный баритон вибрировал.

– Во-во! А я чего говорю! – поддержала его тетка и неприязненно вперилась в Жорика.

– Вот, пжалста! – хлопнул ладонью по газете мужчина. За перегородкой, в соседнем отделении, что-то упало, послышалось ругательство. Еще дальше – невнятно загомонили. Вагон проснулся. Мужчина придержал дужку очков. – Вот... как вам это понравится! «Сильные снегопады прошли в Дании. Они сопровождались ветром, скорость которого достигала двухсот километров в час. Причинен огромный ущерб коммунальному и жилищному хозяйству и сельскохозяйственным угодьям. Стоявшие у причала лодки были сорваны с якорей. Поваленные деревья блокировали автомобильные и железные дороги. Снегопад был настолько обильным, что ряд поселков оказал-

ся отрезанным от внешнего мира...» Пжалста! Что творится, – повторил мужчина.

– У нас такого не бывает! – отрезала тетка.

В дальнем конце раздался дружный мужской смех. Небось, травят анекдоты, на столе закуска, возможно, копченая колбаса... Эх! В животе засосало с новой силой. Жорик зыркнул на столик с остатками чьей-то трапезы... Эта «туристка» собирается кормить его или нет?! Кстати, где она?

– Че башкой вертишь? – выстрелила взглядом тетка, привалясь к стенке. Подушки по бокам делали ее необъятной. Короткие ноги в тапочках с пампушками висели высоко над полом. – Ушла твоя мать чужое дите кормить!

Какая мать? Какое дитя? Жорик воззрился на золотозубую. Та заковыляла плечами и махнула рукой по ходу поезда.

На уровне глаз опять появились ботинок, затем второй. Их владелец легко прыгнул, ломким баском пожелал «доброго утра», исчез в проходе. Жорик успел заметить стриженный затылок и белое полотенце на толстом свитере. Тетка вполголоса протянула: «У-у, шпана недобитая...» Зрачки ее превратились в точки. Отчего недобитая, Жорик не успел спросить – явилась старуха в овчинной безрукавке, прижимая к груди ребенка в одеяльце. Старуха вся согнулась от напряжения, но, тем не менее, уморительно морщила личико, разевая беззубый рот. За ней семенила молодая женщина в халате и умоляла быть осторожней. Усталое красивое лицо ее выражало беспокойство пополам со счастьем.

Жорик обомлел. Только ребенка ему не хватало! Мужчина, читавший газету, поморщился и, видимо, подумал то же самое. Они обменялись взглядами, и Жорик почувствовал к очкарику симпатию.

Увидев Жорика, молодая мамаша обрадовалась и затараторила. Оказывается, старуха исцелила младенца. Ребенок мучился животиком, одну за одной пачкал пеленки, а бабушка напоила какой-то травкой, чего-то там пошептала. Они познакомились еще в комнате матери и ребенка, на вокзале. Очень добрая бабушка. Мамаша просила перевести ей на родной язык разные приятные слова. Лучше б дала пожрать, подумал Жорик.

– Я голоден, как волк, – категорично «перевел» ей Жорик. Старуха по-птичьи свернула головку с седой косичкой, полезла в чемоданчик, который пристроила в изголовье, поскребла, как мышью, по

днищу, подала большую железную кружку и полоску сушеного мяса, похожего на безголового минтая, бывало, годами коптившегося в шулутском магазинчике. Жорик захотелось стукнуть попутчицу кружкой по затылку. Перед отъездом он ведь купил в буфете вареную курицу – на последнюю трешку! Выяснилось, старуха разделила курицу между молодой мамашей – ей нужно хорошо кушать, чтоб было больше молока в груди, – и соседом по верхней полке – обладателю громадных ботинок совсем нечего есть. Они отказывались, но она уговорила. Сама она тоже не ела, но пила чай. У нее имеются лепешки.

Золотозубая тетка, будто понимая чужую речь, усмехалась.

Первой мыслью Жорика было пойти и забрать курицу у мамыши, но он вовремя представил, как будет выглядеть в глазах пассажиров. Свою долю – ножку и часть грудинки, парень, конечно, давно разодрал молодыми зубами...

Как это говорил их артельный дядя Вася? Простота хуже воровства? Жорик навис над старухой с кружкой в руке и обдумывал, не зарать ли на весь вагон. Этой «туристке», которая замороженно пялилась в окно, как в цветной телевизор, разумеется, многого и не надо. Божья птаха! Поклюет мало-мало и на боковую... Сойти на первой же станции, мелькнуло в голове. Еще не поздно. Но, узнав у ехидно улыбавшейся золотозубой тетки, что поутру они проскочили Иркутск, Жорик пал духом.

«Туристка» – в это слово он вложил все свое возмущение. Она, видите ли, путешествует, из милости оплатив его проезд, а ему, что же, побираться с этой кружкой по вагону? Кататься изволит, старая! Одной ногой на том свете, а туда же! Сидела бы уж у себя в улусе и не сбивала с толку честных тружеников! Ну-ну, он еще поговорит с ней... Жорик сунул в кружку «мясо» и пошел, хватаясь свободной рукой за поручни.

Впереди он увидел высокую нескладную фигуру парня с полотенцем через плечо, парень осторожно переступал ботинками. Жорик решил не уступать прохода. Но, столкнувшись нос к носу, обратил внимание на искусную татуировку на запястье – поезд качнуло, и парень уцепился как раз той рукой за поручень. Соотнеса это с короткой стрижкой, Жорик передумал рисковать. У них в артели одно лето был такой, с наколками. За нож хватался.

В самом дальнем купе солдат в парадной форме, кавказец с синими щеками и юный очкарик ожесточенно резались в карты. Столик

был уставлен вскрытыми консервами. «А пустые бутылки отдали проводнице», – позавидовал он хорошо сидящей троице.

Кипяток с утра выхлестали в основном пассажиры соседнего вагона, там поломался титан – так, по крайней мере, раздраженно объяснила высокая проводница. Жорик предложил растопить титан по новой. Все лучше, чем маяться возле старухи. Проводница подобрела и разрешила позже сварить бульон на плитке в служебке, дала соль. В туалете он наскоро сполоснул лицо, утеревшись подкладом пиджака.

– Погоди-ка, мужчинка, – задержала его проводница, – это не ты на голом матрасе спишь? Ты, ты! Еще ночью в проходе шарахался! Давай рупь и приходи за постелью. Да! Там еще бабушка с тобой... Значит, два. И без разговорчиков! – повысила она голос, надевая китель. – Еще штрафанут из-за тебя!

Жорик с обжигающей пальцы горячей кружкой бросился по проходу. «Туристка» заплетала седую косицу – встретила с улыбкой. Говорить о рублях при ехидной тетке Жорику не хотелось, и он отозвал старуху, бросившую взгляд на дымящуюся кружку.

В узком тамбуре возле туалета было накурено. «Два рубля! Два!» – кричал он ей в лицо и для убедительности показывал на пальцах.

Старуха, опоясавшись крест-накрест теплым платком, кривилась от дыма, не понимала. Иль не хотела понять. У ней есть мягкий матрас, подушка, одеяло. Еще одна постель ей не нужна. Жорик был поражен скупостью старухи. Он сказал, что главный поездной дарга высадит их в темном лесу. Старуха ответила, что она заплатила за билеты. И, лишь пригрозив сойти на ближайшей станции, Жорик злорадно отметил, что «туристка» испугалась, посерела личиком. Она попросила его отвернуться – покопавшись в одежде, оправила платок, вручила мятые рублевки.

Когда они вернулись в купе, бульон остыл.

«По сведениям Гидрометцентра СССР...»

Папиросным огоньком светится, помигивая, точка над шкалой, вкрадчивый голос диктора пробивается сквозь потрескивания в эфире. К обзору событий в мире он опоздал: закрутился, подавленный событиями личной жизни, обрушившимися на голову вроде антициклона. Обязанный резинкой, раненый приемник тянет еле-еле, хрипит, иногда замолкает. Осторожно встряхнув корпус, Жорик уяснил, что погода там, впереди, начинает портиться. Антициклон, набравшись силенок у Полярного круга, у норвежских фьордов, про-

неся над нейтральными финнами и вторгся в пределы Союза, столкнувшись близ государственной границы с обычным циклоном, и, обходя область высокого давления, спускается с северных широт... Синоптики обещали обильный снег и похолодание в ближайшую неделю.

Жорик наконец-то согрелся на свежей сыроватой простыне. Натянув на голову одеяло, свернувшись калачиком, он с закрытыми глазами слушал приемник, понемногу успокаиваясь – мохнатые лапки, царапавшие грудь, втянули коготки... Колеса пели колыбельную: «Вот так – вот так, вот так – вот так...» Кому-то там, далеко впереди по ходу поезда неуютно, не по себе, кто-то стынет на ветру, а он, Жаргал Нуров, лежит в теплой постели – за такую и рубля не жалко!

От избытка чувств Жорик вынырнул из-под одеяла. Желтоватые, едва приметные, скошенные ветром квадраты дрожат на сально поблескивающих рельсах, через равные такты перебиваясь узкими тенями. Далее – синяя, вязкая неизведанность. Лень шевелиться, тянуть шею и смотреть на небо: луна все равно запропастилась. Внизу, одинаково натянув одеяла, спят соседи по купе. Жорик не видит старухи, но уверен, что и она свернулась калачиком. Лишь во сне люди бывают по-настоящему добрыми, подумал он на пороге сна.

...«Давай деньги! Деньги давай!» – кричит он в лицо старухи. Он видит напуганное, похожее на желтый комок суглинка личико, безвольно раскрытый рот, капельку влаги на кончике языка; старуха что-то бормочет, тыча себя во впалую грудь. Он замечает, как усмехается бабка напротив, как поспешно уткнулся в газету мужчина в очках, слышит чьи-то голоса и вдруг его жестко, до хруста в плече, разворачивает сильная рука, и обжигают синие, горящие бешенством зрачки...

Жорик раскрыл глаза и вспомнил.

Поздно вечером после десятиминутной стоянки в каком-то моллдом городе с месторождением чего-то ценного – эту информацию дикторским голосом обронил мужчина-всезнайка – Жорик подсел к дружной тройце в дальнем купе. Тройца все так же резалась в карты. Уж так стало тоскливо мыкаться, выискивая окурки, в холодном и грязном тамбуре после ярких огней вокзала, всех этих поцелуев-объятий на перроне, которые не для тебя, дорогих, сытных буфетов, где тебе нечего делать, что он набрался храбрости и подошел к ним с заи-

скивающей улыбкой. Не отрываясь от карт, те дружно сосали из горлышек светлое пиво, закупленное во время стоянки. Неожиданно его приняли хорошо, усадили возле солдата, налили пиво и сообщили, что для полного счастья давно не хватало четвертого игрока. Кавказец с синими щеками одним взмахом руки разбросал карты, каждому по три. Играли в незамысловатую игру с коротким названием, Жорик не запомнил. Ставки были копеечными, больше ради спортивного интереса, как выразился юный очкарик, но Жорик быстро спустил свой полтинник с чем-то. Заметив, что новичок огорчился, ему предложили деньги обратно. Жорик, преодолевая желание, гордо выпятил нижнюю губу. Тогда ему дали полстакана водки и пива на донышке.

Вернувшись на полку, он впал в мрачное настроение. На голодный желудок сто граммов ударили в голову. Это что ж получается? Ни гроша в кармане! Обманут – он уверил себя, что троица – отъявленные шулера, раздет – вспомнился колхозный тулупчик... Почему он должен страдать из-за того, что рядом не хотят поделиться?!

Он спрыгнул с полки и заорал на старуху. Что-то насчет того же – денег.

«Не смей! Гад!» – обладатель рифленых ботинок больно сжал плечо. Жорик покосился на татуировку и зажмурился.

«Деньги?! – странно, плачущим голосом вскрикнул парень и яростно зашарил по карманам. Лицо его исказилось гримасой обиды, и Жорик понял, что тот еще молод. – Деньги, да?! На, бери, бери, че лупишься? Бери, тебе хорошо заплатят! Чистая шерсть! Бери, гад, мать не трожь!»

Парень с треском стащил с себя толстый свитер, оставшись в майке, и показался не таким уж здоровым, скорее щупловатым. Жорик хотел объяснить, что «туристка» ему не мать, но попятился, взмахнул руками и упал на старуху.

«А ну, дай глянуть... – пощупала свитер золотозубая тетка. – Чистая шерсть, говоришь? Ворованное, поди? – она сунула руку за вырез кофты. – Красенькую, уж так и быть, дам...»

Парень, не удостоив взглядом тетку, натянул свитер, влез на полку, громыхнув гитарой.

«Ох-ох! Гли-ко, каки мы гордые! – лениво прошипела тетка. – Шпана голоштанная... Пропади ты со своей шерстью!»

Забившись в угол, Жорик отвернулся от старухи, шмыгал носом.

Долгор старалась не замечать плохого настроения попутчика – оторвали от семьи, от дома, все ради нее, старой, кому же понравится. Во имя Матвея она готова стерпеть и не то. Не считая электрички, она никогда не ездила поездом. В вагоне ей понравилось, умные люди все продумали: мягкие полки, постель самая настоящая, столики, даже отхожее место с зеркалом. В дороге хорошо спалось, вздорная косматая старуха отстала от скорого поезда. Уединяясь в тамбур, она глядела на Матвеево фото.

Поначалу робея перед «товарищем», она больше молчала, боясь рассердить глупым неосторожным словом. Но, присмотревшись к облику своего провожатого, от которого так и веяло бедой, – сама человек несчастливый, она остро чужая чужое горе, – Долгор незаметно, когда тот спал или отворачивался, все чаще останавливала на нем близорукий взор, силясь понять странного попутчика. Он не был похож ни на одного из тангутцев. Например, даже не смотрел в глаза.

«Что с тобой, сынок?..»

Жорику приснилось, что он овца. Оказывается, это глупое создание не такое уж глупое и способно понимать человеческую речь. Вот в кошаре появился человек, чем-то ему знакомый, и громко объявил, что на всю отару привезли дробленого овса. Жорик радостно забегал вдоль клетки, встал на дыбки, опершись передними копытцами о жердину, сглотнул слюну и хотел сказать человеку что-нибудь приятное. Но, вспомнив, что он теперь овца, решил не выделяться из стада и присоединился к овечьему бляению – получилось не хуже. В кошаре тепло, а главное, сухо – приятно щекочет ноздри запах свежих катышков под копытцами. Удобно лежать на покрытом соломой и опилками полу – как на матрасе – и совершенно ни о чем не думать. В голове звонко, пусто, в животе тепло от вкусной дробленки, концентратов, хвойной лапки, в них много каротина-протеина, ощущение такое, будто накормили копченой колбасой. Хороший ему попался хозяин! Вовремя дает напиться подогретой водой. Весело толкаются они у желоба, после соленого журчащий ручеек кажется особенно сладким. Не надо куда-то спешить, он никому ничего не должен! Он не помнит матери, не знает отца, их давно нет в стаде, в кошаре все равны... За них решает хозяин, пусть у него болит голова! У Жорика приятные толстошубые соседи, которые не суются со всякими дурацкими вопросами, а в клетки напротив бегают ярочка со смаз-



ливой мордочкой, очень похожая на фельдшерицу... Вот счастье-то привалило! Он засыпает в грезах на мягкой подстилке.

Без предупреждения открывается дверь кошары, и входят тени, светя себе под ноги фонариками. Затем лучи прыгают по стенам, настойчиво шарят по углам, скрещаются, танцуют на шкурах потревоженного овечьего братства. От этой пляски огней холодающее чувство опасности судорогой стягивает живот. Коротко вякнув, в ужасе, сломя голову, несется он на другую половину кошары. Узкий луч выстреливает над спиной. Нет, невозможно укрыться за чужими шкурами, прикинуться ягненком – глаза слепят вспышки электрических ламп, дробятся о его глупую голову. О, сколь коварен и ненасытен человек! Лучи толчками гонят его в сырой гниущий угол, где под копытами чавкает жижа, бело-голубым снопом пригвождают к стене. Люди подставляют фонари к подбородкам, высвечивая лица, – густые тени рисуют жуткие обрядовые маски. За ними он, задрожав курдюком, узнает Омбоева, чабана-сотника, с длинным ножом в руке. Он пришел отомстить за поруганную честь барана-производителя, разве Нуров не знал, что за его личиной скрывалось высокое начальство?! Маски корчатся новыми тенями, хохот сотрясает бревенчатые стены. Овца по кличке Жорик обреченно пучит глаза, узнав под масками круглолицего – раздвигая щеки в улыбке, тот манит его толстеньким пальцем, – ветврача Семенова в белом выглаженном халате с синим крестом на кармашке и Сергея Аюровича в строгом костюме и галстук, отрешенно натягивающего на холеную кисть перчатку. Эх, зачем он так много ел вкусного корма, ведь в жертву приносят самого жирного... Они пришли свершить обряд, они кричат хором: «Мы очень любим шашлык!»

Они хохочут, показывают на него пальцами. Чьи-то руки хватают его за ноги, связывают сыромятным ремнем. «Глупая овца все стадо портит!» – раздается над ухом рыкающий глас председателя Базарова. И он здесь! Сергей Аюрович, поправив галстук, раскрывает красную папку и зачитывает указ правления колхоза за номером таким-то. Круглолицый услужливо, придерживая полы дубленки, щелкает шариковой ручкой. Сергей Аюрович, отставив мизинец, витиевато расписывается... Семенов, протерев очки в золотой оправе, многозначительно кивает, кивают и невесты откуда взявшиеся женщины из бухгалтерии, одна из них, главбух, платочком утирает



слезы... Овце по фамилии Нуров душно, она кашляет и трясется в ознобе, волны страха пробегают по коже. Сейчас ему сделают острым ножом надрез под ребрами, залезут внутрь грязной рукой, будут шарить, как у себя в кармане, дыша в ноздри водочным перегаром, топропливо искать заветную жилу у сердца... Скорей бы уж! Закаленная сталь похолодила живот...

Жорик замычал и проснулся. Крик приглушило одеяло, которым он по привычке накрылся с головой. Во рту отдавало металлическим привкусом, затылок трещал от выпитого – маленький гадкий человечек бил изнутри острым молоточком, сердце колотилось в горле. Жорик уцепился за поручень: так и свихнуться недолго! Его продолжала бить мелкая дрожь. Спокойно. Надо взять себя в руки. Они не получают его шкуры. Он не овца, он – степной волк...

Весь день старуха шастала в тамбур: уж не перепрыгивать ли день-ги?

Вагон почти не трясло, поезд сбавил ход. Он быстро оделся, без стука натянул сапоги, пробежал в конец плацкартного: мужчина в боковушке спал, забыв снять очки, молодая женщина кормила ребенка, выкатив прекрасную белую грудь, солдат по-богатырски храпел, китель со значками покоился на вешалке... Он напился воды из титана и ударил ногтем в дверь служебки. Дверь медленно откатилась. Выглянула высокая проводница в накинутах на полные плечи форменке, соломенная прическа была смята. В щель он углядел кавказца с синими щеками, тот энергично двигал челюстями, жуя яблоко. Жорик спросил ближайшую станцию и время стоянки. Проводница, усмехнувшись, поблагодарила за предупреждение – станция на подходе.

Он вернулся в купе, сунул в карман транзистор, наклонился над спящей старухой. Тетка напротив всхрапывала, раскрыв рот, поблескивая в полумраке коронками. Парень с гитарой затих на верхней полке. Старуха спала на правом боку, отвернувшись к стенке, – это было удобно. Дэгэл висел в изголовье. Задержав дыхание, он просунул руку под левый отворот безрукавки, нащупал в овчинной подкладке уголок шелковой материи, потянул на себя... Визгливо заплакал ребенок, Жорика обдало жаром, но он сумел так же бесшумно надеть куртку, надвинул на глаза кепку и, держа одну руку в кармане, скоро уже сходил под удивленным взглядом проводницы на безлюдном, залитом мертвенным светом перроне. Кавказец, задумчиво куривший в тамбуре, пожелал ему счастья.

Деревянный чешуйчатый вокзальчик был закрыт на увесистый замок. Жорик присел на крыльце. Поезд стоит пять минут, ждать не долго. На путях дремал состав с круглым лесом. В небе вызвездился ковш Большой Медведицы, черпая ночную влагу там, где взойдет солнце... Горевшее лицо приятно обдувал теплый ветер, доносивший запах смолы. После вагонной духоты Жорик не мог надышаться. Ночную тишину разорвало тарахтенье мотоцикла. Мотор заглох, по перрону зацокали каблучки, следом затопали – мужчина, изогнувшись, тащил чемодан, едва поспевая за тоненькой фигуркой.

– Пиши! – требовательно щебетнули у вагона.

– Дак на две недели... – пробасили озадаченно.

– Пиши! Слышишь?

– Угу-у!

Раздался свисток локомотива, глухо, без звона (опытный машинист!) с протяжным скрипом «Россия» провернула колесами. За углом вокзальчика хлопнула дверь, шаркая по деревянному настилу, к крыльцу приблизился старик в фуражке.

– Ктой-то здесь? Ай?

– Пассажир я. Кхе... – проямлил Жорик.

– А пачпорт есть, ай? – хрипнул старик. Лица под козырьком не было видно.

Жорик подумал и сказал, что нет. Забыл.

– Ай!.. – махнув рукой, старик побренчал ключами и толкнул дверь.

Сторож с одутловатым, в розовых прожилках лицом, в коричневом френче, белый, как лунь, признав на свету «национала», охотно поведал, что кассирша придет к шести и что ближайший поезд на восток будет тогда-то. В своей каморке, оклеенной политической картой мира, старик предложил чаю, угостил папиросой, обрадовавшись посланному богом собеседнику. Жорик не слушал. Он уставился в окно, озадаченный тем, что, кроме пачечки денег, в шелковом платке были перевязаны шнурком какие-то бумаги. Не считая, он запихал деньги в карман, дернул шнурок, машинально развернул стершийся на сгибах листок, и ему бросилась в глаза печатная надпись: «Выше черты не писать». Жорик повертел бумажку, все еще не веря, что это не денежный знак. Раненого бойца, сжимающего в руке винтовку, перевязывала медсестра; боец, приподнявшись, смотрел вперед – там, в едином порыве, выставив штыки, бежали его товарищи.

Жорик споткнулся о первую же строчку солдатского письма.

«Здравствуй, эжы...»

Письмо было написано второпях, химическим карандашом, буквы налезали одна на другую, кое-где слиняли, на сгибах пропали, а в конце письма, близ предостережения «Ниже черты не писать», расплылось в зеленоватом пятне. Зато четко лиловела треугольная печать – «Проверено военной цензурой». На другой бумажке, это было извещение, в частокле машинописных буковок выделялись крупно выведенные слова: «Дабаев Матвей Дабаевич, рядовой... пропал без вести... январе 1942 г. ...в боях за с. Березовка...» Роспись командира и номер п/я были неразборчивы.

Из бумаг выскользнула и упала на пол небольшая фотокарточка. Жорик нагнулся. Юноша, плотно сжав губы, так, что тенями обозначились скулы, смотрел на него строго, не мигая... Жорик покраснел и вложил фотокарточку в письмо, обернул шелковым платком бумаги.

Он почувствовал себя так, будто его самого обокрали.

– ...Слушай, паря, а ты не монгол? Ай?

– А? Чего? – непонимающе уставился на старика Жорик. Он про него совсем забыл. – В чем дело?

– А то! – внушительно прохрипел сторож, взявшись за широкий ремень. – Бывал я тама, понял?! Ты пей чай, остынет... Японец, он во-яка будь здоров! Ну, раз как-то...

...Удача оказалась с горьким привкусом. Степной волк угодил в первый же капкан. Черт его дернул читать эти письма, которые рука не поднимается выбросить! Жорик догадался, что для старухи стершиеся бумажки имеют куда большее значение, чем деньги, если она взяла их с собой в дальний путь. Чего доброго, сойдет по ним с ума или того хуже!.. Смутная догадка вспыхнула и погасла в дальней клеточке мозга. Он встал, стянул кепку. Товарняк дремал на прежнем месте, открывая взору всю свою красу – цистерны, круглый лес, платформы с техникой, контейнеры...

– Везут и везут! Туда лес и обратно! Туда систерны и обратно систерны! – проследил за взглядом Жорика старик. – А нельзя все это оставить при себе? Ай?

– А этот куда? Туда? – постучал по стеклу Жорик, облизнул губы.

– Не-е, паря, этот не туда, куда тебе надо! Час уж стоит...

Состав лязгнул на протяге сцепками – звуки слились в один, мощный, нетерпеливый. Жорик шагнул к двери.

...– Э, э, паря, ты погодь! – голос старика пресекался где-то сзади.  
– Он не туда, не туда, паря!

Жорик, не оглядываясь, поднялся по лестнице, ступил на освещенный перрон, пригнулся и побежал к составу, перепрыгивая через рельсы, заранее наметив в промежутке маслянистых цистерн и ореховых связок кругляка низкий борт полувагона, кажется, пустого. Ухватившись за поручень, он подтянулся, зацепившись ногой за выступ. Сцепка рванулась из-под ног, его кинуло в полуоткрытую торцевую дверцу.

Он осознал, что лежит на животе. Ладони горели. Поезд набирал ход, поскрипывала железная дверца... Охнув, он перевернулся на спину, яркие, крупные звезды вызывающе голубели, дразнясь своей мнимой доступностью. Колени холодила влажная струя. Он поднялся, шатаясь, захлопнул дверцу – она скрипнула и снова раскрылась.

– Не трудись, брат... Я пробовал! – вдруг посоветовали из угла, раздался надсадный кашель. – Ч-черт! Так и загнешься, как цуцик! Подмораживает. Факт! Эхма, занесло меня!..

Жорик, застывший при звуках человеческого голоса, обрел дар речи.

– К-кто здесь?

– Кто-кто! Брат во Христе! – захихикали в углу. – Слышь, земляк, у тя курить нету?

Жорик вспомнил про стариковскую папиросу.

– Греби сюда! Теплее будет! – позвали восторженно.

Жорик упал в стружку, отдающую соляркой, нашарил в кармане беломорину – уцелела, не сломалась. Чиркнула спичка, это лицо со вздернутым грязным носом он где-то видел.

– Эге, земляк, до чего тесен наш Союз! – залился мелким бесом сосед. Прогнусавил, зажав нос: – Мюжчина-а, я вас где-то видала! Фактик!

– Какой ты земляк! – простучал зубами Жорик. – У нас таких нет!

– У нас, у вас! – почесался сосед. – Земля-то у нас одна, колыбель человечества, а? Так, нет? Планета наша голубая, а?

– Ну, одна, – затыкнулся папироской Жорик.

– Значит, все мы – земляки! Мир, дружба! – попутчик осторожно высвободил папироску из пальцев Жорика.

Его подавила железная логика незнакомца. Обвыкнув в темноте, он обратил внимание на рваные кеды и вспомнил улан-удэнский вокзал. И впрямь, земляк!

– Люди – это стадо! – продолжал философствовать «земляк», покачивая кедом. – Покажи им кнут, и они забудут, что еще вчера кричали о любви к ближнему. Они лучше пожалеют птичку, божью коровку, собаку, чем тебя! Вот мы. Что мы, не женщиной рождены?! Но нет! Ты будешь валяться в ногах, а они перешагнут через тебя! Я не удивлюсь, что когда-нибудь они взорвут этот шарик к чертовой матери! Земляки! А может, я хочу горячего супа, а?!

«Земляк» замысловато выругался, хлопнул с досады по чему-то мягкому. Жорик присмотрелся: сосед лежал на изодранном, с ватными кудлами, матрасе.

– Я недавно насочинял, пока на станции стояли... Вот... слушай! Посвящается памяти меня! – он вытянул руку, приподнялся с матраса, отбивая ритм покачиванием кед. – Когда-нибудь и где-нибудь мы вспоминаем на досуге о брошенном тобою друге! Но вспоминаем лишь шутя, свое спокойствие любя! Так возлюбите же тогда друзей, ушедших в никуда! – последние строчки «земляк» проорал в ухо, перекикивая грохот, – поезд оставил позади мост.

Стихи добибли Жорика. Он подумал, что соседу в кедах можно не слушать радио. Голова у него и так соображает.

– А скажи, земляк, – откашлявшись, почтительно обратился к попучику Жорик, – что такое родина? Если она есть, то отчего люди на ней пропадают без вести? – слова эти всплыли строчками недавно читанных писем.

– Гм... Родина? – почесал живот «земляк». – Ты задаешь щекотливые вопросы... Если меня эта родина накормит горячим супом, то я готов лечь за нее костями! Следовательно, она существует... Факт! Но с другой стороны, в другой стороне, кроме супа, могут подать еще и пряник! Это сложный вопрос... Вопрос не бытия, но духа! Что касается второго пункта, то тут дело проще пареного веника! Все мы, земляк, рано или поздно пропадем! А с вестью или без, поверь, это неважно! А уж покойнику подавно! Так-то, но поскольку ты брат мой во Христе, уступаю место в купе!

Сосед подвинулся. Приткнувшись к краю матраса, Жорик забылся нервным, чутким полусном-полуявью. Странное это забытие дало ему крылья, вознесло над припорошенной равниной, по которой, повторяя извивы реки, настырным ужом полз товарный поезд. Он зорко вгляделся туда, где горбился край Земли, опаленный сполохами нарождающегося утра, – словно острым ножом вспороли ночь, и

из нее вывалились тонкие, рубиновые кишки облаков... Пепельные заплаты полей, щетина оголенных лесов, набухшие груди гор, прозрачные глаза озер, голубоватые вены рек. Но как ни всматривался он сквозь сизые мазки снеговых туч, не мог зацепиться взглядом за окраину родного улуса – сколько бы ни набирал высоты...

За миг до прозрения он учуял соленый привкус опасности. Раздувая ноздри, вскочил, удержавшись на скользком железном полу. Но тут же упал под ажурным виадуком, сбитый с ног световым залпом прожектора. «Еще один на четвертом-вертом-вертом-том!» – летящее над путями эхо вновь поставило его на ноги. Он и в самом деле был один: «земляка» след простыл. Жорик бежал вдоль состава, прочь от виадука, от прожекторных лучей, резавших на куски мгlistую предрассветную серятину. «Вон он! Лови его!» – по межпутейному коридору, топоча, надвигались зыбкие тени. Жорик нырнул под состав, перекатился по шпалам и припустил в обратную сторону, путая след. «Стой! Хуже будет!» – пришпорили сбавившего темп Жорика. Он проскочил перед носом маневрового тепловозика, опять нырнул под вагоны, напугав осмотрицу в оранжевом жилете...

Обняв вздымающуюся грудь, с искаженным от легочной боли и звона в ушах лицом, он припал к бетонному столбу у края платформы. Глаз безразлично отметил нехотя выплывающую из тумана зеленую морду локомотива и, лишь когда мимо Жорика замелькали выпуклые буквы: «Я-И-С-С-О-Р...», он отлепил свое тело от столба. Боясь спугнуть поезд, мелким шажком потрусил в хвост состава.

Кавказец с почерневшими щеками горячо, как старого знакомого, приветствовал его в тамбуре – без капли удивления, лукаво подмигивая измученному, перемазанному с ног до кепки Жорику. Ошалелая, ничего не понимающая проводница, зажав в руке флажок, лупила глаза, будто он явился с того света.

Его мучила жажда, но он прошел мимо титана к своим. Все спали, тетка всхрапывала, старуха лежала, отвернувшись к стенке. Предрассветный сон – самый крепкий. Об этом хорошо знают, например, воры. Но какой же он вор, если хочет вернуть назад взятое по ошибке?...

Он склонился над старухой, она вздохнула во сне, губы ее раскрылись. Жорик еще некоторое время постоял над ней, прислушиваясь к чему-то внутри себя. В окне сквозь редящий туман проступали железнодорожные

постройки, депо, тележки, багажное отделение... Через минуту, хлопнув тамбурной дверью, кто-то уже спрашивал свободное место. Голос прозвучал неестественно громко, новичка осадили – люди же спят!

Задержав дыхание, он опустил руку в карман и мгновенно понял все: «брат во Христе» спер транзистор! Уже рывком, обмирая от предчувствия, чуть не разодрав непослушными пальцами куртку, сунул руку за пазуху... Так и есть! Деньги! Их не было. Только письма были на месте.

Он приподнял старухино одеяло, шелковый платок бесшумно скользнул за овчинную подкладку. Бездумно, уже не заботясь о тишине, снял куртку, брюки, сапоги, влез на полку и почувствовал, что безмерно, до телесного гуда, устал. Устал в эту ночь, как не уставал давно, больше, чем за все шабашки разом. Ему вдруг представилось очень важным, спасительным, что его ночной попутчик не украл пи-сем. «А ведь мог... Слава богу...»

Кажется, он заболел. Ныла поясница, знобило. Видимо, застудил нутро на железном полу ночного товарняка, просквозило в полувагоне. Старуха сидела рядом, у столика, и по своему обыкновению пялилась в окно. И чего там хорошего? Плацкартный, покачиваясь на рессорах, бежал по равнине, наверняка через красивые места, да попробуй разбери – крупные хлопья снега намочили стекло, водяные змейки размыли дорожный пейзаж.

Внезапно стало темно, как в погребу. Поезд с адским воем влетел в тоннель, иначе, гулко застучав на стыках. В соседнем купе заплакал ребенок. Старуха отпрянула от окна, твердыми, что корни, пальцами схватила Жорикову руку. Тоннель попался длинный, старуха тряслась осенним листом, не разжимая пальцев. Боялась, уйдет, что ли? Куда ж он, без денег?!

Уши горели от поднимающейся температуры и стыда. Ну, «брат во Христе»... И сам-то хорош!..

Так же внезапно обрушился свет, словно сдернули штору, старуха заморгала глазами, через стенку ойкнули и засмеялись. Жорик, поймав насмешливый взгляд золотозубой тетки, отдернул руку, отодвинулся от старухи. Эта золотозубая клуша ни ночью, ни днем не покидала своей полки, обложившись подушками, уж не решила ли снести золотое яичко?

Жорик прикрыл глаза, его зазнобило от яркого света. Белизна стояла в окне во весь рост – цвет болезни.



Утром Долгор надумала порадовать земляка, и уж было подозревала парня с верхней полки – он и вчера ходил за едой, принес сдачу. Она перерыла чемоданчик, постель, ощупала дэгэл, сходила в тамбур – денег нигде не было. Ах, старая она, глупая... Зачем она без конца разворачивала шелковый платок, уходила в тамбур смотреть на фотографию Матвея? Конечно же, деньги из платка выпали! Глупая она курица! Надо было отдать деньги провожатому, у него бы они не пропали!

Она еще долго мысленно кляла себя и не придумала ничего лучшего, как умолчать о потере, а в Москве пойти к милиционерскому начальнику. Ах, старая она, глупей ребенка...

В окне тянулись засыпанные снегом поля, по тусклому полотну разливался сырой желток солнца... Зима и в этих краях наступила раньше обычного, а зимы ей не пережить...

Мужчина в боковушке шелестнул газетой, купленной на станции, и громко прочитал, что в ряде областей средней полосы выпали обильные снегопады, каких не припомнят старожилы. Созданы штабы по борьбе со стихией, на отдельных участках железной дороги действуют аварийные бригады по расчистке путей.

Тетка напротив, не поднимая головы от подушек, сказала, что это ее не касается. Лично она за проезд заплатила, пусть чистят.

Унимая сердце, Долгор пошла к знакомой молодой мамаше. Наблюдая, как та бережно баюкает ребенка, она успокоилась, отметив красоту светловолосой женщины. «Сын», – сказала мать. Скосив смеющиеся глаза на розовое личико сына, мамаша шепотом затараторила: она мучается поездом от того, что боится летать самолетом. «Не за себя», – добавила женщина, но такое понятно и без слов.

С горящими ушами – скорее, от выпитого дармового вина, – забыв обо всем, Жорик с упоением играл в дальнем купе в карты. Поначалу, со смехом вернув полтинник, игроки, посматривая в окно, с энтузиазмом обсуждали погоду, говорили о лыжах – играли между делом. «С первым снегопадом!» – отложив карты, поднял стакан с рубиновой влагой кавказец, чокаясь с Жориком, подмигнул высокой проводнице, подметавшей в проходе. Проводница прыснула, как девчонка. Солдат понимающе ржал, подкручивал бачки, студент Петя краснел. Играли с прибаутками, подначивая друг друга, мелочь на крышке «дембельского» чемодана отливала больше медью. Незаметно смешки стихли, прибауток поубавилось, в кон пошли тяжелые



железные рубли – Жорик, окончательно усвоив нехитрые правила игры в три карты, поднял ставки. Терять ему было нечего. Когда на чемодане зарозовел первый червонец, студент побледнел и полез под подушку. Карты шлепались о чертову кожу в сгустившемся молчании, плотно сжатые губы игроков кривились от сдерживаемых ругательств. Кавказец яростно вращал белками, чернел и подергивал щекой. Солдат, расцепив галстук, хватался за волосы. У Жорика кругом шла голова. Выигранное он, как наседка, держал под собой и, чтобы поднять ставки, вынужден был каждый раз вставать. С высоты своего положения он увидел, что сорвал и последний банк. Кавказец и солдат, переглянувшись, деланно засмеялись, звякнули с горя стаканами – расстались с деньгами, как мужчины. А вот студент Петя зарылся в подушку и затих.

– Все? – хрипло выдавил Жорик, сгребая выигрыш в карман.

Избегая взглядов недавних партнеров, он что-то промямлил, ринулся к туалету. Дернув ручку с надписью «занято», он вышел в грохочущий тамбур. Шершавые языки трапов ходили ходуном, сквозило, пахло мазутом и тающим снегом. Присев в углу, Жорик зашевелил губами – считал. Руки тряслись: «Вот так-то, вот так-то!» Сойти на большой станции, там ресторан, жратва, подумал Жорик и сбился со счета.

В этот момент в тамбур вошел кавказец. Он улыбался, чмокал красными от вина губами.

– Друг! Товарищ! Бра-ат! Споем! Вот эту... «Земля в иллюминаторе, Земля в иллю... иуми...» Тьфу! – Он качнулся к стенке.

Жорик пощурился снизу вверх: еще один «брат» выискался!

– Ну, харашо! – кавказец присел рядом. – Пойми... Деньги – тьфу! Не это главное! Главное – ты, я, он! Мне денег не жалко, солдату Вите тоже. Харашо! Их можно еще заработать, солдат Витя едет домой – он тоже их заработает! А студент Петя едет на эту... практику, вот! Чужой город! Он плачет! Не веришь, иди посмотри...

Зажав в кулаке деньги, Жорик встал. Из-под лязгающих трапов поддувало. Он поежился.

– Чего надо?! – клацнув зубами, тонко выкрикнул Жорик и записал деньги за пазуху.

Кавказец медленно поднялся, нахмурился, сдвинув брови, и оказался выше на голову. «Кинжал!» – нелепая эта мысль заставила Жорика пригнуться.

– Ну, харашо... – лицо кавказца исказила гримаса. Он прижал руку к груди. – Студент Петя, он плачет. Мальчишка... Отдай ему деньги, а? Очень прошу, а? А мои деньги и солдата Вити деньги, сделай одолжение, оставь себе! Будь другом! – Поросшие густым черным волосом руки очутились на уровне Жориковых плеч.

– Не-ет! – Жорик бросился в распахнутую дверь, пробежал по трапам, хлопнул тремя дверьми и обнаружил себя в купейном вагоне. Чисто, светло и никого нет. Одернув пиджачок, вздрогнул от близкого хохота. В купе, за наполовину отодвинутой дверью красивые, откормленные парни в цветастых тренировочных костюмах громко, заразительно смеялись. Он огляделся – больше не над кем. Жорик будто отразился в большом зеркале – сапоги, мятые брюки, дикий взгляд... Втянув голову в плечи, просеменил в тамбур.

Он вытащил комок денег, пересчитал: их хватало только на один билет домой.

Чувствуя головокружение и тошноту, он ступил в родной вагон. Оценить подвиг Нурова было некому. Сморенные портвейном солдат Витя и кавказец храпели – каждый на своей полке. Обильные слезы уложили и студента Петю. Он спал, как плакал, – зарывшись головой в подушку, приподняв угловатые мальчишеские плечи, даже спиной выражая обиду. Жорик коснулся затылка.

– А! Что? – студент сел, заморгал близорукими глазами.

– Тс-с... Разбудишь... – промямлил Жорик, ощущая сухой жар в гортани. – Держ-жи, студент... Учись хорошо...

Он отдал мятый ком денег и, шатаясь, двинулся по проходу. Студент за спиной растерянно молчал.

Поглощенная невеселыми думами, Долгор не сразу услышала трудное, с хрипом, дыхание Жорика. Он хотел залезть на свою полку, но, сбросив сапоги, свалился вниз.

Долгор раздела его. Выпросив у проводницы тазик, оберла теплым полотенцем до пояса. «Оёя-а...» – вздохнула она, увидев худое темное тело с острыми ключицами. Болезнь проступила на лице желтизной и бисеринками пота. Чтобы заставить хворь покинуть тело обильным и жарким потом, надо не мешкать. В служебке проводницы она заварила в кружке сушеные листья, которые везла в чемоданчике, выпоила отвар больному. Придерживая за плечи, касаясь губами его лба, она почувствовала, что у ней прибавилось сил.

Морозный попутный ветер пригнал черные бокастые тучи и ушел прочь от стылой железной колеи, рассекавшей Россию с востока на запад. Поезд с одноименным названием медленно, но верно размещивал очередной часовой пояс, упрямо пробиваясь сквозь непогоду к станции назначения.

Жорик, отбросив одеяло, катался затылком по подушке. «Вор! Вор! Вор! Лови вора! Стой, ворюга, хуже будет!» Невероятным усилием он разрывает кольцо врагов и бежит по зимней степи, всеми четырьмя копытами увязая в снежном насте. «Еще один на четвертом-вертом-вертом-ртом!..» – эхом несется над степью. Беглеца ловят, связывают, водворяют на место, в клеть. Ремни больно врезаются в шкуру. Что еще задумал враг?! Горло дерет дым – едкий, пахнущий паленой шерстью. Бревна трещат, как спички, рыжее пламя собакой кусает ноги. Зачем эти люди подожгли кошару?!

Долгор почти всю ночь не смыкала глаз: поила больного отваром, обтирала влажным полотенцем. Во второй половине ночи небо разъяснилось, низко зависли неподвижные звезды, отражаясь на глади эмалированного тазика. Ветер в вышине, сменив курс, прогнал тучи, просыпанный ими снег улегся плотно, теперь уже надолго. «Оёя-а...» – вздыхала Долгор, глядя то на звезды, то на заострившееся, с жесткой редкой бородашкой лицо больного, кусавшего во сне губы. Она положила на лоб мокрое полотенце, негромко запела. То была странная песня, почти без слов. Мотив ее выпевался сам собой, лился свободно, кто-то когда-то уже пел эту песню. Забытую слабость ощутила она, когда разгладилось лицо больного, он задышал ровно и глубоко. Не раздеваясь, она прикорнула с краю, накрылась дэгэлом. Старая глупая Долгор хоть кому-то еще нужна...

И тогда ему приснилась степь. Он лежит, раскинув руки, примяв высокие травы, а они клонятся к нему пушистыми метелками, щечкуют лицо и голую грудь. Хорошо лежать так после долгого бега, не думая ни о чем, щурясь на яркую синеву, слушать, как шмелем гудит, нагоняя истому, ветерок над головой, и, пока сохнут струйки пота, затылком ощущать, как медленно и величаво проворачивается степь... Мама, молодая и красивая, пришла босиком по этой степи, положила на лоб, теплый от солнца, шершавую, в мозолинках, ладонь, голос ее взмыл над долиной, отразился в хрусталиках синего-синего неба... Он, маленький мальчик, чуть не заблудился в лесу, но его вывел к знакомому озерку с зарослями осоки и харганы сладкий запах

маминых подмышек. Где же ты так долго была, эжы?.. Лодка мягко оттолкнулась от берега, поплыла, раздвигая кувшинки с белыми цветами, легкая рябь добежала до белых гусей. Вздыхая радужную пыль, птицы взлетели, оросив лицо, овеявая грудь прохладными крылами...

Жорик очнулся на мокрой холодной подушке.

– Че, не околел пока что? – прищурилась золотозубая тетка, покаясь на подушках. – Ишь, мать-то замучил! Это все болезнь грязных рук! Руки надо мыть перед едой, понял? А впрочем, говори не говори... – тетка, зевнув, перевернулась на другой бок.

Жорик уже научился не слушать золотозубую. Он вообще боялся говорить: рядом, сунув под щеку кулачок, беззвучно спала старуха. Платок сбился на плечи, седая косичка обвила шею. Жорик поправил джэгэл, хотел подложить подушку, но побоялся разбудить: когда еще удастся старой так сладко уснуть?.. За окном, тонко расписанном ночным морозцем, лежал снег. Снега было много, он успел покрыться корочкой и оттого казался подсвеченным изнутри. Снегом занесло вторые пути, одинокий строительный вагончик, останки трактора и груды металлолома. Сугробы здесь намело, должно быть, в пояс. А там, на взгорье, пробивалась щетинка хвойного леса, за его верхушками вспухала, покалывая глаз, оранжевая гортань, розовые языки облизывали снега. Ветра не было, и все: поле, лес, поезд, – порозовев, застыли в ожидании чуда.

И солнце взошло.

Жорик понял, что его разбудило, – тишина. Поезд стоял в чистом поле.

«На данной дистанции пути образовались снежные заносы», – так почему-то вполголоса сообщил пришедший из туалета мужчина-всезнайка с электробритвой в руке. «Как ваше здоровье?» – поинтересовался он, укладываясь в своей боковушке. Гм, как его здоровье? Так легко он себя еще не чувствовал. Разве что в детстве. Необычная легкость заполнила все клеточки тела.

Жорик с нетерпением дождался пробуждения своей спасительницы и подробно расспросил ее о Матвее, имя он помнил из письма.

Ободренная участливым голосом попутчика, Долгор повинулась в утере денег. Старая она, глупая...

После часовой стоянки заняли смерзшиеся вагонные буксы.

«Мы едем, едем, едем в далекие края!..» – с криками в купе ворвались кавказец со студентом Петей. Они принесли разнообразной

еды в промасленных пакетах, яблок и вина. Все это они навалили на столик, кавказец хлопнул Жорика по плечу, поцеловал руку Долгор, ущипнул за бок раскрывшую было золотозубый рот тетку, чинно представился мужчине-всезнайке, подмигнул парню с гитарой и с ходу, переспросив имя, произнес тост во славу Жаргала Нурова – хорошего человека.

На Жорика напал зверский аппетит. Он обсосал куриную ножку, заел сыром, зеленью, копченой колбасой, запил сухим вином, хрустнул яблоком. Не отставал и парень, от волнения позабывший надеть ботинки. Правда, от вина он категорически отказался, даже рассердился, когда его начали уговаривать. Тетка пила вино, как воду, Долгор обсасывала крылышко. Мужчина из боковушки сослался на язву, но, подойдя, втянул воздух и сообщил, что увлекается сыроедением. Утолив жажду и первый голод, спели песню. Студент Петя полез целоваться к Жорику. На песню прибежала высокая проводница, взбила прическу, ухватила яблоко, провожаемая уважительным причмокиванием кавказца. И тут выяснилось неожиданное. Кавказец бывал со строительной бригадой на родине Жорика. Чуть ли не по соседству, не в одном и том же селе – до или после, неважно. Сам он не кавказец, но с гор, зовут его Гога. Может, бабушка или Жаргал слышали? Я ваш земляк! – вскричал Гога. Он даже знал артельного дядю Васю, встречались по делам сугубо пиломатериальным. По этому поводу чокнулись еще. Гога хотел бежать в вагон-ресторан, там работает настоящий земляк, но его удержали. Тогда он стал звать Жаргала на сезон в теплые края – им нужны хорошие плотники, а перед своими он замолвит за хорошего человека словечко... «Едем, ну?! – кричал Гога. – В Москве пересадка! Ты ел дыни?..»

Лучшего выхода в его положении Жорику было не придумать. То, о чем мечталось. Хорошо, что сдуру, сгоряча, но отдал выигранное! Жорик встал, закашлялся, растянул в улыбке рот и увидел перед собой склоненную, с седой косичкой голову. Долгор с трудом удерживала в руке большую кружку, из которой поила отваром. Жорик сел. Гога ничуть не обиделся, посчитав отказ естественным, хлопнул по плечу и записал свой адрес. Студент Петя окончательно расклеился от вина, но тоже мямлил про комнату в общежитии...

Гога тепло распрощался с каждым, объясняя, что скоро столица нашей Родины, нехорошо появляться в ней в таком виде, надо маленько поспать, маленько привести себя в порядок. Он пытался напо-

следок спеть про «грохот космодрома», но запутался в длинном слове и махнул рукой, увлекая за собой студента Петю.

Шум привлек мальчугана в матроске, слонявшегося по вагону с перочинным ножиком и деревяшкой. Грустными синими глазами он поглядывал на Жорика и сказал, что хочет пустить кораблик в море. Жорик снисходительно улыбнулся: море скоро замерзнет. Мальчуган возразил: они едут с папой на юг, к настоящему морю, а оно никогда не замерзает. В Москве они сядут в самолет, а у него до сих пор нет кораблика.

Набросив на плечи одеяло, Жорик стругал перочинным ножиком деревяшку. Держась за его колено, приоткрыв ротик, прямо ему в ухо дышал мальчик, во все глаза уставившись на руки небритого дяди. От мальчишеского сопения и немого восхищения Жорик был на верху блаженства. Болезнь еще давала знать, руки подрагивали, но он собрался с силами – внимание обязывало. Вокруг него сгрудились: молодой майор, чьей голубоглазой копией был мальчуган, мужчина-всезнайка из боковушки, с верхней полки свесился парень. Сползающее со спины одеяло придерживала Долгор.

Он обточил корму и принялся за палубу. В каюте сделал отверстия-иллюминаторы. Затем пришел черед пушки. Мальчик заволновался, заерзал, попросил оставить место для матроса. И тут мужчины заговорили. Больше других усердствовал всезнайка из боковушки, заявив, что у кораблика не выдержан центр тяжести и на волне он неминуемо перевернется. Майор и парень принялись защищать творение Жориковых рук.

Вмешалась задремавшая было золотозубая. Оглядев каждого, заметила, что мусорить и стругать в поезде запрещено. Мужчины молча разошлись по местам. Жорик пообещал мальчику закончить кораблик и сделать каюту для матросов. Долгор собрала щепочки и уточкой поковыляла в тамбур. Золотозубая подняла крышку нижней полки, широко расставив ноги, принялась озабоченно перебирать свой багаж. Она рылась долго, с головой окунувшись в багажник, так что Жорик, вынужденный наблюдать ее нелепую позу, переглянувшись с парнем с верхней полки, заржал. Захохотал с готовностью и тот.

Крик золотозубой перебил грохот и посвист встречного поезда. Щекастое лицо побагровело от гнева и долгого пребывания в багажной яме.

– Ворюги, ироды, чтоб вам повылазило! – Тетка размахнулась кошелкой, с пластмассового глянца подмигнула известная эстрад-

ная певица. Неожиданно у Жорика нашелся защитник – старуха. Она шикнула на глупую клушу: ее сыновья никогда не были ворами! Она едва доставала противнице до плеча, но тетка отступила, переключилась на посмеивавшегося со своей полки парня.

– Шпана недобитая! А ну, слазь, ирод! Я еще на вокзале ты приметила, ворюга! От милиции ховался со своей балалайкой!

Парень сполз вниз. Мужчина-всезнайка, сложив газету, встал, прихватил «дипломат» и вышел.

– Врете вы все, тетенька, – ломким баском спокойно ответил парень. Но руки, ощупывавшие свитер, дрожали. – Я не прятался...

– Ха! Думаешь, не слышала, что тебе сержант сказал! – махнула кошелкой золотозубая, повернулась к сбежавшимся на крик пассажирам, приглашая в свидетели. – Уследил, подлюка, когда залезть под сиденье! Таких в проруби топить надо! А накололся – то, накололся!

Парень затравленно смотрел на людей, забивших проход.

– Так уж и в прорубь? Чего хоть пропало – то? – раздался рассудительный голос.

– Средство одно. Импортное, – гордо произнесла тетка. – Для мужчин.

– Чего, чего? – люди засмеялись.

– Знали бы, сколь за него плочено!

– Зарплаты хватит?

– Твоей – нет! – отрезала тетка.

– А мужчина, извиняюсь, не старый? – напирал остряк.

– Не лысей твоего! – огрызнулась тетка.

Насмеявшись, пассажиры начали расходиться. Тетка поняла, что упустила инициативу и сама, кажется, стала посмешищем. Схватив парня за свитер, она заорала в проход: «Люди! Вы у него паспорт спросите! Милици-ия!»

Парень с треском рванул рукав, схватил расстроенно вскрикнувшую гитару, сорвал куртку и, расталкивая народ, большими шагами пошел по проходу. Поезд, нагоняя часовое отставание, неся на предельной скорости, вагон приседал на рессорах, тенями мелькали столбы. Жорик поглядел в окно, наступая на чьи-то ноги, кинулся следом за парнем.

В тамбуре было свежо, гулко. Парень тянул вагонную дверь на себя. Обеими руками Жорик пытался отлепить будто приваренную к ру-



кояти кисть с наколкой заходящего солнца. Парень, не поворачивая головы, отшвырнул Жорика на железный подрагивающий пол, деловито откинул ребристую крышку. Зажав под мышкой гитару, спустился на нижнюю ступень. Жорик закричал, крик его потонул в лязге сцепки и перестуке колес, вновь ухватился за ту же руку.

– Убьешься, парень! А-аа! Убьешься, дурень! – безостановочно, задыхаясь от ветра, кричал Жорик. Из-под ног, бешено вспениваясь, закручиваясь воронкой, рвалась земля, ошметки грязного снега летели на голенища, крутой песчаный откос подлезал под колеса...

– Уйди, богом прошу, уйди! Гад! – матерясь, парень ударил Жорика локтем в грудь и выпустил из рук гитару. Жорик, отброшенный сильной рукой, ударился о поручень.

– Гитару жалко! – в сердцах сплюнул парень на пол тамбура. – Больно?

Жорик потрогал вздувшуюся над глазом шишку, кисло улыбнулся, сел на корточки.

– Ты не сиди на полу. Простынешь заново. Меня Филином кличут. А вообще-то я Серега. – Парень присел рядом и посоветовал: – Тебе бы снегу приложить...

– П-прыгнуть? – Жорик мотнул головой на дверь. Они начали хохотать. Аж слезы выступили.

– Дурной я бываю, – отсмеявшись, сказал Серега. Присвистнул, сложив трубкой пухлые губы. – Головка, видно, пустая! Мне пить нельзя.

– Ты же не пил, – удивился Жорик.

– Да это я так, к слову... А ты ничего. Правду этот Гога сказал. Тебе сколько лет, Жора?

Услышав ответ, снова свистнул.

– В отцы сойдешь! – подумал-подумал и добавил: – Слышь, че эта дура раскудахталась? Ведь как напугала, а? Уж такой меня мандраж схватил, и впрямь я это средство от детей выпил!

– Для мужчин, – сказал Жорик, трогая шишку.

– Черта ей лысого, а не мужика! – выругался Серега-Филин. – На, куртку мою накинь, теплая, мать прислала... Больной ты еще! Я-то привычный... А! Я ведь деньжата, что там заработал, сразу домой перевел, только на билет и гитару оставил, мечтал давно... Ни копейки! Чтоб никаких соблазнов! Думал, от голода вспухну, а домой доберусь! Я ведь какой? Копейка завелась, пошло-поплыло,



красоваться надо, дурень-дурнем! Ничего! Теперь немного осталось!

Парень провел рукой по стриженным волосам, хохотнул.

– Когда эта зубастая милицию крикнула, сердце упало, веришь? Все, думаю, приехал! Объясняй потом, что не верблюд! Ничего! Заезжай, будет время! – Серега повторил название подмосковного городка, усмехнулся. – Меня там каждая собака знает! Общественность, словом.

– Спасибо, Сергей. Мне дело сделать надо, – Жорик отдал куртку, попробовал на слух пришедшую мысль. – А потом – домой...

– Домой? Это я понимаю! А важное дело?

– Ага! Ты не прыгай больше, – он потрогал шишку, та была горячей.

– Заметано! Прощай, брат! – Сергей-Филин крепко пожал руку, шагнул по грохочущим трапам в следующий вагон – навстречу дому.

## V

По сути Москвы они не видели.

Многоголосица, людской водоворот, обилие красок, шумов, чemo-данов настолько подавили чувства, кажется, втоптали их в мокрый от мгновенно тающих снежинок асфальт.

Едва ступив на перрон, они растеряли вагонных попутчиков, сгинувших в толпе. Жорик стиснул старухину руку и, подхваченный потоком пассажиров, устремился к вокзалу. Некоторое время он шел следом за приметкой фигурой золотозубой тетки, облепленной узлами и сумками. Тетка уверенно катилась впереди, пытая и уворачиваясь от предложений носильщиков. Она нашла – таки средство для мужчин и, отмякнув, обещала Жорику показать на вокзале где и что. Но вот и она исчезла в толпе. Жорик по инерции нырнул в темный зев подземного перехода. Людской поток вынес его напрямиком в зал ожидания. И только тут он понял, что потерял спутницу. После часового бегания вокруг вокзала – одного из трех, окружавших гудящую от машин площадь, – хлопнул себя по лбу: как же сразу-то!..

Долгор дремала на лавке возле фонтанчика. Она сразу же хотела пойти в милицию, но Жорик ее удержал. Он забыл дома паспорт, а с этим в столице строго: посадят до выяснения личности. Примерно

так он объяснил старухе. Та поспешно кивнула – после утери денег она молилась на провожатого, обещавшего исправить ее оплошность.

Было тепло и сыро. Ревели клаксоны, шины шелестели по асфальту, кумачовые полотнища оттеняли строгую величавую красоту толстостенных зданий. Красивы были и люди, модно одетые и причесанные. Не обращая внимания на толчки, Жорик стоял на тротуаре, раскрыв рот, вдыхал как-то по-особому пахнущий московский воздух и слабо гордился, что и он тоже, пусть не самый лучший, но гражданин страны, у которой такая прекрасная столица.

Накупив у очкастой лотошницы теплых пирожков, довольный собой Жорик побежал обратно на вокзал. Со старухой было неладно. С пожелтевшим от страха лицом, что-то мыча, она тыкала в огромное, в два человеческих роста, расписание поездов. Его подпирал молодой негр в белом плаще, он ослепительно улыбался светловолосой девушке, прижимая к груди розовые ладони. Жорик пытался успокоить Долгор, уверяя, что черный человек ничего ей плохого не сделает. Но старая вновь стала твердить про милицию, и Жорик решил на крайний довод. Он подошел к негру, тоже прижал руки к груди и выразил солидарность с борющейся Африкой, как мог, заклеил апартеид. Негр посерьезнел, сомкнул полные губы, гневно вращая белками, больно сдавил руку. Девушка успокаивающе коснулась рукава спутника.

Под бездонным потолком гулко расплескалось: «К сведению пассажиров...» Старуха приставила к уху ладошку.

Тщательно изучив расписание поездов, Жорик нашел то, что искал: «Березняки». Именно так, кажется, называлось то место, где, согласно извещению, потерялся след Матвея.

Перекусив на лавке пирожками, запив их у фонтанчика, они купили билеты на последние деньги.

В душном, битком набитом вагоне Жорика сморило. Он поудобней обхватил чемоданчик и захрапел.

Долгор безучастно смотрела в окно: она никогда не думала, что живет в такой огромной, необъятной стране. Электричка мчалась мимо ухоженных дачных домиков, заводских труб, каменных заборов, а перед глазами все еще были занесенные снегом безжизненные поля... У ней стыли ноги и кончики пальцев. Слезы стекали по морщинам: «Оёяа-а...» Найти человеческий след здесь – что увидеть в степи ветер!

Жорик очнулся от торможения, протер глаза, Поезд снова прикатил в зиму. На перроне было шумно. Толпилась молодежь. Веселые лица, вязанные шапочки, легкие куртки, лыжи на плечах. Жорик позавидовал беспечным лыжникам: у него ноша потяжелее. Взгляд скользнул поверх вязанных шапочек и пушистых веток под крышу маленького вокзала с эмблемой МПС, снег и тут приклеился к карнизу, к крупно нарезанным буквам.

Жорик пошевелил губами, разбирая название станции, а разобрав, задохнулся, застучал в окно.

– Березняки, Березняки!

Долгор вздрогнула – слово всплыло косой строчкой на стершемся извещении, – стукнула кулачком по стеклу: «Березняки! Мини хубун!»

Жорик сграбастал чемоданчик и старуху, растолкал пассажиров в тамбуре.

Снег вкусно хрумкал под кирзухами. Все было новым: каменный вокзальчик, мохнатые деревья, фонари, скамейки, водонапорная башня.

Жорик, оставив старуху, со стеснением в груди подошел к гомонящей, в ярком оперении стайке парней и девчат. Запнулся на ровном месте:

– 3-здесь была война?

Лыжники умолкли, завитушки девичьего смеха повисли в воздухе. Румяные, белозубые, голубоглазые, они ощупывали чужака с кепки до сапог.

– Ты что, дядя, с Луны свалился? – серьезно спросил широкоплечий парень, перебросив лыжи с руки на руку. Девушки захихикали...

Усадив старуху на лавку в пустом зале ожидания и наказав никому не отлучаться, Жорик шагал по путям. Впереди горела рубиновая точка семафора, в нос бил креозотный дух. Ветер, подгоняя, охлаждал спину. За темной глыбой водонапорной башни слышался стук и звон. Бок башни был опален светом, значит, там кто-то есть.

Облитый желтым лучом человек в армейских галифе, сапогах, распахнув телогрейку, грузил в тачку уголь. Узкие блестящие рельсы уходили в раскрытую пасть башни, над воротами, освещая красноватую кладку и жирные угольные кучи, был укреплен прожектор. Кочегар не сразу обернулся на приветствие, сосредоточенно елозя лопатой. Жорик подошел ближе, подставляя лицо свету. Кочегар обер-

нулся и – замер с лопатой, как памятник. В обоюдном изумлении таращились они друг на друга, наверное, одновременно помывшись о наваждении. Жорик хотел улыбнуться старому знакомому – «земляк», но тот бросил лопату, поднял короткий лом:

– Не подходи! Слышь, не подходи!

Свет падал косо, оттеняя пол-лица – оно было страшно. Жорик понял: боится.

– Брось железку. Дурак, мне ничего не надо, – как можно спокойней сказал он и сделал шаг вперед.

– Не подходи! Зашибу! – «земляк» попятился, чуть не упал, лом звякнул по мерзлой куче угля.

– Что ж ты, брат во Христе, своего земляка, да?! – тонко выкрикнул Жорик и, ощущая холодок в груди, пошел на него.

«Земляк» размахнулся, взвыл, уронил лом и плюхнулся на угольную кучу.

Жорик присел рядом, помедлив, легонько толкнул в бок.

– Чего тебе? – глухо, не поднимая головы, сказал «земляк». – Ну... зови милицию... – он вынул из-за пазухи радиоприемник, протянул, не глядя. – Деньги!.. нету денег...

– Дурак, – Жорик щелкнул колесиком, транзистор пискнул, передал штормовое предупреждение на завтра и на том, похоже, испустил дух. Жорик помолчал: глупо, в конце концов, обижаться на свое отражение.

– Ну, украли, украли у меня деньги! – не выдержав, вскочил «земляк». – Хмырь один напоил, гад!.. Ну?! Ударь, ударь, вот, лом возьми, ну?! Веришь?! У-у!

Жорик сдернул резинку с приемника и бросил на уголь плоскую батарейку. Полегчавший корпус протянул «земляку».

– На. Батарейку достань.

– Как это?! – оторопел тот. – Ты – мне? Вот это? За что?!

– За то самое.

– Врешь! В милицию заманиваешь! Не бойсь! Валяй! Вот он я, тут, с потрохами...

– Дурак, – сказал Жорик и поднялся.

– Не-ет! Ты погоди! – догнал его в темноте «земляк». – Ты... это... забирай свою тарыхтелку! – Вдруг залился мелким бесом, словно в горле запрыгала горошина, засуетился. – А я тут разжился, ха! При кочегарке-то! Факт! Со вчерашнего вкалываю! Подменил одного,

скопылтлся тут землячок... Сапоги вот дали... Хотя в армию счас! Местечко – теплее некуда!

– А как же с этим... достоинством?

– Чего?

– Ну... Ты же запретил себе работать, – усмехнулся Жорик. – У тебя же этот... принцип!

– А-а, ты об этом... – почесался «земляк». – Хрен с ним! Ты-то каким ветром?

– Попутным... Я не один.

– Но?! Ты даешь!

– Курить есть? – облизнул губы Жорик.

– А то нет! Айда ко мне!..

Старуху они пристроили на лучшее место – на продавленный кожаный диван. В мрачном зале кочегарки в окружении больших маслянистых луж под высоким, теряющемся в темноте потолком ровно гудели, полыхая жаром, котлы. А в отгороженной фанерой бытовке было светло, на застеленном клеенкой столе сипел чайник, со стенки улыбались прикнопленные кинозвезды. На шатких ножках в углу – шкафчик с небогатой посудой.

Поминутно выбегавший проверять давление в котлах «земляк» наконец успокоился. Отхлебнул из кружки крепко заваренного чая, кивнул на вырезки из зарубежных журналов.

– Парнишка один... Его и скрутило – в больницу увезли! А тут я... Ни паспорта, ни сапог. Взяли с этим... испытательным, ха! Спецуху обещали... Бес попутал на этой станции соскочить! Товарняк застопорили! А я на этот раз с чувством, с толком сел – в натуральном вагоне! Сена – завались! На юга подался!

«Земляк» похихикал в своей манере, бросил озабоченный взгляд в раскрытую дверь бытовки – во тьме багровой каемкой полыхала топка, – отхлебнул из кружки. Жорику было хорошо, клонило в сон. Старуха на диване уже посапывала, прислонив у изголовья палку.

...– Ну, я и читаю по буквам, значит... – издалека доносился счастливый голос, – читаю... «Бе-рез-ня-ки»! Ха! Мать честная! Дак я ж с этих мест! Ну и слез, балбес, будто кто меня с цветами ждет! Да тут с войны все переменялось...

Жорик вскинул тяжелую голову, прогоняя сон.

– К-как ты сказал?

– А чего я такого сказал? – насторожился «земляк», глазки его забегали. – Ничего я такого не говорил...

– Ну... про войну...

– А! Все село сожгли! – махнул рукой хозяин кочегарки. Отставив кружку, он вышел к котлам. Вернувшись, принялся рассказывать анекдот про старуху и старика.

– Постой... – поднял руку Жорик. – Ты про войну расскажи, про Березняки эти...

Хозяин покосился на спящую старуху; багровые отсветы топок лизали морщины Долгор, фанерные стены, красивые женские лица...

– Ну... бои тут были... Жуткие! Я-то не помню, рассказывают... Березняки – этого села, считай, и нет совсем. Переходили из рук в руки, то к нашим, то к фрицам... Мы после войны играли в поле, пацанами еще, оружия всякого, патронов – завались!

Жорик осторожно выведал у «земляка», что Березняки заново отстроились, но уже в другом месте, через реку, кроме нескольких старух, войны там никто не видел, и что туда ходит от станции автобус. Час езды, не больше.

– Да тебе-то зачем? – опомнился «земляк».

– Так... Интересно... Работу ищу... – уклончиво ответил Жорик.

– Ты даешь! – захихикал «земляк». – Только учти, там дыни не растут. Факт! И моря нету! Но на всякий случай могу дать верный адресок. Спросишь Ульяну. Она старуха добрая, заночуешь... И про войну обскажет! Если жива... – голос собеседника дрогнул, в темноте подозрительно блеснули глаза. – Ты только не говори, кто ее указал... Не скажешь?

Жорик пообещал.

«Земляк» заглянул в глаза, сказал медленно:

– А ты... правда... прощаешь?

– Правда, правда...

– Ишь ты... – прошептал тот, отворачиваясь. – А мне-то как дальше-то...

Укладываясь рядом с Долгор, Жорик привычно взглянул в маленькое окно: звезд не было. «Оёяа-а...» – вздохнула старуха.

– Далеко еще?

– Не волнуйтесь, эжы. Немного осталось. Здесь была война.

– Слышала... Сил мало...

– Люди помогут, – он погладил ее волосы.

– Да, да... Боюсь только – умру раньше...

Жорик закусил губу. Ему захотелось сказать ласковые ободряющие слова. Таких слов не было.

Он долго не мог уснуть, ворочался, скрипя продавленными пружинами, прислушивался к легкому, невесомому дыханию старухи.

Юркий, обдутый всеми ветрами автобус местного значения, натужно буксую, одолел подъем – впереди, подслеповато блеснув окошками, зачернели избы. «Березняки»! – весело крикнул за перегородкой шофер. Берез-то как раз и не было. Прижавшись щекой к холодному стеклу, Долгор поразились, как похоже это село на Тангут. Та же речка, вроде бы Сутайка, заворачивающая свой хрустальный бег к ельчатому островку, что непокорно темнел посреди снежного моря. Гладкие голубые сопки, поля – белые, без единой точки, как бы взмывающие к белому же, чуть подрумяненному на востоке, небу. Те же сизые дымки над крышами, та же ферма, желтеющая на окраине... Долгор невольно с колотящимся сердцем стала высматривать свой дом неподалеку от сельсовета... И не могла найти.

Чем ближе подплывало село, тем очевиднее было – не то: и река шире, и колодезный журавль не в том месте, и избы сложены по-иному, внахлест...

Жорик клевал носом еще с полпути, когда на тракте сошла основная группа пассажиров. Кроме него в грязном от растаявшего снега салоне тряслось двое мужчин – некто в ватнике, лежащий ничком на заднем сиденье, и усатый сосед с измученным лицом.

«Березняки», – повторил сосед, но как-то кисло, презрительно. Мужчина в ватнике, не вставая, глухо выругался. Автобус бесшумно, как на лыжах, покатился вниз, шофер заорал песню, должно быть, предвкушая отдых на конечной остановке. Жорик стукнулся лбом о железный обод переднего сиденья, вскрикнул, непонимающе уставился в окно. Автобус на полном ходу влетел в село, покатил по пустынной улице, следом, заливаясь, погнались собаки.

Развернулись у магазина с высоким крыльцом. Из двери выпал хромоногий парень, радостно залопотал. Усатый попутчик сошел первым и, вроде бы ожидая остальных, закурил.

С Долгор что-то случилось. Она не могла встать, платок сбился на плечи, руки еле нашарили поданную палку. Поддерживая за локти, Жорик вместе с шофером опустили старуху на истоптанный снег.

– Га, га, Ваньша, Ваньша! – кособоко перетаптываясь, залопотал с крыльца хромоногий. – Достал? Ползи давай, последний ящик остался! Га-га, Ваньша!

С грохотом цепляя сапожищами железный пол автобуса, Ваньша чуть не обрушился на головы. Жорик отвел съезжившуюся Долгор к крыльцу, хотел спросить хромоногого, но не успел раскрыть рта – в дверях появилась толстая продавщица.

– А ну, пошли отсюда, пьянь подзаборная! – закричала она. – Ить не продам, хошь кому-т жалуйтесь! Хошь перед гостями-т не позорьтесь!

– Перед энтими, че ль?! – заревел Ваньша и начал падать в их сторону. Жорик поспешил уйти.

К дому Ульяны их привел курносый мальчишка. Дом небольшой, усадьба ветхая. Ворота почернели, покосились, стайка зияла выломанной доской, огородная калитка едва держалась на одном шарнире. Хозяйка чем-то напоминала дом: низенькая, горбатенькая, со склоненной набок головой, с обожженной черной щекой. Но в избе было чисто, кружками лежали половики, пахло жилым, жареной картошкой на сале, огурцами.

– Чем бог послал, – сказала хозяйка, усаживая гостей за стол. Ульяна говорила тихо, с трудом передвигалась по избе, охая, жалуясь на ноги. Она подкладывала на тарелки то огурцы, то масло, то яички, жалостливо причитая. Узнав о цели их приезда, Ульяна не удивилась, кивнула понятиливо.

Жорик громко сглатывал картошку, сало, яички, глядел в окно на косую, шевелящуюся на ветру калитку, за которой лежала простыня пустого огорода. На душе было ясно. Дальнейшее представлялось незамутненным, как этот снег. У него зачесалась правая ладонь, он натянул кепку, в сенях безошибочно нашел топор, горку гвоздей, обязательный мужской набор – от рубанка до разведенной пилы. Но в каком виде! Жорик побледнел от такого безобразия: заржавлено, запылено, брошено! А ведь в этом доме есть мужчина, он заметил пиджак на гвозде и окурки на подоконнике... Жорик вышел во двор, поудобней перехватил топориче.

Как только гость хлопнул дверью, Ульяна поделилась своей бедой. Долгор напряженно вслушивалась в тихий говор хозяйки с множеством незнакомых, на иной лад, чем в Сибири, произносимых слов.

– Уж не знаю-то, чего-т разуместь! – хозяйка сморкалась, утирая



концом платочка глаза. – Уж все жданки прождала, десить годков как уха-ал... Уха-ал, уха-ал, наряженный да лепотной! Счастья искать! Уж как ахтобус-то разыграет, так серденько-т упадет!

Долгор сочувственно кивала, морщилась скорбно: вот ведь как, у хозяйки тоже пропал сын. Оказывается, не в войну. Этого она не могла понять, но сильно жалела Ульяну...

Жорик, войдя, замер у двери, будто парализованный голосом Ульяны.

– Мороз лютый, а оне-т раздетые, кто и босой вовси-и! Лопаты им дадены, могилки себе рыть...

## VI

Во время артобстрела Ульяна с детьми пряталась в погребе. Бой за Березняки шел второй день, и уже ничто не напоминало о недавнем мирном их облике: огороды перепахали, разбросав изгороди, немецкие мины. Окраина села горела, синие шлейфы дыма косо летели в поле, в степь, смешиваясь с аспидно-черными полосами, уносились в серое небо. Там за разрушенной фермой часто полыхало рыжим, ухало, завывало, штопором врезываясь в уши, непрерывно и сухо, как поленья в жаркой печи, трещали выстрелы...

Осев на горку картошки, Ульяна удерживала старшего – Павлушку, тот рвался увидеть бой своими глазами. Младший, трехлетний Игорек, судорожно обняв за шею мать, дремал.

Ночью, когда умолк бой за фермой, они вылезли из погреба. Ульяна завешала разбитое окно одеялом и, засветив огарок свечи, стала укладывать детей спать. В окно постучались, в избу, запаленно дыша, ввалился человек с черным лицом. Ульяна перепугалась, испугался и Тузик, тявкнул, забился под кровать, заскулил. От человека исходил запах крови. Игорек захныкал, старший брат взрослым голосом успокоил: красные, наши. Острые его глазенки и в неровном мигании свечи углядели тусклую звездочку на шапке. Опираясь на винтовку, красноармеец напился, расплескав воду из ковшика, попросил идти к раненым. Нужны простыни на бинты, еда, теплые вещи, если можно... Они там, в клубе... Скорее, просил боец, на рассвете все начнется сначала!..

Колхозный клуб – просторная изба с наглухо заколоченными окнами – был забит людьми. На сцене горели керосинки, по потолку и

стенам гуляли тени. У самого входа Ульяна чуть не наступила на кого-то. Раненые лежали на полу, на сдвинутых лавках. И не понять было, кто более стонет, увечные бойцы или бабы... Трещали разрываемые простыни, звенели о бидоны ковшики, пахло несвежим бельем, порохом, мокрой одеждой. Ульяна разодрала простыню на полосы, опустилась на корточки, нашарила руку того, на кого чуть не наступила.

Раненый шевельнул пальцами, что-то прошептал. «Что, родной, что? – склонилась над ним Ульяна. – Где болит?» Он не ответил. Из дверей тянуло холодом. Видать, раненого принесли недавно, положили у порога и ушли в окопы. С помощью односельчанки Ульяна оттащила его поближе к печи. Возле нее, приседая, колдовал дед Стас по кличке Козопас – из-за одной довоенной истории с колхозными козами. Сейчас дед Стас, подтягивая спадающие ватные штаны, шурувал кочергой в печке-голландке, кричал: «Эва, ерманец-то как оборотился!» Лицо его с козлиной бороденкой в огненных бликах горело гневом, далее он выражался покрепче и яснее.

Ульяна размочила запекшиеся в крови бинты – солдатик был ранен в грудь, нагретой у печи водой обмыла его до пояса. Ей подали бутыль самогона. Вспотев от напряжения, она обработала рану, перебинтовала грудь. Придерживая голову, напоила.

Всю ночь Ульяна ходила меж раненых. Их было много, и как они только поместились в маленьком клубе! Она поила бойцов, меняла бинты, успокаивала, как могла, но неизменно возвращалась к тому, раненному в грудь. Ему стало хуже, он скрипел зубами, что-то быстро, горячо бормотал. «Что, родной, что?» – безуспешно спрашивала Ульяна, пока не поняла, что солдат говорит не по-русски. Под утро, когда вместо петухов запели немецкие мины, раненому полегчало, он вздохнул, сказал короткое слово. Ульяна поняла, что солдат зовет мать.

Рядом, на лавке, давясь слезами, девушка поила из ложечки солдата с забинтованными глазами. Ульяна узнала в ней соседскую девчонку Таню, поразились, как за ночь та повзрослела, если не постарела...

Бой, ожесточенно разгоравшийся с каждым часом, к полудню начал угасать: все реже рвались мины, перестрелка увяла, некоторое время стучал, как горошины о пустой бидон, пулемет, но и он умолк. Раненых разбудила тишина – ей на войне не верят. Те, кто в созна-

нии, приподняли головы. «Ха! Утерся ерманец-то! В штаны накла!» – хихикнул от печи дед Стас.

Послышался гул мотора, похожий на тракторный. Не веря, Ульяна выскочила из клуба – захлебнулась от гула моторов и лязга гусениц...

Дальнейшее она воспринимала как нескончаемый кошмарный сон.

По улице, потемневшей от близкого боя, разрывая рот, с долгим «а-а-а-а...» бежал солдат без шапки. За ним, урча, неспешно ползло квадратное чудовище, разбрасывая гусеницами комья снега и черно-зема. Из люка белозубо ухмылялась чумазая рожа, танкист, забавляясь, что-то орал. Боец остановился, щелкнул затвором, но выстрела не последовало, закричал снова. Ульяна наконец разобрала: «Ра-а-а-не-ных... спа-а-а-аса-айте!» Крик оборвался, громада подмяла человеческую фигурку...

...Перед клубом немцы согнали немногочисленное население Березняков – человек тридцать женщин, стариков, детей, тех, кто не успел или не захотел уйти на восток. Высокий худой офицер в кожаном плаще с меховым воротником отдавал с крыльца приказы хриплым голосом. Солдаты в мышинных шинелях, стоявшие в оцеплении, опустив на животы автоматы, хлопали себя по бокам, притопывали сапогами, терли щеки.

Тяжелораненых добили прямо в клубе короткими, экономными очередями. Способных держаться на ногах, полураздетых, выгнали на улицу, раздали лопаты, хотя мерзлую землю не возьмет и лом. Боец с забинтованным лицом, босой, в одной нательной рубаше, отбросив лопату, вертел головой, к чему-то прислушивался.

Ульяна стояла в толпе односельчан, обнимала приникшую к плечу Таню. Девушка беззвучно рыдала, сотрясалась всем телом. Игорек уцепился за подол матери, хныкал, старший урезонивал брата. Люди, понурясь, молчали.

– Поднять головы! Смотреть! – тонко прокричал невесть откуда выскочивший человек в штатском. Офицер махнул перчаткой.

– Это есть трудовое перевоспитание! – старательно перевел штатский.

Немец-здоровяк в надвинутой на глаза каске подошел к слепому красноармейцу, ткнул кулаком в лицо. Таня вскрикнула. Раздирая окровавленные бинты, раненый рванул на крик: «Таня?!» Немец сбил его с ног. Солдатня засвистела, заулюлюкала: «Курт, Курт!» Здо-

ровяк сдвинул автомат за спину, выставив левую ногу, ждал, когда слепой поднимется. Харкая в снег тягучими сгустками, слепой силится встать с колен. И тогда, занеся над головой лопату, откуда-то сбоку бросился на здоровяка красноармеец. Ульяна узнала «своего» – по заштопанной на плече гимнастерке, которую успела подлатать на рассвете. Сейчас там, на плече, проступало алое пятно.

Раздался сухой щелчок, словно в лесу обломили ветку, раненый, выронив лопату, медленно сел. Вцепившись друг в друга, Таня и Ульяна заголосили. Толпа подалась назад, в едином порыве вздохнула: «О-о-о-о!» Из этого вздоха вытянулось тонкое, почти детское: «А-а-а-а!» – крик искоркой дрожал на кончике граненого штыка. Выставив его перед собой, дед Стас бежал в атаку – маленький, в равном зипуне и огромных, с чужой ноги, валенках. Обложив «ерманца» страшным матом, поскользнулся, потерял валенок. Офицер, покашливая, с любопытством глазел на старика.

Когда до офицера оставалось несколько шагов, деда Стаса развернула в воздухе мощная, в упор, свинцовая струя, подбросила, выдирая клочья из зипуна, и серым комочком, подстреленным воробышком кинула на снег.

Толпа с глухим криком подалась вперед. Одновременно что-то произошло в неровном строю раненых: они держали лопаты, как оружие. Слепой с залитым кровью лицом широко, по-бойцовски, расставил босые ноги.

Солдаты в оцеплении схватились за автоматы. Качнул стволом танк, зрачок пулемета с бронетранспортера смотрел, казалось Ульяне, прямо в глаза.

Офицер внимательно оглядел поданный ему четырехгранный штык, снял перчатку, щелкнул по металлу, сказал: «Гут!» – воззрился на толпу русских, длинно заговорил.

– Внимание! – опять вынырнул человечек в штатском. – Германская армия не воюет с мирным населением. Германская армия воюет с большевистскими солдатами! Но вы, жители деревни Бе-рез-ня-ки, не оправдали доверия германской армии! Вы помогали большевистским солдатам, лечили и кормили их! Вы пытались... ээ... бунтовать! Вы не подлежите перевоспитанию, а потому есть только один... ээ... выход!

Офицер, покашливая, махнул перчаткой, пошел к бронетранспортеру, обмазанному белой краской.

Солдаты бросились к раненым и березняковцам. Осыпая градом ударов, теснили их к распахнутым дверям клуба. В упирившихся стреляли. Автоматные очереди заглушали стоны и плач.

Ульяна уговаривала сыновей бежать, оставить ее, маленькие, юркие, они могли проскочить сквозь оцепление. Березняки уже горели, подожженные с двух концов, черные полосы разрезали блеклый диск солнца. Огонь жадно пожирал просушенное временем, облитое бензином дерево.

В смешавшейся толпе слепой и Таня прижались друг к другу, застыли. Ульяна крепко обнимала детей. В клубе было тепло. Раскопегаренная дедом Стасом печь-голландка жила, грела своими боками. Тишина вселила надежды: авось обойдется, потомят для остратки и отпустят, немцы – тоже люди...

Первым почуяла опасность собака. Прибежавший из дома Тузик заскулил, поджав хвост. Кислый угарный дымок вполз в щели. Помещение вдруг сжалось в размерах, стало трудно дышать. Люди кинулись к заколоченным окнам, обдирая в кровь руки, полезли, силась вырвать доски – в ответ хлестнула очередь из пулемета. Полетели щепки. Но женщины упрямо лезли к окнам, поднимали детей – глотнуть воздуха. Пули крошили дерево, дети без стонов падали на руки матерей. Раненые пытались удержать женщин – их смяли, оттеснили от окон. Дальний угол лизнул язычок пламени, в тот же миг клубы дыма наполнили помещение... Крики ослабли, потонули в треске набравшего силу пожара.

Прижимая к груди Игорька, Ульяна, задыхаясь от дыма, пробивалась к сцене. Там, за сценой, был запасной выход...

...К вечеру ее, полуживую, подобрали с младшим сыном на руках односельчанки, успевшие спрятаться в погребах. Ульяна, как заведенная, твердила имя старшенького – Павлушки, оставшегося там, в клубе...

Березняков более не существовало. Обгоревшие печные остовы подпирали низкое пепельное небо.

## VII

Жорик у двери пошевелил затекшей ногой. Он не знал, что была такая война. Долгор окаменела на табурете, вцепилась в палку.

Тяжело гукнула дверь. Вошедший недобро зыркнул на непрошенных гостей, протопал во вторую комнату, оставляя на полу шметки снега и грязи.

Ульяна с трудом поднялась, прошлепала в комнату. Невнятный, просительный ее шепоток оборвала грубая ругань. Хозяйка вернулась к гостям, посетовала, что Ваньша совсем не хочет есть.

– Сын? – хрипло переспросил Жорик, вспомнив рассказ хозяйки. Ульяна не ответила, не расслышала, наверно.

Все трое сидели молча. Жорик шмыгал носом. Долгор ерзала на табурете, посматривая в окно. Из сбивчивого рассказа хозяйки дома она поняла, конечно, не все, но главное: про солдата, раненного в грудь и говорившего не по-русски...

В дверь вежливо постучали. В избу, пригибаясь, вошел человек с озабоченным лицом, с висячими, казалось, от постоянной невеселой думы усами. Жорик его узнал – вместе ехали в автобусе. Человек вытер о половичок ноги, пригладил волосы, поздоровался. Ульяна захлопотала у стола.

– Дома напился, тетка Ульяна! – громко сказал вислоусый. – А что, Ваньша-то... все отдыхает?

– Отдыха-ат, отдыха-ат, аппетиту-т никакого! – заохала, привставая с табурета, Ульяна. – Уж вы бы, Кирьян Палыч, с ем бы поговорили...

Кирьян Палыч непонятно хмыкнул, дернул ус, мотнул головой Жорику: «Выйдем!»

– Видал?! – громко сказал он на крыльце, возмущенно сплюнул. Жорик кивнул на всякий случай. Во время Ульяниного рассказа ему стало душно, он не мог надышаться морозным воздухом. Кирьян Палыч, пыхнув папироской, начал жаловаться на бригадирскую долю.

– С утра в райцентр мотался, запчасти выбивать. Собачья должность! Спрашивается, какого шута я должен перед каждым ползать на коленях?! Дожили, понимаешь, ни запчастей, ни людей! Ты мне лучше скажи, с кем я должен хлеб растить?! План давать?! – бригадир будто разговаривал с кем-то невидимым. – Тьфу! Ты погляди, у нас же в Березняках и мужиков-то не осталось! Девкам за стариков, что ль, выходить?!

Жорик припомнил, что его удивило: на пустынной улице было мало детворы.

– Разбежались кто куда! Москву им подавай, лимитчики несчастные! А как в райцентре завод пустили – вовсе беда! Хошь ты волком вой! А вот такие краснорожие... быки средь бела дня в кроватях дрыхнут! Аппетиту, вишь, у него нету! Ханурик!

Бригадир поймал вопрошающий взгляд Жорика, выдохнул дым из ноздрей.

– Да не сын он вовсе! Так... приبلудный. Пользуется Улиной добротой! Пьет, жрет, на нее орет, чем не жисть! Я говорю: гони в шею! На хрена он нужен, шабашник несчастный! В колхозе, вишь, ему несподручно! Лето вкалывает, девять месяцев водку трескает! Видал дружка-то его? Хромого? По пьяному делу на пилораму упал! Так вот и живем...

– Тут ее, Ульяну, понять надо. Один сын на собственных глазах сгорел, другой запропастился куда-то, муж на фронте погиб... Тоскует, старая, жалеет! А Ваньша тем и пользуется, сынка изображает! Сволота! Такие вот и позорят...

Кирьян Палыч пригладил усы.

– Ладно. Чего это я раскудахтался... Ты как со временем? В смысле дальнейших планов?

И бригадир стал горячо уговаривать Жорика остаться в Березняках, идти к нему в бригаду. Жилье не проблема, избы пустуют. Жорик от неожиданности поперхнулся дымом, замахал руками.

– Ладно, ладно... Не объясняй, – лицо бригадира скисло. – Понимаю... Березняковский телеграф уже сработал: приехали какие-то иноземцы, сын у них в этих местах погиб...

Кирьян Палыч посмотрел в глаза.

– Брат старший, что ли?

Жорик промолчал.

– Понятно. Я чего пришел? Думаю, надо гостей поприветствовать. От имени правления... Ну и... чтоб Ванек этот не обидел. Злой он, с похмелья особенно...

После ухода бригадира Жорик еще чуток постоял на крыльце, прикидывая, как лучше подлатать стайку. К западу тянулись жирные, в оранжевых просветах, фиолетовые полосы – небрежно мазнули да так и не дочернили небосклона. Ветер с размаху хлопнул калиткой, перекинулся на крышу, за воротник просыпались, намочив спину, щекотные крупинки. Жорик передернул плечами и забежал в дом.

Прислонившись к стене, Долгор утирала слезы. Растерянная Ульяна причитала.

– Куды ж ты, моя, на вечор-то глядя? Далеконько-т, ножками не дойти!..

Ульяна пожаловалась, что гостя ее не слушает, хочет немедленно ехать на место сожженных Березняков. Это через реку, в поля, верст десять... И погода «дуже запоганилась».

Погода и в самом деле портилась.

Неожиданно из-за печи появился парень, помятая красноглазая физиономия брезгливо морщилась. В шерстяных носках он бесшумно прошел к бачку с водой, дергая кадыком, гулко выхлебал один ковшик, другой... Схватился за спутанную волосню, подавил веки, рыгнул.

– Ваньша, Ваньша, рассольчику, рассольчику-т... Помога-ат! А то, можа, поешь... – захлопотала Ульяна.

– Отвались, – равнодушно зевнул Ваньша, потянулся мосластым телом, хрустнув костями. Мышцы под натальной рубахой перекатились от локтей к плечам. – Чего базарите?

Ульяна начала путано объяснять. Ваньша перестал зевать, в мутных глазах осмысленно блеснули зрачки.

– Значитса, издадека прибыли-т?

Жорик с Долгор дружно закивали, признав настоящего хозяина дома.

– А чего-т не помочь добрым-то людям! Мы завсегда... – осклабился Ваньша. – Значитса, их на старые Березняки, мама?

– Дак и я говорю, чего-т на вечор-то глядя... Ночуйте, поутру видно будет. Можа, бригадир трахтур даст...

– Как же, жди! Твой Кирьян за колхозное удавится! – надевая свитер, усмехнулся Ваньша. Обернулся к Жорику, дыхнул перегаром. – Не откладывай на завтра того, чего можно сделать сегодня! Так, не?

Жорик закивал. Долгор тоже. Мир не без добрых людей.

– А коня, коня-то иде?... А, Ваньша? – заволновалась Ульяна.

– А у Хромого! Я махом! – парень сорвал тулуп, нахлобучил шапку.

Конь был старый, линиялый, непонятной масти, с высоко подрезанным хвостом. Ваньша всячески поносил скотину и ее хозяина Хромого, который «зажиллил трешку», мстительно нахлестывал лошадь. В набитые сеном розвальни летел снег. Долгор лежала в санях ничком, с головой укрытая тулупом. Стоя на коленях, Ваньша обращивал лицо, кричал про некоего Колыхалова, недодавшего за летнюю шабашку, и с которым он еще разберется один на один. И опять поносил весь белый свет.

Ветер усилился. Солнце окунулось в мутный омут низкой облачности. Полузанесенная колея повернула в поле – коняга зафыркал.



– Здесь! – крикнул Ваньша, озабоченно взглянув на небо.

Жорик огляделся, не веря глазам своим. Они стояли на совершенно голом месте. Ничего. Ни кустика, ни печной трубы, ни бревнышка, ни березки. Раздетая степь. И гул ветра.

– Здесь! Точно! – нетерпеливо повторил Ваньша, озираясь. Ему здесь не нравилось. – Давайте живее!..

Они быстро вращались в огненные Березняки: сапоги уже до середины голенищ занесло порошей. Все было красным под заходящим солнцем. Алели языки поземки, красными стали зеленый дэгэл Долгор, руки, лица, в огненную масть перекрасились лошадь и возница.

– Давайте! Ну?! С утра ни капли!.. Будьте людьми, дайте на опохмелку! Ну?! Через час магазин закроется! Будьте людьми! Ну?!

Долгор отбросила палку, рухнула в снег, разбросала красные руки, проливая красные слезы.

Ветер больно швырнул в лицо Жорика охапку грязных ругательств.

– Че, денег жалко?! А, сучий сын! Поверил я тебе, как же! Издалека приперлись, да без башлей?! Ха?! У-у, падла! Я к вам с добром, а вы!.. А ну, плати за проезд, гнида!

Жорик взмахнул руками, пытаясь объяснить, рассказать о Матвее. Но его потряхнули так, что клацнули зубы.

– Я тя бить не буду, понял?! Сидеть потом за тебя! Руки об тебя март, косоглазого! Прогуляйся с ветерком, можа, поуменеешь!..

Подгоняемый ветром, сгорбившись, Ваньша пошел к саням, к придавшей ушами понурой коняге. Сани медленно развернулись. Жорик опомнился. Увязая в снегу, подбежал к безумному вознице: «Ты что? Старуху возьми!» Посвист поземки отлился в свист вожей, наискось, от глаза ко рту, хлестнули лицо, ослепили.

Очнулся от холода. Левая сторона головы омертвела, к носу, губам налипла саднящая ледяная корка. Он долго не мог найти кепку. Забыл о ней, вспомнив о старухе. Она лежала, все так же раскинув руки, будто хотела обнять вспучившуюся степь. Платок птицей рвался на волю, в небо.

...Вжимаясь в снег, Долгор услышала, как странный гул под ней перерастает в детский плач: «Аа-а-а!..» Сверлящий, пронзительный крик этот просил о помощи. Ее зовут. Туда, где плачет страдавшая душа ее ребенка, сына. Он здесь, плоть ее и кровь, надо лишь протянуть руку, взять его озябшие пальцы в свои, отогреть его израненную грудь своим дыханием. «Где болит, сынок, где?» Там, в глу-

бине, сыро, холодно, но вдвоем им будет тепло, она обнимет, успокоит его и успокоится навеки сама... «Эжы! Эжы!» – да, она слышит его! «Я здесь, я пришла! Я с тобой, мой мальчик!» – закричала она. От неукротимого ее желания стаял снег у губ, слова любви кипятком пробили наст и разбудили землю. Она вдохнула этот живой дух степи, запах сыновьих волос; исступленно, с неженской силой разорвала плотную корку: «Я сейчас, я сейчас! Потерпи, мой мальчик!..»

– Эжы! Эжы! Встаньте! Надо идти! – поднимал ее за плечи Жорик, запрокидывая голову в небо. Две птицы – сапсанья пара, хозяйева степей, стремились встречь ветру, часто-часто взмахивая длинными крыльями... Прощальный луч позолотил их, погас, удушенный свинцовыми тучами.

– Встаньте! Встаньте! – Жорик упал рядом, не переставая думать, что это сон – кошмарный, нелепый... Да, да, все это уже было: шурган, поземка и мгла. Замерзши в снегах – кто тебя вспомнит! Дурная голова, тебе остается блять и ждать! Он – паршивая овца, отбившаяся от стада, он баран, глупый, сытый, обреченный на заклание... Он нащупал в кармане кораблик. Вот что мешает идти. Выбросить кораблик. Оставить старуху. Уйти налегке. Сойти на первой же станции. В этом штормящем море кораблик затонет. Он его не успел сработать...

Лодка мягко оттолкнулась от берега, поплыла, раздвигая кувшинки с белыми цветами, легкая рябь добежала до белых гусей. Вздыхая радужную пыль, птицы взлетели, оросив лицо, овевая грудь прохладными крылами... И ему снова приснилась степь. Он лежит, раскинув руки, примяв высокие травы. А они клонятся к нему пушистыми метелками, щекочут лицо и голую грудь. Хорошо лежать так после долгого бега, не думая ни о чем, щурясь на яркую синеву, слушать, как шмелем гудит, нагоняя истому, ветерок над головой, и, пока сохнут струйки пота, затылком ощущать, как медленно и величаво проворачивается степь... Мама, молодая и красивая, в одном ситцевом платице пришла босиком по этой степи, положила на лоб, заиндевевший от холода, теплую и шершавую, в мозолинках, ладонь, голос ее взмыл над долиной, отразился в хрусталиках синего-синего неба... Он, маленький мальчик, чуть не заблудился в лесу, но его вывел к знакомому озерку с зарослями осоки и харганы сладкий запах маминых подмышек. Где же ты так долго была, эжы?..

Жорик все сильнее вжимался в снег, укрываясь от ветра. Предсказатели погоды не ошиблись, не соврали! Рожденный в Атланти-

ческих высях антициклон пересек придуманные слабыми людьми жалкие часовые пояса и, не достигнув столицы, ворвался над его головой в область высокого давления. Он давил на него с чудовищной силой, так, что хрустнули ребра и стало невозможно дышать. От боли и бессилия он замолотил обеими руками по чужой холодной земле.

– Я, я, я украл эти деньги! Слышите?! Это я украл! Простите, простите меня! Простите! Простите меня! Простите!..

Выпростав голову из снега, он прохрипел слова покаяния, вымаливая у неба – нет, не прощения, ибо простить может только мать, – а кары для себя и своих врагов и немного милосердия для всех обиженных в этой жизни. Он упорно твердил черными, сочащимися губами, проклиная и заклиная, потом, обессилев, шептал, опустив в снег разбитое лицо.

И там, наверху, – он это чувствовал затылком, спиной, всем немеющим телом – что-то случилось.

Антициклон как следует потрянул пугливое тучное стадо, градины медными пятаками просыпались на дорогу, оглушив старую лошадь и прибав глупого возницу. Затем антициклон, описывая эллипсы, сжал противника в своих жутких объятиях, опутывая его и уничтожая, и в этом бешеном хороводе оплодотворилась и родилась в муках третья сила, затмившая своих родителей, – очищающий смерч. Яростным штопором ввинтился он в Землю, вырвал из чрева ее обожженных мучеников – Павлушку, Таню и слепого бойца, деда Стаса, нерусского солдата и его раненых товарищей, женщин, детей, стариков и собаку Тузика, обдул с их душ пепел, слепил заново избы, и по алфавиту, попарно, посемейно и повзводно переселил их на небо...

Жорик со стоном отвалился на бок, протянул руку – платок вырвался из пальцев, улетел, взмахивая концами. Старуху наполовину занесло снегом, она втянула совершенно белую голову, поджала ноги и – молчала. Кораблик врезался под ребра, напомнил о себе. Он недоstrугал корму, забыл оставить места для людей. Вот что: нужно сесть в кораблик и держаться березового берега. Почему в Березняках нет берез?.. На белой стене проступили фиолетовые буквы: «Березовка». Он увидел косую строчку в извещении. Березняки – не Березовка. Это не сон!

– Березовка! Березовка!!! – вытолкнул он из онемевших губ.

– Искать Березовку! Березняки – не Березовка! Встаньте, эжы! Встаньте! – он ощутил под ногами твердую землю.

Матвей-эжы, скрючившись, молчала...

Тогда Жорик взял остывшее, невесомое тело Матвей-эжы на руки, тяжело переступая, гонимый ветром, двинулся по эллипсу, загребая сапогами снег и пепел... Он успел сделать несколько шагов. Сбитый с ног предательским тычком в спину, ударился о белую стену, начал сползать по ней, но так и не упал. Своим жалом – граненым штыком смерч разодрал со спины куртку, вырвал крылья, и он, зажав ледяное запястье своей спутницы, полетел, оберегаемый стенками громадной воронки. Стало трудно дышать – они неслышно и быстро летели в разреженной, цвета забеленного чая, облачности поднебесья. Едва не задохнувшись, он поймал нисходящий поток воздушных масс, взлетел над облаками, неспешно расправил крылья и зрением сапса-на высмотрел розовую горбушку горизонта, там расцветали жарки и саранки – сполохами народившегося утра...

1986

# Вместо послесловия





## О творчестве

...особняком среди этой группы прозаиков стоит Г. Башкуев с его необычными, подчас эпатажными темами, острой ироничностью, иногда натуралистическим подходом к изображаемому, удивительными словесными находками, виртуозной игрой со словом.

*Г. Ц. Бадуева, кандидат филологических наук*

*С. И. Гармаева, доктор филологических наук*

Башкуев – мастер бессюжетного повествования. Зачастую его зарисовки тяготеют к остроумному анекдоту, устному живому рассказу. Причем законченность, своеобразное художественное обобщение его произведениям придает афористически выраженная авторская мысль.

Новый тип литературного героя, открытый Г. Башкуевым, практически не имел предшественников. В границах этого нового для русской литературы типа у Башкуева особый градус откровений. Как будто герой стремится вывернуть свое внутренне зло, как будто автор стремится одновременно принизить героя, возвышая его, и возвысить героя, принижая его.

Новое социальное явление, запечатленное Г. Башкуевым, новый тип человека, в том числе тип поведения человека – в условиях длительной смены традиционного общества на гуманистическое в его постиндустриально-технократической разновидности.

...Ироничность как игра слов, образов, субстанций. Но оксюморон не всегда игра.

Оксюморон порождает новые смыслы, открывает новые семантические пространства.

Для творческой манеры Башкуева характерно максимальное приближение героев к жизни, использование документального материала и реальных прототипов. Публицистика и вымысел в его прозе не разделены четко и однозначно, взаимопроникаемы, и эта особенность развивалась на протяжении всего творчества писателя.

*В.В. Башкеева, доктор филологических наук*

*(«European Proceedings of Social and Behavioural Sciences» 2019)*

## О «Чемодане из Хайлара»

« – О каких самых важных и ярких публикациях вашего журнала должна знать вся читающая Россия?»

Михаил Шукин, главный редактор журнала «Сибирские Огни» (Новосибирск):

– Среди самых заметных публикаций нынешнего года в «Сибирских огнях» я бы назвал роман Геннадия Башкуева «Чемодан из Хайлара»... Это – настоящая самобытная проза, о которой можно рассуждать и рассказывать очень долго, но лучше прочитывать».

*«Литературная Россия» 19. 10. 2018*

Для его художественных произведений более важной темой является позднесоветский экзистенциальный коллапс, резкий контраст между провозглашенными идеалами советской системы и каждодневным опытом алкоголизма, воровства и лжи, переживаемыми его героями.

*И.Саблин, Л.Болячевец, С.Будацыренова*

*(«Бурят-Монголия онлайн и офлайн: современная литература и историческая память»)*

## О повести «Убить время (Записки пожилого мальчика)»

Символично название «Убить время», название, зарождающееся в начале, когда герой попал в карцер и с помощью футбола хочет убить время... Другой смысл связан, конечно, с идеей убить время своей жизни, убить свою жизнь. Потенциальный смысл связан с тем, что герой убивает в себе страх, не думает о своем эго, в нем сострадание к сумасшедшей становится важнее самосохранения. Он по-настоящему становится защитником, впервые от мальчишеской задиристости поднимается до обретения подлинной мужественности.

И в этом смысле он убивает во времени, как прошедшем, так и текущем, присущие этому времени слабости и недостатки, горечь и зло. В подобном катарсисе описываемые эпохи объединяются, преодолевается их замкнутость и ограниченность... Текст, насыщенный такого рода переживаниями и мыслями, подспудно настраивает читательскую оптику на фокус самопознания, фокус, в котором вместо размытого пятна должна появиться полузабытая фигура мальчика. А для этого есть единственно надежное средство – мастерство повествования, сплетающее в единую ткань подробности детских приключений и драм, злоключений и трагедий взрослой жизни, ностальгически или иронично отрerefлексированных, доведенных до качества осмысленности произошедшего.

Парадоксальность для героя «Записок...» заключается и в самой действительности, где одно противоречит другому, где ложь выдают за правду, а правду за ложь, и вследствие всего этого погибает невинный человек, а виновные остаются безнаказанными. Автор прибегает в повести к образности, экспрессивности, афористичности для передачи личностного восприятия, что создает особый авторский тон. Используемая разнообразная лексика, от высокой до разговорной, ведет к тому, что автор как будто предоставляет читателю возможность почувствовать натурализм и реалистичность происходящего через призму собственного видения.

Герой-люмпен, сохранивший внутреннюю чистоту, как нельзя лучше иллюстрирует убеждение самого писателя о том, что люди «социального дна» ничем не хуже, а



в некоторых ситуациях даже лучше, чем так называемые «порядочные люди». Все это дает основание полагать, что за занавесом негатива кроется все же чуткая душа героя, умеющая чувствовать, сожалеть, думать.

*В.В. Башкеева, доктор филологических наук  
(«European Proceedings of Social and Behavioural Sciences» 2019)*

...Было бы ошибкой думать, что «Запискам» читатель обязан хорошей, порой удивляющей своей фотографичностью, памяти их автора. Даже дар писательства в этом сыграл вторичную роль. Убежден, источник «Записок» – доброта. Именно она побуждает память работать во всю свою силу, и именно она, думается, управляет движениями писательского пера. Почему доброта? Ответ опять же укоренен в связке «зрелость – детство»: если в детстве, в возрасте мальчиков, доброту мы узнавали как некое приятное и само собой разумеющееся к себе отношение, лишь испытывали на себе ее необходимость со стороны других, то в зрелом возрасте осознаем, что ее наличие в жизни людей зависит уже от нас самих, от того, насколько мы сами делаем или не делаем усилия по ее уравниванию в правах или даже возвеличиванию среди прочих человеческих качеств и ценностей. Наличие доброты, которая в детстве бессознательно усваивается как естественное свойство и норма человеческих отношений, с возрастом, по мере вставания во взрослую жизнь общества, становится разреженной подобно кислороду при подъеме на горные вершины...

...В фразе-афоризме «Детство и любовь к женщине – суть одно и то же» угадывается скрытая смысловая перекличка со словосочетанием «пожилой мальчик» или еще одна причина видеть в этом смешении возрастных категоризаций не какую-то там самоиронию или самобичевание автора, но природу человеческого сознания.

...роковая и драматическая роль безымянной дурочки в судьбе героя повести – еще одна ниточка, еще один пункт его мемориального заложенничества.

Именно ей, беспамятной дурочке, над которой он, будучи пацаном, вместе со своими друзьями жестоко посмеялся и причинил ей боль, через десятки лет по какой-то совершенно невероятной параболе выпало сделать так, чтобы сработала некая машина сверхчеловеческой памяти, памяти о причиненной когда-то боли, и призвала к ответу. Сработала слепо и жестоко, по ту сторону справедливости и несправедливости.

...В произведении это ощущение возникает совершенно неожиданно, внешне ничем не спровоцировано; оно как в музыкальном произведении, в котором едва слышимые в начале минорные обертоны постепенно сгущаются, чтобы в конце достичь своей предельной выразительности в передаче трагизма и отчаяния, чтобы был услышан крик души.

*Сергей Батомункуев  
кандидат философских наук*

...В повести писателю важна не только соразмерность воспроизводимого фрагмента жизни, сколько «сила крика».

...Но «инакомыслие» – лишь исторически и логически необходимый момент в становлении целостной личности, а все дело в работе личности по самосовершенствованию. Герой-люмпен Башкуева, как ни парадоксально, способен к такой работе. Сам автор в одном из своих интервью отмечал: «...вся история литературы зиждется на признании факта суще-

ствования темной стороны человеческой личности и на необходимости борьбы с ней. Человек должен быть всегда в процессе борьбы со своей темной стороной. В момент самоуспокоенности темное захватывает человека, и однажды в критической ситуации может взять над ним верх... Надо быть всегда настороже».

...Таким образом, авторская позиция придает творчеству Г. Башкуева своеобычность, достоверность, позволяет передать многослойность сознания современника.

... Такие эпические тексты, созданные на пределе авторской откровенности, авторской саморефлексии, в литературе принято называя метапрозой. Героя подобной прозы можно назвать «автопсихологическим», потому что автор наделяет его родственной душевной структурой.

*М. Н. Жорникова,  
кандидат филологических наук*

...Не забывая о курсивном тексте, напоминающем раму восточной обрамленной повести, отделяющем одну новеллу от другой, читатель вместе с героем переходит в почти карнавальную стихию прошлого, в ту реальность прошлого героя, где его сознание переполнено материально-телесными образами, за которыми встают, как события жизни героя, так и обрывки его размышлений, представлений, целой системы ценностей. Сознание героя не может соединять их иначе, как с помощью коллажа. И, тем не менее, при всей причудливой разногласии новелл, в «Записках» ощущается некий лиризм, некое интонационное единство, как в свободном стихе или свободной раскадровке, режиссерски осуществляемом «монтаже аттракционов». Перед нами как бы прокручивается фильмоскоп из диафильмов, этот «волшебный фонарь» советских 1960-х, который опять же увиден взглядом из настоящего.

...Тема детства находится в неразрывной связи с любовью. Он даже считает: «Детство и любовь к женщине – суть одно и то же». Герой в детстве испытывает любовь к разным женщинам. Выделенные фрагменты как малые явления бытия обнаруживают реальность не просто самодостаточную, а реальность, которая дает прикоснуться к истине, встретиться с ней напрямую.

...герой делает в финале трагический выбор, но тем самым символически спасается, оставляет после себя, как богатое наследство, тексты о «настоящей жизни», озаряя их своим волшебным фонарем. Его записи-тексты остаются свидетельствами о мире, в котором только игра как творчество способна противостоять ложной, обесмысленной реальности. Кроме того, эти тексты связывают читателя с миром метафизической реальности – тем пространством, где герои обретают свободу и ощущение не зря прожитой жизни.

*О. Б. Грязнова,  
кандидат филологических наук  
С. С. Имхелова,  
доктор филологических наук*

#### **О повести «Маленькая война»**

...Мальчишеская вражда между двумя улицами соприкасается с «большим» событием, вошедшим в историю XX века как Карибский кризис. Это страшное воскресенье 1962 года, разразившееся противостоянием двух ядерных держав, описано и воспроизведено

сознанием героя-мальчика, чьи детские чувства и переживания, как в зеркале с увеличительным стеклом, обернулись серьезным, «взрослым» размышлением о страшной возможности «большой» войны. В повести Башкуева герои живут своей обычной воскресной жизнью. Мирная картина взрывается в сознании героя ужасом перед грядущей войной, потому что война улиц — это лишь маленькая война...

...Звон колокола звучит не набатом, а ожиданием светлого, мирного будущего. Проинизанная авторской детской памятью, страхом о возможности исторической катастрофы, повесть будет восприниматься предупреждением иным политикам, чьи необдуманные политические решения могут похоронить мирную жизнь людей, разрушить их надежды и планы.

*С. С. Имихелова,  
доктор филологических наук*

...Для героя как для человека советской эпохи весьма значима идея, концепт двора. Двор как место между домами, место, куда дома выходят своими подъездами, дверями, обладает функцией объединения. Двор не иерархичен, здесь каждый найдет себе место и роль. Это место встреч, игр, ссор, поиска, развития, это открытая площадка для становления ребенка, это в конце концов место жизни. На перекрестии этих топосов и смыслов будет строиться его жизнь.

*В.В. Башкеева,  
доктор филологических наук*

Повествование от первого лица позволяет судить о творческой натуре героя-мальчика, который на глазах читателя творит и другую, игровую, близкую к авторскому идеалу реальность. Таким образом, дети в прозе Г. Башкуева — это еще и импульсы проявления собственного творческого начала, результат поиска и создания знаков, которые отсылают к системе внутренних ценностей, отношения к культуре, к тому в ней, с чем он может себя идентифицировать.

*Т. А. Боронова,  
кандидат искусствоведения*

...На все взирает с высоты колокольного без колокола. Бездуховность и темнота в душах не может не тревожить тех, кто небезразличен к своему миру, и эти немногие ныряют в бездну борьбы с головой, пока трагедия не отрезвляет противников, превращая их в людей. Все заканчивается в духе Льюиса Кэрролла. Впервые эта повесть была прочитана мной в семилетнем возрасте, тогда она поразила меня достаточно откровенной подачей реалий жизни подростков в условиях уличной адаптации, и вот, перешагнув 50-летний рубеж, я возвратился к ней...

*Александр Мраков,  
читатель*

### **О повести «Пропавший»**

В центре его повести «Пропавший» (дата создания 1987) и последующих воспроизводится ситуация жестокого внутреннего разлада, в которой оказались их главные герои. В их мыслях и поступках автор подчеркивает незавершенность жизненного поиска, которая, тем не менее, приобретает вполне заверченный вид в моменты эк-

зистенциального и нравственного выбора. Но обретение героями Башкуева смысла собственной жизни состоялось, несмотря на трагический исход. Такое прочтение позволяет сделать повествовательная структура повестей, где структура «текст в тексте», «произведение в произведении» выступает «генератором смысла», приводя, по Лотману, к «переключению из одной системы семиотического осознания текста в другую».

...Повесть отличается особой организацией пространства, наполненного многочисленными универсальными и национальными культурными кодами. Столкновение разнородных пространств проявляется на границе между основным текстом и «текстом второго уровня», «субтекстом», созданным по иному, нежели основной текст, коду

...В истории Жорика особую роль играют драматичные эпизоды, где работает иной код – движение памяти, движение через беспамятство к истине. И эта духовная работа становится единым стержнем, стягивающим к финалу все сюжетно-фабульные и пространственно-временные узлы повести. Эпизоды-кадры в повести Башкуева не просто присоединяются друг к другу авторским повествованием. Их сцепление фактически совмещают «тексты» с разным семантическим и языковым кодом, монтируют фрагментарный, словесный материал в цельную, идейную концепцию. С помощью своеобразного монтажа как столкновения разных субтекстов события-кадры из настоящего и прошлого не только не нарушают хронологической последовательности, а способствуют восприятию художественного пространства повести как единства, в котором внутренняя рефлексия героя скрепляется с внешней событийностью. Монтаж основного текста и «субтекстов» – видений, потока сознания героя потому и становится ключевым в повести, что «текст в тексте» стремится историческое время и время субъективного переживания столкнуть и органично ввести в иное семантическое пространство – метафизическую реальность.

...Пространственные образы бурятской деревни Шулуuty и русской деревни Березняки объединены судьбой двух сыновей, обретших покой вдали от дома. Один погиб за родину, большую и малую, другой – обрел и ту, и другую, объединив два пространства своей непутевой жизнью. Таким смыслом наполняются и «монтируются» две пространственные части повести.

О. Б. Грязнова,  
кандидат филологических наук  
С. С. Имixelова,  
доктор филологических наук

## Оглавление:

### **ЧЕМОДАН ИЗ ХАЙЛАРА**

*Роман с одушевленными предметами* ..... 3

### **УБИТЬ ВРЕМЯ**

*Записки пожилого мальчика* ..... 205

### **МАЛЕНЬКАЯ ВОЙНА**

*Хроника воскресенья* ..... 345

### **ПРОПАВШИЙ**

*Повесть* ..... 413

**Вместо послесловия** ..... 509

«В  
произведе-  
нии это ощущение  
возникает совершенно  
неожиданно, внешне ничем  
не спровоцировано; оно как в  
музыкальном произведении, в  
котором едва слышимые в начале  
минорные обертоны постепенно  
сгущаются, чтобы в конце до-  
стичь своей предельной выра-  
зительности в передаче тра-  
гизма и отчаяния, чтобы  
был услышан крик  
души»

Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры  
Республики Бурятия в рамках реализации Государственной программы  
Республики Бурятия «Культура Бурятии».

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

**«Чемодан из Хайлара»**  
**«Убить время»**



**«Маленькая война»**  
**«Пропавший»**

**Башкуев Геннадий Тарасович**

**УБИТЬ ВРЕМЯ**

Повести разных лет

*Литературно-художественное издание*

Дизайн & вёрстка  
Аркадий Батомункуев

Отпечатано в ПАО «Республиканская типография»  
670000 г.Улан-Удэ ул. Борсоева, 13  
Тираж 300 экз.  
Сдано в печать